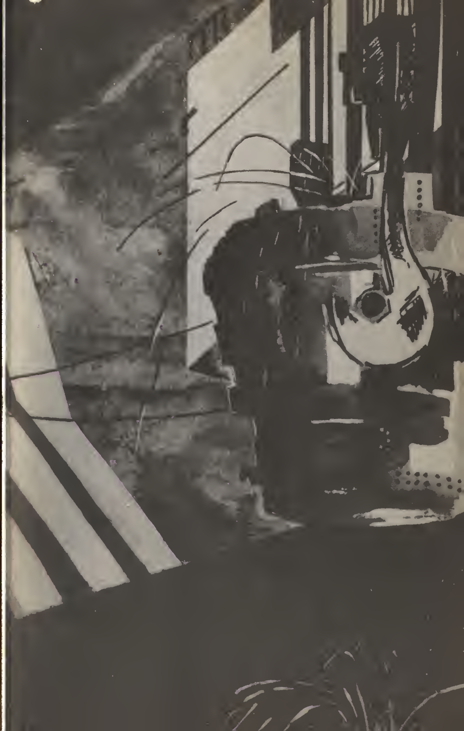
Анатолий Медников



СОРОК ТЕТРАДЕЙ





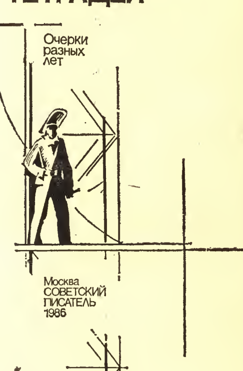




Анатолий Медников

СОРОК ТЕТРАДЕЙ

Очерки разных лет



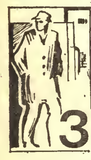
Москва
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1986

ББК 84.Р7
М 42

Художник Дмитрий ГРОМАН

М $\frac{4702010200-054}{083(02)-86}$ 37—86

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ



а сорок лет моей работы в литературе, за годы многих и многих поездок по заводам, рудникам, различным стройкам я накопил немалый багаж наблюдений за жизнью современного рабочего класса в нашей стране. Эта жизнь все время меняется, обогащается, развивается, и вместе с нею меняется и ее отражение в нашей документальной прозе и публицистике. Это единый процесс, идущий во взаимовлиянии, в переплетении многих существенных связей.

Надо помнить, что исторически очерк в нашей литературе возник именно как потребность в художественной летописи современности, как ответ литературы на множество совершенно конкретных, изумительных по своему новаторству фактов строительства новой действительности, как желание народа увидеть под пером художника-публициста портреты реальных творцов новой жизни, в том числе, конечно, и людей рабочего класса.

Публицистическая стихия любого добротного документального произведения, построенная на глубоком изучении многих проблем жизни, на исследовании социальных конфликтов действительности, на показе трудовой героики, на раскрытии того или иного научного, инженерного, трудового подвига, просто основанная на размышлениях писателя, может быть не только общественно важной, но и подлинно художественной.

И поэтому не случайно в очерках, посвященных рабочему классу, деятелям нашей индустрии, всегда значительное место занимали публицистика, поэзия самого дела, пафос труда и исследование закономерностей жизни.

Конечно, с годами менялись и будут меняться требова-

ния к литературному портрету нашего современника, и читателя уже не удовлетворяет очерк биографии героя, если он носит характер только иллюстративный, показной, если он лишен проблемности, остроты, драматизма и общественной значимости. Читатель требует от любого очерка динамизма, борьбы героя за свои цели в сложных переплетениях жизни, наконец, активной гражданственной позиции и самого автора.

При этом важную роль играет, на мой взгляд, верность духу времени, фактографическая точность и обстоятельность в изображении фактов, событий, людей, ибо не следует упускать из виду, что в труде, как и во многих других сферах жизни, есть множество явлений, которые ярче всего раскрываются именно в документальной конкретике и часто выражают собою обобщение, которое заложено в самом характере того или иного уникального события.

Так случилось, что именно в этом творческом ключе я писал и пишу о рабочих людях, в которых в разные годы сфокусировалось многое важное, типическое для сороковых, пятидесятых, шестидесятых, семидесятых и начала восьмидесятых годов нашей послевоенной эпохи.

Так постепенно накапливалась, создавалась типология рабочих характеров, которая для меня не умозрительная абстракция, а галерея хорошо знакомых людей, героев современной жизни. Эта типология, думается мне, интересна, значительна, во многом примечательна. Я вижу в ней олицетворенную в реальных людях какую-то часть героической истории всей страны, всего нашего общества.

Мысленно вглядываясь сейчас в знакомые и дорогие мне лица тех, кого я знал и любил, в этот славный ряд героев индустриального созидания, я вижу не только конкретные деяния, но и определенные тенденции движения судеб и времени, определенные закономерности.

За эти четыре десятилетия разительно изменился профессиональный облик советского рабочего, выросло не только его профессиональное мастерство, но изменился и сам объем его духовной жизни, стал богаче, наполненнее делами не только производственными, но и общественными, партийными.

Сколько раз мне приходилось встречать в самых разных уголках страны, на заводах, на стройках рабочих, бригадиров, мастеров, которые мыслили значительно шире, масштабнее, чем от них требовали их непосредственные рабочие обязанности и заботы. Скромное звание и долж-

ность не мешали этим рабочим выступать на различных совещаниях, вплоть до всесоюзных, остро ставить нерешенные вопросы, говорить о недостатках, смело критиковать виновных.

Во многих цехах я встречал и встречаю людей с институтским дипломом в роли мастеров, рабочих, которые, не покидая завод, получили эти дипломы высшего образования. Так вместе с технической культурой, порою даже опережая ее, росла и растет культура современного рабочего, его активное вмешательство не только в технические, но и в организационные проблемы производства, и все это органично, прочно связано с нравственной, психологической атмосферой рабочей жизни.

Сюда надо присоединить и приобретшие в наше время особую силу и эффективность, всегда присущие советскому рабочему чувства пролетарского интернационализма, которые находят себе такое мощное выражение в дружбе рабочего класса социалистических стран, в их индустриальной интеграции, в помощи прогрессивным силам во всем мире.

Известная ленинская мысль о том, что публицисты создают летопись современности, включает в себя, мне думается, и летопись самих свершений, и злободневные проблемы нашего строительства, и изучение типологии характеров тех, кто создает нашу современную индустрию. И, безусловно, включает в себя и верный, прозорливый взгляд в будущее.

«АЗОВСТАЛЬ»



Первую весточку с завода Яков Павлович Куликов получил как раз в тот момент, когда он уже влез в танк и собирался подать команду к движению.

— Товарищ старший лейтенант! — крикнул почтальон.— Письмо из дома получите на счастье!

Куликов быстро пробежал густо исписанные листки. Несколько дней назад, узнав на фронте об освобождении Мариуполя, он послал на завод письмо. «Прошу тех, кто помнит Якова Куликова, доменщика, начальника смены, а теперь командира танковой роты, — писал он, — сообщить поподробнее, в каком состоянии цех и кто из старых това-

рищей работает там». Теперь несколько товарищей рассказывали ему, как фашисты изувечили завод. Машина уже тронулась, зарываясь гусеницами в глубокий снег. Строчки прыгали в глазах танкиста...

На родину Яков Куликов вернулся из Норвегии, закончив бои около города Нарвика. Весть о том, что с фронта вернулся начальник смены, быстро облетела завод. Все, кто знал его по довоенной работе, спешили пожать руку.

Каким тогда увидел знаменитый «Азовсталь» Яков Куликов? Собственно, завода не было, он был разрушен. Был каменный хаос, груды искореженного металла. Из четырех гигантских домен две были взорваны до фундаментов, две других варварски искалечены. В мартеновском цехе немцы подорвали становой хребет здания — опорные колонны. Все генераторы энергии, паровоздушная станция, коксохимический завод, даже служебные здания и транспортные пути разрушены.

Яков Куликов уже знал из газет, из рассказов товарищей, что примерно такая же картина хаоса и опустошения и на других заводах Украины, на многочисленных предприятиях черной металлургии, машиностроения, которые в совокупности своей составляли до войны то, что можно было назвать мощным южным плацдармом нашей тяжелой индустрии.

Отступая под ударами Советской Армии, враг уничтожал все, что не успел разграбить. Фашисты утверждали, что для восстановления разрушенного нашей стране понадобится не менее четверти века.

На временно оккупированной территории республики были полностью или почти полностью разрушены 28 металлургических заводов, 9 трубных, 9 метизных, 28 коксохимических, 27 предприятий огнеупорной и 28 горнорудной промышленности, 62 доменные и 213 мартеновских печей, 248 прокатных станов.

Но не оправдались расчеты гитлеровцев. Вслед за наступающими частями шли строители, проявлявшие героизм не меньший, чем на фронте. И уже через три-четыре месяца после освобождения первые сталеплавильные агрегаты выдали первый металл. А днепродзержинцы сварили первую сталь на... двадцать шестой день после того, как наши войска вошли в город.

Любая капиталистическая страна, понесшая подобные потери, была бы отброшена на целые десятилетия назад. Этого не случилось у нас. Более того, южная цитадель на-

шей индустрии, восстанавливаясь, набирала новые производственные мощности, лучше оснащалась, чем до войны, проводилась одновременно и серьезная техническая реконструкция, механизировались трудоемкие и тяжелые работы.

Такие же горячие восстановительные денечки шли и на «Азовстали». Рабочие сами пришли на завод в первые же дни. Не ожидая особых указаний, они разбирали завалы, расчищали пути.

Как-то Куликов встретил на заводе начальника мартеновского цеха Владимира Владимировича Лепорского.

— Ну как, Владимир Владимирович? — спросил Куликов.

— Что наделали, а! — вместо ответа сказал Лепорский.— В печи-то, говорят, они людей сажали, провинившихся рабочих, благо герметически закрываются... Печи восстановим, поднять вот только это,— он показал рукой на подорванные колонны.

В один из вечеров состоялось собрание рабочих. В большой полуобгоревшей комнате плотно, плечом к плечу, стояли люди. Рядом со столом докладчика поставили ведро с мазутом и зажгли. Докладчик, отгоняя от лица едкий дым, говорил о положении на фронтах, о победах наших войск и неотложных задачах восстановления «Азовстали».

— Получим свою энергию, будет свет, будет вода. Приедут строители, и мы завод подымем. Нам страна поможет,— говорил докладчик.

И когда докладчик, раздвигая обеими руками дым, точно хотел расчистить путь своим словам, крикнул: «Восстановим, товарищи!» — эти слова, повторенные десятками голосов, как мощное эхо, тотчас вернулись к нему...

Возрождение азовстальских домен — это славная страница героической летописи восстановительной хирургии тех первых военных и послевоенных лет. И о ней стоит рассказать вкратце.

...Петр Алексеевич Мамонтов, добравшись до Сталино пассажирским поездом, пересел там на товарный и поехал таким, единственно тогда возможным, способом в город Мариуполь. Ехал он долго, почти двое суток. Днем поезд преимущественно стоял, опасаясь немецких бомбардировщиков. Ночами было холодно и страшновато. Петр Алексеевич в спешке забыл захватить оружие. Кругом была темень, лишь сыпались из-под колес паровоза горящие

искры, освещая на мгновение седую траву на насыпи да силуэты разрушенных шахт и заводов.

Впервые за военные годы Петр Алексеевич получил такой продолжительный и невольный отдых от своих строительных дел. И сейчас он думал не столько о новой работе, сколько вспоминал свою жизнь, беспокойную жизнь инженера-строителя.

Перед самой войною, когда Петру Алексеевичу перевалило уже за пятьдесят и точно легким снежком замело его виски, пришлось ему как-то проезжать поездом через город Ульяновск. Перед станцией по вагону прошелся проводник и закрыл все окна.

— Мост будем проезжать,— предупредил он.

— Какой мост? — спросил Петр Алексеевич.

— Через Волгу. А какой, можете сами в окно полюбоваться.

Петр Алексеевич прильнул лбом к стеклу и вдруг, к удивлению соседа, хлопнул себя ладонью по голове и засмеялся. Да, он совсем забыл! Это был мост, который строил он сам, Петр Мамонтов, юноша, техник по монтажу, воспитанник училища при Брянском металлургическом заводе,— большой мост у города Симбирска лет за десять до революции.

А с тех пор! Производственная биография инженера Мамонтова могла бы служить путеводителем по металлургическим заводам страны. Петр Алексеевич был строителем по призванию. Он годами мог жить в тяжелых условиях стройки, подчас без семьи и дома. В Чусовой, когда это было нужно, он решил труднейшую задачу — построил домну за восемь месяцев. Это был рекордный срок. Правительство в сорок третьем наградило его орденом Ленина. Затем его вызвали в Москву для нового задания.

Мамонтов взял с собою небольшой чемоданчик, тот самый, с которым два года назад уехал с Мариупольского завода на последней машине, и сел в самолет. В Москве ему сказали, что надо ехать в Мариуполь, поднимать разрушенный завод, ехать немедленно.

— Вы его строили, вам и честь вернуть завод к жизни,— сказали ему.— Работать надо так же, как и на Чусовой, и даже лучше.

И вот теперь заслуженный инженер ехал на открытой платформе товарного поезда в разрушенный город, где нет, наверно, ни света, ни водопровода и где вряд ли сохранился его дом.

К Мариуполю Мамонтов подъехал к вечеру, когда уже нельзя было различить в темноте ни города, ни станции. До войны за много километров бывали видны огни заводов. Издали они казались звездами, упавшими на самый край земли, а за ними двигались звезды поменьше и потусклее — это шевелились и мерцали на поверхности моря отраженные огни «Азовстали».

Поезд проходил у самого завода, и в воздухе здесь всегда немного попахивало доменным газом. Цеха гудели, от работающих агрегатов исходило еле уловимое, но трогающее сердце живое тепло.

Теперь же перед Мамонтовым на темном фоне неба громоздились слепые и сумрачные, как горы, силуэты разрушенных сооружений. И хотя ничего нельзя было ясно разобрать, Петр Алексеевич сердцем почувствовал, что разрушение здесь даже страшнее, чем можно было это представить себе на далеком Урале.

Первую неделю Мамонтов каждый день пешком ходил на завод из приморского поселка. И в каком бы углу огромной территории ему ни приходилось бывать за день, к вечеру он обязательно возвращался к домнам № 3 и № 4.

Построенные последними на «Азовстали», эти гиганты-печи вобрали в себя все новинки передовой металлургической мысли. Домны «Южной Магнитки» стали гордостью отечественной металлургии.

Петр Алексеевич бродил вокруг искалеченных и молчащих фурм. Агрегат высотой в многоэтажный дом превратился в груду мертвого металла. Петру Алексеевичу казалось, что он видит сквозь стальную обшивку печи многопудовую массу металла — «козел»,— застывшую в горне домны. Домой Мамонтов уходил всегда с сосущей болью в сердце.

Урывая время у сна, Мамонтов готовил докладную записку правительству. Именно здесь, на ставшем ему родным заводе, где разрушения были невиданных размеров, он предлагал применить метод строительства, к которому стремился многие годы.

Откладывая в сторону чертежи, Петр Алексеевич выходил в сад. Дул с моря низовой ветер, упруго, как водою, хлестал по ногам, свирепо гудел, прорываясь через узкие переулочки приморской слободки. Петр Алексеевич прислушивался к дыханию уснувшего города. На море, в глубине ночного пространства, вспыхивали и затухали огоньки — это первые пароходы шли в порт к израненному заводу.

Идея параллельного совмещения строительных и монтажных работ нашла себе место в практике инженера Мамонтова задолго до Чусовой. Еще на строительстве Магнитогорского комбината Мамонтов стремился вести монтаж методом укрупненных узлов. Но то, что было в те годы лишь первыми шагами новой технической идеи, во время войны, когда сроки выдачи металла решали судьбы сражений, стало передовым методом военных строительств.

Если можно строить домну укрупненными узлами, то почему при восстановлении не применить этот же метод? Разве нельзя восстанавливать домны укрупненными узлами, предварительно не демонтируя их? Мысли о широком применении этого метода при восстановлении «Азовстали» и легли в основу его докладной записки правительству.

Мамонтов часто думал о том, что восстановление наших заводов — это не просто воспроизведение по старым чертежам и схемам, но одновременно и реконструкция и новое творчество. Доменная печь № 4 объемом в 1300 кубометров была взорвана немцами таким образом, что опустилась вниз на 3500 миллиметров и накренилась в сторону на шесть градусов. Разрушенный литейный двор напоминал таежную чащу. Сквозь нагромождения конструкции и груды рваного металла трудно было даже подойти к домне. Казалось, сама домна со сместившимся центром тяжести вот-вот свалится набок.

Можно ли поставить в прежнее положение, то есть выровнять, передвинуть почти на 1,5 метра и поднять на 3,5 метра домну весом в 1200 тонн, предварительно не разобрав ее по частям?

При первом взгляде на домну люди только сокрушенно качали головами.

Мариупольские домны стоят в нескольких стах метрах от берега. Заводские паровозы, подвозящие к домнам руду и кокс, бегают у самой воды. Летом, когда дует с моря крепкий ветер, он с трудом прорывается на рабочую площадку у печи сквозь встречный поток горячего воздуха и освежающей прохладой трогает кожу. Горновые поворачивают к нему вспотевшие лица и мечтают о той минуте, когда можно будет выскочить на берег и окунуться в море.

Но теперь, когда надо было поднимать накренившуюся домну, сильный ветер с моря мог привести к катастрофе. При одной мысли об ураганном ветре во рту Петра Алексеевича становилось сухо, и он машинально проводил по лбу тыльной стороной ладони.

По проекту, разработанному Мамонтовым, домну решили поднимать домкратами, используя построенные рядом с печью три мощных балки опоры. Работы должны были вестись при ветре не более восьми баллов. 17 октября 1944 года Мамонтов записал в своей книжке: «Подготовительные работы закончены. Начинаем выравнивание».

Пока домна, медленно повернувшись вокруг одной опоры, по рельсам ползла на свое место, Мамонтов снова и снова проверял расчеты, все мельчайшие детали проекта. Петр Алексеевич сказал: «На фронте говорили: «Сапер может ошибиться только раз в жизни». Сейчас я понимаю сердце сапера».

Как-то ночью позвонили из столицы. Глуховатый голос, который показался Мамонтову очень четким, словно из соседней комнаты, произнес: «Москва следит за тем, как движется мариупольская домна».

— Хорошо,— ответил Петр Алексеевич,— помним.

Подъемные работы велись только днем. Часто под вечер, свернув чертежи в трубку, Мамонтов шел к домне, чтобы проверить сделанное за день.

На всех «этажах» печи, ловко цепляясь за металлические выступы, работали клепальщики, монтажники, плотники-верхолазы. Сверху они поглядывали на инженеров. Знакомые приветственно кивали головой. Петру Алексеевичу казалось, что рабочие подбадривают его своей уверенной и четкой работой. Рабочие не сомневаются в успехе дела, потому что доверяют ему, инженеру. И как это ни было странно потом самому Петру Алексеевичу, именно их доверие и казалось ему в эти минуты самым верным залогом успеха.

«Нет, все правильно»,— думал он, еще и еще раз заглядывая в чертежи.

В те дни, когда начался основной подъем домны на высоту 3,5 метра, телефонистка на заводском коммутаторе на все вопросы людей, беспрерывно звонящих из города, отвечала только одним словом: «Поднимают».

— Ну, как она? — спрашивали рабочие еще в проходной будке и, прежде чем попасть в свой цех, прибегали посмотреть на «двинувшуюся в путь» домну.

И вот наконец 27 ноября 1944 года одна из тогдашних самых больших в мире доменных печей, проделав сложный путь по маршруту, указанному ей инженером Мамонтовым, благополучно встала на свое место.

В один из ноябрьских холодных вечеров, когда Мамон-

тов стоял в группе рабочих и смотрел, как на место временных опор заводят под печь постоянные опоры, кто-то рядом спросил у него:

— А какая это у вас по счету, Петр Алексеевич?

Мамонтов обернулся и увидел знакомого рабочего, с которым еще до войны строил эту самую печь. Тогда он снова перевел взгляд на домну и, точно видя ее в первый раз, смерил глазами во всю тридцатиметровую высоту.

— Такая — первая,— ответил он старику.

— Лауреатская эта работа,— сказал мастер,— факт.

Петр Алексеевич вспомнил слова старого мастера в тот день, когда домна была полностью восстановлена, ее фурмы засветились яркими красными точками. Первую летку доменной печи № 4 прожгли кислородом, и, когда остался до расплавленного чугуна тонкий слой спекшейся глины, горновые забили в отверстие лом, а подъемный кран выдернул его обратно. Из мамонтовской домны выбежала первая струйка металла. Она была похожа на маленькую красную ящерицу, слепо нащупывающую себе дорогу. Но вот она выросла в сильную струю, и кипящий металл потоком ринулся по канаве в разливочные ковши.

Все вокруг заполнилось резким горячим запахом. Домна мгновенно озарилась красноватым, праздничной окраски светом. Свет этот увидели в городе и далеко на кораблях в море. Оттуда домна казалась огромным негаснущим факелом на азовском берегу.

Через некоторое время Мамонтов получил Государственную премию за подъем мариупольской домны. Об этом были написаны стихи и поэмы. Но и в деловом кругу монтажников мариупольская история выросла в легенду и многие годы звучала как песня, как гимн смелости, мужеству и таланту монтажников.

Потом это стало понемногу забываться, даже в мире самих строителей, заслоненное новыми успехами и свершениями. Ушел из жизни и Петр Алексеевич Мамонтов. Я же хочу вновь напомнить об этом славном имени. Разве слова «Никто не забыт, ничто не забыто» не относятся в равной мере и к людям трудового подвига, творцам нашей социалистической индустрии?..

Что же касается самого метода, то тогда, в конце сороковых и начале пятидесятых годов, опыт и подвиг мариупольцев был подхвачен монтажниками всюду и получил яркое и весомое продолжение на многих знаменитых в те годы стройках наших металлургических гигантов.

ХОЗЯЕВА ДОМНЫ



огда Яков Павлович Куликов появился на «Азовстали», доменный цех уже работал. В первые дни инженер внимательно приглядывался ко всему, потом пришел в партийный комитет.

— Я хочу организовать комсомольско-молодежную смену и сам возглавить ее,— сказал он секретарю.

— Что ж, дело хорошее, начинай, мы поддержим,— согласились в парткоме.

— Мне кажется, надо начинать борьбу за более интенсивное ведение процесса плавки.

— Это надо изучить,— предупредил секретарь.— Глубоко изучить, чтобы не сорваться. Эксперименты на таких больших печах — дело рискованное.

— Знаю, знаю, товарищи,— ответил Куликов,— продумаем все основательно.

На рабочей площадке у домны почти не слышно человеческого голоса. С оглушающим свистом через особое отверстие в горн печи поступает воздух. Чем больше воздуха, тем интенсивнее химический процесс в домне. Но увеличение количества воздуха может привести и к ухудшению работы печи. Это произойдет в том случае, если увеличится вынос пыли, то есть разрыхленной руды, которая вылетает из печи вместе с могучими потоками воздуха и газа.

— Сколько сейчас дают воздуха в печь в других сменах? — спросил как-то Куликов обер-мастера.

— Две тысячи кубических метров в минуту.

— А если дадим 2400?

— А пыль кто будет на колошнике собирать, Пушкин?

— Пушкина мы тревожить не будем, а вот рабочих на бункерах и в скиповой яме надо расшевелить. Мы сейчас даем сорок вагонеток с шихтою в смену. А если мобилизовать все наши резервы — я подсчитал,— можно дать пятьдесят. Печь все время будет полной, и вынос пыли останется в норме.

— Ну что же, попробуйте, Яков Павлович,— сказал обер-мастер.— Дело хозяйское.

И Куликов решил попробовать. В своей смене он начал систематически увеличивать интенсивность дутья. Через некоторое время он стал понемногу поднимать и температуру воздуха.

— Мы будем вести процесс более интенсивно на максимуме дутья и максимуме температуры и все время следить за печью,— говорил Куликов сменным инженерам.

С первого же дня у него установился с рабочими тот тесный производственный контакт, который покоится и на строгой дисциплине и на высоком авторитете инженера. Собственно, ему не пришлось предпринимать никаких особых мер, чтобы наладить в своей смене четкий порядок и организованность. Просто он показал себя умным и строгим руководителем, хозяином домны.

...Эту примечательную, взволновавшую меня историю я услышал весной сорок седьмого года, когда впервые попал в Мариуполь, и привожу ее сейчас потому, что этот эпизод рассказывает о мужественной женщине, которая совершила героический поступок для того, чтобы та самая четвертая доменная печь, успешно поднятая инженером Мамонтовым и на которой проводил свои смелые эксперименты инженер Куликов, чтобы эта домна в период оккупации не смогла бы служить фашистским захватчикам.

Как известно, азовстальцы покидали завод в октябре сорок первого. Ценное оборудование цехов было уже на три четверти свернуто и отправлено на восток, но завод еще работал вполдыхания... Внезапная тишина, сменившая ожесточенную орудийную канонаду, насторожила рабочих. Анастасия Арсентьевна Алейникова взглянула в окошко своего небольшого домика. По обеим сторонам улицы густой толпою шли люди. Они шли не оглядываясь, точно подгоняемые в спину ветром.

Алейникова побежала на завод. На паровоздушной станции ярким предсмертным накалом горели огни. Здесь было больше людей, чем в других местах, они толпились около генератора, у распределительных щитов. Позвонил директор, сказал: «Дорогие мои, кажется, уже больше нельзя ждать. Кажется, пора».

У генератора стоял старый мастер. Старик стоял, стиснув зубы, с гаечным ключом в дрожащей руке.

— Не могу! — крикнул он, размахивая ключом.

Старика взяли под руку и отвели в сторону. Когда остановилась электростанция, на заводе еще горел свет, идущий по проводам «Донбассэнерго». Потом потух и он.

Из степи было хорошо видно, как высоким черным пламенем горели взорванные газопроводы. Люди, пешком уходящие из города или же возвращающиеся к своим домам, часто ложились на траву прямо у дороги. Был горек на гу-

бах вкус пережженной солнцем сухой земли. Казалось, вся степь наполнилась едкой горечью...

...Анастасия Алейникова жила в Мариуполе с 1930 года. Сначала работала на заводе Ильича в столовой. Потом пришла на «Азовсталь» — чернорабочей. А в тридцать восьмом стала на домне машинистом вагон-весов.

Есть сзади домны такое устройство, напоминающее огромную черную косу, спускающуюся с металлической короны красавицы печи. Это эстакада, по которой бегают вверх и вниз вагончики с рудой, и там, на вершине домны, опрокидывают в ее нутро шихту, то есть руду, смешанную с коксом и различными добавками. Это «питание домны», это тот материал, из которого выплавляется чугун.

В основании эстакады — небольшой, всегда полутемный, пропахший сырыми запахами руды бункер, где и стоят вагон-весы. Здесь работает машинист, следящий за тем, чтобы печь была всегда правильно загружена. Когда доменный процесс идет нормально, вагончики то и дело бегают вверх и вниз, доменщики говорят тогда: «Печь идет хорошо, успевай только загружать».

Жила Алейникова на правом берегу Кальмиуса с мамой, отцом и братом, подрастал у нее десятилетний сынок — Слава. Алейникова кормила своих стариков, семью. Эвакуироваться она не успела, осталась в Мариуполе. Когда в город вошли фашисты, ее, как и многих рабочих, сначала погнали на окопные работы. Потом вернули на завод. Когда узнали, что она машинист вагон-весов, заставили вернуться на работу, загнали в бункер около скиповой ямы, чтобы «кормить домну», которую хотели оживить, наладить нормальный выпуск чугуна. Около вагон-весов поставили солдата с автоматом, потом сняли пост.

И Алейникова начала работать, но как она работала! Мне рассказывали о ней как о героине тех тяжких дней и месяцев, когда завод и город находились под пятою оккупации. Нашлись ли тогда предатели, которые пошли в услужение к фашистам? Да, нашлись. Был такой инженер Антощук, до войны восторгавшийся иностранной техникой,— сотрудник технического отдела. Все мечтал попасть на заводы Круппа. Замкнутый, молчаливый человек. Вот этот Антощук стал у фашистов директором завода.

Заместителем был у него некто Пескарев, отец которого в прошлом являлся управляющим крупного имения в Донбассе. Нашлись и другие предатели.

Фирма «Крупп» пыталась наладить работу завода, но безуспешно. Чугун домна за все время оккупации так и не смогла выдать вообще, действовала лишь частично как газогенератор.

В этом была заслуга и Анастасии Алейниковой, ведь она делала все от нее зависящее, чтобы разладить технологический процесс, потушить огонь в железном чреве домны.

Прошло уже много лет, но я все еще хорошо помню ее простое русское лицо, гладкие волосы, спокойный взгляд карих глаз. Невысокая, крепкоплечая, с размашистой мужской походкой, она как бы соединяла в своем облике женскую естественность с неженской крепкой и сильной волей.

В скиповой яме всегда было темновато, особенно ночью. Сначала заглядывали сюда немцы, а потом перестали, боялись на заводе темных безлюдных мест, и Алейникова могла по своему усмотрению составлять это губительное для доменной печи «меню» из руды, шлака и известняка. И все же это было для нее очень опасное дело. Ведь за саботаж, даже за малейшее подозрение в саботаже фашисты немедленно расстреливали рабочих и инженеров.

Бывало и так, что попадались и те, что старались угодить немцам. Например, инженер Коржиков, бывший при фашистах начальником доменного цеха. Домны работали плохо, в этом была заслуга таких рабочих, как Анастасия Алейникова, и, как говорили тогда на заводе рабочие, Коржикова «зашихтовали». Немцы вывели Коржикова за ворота и расстреляли, а ведь это был верный их слуга.

Анастасия Арсентьевна рассказывала мне весной сорок седьмого: «На моей печи благодаря неправильной загрузке вагон-весов авария следовала за аварией. Фашисты злились, искали виновных. Особенно я боялась ночью, что придут, схватят и тут же расстреляют. Пока отработаешь смену — душа изболится. Одна ведь сидишь в этом бункере, безо всякой защиты.

Приходила домой, рассказывала своим, как я работаю, как гублю доменную печь. А ведь фашисты вызывали отмечаться на бирже, за отказ от работы — в подвал, угоняли в Германию. Приходилось идти на завод, как-то надо было жить, кормить семью.

Бывало, сидишь дома — ветер ли с моря начинает гудеть, стук ли какой в дверь — задрожишь от страха и сынишку к себе прижимаешь, думаешь: вот сейчас войдут фашисты и потащат тебя на расправу.

Я вам скажу так — час-два поработаешь в скиповой яме

и тикаешь домой. Месяца через три мы печь угробили окончательно. А весь наш цех разогнали, людей послали окопы рыть. Когда я уходила от домны, она стояла мертвая...»

...Тогда, в сорок седьмом, Анастасия Арсентьевна вновь работала машинистом вагон-весов на восстановленной домне, работала так, как она умела работать на свою родную Советскую власть. Она сказала мне, что в марте сорок шестого вступила в партию. И сам этот прием ее в ряды партии явился оценкой мужества обыкновенной работницы.

Я не знаю, нужно ли добавлять что-либо к тому, что сказано? Возможно, здесь мог бы родиться большой рассказ или даже повесть, наполненная драматическими подробностями, описанием всей гаммы тяжких переживаний, которые выпали на долю Алейниковой. Но в документальной прозе есть ведь свои законы, и, пожалуй, именно в этом жанре ничто так леденяще не входит в душу, как вовремя поставленная точка.

ТЕТРАДЬ СОРОК СЕДЬМОГО ГОДА



ариуполь, каким он запомнился мне в сорок седьмом? Да, тогда еще Мариуполь, ибо городом Жданов он стал позже, через год. Старинный город, он был основан в 1779 году, а к концу XIX века превратился в крупный морской порт по вывозу каменного угля и хлеба, в значительный металлургический центр.

Отечественная война прошлась огненным валом по его тихим улицам, разметав крупные здания, но особенно разрушительный шквал уничтожения ощущался на окраинах, в районах старых и новых заводов.

В моей тетради сорок седьмого года сохранились заметки тех дней, наблюдения, бытовые черточки. Почти ровесник Якова Павловича Куликова, я, как и он, смотрел тогда на Мариуполь глазами фронтовика, вернувшегося из-под Берлина домой, сначала в Москву, а затем приехавшего сюда, на берег Азовского моря.

«...Если не видеть огромного завода,— писал я тогда,— раскинувшегося неподалеку от устья реки Кальмиус, то город кажется вполне провинциальным. Много собак и ко-

шек, которые перебегают дорогу, на каждом углу сидят старушки, торгующие семечками, яблоками, самодельными конфетами и пряниками, ярко раскрашенными. Из-за заборов выглядывают девочки, лузгающие семечки. У театрального подъезда можно видеть празднично одетых женщин, и здесь густою волною гуляет запах дешевых духов. Город утопает в зелени и тишине.

На центральной улице напротив здания горкома партии два загорелых паренька установили весы. Плата — рубль. Мариупольцы взвешиваются, идя на работу и возвращаясь домой. Табличка: «Медвесы «Азовец». Те, кто взвешивают, довольны, лузгают семечки: дела идут.

Сценка в ресторане — смуглолицый и черноволосый, брюки заправлены в сапоги, кавказский ремень с позументами, толстое золотое кольцо на пальце и золотые зубы. Гуляет в полупустом ресторане «Маяк», где висят на стенках морские этюды «а ля Айвазовский». Пригласил за свой столик весь оркестр — четверо музыкантов — и угостил их стаканом вина, яичницей. Сказал им:

— Имейте в виду всегда: кто умеет выпить, тот умеет и заработать.— И, обращаясь к своей девушке, заявил:— Оркестр в вашем распоряжении — заказывайте.

Куликов мне рассказывал: «В прошлом году здесь прогремела свадьба какого-то мариупольского фабриканта конфет. Подпольного. Отвалил на один вечер 35 тысяч. Фейерверк, а не свадьба!»

Когда стоишь в очереди за хлебом в булочную на одной из центральных магистралей, можно видеть, как за голубую ленточку горизонта в море спускается солнце.

Но совсем иная картина, как только выходишь из узкой и пыльной улицы, и вдруг открывается взору завод... огромный, мощный! Другой мир! Это как в музее, когда переступаешь порог зала XIX века и вступаешь в двадцатый. И хочется, чтобы город был под стать величественному заводу, чтобы к нему можно было подъезжать на троллейбусе, из окон которого виднеется море, большое и по-рабочему молчаливо-спокойное...»

Мне тогда рассказывал Яков Павлович:

«Как только я приехал с вокзала в город, когда вернулся с фронта, то сразу отправился свой дом смотреть. И что же увидел — одни развалины. Поселился в общежитии. В мою комнату въехали еще двое демобилизованных. Пошли по городу выбирать себе дом для восстановления. Завод выделял нам ссуду в рассрочку лет на десять. Дом

мы выбрали. И сначала решили восстанавливать, а потом передумали. Я сказал себе: «Нет уж, не буду обзаводиться частной собственностью. Были бы голова и здоровье, остальное приложится».

Квартиру получил позже — от завода.

Интересная семья у Куликова — металлургическая. Сам он в детстве жил в деревне, во Владимирской области. В 1929 году отец переехал на Урал, в Верх-Исетск. Старший брат Николай в 1930 году закончил Уральский металлургический институт, стал металлургом, а за два года до этого Яков начал работать учеником слесаря, потом поступил в ФЗУ. Впервые Яков увидел мартеновские печи на Верх-Исетском заводе. Пришел к брату, который проходил там практику.

Потом брата Николая послали строить Кузнецкий металлургический комбинат. Было ему тогда двадцать три года. В Кузнецке Николай был прорабом на 4-й комсомольской доменной печи. Год проработал и приехал на Урал в отпуск. Рассказывал всем родным, какое у них там, в Кузнецке, грандиозное строительство.

А потом предложил брату: «Поедем туда».

Яков Куликов приехал в Кузнецк, а документы послал в томский институт, на подготовительные курсы. Пока же поступил на 4-ю доменную печь в бригаду монтажников. В 1937 году была уже у Якова Павловича Куликова преддипломная практика и дипломное задание — спроектировать металлургическое производство в 1 млн. 950 тыс. тонн томасовского чугуна в год в условиях Мариуполя. Вот тогда-то Яков Куликов впервые попал на «Азовсталь».

Теперь я припоминаю, как в сорок седьмом Яков Павлович достал из шкафа и, сидя рядом со мной, листал потрепанные тетради своего дипломного проекта. Потом вспомнил о прощальном вечере в институте и о том, как любимый профессор Костылев говорил тогда молодым специалистам: «Не оседайте в учреждениях, работайте в цехах, у печей, решайте главную задачу».

Приехав на «Азовсталь», Куликов первые четыре месяца проработал диспетчером, изучил всю организацию доменного производства, потом пошел работать на печь № 3 простым газовщиком. Частенько заменял мастеров. Его спрашивали — зачем это? Куликов отвечал: «А чтобы потом никто подвести не мог».

И лишь примерно через год Яков Куликов получил инженерную должность начальника смены в доменном цехе.

...Работа у домен требует особой четкости. Нередко возникают положения, которые требуют от инженера мгновенного и безоговорочного решения. Расплавленный металл не станет ждать, пока инженер будет думать, как распорядиться. В такие минуты Куликова охватывала нервная дрожь, напоминавшая ему о фронте, и он чувствовал себя в цехе боевым и решительным командиром.

— У вас, Яков Павлович, военная хватка,— сказал ему однажды старый рабочий.

Всю смену Куликов вел печь на более интенсивном уровне плавки. Пришлось то же делать и другим начальникам смен. Пример Куликова стал фактом, который нельзя было уже обойти или забыть.

Среднего роста, в военной гимнастерке и в сапогах, он большими шагами ходил вокруг фурм, на слух определяя состояние печи. На рабочей площадке встречался с Максимом Горбулей, горновым, всегда работающим с ним в смене. Щуря на огонь глаза, спрашивал:

— Дадим сегодня чугуна сверх плана, Максим?

— Чугун, Яков Павлович,— повторял медлительный на слова Горбуля,— дадим, точно.

В конце 1946 года доменный цех «Азовстали» перевыполнил годовой производственный план. Куликов узнал об этом рано утром, когда шел на завод к началу смены. На большой черной доске, где вывешивались каждый день цифры о выполнении плана, против надписи «Доменный цех» было выведено: «Занял второе место во Всесоюзном социалистическом соревновании». У доски уже толпились рабочие. Куликов отошел в сторону и присел на скамейку.

Ему были хорошо видны и завод и море. Здесь, на рубеже города и завода, где неожиданно резко менялся не только пейзаж, но, казалось, и сам воздух, Куликов всегда чувствовал тот душевный подъем и прилив сил, с которыми в те годы, молодой инженер, он каждый день начинал свою работу около азовстальских домен.

— Яков Павлович, торопитесь, гудок,— сказал вахтер.

— Сейчас,— ответил Куликов, по-мальчишески легко вскочил на скамейку, чтобы еще раз взглянуть на доску.

Вот в тот момент и пришла ему в голову мысль, к которой он возвращался снова и снова в этот, казавшийся очень длинным, праздничный день, мысль о том, что к четырем благодарностям Верховного Командования, которые получил он, Яков Куликов, на фронте, теперь прибавляется новая — пятая...

СНОВА НА ЗАВОДЕ



...ем-то родным повеяло на меня. Заводской паровозик тянул по узкоколейке вагоны с еще горячим коксом. Пепельно-серебристый, он, казалось, дышал курчавыми клубами пара, и лохматая белая простыня повисла в воздухе. Но когда налетевший ветер рванул и скомкал этот колеблющийся занавес, открылся синий простор моря, домна, которая вовсю пыхтела своей огромной черной трубкою, словно бы раскуривала ее от самого солнца.

А рядом с домной, на месте хорошо памятных мне развалин, я увидел железный каркас нового сооружения.

— Что это? — удивленно спросил я у человека, стоящего рядом.

— Самоварчик новый скоро раздуем,— ответил знакомый рабочий и, узнав меня, приветственно поднял кепку.

Я пошел на домну — поискать приметную фигуру Максима Горбули. Уж так повелось на «Азовстали», что Максим Горбуля всегда стоял на вахте при пуске домен. Он выдал первый чугун из этой же печи при ее задувке.

«Есть такие рабочие: 8 часов отработал — и домой... Пришел и не помнит, как работал. Нет, у меня не так,— говорил мне Максим.— Я сам работаю хорошо и печь в хорошем состоянии сдам сменщику. Руда в домне плавится почти сутки. Можно в конце смены плохо поработать, а расхлебывать будет товарищ. Нет, тот не доменщик, кто дальше смены не видит».

Максим давно настроил свое сердце на ритм работы своей домны. Плохо работала печь — и у Максима было плохо на душе, «холодал» чугун в печи — и у Максима «холодало» на сердце от тревожных мыслей. Если и уходил он в отпуск или уезжал из города, казалось ему, что он, как барометр, на расстоянии чувствует «погоду» в цехе. Так с годами росло в нем чувство ответственности не только за свой цех, но и за всю большую металлургию юга.

«Растет наша семья, Кира»,— говорил он жене каждый раз, когда пускали на заводе новую домну.

Когда немцы захватили Мариуполь, Максим решил: с домной покончено!

«Не могу я на них, на немцев, работать. Пойду в деревню»,— сказал он жене, собиравшей его в дорогу. В со-

рок третьем его поймали. Профессию свою Максим скрыл, но пришлось из-под палки выполнять черную работу.

В сентябре загрохотали с востока советские пушки, и гестаповцы забегали по рабочим слободкам, выгоняя людей из родного города. Максим увел жену и детей в степь. Оттуда он отправился в освобожденный город — прямо в военный комиссариат.

— Запишите в армию, на немцев душа горит,— сказал он военкому.

— А где вы до войны работали? — спросил тот.

— На печах, в «Азовстали».

— Ну и воевать здесь будете,— и военком выдал Максиму путевку на завод.

До войны Горбуля знал отлично только свою профессию — горнового. А при восстановлении пришлось ему поработать и клепальщиком, и монтажником, и подрывником. Когда удаляли «козла» из домны, Максим залез в горн, в самое сердце печи. В застывшем металле подрывники прожигали отверстие, закладывали туда взрывчатку и так расчленяли многотонный массив чугуна.

Не легко ему давались новые специальности, но Максим мечтал о том дне, когда он станет к летке работающей домны. Он был горновым, прежде всего горновым!

Вот и в свой второй приезд на «Азовсталь», примерно через полгода, я захотел увидеть Максима Горбулю. Старший горновой Горбуля вышел на открытую площадку и, отирая рукавом пот, смотрел на море. Он стоял спиной ко мне, ветер, стелющий в сторону лохматую голову дыма, с силой бил его по ногам, раздувал брюки, тормошил волосы.

Я не стал его окликать, отвлекать от работы. Мне было достаточно и того, что я его увидел, что Максим Горбуля жив, здоров, что он — на домне.

«Поговорим потом»,— решил я. А пока отправился в кабинет парторга ЦК на заводе Бориса Степановича Бучеля. Когда я открыл дверь в его кабинет, здесь закончилось какое-то совещание и на диванах еще сидели несколько секретарей цеховых ячеек.

— С приездом,— тепло сказал парторг. Он выглядел необычно, выступила щетина бороды, и в глазах, обычно веселых, плотно осела усталость.

Я уже знал, что все заводские коммунисты последние дни и ночи проводили в цеху, где досрочно восстанавливался пятый мартен, и понимал состояние парторга. Одна-

ко, несмотря на занятость, Бучель был явно рад видеть меня и, поднявшись за столом, долго тряс мне руку.

— Вот журнал, обещанный,— сказал я, стараясь объяснить свой визит покороче.

— А, журнал, давай,— сказал Бучель, устроившись поудобнее в кресле, и приготовился читать. Пробегая глазами страницы, он пару раз улыбнулся, в одном месте нагнал на лоб складку, но потом сам расправил ее ладонью.

— Так, подожди минутку,— сказал он и снял трубку телефона.

— Куликов Яков Павлович, отдыхаешь, занят чем, а?— спросил парторг.— Вот послушай, что о тебе Москва пишет.

Бучель кашлянул, обежал глазами заинтересовавшихся секретарей и, подмигнув мне, начал:

— «Когда Куликов, еще не сняв с шинели погон, шагал к домне, весть о том, что вернулся начальник смены, быстро облетела завод...»

Пока парторг, часто останавливаясь, чтобы раскурить папироску, читал выдержки из очерка, относящиеся к Якову Куликову, а сам Куликов, стоя у телефона, слушал парторга, странное чувство охватило меня. Знакомые фразы звучали так, словно бы проверялись на точность, на вкус и силу парторгом, который, прежде чем произнести их по телефону, покашливанием, долгими паузами и интонационно выражал свое личное к ним отношение.

И это волновало.

— Ну и так далее,— произнес в трубку Борис Степанович, прочтя примерно страницу.— В общем, тут о тебе много. Полный отчет о победной деятельности. Вот видишь, наши люди приобретают славу. Большое дело.

На вопрос же Куликова, кто написал очерк, парторг подмигнул мне.

— Факт, что написали,— сказал он.— Есть такие добрые люди. В общем, прощай и заходи ко мне,— и он повесил трубку.

— Вы его увидите, Куликова, и сможете сами поздравить,— сказал Бучель,— ведь Яков Павлович уже не начальник смены, а замначальника доменного.

— Когда же успел? — спросил я, радуясь за Куликова и тому, что парторг перестал читать по телефону очерк.

— А вот пока вы в свой журнал писали,— сказал парторг, и все сидящие в комнате засмеялись...

— Теперь, дорогой товарищ, заходите в цеха,— сказал мне Бучель так, словно бы приглашал в свою комнату.

И вот я во второй раз в этот день иду на домну. Подоспел как раз ко времени выпуска шлака. Пока поднимался по лестнице со стороны моря, меня обдувал свежий ветер, упругий, как волна, он бился о стальную обшивку домны словно бы миллионами маленьких кулачков.

Из двери, ведущей на рабочую площадку домны, с шумом вырывался горячий поток воздуха и газа. Мутные клубы дыма несли с собою запахи углерода и удушливой серы. Затаив дыхание я проскочил поток воздуха и очутился рядом с Максимом Горбулей, стоящим у фонтанирующей летки.

— Уже приехали! — крикнул мне Горбуля, жестом приглашая подойти поближе.

Там, где стоял горновой, уже не было дыма, не витала жара, словно бы исходившая волнами от стенок домны. Шлак, пузырчатый, бьющий искрами, лениво стекал в ковши. Он, медленно и словно бы сопротивляясь, полз по канаве, цепляясь за ее неровности, но из летки набегали все новые и новые горячие потоки, и вся эта кипящая масса тяжело падала вниз, в шлаковые ковши, заполняя воздух почти электрическим сиянием.

Максим Горбуля стоял, опираясь на железный крюк, коренастый, широкогрудый, в надвинутой на самые глаза и рыжей от рудного налета шляпе. Он щурил глаза, как от яркого солнца, и улыбался.

Я показал ему журнал.

— Хорошо, спасибо,— сказал он, прочитав о себе несколько абзацев.— Только я уже не старший горновой, а мастер. Но это ничего.

— Когда успели? — спросил я и тут же вспомнил, что такой же вопрос задал парторгу, когда мы говорили о Куликове. Мой очерк успел «состариться» за какие-то полгода.

— А у нас новость,— продолжал Горбуля.— Школу новаторов организовали без отрыва от дела. Молодежь готовим. Вот один такой,— Горбуля показал рукой в сторону шлаковой канавы.

Только теперь я разглядел за рваной пеленой газа, плывшего над канавой, лицо молодого рабочего.

— Шкатов Андрей, он у меня пару месяцев — и уже такой орел! — сказал мастер.

Поглощенный работой, молодой доменщик близко придвинулся к летке. Он приучал себя к жаре, и кожа на его курносом лице с белесыми бровями и нежными побегами

усов горела янтарным огнем, словно подсвечиваемая изнутри. В глазах его жило то чудесное удивление, то очарование этой огнетворящей работой домны, от которых рождается и первая любовь к делу, и пожизненное увлечение.

— У человека биография в двадцать два года, присмотритесь к нему,— сказал мне Максим Горбуля,— мальчишкой укрыл раненого летчика у себя в избе и за это угодил в гестапо. Потом проехал по Европе в телячьем вагоне, сидел в лагере у немцев, землю рыл под винтовкой, каторжный труд узнал. А теперь не работает — поет. Ему каждая смена — праздник. Что у него сейчас-то в душе творится! Парня люблю. Вот! А горновой из него получится,— Горбуля даже прищелкнул пальцами,— той, нашенской чеканки.

...Под вечер я возвращался с завода в город. У проходной пыхтело несколько поездов, развозящих рабочих по загородным поселкам. Поезда проходили у самого моря, и дым ложился на воду, отсвечивающую на закате красноватым, как срез из меди, отблеском.

Рядом со мною в город шло много металлургов. Почти у всех у них были на плечах красноватые, просоленные потом куртки и, казалось мне, одинаковая походка людей, предвкушающих сладость отдыха.

Жара убывала. В воздухе чувствовался запах цветущих яблонь и груш. На центральной площади города меня на машине догнал парторг.

— Будьте к вечеру у Куликова,— сказал он,— к вам дело есть.

Но что за дело, не сообщил, и старенькая его «эмка», позвякивая на ухабах железом, повернула назад к заводу...

...В комнате у Куликова было шумно. За длинным столом сидели знакомые и незнакомые мне люди.

— Хорошо, что пришли,— сказал мне Куликов,— знакомьтесь: брат Николай, мартеновец, он в свой отпуск ко мне заехал, жена его, Антонина, тоже металлург, в общем, семья Куликовых.

К столу подошел Николай Куликов, и, глядя на него, я вспомнил рассказы Якова Павловича о старшем брате.

— Им сейчас нелегко,— сказал старший Куликов.— Шутка ли, наладить производство, как часовой механизм, после такой разрухи. У нас, в Кузнецке, тоже было трудно в тридцать четвертом, когда все только настраивалось. Но ничего, скоро с нами начнут тягаться,— подмигнул брату Куликов-старший, и мне послышалась в его голосе как бы

двойная уверенность и в том, что здешние металлурги скоро начнут спорить в производственных делах с кузнечанами, и в том, что одержать верх им, конечно, не удастся.

— Вот вы о брате написали,— сказал мне Николай Куликов,— это нашей семье честь. Но если он после этого еще лучше работать не станет,— значит, славы своей не стоит. Ну, а вообще-то мы, металлурги, сухие люди,— неожиданно заявил он,— огнем просушены и прокалены. Дела творим яркие, а другому могут показаться будни. Сегодня плавка, завтра плавка...

— Николай, расскажи брату, как ты аварию в мартене ликвидировал,— попросила мужа Антонина.

И Куликов-старший рассказал. Случилось вот что. В мартеновском цеху от смешения горячего пара с газом взорвались газо- и воздухопроводы, в пролеты ударила вода под большим давлением. Николай Куликов отдыхал в это время дома и, только повинуясь какому-то сердечному предчувствию, пошел на завод; увидев, что происходит, он бросился в глубь цеха, заполненного клубами горячего пара, и сам устранил аварию.

Старший Куликов рассказывал об этом так же спокойно и непринужденно, как и за полчаса до этого о том, как отдыхал в Кисловодске. И только когда он в конце сообщил, что на улице стоял тогда сорокатрехградусный мороз, вода, бьющая из труб, смерзалась на теле и сам он не смог снять свою одежду и ее разрезали по кусочкам, я попытался представить себе, что же на самом деле пережил инженер в эти минуты.

— Между прочим, твой брат Николай,— сказала Антонина Куликова, обращаясь к Якову Павловичу,— совершил там героический поступок.

— Ну какой там! Любой инженер на моем месте сделал бы это,— отмахнулся старший Куликов.

Я заметил восторженный взгляд Андрея Шкатова, обращенный к Николаю Куликову. То же, видно, заметил и Максим Горбуля.

— Молодой орел! — сказал он мне, кивая головой в сторону ученика.— Вот погоди, расправит крылья.

Я вышел на балкон подышать свежим воздухом. Темная южная ночь уже опускалась на город. Зажглись огни уличных фонарей, светящимися цепочками сбегающие под гору. Казалось, это текут десятки зыбких ручейков света и где-то там на море сливаются в одну спокойную лунную дорогу, медленно плывущую к горизонту.

Невольно подумалось о том, что я только первые сутки в городе, но уже с головой погрузился в заводские дела...

На балкон вышел Яков Куликов. Я сказал ему, что парторг просил меня зайти сюда, обещал новости.

— Новости такие, что от завода едет делегация в Москву, на всесоюзное совещание металлургов. И едем мы,— сказал Яков Павлович,— через несколько часов прямо от завода на вокзал.

— Радуюсь за вас,— я положил руку на плечо Якова Павловича,— но, может быть, вас не только там хвалить будут, но и поругают.

— Конечно, могут кое-кому и морду набить,— согласился Куликов,— хозяйство-то у нас — ого! И притом металл делаем, не что-нибудь.

— Кланяйтесь Москве,— сказал я.

— С поклонами погодите, вот Бучель придет...— и Куликов увлек меня снова в шумную комнату.

Но парторга я не дождался и, попрощавшись, пошел к себе в гостиницу. Там у подъезда неожиданно увидел его машину.

— Парторг ЦК давно ждет вас,— сказал мне шофер, открывая дверцу.

Через пятнадцать минут я был уже на заводе.

— Ну вот, успели,— сказал мне Бучель, усаживая рядом с собою,— а у нас к вам предложение. Делегация едет в Москву. Хорошие люди, крепко поработавшие. Короче говоря, поезжайте с делегацией. Походите по заводам, поработайте в нашем министерстве, может быть, и в Кремль попадете. А через пару недель к нам, назад. Ну как, заманчиво? — спросил Бучель, и по лицу было видно, что он не сомневается в моем ответе.

— Да, заманчиво,— сказал я.

— И честь.

— Да, и честь.

— Ну так берите билеты.

— Нет, я останусь. Может быть, делегацию я еще в Москве застану, а пока останусь. Хочу еще подышать заводом.

— Ну, ну,— сказал парторг после долгой паузы,— решайте сами, вам виднее...

...Машина, отвозящая делегацию на вокзал, ждала у здания парткома. Я вышел проводить своих друзей. Их было так много — и отъезжающих и провожающих, что

люди в грузовике стояли плечом к плечу и держались друг за друга руками.

— Я еще застану вас здесь! — крикнул мне из машины Яков Куликов.

Я утвердительно махнул рукой.

— Уехали,— сказал парторг и посмотрел на часы. Было уже около полуночи.— Куда же вы теперь? — спросил он у меня.

— Пойду на домну, в ночную. Сегодня Андрей Шкатов заступает в ночь на первую свою самостоятельную вахту.

— Понятно,— сказал Бучель.— Заходите ко мне в любое время.

Когда я подходил к домне, мне, как и утром, пересек дорогу заводской паровозик. Кокс, который он тянул к домне, был еще горячим. Несколько минут я стоял перед плотным занавесом из теплого пара. Когда пар растаял, я увидел перед собою огромную домну, на всех ее этажах горели сильные огни, и вся она была словно стальной корабль, плывущий в глубину ночи и моря.

НЕМЕРКНУЩИЙ ФАКЕЛ



аргазин снял трубку телефона и вызвал диспетчера доменного цеха завода «Азовсталь».

— Несколько часов не звоните мне домой. Мы с Масловым едем купаться.

Вася Маслов погладил ладонью полированную трубку телефона.

— Сегодня же выходной день, Петр Алексеевич. Ну прямо как на фронте: ушел туда-то, вызвать оттуда...

— Мы доменщики, Вася,— наставительно сказал Варгазин,— а это значит, забрось меня, скажем, на Северный полюс с оперативным заданием, и там буду думать: а как в цехе, шлак вовремя спустили?

Они вышли на балкон. Над заводом стлался густой коричневый дым. Его раздувало ветром в большое лохматое облако, и оно плыло к морю, цепляясь краями за вершину домны. Даже здесь было слышно, как томится гулом земля на побережье: это шум сливался с тяжким дыханием моря.

Над домной, на которой Варгазин был начальником смены, горела высокая огненная свеча. Это было построенное недавно приспособление для сжигания колошникового газа. Стройный фонтан огня бил прямо в небо и был виден не только в городе, но и далеко в море. И Варгазин и Маслов ночью, возвращаясь с работы, подолгу любовались им.

— Куда же мы пойдем купаться, Петр Алексеевич? — спросил Вася, ни на минуту не сомневаясь в ответе Варгазина; хотя в городе, который и до войны славился как курорт, был хороший пляж с дном из зернистого песка, тентами от солнца, буфетом и даже специальными фотографиями, Варгазин и Маслов предпочитали ходить купаться прямо на завод.

— Чистая вода,— говорил Вася,— и шум приятный, под домнами.

Они вышли из дому и, крупно шагая, начали спускаться по улице, ведущей к заводу.

— Ну, как соседи, Маслов, как у них дела? — спросил Варгазин и, не ожидая ответа, сказал:— Вчера всю ночь сидел, подсчитывал. Если в последнюю неделю темпов не сдадим,— значит, побьем соседей.

— Да, да,— рассеянно сказал Маслов, думая о чем-то другом.

Они пересекли густую сеть подъездных железнодорожных путей, опутавших с двух сторон домну. Земля у печей была покрыта густым налетом красной рудной пыли. Тонкий слой ее с едва различимым металлическим отблеском лежал не только на бетоне и железе, но и на листьях кленов и акаций.

— Никак не можем добиться чистоты у домен,— посетовал Варгазин, которому трудно было примириться с тем, что у доменных печей было еще довольно грязно,— слишком большой вынос пыли. Вот приедут соседи проверять договор. Они нам это дело впишут в строку! — с сердцем сказал он.

Когда они проходили под наклонным мостом, по которому быстро скользили на колошник домны небольшие, издали похожие на игрушечные, вагонетки, начался выпуск шлака. Густой поток тяжело падал в глубокие раковины ковшей. Светло-оранжевая на солнце струя шлака расплескивала вокруг себя звездный дождь горящих пылинок. В глубине ее просвечивали беловатые, самые горячие потоки, и шлак казался почти прозрачным.

Варгазин и Маслов разделись на небольшом, выпирающем в залив полуострове, защищенном от посторонних глаз складским помещением. На чистом песке лежала перевернутая кверху днищем рыбачья лодка. На нее было удобно складывать одежду.

Варгазин первым пошел к воде, оставляя на песке крупные следы от босых ног. Он громко засмеялся, когда зеленоватая, искрящаяся на солнце вода дошла ему до груди.

— Ныряй, Маслов! — крикнул он и, не ожидая ответа, бросился головой в воду; Вася тоже разделся, но сидел не двигаясь на горячем песке, поеживаясь от приятной истомы.

В море было пустынно. Лишь в заливе, у самого устья реки, точно впаянные в зеркальную гладь, высились большие черные баржи. В глубине моря, у горизонта, где все сливалось в голубой туман, виднелся одинокий косой треугольник рыбачьего паруса. Он казался белым флажком, обозначившим незримую границу моря.

Вася лежал на боку и смотрел, как, разбрасывая вокруг себя фонтан брызг, по-мальчишески бултыхался в воде Варгазин.

— Честное слово, бросайся в воду! — кричал он Васе, махал одной рукой и отплывал все дальше.

— Сейчас, сейчас,— автоматически отвечал Вася, но не двигался с места и продолжал накатывать себе на ноги тяжелый песок.

Ему хорошо было сидеть на солнце и, главное, трудно было оторваться от беспокойных мыслей о мастере огнеупорной кладки — девушке с соседнего завода. Думая о ней, Вася вспоминал свою недавнюю поездку на этот завод для заключения социалистического договора. Делегация провела на заводе всего несколько дней. Гости старались увидеть как можно больше и как можно больше запомнить. Обмен опытом происходил тут же, у домен, на скиповом дворе, в железнодорожном цехе, словом, всюду, где побывали члены делегации, предварительно разбившиеся на небольшие группы по специальности.

Вася долго разыскивал мастера огнеупорной кладки.

— Мастер в отпуску,— сказали ему в цеховом комитете.— Так что до следующего раза.

— Увидеть бы в лицо человека, с которым соревнуюсь,— сказал Вася.— Было бы как-то яснее.

— Ну, тогда поезжайте в город,— сказали ему.

И Вася ездил в город. Но мастера он дома не застал, а увиделся с ним все же на самом заводе.

В скиповой яме доменного подъемника горели сильные лампочки, однако свет здесь все же был глухим, словно пробивался через стену из толстой материи. У перил высокого вагончика, собирающего из бункеров руду и кокс, стояли две девушки.

— Мне надо увидеть Валю Синичкину, мастера,— сказал Вася, не зная, на ком остановить свой взгляд.

— Угадайте,— сказали девушки в один голос.

Вася выбрал ту, что была выше ростом, в запачканном рудной пылью ватнике, с широкими, почти мужскими плечами. Она засмеялась и отрицательно покачала головой. Зато откликнулась ее подруга, черноволосая, с нахмуренными бровями, похожая на мальчика-подростка.

— Полезем наверх, разговор серьезный,— сказала она и потянула за собой смущенного Васю.

Потом Вася не только хорошо рассмотрел лицо девушки, но и, казалось, запомнил его на всю жизнь. Они бродили по заводу, сидели в парке.

— Я недавно на этом заводе,— сказала Валя.— Приехала из армии. Санинструктором была в роте автоматчиков, вашего брата перевязывала.

— Я в тылу был, на другом фронте,— сказал тогда Вася, хмуря брови.

— Да, некоторые штатские предпочитали тот фронт, который тыл,— засмеялась девушка.

Разговор на том и оборвался, но Васю эта небрежно брошенная фраза задела за живое. Он не мог забыть слов девушки и в тот вечер, когда Валя вместе с другими провожала делегацию на вокзал. Странное чувство томило его сердце, когда он понял, что не может оторвать взгляда от ее раскрасневшегося лица, живых черных глаз, лукаво сощуренных и смеющихся. И хотя, прощаясь, Вася сухо пожал ей руку, он удивился волнению собственного голоса, произносившего странное приглашение: «Приезжайте к нам, милости просим, а там посмотрим, кто кого».

Он думал о Вале и в поезде: так слова ее тронули сердце. Да, он, крепкий, здоровый парень, спортсмен, не был на фронте. Но кто знает, как, учась в ремесленном училище, он стремился туда попасть, как, грезя ночами о фронте, он уже не раз видел себя бросающимся со связкой гранат под танк или взрывающим мосты! Он так много мечтал о подвиге, что был уверен в том, что совершит его.

Его как добровольца, написавшего десяток заявлений, однажды даже вызвали в военкомат и переодели в военную

форму. Но отправка на фронт задержалась только на одну ночь. Вася не спал, мысленно передумывая все варианты своей военной судьбы, и писал друзьям письма. А на рассвете пришло распоряжение: специалистов-металлургов отправить па строительство новых заводов, и Васе пришлось снять новые, остро пахнущие кожей сапоги, новый скрипящий ремень и гимнастерку.

С тех пор он часто ловил себя на чувстве зависти к фронтовикам. Ему казалось, что на фронте он совершил бы что-нибудь необыкновенное. Вот и сейчас он смотрел в глубину морских просторов и чувствовал какое-то томительно сладкое стеснение в груди. Море всегда так действовало на него. Оно будило в нем жажду подвига. И, чтобы стряхнуть с себя все эти мысли, Вася встал во весь рост, потянулся и, помахав рукой Варгазину, с разбега бросился в море.

Вылезли из воды они одновременно. Варгазип, тяжело дыша, бросился на песок.

— Замечательное это дело — море,— сказал он, широко разводя руки в сторону, чтобы установить дыхание.— Я летом ночью люблю купаться. Кончишь смену — и прямо от домны, от жары этой, да в воду.

Варгазин лег на спину, закрыл глаза от удовольствия и, поворачивая к Васе мокрое и улыбающееся лицо, сказал:

— А один раз меня сюда министр вызвал, вагон его стоял у домны,— и Варгазин показал рукой на заводскую железнодорожную ветку, проходившую у самого берега моря.— Министр работал весь день, а ночью вызвал меня в свой вагон. Закончив разговор, мы вышли из вагона на берег. Ночь была звездная, а тут еще от домны свет ложится на воду. Красиво! Министр долго стоял молча, смотрел на завод, на огни города. Потом вдруг спросил: «А что тебя, Варгазин, больше всего поразило, когда ты с фронта на завод вернулся?»

«Один лозунг, товарищ министр»,— ответил я.

«Какой же?»

«На разрушенной стене завода я нрочел замечательные слова: «Вперед, к окончательной победе коммунизма!» Кругом развалины, и вдруг — такой высокий лозунг. У меня тогда даже дух захватило. Какой, думаю, орлиный взгляд вперед!»

«Да,— говорит министр,— это хорошо! А не поражает тебя, Варгазин, то, как быстро из руин подымаются наши заводы, как растут новые? Вот ты, например, не успел еще

свою военную куртку снять, а уже начал ломать голову над тем, как увеличить выплавку чугуна. И придумал и взялся за это засучив рукава. А таких, как ты, сотни, тысячи. А теперь, говорит, давай купаться».

Далеко заплыл, фыркает, плескается там в темноте. Кричит что-то. Я даже за него беспокоиться стал. Но ничего, приплыл... Государственный человек — министр,— подумав, добавил Варгазин.— Он за кадры держится, как Антей за землю.

Где-то совсем рядом по берегу прогромыхал паровоз. Ветер рванул к морю белый курчавый дымок, и теплые еще паровозные вздохи коснулись оголенных рук Варгазина. Это тянулись к домне пустые ковши под металл и вагоны, загруженные ноздреватым пепельно-серебристым коксом. Кокс был еще теплый и чуть дымился. Резкий запах углерода и всегда горячих ковшей бежал за паровозом неторопливо затухающими волнами.

Вася смотрел на лицо Варгазина. Он сидел так близко, что видел даже свое отражение в варгазинских черных блестящих зрачках. Но там он заметил и первые проблески тревоги. Варгазин сидел на корточках. Внезапно он вскочил, словно какая-то сила выпрямила его. Позднее Варгазин говорил, что он спиной почувствовал несчастье. Достаточно было беглого взгляда в сторону цеха, чтобы понять, что на домне что-то случилось. Наверху ее, над колошником, пробивался невидимый раньше дым, и домна зловеще курилась. Дым был густого, темно-бурого цвета, и ветер не успевал разносить в стороны его лохматые хлопья.

— Ну, милый, тебя я ждать не могу! — крикнул Васе уже одетый Варгазин и побежал к цеху.

Когда Вася поднялся на домну, здесь было уже много людей, сбежавшихся на аварию. В воздухопроводе горячего дутья, железной, с полутораметровым диаметром, трубе, обрушилась кладка из огнеупорного кирпича. Это сразу сказалось на ходе домны.

— Зарезали без ножа,— сказал Варгазин с болью в голосе.

Он нервно ходил по вздрагивающим железным плитам, устилавшим пол вокруг домны, и то и дело смотрел через синее защитное стекло в светящиеся глазки фурм. Но и простым глазом было видно: огонь в сердце домны медленно меркнуть. Варгазин горько усмехнулся Васе и отчаянно махнул рукой.

От воздухопровода так и несло нестерпимым жаром.

Прикрывая ладонями занывшие глаза, Вася заглянул в темное горло трубы. Где-то в глубине ее обрушились кирпичи и огнестойкая наварка, раскаленная до 800 градусов, и он, Вася Маслов, должен был извлечь их оттуда.

Пока воздухопровод остынет хотя бы градусов на 50, ждать придется по меньшей мере сутки. Сутки домна не будет иметь правильного режима плавки. Что это значит, хорошо понимали и Вася, и Варгазин, и рабочие, которые стояли на площадке и старались не смотреть в глаза друг другу.

Варгазин чертил что-то в своем блокноте.

— Неважные дела, мастер, а? — сказал он, по-прежнему заглядывая в глазок фурмы.

— Да, грубая неудача. Не повезло нам, Петр Алексеевич,— тихо ответил Вася, не узнавая своего голоса.

...Дома Вася не мог найти дела и чувствовал себя потерянным. Мысль о домне беспокоила его почти физически. «В конечном счете я ведь не отвечаю за ход плавки,— думал он.— Мое дело — ремонт, а опуститься сейчас в трубу — все равно что в печь крематория: сгоришь, и пепла не найдут». Но тут он вспомнил мрачное, искаженное болезненной гримасой лицо Варгазина, подсчитывающего количество металла, который они недодадут стране из-за аварии, и, вытащив свою книжку, Вася принялся делать расчеты. Цифра получилась внушительная. Несколько часов Вася бродил вокруг дома, потом пошел на завод. На рабочую площадку домны уже подвозили бледно-красные огнеупорные кирпичи, подготовляя материал для ремонта. Температура в воздухопроводе была еще очень высокая.

— Иди, иди, нечего тебе пока здесь делать! — крикнул ему обер-мастер.— Гуляй, набирайся сил.

Вася немного походил вокруг домны, не решаясь заглянуть в медленно бледнеющие огоньки фурм, потом спустился на заводской двор. Красивый огненный факел над домной теперь пробивался в воздух робкой и дрожащей струйкой, и Васе было больно смотреть на это.

Солнце уже перекатилось на западную половину неба, и домна отбрасывала быстрорастущие тени. Непривычно молчали лежавшие на железных колоннах гигантские трубы воздухопровода.

...Варгазина Вася застал дома сумрачным и раздраженным. Инженер сидел на балконе и, оперев голову на ладони, смотрел в сторону завода. На коленях у Варгазина лежала газета.

— Петр Алексеевич,— сказал Вася,— попробуем начать ремонт воздухопровода.

— Сейчас? — удивленно переспросил Варгазин и даже уронил газету.— Но там еще адская жара...

Вася, не отвечая, решительно пошел к двери, и инженер, немного поколебавшись, последовал за ним.

Когда они в третий раз поднялись на домну, труба воздухопровода, охлаждаемая уже в течение восьми часов, имела температуру около 150 градусов.

— Полезу вниз,— сказал Вася.

— Ну, ты, брат, с ума сошел! — удивился инженер.— Не картошка в мундире, в печеном виде несъедобен.

— Три минуты,— убежденно сказал Вася.— Определить размеры повреждения — и обратно.

— Орел! — сказал обер-мастер.— Ишь что выдумал. Ты бы еще в горящий горн полез.

— Петр Алексеевич, помните наш разговор на берегу? — как бы не слыша обер-мастера, продолжал Вася.— Вот как раз такой случай.

— Ты чуешь, Маслов, какая там температура? — Варгазин даже отвел глаза в сторону, чтобы не смотреть на друга.— А кто отвечать будет?

— Петр Алексеевич,— начал Вася снова, и голос его зазвенел от волнения. — Я в последний раз обращаюсь.

Варгазин посмотрел на обер-мастера, потом на рабочих, как бы спрашивая у них совета, подумал и махнул рукой.

Когда Васю, обмотанного вокруг пояса веревкой, медленно опускали в черную пасть трубы, он был похож на неуклюжего водолаза, готового к спуску под воду. Голова и лицо его были обмотаны тугими платками. На нем были еще ватная куртка и ватные штаны, на руках зимние рукавицы. Все открытые части тела хорошо защищались от воздуха, и только узкая щелочка для глаз позволяла Васе коекак ориентироваться в темноте воздухопровода.

Он пробыл в трубе всего несколько минут, но этого было достаточно, чтобы определить размеры обвала и прикинуть количество нужного кирпича. Когда его вытащили, Вася тяжело дышал, и даже под рукавицами ладони его были красные и мокрые, точно обваренные.

Варгазин подошел к трубе, робко протянул вперед руку и тотчас отдернул ее назад.

— Ну и ну, Маслов! — только сказал он.

— Характер! — восхищенно воскликнул обер-мастер и, помогая Васе раздеться, обнял его.

Когда температура в воздухопроводе упала до 100 градусов, Вася снова полез вниз. На этот раз ему на веревках спускали кирпичи, и Вася начал ремонт. Он слышал, как наверху Варгазин отдал распоряжение поддувать в трубу с другого конца холодный воздух, чтобы хоть немного понизить температуру. Потом до него донеслись глухие голоса рабочих, передававших друг другу слова Варгазина, но температура в трубе не падала. Холодный воздух нагревался от стенок воздухопровода раньше, чем успевал подойти к нему.

От стенок трубы несло жаром, как из открытых окон мартеновской печи. Сердце Васи сжалось на мгновение холодным ознобом — такая была духота в трубе. Сухой, обжигающий гортань воздух с трудом проходил в легкие. Спина у Васи моментально стала мокрой, одежда прилипла к телу и мешала двигаться. К тому же он работал на полувесу. От невероятного физического напряжения у него заныли мускулы рук и ног, и Вася боялся, что все тело сведет судорогой.

Через пять минут его вытащили наверх. Немного отдохнув, Вася снова спустился в трубу. И так он работал несколько часов.

Один раз Вася почувствовал себя совсем плохо. Он захватил в руки слишком тяжелую стопку кирпичей. У него закружилась голова. «Держись!» — крикнул он сам себе. Чтобы побороть жару и духоту, сжимавшие ему сердце, он стал напряженно думать о прохладе моря, о купании и разговоре с Варгазиным, о Вале Синичкиной, о людях, которые стояли наверху и думали сейчас о нем. Он, наверно, все же упал бы в обморок, если бы его в этот момент не вытащили наверх за привязанную к поясу веревку.

Когда Вася, немного придя в себя, открыл глаза, он увидел Валю Синичкину. Черные смеющиеся точки ее глаз были так близко, что Вася чуть отодвинулся в сторону.

— Что, уже приехала? — спросил он, пытаясь скрыть улыбку, которая, казалось, сама растягивала его губы.

Валя, нахмурив брови, только молча протянула ему кружку с водой. Вася взял кружку и хотел еще что-то спросить у нее, но его прервал голос Варгазина. Инженер говорил, видно, с кем-то из гостей.

— Вот я недавно прочитал,— гудел над самым ухом Васи голос Варгазина,— как один американский сенатор разглагольствовал о подневольном и свободном труде. Хотел бы я посмотреть на того американского парня, кото-

рый бы полез в трубу, нагретую до ста градусов, если бы не надеялся получить за это дополнительную пачку долларов. Сделал бы он это ради, скажем, заводской чести, ради дополнительных тонн металла, нужных стране?.. А, черта с два!

— Дурак твой сенатор! — сказал гость.— Что о нем говорить!

...Отдохнув дома, Вася пришел в цех, когда домна уже шла полным ходом. Ремонт неостывшего воздухопровода сэкономил около десяти часов, и заводской паровозик уже тащил по ветке ковши с чугуном, выплавленным за то время, которое Вася вырвал у аварии.

Вася шел по путям за составом и считал ковши, закладывая на ладони пальцы. В глубине заводской территории он увидел делегацию с соседнего завода. Гости направлялись к мартеновскому цеху. В их группе Вася различил знакомую девичью фигуру, и сердце его стянуло волнением.

Он не заметил, как подошел к самому мартену. От ковшей поднимались вверх прямые столбы огня и, точно огромные прожекторы, освещали быстро темнеющее небо. Светлая дорога тянулась по нему до самой домны, а там, над тяжелой короной из газовых труб, по-прежнему бился, расплескивая искры, фонтан света — немеркнущий факел, зажженный над заводом.

ПОЕЗД ШЕЛ ИЗ ДОНБАССА



Поезд шел из Донбасса. За окном вагона то и дело мелькали трубы заводов, промышленные стройки, высокие шахтные копры и рядом с ними большие холмы из угля и шлака, разбросанные по всему необозримому степному простору. Вечерело. Еще не зажегся свет ни в вагоне, ни в частых здесь станционных постройках, и в наступивших сумерках как-то особенно сурово и величественно выглядел знакомый донецкий пейзаж.

В купе часто менялись пассажиры, но те, что ехали далеко — в приятном полумраке, располагающем к откровению,— уже успели разговориться. Как и всякий дорожный

разговор между малознакомыми людьми, он перепрыгивал с предмета на предмет, но больше всего касался волнующей всех темы — восстановления Донбасса.

На нижней полке у самого окна сидел парень в светлом пиджаке, перехваченном у пояса толстым армейским ремнем, и в форменных флотских брюках. Из-под расстегнутой у ворота рубашки виднелся голубой край матросской тельняшки — «кусочек морской души».

Высокий лоб парня был рассечен глубоким шрамом, доходящим чуть ли не до самого глаза. Эта глубокая вмятина на лбу, которая могла бы изуродовать иного, придавала парню оттенок суровой мужественности и гармонировала с почти не меняющимся на его лице выражением внутренней сосредоточенности и раздумья.

Но как-то было странно: ни голос, ни движения парня не соответствовали выражению его лица: волнуясь, он говорил сразу с несколькими пассажирами, с азартом и вдохновенно спорил и, казалось, был доволен уже одним тем, что его внимательно слушают. Время от времени он вытаскивал из бокового кармана папироску и спрашивал: «Кто-нибудь курит, товарищи? Есть огонек?» И только по тому, как он нащупывал в воздухе руку соседа, а потом, поднеся к глазам зажженную спичку, долго держал ее перед неподвижными зрачками, новые пассажиры в купе понимали, что парень со шрамом слеп.

— У меня брат в Мариуполе сталь варит,— сказал он, когда в купе зашел разговор о восстановлении заводов юга.— Там один мартеновский цех — что твой завод. Немцы-то разрушили его совсем.

— Ну, а сейчас что там? — спросил сидящий напротив железнодорожник.

— Сейчас — ого! — Парень улыбнулся своему невидимому собеседнику.— Мартены уже гудят, да какие: до четырехсот тонн емкостью. Когда начинают готовую сталь выливать — так точно пожар над городом. Сильное зрелище!

Все в купе замолчали и с удивлением посмотрели на парня. Почувствовав, видимо, в наступившей паузе невольное недоумение соседей, он тихо добавил:

— Я сейчас не совсем слепой, свет от тьмы отличаю.

— Пламя-то, наверно, видишь? — спросил железнодорожник.

— Вижу,— обрадованно сказал парень, поворачивая го-

лову на знакомый уже голос.— Потому и в цех часто ходил, к брату.

— Так, жизнь идет,— подсаживаясь к парню и заглядывая ему в лицо, сказал железнодорожник.— Возьми хотя бы шахты. Чего только там немцы не вытворяли! И взрывали, и водой заливали, а вот он, уголек, катится,— и он показал на товарный состав, идущий по вторым путям.

— Жизнь не взорвешь — это закон! — сказал кто-то в купе.

За окнами вагона плыла и плыла бесконечная степь, обволакиваемая сумерками. В глубине ее то здесь, то там вспыхивали теперь мерцающие огоньки, множились, росли, вытягивались в длинные светящиеся цепочки и бежали вслед за поездом.

— Красивый этот край! — мечтательно произнес железнодорожник.

— Как сказка!..

— Мне до войны не пришлось тут побывать, но брат приезжал в Ленинград и рассказывал. Тут не земля, говорит, а счастье — чего только в ней нет.

— Верно,— согласился железнодорожник.— Через два года тут ничего не узнаешь. Это факт.

В купе вошел кондуктор и зажег свет. Сразу же за окнами стало совсем темно. Только огненные пучки искр сыпались из-под паровозных колес и, прорезывая ночь, разносились ветром в стороны. Разговоры в купе стали понемногу стихать; вскоре почти все уже расстилали свои постели, готовясь ко сну.

— Что, уже отдыхать укладываетесь, товарищи? — спрашивал парень.— Рано еще.

— Нет, пора,— ответил железнодорожник.— Мне рано вставать.

— Ну, тогда еще огонька дайте! — попросил парень и закурил папироску.

Спать ему, видимо, не хотелось. Он медленно курил, глубоко затягиваясь и держа все время горящий конец папиросы перед глазами. На лице его, сохраняющем все то же выражение раздумья, должно быть, самим им забытая, светилась мечтательная улыбка. Он изредка шевелил губами, шепотом повторяя про себя какие-то слова.

На одной из станций в купе вошел новый пассажир, высокий военный моряк с погонами старшины. Он легко забросил на багажник два своих больших чемодана и, подтянувшись на руках, забрался на верхнюю полку.

— На станции буфет есть?.. Никто не ходил? — спросил слепой.

— Есть там всякая всячина... поезд долго стоит, сходите,— ответил моряк.

— Нет, один я не могу.

— А что? — тут же спросил моряк и, перевесившись туловищем через край полки, заглянул вниз.

— Голос что-то мне ваш знакомый,— сказал слепой.

— Ой, Матекин?! — изумился моряк.— Миша Матекин. Господи боже мой, ну, давай лапу, милый ты мой! — закричал моряк, протягивая вниз свою большую ладонь.

— Никита Гукайло,— тихо произнес слепой, и в голосе его что-то дрогнуло.— Ну, слезай, садись рядом. Дай пощупаю, какой ты.— И он взял в обе ладони руку моряка и начал ощупывать ее; добрался до плеча, потрогал голову.— Ну да, ты! — сказал он, поправляя погоны на плече моряка.— Ну, точно. Рассказывай, служишь на Черноморском? Где?

— Нет, теперь сухопутный, демобилизовался.

— А погоны? — спросил парень.

— Еще не снял. Да ты что обо мне? — перебил моряк.— Ты-то как живешь, Миша, дорогой товарищ? Где ранило? Там, в Ленинграде?

— Нет, в морской пехоте.

— Ну, а сейчас как? — спросил моряк, обнимая друга за плечи.

— Сейчас лечусь. От профессора еду из Одессы. Знаменитый профессор, он мне операцию сделал.

— Так ты меня уже видишь, Миша?..

— Тебя — нет. Много ты сразу хочешь,— сказал слепой.— А вот зажги спичку. Огонь вижу, красный такой язычок,— радостно сказал он, протягивая пальцы к горящей спичке.— Раньше для меня круглые сутки — темная ночь, а теперь уже нет. Хоть чуть-чуть, но вижу.

— Так,— тихо протянул моряк, полез за платком и вытер им сухие глаза.

— Полгода я добивался этой операции,— продолжал парень.— Все меня к разным врачам посылали. Но ни один не берется. То да се, сложный-де очень случай, и риск большой.— Он передохнул и продолжал взволнованно:— Не посылают, а я все настаиваю: в Одессу, к профессору пошлите, и все.

— А что говорит профессор ваш, бог?..

Слепой улыбнулся краешком губ.

— Не знаю, бог он или нет, а только он меня видел год назад и сказал: «Моряк, глаз у тебя живой, но нужно выждать год, и мы за него примемся». И я ему говорю: верю, мол.

— Ну и что же? — быстро спросил моряк.

— А то, что думал я, думал, да и пошел к нашему адмиралу. Он знает меня, сам орден вручал. Адмирал от себя личное письмо написал. «Прошу, мол, вас, профессор, сделать все, что в силах науки, для героического балтийского моряка». Вот с этим письмом я и поехал.

— Один поехал?

— Один. Я же по своей стране еду. Мне люди помогают. В Одессе лежал я месяца полтора в клинике у профессора. И вот вернул он мне одну сотую зрения. Только одну сотую. Но это только начало, говорит, нашей с тобой работы. Отдохнешь — и сделаем еще одну операцию, потом, может быть, еще одну, и, в общем, видеть будешь.

— Большой человек профессор,— сказал моряк, и по тону его трудно было определить, вопрос это или утверждение.

— Большой!

Они немного помолчали оба, прислушиваясь к ночным шорохам в вагоне, стуку колес, дыханию спящих соседей.

— Я вторую ночь только по нескольку часов сплю,— сказал слепой.— Все думаю.

— А я домой еду, в Ворошиловград,— сказал моряк.— На корабль письмо прислали из угольного треста. Приглашаем, мол, тебя, товарищ Гукайло, занять старое место на врубмашине. А внизу подписей десятка полтора. Все старые друзья.

— Значит, прямо домой? — спросил парень, и снова широкая светлая улыбка озарила его лицо.— Жена ждет тебя.

— Ждет, и дочь ждет. Родилась в самый конец войны. Как наши Берлин взяли, так и родилась.— Моряк полез в карман гимнастерки, вытаскивая карточку, но, взглянув на слепого, резко сунул ее назад.

— Ага,— сказал парень.— Значит, знала, когда родится. Дитя мирного времени.

— Мирного,— подтвердил моряк.— Но ты знаешь, Миша, никак не могу решить. Хотел я сейчас в Ленинград съездить, пока отпуск, а то ведь не скоро вырвешься. По городу погулять не торопясь, друзей вспомнить, бои вспо-

мнить, как мы там, под Ленинградом, дрались. Хорошо ведь, а?

— Хорошо, конечно, хорошо. Ну так поедем. За городом побродим, где наша линия проходила.

— А жена-то говорит, уже полпуда бумаги извела на письма. И дни по пальцам считаем, оставшиеся до встречи. Вот и выбирай,— сказал моряк и развел руками.

Кто-то открыл окно, по вагону прошелся свежий холодный ветерок. Громче застучали колеса. Стало слышно, как тяжело отдувается паровоз на подъеме, и вместе с порывом ветра ворвались в душный вагон запахи ночной степи, подсыхающего чернозема. Слепой повернул голову к окну, ноздри его расширились, он глубоко дышал, точно пил воздух большими глотками.

— Станцию-то проехали, я забыл в буфет сходить,— сказал моряк.

— Ничего, поговорим лучше,— попросил слепой и, обхватив моряка за плечи, подвинулся к нему.

— Ого, силенка есть,— заметил моряк.— Дай бог.

— Есть, куда ей деваться. Как-никак известный в прошлом спортсмен, гремел по стране. Слышал, может быть, Никита.

— Знаменитый форвард,— сказал моряк,— пушечный удар по воротам, снайпер кожаного мяча.

— Ну, ну, хватит,— смущенно сказал слепой.— Хватаешь через край.— И, помолчав, добавил:— На стадионы хожу — игру слушать.

— По тому, как народ волнуется, можно все определить,— заметил моряк.

— Вот и определяю,— сказал парень.— Может, лучше другого зрячего. Я игру нервами чувствую. А в Ленинграде сейчас хорошо. А какой город!..

— Город как песня! — сказал моряк.— Словами не расскажешь. Крепко его восстанавливают. Я по газетам все время слежу. Заметки читаю.

— Да что читать! — перебил парень.— Это самому видеть надо. Зимний дворец как изрешетили пулями! А сейчас там царапинки не найдешь.

— А Исаакий? — живо спросил моряк.

— На нем на самой верхотуре купол чистят. Снова будет золотом блестеть на солнце. Да разве тебе все перечислишь. Сколько домов, мостов, памятников восстановили, сколько уже нового понастроили. Я за всеми новостройками слежу и все, что в городе делается, знаю.

— Да,— мечтательно протянул матрос и вдруг внимательно посмотрел в лицо слепому. Оно светилось радостью.

В вагоне было душно, и светлые капельки пота катились по глубокому шраму и застревали на ресницах. Слепой смахивал их резким движением ладони и продолжал говорить:

— Эх, Никита, о том, что сейчас в городе делается, я мог бы тебе всю ночь рассказывать. Глаза у меня временно отказали, но душа-то...

— Эх, крепкой ты отливки человек,— взволнованно перебил его моряк,— я всегда о тебе хорошо думал,— и он, смущаясь, неловко притянул к себе парня за плечи.

— Ну, ну, брось нежности эти,— и губы у слепого дрогнули.— Не бабы мы. Чего там.

По вагону прошелся кондуктор.

— Где мы сейчас, папаша? — спросил моряк.

— К Ворошиловграду подъезжаем.

— Ну так добре,— сказал матрос.— Еще немного — и буду на батьковщине. Миша, милый ты мой, вот ты приедешь домой, и планы у тебя какие?

— Лечиться буду до конца,— ответил слепой, и изломанные шрамом брови его тесно сдвинулись к переносице.

— Ну да, это конечно, — заторопился моряк. — Потом, потом что будешь делать, в перспективе?...

— В перспективе? — растерянно повторил слепой. Наверно, вопрос показался ему неожиданным. Он помолчал несколько секунд, потом поднял вверх голову.— Эх, Никита, планов целый вагон и маленькая тележка. Жизнь большая. Учиться буду,— сказал он вдруг резко.— Крепко буду учиться и своего добьюсь.

— Добьешься, Миша,— сказал моряк.— Этот вопрос ясный.

Поезд подходил к Ворошиловграду, и моряк начал собирать вещи.

— Привет жене и дочке не забудь,— говорил слепой, сжимая в обеих ладонях руку моряка.— А то, может быть, съездим в Ленинград.

— Нет, в другой раз. Решил. После твоих рассказов я город как перед глазами вижу. Но в первый же отпуск к тебе. Жди.

— Буду,— сказал слепой.

— А поедешь снова к своему профессору, заглядывай к Никите Гукайло. Не забывай шахтера.

— Ладно,— сказал слепой.— Я этой встречи не забуду. Пожелай мне удачи.

Моряк обнял парня за плечи, неловко притиснул его к груди и, отворачивая от света покрасневшее свое лицо, несколько раз поцеловал товарища в лоб.

У Ворошиловграда поезд стоял полчаса, затем показались красные, зеленые огоньки, огромным белым глазом заглянул в окно встречный паровоз, и снова рядом поплыла степь, бескрайняя и волнующая. Встреча с другом, видимо, разволновала слепого. Он курил одну папироску за другой, часто вставал и, сделав два шага в тесном проходе купе, снова садился на свою полку. Уперев локти о столик и положив на ладони голову, слепой замирал в неподвижности, и тогда трудно было определить, заснул ли он уже или все думает неотступно какую-то большую, захватившую его целиком думу.

...Я тоже не спал и думал о мужестве человеческого сердца, суровом и прекрасном, как сама жизнь.

ИНЖЕНЕР МЕРЗЛЕНКО



сенью сорок седьмого года я приехал в город Краматорск, на Ново-Краматорский завод. Он, как и многие заводы Донбасса, подвергся разрушениям, но к тому времени был уже в основном восстановлен и красив по-прежнему, как и в довоенные годы. Это был завод-сад. Деревья здесь росли так густо и так смыкались их кроны над аллеями, что от одного цеха не было видно стен другого, хотя он мог находиться в тридцати метрах.

И хотя завод все еще продолжал восстанавливаться, люди на Ново-Краматорском уже думали над задачами технического прогресса, были поглощены интересной творческой жизнью.

Я как-то вечером шел к заводу с двумя инженерами, своими новыми знакомыми. Ново-Краматорский казался мне издали гудящим островом света, который как бы плыл над землей, время от времени выбрасывая в небо огненные факелы мартеновских плавок.

— Какой заводище-то, а? — сказал Иван Леонидович Мерзленко.

Мимо промчался звенящий вагон трамвая. Рабочие, едущие к смене, хором пели.

— Працювать едут и песни спивают — это только в наших краях услышишь!

— Да, это хорошо, Иван,— согласился Дубицкий.— Но ты прости меня. Я всю дорогу думал об одном, о нашем споре. В конечном счете я вправе спросить тебя, инженер Мерзленко, где твое чувство ответственности?..

— Ого,— удивился Мерзленко и замедлил шаг.

— Суда останутся в тяжелых льдах,— продолжал Дубицкий,— ты знаешь это хорошо, если завод не сделает судовые валы вовремя. Ведь все было хорошо, пока ты не появился со своим предложением. Твой способ представляет интерес, но в условиях бронзы он не опробован. Это сопряжено сейчас с большим риском, именно сейчас. Вот если бы ты,— Дубицкий ласково взял Мерзленко за локоть,— думал бы сейчас не об эффектном риске, а вот о том, что в случае неудачи корабли останутся во льдах, а твой старый друг...

— Мой старый друг рискует получить выговор по службе.

— Ты смеешься,— сказал Дубицкий с обидой.— Еще в институте я считал тебя человеком, умеющим мысленно раздвинуть стены своего цеха. И, кажется, ошибался.

...Они быстро прошли проходную, когда гудок на первом механическом известил о начале смены. Обгоняя знакомых, которые приветствовали Мерзленко, инженеры пошли еще быстрее, а потом и молча побежали к цеху, по-спортивному поджав локти к бокам.

Неделю назад вызванный телефонным звонком жены Мерзленко приехал домой и застал там гостя. Гость поднялся ему навстречу из-за стола и, поглаживая черные ниточки усов, которые плохо вязались с его краснощеким свежим лицом, крепко обнял ошеломленного Мерзленко.

— Чертовски удачно, что мы встретились именно здесь! — воскликнул он и трижды, по дедовской манере, расцеловал Мерзленко в щеки.

Когда же Мерзленко мысленно отбросил в сторону усы и вгляделся в гостя, он узнал товарища по институту инженера Дубицкого.

— Три часа вел допрос с пристрастием твоей жены,— сказал гость.— Значит, ты здесь недавно, а раньше?..

— На Дальнем Востоке,— сказал Мерзленко,— на заводах, а до того на фронте.

Последний раз Мерзленко и Дубицкий виделись в самый канун войны. Тогда они получили на руки дипломы и готовились разъехаться в разные стороны.

— Не похорошел ты за эти годы,— сказал Дубицкий.— Видно, досталось?

— Да, поработал, а ты? — спросил Мерзленко.

— Ну и я. Первый год был на судостроительном и на судах плавал, но в сорок третьем сел в аппарат, в трест, и уже не вылезал оттуда. Правда, вот форму ношу как память о былых походах.

— Да, моряк, сразу видно,— улыбнулся Мерзленко, оглядывая стройную, затянутую в китель фигуру товарища.

Уже ночью, потушив свет в кабинете, Мерзленко еще долго ворочался в кровати, вспоминая рассказ гостя...

Дубицкий приехал на завод контролером треста, чтобы принять необычный для завода заказ — судовые валы. Он рассказал товарищу историю этого заказа, и Мерзленко живо представил себе, как за тысячи километров, за тридевять земель от завода, в далеком Карском море движется большой караван полярных советских кораблей. У них длинный маршрут по Северному морскому пути, но ближайшее препятствие — узкий пролив, где суда поджидают тяжелые льды. На помощь каравану в одном из советских портов снаряжается мощный ледокол.

Но вот выясняется, что на ледоколе надо срочно заменять старые судовые валы новыми, и сделать это как можно скорее, чтобы ледокол не пропустил сроки навигации. Огромные десятиметровые валы требуют особой обработки, специальных станков.

Известный полярник обращается к директору крупнейшего машиностроительного завода, а через него ко всему коллективу с сердечной просьбой изготовить эти валы. Директор завода соглашается, и выбор падает на цех Мерзленко.

«Двойная ответственность,— подумал тогда Мерзленко.— Сроки и новизна работы. И слово завода, которое надо сдержать».

...У него была уже тогда на руках путевка на курорт и шел первый день его очередного отпуска, когда Мерзленко вошел в кабинет директора завода. Павел Федорович

сидел в своем кресле и держал на коленях лист ватманской бумаги. Подойдя ближе, Мерзленко узнал знакомую всему заводу большую диаграмму. В ней значились наименования основных агрегатов, которые выпускал завод, и против каждой машины были проставлены сроки их изготовления. Павел Федорович красным карандашом заштриховывал один из квадратов, и это означало, что в этот день завод выполнил план по одному из видов своей продукции.

Такую же карту, только меньшую размером и переведенную на кальку, Мерзленко носил в кармане и, как почти все инженеры, мастера и рабочие, делал в ней ежемесячные пометки.

— Отметьте у себя шахтные машины, Иван Леонидович,— вместо приветствия сказал директор и протянул Мерзленко карандаш.

Прямо от окна директорского кабинета начиналась главная заводская аллея, обсаженная высокими тополями. Аллею пересекали железнодорожные пути, и заводские паровозы окутывали облаками дыма заросли сирени и акаций. Во время хозяйничанья немцев на развалинах цехов завелись зайцы и даже дерзко шмыгали в кустах лисицы.

Павел Федорович проследил взгляд Мерзленко, спросил:

— Собственно говоря, почему вы все еще здесь, а не на сочинском пляже? Честное слово, не выполните норму загара — взыщу!

Тогда Мерзленко развернул на столе чертежи.

— Новая технология изготовления судовых валов — метод индукционного нагрева бронзовых рубашек! — сказал он.

— Что, что? — переспросил директор и тяжело спрыгнул с подоконника, перебрался в свое кресло.

— Устраняется сложный и долгий процесс нагревания стальных валов в печах и капризный способ горячей насадки, — сказал Мерзленко.

— Э, подожди, дорогой,— сказал Павел Федорович, надевая очки.— Бронзу ведь никто еще никогда так не грел, мы не знаем опробованной технологии, и притом двухметровый цилиндр рубашки! Ох, Мерзленко! — вздохнул директор.— Уж лучше бы вы загорали на пляже.

К Павлу Федоровичу зашел тогда парторг ЦК на заводе Матросов, и они втроем засели за схемы.

Конструктор по профессии, Матросов был выбран парторгом недавно и говорил, что теперь будет делать лучшие машины, так как увидел завод целиком и узнал людей.

— Да, идея значительная и решение смелое,— сказал Матросов.— Ясно, что прежняя технология устарела. Индукционный метод Мерзленко позволит нам нагревать рубашку в самом процессе насадки ее на вал.

— Идея с будущим,— согласился и Павел Федорович.— Но пока это только эксперимент, а задание архисрочное.

— Да, проектик острый, автору же, между прочим, никак нельзя пропустить купальный сезон,— серьезно заметил Матросов.— Придется укладываться покороче, парторг прав, и мы вас поддержим, но не забудьте и про отдых,— сказал директор, пожав руку Мерзленко.

...Парторг оказался прав, нашлись скептики, предсказывающие неудачу, но самое резкое сопротивление Мерзленко встретил со стороны Дубицкого, и это ошеломило его. Не возражая по существу метода, он упирал на то, что малейшая неудача сорвет сроки изготовления валов. Размахивая руками, он кричал до хрипоты о ледовой обстановке, Арктике и судах, которые могут зазимовать во льду по вине Мерзленко. Варя, которая и сама была инженером и держала сторону мужа, старалась сгладить остроту их реплик.

— Ваня,— говорила она мужу,— не забывай о священных традициях гостеприимства.

— Я не знаю, выдержишь ли ответственность, которая может лечь на твои плечи! — воскликнул как-то Дубицкий в запале спора.

— Я коммунист, Григорий,— сказал ему тогда Мерзленко.— Поищи ответ в этом слове.

...Судовой вал лежал на широком деревянном подмосте, но один его конец свободно провисал в воздухе, и рабочие с помощью мостового крана подводили к нему двухметровую бронзовую трубу.

— Не рубашка, а вся рубашища,— усмехнулся кто-то в группе рабочих.

— Сюда Гулливера спрятать можно, и ног не увидишь.

— Надо так посадить ее,— объяснял товарищу знакомый Мерзленко электрик,— чтобы ни малейшего зазора, чтобы воздушный пузырек не пробежал, а то мертвый брак, и пожалуйста — все начинай сначала!

— У Мерзленко выйдет, он сам, говорят, в рубашке родился,— пошутил кто-то.

Мерзленко оглядел пролет. В эту ночь цех был заполнен людьми до отказа. Остались рабочие со второй смены, к ним присоединились инженеры и мастера из других цехов. Мерзленко увидел группу руководителей завода. Павел

Федорович и Матросов еще издали приветствовали инженера.

До начала оставалось несколько минут, и Мерзленко, еще раз просмотрев схему, ощупал руками каждый виток проволоки. Уверенность в том, что схема правильная и новый метод нагрева оправдает себя, не покидала инженера. Но тревога за успешный ход опыта овладевала им все сильнее с каждой минутой, приближающей начало эксперимента. Мерзленко почувствовал, что ему жарко, и снял пиджак.

У распределительного щита он случайно столкнулся с Дубицким. Тот посмотрел на него, вертя в пальцах небольшой молоточек, которым он собирался простукивать рубашку, определяя плотность ее прилегания к валу.

— Волнуюсь, Гриша,— признался Мерзленко, но Дубицкий что-то пробурчал в ответ и отвел в сторону глаза.

Потекли томительные минуты ожидания. Мерзленко подошел к валу и присел около него на корточки. Он пытался разглядывать схему, но мысли его сбивались, и он отложил чертеж в сторону.

— Расширяется рубашка, видишь, Мерзленко,— сказал Матросов.— Давайте команду!

Инженер подал знак, чтобы бронзовую рубашку надвигали на вал.

Кран осторожно поднял трубу, обмотанную густой паутинной сетью проволочек, и поднес ее к неподвижному концу судового вала. Все это продолжалось секунд тридцать, и Мерзленко невольно представил себе, как по старому методу пришлось бы им долго нагревать трубу в печи, потом, раскаленную, торопливо насаживать на вал, чтобы металл не успел остынуть и сжаться. «Не минуты, а часы, часы выигрываем!» — подумал он.

— В середине расширяется больше,— сказал кто-то, и Мерзленко вздрогнул, точно от удара. Он еще ниже наклонился над валом. Действительно, бронзовая рубашка сильней расходилась в середине. Бронза прогревалась током неравномерно и, значит, в какой-нибудь части раньше времени могла сцепиться с валом.

— Послушайте,— сказал Матросов, обращаясь то к Мерзленко, то к группе инженеров и рабочих, плотным молчаливым кольцом обступивших вал.— Послушайте, ведь если, скажем, воду вылить на пол, она ведь столбом стоять не будет. Так и тепло разойдется по всему валу, должно

сейчас разойтись...— но Мерзленко подумал, что это неважный аргумент.

Бронзовая рубашка с трудом проползла еще несколько сантиметров и крепко схватилась с телом вала.

— Закусило! — ахнули рабочие.

Мерзленко почувствовал, как остро заныла у него спина от долгого сидения на корточках. Он резко отбросил схему в сторону. Не оставалось сомнений в том, что случилось самое страшное. Мертвой хваткой бронза сцепилась с металлом судового вала. Никакой силой нельзя было уже раздвинуть их.

— Ну вот,— сказал подошедший откуда-то Дубицкий.— Теперь видишь, что случилось. Задержка! Катастрофа! Что же мы доложим в трест? — спросил Дубицкий; вид у него был растерянный. Так и не дождавшись ответа, он тяжело вздохнул и вышел из цеха.

Кабинет Мерзленко — небольшой деревянный домик — стоял прямо посередине цеха. Там был широкий стол, вокруг которого рассаживались мастера на производственных совещаниях, несколько вертикальных чертежных досок, почти упирающихся в потолок. Сидя за своим столом, Мерзленко через окна домика видел пролеты цеха. Теперь, войдя к себе, он сразу задернул все полотняные шторки на окнах.

На столе лежали схемы, основные расчеты. Мерзленко придвинул их к себе. От волнения у него разболелась голова.

«Что это: провал, срыв ответственного задания?» — подумал Мерзленко, и ему стало страшно от мысли, что цех не успеет теперь изготовить судовые валы вовремя.

Когда в кабинет к нему постучался и вошел Матросов, голова Мерзленко лежала на чертежах, и казалось, что инженер спит.

— Что, черные мысли в душу скребутся?— спросил Матросов еще на пороге.

— Нет, ничего,— ответил Мерзленко, поднимая голову. Он поморщился точно от боли, сердясь на себя за то, что парторг застал его в такой позе.— Я размышляю!

— Приказ: голов не вешать, Иван Леонидович, слышали небось, как про такой приказ в песне поется. Не размышлять, а думать неотступно и искать ошибку. Ну, хлопче, ну! — Матросов придвинул к себе стул.

— Вот я и думаю,— сказал Мерзленко, сердито подвигая к себе чертежи,— думаю, что не зря мы решились на индукционный метод. Расчеты правильны, тут что-то в чертежах. Надо найти, что именно.

— Вот и поищем,— сказал Матросов. Он снял пиджак и засучил рукава рубашки.— Вот и поищем вдвоем, а если мало окажется, то и втроем, и вчетвером. А ответственности нам пугаться не приходится,— сказал Матросов и погрозил кому-то кулаком в окно.— Не положено,— добавил он,— как советским инженерам, во-первых, и как коммунистам, во-вторых. Да и вообще не к лицу!

Было уже три часа ночи, когда Мерзленко вышел из цеха проветрить голову на свежем воздухе. Он прошел в парк.

Ветер на центральной заводской аллее шумел морским прибоем. Сильные потоки света выливались в парк из раскрытых дверей цехов, и там было видно, как с деревьев косым дождем летят желтые листья.

Когда Мерзленко вернулся в цех, он застал в своей конторке Матросова и несколько инженеров. Все они возились с трансформатором.

— У нас тут новые мысли,— сказал Матросов.— Не увеличить ли мощность трансформатора?

— Ну, а дальше? — спросил Мерзленко.

— Дальше изменим режим нагрева.

— Да, пожалуй, мысль,— сказал Мерзленко.— В самом деле, у нас от медленного нагрева вместе с бронзовой рубашкой расширялся и сам вал. Я ведь думал об этом.

— Эх, умная голова дураку дана, прости меня, Иван Леонидович, что бы раньше поделиться сомнениями. Простая же мысль, честное слово,— радовался Матросов.

— Нет, надо еще проверить, проверить, осторожней с выводами, обожглись уже,— предупредил Мерзленко и сел за стол.

— А где сейчас наш трестовский уполномоченный? — спросил у него через минуту Матросов.— Что он делает?

— Волнуется,— ответил Мерзленко.

— Ну, нам с его волнений шубу не сшить,— сердито сказал Матросов.— Истерики закатывает, барышня!

— Есть немного,— сказал Мерзленко.— Вот уже целую неделю он мне твердит одно: льды, Арктика, ответственность и снова льды, полярные суда. И внутренне уверен в своей правоте, в своей моральной непогрешимости.

— Вот, вот, за крикливой фразочкой, за показным вол-

нением душевная и умственная лень-матушка. Инженер с рыбьей, холодной кровью. Ищем жизни спокойной — вот,— ожесточаясь, сказал Матросов.— Видишь ты это, Мерзленко, он ведь товарищ твой.

Потом парторг подошел к телефону, позвонил директору.

— Набросай свою идею на бумаге, Иван Леонидович,— сказал он, опустив трубку.— Директор просит. Кстати, звонили из министерства, и Павел Федорович представил твое предложение. Так что ты уже объявлен, и остается самое малое.

— Что же?

— Доказать свою правоту.

...Они приступили ко второму испытанию уже на рассвете. У Мерзленко от усталости слипались глаза.

На улице было свежо и зябко. Холодный воздух входил в цех через раскрытые двери и мешался там с теплыми запахами масла, разогретого металла. Теперь, в конце ночной смены, казалось, что в цехе меньше людей.

— Ну, это хорошо,— сказал Матросов.— Без свидетелей. Еще раз ошибемся, еще раз поправим.

Бронзовая рубашка, вновь обмотанная тонкой паутинкой проволочек, но по новой схеме, быстро нагревалась.

— Ну, расцепляйтесь, друзья, отпустите свою мертвую хватку,— говорил парторг, нетерпеливо постукивая ногой по валу в том месте, где с ним накрепко сцепилась бронза.

Постепенно бронзовая рубашка нагрелась, расширилась, и кран бережно оттащил ее назад.

— Ух! — в один голос вздохнули Мерзленко и Матросов.— Растащили.

— А как бы мы это сделали в печи? Пришлось бы выбросить все к черту. Нет, молодец ты все-таки, Мерзленко,— похвалил сам себя инженер, и все кругом рассмеялись.

Когда бронзовый цилиндр нагрелся еще сильнее, Мерзленко подал знак, и во второй раз рубашку начали натягивать на судовой вал.

— Нет, наверно, смирительную натягивать легче,— пошутил кто-то из рабочих.

Рубашка ползла медленно, точно упиралась во что-то. Сантиметр за сантиметром. Рабочие, стоящие вокруг вала,

затихли в напряженном ожидании. А Мерзленко казалось, что у него замирает сердце, вот-вот остановится.

После того как рубашка проползла три четверти пути, у Мерзленко так заломило в пояснице, что он просто сел на грязный пол цеха.

— Иван Леонидович, встаньте, что вы, право, как маленький,— сказал Матросов.

Но Мерзленко только отодвинулся в сторону и пересел на край заготовленной к обработке детали, лежащей на полу. Так, уже не вставая, он наблюдал за валом и похожим на гигантские опрокинутые качели мостовым краном, медленно и неуклонно ползущим к нему.

Комната в санатории окнами выходила в море. С вершины горы казалось, что море начиналось тут же, за стеклянной террасой. На общей веранде санатория вечерами играл оркестр. Из окон своей комнаты Мерзленко мог наблюдать, как кружатся легкие тени танцующих вокруг красивой мраморной колоннады. Инженер распахивал окно, и пряный запах магнолий поднимался к нему из приморского парка.

Соседом Мерзленко по комнате оказался пожилой врач из заводской поликлиники. Когда санаторные врачи отобрали у Мерзленко книги, по которым он готовил здесь кандидатский минимум, врач начал успокаивать его.

— Дорогой мой,— говорил он обычно перед отбоем, когда Мерзленко откладывал в сторону утаенные от врачей конспекты,— я в молодости сам страшно кипятился из-за пустяков. Да, пока не понял, что главное — это иметь спокойное сердце. Вот недавно жена разбила севрскую вазу, которой цены нет. Боже ты мой, вы себе представить не можете, что бы со мной делалось, ну, скажем, лет десять тому назад. А сейчас — ничего. Вещи нас переживут, сказал я жене, а вот сердце нет!

Вставая утром, Мерзленко первым делом спешил на междугородную телефонную станцию. Он вызывал завод, а затем свою квартиру.

— Варя, как здоровье, как валы, успеваете ли к срокам? — спрашивал он.

— Я здорова,— отвечала жена,— с валами все в порядке, но что делается с тобой? Бесконечные звонки на завод. Разве это отдых?

— Вот и врач, сосед по комнате, запрещает мне волно-

ваться,— смеясь, говорил Мерзленко.— Только у него подведена под это счастливая философия, которую трудно принять в мои двадцать семь.

— А ты принимай, пока в санатории, все принимай,— уговаривала она и потом передавала мужу приветы от парторга Матросова и Дубицкого.

— Ну как он? — спрашивал Мерзленко.

— Ходит серьезный, выстукивает твои валы...

...Не дождавшись недели до конца своего отпуска, Мерзленко уехал домой. На своей станции он слез поздно ночью, когда там приглушили уже матовые перонные фонари. В конце длинного пассажирского состава он неожиданно встретил Дубицкого.

Инженер прикуривал у сцепщика, но увидел Мерзленко, бросился к нему навстречу.

— Поздравляю, Ваня! — крикнул он, протягивая руку.— Вот они, видишь!

Еще ничего не видя, но догадываясь по взволнованному голосу товарища, Мерзленко быстро пошел за ним вдоль пассажирских вагонов. Последними к поезду были прицеплены открытые платформы, и на них лежали его судовые валы.

— С пассажирским? — спросил он.

— Нет, к скорому. Распоряжением министерства. Сообщили на станцию точно день и час окончания работы, и вот сейчас трогаемся.

— Успели, значит.— Мерзленко почувствовал, что у него дрожит голос, и притворно покашлял.

— Успели, Иван,— радостно говорил Дубицкий, дергая Мерзленко за рукав пальто.— Видишь, успели. А меня ты не поминай лихом за сомнения мои.

— За валы спасибо тебе! — крикнул он, уже вскочив на подножку тронувшегося вагона.— Будешь в центре, заходи, слышишь!

— Слышу, слышу! — сказал Мерзленко. Он не заметил, как уронил чемодан на перрон. Мимо него прошло несколько освещенных вагонов, потом темные открытые платформы, где, покрытые чехлами, как, бывало, пушки, едущие на фронт, лежали огромные судовые валы. Мерзленко долго стоял на перроне и смотрел, как мелькает вдали, точно задуваемый степным ветром, красный огонек вагонного фонаря, пока он не утонул совсем в глубине темной южной ночи.

ВЫСОКОЕ ЧУВСТВО



сорок восьмом я несколько раз приезжал в нефтяные районы Кубани. Район этот по праву мог бы называться «дедушкой русских промыслов»: он был хорошо известен еще в прошлом столетии.

Когда-то в этих предгорных равнинах Кубани русский полковник Новосильцев пробурил первые здесь и во всей России нефтяные скважины. Фонтан первоклассной нефти, поднявшийся над землей из скважины глубиной в восемьдесят два метра, положил начало промышленной эксплуатации залежей черного золота, которые хранили в себе недра нашего юга.

Незадолго перед началом войны нефтяники Кубано-Черноморья — района, сильно выросшего за годы Советской власти,— соорудили на месте первой русской скважины мраморный обелиск: «Прародительница нефти в России, скважина № 1, пробуренная ударным способом с применением паровой машины».

Немецкие оккупанты разрушили этот памятник. Но они не смогли получить здесь ни одной тонны промышленной нефти.

Партизаны, в рядах которых было немало нефтяников, препятствовали малейшей попытке фашистов начать промышленное бурение, взрывали оборудование и уносили его в горы. Но едва вражеские части покатились к западу, как партизаны, спустившись с гор, принялись за восстановление промыслов.

В годы первой послевоенной пятилетки промысел с почти вековой историей неожиданно обрел свое второе рождение, вновь став одним из самых молодых.

Многих интересных людей встретил я там, и одним из них был молодой буровой мастер Алексей Бараев.

Вахтовая машина уходила на промысел в шесть утра. Было еще темно, когда она тронулась от поселка по дороге, круто забегающей в горы. Шофер включил фары — и два прямых столба света, покачиваясь, упирались то в темную ленту асфальта, то в прямые черные стволы дубов, которые росли у дороги на краю обрывов. Но минут через десять уже начало светать, и, как это бывает в горах, бледно-молочный свет сразу заполнил все небо. Как светлая вода, он очень быстро смывал черноту ночи, и казалось, что за

далеким снежным хребтом подымаются в небо не одно, а сразу два солнца.

Моросил дождик, мелкий и теплый. Над вершинами деревьев медленно полз туман, и огни вышек проносились теперь по сторонам желтоватыми пятнами. Лешка Бараев сидел на смоченной дождем скамейке и, прижавшись к борту машины, смотрел на знакомые окрестности промыслов.

Он сидел против ветра, подставив встречному потоку воздуха свое открытое лицо. Дождь мокрой паутинкой оседал на нем, бодря теплое и еще ленивое ото сна тело. То ощущение бодрости и радости жизни, которое всегда испытывал он, выезжая рано утром на открытой машине в горы, отвлекло бурильщика от мыслей, весь вчерашний день неустанно бередивших сердце.

— Ох, Леша, сижу к вам спиной и в темноте не заметила,— услышал Бараев знакомый голос, и девушка, мотористка его бригады, так резко повернулась на скамейке, что неосторожным движением задела пожилого рабочего.

— Стрекоза! — пробурчал тот.— Как к Лешке рвется, аж людей разметывает!

— Что у тебя лицо такое, Алексей Игнатьевич? — спросила мотористка, втискиваясь на скамейку рядом с Бараевым.

Леша посмотрел на ее раскрасневшееся лицо, лучившееся радостью, на распущенные ветром белесые брови и ресницы со светлыми капельками дождя, на мокрый локон, выпавший из-под косынки, и вновь перед его глазами встало все то, что не давало ему спокойно спать ночью.

...Это произошло на генеральной репетиции драматического кружка, готовившего к постановке в клубе нефтяников пьесу Леонова «Нашествие». Леша Бараев, которому режиссер поручил главную роль, Федора Таланова, стоял на сцене перед пустым залом, мучительно ждал того момента, когда закроется занавес и он сможет уйти домой. Им в полной мере овладело ощущение того, что роль ему не дается, слова, которые он произносит, лишены внутреннего огня, и все то, что он делает на сцене, не может убедить зрителя.

Режиссер, худощавый и немолодой уже человек, хмуро слушал горькие признания своего питомца.

— Партнер меня подавляет, Витольд Алексеевич, и зрители это непременно заметят,— говорил Леша.

— Нет, тебе это кажется, Алексей, поверь мне,— возра-

жал ему Володя Шишков, партнер Бараева и такой же, как и он, бурильщик; он искренне жалел товарища.

— Конечно, Леша,— сказал наконец режиссер,— то место, где Федор Таланов на допросе у гестаповцев, предвидя свою смерть, гордо бросает: «Я русский, защищаю Родину», у вас действительно звучит то по-гамлетовски напыщенно, то обреченно. А тут нужно такое чувство вложить в эти слова, чтобы каждому человеку в зале захотелось встать и повторить их за вами с великой душевной гордостью. Вы должны сокрушить партнера своей актерской силой, своей убежденностью в красоте образа. А для этого, Леша,— говорил режиссер, меряя сцену длинными шагами,— для этого надо найти в себе драгоценное зернышко: свой голос, свой гнев, свою человеческую гордость. Но пока...

— Пока нет,— тяжело вздыхал Леша,— сам вижу, нет этого.

Леша бился над ролью долго и ожесточенно.

— Нет, так не могу, а лучше не получается, замените меня дублером,— сказал он наконец режиссеру.

— Ты еще подумай,— ответил режиссер,— на вахте успокоишься и подумай. Буду ждать звонка.

...И хотя Леша был уверен, что о разговоре его с режиссером никто не мог узнать, по знакомой ему беспокойной нежности, которая блуждала в глазах мотористки Оли, он понял, что девушка уже знает все.

...У промысла они вместе сошли с машины. Все, что можно было сказать о событиях в драмкружке, было уже сказано, и теперь они молча шагали по узкой тропке, как ходят в горах,— цепочкой, ощупывая острой палкой скользкую и вязкую землю. С открытой поляны на пологом скате горы просматривалась поднимавшаяся над лесом призматическая вершина буровой вышки. Поставленные метров за сто одна от другой, вышки вершинами образовали как бы второй этаж густого дубового леса и были видны очень далеко.

У деревянных подмостков буровой рабочие вытаскивали из скважины двадцатиметровые стальные бурильные трубы и, развинчивая их, устанавливали на помосте. Тут же, у буровой, горел костер, и красноватые блики огня скользили по блестящей поверхности труб, смоченных местами черной пленкой нефти.

— Не дождались смены, бурильный инструмент поднимают. Вот ведь народ какой! — сказал Леша.

Именно здесь, на рубеже промысла, где резко менялся

не только пейзаж, но, казалось, и самый воздух, каждый день встречало Лешу то волнующее чувство душевного подъема, с которым он начинал работу. И сейчас он широко вздохнул, втягивая в себя ветерок, пахнущий талым снегом, и неожиданно громко засмеялся.

— Вот она, сцена,— сказал он, шутливо подталкивая мотористку.— Покрупней клубной!

Леша Бараев был бурильщиком первой руки — главным человеком в бригаде. Он постоянно находился у рычагов управления буровой, как капитан на корабельном мостике.

Уже несколько дней молодежная бригада вела бурение с большой скоростью, собираясь сдать скважину в эксплуатацию на пятнадцать дней раньше срока. Бурильщики, казалось, работали обычно, как всегда дружно и напористо. Уже через несколько дней Бараев с удивлением заметил, что бригада проходит скважину со скоростью, невиданной в этих местах.

— Сколько взяли эа ночь? — спросил он у своего помощника, подойдя к буровой.

— Двести пятьдесят метров за вахту, можешь рапортовать, не стыдно,— ответил тот, подходя к костру, чтобы погреть руки.

Помощник Бараева Федя Семиноженко, коренастый и круглолицый веселый парень, наклонился над костром и заглядывал в лицо Бараеву.

— Говорят, переживаешь ты? — спросил он, потирая над огнем руки и сладко поеживаясь от теплой истомы, бегущей по телу.

— Говорю, орлы, здорово бурили. Так и держать! — громко сказал Леша и, сердито подшвырнув в костер полено, пошел к буровой.

В деревянной будочке, которую бригада перетаскивала за собой из одной точки на другую, находился полевой телефон и висела на стене геологическая карта разреза скважины. Мельком взглянув на нее, Бараев увидел, что долото прошло уже землю на глубину 900 метров и подходило к твердым породам — мергелям с цементированной, шершавой поверхностью, срезающей стальное долото, как наждак.

Бараеву позвонили из поселка. Дежурный по тресту попросил передать рапорт за ночную вахту.

— Прошли двести пятьдесят метров,— сказал Леша.— Теперь впереди крепкие камни, как гранит. Прямо крепость обороны!

— Да, будем брать, и брать быстро. Темпов не сба-

вим,— говорил бурильщик, все еще не отводя глаз от геологического разреза, где желтой краской с беленькими крапинками была обозначена толщина пласта грозных мергелей.— Народ ждет меня, кончили, товарищ,— сказал Леша дежурному и бегом вернулся на буровую.

Когда он стал к моторам, в разрывах туч неожиданно проглянуло солнце. Оно поднималось вверх, в голубеющее небо, а свет его широким розовым поясом медленно спускался от снеговых вершин к верхушкам деревьев. На промысле ночью выпал снег, но уже начинал таять, обнажая подмерзшую грязь на дорогах, похожую издали на застывший морской прибой. В лесу сразу стало светлей и как-то просторней.

— Ребята, нам до нефти и до рекорда четыреста метров! — крикнул Леша, обращаясь ко всей вахте.— Помните об этом каждую минуту!

...Ему пришлось держать рычаг мотора обеими руками, сильно напрягая мускулы. Вся многотонная вышка вздрагивала от напряжения и ходила под ногами. Опущенные в землю огромные трубы вращались в скважине, и долото, насаженное на конце бурильного инструмента, разбуривало породу. Шел штурм каменной крепости, и, как во всяком бою, тут требовались и смелая хватка, и тонкое мастерство.

Шум подземного сражения вырывался наружу — на буровой трудно было говорить. Леша отдавал приказания короткими взмахами руки. Ему некогда было даже отереть пот со лба, а его помощники едва успевали наращивать на инструмент все новые и новые бурильные трубы и опускать их в скважину.

— Артист ты, Леша, честное слово, артист! — говорил Федя Семиноженко, восторженно глядя на товарища.

Во второй половине дня снова нагнало тучи и начался дождь. Он сначала звонко пробежался по металлическим перекрытиям вышки, и первые его капли медленно поплыли по фиолетовым лужам нефти. Потóм, точно мокрой тряпкой, дождь ударил в лицо. Шум дождя, сливаясь с грохотом на буровой, заставлял бурильщиков напрягать свои голоса до предела.

Когда Леша Бараев забежал в переносную будку, вода уже стремилась по склону желтыми бурливыми ручейками, перекатываясь через размякшие волны грязи. Леша вытащил свой завтрак и подсел к мотористке и Семиноженко.

Помощник бурильщика, насадив на конец ножа кусок сала, поджаривал его над огнем и с аппетитом откусывал.

— Желудок — не зеркало, все в порядке,— засмеялся он в ответ на укоризненный взгляд девушки.— О, как бурим! — сказал Семиноженко, трогая локоть товарища.— А давно ли это было,— вдруг мечтально произнес он,— когда Лешка Бараев пришел на буровую и таращил глаза на долото: «А как оно такие полуторакилометровые дырки в земле делает?» Давно ли? А теперь...— Семиноженко вздохнул.— Высокие скорости бурения скважин для добычи черного золота. Ведь это же поэт воспеть бы мог!..

— Мог бы,— сказал Леша.

Он нагнулся и стал собирать на полу рассыпавшиеся листочки роли. Листки чуть намокли, и лиловые строчки ползли в стороны. Мотористка Оля, помогавшая ему собирать бумажки, аккуратно всунула их в карман его брезентовой куртки.

— Береги,— сказала девушка, но Леша только махнул рукой; мысли его были далеко.

— Ты прав, Федя,— сказал он.— Я сейчас мастера, своего учителя, вспомнил. У такого век учись — и все будет мало. Когда я в первый раз увидел, как он бурит, то просто испугался. Квадрат, который в землю вгоняли часа за два, он вбил в какие-нибудь три минуты. Он дал такую скорость ротора, что вся буровая затряслась. У меня сердце ушло в пятки. «Разве можно так бурить?» — спрашиваю. «Можно, говорит, и нужно!»

— Человек-огонь,— сказал Леша,— на такого посмотришь, и жить хочется!

— А теперь и вы такой, как мастер,— сказала мотористка Оля и покраснела.

— Ну, не совсем. Федя у нас — вот это да! — рассмеялся Леша, обоими глазами подмигивая своему помощнику.

Пока они завтракали, на буровую несколько раз звонили из треста, справлялись о темпе бурения, спрашивали, не нужно ли чего.

— Смотри, чтобы тебя не побил Шушков, — сказал дежурный, — он бурит разведочную рядом и тоже на высоких скоростях.

— Знаю, — сказал Леша, — но нам на него не оглядываться, пусть только догоняет.

Потом из поселка позвонил режиссер, напомнив о предстоящем спектакле. Леша нахмурился, но режиссер лишь спросил:

— Как идет буровая?

— Только трубы успеваем в скважины опускать, вот как она идет,— сказал Леша.

И ему захотелось, чтобы режиссер там, в поселке, почувствовал, как трудно им сейчас под дождем на буровой.

— Рвем мергеля,— сказал Леша.— Аж земля кругом трещит! Вот если бы сами посмотрели, Витольд Алексеевич!

— Я очень рад за тебя,— сказал режиссер.

...За несколько часов до конца вахты случилась небольшая авария. Из шланга, расположенного над головами бурильщиков, по которому насосы гнали промывочную жидкость в глубь скважины, начал просачиваться глинистый раствор. Повреждение можно было исправить, только остановив буровую. Вахта же, по подсчетам Леши, приближалась к рекордной скорости проходки твердых пород.

Бурильщик посмотрел на свои руки. По брезентовому рукаву бежал тяжелый серовато-желтый раствор и стекал на рукавицы. Холодные струйки раствора вместе с дождем просачивались через воротник, добираясь до горячей и мокрой от пота спины. Маленькие частицы глины, попадая на лицо, слепили глаза.

Наверно, у Леши был смешной вид: частицы глины цеплялись за брови, и грязные ручейки стекали к подбородку. Мотористка Оля не могла сдержать улыбки.

— Шторм, капитан! — крикнула она.— Ну и природа! Прикажи отбой...— но, увидев, как стиснул губы бурильщик, замолчала, потупив взгляд.

— Да, шторм,— сказал Леша.— Но мы не сахарные и не растаем до конца вахты. Времени терять не будем.

Федя Семиноженко, обдавая Лешу горячим прерывистым дыханием, наклонился к самому уху:

— Молодцы мы, честное слово... Леша, родной, давай скорость!

— А, захватывает! — крикнул Леша.— И дождь и грязь нипочем!

— А что добываем? — Семиноженко тут же сам ответил: — Нефть, по-старинному — горное масло, на нем подшипники земного шара крутятся, если только есть таковые, а ты говоришь!..

Ливень еще усилился. Лужи глинистого раствора и нефти кипели на подмостках. Вода летела косой стеной, и на буровой негде было укрыться от дождя. За шумом ветра бурильщики не заметили, как подъехал к вышке трактор, волоча за собой по грязи бурильные трубы. Мотористка

Оля, которая ездила за ними, крикнула, что до конца вахты осталось несколько минут.

— А вы все еще купаетесь под глинистым дождем?

— Так и купаемся. Двести пятьдесят метров за вахту на твердых породах. Ты чуешь, девушка, что это такое?

— Чую, рекорд, товарищи! — все еще кричала мотористка во весь голос, хотя подошла к самым подмосткам.— На нашей новой точке строители и вышкомонтажники ковыряются! Им еще туда буровую тащить, и нефтеотвод подводить, и все такое. Дня на четыре работы. Они нас уже зарезали и будут резать дальше!

Бараев засмеялся. Спекшимися губами он ловил капельки дождя.

— Ну как же, не дадимся? — спросила мотористка, снимая с Лешиной куртки прилепившиеся кусочки глины.— О чем ты думаешь?

— О том же, что и ты, и Семиноженко, но только не говорите. Раз строители не успевают за нашими темпами, мы должны им помочь. Я предлагаю вклиниться в их бригаду.

— А захотят строители?

— Что же они, не советские люди? — сказал Леша.— Обрадуются и руки будут жать. Ты пойми. Перед страной мы за нефть отвечаем, а тут у себя — за все.

— Федя, твое слово? — спросил он у помощника, который, вытирая маслянистые пальцы тряпкой, подходил к ним.

— Господи! — сказал Семиноженко.— Сколько можно о таком деле разговаривать под проливным дождем? Конечно, останемся на весь вечер и поможем.

...Бурильщики уже подцепили к вышке три трактора, четвертый двигался сзади и стальным тросом, прикрепленным к вершине, удерживал в равновесии сорокаметровое сооружение. Уже шли вперед тракторы через кустарник, лес, поднимая перед собой почти метровую волну грязи и сокрушая, как танки, все на своем пути. Уже успел Леша вываляться в грязи по пояс, указывая тракторам дорогу, когда Федя Семиноженко и Оля одновременно подошли к нему.

— Через час начало спектакля,— сказал Семиноженко.

— Ну и что же? — хмуро перебил его Леша.

— Я говорю от имени всей молодежной бригады. Неужели человек, пробуривший за вахту двести пятьдесят метров, может растеряться на сцене? Как-то даже смешно подумать.

— Но послушайте, ребята,— начал Леша.— Ведь это же совсем другое дело!

— Всякое дело — «другое». Бригада подумала и решила,— значит, надо идти, Алексей. А мы тут за тебя нажмем, но смотри, парень,— и Семиноженко поднял вверх руку, как бы призывая всю бригаду в свидетели,— смотри, если вечером не увидим тебя на сцепе...

— Леша, у вас есть актерская сила,— сказала мотористка Оля,— честное слово!

Взглянув на нее, Бараев с тяжелым вздохом махнул рукой в знак того, что он подчиняется воле бригады, и, не оглядываясь больше на вышку, пошел к вахтовой машине.

...Потом он смутно помнил, как все это получилось. На сцену Леша вышел неохотно, уступая строгому наказу бригады и уговорам режиссера. И опять ему, как на генеральной репетиции, хотелось, чтобы скорей закрылся занавес и он смог бы убежать за кулисы. Но вот и та картина, где Федора Таланова допрашивают гестаповцы.

Что Леша вспомнил в этот момент? Маленький городок, немногим больше, чем его село, и такую же черную беду нашествия, закрывшую собой все небо. Или, почувствовав внезапно тяжесть в уставших ладонях, он вспомнил весь день на промысле: ливень, грязь, яростную работу, скоростное бурение и замазанные глинистым дождем родные лица товарищей.

Кажется, именно тогда он и увидел их в зале и понял по улыбкам, что они хотят подбодрить его. Мотористка Оля, не удержавшись, махнула ему рукой, и Леше точно почудился ее радостный возглас на буровой: «Чую, ребята, рекорд!»

«Пришли все-таки,— подумал Леша,— наверно, буровую перетащили на новое место и пришли. Вот какой чудесный народ, как работает!»

На какую-то долю секунды он подумал о своем герое и точно живого увидел его перед глазами. Но каким-то внутренним зрением он увидел и себя, бурильщика первой руки на скоростной вахте, и это помогло ему войти в роль.

Тогда он и произнес эти простые и так долго не дававшиеся ему слова; и теперь уже из зала вернулась к нему волна того самого гордого душевного трепета, о котором говорил режиссер, и окрылила его на сцене.

...Пока шел спектакль, в горах снова выпал глубокий снег.

— Вот снежище-то! — сказал Леша.— Завтра на промысел вперед пошлют трактор пробивать дорогу.

В поселке царила та особенная мягкая тишина, которая настает в горах после сильного снегопада. На главной улице еще горели огни. Манящей ниточкой пунктира они тянулись на дальние промыслы, в глубь ночи.

ФЛАГИ НАД ГАВАНЬЮ

РОДНАЯ ГАВАНЬ



В первый день Наумов решил просто побродить по заводу и подышать его воздухом. На главной аллее, где металлургические цеха как бы образовывали излучающую тепло, гудящую улицу, все было знакомо инженеру.

Сюда впервые попал он, окончив институт, а потом ушел в армию. Сейчас Наумов побывал в новомартеновском, новофасонно-литейном, оглядывал пролеты. Потом он поспешил к цехам судоверфи, которые стремительно вытягивались к реке, оставив у себя в тылу свою базу — заводскую металлургию, и спускались к воде большого волжского затона.

В открытой ветром заводской гавани было холодно. От реки дул сильный ветер, он кружил хлопья снега вокруг цехов, катал их по ледяному зеркалу реки и на другом, дальнем берегу, где уплывали к горизонту пологие заволжские луга.

Около берега, у заводской гавани, чернели широкие полыньи незамерзающей воды. Там неутомимо бегал закопченный заводской буксирчик, давя подступающий лед. Он нагонял мелкую волну, и на ней чуть покачивались теплоходы, баржи, буксиры.

На открытом воздухе и свежем ветру в заводской гавани работали тысячи судостроителей. Гудели зимующие в затоне корабли. На стапелях, которые спускались к самой воде, то и дело вспыхивали ослепительные, даже при дневном свете, маленькие костры электросварки. Корпуса судов были точно в пожаре. Каскады искр взрывались на корме и на носу кораблей и, падая за борт, гасли в темной воде.

На палубах сваривали и прожигали стальные листы, и

там бились ручьи зеленоватого ацетиленового пламени. Яростный шум и железный скрежет вырывались из затона и, должно быть, были слышны далеко вверх и вниз по скованной льдом, затихшей Волге.

Наумов прошел к сухому доку, или, как говорили на заводе, «судояме». Потом переходил с одного корабля на другой, подолгу стоял на палубах, вглядываясь в знакомые черты завода.

С чуть покачивающегося мостика теплохода, как с высокого наблюдательного пункта, отлично просматривалась вся заводская площадка, в ее неустанном кипении, в сложном взаимодействии всех тридцати цехов.

На какое-то мгновение Наумову показалось, что он никогда не уезжал из гавани, что не было его разлуки с заводом...

Директор завода «Красное Сормово» спросил Наумова:

— Где вы служили в армии?

— В Латвии.

— Вот и у нас запланирован новый теплоход «Латвия». Поручим корабль вам. Так, значит, товарищ Наумов, от Латвии к «Латвии».

Директор, улыбаясь, встал из-за стола.

— Решено?

— Да,— сказал Наумов.— Но я, признаться, долго колебался, как после такого перерыва возвращаться на завод. Товарищи мои ушли вперед — догонять и догонять.

— Догоните,— сказал директор.— Товарищи и помогут! Вы — человек военный, а этой весной на верфи нам всем предстоит большой бой.— Директор ходил по кабинету, останавливаясь у развешанных на стенах фотографий и рисунков кораблей, которые должны были в новом году сойти со стапелей заводской верфи. Рисунки, заключенные в деревянную рамку, подсвечивались яркими электрическими лампочками, а Наумов залюбовался широким простором гавани и красивыми контурами больших теплоходов.

— Завод должен выпустить в этом году в двенадцать раз больше речных судов, чем в прошлом,— сказал директор.— Вы же знаете, товарищ Наумов, еще не так давно корабль строился на верфи десять — двенадцать месяцев, а сейчас судно должно быть построено в полтора месяца с тем, чтобы покинуть гавань уже подготовленным к долголетней плавучей жизни.

Вот вы вернулись на завод из армии — не для спокойной, тихой жизни, надеюсь, а для настоящей, большевистской работы. Завод сейчас на крутом переломе. Нам предстоит, майор, этой весной совершить на заводе маленькую техническую революцию.

— Я вернулся сюда не для спокойной жизни — это верно, товарищ директор,— ответил Наумов.— Но я удивлен. Такой буйный рост производительности. В одну весну?

— Да, в одну,— сказал директор.— Поработайте для начала пару недель в конструкторском бюро, взгляните на корабль с теоретической, так сказать, точки зрения. Походите с чертежами по цехам тем путем, что проходят детали новых теплоходов, и вы увидите — завод уже далеко не тот, каким был недавно. А потом вы пойдете в гавань, к строителям судов, одним из наших боевых командиров верфи. Строительного счастья вам, товарищ Наумов,— сказал директор на прощанье,— и боевого успеха.

ТРУДНОЕ НАЧАЛО

Через месяц Наумов перевелся из конструкторского бюро на берег, в судояму. Он уже успел изучить новые корабли, был уверен в себе и взволнован началом непосредственной работы в доке.

Стояли переменные, то холодные, то с оттепелью и мокрым ветром, дни. Сухой док, который еще пару месяцев назад казался почти пустым оврагом, теперь был весь заполнен железными скелетами кораблей, выстроившихся на коротеньких ножках стапелей вдоль огромного моста эстакады.

Вся судояма колыхалась живыми огнями сварки, поминутно взрываясь скрежетом металла.

Часто шел снег, и тогда запорошенные корабли казались угловатыми, неуклюжими айсбергами, выброшенными на берег. Снег приходилось непрерывно расчищать, чтобы отыскивать швы на металле и не ошибиться в стыках секций.

С высоты эстакады, где двигались по рельсам башенные краны, держа в своих клювах секции, хорошо были видны все трюмы строящихся кораблей. В трюмах, на тесных крутых боках теплоходов рабочие сваривали шпангоуты. Им приходилось работать подчас в самых неудобных позах — на коленях, на боку, даже под двойным дном, вблизи огня сварки.

Внезапно ударили сильные морозы. Несколько дней по

берегу гуляла метель, и ветер с Волги буйно врывался в горловину открытого дока. Он проникал во все уголки холодных железных судов, как в гигантскую вентиляционную трубу, втягивался под двойное днище кораблей с такой силой, что сварщикам, работающим там, приходилось крепче упираться ногами в торчащие выступы шпангоутов.

По ночам в судояме светили прожекторы и горели костры. Дробный грохот пневматических молотков заглушал даже свист пурги. Но ни мороз, ни метель не могли остановить стремительно нарастающих темпов. Корабли росли, одевались железными панцирями переборок и отсеков буквально на глазах.

Недалеко от судоямы уже в послевоенные годы вырос корпус огромного судозаготовительного цеха. Большие, покрытые рыжей окалиной холодные листы проката резали там на гильотиновых ножницах, выгибали на валковых станах и тут же собирали и сваривали в плоскостные, бортовые, объемные секции корабля.

В квадрате каждого пролета делался определенный тип секций. Они выезжали из цеха, подпятые мостовыми кранами, а затем, по специальной эстакаде, грузились на платформу, и паровоз доставлял секции в судояму.

Поток их в судояму увеличивался. На верфи боролись за каждый день и каждый час, приближающие теплоходы к моменту весеннего всплытия. И тогда, когда, казалось бы, все силы и резервы были уже собраны и пущены в ход, на заводе начали поговаривать о возможности дополнительной закладки в сухом доке еще двух новых сухогрузных теплоходов.

Никто никогда еще в истории завода не решался заложить большое судно в док за месяц до весеннего паводка. Мысль о закладке новых скоростных теплоходов волновала всех. Прогнозы погоды говорили о том, что ледоход начнется в середине апреля, но теплые ветры могли стронуть лед в верховьях Волги и значительно раньше.

Руководители завода провели несколько совещаний с инженерами и старыми мастерами гавани. Каждый понимал, что ошибиться в таком деле нельзя. В партийных бюро верфи и завода думали над тем, как организовать соревнование за своевременную постройку новых теплоходов.

Через несколько дней решение о закладке новых кораблей было принято. Первые секции теплоходов начали поступать в док, когда до ожидаемого прихода воды оставалось всего лишь двадцать пять дней.

Была ясная лунная ночь, когда сварщик Алексей Денисов взобрался на палубу скоростного теплохода. Несколько дней назад он в спешном порядке закончил заводские курсы по овладению новым, разработанным заводской лабораторией, методом скоростной сварки с помощью ультракороткой дуги. Он хорошо изучил технологию, основанную на способности качественных покрытий («обмазок» на электроде) поддерживать вольтову дугу даже при непосредственном соприкосновении электрода с металлом.

Новый способ давал более глубокий провар, меньший внешний контур шва и большую скорость продвижения электрода, который, точно грифель в руках сварщика, расчерчивал ровными линиями корабль по плоскости и вертикали.

Денисов вместе со своим другом, сварщиком Геннадием Шишкиным, заступал в ночную смену. Темнота скрадывала дальние контуры дока и кораблей. Но по палубе бродили, скрещиваясь, белые руки прожекторов, и всюду висели на длинных шнурах яркие кулачки лампочек. Ночью в доке всегда было меньше людей, меньше шума и был слышен свист теплого мокроватого ветра, разгуливающего по реке.

Еще издали Денисов увидел на палубе начальника цеха. Тот стоял в группе инженеров, горячо что-то обсуждающих.

— Вот видишь, сколько надо сделать,— сказал начальник цеха и повернул чертеж так, чтобы на него упал луч прожектора.

— Вижу. Полсудна заварить к утру,— ответил Денисов и даже сам крякнул от удивления.— Уж больно много!

— Какие полсудна, шутишь,— вмешался Наумов.— Пройти по прямой от кормы до носа. Вы же — большие мастера. И новый метод позволит. Сделаете.

— Ишь ты, от кормы до носа,— повторил Денисов и рассмеялся.

Потом он оглядел палубу. Прошло только две недели с момента закладки на стапели первой секции, а теперь уже сварщики заваривали главную палубу, и на ней точно грибы вырастали черные двухэтажные домики судовых надстроек. Денисов не только не видел ничего подобного, но и никогда не думал, что возможно такое.

Теплоход, на котором он находился, был тем самым сверхплановым кораблем, который решили заложить в доке

за двадцать пять дней до паводка. Рядом с ним черной громадой высился второй, тоже сверхплановый корабль. Оба судна «вел» Наумов. Вместе с инженерами и мастерами судокорпусного он стремился внедрять сварку ультракороткой дугой. Новый метод обеспечивал необходимые сейчас высокие темпы.

На корме корабля, где лежали инструменты сварщиков, висел плакат: «Товарищи Денисов и Шишкин! Ваша задача дать сегодня по тридцать пять метров сварочного шва. Покажите образцы отличной работы!»

Соревнующиеся партийные группы вывешивали такие транспаранты на всех судах, и кораблестроители перед началом своей вахты уже знали, чего ждет от них сегодня коллектив гавани.

— Ты смотри, что делают! — громко воскликнул Денисов, довольный тем, что здесь висел большой плакат, обращенный к нему лично.

— Нам лозунг над головой повесили, Геннадий! — сказал он подошедшему Шишкину.

Еще несколько минут сварщики покурили перед работой, делая последние сладкие затяжки.

— Ну как, выполним, друг? — спросил Денисов, беря щиток в руку и подмигнув товарищу.

— Сделать бы надо,— ответил Шишкин.

— Сделаем, пожалуй, ведь нужно!

— Возьмемся — сделаем,— сказал Шишкин уверенно.— Главное — слово себе сказать, и сделаем.

Первые метры сварщики двигались рядом, плечом к плечу, и спаренное искристое пламя казалось еще одним буйным костром, зажженным на корме корабля. Потом костер раскололся надвое, и огненные фонтанчики, расходясь в стороны, пронизали темный воздух каскадами красных стремительных брызг. Это Денисов пошел по одному борту корабля, Шишкин — по другому. Они сваривали стыки больших железных листов, образующих пол главной палубы судна.

Ток шел к электродам с силою в шестьсот ампер. Железный стержень сгорал, как тоненькая свечка, заливая шов расплавленным металлом, и тот схватывался с холодным металлом величайшею силой молекулярного сцепления.

Закрыв лицо предохранительным щитком, Денисов двигался на четвереньках, опираясь локтями о листы железа. Электрод горел на расстоянии миллиметра от поверхности шва. Сварщик знал: опусти он его чуть ниже, и пламя про-

жжет металл до дыр, если рука оторвется выше — погаснет вольтова дуга.

Но он работал, полагаясь на выработанную интуицию, и она вела по прямой напряженную руку сварщика. Пока Денисов варил, он все время находился в атмосфере плотного облачка горячего воздуха, нагреваемого у пламени, и ему было жарко в застегнутом ватнике. Вскоре у него вспотели спина и грудь, пот теплыми крупными каплями побежал по лицу.

Отдыхая, он садился прямо на палубу и тогда с радостью замечал, что быстро продвигается вдоль своего борта. Теплое облачко воздуха срывалось ветром и мигом улетучивалось, и сварщик жадно тянул в себя свежий поток с реки.

Где-то в корабельных трюмах глухо стучали молотки и потрескивали электроды под током. От реки несло возбуждающим запахом холодной воды, талого льда. Денисов всматривался в темную глубину ночи, и ему казалось, что он видит, как могуче напирают глыбы льда на низкую косу острова против затона.

— Слышишь, как ломает, аж душа замирает! — крикнул он Шишкину.— Вот-вот понесет. А надо бы успеть нам с теплоходом.

— Успеем,— глухо отозвался Шишкин.

Денисов по голосу его понял, что друг устал. Шишкин уже варил сзади него на несколько метров. Хотя у сварщиков и не было гласного договора, но они давно и упорно соревновались.

Подбодряя товарища, Денисов сказал:

— Помнишь, друг, не так еще нажимали. Что, рука устает?

— Света много в глазах. Точно в солнце нырнул. А рука ничего, крепкая,— сказал Шишкин.

— На носу корабля встретимся. На рассвете, как небо забелеет! — крикнул Денисов.— Давай, друг, вперед! Лозунг у нас над головой.

Но все же Денисов сделал очередную паузу длиннее обычной. Он хотел, чтобы Шишкин отдохнул и снова вошел бы в высокий ритм. Шишкин скорее бы упал на палубе без сил, чем позволил себя намного обогнать, и Денисов знал это.

— Давай покурим, Геннадий,— сказал Денисов, и сварщики сошлись отдохнуть на середине корабля. Они стояли молча, курили махорку, дышали свежим воздухом, и, утом-

ленные ярчайшим светом, глаза их отдыхали, глядя па черный бархат неба и лунную дорожку на льду, мерцающую тусклым серебром.

— Хорошо! — вздохнул Денисов.— Ночью хорошо в доке!

— Это наша гавань, Леша! Это же Волга,— прочувствованно сказал Шишкин.— И потом — весна!

Они варили корабль всю ночь. На рассвете, когда затеплился светом горизонт и темные громады теплоходов в доке начали медленно выплывать из сиреневого тумана, оба сварщика действительно сошлись на носу корабля. Откинув в сторону щитки, они оглянулись назад и, точно впервые увидев то, что сделали за ночь, не поверили своим глазам. Сто сорок погонных метров шва заварили они за смену, перевыполнив норму более чем в пять раз.

НАСТУПЛЕНИЕ РАЗВИВАЕТСЯ

Рекорд сварщиков всколыхнул весь док. Наступили первые дни апреля, снег в судояме начал подтаивать на глазах. В воздухе носились острые хмельные запахи весны. Но именно они и тревожили строителей. Приближалось всплытие. Соревнование, разгоревшееся с новой силой от ночного костра рекордной сварки, ширилось с каждым днем и охватило всех рабочих.

После рекорда сварщиков переходящее знамя было прикреплено к мачте корабля Наумова. Но уже через пару дней оно перешло на другое судно, и в доке закипело соревнование между коллективами головных кораблей.

Особенно жаркие схватки разгорелись между строителями головных теплоходов номер один и номер два, инженерами Пинхасиком и Федоровым, когда в судояму начали поступать секции корабельной надстройки.

Федоров, опытный строитель, сразу смекнул, что, установив быстрее надстройку на палубе, он сможет обогнать своего приятеля, судно которого шло тогда впереди.

Уже в сумерках Пинхасик с борта своего теплохода видел какое-то странное движение на палубе соседа. Сам Федоров ходил с метром и что-то размечал на палубе, но Пинхасик не мог догадаться, что именно. А утром на глазах удивленных соседей на судне номер два начали быстро вырастать стальные квадраты палубной надстройки.

Пинхасик был совершенно подавлен этим.

— Как же, как же мы промазали тут! — огорченно повторял он своим рабочим. Директор утром того же дня увидел надстройку у Федорова и похвалил его. Пинхасик почувствовал, что первое место в соревновании от него ускользает.

На следующий день он долго совещался с мастером своего корабля.

— Надо нам тоже выставлять надстройку,— горячо убеждал он.

— Люди все заняты на работах по подводной части. Где же мы возьмем дополнительные рабочие руки, Владимир Матвеевич, дорогой? — разводил руками мастер.

— Да разве вы не видите, что рабочим больно смотреть, как у Федорова растет надстройка, а у нас — нет. Да вы поговорите с ними,— горячился Пинхасик.

Но мастеру и не пришлось уговаривать рабочих, они сами начали приходить к нему и требовать, чтобы корабль не отставал от соседа. Вечером, когда на участке закончились работы, группа рабочих и мастеров осталась на палубе теплохода. Они быстро перетащили все необходимые секции на судно и в одну ночь выставили железные стены будущих кают и капитанского мостика. Утром в доке все были поражены, что вторая надстройка, точно по мановению волшебной палочки, внезапно выросла и на теплоходе номер один. Пинхасик весь светился радостью.

Оба корабля с каждым днем все больше обрастали палубными механизмами. Судно номер один быстро выставило у себя леерные ограждения вдоль бортов теплохода. Пинхасик и его мастер не раз бегали в судозаготовительные цеха за колонками этого ограждения, и теперь их теплоход точно обрел «живой» вид.

Федоров, который хотел первым получить эти колонки, опоздал и рассердился на друга не на шутку.

— Ты знаешь мои намерения,— сказал он ему.— Но кто победит, мы еще посмотрим.

Теплоходы стояли в доке бок о бок, с палубы одного хорошо просматривался весь корабль соседа. Рабочие зорко и ревниво следили друг за другом. Это было нагляднейшее соревнование, и каждый судостроитель мог своими глазами проверить его результаты.

Федоров как-то сказал своему мастеру:

— Ограждение на судне номер один буквально давит мне на душу. Мы должны перехватить у них хотя бы гребные винты и выставить их у себя раньше.

Он послал своего плановика прямо в судомеханический цех с тем, чтобы точно знать день и час, когда винты можно будет отвезти на свой корабль. Но и Пинхасик думал о том же. Едва на огромных стальных лопастях винтов успела подсохнуть ярко-желтая краска, как монтажники корабля номер один уже повезли их в сухой док.

Винты подали под корму судна ночью. Инженер, мастер и рабочие не уходили с корабля до рассвета. К утру оба гребных винта уже стояли на месте.

— Вы победили, но сознайся, черт побери, леерные ограждения и винты ты и твой мастер выхватили у меня из-под носа,— с горечью сказал Федоров Пинхасику, встретив его тем же утром в доке...

ЕЩЕ ОДИН СВЕРХПЛАНОВЫЙ

...Уже стремительно приближались дни весеннего паводка. До стихийного всплытия судов, ожидаемого в середине апреля, оставались считанные дни. И вот тогда рабочие решили построить еще один сверхплановый буксирный теплоход.

Новый корабль, получивший имя «Смоленск», должен был выйти на Волгу из дока вместе с судами первой весенней очереди.

Когда на заводе узнали, что коллектив буксирного хочет построить еще один корабль всего за девять суток, то сначала просто не хотели этому верить. Решение кораблестроителей казалось неслыханной технической дерзостью. Инженеры из других цехов приходили в буксирный. «Вы не утопите «Смоленск», товарищи?» — спрашивали они.

Начальник буксирного подводил любопытных к большому пролету. Там на расчищенном месте уже стояли стапели, и мостовой кран укладывал на них секции, которые полностью сваривались и собирались в другом пролете, тут же под крышею цеха.

Инженер молча показывал рукой на корабль — говорить было бесполезно, грохот от пневматических молотков чеканщиков заглушал его голос. Все пространство огромного гулкого цеха было залито ослепительно ярким светом от красноватого пламени сварки.

Решение о закладке «Смоленска» родилось на одном из производственных совещаний.

— Мы на партийном собрании актива решили предло-

жить коллективу буксирного взять на себя еще один корабль,— сказал один из мастеров цеха, Привалов, выступая на производственном совещании.— Правда, вода уже заглядывает к нам через плотину, но время еще есть. Поднять это дело можно.

— Места нет свободного в цехе, где же мы заложим? — возразил кто-то.

— Придется варить и собирать секции одновременно,— сказал Привалов.— Тесно, но без обиды. Работа будет с огоньком. Нужен график, суточный, твердый, как железо,— говорил он.— Работать по графику на судостроении можно и должно. На сверхскоростном буксире мы должны доказать это всему заводу.

Парторг цеха предложил с момента начала работы на «Смоленске» после каждой смены вывешивать специальный бюллетень.

— Пока буксир у нас под крышей, будем соревноваться с коллективом дока. Итак, товарищи, мы просим руководство завода утвердить нам еще один сверхплановый буксирный теплоход,— сказал он в заключение.— Мы крепко замахнулись, но слово дали партийное, и надо его сдержать.

Хотя Наумов был очень занят в доке, он почти каждый день выбирал время и забегал в буксирный цех посмотреть на строящийся «Смоленск». Все секции корабля должны были быть изготовлены к 11 апреля, но рабочие опередили жесткий график на три дня.

Распахнулись огромные ворота цеха, и секции «Смоленска», буксируемые паровозом, медленно сползли в судояму. Туда тотчас пришли судостроители, с тем чтобы собрать корпус новорожденного корабля в невиданно короткие сроки — в пять дней.

Прогнозы погоды предсказывали, что вода может поступить в судояму 14—15 апреля, а на буксире «Смоленск» многое было еще не готово. Трое последних суток все работали, не считая часов. Надо было опередить Волгу во что бы то ни стало.

ТРЕВОЖНАЯ НОЧЬ

Лед на Волге тронулся. Он шел мимо заводского затона, отгороженного узким песчаным островом. Синеватые, с подтаявшими краями льдины, громоздясь друг на друга, со скрежетом выползали на пологие берега искусственной ко-

сы и подымались там в небо торосами десятиметровой высоты. В воздухе висел раскатистый гул, точно на реке стреляли из пушек.

Вода поднялась почти до самой вершины бетонной перемычки и настойчиво просилась в судояму. Уже никакая сила не смогла бы ее удержать долго. Оставались считанные часы до взрыва перемычки, назначенного на утро следующего дня. В доке спешно заканчивались последние приготовления к приходу воды.

В эту тревожную ночь Наумов вместе с группою рабочих дежурил на плотине. Ему поставили маленькую будку с полевым телефоном неподалеку от мощных насосов, непрерывно откачивающих воду, пробивающуюся в док. Вокруг будки лежали заготовленные на случай аварии груды мешков, набитых песком.

Ночь выдалась ветреная, холодная, плотину то и дело захлестывало водяными брызгами. На реке было темно. Но сам док и корабли освещались огнями прожекторов, и белые столбы света, уходя к Волге, точно выхватывали там из темноты крутящиеся в грозном водовороте льдины.

Наумов подолгу бродил по плотине, а устав, заходил в будку и звонил к себе домой, в город. Жена его, Нина Николаевна, поздно читала и, зная, как значительна и волнующа для мужа эта ночь, не ложилась спать, чтобы отвечать ему по телефону.

— Что поделывает сын, будущий кораблестроитель? — спросил Наумов.

— Спит, конечно. Без снов и треволнений. Тебе на зависть. А как сейчас Волга? — спросила Нина Николаевна.

— Шумит. Льдины трутся о дамбы. Вот-вот поползут на нас. А все-таки ночью в ледоход хорошо,— сказал Наумов.— Страшно немного и хорошо.

— А ты зажги прожектора. Пусть будет свет,— сказала Нина Николаевна.

— Гривенник уронишь — и видно на земле, так светло у нас,— сказал Наумов.— Но все же тревожно на сердце.

В середине ночи ниже по течению у большого моста образовался затор льда. Вода в затоне сразу стала быстро подниматься. В теле плотины ощутимо усилилось статическое давление, и вода стремительными ручьями пробивалась через щели в бетоне. На дамбу поползли большие льдины, они скользили прямо на рабочих, сбивали с ног.

Наумов выскочил на плотину. Он увидел, что вода вотвот перельется через край. По тревоге инженер поднял

команду. Он распорядился, чтобы рабочие хватали тяжелые мешки с песком и затыкали им прососы в плотине. Инженер и сам помогал им. Ледяная вода обжигала руки, лицо, мокрое ворсистое пальто Наумова замерзло и хрустело ледяной коркой при каждом движении; по лицу его пот катился градом.

Инженер позвонил в соседний цех, и оттуда прибежали на помощь люди. Одну лишь секунду Наумов колебался: сообщить ли о заторе льда директору. Но так бы он взбудоражил весь завод. Инженер решил, что он справится своими силами.

Как на беду, с дальнего заволжского берега потянул крепкий ветерок. Работать стало еще труднее. Наумов распорядился, чтобы в доке включили радио. Из квадратных железных раструбов огромных репродукторов звуки проникали во все уголки судоямы. Было около двух часов ночи. Еще шли передачи, и где-то в Москве Козловский пел арию Ленского.

Наумов с размаху ухнул в какую-то яму с водой, погрузившись в нее по колено, а в это время знаменитый тенор затянул: «Куда, куда вы удалились...» Наумов выдернул ногу и, не удержавшись, громко расхохотался. Засмеялись и стоящие рядом рабочие.

— У нас немного не та опера,— сказал Наумов.

— Что ж, и эта вдохновляет,— кивнул знакомый мастер.— Хорошая музыка, только слушать вот некогда.

Среди работающих Наумов то и дело встречал строителей, всех тех, с которыми бок о бок работал в доке.

По первому же сигналу все они прибежали из цеха, чтобы удержать воду на плотине, грозившую их кораблям.

Инженера вызвали в будку. Звонил секретарь райкома партии.

— Как на дамбе, Наумов? Что у вас случилось? — спросил он.

— Александр Федорович! — удивился Наумов.— Я ведь никому не сообщал. Как же вы узнали?

— Ты мне не позвонил, так другие нашлись поумнее,— сказал секретарь. Он спрашивал, не нужна ли Наумову помощь.— Растерялся немного, сознавайся? — спросил он.

— Да, вначале,— признался Наумов.— Вода кинулась валом. Но потом взял себя в руки и мобилизовал людей.

Наумов сообщил, что они удержат сами воду на плотине до утра. А там подойдет первая смена, много людей, и станет веселее.

— Все-таки держи меня в курсе событий,— сказал секретарь.— Я в райкоме сегодня поздно, но если надо, звони домой.

...Затор у моста держался часа полтора. И все это время на плотине не ослабевало ни на минуту напряжение. Наумов приказал укладывать ряды мешков вдоль дамбы, чтобы поднять ее уровень.

...Потом неожиданно затор прорвало. Все сразу почувствовали это, видя, как вода медленно пошла на убыль. Через полчаса Волга начала постепенно успокаиваться, и Наумов наконец смог вернуться в свою будку.

Там кто-то уже затопил жаркую железную печурку. От мокрой одежды подымался к потолку душный пар. Все с облегчением и удовольствием курили, в синем дыму инженер с трудом отыскал телефонную трубку и позвонил домой.

— Что случилось? Я не могла добиться толку,— спросила взволнованная Нина Николаевна.

— Что случилось? Первое весеннее купанье в реке. Был небольшой аврал,— сказал Наумов.— Пришлось слегка подраться с Волгой.

— Может быть, мне приехать сейчас же к тебе с сухой одеждой? — спросила Нина Николаевна.

— Нет, я как все — отогреемся и здесь. А ты спи, пожалуйста. Приходи утром на всплытие, я буду ждать тебя,— сказал Наумов.

ВЕСЕННИЕ ВОДЫ

Взрыв плотины был назначен на час дня. Еще накануне на всех кораблях прошли последние испытания, в отсеки накачивался воздух под большим давлением, и потом проверяли все швы металлического корабельного корпуса.

С утра в судояме было ветрено и прохладно. От реки, где шумели трущиеся о берег льдины, наползал сырой волокнистый туман. Потом выглянуло солнце и ярко осветило свежевыкрашенные, густо-желтые днища теплоходов, грузно покоившихся на кильблоках стапелей.

Все строители этих кораблей еще с рассвета находились на своих судах, нервничая и то и дело поглядывая на часы. Наумов, не спавший ночь и только под утро вздремнувший полчаса в своей будке, умылся ледяной водою и потом, за-

быв об усталости, быстро ходил вдоль борта своего судна, радостно кивая всем знакомым.

Это было первое всплытие судов в доке, в котором он участвовал как инженер, ответственный за весь корабль и всю его дальнейшую многолетнюю плавучую жизнь.

Иногда Наумову казалось, что выглядит уж слишком неприлично взволнованным, и он спускался в машинное отделение и в трюм, где так же, как и он, без устали расхаживали рабочие и, точно видя впервые, осматривали и ощупывали свой корабль.

Скоро на дно судоямы спустился главный инженер завода. Он остановился у сверхскоростного буксира «Смоленск» и, видимо беспокоясь за него больше всего, нагнулся, чтобы подлезть под корпус корабля.

— Я же все проверил! — закричал ему Наумов. В голосе инженера звучала нескрываемая обида.

— Верю, верю, дорогой,— сказал главный инженер,— как же иначе. Но ведь волнуетесь не вы один.

У стапелей уже растаял снег, и вода плескалась около деревянных подмостков. Главный инженер, натянув поглубже резиновые сапоги, все же спрыгнул в воду и полез под брюхо теплохода.

К полудню в доке собралось несколько тысяч человек. Был воскресный день, люди пришли из поселка, и на верфи стало тесно. Густая цепь рабочих разместилась вокруг эллипсообразной судоямы, на мосту эстакады и даже на крышах близстоящих цехов.

Наумов поискал в толпе Нину Николаевну и увидел ее далеко на мосту. Она стояла там, стиснутая со всех сторон, и, с трудом высвободив руку, помахала мужу и крикнула что-то...

Вскоре был отдан приказ всем строителям спуститься в трюмы своих кораблей. При взрыве куски бетона могли залететь на палубу стоящих близко к плотине теплоходов. Наумов спустил всех своих людей вниз, а сам присел у лебедки на носу корабля. Он хотел увидеть момент взрыва.

Ровно в час дня директор завода с эстакады, откуда ему было хорошо наблюдать весь док и Волгу, сделал знак главному строителю судов, и тот взмахнул флажком.

Все замерли. В напряженной тишине раздался сигнальный звон колокола. В затоне ответным срывающимся баском загудел маленький буксирчик и быстро пошел к пере-

мычке, отгоняя в сторону большие, крутящиеся в водовороте льдины. Раздался взрыв. Аммонал, заложенный в теле плотины, выбросил в воздух столб раздробленного бетона. В док буйным водопадом хлынула вода.

Она бежала холодным пенящимся потоком, неся на себе мелкую щепу, раздробленные бревна. Тяжелые льдины гулко бились о корпуса кораблей. Вода быстро заливала железнодорожные пути на дне судоямы, подымалась у стапелей, уже плескалась у днищ теплоходов, а Наумов все еще стоял на палубе, чувствуя, что горло его сжимает волнение.

Его наконец кто-то окликнул, и инженер быстро спустился в трюм корабля, чтобы проверить, не просачивается ли где-нибудь в отсеках вода сквозь железную обшивку корпуса. Он вспомнил, что еще вчера строители судов решили соревноваться: кто скорее поднимет у себя на судне флаг — знак того, что в трюмах все благополучно. Но когда Наумов выскочил из трюма, на мачте соседнего теплохода уже бился маленький флаг и все люди в доке смотрели на него. Потом флаги начали взвиваться на мачте одного, другого, третьего теплохода, и всякий раз гавань потрясала буря аплодисментов — строители приветствовали рождение новых кораблей.

Теплоходы медленно всплывали. Главный строитель крепко пожал Наумову руку.

— Ну, мне вам говорить нечего,— сказал он.— Мы, судостроители, понимаем, что значит первый корабль. Я двадцать лет их строю и всегда при всплытии волнуюсь, как мальчишка.

— Поздравляю со всплытием,— говорили Наумову товарищи и целовали, радостно тормоша и обнимая.

Инженер опять заметил в толпе Нину Николаевну. Она не могла пробиться к эстакаде и только издали улыбалась и качала головой.

А вода все прибывала. Теперь уже она ровным, свободным потоком входила в залив, и синеватые, с шапкой грязной пены волны бежали от перемычки до самого конца дока.

Вся судояма заполнилась шумом волн, буйно плескавшихся у берегов. Вышвырнув из-под днища ненужные теперь опорные кильблоки, огромные теплоходы, покачиваясь с борта на борт, все выше поднимались вместе с водой и величественно громоздились в небо.

ФЛАГИ НАД ГАВАНЬЮ

Первые весенние суда уходили из заводской гавани. Стоял ясный июльский день. Над рекой носился легкий ветерок, разгоняя белесые тучи и дрожавшее марево теплого воздуха над дальними заволжскими лугами.

Корабли, построенные этой весной на верфи и теперь заново покрашенные ослепительно свежей белой краской, мерно покачивались на зеленоватой ряби затона. Вся судоверфь расцвела флагами речного флота и выглядела празднично.

На берегу вдоль железнодорожной линии эстакады, заняв все удобные места для наблюдения, стояло несколько тысяч судостроителей, смотревших на свои корабли, подготовляемые к рейду.

Несколько дней назад все суда совершили по Волге свои первые пробеги. Готовя теплоходы к испытанию, строители не уходили по нескольку суток из гавани. В последний раз проверялось все до мельчайших деталей во время швартовых испытаний у берега, и затем окончательно — уже в рейде, на открытой воде.

Наступили последние минуты пребывания судов в затоне. Над гаванью взмыл протяжный сигнал, и корабли подняли на мачтах свои вымпелы. Несколько тысяч рабочих разом придвинулись ближе к воде, многие побежали по качающимся сходням к бортам теплоходов, точно хотели задержать еще немного свои корабли на заводе.

Два маленьких буксира стронули с места самый большой теплоход — красавицу «Большую Волгу» и медленно повели ее из гавани. Верфь огласилась длинными гудками прощания. А когда теплоход, выйдя на открытую Волгу, тронулся вниз по реке, навстречу ему, выскочив из-под моста, начал быстро приближаться другой, тоже заводской корабль «Луга», совершивший уже свой первый рабочий рейс в Астрахань.

Корабли приблизились и застопорили машины. Они качались несколько минут рядом на широкой волне, почти касаясь друг друга бортами и перекликаясь короткими гудками своих сирен.

Трогательна была встреча этих двух кораблей, родившихся на одном заводе. Встреча у входа в родную гавань, на глазах у тысяч взволнованных строителей.

По берегу пронеслась буря аплодисментов. Еще раз загудели все корабли на рейде, и торжественное громыхаю-

щее эхо прокатилось в глубину реки. Два теплохода медленно и как будто бы неохотно разошлись в стороны, и большой корабль, увлекая за собою всю весеннюю армаду новых судов, пошел в низовья Волги.

Много раз во время своих последующих приездов на завод я видел и героев девяносто девятой весны в жизни «Красного Сормова» — и Наумова, и Пинхасика, сварщиков Денисова и Шишкина. Они строили в гавани новые сухогрузные теплоходы и пассажирские речные корабли, в их числе и флагман волжской армады судов — красавец дизель-электроход «Ленин».

Ныне Наумова уже нет в Сормове, в конце пятидесятых годов он был переведен на другой судостроительный завод, на юг страны. Пинхасика же я видел, и совсем недавно, он долго трудился на сормовской верфи, пока не ушел на пенсию. Что же касается сварщиков Денисова и Шишкина, то их рабочая жизнь неотделима от родной гавани, верфи, завода, они и поныне живут в Сормове.

В первый свой приезд на завод я оказался у истоков еще одной замечательной сормовской истории — рождения здесь крылатых кораблей. Когда я впервые познакомился с группой сормовских конструкторов во главе с Ростиславом Евгеньевичем Алексеевым, то это был маленький кружок энтузиастов, человек пятнадцать, не более, а теперь это мощное первоклассное конструкторское бюро кораблей на подводных крыльях.

Просматривая сейчас свои старые тетради, я вижу, что присутствовал почти на всех испытаниях первых моделей крылатых кораблей. И «Метеора» — и речного и морского, и «Кометы» на Черном море, и еще более крупного «Спутника». На морском варианте «Спутника» — корабле «Вихрь» — я однажды совершил переход в бурю от Ялты до Севастополя и видел тогда рядом с собою ведущих конструкторов — и Алексеева, и Николая Алексеевича Зайцева, к великому сожалению рано умерших, и Ивана Ивановича Ерлыкина, Леонида Сергеевича Попова и других.

Сейчас на сормовских стапелях создаются новые, более совершенные речные суда, паромы, буксиры, в том числе и новые суда на подводных крыльях.

Кто сейчас не слышал о «Ракетах», «Метеорах», «Кометах»! Они прочно вошли в наш обиход, стали привычными, и никто уже не удивляется. увидев летящий над водою корабль на подводных крыльях. Таков стремительный ход нашего времени, эпохи технической революции.

Не буду больше углубляться в подробности этой, одной из многих сормовских историй. Я вспомнил о создателях крылатых кораблей с надеждой, что старейший в России и вечно молодой завод найдет своих талантливых летописцев, что будет еще издано немало книг о «Красном Сормове», о его уникальной и вместе с тем типической рабочей судьбе, в которой так глубоко, ярко, впечатляюще отразились и время великих революционных перемен, и прекрасные черты русского пролетариата и советского рабочего класса.

ОГНИ НА БЕРЕГУ



Летом пятьдесят первого и пятьдесят второго годов я часто приезжал в волго-донские степи, на строительную площадку нынешней знаменитой Волгоградской ГЭС. Это было «утром этой большой стройки», как писали частенько в те времена, и открытие Волго-Донского канала, строительство Цимлянской ГЭС, а затем и Волгоградской вошло в летопись нашего послевоенного времени как одно из больших событий первых послевоенных пятилеток.

Мысль о соединении Волги с Доном родилась давно. В «Истории Петра», составленной А. С. Пушкиным, говорилось: «Петр положил соединить Волгу и Дон и велел начать уж работы, положив таким образом начало соединению Черного моря с Каспийским и Балтийским».

В. И. Ленин еще в 1918 году на заседании Совета Народных Комиссаров охарактеризовал Волго-Донской канал как могучий транспортный рычаг, который должен повернуть экономику отсталых областей юго-востока России. В ленинском плане нашла яркое отражение идея комплексного решения сложных гидротехнических задач в нашей стране.

Великая Отечественная война прервала начатые работы, но уже в 1943 году, вскоре после Сталинградской битвы, Советское правительство поручило Гидропроекту возобновить их. В район будущего канала, на стройки ГЭС была направлена мощная разнообразная техника. Строители работали с таким энтузиазмом, так эффективно, что

правительство сочло возможным сократить срок окончания строительства канала на два года. 31 мая 1952 года в 13 часов 55 минут слились воды двух великих рек, а на следующий день первые суда вошли в шлюзы Волго-Донского канала.

Свидетель и очевидец событий, я писал об этом в свое время, однако многие наблюдения, зафиксированные в моих рабочих тетрадях, портреты рабочих, не вошедшие в мои книги, представляются мне сейчас важными и интересными штрихами жизни, характеров, судеб людей, работавших на этих стройках в начале пятидесятых годов.

...Эту землю прокалил беспощадный июльский зной, и, взрыхленная ковшами экскаваторов, она и на закате солнца все еще хранила приятное, сухое тепло. Даже на закате обожженная, истомившаяся по влаге земля грела ладони рук, хотя по низким холмам, лишь кое-где покрытым коротким бобриком травы, струился ветер от реки.

Мы шагали вдоль дамбы, перегородившей глубокую впадину оврага и подготовленную для полотна будущей шоссейной дороги. Строительный участок примыкал к реке, и, когда спадала пыль, открывались взору широкий простор Волги, лесистая чернота левобережья, дальние селения, точно замершие под голубою чашей неба.

Волга бежала совсем рядом, и шепоток ее воды слышался у покатого песчаного берега. Должно быть, только что прошли плоты, от воды тянуло необычным здесь запахом мокрой древесины, терпким хвойным соком, тонкой стружкой. Сильные, вкусные ароматы леса плыли в теплом и душном воздухе.

— Работает, видите, только хобот торчит из забоя! — сказал мой спутник, показывая на стрелу экскаватора «Ковровец».

— Рядом дамба — это моя работа, и вон тот мост — тоже. Здесь легла не одна тысяча кубиков!

Он широко взмахнул рукой, как бы сметая в стороны старые поселки, и увлеченно заговорил о социалистическом городке, который подымется здесь, о гидроузле, о новом рельефе всей местности. Светловолосый, худенький, с узкими, почти мальчишечьими, плечами, он шагал, надвинув кепку на самые брови, и рассказывал как хозяин всех этих грандиозных планов, как человек, ясно видящий прекрасные контуры будущего, жить и работать для которого — счастье.

Серого цвета «Ковровец», похожий на высокую диковин-

ную птицу, стоял на дне глубокой, размытой дождями балки. До начала смены еще оставалось полчаса, и машинист Виктор Любимов решил искупаться перед работой.

— Миша, ты пока в мотор полез, а я в Волгу окунусь! — крикнул он своему помощнику, крупная голова которого и широкие плечи были едва видны за кожухом моторной части.

У берега экскаваторщика догнал невысокий чернявый бульдозерист Рыбкин, тоже пришедший искупаться.

— Ты знаешь, Юра, месячную норму хочу сегодня свалить, двадцатого числа! — сказал ему Виктор, оглядывая суховатую фигуру бульдозериста, его темную от загара грудь и руки, которые в свете заката казались темно-фиолетовыми.

— От вас это можно ждать,— весело ответил ему Рыбкин.

— Давай ныряй, вода кипяченая! — неожиданно крикнул Виктор. Он озорно взвизгнул и, окунувшись, поплыл на середину реки. Плыл он стилем кроль, ритмично загребая полусогнутыми в локтях руками и точно ножницами рассекая воду резкими движениями ног.

После знойного дня вода казалась теплой, приятной, точно парное молоко. Изредка перекликаясь гулкими голосами, машинисты уплывали все дальше, стараясь покачаться на волнах, бегущих за кормами судов. Потом, отдохнув на теплых еще камнях пляжа, друзья, поощрительно и дружески кивнув друг другу, направились к своим машинам.

Солнце с каждой минутой все глубже опускалось за горизонт, перегорающее золото заката в последний раз окрасило степь, и быстро, как всегда на юге, наступили сумерки. На экскаваторе включили прожектор, точно постеленная световая дорожка легла по дну оврага. Виктор шел по ней энергичной походкой человека, весело возбужденного перед началом радостной работы.

Ему было двадцать три года, и от самого Виктора я услышал его коротенькую биографию. Москвич, школьник, ученик седьмого класса, он неожиданно в начале войны стал фронтовиком. Мальчик написал письмо, но когда в военкомате ему отказали, он захватил с собой кусок хлеба, две плитки шоколада и сел на поезд, уходящий в сторону фронта.

В лесу недалеко от переднего края разгружался отряд морской пехоты. Тридцать километров, не отставая, шагал за отрядом паренек, пока наконец ему не выдали тельняш-

ку, бушлат и брюки, обрезав ножницами длинные штанины.

— Воюй, только не плакать, мальчик! — сказал ему тогда командир.

Так Виктор стал бойцом морской пехоты, был четырежды ранен и награжден орденами. Потом он работал экскаваторщиком в Москве, и его долго не хотели отпускать на большую стройку. Но из Волгограда пришел официальный вызов, и Виктор уложил вещи в свой старый походный сундучок.

На стройке ему вручили «Ковровец», и сначала Виктор дал на нем выработку семьсот кубометров в смену, потом девятьсот и тысячу. Скоро он почувствовал, что его экскаватор может давать и более чем тысяча кубометров в смену. Тогда он решил подготовиться к рекордной ночной вахте.

Это была необычная, напряженнейшая, надолго запомнившаяся Виктору ночь, и я попросил показать мне на местности, как это все произошло.

Вот его рассказ:

«Я к этой ночи готовился давно. Высчитал, что смогу дать 1500 кубов. Потом переговорил с Рыбкиным. Он парень-фронтовик, аккуратный и притом очень скромный. Я ему сказал, и он удивился такой большой цифре. Но помогать согласился. «Отваливай грунт, а я буду стаскивать его в Забазную балку, там воронка глубокая, ее и засыплем».

В эти дни мне дали нового помощника, Синицына. Он мне сначала не понравился. Молчаливый. Десяток слов скажет за сутки, и на том спасибо. На экскаваторах он раньше не работал, машину знал не очень хорошо. Я ему в первый день так и сказал: «Если хочешь со мной работать, читай книги по электротехнике, мы скоро получим «Уралец» трехкубовый, электрический».

Синицын взглянул на меня сердито, точно я его обидел, и сказал: «Хорошо!» А ведь помощник у меня вроде за бортмеханика, от него многое зависит.

В общем, подошла эта ночь. Я пришел за час до начала смены, Синицын был уже там, осматривал мотор. Я тоже скинул куртку, начал помогать. Я летом всегда в тельняшке работаю, храню с фронта, в сундучке у меня три штучки,— это ж душа!

Синицын брови хмурит, обижается, что проверяю его.

— Обижаться, браток, в такую минуту глупо,— сказал

я ему,— потому что мы на рекорд идем, а это все равно что в бой. Сорвемся — стыда-то сколько!

Он головой кивает и все помалкивает. Что я тогда о нем знал? Говорили, что фронтовик, такой же, как и Рыбкин, танкист, воевал на Севере, потом работал в колхозе, оттуда приехал на стройку.

Экскаватор оказался у нас в полном порядке. Тут к нам подходит прораб нашего участка Сашенков, который уже знал о решении рекорд поставить, и спрашивает с веселым лицом:

— Ну, сколько вам, ребята, кубиков отмерить?

— Отмахай нам,— говорю,— Иван Павлович, тысячу пятьсот и пожелай счастья на выполнение.

Он засмеялся — не поверил.

— Да ведь ты не сделаешь!

— Нет, дам, плохо вы еще нас знаете,— говорю.

— Ты все-таки, Виктор, не горячись! Я сейчас отмеряю столько, что дай бог вам справиться.

И отмерил Сашенков 1300 кубометров. Потом кепочкой помахал на прощание, дескать, утром приду, посмотрю, какие вы герои, и ушел!

Начали мы ровно в девять вечера. Совсем темно стало, зажгли прожектор. Экскаватор наш мощно гудит, «МАЗы» один за другим подлетают к забою. Тут недалеко деревушка, которую будут переносить на новое место, так жители ее вечерами часто приходят к нам посмотреть, как мы тут их землю переделываем.

В эту ночь тоже пришли, стали у края оврага, кепками машут. А мы все набираем темпы. По норме полагается до четырех захватов в минуту, а мы доводим до семи-восьми. Это значит: каждые семь-восемь секунд полный ковш земли летит в кузов машины. Грузовики фыркают на крутой дороге, фарами режут темноту, а вокруг забоя карусель огней — это же действительно красивое зрелище!

Мы в таком высоком темпе работали несколько часов, пока автомашины не ушли, а потом начали грунт давать на отвал, и дело пошло еще быстрее. После полуночи стало прохладнее. В кабинке жарко, мотор, железо греется, а тут ветерок освежающий с Волги. А там пароходы плывут. Мы уже расписание изучили и примерно знали, какой пассажирский пароход идет вверх или вниз по реке.

Если бывало не очень поздно, то пассажиры выходили на палубу посмотреть на берег, на стройку, на огни экскаваторов. У меня на таком пароходе дядя родной плавает

помощником капитана. Я с ним всегда на пристани в городе встречаюсь, рассказываю, как жизнь, как успехи. В эту ночь его пароход должен был проходить мимо нашего забоя.

Все на экскаваторе шло хорошо, но часа в два ночи случилась заминка. Сначала я почувствовал, что мотор занеможил. Тянет плохо, нагрузка не по силам. Ну, думаю, подцепил что-нибудь ковшом — валун большой или железо, тут его много в земле напихано... Иной раз и кости чьи-нибудь потревожишь. И страшно станет на минутку, а потом думаешь с гордостью: вот ведь какая это святая сталинградская земля, мы тут врагов победили, тут и природу победим!

Ну вот, заныл у меня мотор, и я почувствовал, что ковш слишком тяжелый. Подымаю его осторожно выше, осветил прожектором... И что же вижу!

— Синицын,— кричу помощнику,— братишка, посмотри, что же это такое блестит? Никак бомбы!

А он спокойно:

— Ну да, бомбы! Одна килограммов на сто, авиационная!

Смотрю — и действительно здоровая бомба лежит себе в ковше на земляной подстилке, толстая, как поросенок. Вот так, думаю, зачерпнул! Меня аж холодный пот пробрал. Начал я тихонько ковш на землю опускать, а сам не дышу. Только опустил, спрыгнул с экскаватора и подошел ближе посмотреть. Бомбы лежат на кучке земли неразряженные, видно, зарылись в свое время в землю не разорвавшись. Пока я смотрел, рыхлая-то земля под самой тяжелой бомбой чуть осыпалась, штука эта сдвинулась с места и покатилась немного по насыпи.

...Через две секунды были мы с Синицыным за пятьдесят метров от экскаватора и по всем правилам залегли за бруствер, что от старого окопа остался. Тут же к нам и Рыбкин прибежал, он отогнал свой бульдозер подальше... Лежим, головы склонили, думаем, что же дальше делать?

— Вот тебе и рекорд поставили,— говорю я,— вот и сработали — не повезло нам!

— Что ж, так и сдадимся? — спрашивает Синицын.— Это не дело!

— А что ж,— говорю,— на бомбы, что ли, лезть? Сейчас не война.

— Придется, видно, так сидеть до утра,— соглашается

со мной Рыбкин,— нельзя больше работать, а утром пускай их обезвредят.

Синицын возражает: долго ждать — время дорого! Что на нее смотреть, мол. И все это он бурчит себе под нос. Молчаливый, а тут его проняло. И мне стало обидно, что из-за такой глупой случайности пропадает у нас рекорд, к которому столько готовились. И рабочую смену загубим наполовину. Тут я и сказал Синицыну: знаешь, мол, что, помощник, я попробую подойду к ней поближе, может, что придумаю...

А он меня рукой поймал за плечо: нет, не ходи, парень, ты моложе меня, я сам пойду.

Теперь моя пришла очередь его отговаривать. Ведь рискованно очень! Потом, он мой помощник, почему же ему идти, а не мне? Но Синицын меня недослушал, из окопчика выскочил и пошел. Сначала во весь рост шел, а метров за десять пополз. Это он к первой бомбе подполз, которая килограммов на двадцать. Взял он ее осторожно, подтащил к краю воронки и ухнул вниз. Потом за большую принялся — вот тут и намучился!

Раза три она у него с рук срывалась — ведь тяжеленная, чертушка! А мы с Рыбкиным лежим ни живы ни мертвы, только чувствую — пот глаза заливает. А Рыбкин спрашивает:

— Виктор (мы все шепотком разговаривали), вдруг эта бомба да как выскажется! Зачем мы, дуралеи, Синицына отпустили? Зачем разрешили это сделать?

Пока Рыбкин это говорил, Синицын бомбу поднял на руки, как ребенка, шатаясь, подошел к отвалу, скомандовал себе: «Раз, два, три!» — и скинул ее вниз. Только руки опустил и сам бросился на землю.

Мы тоже к земле приникли — слушаем. Тихо! Нет, не разорвалась бомба в воронке. Тогда Рыбкин к своему бульдозеру побежал и начал наш грунт быстро в воронку валить. Так мы эти бомбы в глубокой-то яме снова землей засыпали, захоронили их здесь, проклятых, навечно!

А я тем временем к Синицыну подбежал. Он стоит у экскаватора, спиной о гусеницу оперся, устал, руки, как плети тяжелые, свисли, а лицо веселое. Ну что ему говорить? Я и слов таких не знаю. Просто обнял и поцеловал в губы. И он сначала меня крепко обнял, а потом толкнул ладонью в плечо: довольно, говорит, время дорого, мы еще рекорд наш наверстать успеем! И мы на экскаватор полезли.

Только начали работать — слышу, пароход гудит на Волге.

— Это твой дядя едет,— говорит мне Синицын.

Я посмотрел на реку, и верно, знакомый пароход. А с палубы кто-то нам фонарем машет. Я кепку снял и свой прожектор то закрою ею, то открою — передаю привет световой морзянкой, как на флоте. Смотрю, отмашку делают фонарем — приняли. Начали переговариваться. Спрашиваю: где дядя?

«Сейчас разбудим, придет»,— отвечают.

Через минуту дядя выскакивает на палубу. С парохода спрашивают: как дела?

Сигналю: все, мол, в порядке! Сегодня дадим рекордную выработку.

Дядя передает: «Очень рад! Экипажу экскаватора — боевой привет!»

Ну, мы поблагодарили — и снова за работу. А утром приехал па участок наш прораб Сашенков. Походил, посмотрел, руками развел.

— Ну,— говорит,— орлы, это вы гору, гору своротили!

Потом сделали замер. Вышло, что в эту смену выбросили мы в отвал 1560 кубометров тяжелого глинистого грунта. Это даже больше, чем ожидали сами!»

...Виктор закончил рассказ, когда мы подошли к экскаватору. Здесь нас встретил Синицын, вытиравший паклей испачканные маслом руки. Не только волосы, но и брови Синицына были какого-то медного оттенка и, как почти у всех рыжеволосых людей, кожа лица казалась нежной и точно подсвечиваемой изнутри мягким красноватым огнем. Он только что перестал возиться с мотором, глубоко дышал, и лицо его, раскрасневшееся после работы, так и горело жаром.

— Ну и щеки у тебя, Миша,— ласково сказал ему Виктор,— прикуривать можно!

Синицын рассмеялся. Это был добрый смех сильного и спокойного человека.

— Искупался. Вода-то небось теплая, хороша? — спросил он, поднимаясь в кабинку машины.— Освежился, и начнем, садись за свой пульт!

Виктор влез в кабинку экскаватора, привычным жестом заломил на затылок кепку. Потом он снял куртку и остался в одной своей полосатой тельняшке.

...Экскаватор, этот маленький цех на гусеничном ходу, стремительно вращался вокруг оси то в одну, то в другую

сторону и ни секунды не стоял на месте. В корпусе машины было тесно от компактно поставленных моторов, пахло горячим маслом, нагретым металлом. От рева механизмов, от тряски и гулких толчков не слышно человеческого голоса, и Виктор жестами рук отдавал распоряжения Синицыну.

Теплая, густая пыль туманом клубилась в забое. Скоро Виктору стало жарко, он засучил рукава, и руки его сразу побелели от пыли, которая запорошила лицо, хрустела и на зубах. Тельняшка прилипла к теплой и влажной спине, едкий пот обильно стекал машинисту на глаза и, высыхая, застывал на лбу грязными полосками. Но Виктор работал размеренно, четко и спокойно, словно не обращая на все это внимания, увлеченный высоким, напряженным ритмом экскавации.

Скоро пришли колхозники и, видно уже по привычке, усевшись на краю оврага, покуривали, любовно и уважительно наблюдая за работой экскаватора. Устроив себе коротенький перерыв, машинист сошел с машины и прилег на траву.

— А ведь это я потом узнал,— сказал он мне.— Синицын женат, у него двое детей, домой письма пишет через день.

Видимо, Виктор был еще полон своим рассказом и, работая, думал о поступке своего помощника.

— Вот видите! — раздумчиво и взволнованно продолжал он.— А в ту ночь что сделал: меня остановил, а сам пошел. Этим он мне фронтовых товарищей напомнил. Скромный, простой, а какой человек!

Виктор лег на спину, подложив ладони под голову. Он смотрел в небо. Оно было темное, глубокое, с мелкой россыпью спокойно мерцавших звезд. Здесь, над экскаватором, звезды были ярче, но к югу они бледнели и становились совсем неразличимы на дальнем краю неба, озаренном огнями легендарного города.

— Это Волгоград,— сказал Виктор. Он много чувства вложил в это слово.— Мы его ночью всегда видим. Скажешь себе: это Волгоград, и работать хочется еще больше!

Потом Виктор посмотрел на реку. По темной ее глади словно бы двигались теплившиеся на бакенах красные, синие, желтые сигналы, вместе с Волгой они поворачивали за лобастый выступ полуострова, как бы тоже стремясь к Волгограду.

Неожиданно на реке показался теплоход. Он быстро шел вниз, гремя своими машинами и отражаясь всеми огня-

ми в воде. Казалось, это плывут два парохода — один прозрачный, легкий, лежащий на воде, другой тяжелый, массивный, выбросивший свои мачты в темную глубину неба.

Пассажиры на корабле, видно, еще не спали. Они заметили огни экскаваторов и район большой стройки, раздался протяжный приветственный гудок, и долго на палубе парохода качались веселые огоньки ламп и карманных фонариков.

НА СТРОЙКЕ В ЖИГУЛЯХ



начале весны на площадке строительства крупной волжской гидростанции тяжелые землеройные машины то и дело тонули в жидкой земле. Вся площадка котлована сверху выглядела шахматной доской, так густо пересекались темные поля забоев светлыми полосками деревянных дорог. Машинисты на трехкубовых экскаваторах «Уралец» рассчитывали каждое продвижение машин: при малейшей неточности они могли сорваться в грязь и завязнуть.

Нелегко было тогда вытаскивать экскаваторы, привязывая к гусеницам бревна, и затем, метр за метром, выволакивать машину на более сухое и крепкое место. Каждодневная, изнуряющая борьба с грунтовыми водами отнимала немало времени и сил у экипажей всех землеройных машин.

И только один «Уралец», стоявший на «более высокой отметке» у подножия Яблоневой горы, оказался в лучших геологических условиях. Именно потому, что здесь, на трассе подводящего канала, грунт был сухой и плотный, экскаватор этот должен был работать с такой интенсивностью, чтобы заменить по крайней мере нескольких «Уральцев», стоящих на сырых глинах.

Это была высокая, выкрашенная в синюю краску машина с новым ковшом, на котором резко выделялась надпись красноватыми буквами: «Комсомольцы Уралмаша — комсомольцам Волгостроя».

Флажок, висевший на вершине стрелы, был такого же цвета, как и большая звезда на крыше кабины и яркий треугольник вымпела Центрального Комитета комсомола, бив-

шийся на ветру у прямоугольного окошка машиниста. Бригадиром экипажа этого экскаватора был Борис Григорьевич Козаченко.

Козаченко работал на стройке всего лишь один год. На вопрос, откуда он, механик отвечал обычно, минуя последующие незначительные события в его жизни, что пришел на стройку с флота.

Если же его расспрашивали подробнее, машинист добавлял, что на флот он попал юношей, служил на Черном море. Потом временно работал поездным ревизором, но душа его рвалась на большую, интересную, захватывающую своими масштабами стройку, о которой мечтал еще на флоте.

Козаченко хотел вернуться к знакомой и полюбившейся ему специальности дизелиста-турбиниста. Он рассказал о своей мечте старшему товарищу и большому другу, парторгу местного железнодорожного узла, и тот посоветовал ему поехать на Волгу.

...В один из июньских дней 1951 года к экскаватору Василия Лямина подошел крепко сложенный темноволосый человек в матросской форменке и бескозырке.

На его обветренном, загорелом лице с массивными скулами и серыми глазами светилась улыбка, как бы говорящая, что этот бывалый и уверенный в себе человек сейчас живо увлечен тем, что видит он в огромной чаше котлована.

— Так вот она, моя машина! — сказал он вслух, с особым вниманием осматривая «Уралец».— Кто здесь товарищ Лямин? — спросил моряк, ловко вспрыгнув на гусеницу, потом на высокую площадку, где, опершись локтями о перила, стоял и внимательно наблюдал за новичком бригадир экскаваторного экипажа.

Несколько дней назад, сойдя с парохода, Козаченко побывал на правом берегу, разыскивая управление строительством. Но оно оказалось на другой стороне Волги, ехать туда было поздно, а места в переполненной гостинице не оказалось, и Козаченко переночевал под деревом в леске, накрывшись своей черной флотской шинелью.

Утром в столовой он очутился за одним столом с высоким белоголовым юношей в замасленном комбинезоне.

— Новичок, строитель? — спросил тот.

— Пока еще кандидат в строители, хочу попасть в экскаваторный экипаж,— сказал Козаченко.

— Так, а покажите свои ладони? — не то шутя, не то всерьез попросил сосед.

То ли широкие незагорелые ладони Козаченко, на кото-

рых не было видно мозолей, то ли независимая осанка моряка и его напористость не понравились машинисту, и он, пробормотав что-то насчет белоручек, отвернулся от Козаченко.

— Эти руки работы не боятся, рано ты их забраковал, дружище,— ответил моряк, немного обидевшись.

В полдень, перебравшись через Волгу, Козаченко побывал в управлении строительством и теперь, к удивлению своему, узнал в своем будущем учителе того самого машиниста, с которым разговаривал в столовой.

— А, кандидат, значит, к нам? — с улыбкой спросил бригадир таким тоном, словно не сомневался, что Козаченко окажется настойчивым и попадет именно в его экипаж.— Только у нас работать так работать, на совесть! — предупредил он.— Такой уж уговор, морячок! — теперь уже дружески сказал Лямин и протянул руку Козаченко.

Экскаватор УЗТМ — Уральского завода тяжелого машиностроения, или, как уважительно зовут его строители, «Уралец»,— это большая машина, стремительно вращающаяся вокруг оси то в одну, то в другую сторону. В кабине управления — пульт с короткими ручками рычагов, щиток с приборами, контролирующими работу моторов.

Управление электрическим экскаватором подчинено полной и совершенной автоматике. Здесь точная и безотказно действующая система электрических реле, контрольных лампочек и механических переключателей. Но заменяют ли они индивидуальное мастерство машиниста?

Лямин хорошо знал механизм экскаватора, он на слух определял его ритмичное дыхание, чувствовал малейшую перегрузку, которая всегда отзывалась неровным, натруженным гудением моторов. Он умел, как говорится, и «видеть и слушать» спиной, так изучил все шумы и тона работающего экскаватора, что иногда давал указания мотористам, не поднимаясь со своего кожаного кресла в кабине управления.

Наделенный технической сметкой, внимательный, всегда внутренне собранный, Козаченко оказался способным учеником. Электрические моторы «Уральца», автоматика и приборы управления не были новинкой для военного моряка, изучившего машинное отделение на быстроходном боевом катере. Правда, на экскаваторе механизмы были и более мощными и более сложными, но Козаченко достал учебники, схемы электрооборудования и чертежи механи-

ческого «хозяйства» «Уральца» и начал разбираться во всех новых узлах и конструкциях.

Он не спешил сразу сесть в глубокое кресло машиниста, подергать рычаги и попробовать управлять экскаватором, как это обычно торопятся сделать все ученики. Последовательность и выдержка нового ученика удивили Лямина.

Козаченко начал не с кабины управления, а с машинного отделения. Казалось, он сначала хочет стать квалифицированным механиком, а потом уже машинистом.

Труднее всего было приобрести навыки управления экскаватором — как раз то, что с первого взгляда казалось наиболее доступным, а на самом деле требовало постепенного накопления выверенных и отработанных приемов. Как и всякий трудовой навык, искусство работы за пультом давалось только ценой опыта и времени.

«Уралец» Лямина и Козаченко работал в котловане рядом с экскаватором, на корпусе которого виднелась большая красная единица,— это была машина Михаила Евеца, опытного и едва ли не старейшего механика, впервые начавшего на Волге разработку котлована. Высокий, чуть сутуловатый, с седеющими висками, коммунист Евец нравился Козаченко и манерой своей работы, и своим всегдашним спокойствием, и удивительно бережной, по-хозяйски рачительной заботой о своей машине.

Летел ли ковш в воздух, опускался ли к основанию забоя, набирал ли грунт — Евец стремился делать это как можно быстрее.

Но время шло, и вскоре Борис Козаченко, умеющий критически оценивать и свой и чужой опыт, начал замечать некоторую односторонность метода Евеца и как-то сказал ему об этом.

— Ты на каждой операции, Михаил Юрьевич, хочешь время сократить, а все-таки пока одну не кончишь, вторую не начинаешь. А если тебе попробовать их совмещать?

— Это легко сказать, я пытался, согласованности движений не получается, это как одной рукой махать в одну сторону, а другой в другую — попытайся! — с улыбкой заметил Евец.

Козаченко попробовал и убедился, что работать так действительно трудно. Однако попыток своих он не оставил. Каждый день, приходя на смену, пробовал одновременно включать моторы подъема стрелы и напора ковша. Когда же удавалось быстро поднять ковш над напором, Козачен-

ко с радостью заметил, что он производил эту операцию на несколько секунд быстрее Евеца.

Так, казалось бы, давно изученное дело управления экскаватором постепенно раскрывало перед машинистом Козаченко все новые и новые возможности совершенствования.

Прошло полгода со времени приезда Козаченко на стройку, и уже за рычагами в кабине управления сидел не широколобый парень, старательно копирующий движения то Василия Лямина, то Михаила Евеца, а машинист со своим уверенным и своеобразным рабочим «почерком». И нередко теперь новички, каждый день прибывающие на стройку, приходили посмотреть на работу сменного машиниста, и то один, то другой, вытащив блокнот, вычерчивали там геометрию забоя Козаченко или рисунок полета его ковша.

Экскаватор Козаченко стоял тогда у самого берега Волги. Это был уголок котлована, примыкавший к склону горы, поросшему высокими соснами, березами, кленами и теми редкими цветами и травами, которые на Волге встречаются только в этом районе: восточной гвоздикой, алтайской ветреницей, казацким можжевельником.

И хотя экскаваторы постепенно «срывали» многоцветный ковер цветов и трав, этот участок котлована по-прежнему был живописен. В воскресные дни Козаченко любил побродить по горам вокруг огромной площади строительства. По крутым тропинкам поднимался он на гору или, присев на какой-нибудь пенек, любовался широким плесом Волги, которая голубой лентой мелькала далеко внизу, между деревьями.

Машинисту нравилось на стройке. Котловина правобережного района с ее довольно густыми лесами, высокими скалами, нависающими над простором великой реки, красивыми горными дорогами и полянами — все это сливалось у Козаченко с представлением о прекрасном курорте на Волге.

И действительно, еще недавно жители большого города приезжали сюда на пароходах и селились в уютных дачках, на склонах гор, в долинах Бахиловой поляны и Яблоневого оврага. Еще недавно заходили сюда лисицы и крупные лоси из расположенного неподалеку заповедника и бегали там, где сейчас вся земля была взрыта стальными ножами бульдозеров и ковшами экскаваторов.

...Бориса Козаченко заинтересовал ковш «Уральца». Это огромная механизированная лопата с толстыми и высоки-

ми стальными стенками и широким днищем. Машина проектировалась для работы на крепких скальных грунтах. Поэтому и ковш «Уральца» был тяжелый, литой, с толстыми стенками, способными выдержать удары о каменную массу.

На стройке экскаваторы в основном имели дело не со скальными грунтами, а с глиной, илом, песком — материалами значительно более легкими. Внимательно наблюдая за работой ковша, Козаченко заметил одну особенность. Передняя наклонная стенка часто придерживала линкий грунт, и это, в свою очередь, уменьшало вместимость «механизированной лопаты».

Козаченко прекрасно знал, как нервничают и злятся машинисты, когда приходится по нескольку раз встряхивать ковш, пытаясь выбить из него комья липкой глины. Чтобы избежать этого, предлагались различные способы смазывания стенок, механический скребок и многое другое, а пока приходилось останавливать экскаватор и лопатами, вручную чистить ковш.

Нередко на стройке приходилось слышать мнения, что налипания грунта нельзя избежать и, пожалуй, надо смириться со «стихийным» бедствием. Но Козаченко не хотел смиряться.

«Почему нередняя, наклонная стенка так задерживает грунт?» — спрашивал себя машинист. «Да именно потому, что она наклонная»,— отвечал он себе. «Может быть, и переднюю стенку надо поставить вертикально?» Впервые мелькнув в сознании, догадка взволновала машиниста. Он старался не упустить ее, обдумать глубже и последовательнее.

Козаченко и сам впоследствии не мог вспомнить точно, когда, в какой именно момент сложилось у него решение изменить геометрию ковша. Как-то дома он набросал предварительный чертежик. Переднюю стенку сделал вертикально, а потом придал ей небольшой обратный наклон и тут же увидел, что это влечет за собой изменение конфигурации и самого днища ковша.

Так родилась первая общая схема. Но одно дело — схемка на листе ватмана, а другое — пускай предварительный, но все же проект с расчетами прочности и силовых нагрузок, с выкладками и техническими обоснованиями. Козаченко занасся книгами по технологии материалов, физике, сидел ночами, мучился, рассчитывал.

Наконец он решился показать свою работу начальнику

участка в котловане Биданокову и другим инженерам. Их отзывы окрылили машиниста.

Теперь предстояло сделать второй шаг, не менее трудный,— доказать всем свою правоту, целесообразность нового ковша и увидеть его уже в «металле» первой экспериментальной модели.

Но Козаченко не торопился выпускать из рук чертеж, пока не убедился, что он уже ничего не может добавить и улучшить. И здесь лучшей проверкой была суровая критика самих людей практики, своих же товарищей машинистов.

Первым, к кому обратился Козаченко за консультацией, был машинист Михаил Евец. Козаченко показал ему свой чертеж в домике экскаваторного участка, что стоял у самой воды, поодаль от котлована, где верхняя перемычка под прямым углом резала голубую пойму Волги.

Евец сидел у окна, вертел перед глазами чертежик, хмурился и тут же сам пальцами разглаживал сходившиеся к переносице темные густые брови. За окном по перемычке двигался урчащий поток самосвалов, неподалеку виднелись стрелы нескольких «Уральцев», и казалось, старый машинист не столько смотрит на чертеж, сколько на огромные колеса нагруженных машин, которые давят податливую земляную колею дороги.

— Толково, Борис, такой ковш за одну экскавацию наполнит пятитонный «МАЗ»,— сказал наконец Евец.— И грунт не удержится, вниз полетит, без всякой смазки, выигрыш во времени и тебе и шоферам,— продолжал машинист.— Загвоздка в одном: потянут ли моторы?

— Потянут, Юрьевич, ковш-то легче старого на две тонны,— пояснил Козаченко.

— Это так, но надо рассчитать поточнее. А второе — большой обратный наклон нельзя делать: грунт будет царапать при подъеме. А в общем, толково, Борис! — еще раз убежденно сказал Евец.— Зашел бы ты теперь к нашим механикам,— предложил он.

В тот же день Евец и Козаченко зашли к механику экскаваторного участка. Это был недавно приехавший на стройку немолодой инженер, уже слышавший о предложении Козаченко. Увидев в руках машиниста чертеж, он оглядел его с таким равнодушно-скучающим видом, словно уже давно ожидал увидеть этот проект и поэтому ничуть не удивлен.

— Так вот что, товарищ Козаченко, скажу вам прямо: здесь, на стройке, нам такого ковша не изготовить. Ни в на-

ших мастерских, ни в управленческих нет таких станков,— развел руками инженер.

— Так я и рассчитываю на завод,— кивнул головой машинист.

— Вот то-то и оно. Там могут сделать. Но теперь возьмем другое. Надо менять серийное производство. А вы представляете себе, что значит изменить серию детали на большом заводе уникального машиностроения? Какие материальные издержки? Стоит ли этого ваш ковш?

— Стоит! — горячо сказал машинист.— Вы подсчитайте, на каждый цикл экскавации лишних полтора кубометра земли. Умножайте это на все наши «Уральцы» да на число экскаваций. Так это же тысячи кубометров земли. Большое дело!

— Дело, может, и большое, да улита едет, когда-то еще будет первый ковш, а когда-то серия! Кому-то надо побывать на заводе, тут мороки не оберешься!

— Предлагаете бросить проект, что ли? — сердито спросил Евец.

— Я ничего не предлагаю,— пробурчал механик.— Пошлите по инстанциям в бюро рационализаторских предложений, как заведено. А пока надо работать,— неожиданно заключил механик.— Проекты проектами, а план выполнять надо. Вы мне кубики дайте, кубики,— и он посмотрел на Козаченко.

— Нет, ты не оставляй этой идеи, Борис,— сказал Евец, когда они оба, возбужденные, вышли из кабинета механика.— Надо действовать через голову этого деляги. Я скажу в партбюро,— пообещал он.

Через несколько дней Козаченко зашел в комсомольский комитет, затем — в партбюро. Евец побывал здесь раньше, рассказал о ковше. Партбюро посоветовало Козаченко послать предложение в бриз. Оттуда оно попало в отдел главного механика.

На левом берегу, в отделе главного механика, Козаченко, к огорчению своему, услышал все те же сомнения в необходимости затевать столь сложное, трудоемкое дело. Правда, на этот раз возражения были облечены в более гибкую и деликатную форму, чем у механика экскаваторного парка. Но Казаченко не устраивали ни комплименты «его технической сметке», ни ссылки на то, что вряд ли ему, не инженеру, подобает учить опытных конструкторов, ни половинчатые обещания, сулящие все новые и новые проволочки.

«Значит, бывает и так: то, что кажется очевидным в за-

бое, не убеждает некоторых кабинетных работников,— думал Козаченко,— а чтобы убедить других, надо быть самому во всеоружии своей убежденности». И он снова и снова садился за книги, думал, советовался с товарищами.

Подошли дождливые осенние дни. На Волге повеяло холодом.

Уже, отправляясь вечером на левый берег, Козаченко захватывал плащ, потому что часто задерживался до ночи, а то и до рассвета в управлении строительством. Он не оставлял мысли послать чертежи на Урал и хотел технически грамотно и подробно «изложить» конструкторам завода свою идею.

В проектном отделе управления никого не смущало, что Козаченко не инженер, что ему трудно, скажем, вычертить свой ковш в различных проекциях, что он не владеет чертежными навыками. Козаченко страстно хочет учиться — это было главное, и его терпеливо учили, ему помогали.

Это было трудное время, может быть, самое трудное для Козаченко. Машинисту приходилось жить «на двух берегах» и чуть ли не каждый день из котлована приезжать в проектное бюро, а с левого берега — домой или снова в котлован на рабочую вахту.

Катера ходили через большие перерывы, и Козаченко нередко опаздывал на переправку. Хорошо, если выручала попутная моторная лодка. Но бывало и так, что Козаченко торопился на смену и, связав одежду узлом, по-матросски, прикреплял узел к голове и вплавь перебирался на другую сторону, в район Яблоневого оврага.

Иногда такое купание освежало Козаченко, прибавляло бодрости. А иной раз он долго не мог согреться, влезая в подмоченную одежду, и потом дрожал от озноба на подножке самосвала или в открытом кузове попутной машины. В один из ненастных дней, перебираясь вплавь через Волгу, Козаченко простудился и слег в постель.

Теперь он лежал дома, злясь на себя и страдая от вынужденного безделья. Уже кое-кто из маловеров предлагал ему отступиться и не терять больше времени. Но таких было немного. Лучшие друзья — Евец, Стариков, Яшкунов, навещая больного, поддерживали веру в ценность и важность его предложения.

Да и сам Козаченко думал, что дело, им начатое, став достоянием коллектива, как бы получило путевку в жизнь и не могло быть забыто. Уже без участия машиниста о нем говорили, за него боролись, его «продвигали» вперед самые

разные люди: инженеры участков, члены партийного бюро, редактор газеты на стройке, председатель постройкома.

Пока Козаченко, даже больной, продолжал работать над новой конструкцией, что-то изменяя, что-то добавляя в чертежах, о его ковше доложили начальнику стройки. И как только Козаченко поправился, его вызвали в управление строительством.

Начальник стройки был уже знаком с чертежами. Они лежали у него на столе в папке для срочных дел.

— Я буду крестным отцом этого предложения,— сказал начальник строительства.— Как вы мыслите себе дальнейший ход дела? — спросил он.

— Кто-нибудь должен повезти чертежи на завод, туда, где делается «Уралец»,— сказал Козаченко.

— Согласен. Наше одобрение вы уже получили. С чертежами поможем. А на Урал, я думаю, лучше поехать вам самому,— сказал начальник строительства.— И помните, вы не просто изобретатель и не просто машинист, а полномочный делегат нашей большой стройки.

В Свердловск Козаченко приехал в канун Октябрьских праздников. Дорогой, забравшись на верхнюю полку, считал и пересчитывал основные параметры ковша, в уме парировал возможные возражения конструкторов. Соседи с удивлением поглядывали на беспокойного пассажира, который, что-то бормоча про себя, то развертывал, то снова свертывал трубочкой толстые шуршащие рулоны ватмана.

Заводских конструкторов Козаченко побаивался не на шутку. «Одно дело — свои, на стройке,— думал машинист,— они, может, подошли ко мне с известной скидкой. А как-то встретят меня на Уралмаше создатели машин, которых я, простой машинист, еду поправлять? Что-то скажут те, кому трудиться над моим проектом? Только бы не опозориться!»

Не без робости открыл он впервые двери конструкторского бюро завода, где за чертежными досками работало человек двести инженеров. У Козаченко тогда зарябило в глазах от чертежей, схем уникальных машин. Он заволновался, увидев подходившего к нему главного конструктора экскаваторов.

— Мы следим за вашей стройкой и за людьми, что работают на наших машинах,— сказал главный конструктор.

Вскоре он созвал небольшое совещание инженеров. Ко-

заченко был здесь главным докладчиком. Он стоял по команде «смирно», точно на судне перед подъемом флага. Главный конструктор, заметив это, предложил машинисту сесть за стол. После напряженного доклада Козаченко чувствовал острую усталость и в этот момент был твердо уверен в провале своего предложения.

Но главный конструктор сказал:

— Суждение товарища Козаченко в общем правильное,— и пригласил инженеров приступить к обсуждению деталей проекта.

Один из конструкторов «Уральца» похвалил Козаченко за то, что он тонко подметил много особенностей работы ковша на мягких грунтах.

— Это очень для нас ценно. А вот что касается деталей, то если переднюю стенку ковша сделать вертикальной, как вы предлагаете, то при работе будет выбивать «пятку»,— сказал он.

— Это точно,— согласился Козаченко.— Поэтому следует закрыть «пятку» до половины, чтобы ее не выбивало,— ответил он.

Главный конструктор тут же внес предложение поручить изготовление чертежей нового типа ковша комсомольцам-конструкторам. Изготовить в срочном порядке.

— Ну что, доволен, Козаченко? — спросил он.

— А я, признаться, боялся, что вы повернете меня кругом — и шагом марш назад домой,— признался Козаченко.

Теперь каждый день Козаченко приходил, как на службу, в конструкторское бюро, засиживался там допоздна. Он не чувствовал себя гостем, нет, он был деятельным работником, советчиком, консультантом, накопившим интересный практический опыт; с ним считались, а если и спорили, то как с равным.

Во второй половине дня Козаченко обычно на несколько часов приходил в цехи. Огромные, похожие на самолетные ангары пролеты поражали своим объемом. Козаченко впервые видел громадные станки, на которых обрабатывались десятиметровые валы. И одна мысль о том, что на этих замечательных станках будут обрабатываться детали нового ковша по его, Козаченко, чертежам, доставляла машинисту чувство неведомой никогда радости.

Он жил в те дни в гостинице вместе с пожилым, полным и добродушным профессором по сталеварению, который занимался на Уралмаше исследованием специальных сталей.

Оба они были поглощены своими изобретениями, оба по вечерам, заказав чай в номер, перебивая друг друга, рассказывали о трудностях с прохождением чертежей по инстанциям и продвижением деталей по цехам.

Козаченко волновался, подсчитывал время, проведенное в командировке,— все мысли его были на Волге. Наступили дни Октябрьских праздников. Машиниста пригласили в клуб Уралмаша и неожиданно выбрали в президиум торжественного заседания.

Раньше Козаченко казалось, что его знают только в конструкторском бюро. Но на собрании он почувствовал, что за его работой следит многотысячный коллектив уралмашевцев. После того как машинист выступил на этом заседании с приветствием от механизаторов своей стройки, а уралмашевская многотиражка начала каждую неделю сообщать о всех стадиях проектирования ковша, Козаченко уже встречали как дорогого гостя во всех цехах огромного завода.

Вскоре комсомольцы и молодежь модельного, обрубного, экскаваторного цехов взяли шефство над заказом стройки, и изготовление ковша пошло еще быстрее.

На прощание главный конструктор подарил ему книгу об экскаваторах с надписью: «Молодому экскаваторщику Б. Г. Козаченко в память об удачно начавшемся содружестве с конструкторами Уралмашзавода». Козаченко был растроган и взволнован, по достоинству оценив этот подарок. Уезжая, он обещал передать самые горячие приветы механизаторам стройки.

В областной город Козаченко прилетел самолетом и пошел сразу в обком. Уже выпал глубокий снег, стокилометровую дорогу на стройку, бегущую то полем, то через негустые леса волжского левобережья, сильно занесло, и машины к плотине не ходили.

Секретарь обкома позвонил начальнику строительства.

— Рад вас слышать, Козаченко. Как думаете добираться домой? — спросил тот по телефону.

Машинист сказал, что придется или ждать первопутка, или ехать кружным путем.

— Ну нет, это долго! Поезжайте на аэродром,— распорядился начальник строительства,— высылаю самолет.

Легкому двухместному «У-2» полчаса лету до района стройки. Воздушная трасса идет над горбатыми перевалами гор, дважды пересекает Волгу, и тогда открываются взору

сооружения правого и левого берегов, на островах и в пойме самой реки.

Козаченко сидел сзади летчика, любовался через окошко панорамой стройки, впервые с высоты во всей своей рельефности представив себе весь колоссальный фронт работы. Над скованной льдом рекой ветер гонял белесые космы снежной пыли. Точно темными линиями туши, прочерченными на белом полотне Волги, отходили от берега рубцы земляных перемычек, и там маленькими жучками со змеевидными хвостами пульповодов двигались во льду большие и малые земснаряды. Казалось, целая флотилия этих судов приплыла сюда и сейчас атаковала волжские берега.

Козаченко попросил летчика пролететь пониже над котлованом ГЭС. Там в белой раковине ползали стальные коробки экскаваторов, и казалось сверху, что вся земля котлована ощетинилась стрелами землеройных машин, кранов, пирамидами буровых вышек.

— Вон, видишь, у горы и мой высунул хобот! — крикнул летчику Козаченко и долго еще оглядывался на котлован, пока самолет летел над рекой, снижаясь к аэродрому.

Начальник строительства сразу принял Козаченко, расспросил об Уралмаше.

— Я доволен,— сказал он.— Вы начали дело, не бросайте его на полпути.

— Я думаю создать комсомольско-молодежную бригаду, чтобы работать с новым ковшом,— сказал Козаченко.— Любое новое дело можно угробить равнодушными руками. Я так считаю: тут нужны люди с огоньком, пусть не такие большие специалисты, но, главное, душой комсомольцы.

Потом Козаченко попросил машину, чтобы доехать до берега Волги. Лед на реке был еще непрочным, машинам запрещалось переезжать по нему, но кое-кто из смельчаков отваживался переходить к правобережному Яблоневому оврагу.

— Что же это, пешком?

— А что же, чемодан на палку через плечо — и шагом марш. Не затем я с Урала летел, чтобы здесь ждать, пока лед нарастет на Волге. Руки чешутся по работе.

— Нет, не пойдете. Рисковать собой не разрешаю. Садитесь снова в самолет и перелетайте через Волгу,— сказал начальник строительства.— Нам, товарищ Козаченко, жизнь ваша дорога!

В ту же зиму Борис Козаченко вместе со своим дружком, комсоргом экскаваторного парка Виктором Стариковым,

собрал молодежную бригаду. Стариков, худощавый, скуластый электрик, с россыпью веснушек, сбегавших со лба на щеки, прозванный Козаченко «комиссаром», долго изучал список комсомольцев и советовался с парторгом Ивановым.

— Мужик моторный,— сказал про бригадира «комиссар» Стариков в комитете комсомола,— пробивной, как танк! Для бригады разобьется, а все сделает. Пусть комитет поможет Козаченко сколотить экипаж.

На стройке принято так: экипажи сами монтируют вновь получаемые экскаваторы. Козаченко с Урала привез новые книги, технические справочники, схемы. По вечерам машинисты собирались у него в комнате, срочно учились монтажу,— части нового экскаватора уже прибывали на монтажную площадку.

Обычно на сборку «Уральца» отводится около пятидесяти дней. Козаченко дал слово собрать за пятнадцать. Но уже на тринадцатые сутки машина была готова к работе и вошла в забой так называемого подводящего канала.

Всю весну экскаватор Бориса Козаченко разрабатывал подводящий канал, где должен был вынуть около миллиона кубометров земли. В полдень, когда в котловане гремели рупоры местного радиоузла, диктор оповещал всех о сменной выработке бригады. На совещаниях и планерках требовали бесперебойной подачи транспорта, энергии, связи в первую очередь экскаватору Козаченко.

Как-то после одной из напряженных вахт Козаченко зашел к секретарю партбюро Петру Дмитриевичу Иванову. В его комнату частенько заходили механизаторы просто «на огонек», поговорить по душам обо всех житейских и производственных делах. У Иванова уже сидел Василий Лямин. Обычно спокойный, он сейчас, чуть не скрежеща зубами, ругал мягкую глину в котловане, в которой тонули самосвалы и экскаваторы.

— К черту эту грязь! — размахивал длинными руками Лямин, и продолговатое лицо его становилось еще краснее от гнева.

— До чего только наука не додумалась, а тут вот простая глина вяжет по рукам и ногам!

— Ничего, ничего, друг, справимся и с глиной,— сказал Иванов.— Неужто для нас страшнее кошки и зверя нет?

— В августе надо начать укладку бетона, а ведь землито еще поднять — горы! Нет, при таких дорогах не возьмем! — сокрушенно, словно с болью душевной решаясь на такой вывод, сказал Лямин и махнул рукой.

— Нет, Вася, милый, возьмем и в августе бетон положим, возьмем и положим! — вмешался Козаченко.

— Вот слушай, Василий, что Козаченко говорит,— кивнул Иванов,— все нам дадут для победы дорогие друзья — технику, средства, одного мы не получим — времени сверх государственных сроков. А поэтому не пора ли тебе, Борис, подумать о выработке. Сто тысяч кубометров в месяц!

— А мы уже думаем об этом,— отозвался Козаченко.

— И еще тебе скажу,— продолжал секретарь,— если видишь, что кто-нибудь мешает, бей тревогу. Машин мало — дай знать в район, нет энергии — всыпь на диспетчерке электрикам, комсомольский сигнал прибей на дверь начальника района — пусть любуется. Ты сейчас на господствующей высоте, за тобою следят, на тебя равняются.

— Дайте мне связь, я по прямому проводу буду звонить в район и в штаб стройки. Сейчас положение требует.

— Связь ты получишь,— сказал Иванов.— А сейчас могу порадовать — телеграмма с Уралмаша. Просят сообщить результаты работы на увеличенном ковше. Подпись: парторг завода.

— Эх, товарищи, смотрите, Урал за нас волнуется. Где же телеграмма, Петр Дмитриевич? Вот бы почитать смене перед ночной вахтой!

— У главного диспетчера. А его, конечно, нет на месте.— Иванов, проверив, бросил на рычаг телефонную трубку.

— Дайте мне диспетчера, я с него шкуру спущу и голым в Африку пущу,— пошутил Козаченко.— А насчет радиосвязи — ждем, Петр Дмитриевич. Это, как говорится, не роскошь, а предмет необходимости.

Когда Козаченко вышел из партбюро вместе с Ивановым, на улице было уже темно. Мимо продолговатого домика штаба района вереницей шли машины и гремел груз камней о железные борта самосвалов.

С порога небольшой деревянной террасы виднелась глубокая чаша котлована, точно огромное огненное озеро, куда стекали с гор тонкие пунктирные ручейки света. Линии огней уходили через реку, а там на перемычках сияло такое яркое зарево, что светлели лесистые бока Могутовой и темное небо с низкими облаками, плывущими над Волгой.

— Уговор наш не забыл, Борис, начать штурм стотысячной выработки? — еще раз напомнил Иванов.

— Договорились, договорились, Петр Дмитриевич. Вот

я с бригадой посоветуюсь, загляну к ребятам в котлован,— сказал Козаченко и, бросив папиросу, зашагал к дороге, чтобы остановить попутную машину.

Его коренастая, заметная фигура была хорошо известна шоферам. Первая же проходящая машина свернула к обочине, и Козаченко на ходу вспрыгнул на подножку кабины самосвала.

Через несколько дней в ночную смену машинист второго класса Василий Сердюков сильно ударил ковшом в лобастый скальный выступ. «Уралец» пошатнуло, словно от землетрясения. В ярком луче прожектора Сердюков увидел, как «восьмеркой» искривилось колесо блока стрелы.

Козаченко, который в три часа ночи пришел домой и еще не успел заснуть, был поднят телефонным звонком.

— Всех людей к машине,— сказал ему начальник стройрайона Оглоблин.— Я знаю, вы устали, но это аврал. Новый блок вам уже послали.

— Добро, пришлите мне съемник,— ответил Козаченко.

На рассвете вся бригада собралась в подводящем канале. Козаченко в ватных замасленных брюках, темно-синей куртке и меховой шапке с кожаным верхом, держа в руке большую кувалду, работал, сидя верхом на плоскости стрелы экскаватора. Он командовал съемкой старого и установкой нового блока.

Другой член его бригады — Иван Яшкунов — насаживал толстую ось блока в отверстие рукоятки стрелы.

Козаченко работал заражающе весело, то громко напевал какой-то мотив, то вдруг, окинув взглядом Волгу, выкрикивал: «Эх, Русь ты моя привольная!» — и сильным ударом от плеча вбивал ось на несколько сантиметров.

Неожиданно в забое появились Оглоблин и Иванов. Остановившись у экскаватора, они озабоченно осмотрели перемычки.

— Поди сюда, Козаченко,— позвал начальник района, и, когда машинист встал с ними рядом на насыпь, Оглоблин помолчал, как бы давая бригадиру возможность осмотреться вокруг.— Меня тошнит, Козаченко, от одного вида стоящего экскаватора. В такие дни! — Оглоблин резко махнул рукой в сторону перемычек, и выразительный жест не нуждался в пояснении.

— А меня, думаете, не тошнит? — помрачнел Козаченко.

— Не видать тебе стотысячной выработки, если ритмичную работу будут ломать вот такие аварии,— сказал Ива-

пов и укоризненно показал глазами на большой транспарант, висевший на столбе рядом с «Уральцем».

«Шоферы! Перед вами почетная задача вывозить в сутки 3000 кубометров грунта от экскаватора Бориса Козаченко».

— Это первая и последняя, Петр Дмитриевич, заявляю от имени бригады,— тихо ответил Козаченко.

Вскоре на подводящем канале появился Михаил Евец. Он, видно, пришел в свободное от работы время, потому что был в хорошем сером плаще, распахнутом на груди, под ним виднелся китель с двумя орденскими колодками.

— Борис, ты пока бы цапфу перетянул, давай я помогу,— сказал он, снимая плащ и складывая его на столике, за которым обычно сидела учетчица самосвалов.

В последние дни «девятка» Козаченко работала очень напряженно. Евец, знавший по опыту, как важно время от времени регулировать все узлы сложной машины, пришел предупредить об этом Козаченко.

— Спасибо, Юрьевич! — поблагодарил Козаченко.

— Давайте, давайте, ребята, надо по-хозяйски, машина-то миллион стоит!

Евец отошел чуть в сторону, а Козаченко влез в кабину и, следя за его рукой, чуть поворачивал то влево, то вправо корпус экскаватора.

— Чуть дальше доведи. Эх, стоп, Борис, вот так хорошо! — командовал Евец.— Когда работаешь умно, не жалеешь времени на ремонт, потом наверстаешь с лихвой,— заключил он.

Скоро в забое появились связисты, чтобы установить на экскаваторе походную рацию. Иванов сдержал свое слово.

— Связь мне нужна, как в бою,— радостно сказал Козаченко.— Ну, ну, ребята, нашли время баловаться! — тут же пригрозил он механику, повисшему на крюке медленно поднимающегося крана.

Скоро авральный скоростной ремонт закончился. Яшкунов спрыгнул со стрелы, первым крикнул:

— Все! Шабаш!

— Салют! Ура! — подхватили машинисты.

Козаченко тоже закричал «ура!» и высоко подбросил шапку. Он тут же побежал к телефонной будке и доложил Оглоблину:

— Экскаватор пустили, давайте нам машины!

Еще через десять минут к подводящему каналу потяну-

лись самосвалы. И снова сухой грунт автоконвейером пошел на гребень мощных перемычек.

Вскоре после того как на собрании бригады было решено добиться выработки ста тысяч кубометров, Козаченко почувствовал сильную усталость. Сказались штурм перемычек, упорная работа по ночам над чертежами ковша и то напряжение, в котором жили все на стройке с тех пор, как первые лучи солнца растопили снежок на земляных террасах котлована.

Всегда ощущая молодую, пружинящую силу в теле, не терявший физической бодрости и в те дни, когда от зари до зари находился у экскаватора, Козаченко был удивлен однажды утром первым настойчивым сигналом переутомившегося сердца.

Дурманящая слабость поймала Козаченко на пороге квартиры, когда он поднял к груди маленькую дочку Наташку, чтобы расцеловать ее перед уходом на работу. Он медленно опустил на пол дочку и все-таки шагнул через порог, чувствуя, как обмирает сердце и что-то больно толкает в руку. Уже за дверью Козаченко обернулся — ему показалось, что кто-то окликнул его,— и увидел жену, входящую из кухни. И только острый испуг и растерянность, исказившие ее лицо, остановили Козаченко.

— Что с тобой, Валя? — спросил он, расслабленными шагами возвращаясь в комнату.

— Что ты так побледнел, Борис! — закричала она, подхватывая мужа под руку и подводя к дивану.

Козаченко, отстранив руки жены, которая пыталась снять с него сапоги, лег на диван, все еще надеясь побороть слабость и встать через десять минут. Но он уже больше не поднялся и лишь слышал сквозь томительное удушливое полузабытье, как жена вызывала врача из поликлиники.

Пожилая женщина-врач с седыми колечками, выбивающимися из-под белой косынки, долго выстукивала широкую грудь машиниста и слушала сердце приятно холодящим кружочком стетоскопа.

— Я прошу, товарищ врач, учесть в диагнозе положение в подводящем канале,— сказал Козаченко, улыбаясь через силу.— Вы слышите?

— Я слышу, как сердце ваше стучит. Вот что, товарищ Козаченко,— сердито сказала врач,— запасных сердечных моторов пока не существует в природе, должна вас огорчить.

— Ну, их и для экскаваторов не всегда быстро найдешь,— хмурясь, сказал Козаченко.— Так какой же приговор?

— Десять дней не вставать с постели. А если встанете, буду жаловаться в партийный комитет. Что же вы хотите, гидростанцию построить, свет там зажечь, а сердце свое спалить!

Врач, уходя, оставила пачку рецептов.

— Десять дней,— пробурчал ей вслед Козаченко.— Легко сказать!

Его хотели положить в больницу, но машинист упросил врачей и остался дома. Жена Козаченко работала преподавателем математики в пятых — седьмых классах школы. Новое здание, где учились дети строителей, было совсем рядом, и Валентина Григорьевна иногда на больших переменах на минутку забегала домой, отбирая у мужа то тетрадку с расчетами, то книги, над которыми он пытался работать, перебираясь с кровати к столу.

Она заставляла мужа снова укладываться в постель.

— Я не могу лежать без дела,— бурчал Козаченко,— вот вработаешься в какой-то темп и уже не можешь свою норму ломать. Даже физически себя от этого хуже чувствуешь.

— Это когда ты здоровый, а для больного одна норма — отдыхать двадцать четыре часа в сутки, вот и все! — сердилась Валентина Григорьевна.

И все-таки Козаченко нашел себе работу и дома. Он занялся подшивкой газет, где печатались статьи, очерки, корреспонденции о нем и его бригаде.

Козаченко часто видел свое имя в журналах. Раскрывая свежий газетный лист, он уже привычно искал в хронике сообщения о работе своей машины, и месяц от месяца он все больше верил в свои силы, становился все настойчивее и напористее, когда надо было что-то отвоевать для бригады, для пользы дела. И поскольку это совпадало с интересами товарищей, они одобряли такое действие все растущей славы на характер своего бригадира.

— Ты помни, Борис,— частенько говорил ему Виктор Стариков,— не так уж наши заслуги высоки, как высоко то место, на котором стоим.

В те дни, когда Козаченко лежал в постели, производственные совещания бригады собирались у него дома. Он не назначал их, а просто экскаваторщики после работы заходили проведать бригадира, и начинался разговор о вы-

работке, о графике движения самосвалов, о положении па перемычках.

Приходили Евец, Лямин. Каждый вечер бывал у бригадира Стариков, и, расспросив Валентину Григорьевну о здоровье больного, он прикладывал свое рыжеватое, в капельках веснушек ухо к груди Козаченко и, поджав сухие губы, внимательно слушал.

— Видала профессора? — кивал Козаченко.

— Я электрик, а сердце — тот же мотор. А ну, дай еще пульс,— Стариков ловил мускулистую руку Козаченко с синим якорем старой наколки на загорелой коже.

На пятый день, уже расхаживая по комнате, Козаченко спросил у зашедшего под вечер Старикова:

— Скажи, «комиссар», нам еще один ковш не прислали, тот, что решено отдать Клементьеву?

Василий Клементьев, один из лучших экскаваторщиков левого берега, выразил желание работать с ковшом Козаченко и разделить с ним трудности эксперимента.

— Нет, не прислали, а если бы даже и пришел ковш, так его без тебя отправят Клементьеву,— сказал Стариков, почему-то нахмурившись.

— Нет, точно скажи: прислали или нет?

— Нет, тебе говорят,— Стариков отвел глаза в сторону, сделал вид, что сердится.

Козаченко поверил. А вечером, включив радио, он услышал в последних известиях, что еще один новый ковш отправлен на строительную площадку.

— Вот черти, скрывают от меня,— сказал Козаченко жене,— боятся, что я выскочу из дому раньше времени!

— И правильно делают,— вступилась за Старикова Валентина Григорьевна.

— Нет, неправильно. Я должен помочь Клементьеву освоить ковш. У меня на этот счет есть опыт. Пусть он, работая с моим ковшом, меня побьет — буду рад.

Наутро шестого дня с начала болезни машиниста районный врач, зайдя в квартиру, не застала там Козаченко.

— А где же ваш больной? — спросила она у жены.

— Ушел на работу.

— Позвольте, как же так? Ведь у него еще четыре дня отдыха!

— Это вы ему сами объясните, а я бессильна. Говорит, уже здоров. Меня, мол, радиодиктор вылечил. Пошел принимать ковш для Клементьева и готовить бригаду к штурму ста тысяч кубометров.

— А больничный лист, надо же его закрыть? — не смогла успокоиться врач.

— Придет часам к двенадцати ночи, а в больницу и трактором теперь не затащите, я его знаю,— сказала Валентина Григорьевна.

А Козаченко тем временем уже подходил к котловану, любуясь простором Волги, и крепкий, чуть с горчинкой, свежий ветер казался машинисту лучшим лекарством.

ВО «ВТОРОМ БАКУ»



В начале пятидесятых годов я часто ездил на нефтяные промыслы Башкирии. Здесь, в районе между Волгой и Уралом, еще в довоенные годы начала создаваться новая нефтяная база — «Второе Баку». В военном сорок третьем по настоянию геологов М. Золоева, М. Мальцева и М. Торяника проводилась разведка на девонскую нефть, закончившаяся успехом. Широко известная в те годы скважина И-100 дала первую девонскую нефть.

В годы послевоенных пятилеток «Второе Баку» стало основной нефтедобывающей базой страны. Огромный этот район простирался от Краснокамска до Саратова. По сути дела, протяженность промысла одной девонской нефти составляла свыше 600 километров.

Во «Втором Баку» трудилось в те годы много буровых мастеров, чьи имена были широко известны среди нефтяников. Куприянов, Балабанов, Алексеев, Усов. Они тогда уже широким фронтом внедряли турбинную технику, опрокидывали старые нормы и технологию.

Это были интересные люди, интересные рабочие характеры. Многие из них потом перешли работать в другие районы, их ученики протянули трудовую эстафету дальше, и, пожалуй, уже ученики их учеников работают теперь в Тюменском Приобье, в этом удивительном крае, освоение которого стало ныне новым историческим этапом в движении нефтяников с юга на север и с запада на восток.

В те давние годы в знаменитой Туймазе, о которой ныне, к сожалению, начинают уже забывать, я познакомился с двумя буровыми мастерами. Одного звали Касим Белало-

вич Беляндинов, другого — Иван Дмитриевич Куприянов. Башкир и русский, они были связаны не только спецификой своего нелегкого труда, не только профессиональными интересами, но и удивительным по накалу упорства и деловых страстей соревнованием своих бригад, которое ярко высветило их личности, прочную, примечательную и во всех отношениях благотворную дружбу. Об этом и хочется рассказать.

— Внимание! — сказал мастер Беляндинов и сделал знак рукой, чтобы все отошли.

Волнуясь, люди торопливо попятились в стороны от черного устья буровой.

Девонская скважина № 236, пробуренная на глубину более полутора тысяч метров, благополучно вошла в нефтеносные песчаники. Из нее откачивали воду, возбуждая фонтанную энергию пласта, и это была последняя, венчавшая все труды бурильщиков операция.

— Галиуллин,— весело сказал мастер,— расшевели ее, милочку. Пусть побросает немного.

Над устьем скважины закурился светленький курчавый газок. Предвестник нефти, он первым выбирался на свободу, а глубоко под землей уже клокотала в стальном горле труб и сама нефть.

— Дышит! — ласково произнес мастер. Он провел ладонью по раскрасневшемуся от мороза лицу и чуть заметно улыбнулся.

Казалось, черный столб выпер из трубы, словно выдернутый стремительно летящим вверх канатом. Мохнатая шапка струи мелькнула где-то около верхних мостков и через мгновение обрушилась вниз тяжелым маслянистым дождем. Порывистыми толчками скважина выбрасывала грязную воду, пропитанную нефтяной эмульсией. Возбужденная газом, она долго не могла успокоиться и все выкидывала в небо упругие струйки жидкости. На заледенелом полу буровой появились жирные оранжевые пятна.

Мастер растер на ладони липкий пахучий сгусток.

— Нефть! — он помахал ладонью.— Видите, — сказал Беляндинов,— скважина сильная. Здесь будет фонтан!

Буровая высилась в открытом поле сорокаметровым маяком над степным зимним простором. Ветер крутил поземку. Жесткий, обжигающий, он подымал в воздух снежную пыль, и она клубилась туманом вокруг железной пирамиды вышки. И только горящие в отдалении факелы нефтяного газа,

точно костры па снегу, разрывали белую мглу пежно-алыми колеблющимися огнями.

Мы пошли греться в «культбудку» — деревянный переносной домик, который стоял в пятидесяти шагах от буровой. В двух чистеньких его комнатах от толстой трубы паропровода струилось тепло. Поджидая мастеров, за рабочим столом сидел парторг буровой конторы Ашин, молодой полный человек, и перелистывал вахтенный журнал, где отмечалось все, что происходило с турбобуром на его длинном подземном пути к нефти. Ашин подсчитал, что 236-ю скважину бригада прошла на тридцать дней раньше срока, но это был не лучший результат в году, и все знали, что Белянднинов недоволен итогами.

— Касим Белалович, дорогой,— сказал парторг,— этой скважиной закончили год. Пора, мастер, подумать о следующей, о новых скоростях, которых в этом году достигнет бригада. Надеюсь, это будет тысяча двести пятьдесят метров на станко-месяц — скорость, неслыханпая еще в наших краях!

Беляндинов улыбнулся. Это была мягкая улыбка человека, уверенного в своих делах, но осторожного в обещаниях и сейчас озабоченно думающего.

— Тысяча двести, Алексей Дмитриевич,— сказал он,— это реально.

— А не слишком ли реально? Может быть, выше? Чтобы было за что бороться! Вот! — живо сказал парторг, похлопав ладонью по вахтенному журналу.— Здесь все предпосылки для решительного броска вперед. Смелей!

— Мы подумаем,— сказал Беляндинов,— шагать надо по ступенькам, но мы подумаем, парторг.

Он раскрыл дверь в комнату, где отдыхали его бурильщики, и кивнул рабочим, широким жестом приглашая всех заходить и принять участие в разговоре.

Беляндинов приехал в Туймазы впервые в 1939 году, услышав, что разведчики нащупали нефть в предгорьях Урала. Приехал в родпую Башкирию, где всю жизнь крестьянствовали и его отец и он сам, пока не потянуло к новой, заманчивой жизни на шумные нефтяные промыслы Баку. В Туймазах он бурил недолго. Началась война. Фронт. И лишь в 1944 году мастер вылез из вагона на перрон маленькой тихой станции. Хромая и опираясь на палочку,

он осторожно прошел к зеленому автобусу, и тот повез его на промыслы.

...Подлечившись после ранения, мастер Беляндинов принял в Туймазах буровую.

До войны скважины здесь бурили медленно и долго. Бурили год и дольше, если бывали технические осложнения или если случались задержки из-за сорокаградусных морозов и бушующих в степи метелей, когда заносило все дороги и ветер рвал провода, раскачивал многотонные вышки. Трудно было весной и осенью в распутицу, преодолеть которую могли лишь тракторы.

Точно броневым щитом, прикрывала природа свои недра окаменелыми доломитами, крепчайшими известняками, мергелями, песчаниками. Если на юге, в Баку, скважину проходили тридцатью долотами, то восток требовал ста. Кремневая твердь съедала стальные зубья долот, не пробуривших подчас и полуметра.

Беляндинов только втягивался в работу, присматривался и изучал своих людей. Не раз он ездил к знакомому мастеру Куприянову посмотреть, поучиться. А учиться было чему. Куприянов стал Героем Социалистического Труда, получил Государственную премию за разработку и осуществление метода форсированного бурения скважин.

Это было ново и необычайно интересно. Куприянов первым начал нагнетать раствор, приводящий в движение забойный турбинный двигатель не одним, а двумя мощными насосами. Смелое решение поразило Беляндинова.

Вскоре ранее ничем не отличавшаяся беляндиновская бригада, работая на двух насосах, прошла скважину с небывало высокой скоростью — 1100 метров. На конференции по поводу начала бурения новой скважины люди бригады решили начать соревнование с Куприяновым.

— Он мужик сильный,— сказал Беляндинов,— мы у него учились, а теперь потягаемся с Героем.

Позвонили Куприянову. Вышка его стояла километров за двадцать, он только начинал свою новую буровую. Вызов он принял.

Беляндинов приехал к нему. Куприянов, невысокий, крупноголовый, с неторопливыми движениями, полными размеренной силы, поднялся навстречу из-за стола.

— Ну, чему ты приехал учиться, Касим Белалович? Скорости у тебя лучше моих, и все-то ты у меня выведал давно,— сказал шутя Куприянов.

— Все? Нет. Многое, но не все! Подожди,— возразил

Беляндинов.— Подожди! — повторил он.— Время идет, Иван Дмитриевич. Разве мы живем зря? Мы большой опыт накапливаем каждый день. У человека в работе появится что-нибудь маленькое новое — очень хорошо! И это надо взять.

— Ну что ж, бери,— задумавшись, серьезно ответил Куприянов.

Они прошли к буровой по тропинке, протоптанной в снегу. Вахта бурила, пробивая толстую, в десятки метров, кремневую породу, встреченную на пути скважины. Долото сработалось, пройдя всего лишь два метра, и молодой бурильщик Михайлов начал поднимать всю свинченную из двадцатипятиметровых бурильных труб колонну с тем, чтобы, сменив долото, опустить ее снова. Беляндинов с удовольствием хронометрировал четкие, до автоматизма отработанные движения бурильщиков.

...Вот выползает из скважины маслянистое стальное тело бурильной «свечи». Ее мгновенно схватывают железные ладони элеваторов. Вот чуть замешкался на высоте рабочий, отводя верхний конец трубы в сторону (Беляндинов зафиксировал потерю пяти секунд), но рабочий оттолкнул от себя верхний элеватор, Михайлов включил лебедку, талевой блок уже летит вниз, чтобы подхватить новую «свечу», и маленький скоростной цикл заканчивается в одну минуту семнадцать секунд.

— Молодец! Орел! — говорил Беляндинов о Михайлове.— Таких у меня еще мало.

— Ты был моим последователем, Касим Белалович,— неожиданно с грустинкой сказал Куприянов, когда они вернулись в будку.— А теперь мне вроде за тобой следовать. Или подождать еще?

Куприянов дал восемь тысяч метров годовой проходки, но отстал от Беляндинова в скорости, и это, видно, мучило его.

— Подождать? — рассеянно переспросил Беляндинов, о чем-то думая и перелистывая вахтенный журнал.— Зачем, друг, ждать? Следовать надо обязательно, вперед следовать.

* * *

Он как-то сказал убежденно:

— Если я мастер, то я не позволю скважине втянуть меня в неприятности. Надо знать и предвидеть,— говорил Беляндинов.— Я двадцать лет бурю, но мне не стыдно учиться у всех всю жизнь.

Буровая № 477 была в районе, где насчитывалось по меньшей мере три известные зоны уходов раствора в пласт. «Катастрофическая» зона была на глубине 1350 метров — там струя точно всасывалась в какой-то огромный подземный резервуар. Рядом скважину бурили год, в нее бросали цемент, лом, камни, хворост, даже деревянные столбы, чтобы только создать какой-то остов разрушающимся стенкам.

Беляндинов знал об этом и готовился к трудностям заранее. На большой скорости он подошел к первой зоне, закачивая в скважину приготовленный по своей рецептуре вязкий и легкий раствор, как бы смазанный солидной добавкой нефти. Жидкость обволакивала и укрепляла стенки скважины, турбобур шел вниз, точно купаясь в теплой нефтяной ванне. И Беляндинов проскочил опасную зону. Так он благополучно прошел и вторую и самую опасную — третью.

У него было особое, добытое опытом чутье. Но метод его выходил за рамки принятого, и это встревожило кое-кого из инженеров. Буровую пытались остановить.

— Показатели у раствора неправильные,— говорили мастеру.— Нарушаете норму.

— Зато осложнений не бывает,— отвечал Беляндинов.

Стояла зима, морозы, и дули жестокие ветры. Глина для раствора смерзалась, ее приходилось взрывать. На буровой всегда шипел обогревающий механизмы пар, по холодное железо чувствовалось и через рукавицы. Если сменная вахта в пургу не могла пробиться к вышке, старая продолжала штурм: оставленный инструмент в полчаса будет намертво схвачен землей.

Ночью в будке мастер, надев очки, читал газеты и отогревал своих людей чайком. Он сам кипятил его и разливал, по-отцовски заботливый, деликатный, всегда удивительно спокойный, мудро неторопливый, даже когда на буровой возникали осложнения. Отдыхая, бурильщики включали радиоприемник, и радостно было слушать родной голос Москвы под свист бушующей под окнами метели. Потом, закрываясь от слепящего снега, снова шли к моторам.

Беляндинов закончил скважину в сорок три дня вместо восьмидесяти шести. Он пробурил ее со скоростью в 1145 метров. Таких темпов еще не достигал никто во «Втором Баку». Скважина встрепенулась, показала первую нефть. В бригаду посыпались поздравительные телеграммы. Беляндинов написал в газету: «Можно бурить быстрее. Скорости, которых мы достигли, должны и могут стать массовыми».

Неожиданно пришлось сделать шаг назад. Решили это на бурном производственном совещании, когда мастер Гуров крикнул из зала:

— А ты дай скорость на одном насосе, как многие работают!

— Что ж, так не верите? — спросил мастер.

— Тебе верим, а скорость сомнительная,— засмеялся кто-то.

Беляндинов задумался. Он знал, что еще нет возможности перевести все бригады на форсированный режим, кое-кто и раньше поговаривал, что у него, Беляндинова, мол, «особые условия». Значит, надо было выбить у маловеров и этот козырь, силой примера увлечь тех, кто работал на обычных режимах.

Беляндинов начал новую буровую. Турбобур имел теперь меньшую мощность, но бурильщики не ленились лишний раз вытянуть колонну труб, чтобы сменить затупившееся долото, вахты экономили время на каждой малой и большой операции. Скорость и на этот раз была очень высокой для бурения с одним насосом — 940 метров. А Гуров на двух насосах показывал только восемьсот.

— Ну, теперь давай учи! Ты был прав, Касим,— сказал он, встретив мастера.

...Мы ехали с парторгом Ашиным и Беляндиновым по широкому асфальтовому кольцу, связывающему промыслы. Большой нефтяной район всегда в движении. Уходят вперед разведочные буровые партии, и вслед за ними, строем железных башен опоясывая степь, передвигаются высокие цилиндрические чаны-хранилища: к ним подползают, переплетая землю, толстые жилы нефтепроводов, и вскоре на поле уже качаются, как маятники, большие насосы и тянутся к горизонту цепочки новых рабочих поселков.

— Бурение — главное в битве за нефть. Бурильщик — это, если хотите, и разведчик и боец передового отряда наступления,— сказал парторг Ашин.— Еще недавно и турбобур был экспериментальной новинкой, а сейчас у нас районы сплошного турбинного бурения. Есть и более эффективные забойные двигатели. В соединении с автоматикой и механизацией труда они позволят проникать в нефтяные подвалы земли с такими скоростями, которые нам сейчас и не снятся.

Куприянова и двоих из беляндиновской бригады — самого мастера и Галиуллина — выбрали депутатами Октябрьского городского Совета.

Я видел Беляндинова, когда он, борясь с волнением, хмуря брови, выходил из здания горсовета, получив удостоверение депутата. Такое же выражение торжественной озабоченности было на его лице и сейчас, когда он говорил о своих планах, о том, что уже звонил Куприянову и директору конторы бурения Слепяну, советуясь о пунктах нового договора.

— Дружбы с Иваном Дмитриевичем терять мы не будем.— Он так и сказал о соревновании, твердо подчеркнув «дружбы».

— Ну, а скорость, Касим Белалович? Что же решили?— спросил Ашин.

— Скорость? — Беляндинов помолчал, кашлянул, негромко рассмеялся.— Ох, парторг, помню! Решили: тысяча двести пятьдесят, а потом и тысяча пятьсот. Трудновато будет, верно. Но бороться есть за что. Да, есть!

СОВРЕМЕННИК ГОРЬКОГО



В начале августа 1928 года, в канун первой пятилетки, когда в нашей стране только началась техническая реконструкция заводов, в Нижний Новгород приехал Алексей Максимович Горький.

Он появился на палубе парохода «Плес» седьмого августа. Берег у дебаркадера и вся набережная были заполнены людьми. Три тысячи человек пришли встретить своего великого земляка. Это были волнующие минуты.

И вот собравшиеся увидели высокую, худощавую, чуть сутуловатую фигуру, плащ, перекинутый через плечо, простую кепку, из-под которой виднелся знакомый, густо тронутый сединой ежик волос, услышали мягкий басок.

— Здравствуйте, товарищи. Очень рад, соскучился по Нижнему. Давно и тяжко скучаю. Четверть века прожил в нем и на четверть века расстался...

На берегу Алексея Максимовича взяли в полон знакомые, друзья, молодежь. Старый грузчик, должно быть одногодок писателя, прослезившись, долго тряс его руку.

— Помнишь, Лексей, бугровские пристаня? Помнишь наш Нижний?

Растроганный этой катящейся ему навстречу волной любви, Горький, и сам украдкой вытирая набежавшую на щеку слезу, говорил:

— Помню, друзья, все помню, а как забыть? Только вот плакать никому не надо. Ни к чему это...

В один из весенних дней в конференц-зале заводского партийного комитета проходило собрание сормовских пенсионеров. Продолговатый зал был полон. Пенсионеры толпились даже в коридоре, куда была открыта дверь.

На небольшом возвышении рядом с трибуной разместился президиум этого не совсем обычного собрания. Я смотрел в зал. Здесь почти не было людей моложе шестидесяти. Но как много веселых, живых глаз, по-молодому энергичных лиц.

Тридцать лет назад Алексей Максимович видел этих рабочих, восхищался их трудом, тяжелым и героическим. Но вот прошли годы пятилеток. Постепенно механизировались цеха. Ушла в область преданий старая «Дубинушка». На место тесных, с закопченными стенами старых помещений встали новые корпуса механических цехов, мартенов, лабораторий.

Большинство сидевших на собрании пенсионеров проработало на заводе сорок, пятьдесят и больше лет. Они и теперь живут жизнью завода, его планами, его работами. К ним пришла старость обеспеченная и активная, та деятельная, бодрая старость, о которой может мечтать каждый человек.

Лет двадцать тому назад сормовский пенсионер Тихон Григорьевич Третьяков писал в газетной заметке:

«Говорят, я стар. Но я первый в роду сормовских бурлаков, огородников, мастеровых, пролетариев Третьяковых познал, что такое радость жизни, радость творческого труда, радость старческого покоя».

Так думал тогда шестидесятидевятилетний прокатчик, первый в Сормове Герой Труда. Я пошел к нему через все старое Сормово с его домиками, садами и огородами, с его широкими улицами, где вблизи тротуаров торчат деревянные будочки над колодцами.

Здесь летом обочины дорог зарастают травой, и улицы могли бы сойти за деревенские, если бы, сверкая электрической дугой, не проносились рядом большие тупоносые троллейбусы, бегущие в центр района, к заводским проходным.

Я почему-то был уверен, что застану Тихона Григорьеви-

ча дома, и был удивлен, узнав, что девяностолетний старик ушел пешком за два километра в клуб на партийное собрание. Мой спутник Федор Андреевич Ермолаев, тоже пенсионер, бывший бухгалтер того цеха, где работал Третьяков, рассказывал мне о своем старом друге, и мы гуляли по улице, пока не увидели возвращающегося домой Тихона Григорьевича.

Без палки, твердой походкой, высоко держа голову, не сутулясь, шел худощавый человек в больших очках. Светлая, словно из тонких серебристых нитей, борода закрывала ему подбородок и шею.

— Ты узнаешь меня, Тихон Григорьевич? — спросил Ермолаев.

— Федор Андреевич, как же, узнаю,— сказал Тихон Григорьевич. Он протянул нам руку, и я почувствовал пожатие жилистой, твердой рабочей ладони.

— Как здоровье? — спросил Ермолаев.

— Хорошо, а твое? Сколько тебе годков?

Ермолаев ответил, что ему шестьдесят два.

— Эх, мальчишка! — улыбнулся Тихон Григорьевич.

Мы вошли во дворик. Деревянный тротуар вел в сени дома, где стоял большой верстак с множеством инструментов. Следующая дверь открывалась в светлые, уютные комнаты. Тихон Григорьевич сел за стол лицом к стене, где висели его почетные дипломы и грамоты за многолетнюю работу на заводе.

Он впервые пришел на завод в 1880 году. Почти век жизни и труда! Сколько видели эти веселые и поныне живые глаза... Первые стачки и рабочие волнения «гнезда бунтарей», как называли фабриканты Сормово, первые демонстрации, когда грозный клич «Долой самодержавие!», прозвучавший на пыльных, убогих улицах фабричной слободки, прокатился по России раскатом грома.

Сормовские баррикады пятого года, революция семнадцатого! Более полувека, пятьдесят шесть лет, проработал Тихон Григорьевич у прокатных станов.

Я увидел на стене в деревянной рамке пропуск за номером 2471 на право входа в Дом союзов. Тихон Григорьевич, делегат от сормовских рабочих, стоял в почетном карауле у гроба Ленина.

В семейном альбоме множество снимков. Семь сыновей и дочь вырастил Тихон Григорьевич, всем дал образование. У него одиннадцать правнуков, а всего в этой большой семье сорок два человека.

Давно уже ушел Тихон Григорьевич из горячего цеха — трудно стало работать с огнем, но трудиться он не прекращал никогда. Я увидел любовно возделанный сад. Тихон Григорьевич сам ремонтирует свой дом, сам недавно сложил печку, каждый день работает за своим верстаком.

— Не пил, не курил, только вот трудился всегда много,— сказал он мне со своей мягкой улыбкой...

— Старое помню хорошо, даже то, что было в детстве, а вот куда сейчас какую-нибудь вещь положу — забываю,— признался Тихон Григорьевич и, как бы с упреком себе, неодобрительно покачал головой.

Я долго беседовал с Тихоном Григорьевичем, и меня удивляли жизнестойкость, нравственная и физическая бодрость старого рабочего.

— Нет, жить не надоело, только вот когда болею — нехорошо, а так жить очень интересно,— сказал он мне, задумавшись на минутку, словно вспомнив о чем-то. Потом положил руки на стол, сжал их в кулаки и произнес молодо и энергично: — Вот так бы еще поработал ими. Очень хочется!

9 мая 1957 года, в День Победы, на заводе спускали на воду очередной сухогрузный теплоход. Обычно здесь, на берегу, немноголюдно, а то и совсем не видно рабочих. Лишь около самой воды, позванивая, плавно движутся по рельсам большие краны.

Но в этот день к полудню множество сормовичей собралось около трибуны, обтянутой красной материей и украшенной цветами.

Дед Тихона Григорьевича, сормовский столяр Иван Третьяков, проживший девяносто лет, строил первое на Волге паровое судно «Астрахань». А он, Тихон Третьяков, девяностолетний его внук, создавал современные теплоходы. Теперь он стоял на трибуне перед многотысячным митингом, приветствовавшим рождение еще одного теплохода, названного его именем, именем простого рабочего.

Тихону Григорьевичу захотелось всплакнуть от счастья, но он крепился, и ни одна слезинка не показалась на его глазах. Глубоко тронутый и взволнованный, крепко схватившись пальцами за край трибуны, он смотрел на Волгу, на свой теплоход, на родную Сормовскую гавань...

После того как спустили на воду теплоход, Тихон Григорьевич зачастил из своего домика в гавань, подолгу теперь сидел на берегу, наблюдая за тем, как среди множества других кораблей ходит по затону или стоит у берега и ко-

рабль «Тихон Третьяков», проходя швартовые или ходовые испытания.

В один из этих дней Тихон Григорьевич со старыми друзьями по прокатному цеху поднялся на палубу крылатого судна, случилось так, что в то время, когда «Ракета» двинулась по Волге к Балахне, в том же направлении пошел и теплоход «Тихон Третьяков».

Вся команда корабля высыпала на палубу, чтобы посмотреть на «Ракету» и увидеть седобородого сормовского рабочего, который, улыбаясь, сняв соломенную шляпу, медленно махал рукой матросам.

Но вот «Ракета» вышла на крылья и стремительно рванулась вперед. Расстояние в двадцать пять километров от Сормова до Балахны «Ракета» прошла за двадцать четыре минуты. На обратном пути крылатый теплоход успел опять подойти к «Тихону Третьякову». Он обогнул этот теплоход и вновь первым подошел к Балахне.

А Тихон Григорьевич, пораженный, взволнованный, все это время стоял на палубе «Ракеты». Он только слегка покачивал головой и прикрывал ладонью рот, потому что ветер мешал говорить.

ТОКАРЬ РЫЖКОВ



дрес выглядел необычно: «Горький, Механический завод. Д. И. Рыжкову». А на обороте конверта — просьба о помощи: «Товарищи почтовые работники! Несмотря на неполный адрес, убедительно прошу вручить письмо адресату».

И почтовые работники просьбу выполнили — нашли Д. Рыжкова и вручили ему письмо.

Научный сотрудник, старший преподаватель одного из институтов на востоке страны, сообщал Рыжкову, что опубликованная в «Правде» статья о виброгасителе для токарного станка системы Рыжкова поразила его «дерзостью и глубиной мысли, умением находить простые и эффективные решения сложных проблем».

А далее следовало откровенное и неожиданно горестное признание. Оказалось, открытие Рыжкова обесценило канди-

датскую работу, плод многолетних исследований, ибо предлагало более простое и удачное решение проблемы.

«Многие наши товарищи,— сетовал тогда автор письма,— узнав о ваших достижениях, считают уже ненужной мою работу. Я очень прошу вас, Дмитрий Иванович, посоветуйте: что мне делать?»

Казалось бы, по привычной логике наших представлений должен возникнуть конфликт, сложные переживания у того, кто теряет возможность защитить диссертацию.

Ну, а как было на самом деле? Конфликт не возник. Потому что Рыжков — человек, который действительно склонен находить «простые и эффективные решения». Что он сделал? Он просто и совершенно бескорыстно, от чистого сердца желая помочь незнакомому товарищу, послал ему чертежи своего виброгасителя, подробную инструкцию и описание открытия. И разрешил своему корреспонденту использовать все это в его диссертации.

Так работа обрела крылья, ее автор стал кандидатом наук.

Я перебираю пачки писем, в том числе и последующие письма от молодого кандидата наук, заполненные словами горячей благодарности и пожеланиями успехов Рыжкову. Я просматриваю письма из многих городов, благодарственные послания из разных стран, от отдельных рабочих и целых коллективов, которые используют виброгасители Рыжкова.

Письма лежат на столе вперемешку с брошюрами, книгами Д. Рыжкова, с рефератами и диссертациями, присланными ему на отзыв.

«Московское ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени высшее техническое училище имени Баумана направляет автореферат инженера Н. А. Дроздова, представленный в качестве диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук... Просим принять участие в работе ученого совета, прислать свои отзывы...»

Кто же этот человек с добрым лицом и мечтательными глазами, с густой, как у юноши, шевелюрой, нависающей над лбом, едва тронутым сетью морщинок? Профессор, доктор наук? Руководитель кафедры, директор института?

Нет. Это горьковский токарь Дмитрий Иванович Рыжков, не имеющий никаких ученых степеней. Практик-рационализатор и изобретатель, за многие годы труда сумевший войти в науку.

Рабочая судьба коммуниста Рыжкова — это постепенное

восхождение по ступенькам опыта, учебы, мастерства, героический труд в годы войны, отмеченный орденом Ленина. Это длинная цепочка больших и малых открытий, позволяющих токарю проникать в глубокие тайны резания металлов.

Все это, казалось бы, не ново. Но в типичности и общности рабочей биографии Дмитрия Ивановича есть одна особенность, которой может похвастаться далеко не каждый новатор. Особенность эта в целеустремленности, в упорстве и постоянстве поисков, в том, что Рыжков стал новатором не на год. Особенность эта — в творческом долголетии неутомимого рабочего-искателя.

Когда просматриваешь многие книги и статьи в научных журналах, написанные Рыжковым, то ощущаешь определенную последовательность в том, что́ изобретал этот человек, работая за своим станком.

Мысль рационализатора пробудилась в рабочем рано, еще в те годы, когда начиналось в нашей стране стахановское движение. Он начал с мелких приспособлений, помогавших ему стать хозяином станка. И первая его печатная работа касалась передовых методов ремонтных операций на токарном станке.

Раздумывая, экспериментируя в цехе, Рыжков посещал различные курсы, много читал, закончил техникум, но оставался токарем.

Ему удавалось решать многие технические задачи в процессе производства, но первой крупной, прославившей его работой стал резец круглого сечения для скоростного резания металла.

За идею пришлось драться. Нашлись скептики, недоброжелатели. Рыжков объездил десятки заводов, наглядно демонстрируя преимущества своего резца. Дважды его вызывали в Москву, и дважды он защищал свой резец на высокоавторитетных совещаниях ученых.

Однако истинным призванием Рыжкова, я бы сказал — страстью, охватившей его на всю жизнь, стало не само скоростное резание, а упорная борьба с извечным и опасным врагом токарей — с вибрацией станка и инструмента.

Вибрации преследуют токаря как раз тогда, когда он увеличивает скорость и глубину резания, стремится работать с максимальной эффективностью.

Резец с виброгасящей фаской, предложенной токарем Рыжковым, был, конечно, далеко не единственным средством борьбы с низкочастотными колебаниями детали, но он

поразил многих — и ученых, и практиков — двумя особенностями: удивительной простотой и полным противоречием с существующими теоретическими рекомендациями.

Как сделать, чтобы резец на больших скоростях работал спокойно? Рыжков внес в геометрию инструмента небольшое, почти микроскопическое изменение: маленькую фаску на резце толщиной в десятую долю миллиметра даже трудно заметить глазом. Однако эта фаска излечивала резец от всякой вибрации.

У Дмитрия Ивановича есть деревянный сундучок, похожий на те, с какими деревенские парни из глубинок отправляются в дальнюю дорогу. В этом крепком сундучке, весящем пуд, а может, и больше, возит Рыжков свой «хирургический инструмент» для излечивания станков от вибрации — изобретенные им виброгасители и резцы своей конструкции.

Если бы, как это делают туристы, Рыжков наклеивал на свой сундучок памятные ярлычки в аэропортах и на вокзалах, мы бы прочли на нем названия почти всех крупнейших наших городов и многих зарубежных столиц. Дмитрий Иванович побывал почти на двухстах заводах.

Конечно, в этих поездках Рыжков не только учил, но и учился. Иногда срывался, неожиданно терпя неудачи, и тогда, возвращаясь домой, к своему станку, снова и снова проверяя себя, упорно искал ошибку. И всякий раз его нравственно поддерживали письма с заводов от токарей, с которыми он завязывал дружбу, письма из Венгрии, Германской Демократической Республики, где успешно применяются его виброгасители.

И пожалуй, самое главное — поездки необычайно широко раздвинули технический кругозор токаря-исследователя. Едва ли без этих поездок Дмитрий Иванович смог бы написать пятый раздел своей новой, недавно вышедшей фундаментальной книги. В этом разделе собраны советы и рекомендации, рассчитанные на самый массовый и широкий круг читателей-токарей, с которыми их собрат, практик и новатор, щедро делился своими изобретениями.

Я думал, беседуя с Дмитрием Ивановичем: откуда истоки его характера, его отношение к себе, своему труду? Такие, как он, — гвардейцы нашего рабочего класса. Может быть, потому, что они уже давно не отделяют своих судеб от истории развития нашей индустрии, от всей жизни страны, у них вырабатывается такая широкая, такая отзывчивая и бескорыстная щедрость?

Когда к Дмитрию Ивановичу обратился один московский ученый, кандидат наук, с предложением теоретически обосновать принцип работы одного из виброгасителей Рыжкова, рабочий-новатор немедленно выслал ему все свои материалы.

Они соединили свои усилия. И то, что автор теории вскоре включил ее в свою докторскую диссертацию, только порадовало Дмитрия Ивановича. Но еще больше его обрадовало известие о том, что виброгаситель и теория ученого ныне широко используются в различных областях техники.

Ну а сколько раз по письмам простых токарей — в свой отпуск, в свободные дни — укладывал Дмитрий Иванович лично изготовленный инструмент в свой тяжелый сундучок и вез его то на Урал, то в Сибирь, то в Ялту, чтобы подарить любознательному рабочему, который глубоко интересуется делом и хотел бы работать по-рыжковски!

И при всем том Рыжков как-то признался мне, что не любит, когда его называют ученым.

— Знаете, как-то неудобно перед товарищами, которые рядом, у станков. Нет, я рабочий.

В моральном кодексе строителей коммунизма, входящем в Программу партии, нет понятия — бескорыстная, коммунистическая щедрость. Но, думается мне, это подразумевается и дополняет принцип: коллективизм и товарищеская взаимопомощь — один за всех, все за одного.

Однажды мы сидели с Дмитрием Ивановичем на городском откосе, пожалуй самом красивом на Волге, и смотрели на открывающиеся необозримые чудесные дали.

Пролетел вниз по воде сверхскоростной теплоход на крыльях — «Метеор», за несколько минут обогнул огромную излучину реки и скрылся у черты горизонта. Я вспомнил тогда, как за день до этого я был на Сормовском заводе и очутился на борту нового крылатого корабля «Спутник». Коллеги Рыжкова — молодые инженеры — измеряли в полете вибрацию корпуса судна с помощью группы сложных и чувствительных приборов.

— Здесь можно многое упростить,— заметил Дмитрий Иванович.

Он имел в виду свою новую работу, о которой я уже упоминал, и новинки по борьбе с вибрациями, которые он предлагает для широкого внедрения. Это могло бы помочь устранять вибрацию судов на подводных крыльях.

Дмитрий Иванович в своих исследованиях шагнул уже далеко от станка в область универсальной науки о вибра-

циях, а в мечтах своих он заглядывает еще дальше: ведь вибрация — недобрый спутник скорости, ее испытывают и крылатые корабли, и корабли космические.

Я размышлял о Рыжкове, его судьбе, его характере замечательной чеканки. Душевная щедрость таких, как Рыжков,— не редкость, ведь она идет от творческого богатства, в ней зримые черты рабочего наших дней, шагающего в науку.

О творческих людях говорят: счастлив тот, у кого работы и больших замыслов на пятнадцать лет вперед. Я вспомнил эти слова, слушая Дмитрия Ивановича Рыжкова, ныне Героя Социалистического Труда.

Да, должно быть, это так.

ЦВЕТЫ И АВТОМАТЫ



звестно, что любое химическое предприятие отличает относительно высокий уровень автоматизации. Он диктуется самой природой производства: здесь все технологические процессы скрыты в недрах аппаратов, и руки человека прикасаются лишь к вентилям контрольных установок или к приборам реакторов.

И все-таки цех коммунистического труда, первым получивший это звание в городе химиков Дзержинске,— цех необычный, непохожий на другие даже внешне.

Когда я осматривал цех, проходил вместе с его начальником Николаем Евграфовичем Гудовичевым по рабочим залам, почти безлюдным, ступал по блестящему кафельному или чистому бетонному полу, поднимался по крутым свежевыкрашенным металлическим лестницам, меня поражало обилие цветов. Цветы — всюду: в кабинетах, в «бытовках», в коридорах. Цветы большие и маленькие, в горшочках и в огромных кадках — розы, герань, фикусы и даже пальмы — растут рядом с агрегатами, где происходят бурные химические реакции.

Цех похож на оранжерею. Среди зелени мелькают яркобелые и поэтому особенно приметные халаты аппаратчиков и лаборанток.

Коммунист Гудовичев — душа цехового коллектива. Он

родился в здешних местах, окончил техникум, воевал, после войны работал мастером, начальником смены, потом ему доверили цех.

Взглянув в окно своего кабинета, Гудовичев жестом — неожиданным, широким и гордым — показал на дальний заокский лесок, затянутый легким маревом, и сказал, что отсюда, из цеха, он видит свою родную деревню Сысоевку.

Я как-то вечером гулял с Николаем Евграфовичем по залитому огнями красивому, молодому городу, все улицы которого, раскинутые широким веером, сходятся к центральной площади.

— Вот тут я белок стрелял в тридцатых годах,— говорил мне Гудовичев,— вот здесь мальчишкой купался в пруду. Кругом стоял густой сосновый лес.

«Город вырос на глазах!» Для Гудовичева это не метаморфоза. И по сей день его брат и сестра живут в том самом первом доме, от которого пошел весь город. Николай Евграфович влюблен и в Дзержинск, и в своих земляков.

Когда в канун XXI съезда партии к Гудовичеву и парторгу цеха Домнину пришли комсомолки Капитолина Пронина, Римма Долганова, Зина Данилова и заявили о своем желании выработать для бригады повышенные обязательства, Гудовичев прежде всего заговорил о необходимости учебы для всех аппаратчиков.

Я как-то попал в цех во время перерыва и застал в красном уголке необычное собеседование. Выяснилось, что каждый рабочий «прикреплен» к одному специальному журналу, нашему или зарубежному, он должен следить за техническими новинками.

Весь коллектив озабочен тем, чтобы все время углублялась и ширилась, становилась объемнее и богаче духовная жизнь каждого рабочего цеха.

Но труд и учеба не мешают молодежи увлекаться хоровым кружком, танцевальным, устраивать читательские конференции, бывать в своем, дзержинском, и в горьковских театрах.

— Вот девчата заявками осаждают — в Москву съездить, в Большой театр на «Лебединое озеро»,— сказал как-то Гудовичев с легким вздохом.

— Всем цехом? А ведь далеко!

— А мы ездили уже на заводских машинах. Подкатывали в Москву прямо к спектаклю, а вечером — домой. Вот так и вожу я в Большой театр свое большое семейство,— пошутил он.

Автоматы постепенно превращают рабочего в контролера и наладчика машин, технологических процессов. Особенно наглядно и зримо это видно в химической промышленности.

Если вы скажете кому-нибудь в Дзержинске, что в цехе коммунистического труда рабочий, утомившись, на ваших глазах вытер платком пот со лба, над вами посмеются и скажут, что вы не были в этом цехе.

Первое, что поражает здесь,— почти полная безлюдность цеховых помещений. Лишь изредка около агрегатов появится рабочий и, взглянув на приборы, не торопясь, отойдет в сторону. Аппаратчики не трудятся физически.

Но неверно было бы думать, что рабочий день аппаратчика лишен всякого напряжения. Наоборот. Рабочий всегда сосредоточен, внутренне собран. Ведь он следит за приборами и с помощью этих приборов изменяет технологический процесс. Хороший аппаратчик действует не механически, он ясно представляет себе существо химических реакций. Иными словами, его труд больше умственный, чем физический.

И, несмотря на это, нет и, видимо, не будет предела все большей автоматизации на химических заводах.

Я видел у Гудовичева большой список запланированных работ по освоению новых непрерывных процессов.

Но кроме этой большой, капитальной автоматизации, в цехе ежемесячно проводится автоматизация малая — это область ищущей мысли рационализаторов.

В цехе решили подготовить всех рабочих к рационализаторской деятельности. Сейчас здесь каждый второй рабочий — рационализатор. Это, конечно, замечательно.

Но, признаться, намерение всех без исключения рабочих сделать рационализаторами вначале несколько озадачило меня.

Я слышал и про такие случаи, когда, «поднимая процент охвата», инженер что-то придумывает, оформляет предложения и вписывает туда фамилию рабочего. Пусть это редкие исключения, но не стоит на них закрывать глаза.

Я откровенно высказал Николаю Евграфовичу свои сомнения.

— Вы не правы,— ответил он.— Мы стремимся всех рабочих сделать рационализаторами, и не беда, если первый блин получится комом, не беда, если какое-нибудь предложение окажется незначительным, даже бесполезным. Важно, чтобы каждый наш рабочий вступил на путь творчества, жил с ощущением творческого беспокойства и личной

ответственности за свой участок работы: тогда он рано или поздно внесет свою лепту в дело технического усовершенствования производства.

Гудовичев сказал, что в цехе создано шесть творческих бригад и каждая имеет свою тему — предельно автоматизировать определенный участок цеха. Эти темы складываются в общий план автоматизации цеха.

Общий план! Порой, привыкнув к ходячим выражениям, мы мало вникаем в их смысл. А ведь то, что говорил Гудовичев, было интересно и ново.

Часто рационализатор, будь то рабочий или инженер, занимается какой-то одной идеей, изобретает какой-то один механизм, не связывая свои поиски с общей картиной технических перемен в цехе. Да и выбор самой идеи целиком зависит от вкусов и опыта рационализатора. Он занимается тем, что ему нравится, выбирает то, что ему кажется важным, часто не замечая необходимости других усовершенствований, куда более важных и существенных с точки зрения всего цеха, завода.

Другое дело в цехе Гудовичева. Здесь идут по иному пути. Здесь деловая практика бригад коммунистического труда выдвинула новый принцип — коллективной рационализации.

Конечно же это логично! Ведь бригады коммунистического труда олицетворяют высший принцип коллективизма в жизни, в творчестве. И то, что эти бригады сами берут на себя коллективную ответственность за целые участки производства, очень важно, потому что отвечает коренным задачам технического прогресса.

— Общий план — это общая забота о том, чтобы труд стал и производительнее, и легче,— сказал мне Николай Евграфович.

...В одном из помещений цеха аппаратчику надо было взбегать по высокой лестнице наверх, где находился вентиль вакуумного устройства. Рационализатор удлинил трубку, вывел ее к нижней площадке и здесь расположил вентиль.

...Девушке-работнице приходилось часто нагибаться, регулируя поступление в аппарат жидкости. Чтобы работница не нагибалась, здесь установили контрольный прибор, а управление им вынесли на центральный пульт цеха.

Читатель может сказать — мелочи! Но разве за этой малой автоматизацией не видна такая большая забота о человеке, такое внимание к нему, которые подлинно достойны нашей семилетки?

Велика сила конкретного, положительного примера.

Не случайно в цехе Гудовичева едва ли не каждый день гости. Это химики с других заводов, это школьники из города. Ученики девятого класса подшефной заводу школы несколько раз в неделю приходят в цех, им доверяют несложные работы, они помогают аппаратчикам.

Первый в Дзержинске цех коммунистического труда решил выполнить семилетку за четыре года.

Пусть цветы, к которым так привыкли в этом цехе, украсят и другие заводы! Цветы — это символ высокой культуры производства. Их принесли в цех новые герои семилетки, для которых красота и культура производства, автоматизация и производительность труда слиты в одно неразрывное целое.

МОНТАЖНИК НЕДАЙХЛЕБ



В своих поездках по стране за многие годы я повидал на разных стройках немало монтажников. Если профессия вырабатывает в человеческом характере определенные черты, жизненные пристрастия, рисунок поведения, то это, пожалуй, в особой степени относится к монтажникам, которые ежедневно, если не сказать — ежечасно, воочию ощущают своими руками радость созидания, коллективного сотворения зримых и почти всегда весьма внушительных плодов своего труда.

Монтажники — люди удивительные: крепкие, сильные и духом и телом, смелые, ведь многим из них частенько приходится работать на высоте, в условиях неизбежного риска и опасностей. Это люди в большинстве своем скромные, простодушные, честные во взаимоотношениях друг с другом, взаимозависимость в труде вырабатывает у них черты доброго рабочего товарищества.

Если они азартны, то только в работе, в соревновании, и если непоседливы, то не ради наживы, и влечет их по стройкам интерес к новым местам, к работе, увлекающей новизной, трудностью, небывалой масштабностью.

В нашей стране, где из десятилетия в десятилетие стро-

ят так много, пожалуй, больше, чем где-либо в мире, монтажник — заглавная фигура на любом строительстве. Одним из первых, я бы сказал, выдающихся рабочих-монтажников, с которыми мне довелось познакомиться, был Павел Недайхлеб, работавший на строительстве Камской гидроэлектростанции.

Впервые на Каму я попал в напряженные весенние дни 1954 года. Тогда все внимание строителей было приковано к работам, происходившим на шлюзе, который первым встречал воды подступавшего искусственного Камского моря. Сразу же за паводком шлюз должен был войти в строй с тем, чтобы пропустить за навигацию тысячи кубометров уральского леса.

Уральская весна капризна. То повеет теплом, то ударят морозы, ночью скует землю ломкой коркою, а днем уже звенят ручьи и свежий ветер словно весь пропитан запахами талого снега, льда и влажной земли. В теплые дни постепенно прибывает вода в горных речушках и широкой Каме, но долго еще держится на реке толстенная броня льда, наросшая за суровую зиму.

...Деревянная лестница, прибитая к шпунтовой стене, вела вниз. Со дна камеры судоходный шлюз казался ущельем — лишь узкая полоса светло-серого неба виднелась над головой. На неровном каменистом дне шлюза, точно избушки, прилепившиеся к отвесным скалам, стояли маленькие домики складов, обогревалок, прорабских конторок.

Спустившись в центральную часть шлюза, я увидел слева ворота, которые собирал бригадир Павел Недайхлеб, справа виднелись ворота Петра Медведева, на другой западной нитке работал Леонид Шерстюк. Все трое бригадиров, знавших друг друга еще по Волго-Дону, соревновались сейчас за быстроту монтажа.

В домике прорабской, где гудела железная печка и в облаке табачного дыма щелкал арифмометр учетчика, я спросил, где увидеть Недайхлеба.

— На воротах смотрите человека с большим носом,— сказал кто-то из сварщиков с добродушным смешком.

— Шапка у него — одно ухо всегда торчит. В зубах папироса, ходит в ватнике нараспашку,— подсказало сразу несколько голосов.

Приметы оказались точными. Действительно, на воротах, высоко над головой, я увидел высокого монтажника. Он был в ватных штанах и куртке, в рыжей от металлической окалины шапке-ушанке, у которой торчало в сто-

рону ухо. В зубах у Недайхлеба дымилась длинная папироса.

Что касается носа, то тут было явно дружески-шутливое преувеличение. Худощавое, загорелое и обветренное лицо монтажника с твердыми скулами, высоким лбом производило впечатление спокойной и мужественной силы.

Недайхлеб работал. Я наблюдал за ним вместе с машинистом самоходного крана Михаилом Иткиным, который обслуживал бригады на многих воротах и хорошо знал монтажников. О Недайхлебе он сказал:

— Этот вроде не торопится, но делает быстрее всех. Вот что значит мастер. Другой шумит, бегает, поставит конструкцию, да неточно, потом работу переделывает. А у этого ошибок нет. Сам поставил конструкцию, сам ее прихватывает,— сказал машинист, показывая на ворота, где на высоте нескольких метров виднелась полусогнутая фигура Недайхлеба. Он приваривал металлическую балку, и серая палочка электрода быстро таяла в огненном фонтанчике.

О Павле Недайхлебе много говорили на стройке. Добрая молва сопутствовала имени этого сорокалетнего рабочего, «кадрового монтажника», как он сам называл себя, который к тому времени уже вложил частицу своего труда в десяток крупнейших строек довоенной и послевоенной поры.

Сын сумского сахаровара, Павел Тимофеевич и сам начал свой путь рабочим на сахарном заводе, но вскоре потянулся к строительной профессии. Довоенная стройка «Запорожстали», мосты через Неву, павильоны Сельскохозяйственной выставки, заводы в таежных лесах Урала, потом фронт, а после войны восстановление Днепрогэса, Волго-Донской канал — вот основные вехи его рабочего пути.

Из донских степей Недайхлеб переехал на Каму, в большой красивый поселок на ее высоком правом берегу. Здесь он, как обычно, поселился в общежитии, потому что был холост и предпочитал жить не один, а в кругу товарищей.

...Окончив сварку, Недайхлеб спустился вниз и зашел в прорабку. Был час обеденного перерыва. Те, кто не ушел в столовую, отдыхали здесь с бутербродами в руках и продолговатыми молочными бутылками. Шел общий беспорядочный и шумный разговор о производственных делах.

Недайхлеб кивнул Медведеву, бригадиру с румяным лицом, и высокому, с копной темных волос Шерстюку.

— Привет, Павло,— отозвался тот.— Тут некоторые

атакуют нас: дескать, мы с тобою за месяц ворота не выгоним. Вот Петя Медведев на нас обиду держит.

— Сердится, что нагоняем? Пусть вперед уходит,— спокойно сказал Недайхлеб.

Медведев начал сборку ворот на месяц раньше Шерстюка и Недайхлеба. Успехи двух бригадиров задевали его за живое. Ворота его находились напротив недайхлебовских, и всем был наглядно очевиден ход их соревнования. Что-то оживленно и весело вспоминавший о Волго-Доне Медведев сейчас нахмурился и замолчал.

Потом Недайхлеб обратился к прорабу:

— Мне нужен кран — поставить тяжелый ригель.

Тот спросил, сколько это займет времени.

— Часа за два-три поставлю. Я все подготовил,— сказал Недайхлеб.

— Дает им огонька! — восторженно шепнул мне Иткин.— В некоторых бригадах знаете сколько возятся с установкой этой балки? Сутки, а то и больше!

— Как ты там колдуешь, Паша? — не без зависти спросил Медведев.

— Иди смотри! Ворота открыты! — Недайхлеб показал жестом, что он приглашает Медведева, и быстро вышел из прорабской.

Он принял бригаду, сменив Валерия Афонина, переживавшего тяжелые дни. Афонин, начинающий бригадир, командовал краном, когда один из его помощников, молодой рабочий, поскользнулся, упал в яму и был задет стальной балкой, переносимой стрелой подъемника.

— Больно! Ногу, ногу! — закричал паренек.

— Вира! Вира! — в отчаянье махая руками, командовал Афонин.

Скинув свою куртку и подстелив ее, он сам донес на руках монтажника до санитарной машины.

После этого случая Афонин затосковал. Хотя прямой его вины не нашли, он ходил подавленный, терзаемый упреками совести. Дела в бригаде шли вяло. Недайхлеб решил взять Афонина своим помощником, но почувствовал, что первым делом надо переломить общее настроение людей, увлечь их трудовым напором, соревнованием.

Стояли последние холодные дни. Мороз доходил до сорока градусов. К охлажденному металлу примерзали даже рукавицы. Но монтажника ни мороз, ни ветер не остано-

вят. Недайхлеб привык в любую погоду работать на открытом воздухе.

Обычно первую тяжелую балку в основание ворот бригады укладывали день-два, много раз точными приборами выверяя положение конструкции. Когда Недайхлеб сказал Афонину: «Установим на час», тот недоверчиво пожал плечами. Идея бригадира была проста: уложить балку на рельсы, по которым впоследствии будут двигаться ворота. Ведь рельсы лежат абсолютно горизонтально. Так и сделали. Потом пришлось лишь один конец балки опустить на пять миллиметров. Недайхлеб сам установил нивелир для проверки. Балка лежала на месте.

— Силен, Павел Тимофеевич! Нам с тобою работать — большая школа,— сказал повеселевший Афонин.

Ворота Недайхлеба росли в высоту буквально на глазах. Вскоре потеплело, пошел крупный влажный, уже весенний снег, намочивший металл, электропровода, сварочные аппараты. Все скользило в руках. Размякла изоляция проводки, и кое-где на воротах било током. Но Недайхлеб не прекращал свой скоростной монтаж.

Уже через неделю он догнал удивленного Медведева. За десять дней смонтировать две секции ворот и третью за шесть — это были темпы, невиданные на шлюзе! Ведь первые ворота монтировались здесь за четыре месяца, потом за два. Недайхлеб вел дело к тому, чтобы сделать ворота даже меньше чем за месяц.

— Дал всем огонька! — как сказал мне машинист крана Иткин.

Монтажные бригады на всем шлюзе потянулись за Недайхлебом.

В этот день он устанавливал свой последний ригель — огромную, шестнадцатитонную, балку, как бы завершающую геометрический контур сооружения.

— Слепил ворота. Видите, стоят,— сказал он мне, как мог бы сказать скульптор о своей первой, еще грубоватой, но верно созданной модели, сказал с той сдержанностью и теплотой, с какой обычно рабочий человек говорит о деле, которым можно гордиться.— Какая махина! Теперь надо скорее сваривать все секции. Ведь они только на моих прихватках держатся,— добавил он.

«Слепленные» Недайхлебом ворота уходили ввысь, за-

крыв добрую половину неба. Это были «Ворота Камского моря».

Я спросил у Недайхлеба, как закончилось соревнование трех бригад. Павел Тимофеевич рассказал, что Медведев далеко отстал, а вот с Шерстюком упорная борьба шла у него до последнего дня, часа. Дружная молодежная бригада Шерстюка и ее веселый вожак не хотели уступать первенства.

— Я успел поставить последнюю балку, а он нет. А так шли почти что рядом. Поэтому и ребята сильно пошумели на собрании,— вспомнил он.

— Это фамилия у него такая — Недайхлеб, а он дает жизни! — пошутил кто-то.

Подсчитали производительность труда за месяц. Бригада Недайхлеба смонтировала ворота за рекордные двадцать шесть дней, ей и присудили переходящий вымпел.

Я видел, как на закате солнца бригадир сам укрепил этот маленький ярко-красный флажок на середине самой верхней балки своего сооружения. Флажок трепетал на ветру, видный со всех сторон.

— Под знаменем работаем, хлопцы! Чуете? — сказал Недайхлеб, и в обычном его спокойно-глуховатом голосе затеплилась сдержанная гордость.

Наутро следующего дня он начал готовить свои ворота к пробной обкатке. То же делали и другие монтажные бригады. Весь шлюз как бы вставал навстречу «большой воде» паводка.

Снова на Каму я приехал через несколько месяцев, осенью пятьдесят четвертого. С весенней поры на стройке произошло много интересных перемен. Теперь центр сражения с рекою переместился ближе к правому берегу, где на плотине шел монтаж первых агрегатов. Недайхлеб работал уже здесь, то около плотины, то над нею, в то время как в ее недрах — в неширокиx машинных залах, связанных между собою туннелем, который был словно спрятан в теле железобетонного сооружения,— шла быстрая сборка турбин.

Недайхлеб монтировал здесь кран и, как обычно, делал свою работу быстрее других.

— За тобою, Павел Тимофеевич, не поспеваешь графики писать,— пошутил прораб, подошедший к Недайхлебу вместе со мною. Фамилия его была Евграфов.

Он впервые познакомился с Недайхлебом лет десять па-

зад, в дни восстановления Днепрогэса. Там они работали бок о бок и были бригадирами монтажников. Но тогда уже у Евграфова, как он в шутку сам говорил, «обнаружилась талантливая струнка руководства», и способный бригадир был выдвинут на должность производителя работ.

Павлу Недайхлебу тоже не раз предлагали стать производителем работ, но он неизменно отказывался, предпочитая оставаться бригадиром монтажников.

— Тем ценнее будет для дела,— как-то убежденно сказал он, когда речь зашла о его привязанности к своему труду рабочего.

Я много наблюдал за Недайхлебом на стройке. Человек этот умел вложить в свою работу живой огонек творчества. Соревнование, не формальное, а как душевная потребность всегда работать с подлинным мастерством, учить и вести за собою товарищей, неизменно связывалось у него с каждым новым производственным заданием.

Павел Тимофеевич год от года все выше поднимался по ступенькам трудной лестницы опыта. И на Волго-Доне он уже был не тем бригадиром, что на Днепрогэсе, а на новой стройке будет, конечно, уже иным бригадиром, чем на Каме.

Не в этом ли истоки его многолетней привязанности к своему нелегкому труду, не это ли неуклонное возвышение его в своем профессиональном достоинстве и поддерживает подвижнический дух рабочего-монтажника, кочующего со стройки на стройку.

Я как-то встретил его в поселке, после работы вечером. В новом синем костюме и поскрипывающих на ходу ботинках, с непокрытой головой, на которой ветерок шевелил темные волосы, Недайхлеб шел во Дворец культуры строителей на киносеанс.

Мы остановились на ступеньках, близ колоннады, украшавшей широкий подъезд здания. Отсюда были хорошо видны стройка, река, горы.

— Заканчиваем Каму,— как всегда, кратко сказал Недайхлеб, имея, конечно, в виду строительство первой очереди.

— А потом куда, Павел Тимофеевич? — спросил я.

— Вот Леня Шерстюк уже уехал в Куйбышев, там бетоновозную эстакаду монтируют. А я бы хотел в Сибирь, на Обь или Ангару. Там дела большие! — Он улыбнулся как человек, знающий себе цену и уверенный, что всюду нужны его руки, опыт, мастерство.

СТАРЫЙ МАСТЕР



В середине пятидесятых годов я частенько приезжал в Волгоград, на широко известный в те годы металлургический завод «Красный Октябрь». В период Сталинградской битвы по заводу проходила линия фронта, цеха стали полем битвы, летопись всемирно известной обороны связана с именем завода в такой же мере, как и со знаменитым Мамаевым курганом, домом Павлова и другими памятными местами героической эпопеи.

Едва линия фронта откатилась от Сталинграда, как здесь начались восстановительные работы, и вскоре мартены «Красного Октября» начали давать сталь для фронта.

Тогда, в пятьдесят четвертом, это был завод, специализировавшийся на выпуске качественного металла, сложных профилей проката, уверенно идущий по пути технического прогресса. Как и всюду в металлургии, здесь были свои передовики, новаторы из числа мартеновцев и прокатчиков, старый завод быстро молодел за счет притока новых рабочих рук и вместе с тем был богат и кадровиками еще довоенной чеканки, много сделавшими для завода в трудные годы войны и восстановления. Об одном из таких старых мастеров — этот рассказ.

В один из утренних часов июльского дня обер-мастера прокатного цеха Петра Афанасьевича Савельева вызвал к себе начальник цеха Ширванян. Рабочий день в заводском районе начинался рано. Величественно всплывало солнце за Волгою, светлела голубая река, широкая, как сама заволжская степь, и первые лучи касались высоких мартеновских труб, похожих на огромные заточенные карандаши.

Заводская земля, прокаленная иссушающим июльским зноем, и на рассвете дышала сухим теплом, хотя по низким холмам уже гулял всегда резкий здесь ветер. И вода и воздух в этот час хранили остатки ночной прохлады, но во всем чувствовалось приближение густой, всепроникающей духоты, предвестницы беспощадно жаркого дня.

Случилось так, что накануне этого разговора с начальником цеха Савельев сдавал экзамен по технике безопасности и на этом экзамене провалился. Провалился потому, что экзаменовавший его инженер из главной конторы за-

вода словно назло все задавал вопросы «слишком общего масштаба», как думал Петр Афанасьевич, касающиеся работы всего завода.

Петр Афанасьевич мог с закрытыми глазами пройти вдоль стана и показать каждый узел, каждую деталь машины, по шуму и характерному постукиванию валков мог точно определить, как работает каждая клеть и все ли в порядке на стане. Но это только на одном своем, родном среднесортном.

В последнее же время расширился круг обязанностей обер-мастера. Савельев особенно остро почувствовал это на экзамене, когда разговор зашел об автоматике, новых сортах стали, качественном анализе проката. Савельев раньше старался обойти эти дела стороной, поручить другому, чтобы не попасть впросак. Ведь он был обером, то есть старшим мастером, и в силу своего положения в цехе сам должен был учить мастеров и рабочих.

Экзаменовавший Савельева инженер старался вопросы задавать тоном помягче и терпеливо ждал, пока старый мастер усиленно жевал свои побелевшие губы, сердито шмыгал носом, стучал сухой костяшкой пальца по столу и мучительно вспоминал то, чего не мог вспомнить, ибо не знал многого.

— Я не охватываю этого, милок! — наконец признался смущенный Савельев.

Инженеру было тоже неловко, и он сочувственно кивнул старику.

— Я бы где и подсчитал, да грамоты не хватает. Я, бывало, только одно дело, только смекалкой,— оправдывался Петр Афанасьевич.

— Ну, а если подучиться? — предложил инженер.

— Было. Отдавали нас учить. Послали меня в седьмой класс, а я только три кончил, да еще когда. Сел за парту, а тут — бац тебе десятичные дроби!

Петр Афанасьевич ушел с экзаменов рассерженным: ему казалось, что откровенным признанием он унизил себя перед инженером.

«Однако я стан веду, рабочие меня уважают. Опыт — его в ларьке не купишь, товарищи!» — думал старик.

Вызванный к начальнику цеха, Савельев, предчувствуя неприятность, гладил ладонью грудь и прислушивался к ноющему сердцу. Но в кабинет он вошел, как всегда, своим быстрым, легким шагом, покровительственно кивнул девуш-

кам-крановщицам, секретарю и рабочим, сидевшим в приемной Ширваняна.

— Здравствуй, дорогой, садись, пожалуйста,— пригласил начальник цеха и пододвинул стул.— Всегда так получается — надо вести разговор серьезный, не совсем приятный, деликатный разговор, а времени мало, сейчас директор вызывает на совещание.

Ширванян искренне вздохнул, вздохнул и обер-мастер.

— Давай короче, Армен Семенович,— попросил Савельев,— мы люди рабочие.

— Может быть, тебе работу легче дать, Петр Афанасьевич, как со здоровьем? — не решался приступить к главному Ширванян.

— Да уж лучше прямо — не гожусь, что ли, обером? — перебил Савельев. Как он ни хотел спокойно сказать это, а все-таки обиженная, горькая нотка прозвучала в его голосе.

— Прямо так прямо. Вопрос так стоит: или учиться, или уступить более грамотному. Новые времена — новые требования. Сам видишь!

— Учиться мне поздновато! Время мое ушло...

— А ты выбери себе работу какую хочешь. Хочешь — мастером, меня даже твои вальцовщики просили: дайте нам Петра Афанасьевича.

— Я подумаю, Армен Семенович,— ответил Савельев.

После смены, проходя по коридору цеха, Савельев остановился около доски с объявлениями. Хотя приказ о снятии обер-мастера не мог еще появиться здесь, Петр Афанасьевич все же бросил на доску озабоченный и сердитый взгляд.

— Скоро и про меня прочтешь,— сказал он пожилому нормировщику,— снимут, к тому идет.

— Да что ты? — Нормировщик сочувственно взглянул на расстроенного Савельева.— Жалко, Афанасьевич!

— Что говоришь,— подхватил Савельев,— жалко? Жалко? — повторил он с удивлением.— Меня, что ли? Эх ты, да я, если надо, простым вальцовщиком пойду. Слышишь! И заявление сейчас напишу, ты, что ли, напиши, у меня руки дрожат,— сказал он, показывая нормировщику свои действительно чуть вздрагивающие, сухие, с голубыми узлами вен руки.

— Подожди, завтра разве не успеешь? Отдохни, Афа-

насьевич, что ты разбушевался? — мягко, но уже не так сочувственно сказал нормировщик.

— Это правильно,— неожиданно быстро согласился Савельев.— Зря кипятишься, старик! — сказал он себе вслух, укоризненно и сердито покачав головой.

Он вышел из цеха, сел на скамейку в скверике и посмотрел на родной цех так, как будто уже больше никогда не увидит это серое здание, знакомое ему до последнего кирпичика. И вспомнил, как много лет назад он впервые пришел сюда.

Отец его, землекоп, рано определил сына на работу. Худым, узкоплечим, белобрысым пареньком переступил он порог цеха. Его послали сначала «на печа» учеником, подтаскивать к огнедышащему жерлу нагревательных печей тяжелые полосы.

Существовала в цехе должность, которая так и называлась: «быть мальчишкой». «Моталки», то есть большие барабаны, на которые наматывалась горячая проволока, в те времена находились далеко от стана, в конце цеха. И вот «мальчишки», иные из них уже с усами, хватали клещами проволоку, вылетавшую из валков стана, и, с риском прожечь себе одежду, бежали, волоча эти огненные змеи в конец цеха.

Бегал «мальчишкой» и Савельев, бегал, обливаясь горячим соленым потом, проволока «подгоняла», быстро твердея при остывании. Может быть, тогда, в душном, всегда наполненном жаром цехе, пробегая за десять рабочих часов десятки километров по нагретым плитам рабочих площадок, и надорвал впервые Петр Афанасьевич свое сердце.

После революции уходил Савельев в армию и снова вернулся на завод. Душа его тянулась к горячему производству. До самой Отечественной войны Петр Афанасьевич работал то у печей, то вальцовщиком, то резчиком металла, и все в одном и том же цехе.

Потом воевал на фронте и приехал в Сталинград после ранения, с больным сердцем. Не нашел в поселке ни кола ни двора, ни своей семьи, которая была еще на Урале.

Вот и в последнее время не столько от нездоровья, сколько от сознания того, что он отстает от новых требований, Савельев стал все чаще с тревогой прислушиваться к своему сердцу и вспоминать, что он «задыхающийся человек».

...После встречи с Ширваняном несколько мучительных

дней Петр Афанасьевич раздумывал над тем, что ему ответить начальнику цеха, и решил... уйти из цеха совсем.

...Савельев не был на заводе почти год. Сначала он уехал подлечить сердце в Кисловодск, вернувшись, занялся хозяйственными делами, расширил свой приусадебный участок, заново отремонтировал дом.

В свой родной сортопрокатный Савельева, однако, тянуло все время. Но старик думал, что, увидев его, рабочие станут сочувственно расспрашивать и даже жалеть старого мастера, оставшегося не у дел. Может быть, кто-нибудь из самых озорных вальцовщиков с простодушной прямотой молодости и скажет ему: «Ну как, дед, катаешь полосу на печке?» Петр Афанасьевич щадил свое самолюбие и не хотел, хотя бы в первое время, бередить себе сердце.

Но вот прошло еще какое-то время, и Петр Афанасьевич почувствовал наконец неодолимое желание своими глазами увидеть перемены, что произошли в цехе за его отсутствие. Он позвонил Ширваняну и получил пропуск на завод.

Еще в военную пору, когда Петр Афанасьевич налаживал стан и обучал молодых рабочих, он сам смастерил, выкрасил дома небольшую скамейку и принес ее в цех. Она стояла у стана, и, сидя на ней, приятно было вытянуть натруженные ноги, выкурить папироску, послушать убаюкивающий шум механизмов и понежить в тепле старые кости.

Постепенно к этой скамейке привыкли, она стала необходимой деталью рабочей площадки. Когда старик Савельев совсем ушел с завода, никто уже в цехе не помнил, что это его скамейка.

Но не забыл о ней сам Петр Афанасьевич. Придя в цех, он тихо прошмыгнул мимо станов к скамейке, и рабочий, опуская в кадку с водою нагревшиеся клещи, неожиданно увидел старика рядом с собою.

Петр Афанасьевич сделал ему знак рукою: мол, продолжай свое дело, я никого не побеспокою. Он сидел на скамейке, поджав под перекладину ноги и вытянув вперед голову так, что разгладилась сморщенная кожа на его жилистой, худой шее. Казалось, что Петр Афанасьевич, не глядя ни на кого, слушает гул стана. Он даже закрыл глаза, но, когда красные блики, блуждая по цеху, озаряли лицо Савельева, видно было, как вздрагивают тонкие ноздри старика и шевелятся вытянутые вперед сухие губы.

Петр Афанасьевич сидел почти не шевелясь. Когда-то

в одной книге он прочитал трогающий сердце рассказ о старом и ослепшем машинисте, который выходил на насыпь послушать гудки и шум проносящихся мимо паровозов. Не видя ничего, слепой все угадывал по знакомым звукам. Теперь Савельев думал, что он хорошо понимает состояние того машиниста.

Так вот и он тогда, закрыв глаза, все видел, все чувствовал, что делается в цехе, и не надо ему осматривать площадку, чтобы понять происшедшие на стане перемены...

Без подсчетов и расспросов, по той быстроте, с какой полоса пролетала между валками, Петр Афанасьевич уже знал, что стан катает сейчас металла больше, чем прежде.

Еще проходя через мостик, он заметил, что вальцовщики работают резвее, но не устают, и старик понимал, что причина этому в начавшемся обновлении среднесортного, которого он, Савельев, не смог бы сделать.

Шла вторая половина утренней смены. Бывший обермастер тихо сидел на скамейке, время от времени курил, грелся около горячего металла. Его уже заметили все, но никто не подбежал с сочувственными вопросами, никто не помянул о житье-бытье на печке, никто не высказал своего удивления тому, что Савельев появился в цехе, словно это было совершенно естественно и нормально.

Только в конце смены к нему подошел новый обермастер Николай Черемных и так, словно бы они виделись только вчера, молча пожал ему руку.

— Один или со мною походишь по цеху? — спросил Черемных, деликатным своим предложением как бы вызываясь объяснить новинки, но вместе с тем не желая и уколоть самолюбие старика, если тот уверен, что во всем разберется сам.

— Нет, спасибо. Я тут у стана посидел — душе хорошо. Спасибо! — повторил Петр Афанасьевич.

Уже после смены Савельев зашел в кабинет Ширваняна.

— Ну, как впечатление? —спросил тот, ласково усаживая старика рядом с собою.— Есть сдвиги?

— Сдвинуто. Я теперь сам вижу: стан наш — богатый. Раньше думал, что так работать небывалая для нас вещь. Савельев бы не смог, а вот молодой, Черемных, делает. Значит, честь ему! — серьезно сказал старик.

— Приходи в цех почаще, Петр Афанасьевич,— заметил Ширванян.— Это такой же твой дом, как и наш...

...Заводской Дом техники стоит у самой реки. Это трехэтажное здание с большой каменной террасой и балконами,

нависающими над крутизною берега. Со стороны центрального входа перед домом раскинулась асфальтированная площадь с несколькими цветниками. Там на бетонных постаментах высятся два танка, на гранях памятника крупными позолоченными буквами записаны названия частей, оборонявших здесь город.

До войны на этом месте тоже стоял Дом техники, но был до основания разрушен, ибо бои в один из месяцев шли на двухсотметровой узкой полосе у Волги. Само здание попадало в так называемую «нейтральную зону», оно бомбилось с воздуха и обстреливалось артиллерией с двух сторон.

Теперь в восстановленном Доме техники все цехи по очереди раз или два раза в месяц устраивали молодежные вечера. Один из таких вечеров комсомольцы сортопрокатного решили посвятить встрече с ветеранами своего цеха.

Пенсионеров в цехе было немало. Старые производственники, покинувшие стены завода, не так уж часто виделись, поэтому известие о предстоящей встрече взволновало многих.

Ширванян во вступительном слове рассказал сначала об успехах нашей металлургической промышленности и ее задачах, потом перешел к работе сортопрокатного.

— Забот у нас много, товарищи, да они никогда и не переведутся. Говорят: лучшее — враг хорошего. Вот мы и будем все время обновлять, улучшать, рационализировать наши станы. Но уже сейчас я могу заверить наших дорогих пенсионеров, что нет такого профиля, который мы не смогли бы прокатать, как и нет такой марки стали, которую мы не могли бы плавить в цехах завода,— сказал начальник цеха в заключение.

Все старые мастера сортопрокатного были выбраны в президиум. Савельев сидел за длинным столом, на котором благоухали цветы в вазах, по букету около каждого пенсионера.

В этот день Петр Афанасьевич не работал в саду, днем поспал, набираясь бодрости и свежих сил. Он надел свой лучший костюм, приколол к лацкану пиджака орден Ленина и орден Трудового Красного Знамени, полученные за многолетнюю работу в черной металлургии, и орден Красной Звезды, врученный ему на фронте.

Петр Афанасьевич увлажненными от волнения глазами смотрел на лица соседей. Здесь были и старые коммунисты с дореволюционным стажем, и беспартийные, но связавшие

всю свою судьбу с русским революционным рабочим классом, участники тайных маевок и забастовок, гражданской войны, обороны Царицына и защиты Сталинграда. Их жизнь была живой историей завода.

Большие люстры освещали стол президиума, за которым было словно бы светлее, чем обычно,— постарела, поседела старая гвардия, хотя была еще бодра, сильна духом.

— Крепка связь поколений советского рабочего класса,— сказал секретарь парткома завода,— сегодняшний наш вечер хорош тем, что молодая смена благодарит за учебу ветеранов-металлургов. Молодежь призывает их, уже ушедших за стены завода, и тех, кто скоро уйдет, считать себя зачисленными навечно в почетные списки рабочих наших горячих цехов, жить интересами, борьбой и победами коллектива.

Торжественная часть закончилась вручением подарков. Петру Афанасьевичу вручили большой сверток: пять метров материи для детей, восемь метров штапельного полотна и еще хромовые сапоги. Старик расчувствовался, хотел что-то сказать в ответном слове и даже подошел к краю сцены, но потом провел вспотевшей ладонью по горячему лбу, вздохнул и неожиданно для самого себя поклонился шумевшему аплодисментами залу.

Его «спасибо» утонуло в этом шуме, но все увидели, как заморгали веки старого мастера и сбежались стайки морщинок на знакомый всему цеху слегка расплюснутый по-утиному, широкий савельевский нос, словно старик собирался чихнуть или расплакаться.

После концерта Черемных повел Петра Афанасьевича в буфет — выпить по стопке за процветание сортопрокатного.

— Не забывай стариковских трудов, Николаша, мальчишка ты хороший! — сказал со слезой в голосе слегка захмелевший Петр Афанасьевич, когда старого и нового обермастера молодежь усадила за один большой стол.

Старик посидел с ребятами, снова чувствуя себя в кругу интересов, от которых уже отвык за год пребывания дома, и радовался тому, что споры и шутки снова раскрывают перед ним понятную, родную во всех мелочах картину жизни цеха.

Вечер затянулся. Петр Афанасьевич вышел на площадь перед Домом техники, когда над Волгой уже светлело небо. Предутренний холод освежал лицо, порывистый ветер сду-

вал пыль с башни деревянного танка, шевелил стебли цветов с каплями прозрачной росы.

Казалось, что за Волгой ветер постепенно уносил с посиневшего небесного купола серое облачное полотно. За большой стеной мягко и приглушенно гудели цехи, словно бы завод боялся резкими звуками разбудить природу, нарушить величавый покой реки, с которой он как бы сроднился, простояв более полувека на крутом волжском берегу, так же как слилась с заводом и Волгой жизнь самого Петра Афанасьевича Савельева.

НА УФИМСКОМ ЗАВОДЕ



редставьте себе широкое асфальтированное полотно дороги, убегающее к горизонту. Это не транспортная магистраль, соединяющая города. Это только центральная заводская дорога, по сторонам которой высятся нефтеперегонные установки.

По этой дороге пешком не ходят: слишком велики расстояния. От южной до северной заводской проходной — восемь километров. Рабочую вахту на смену и со смены развозят рейсовые автобусы, а начальники цехов, которым надо бывать на разных участках, пользуются мотоциклами.

Чистота, аккуратность во всем диктуются самим характером нефтехимического производства. Вы не увидите на земле брошенного окурка, да никто и не посмеет закурить на заводской территории, похожей на большой парк. Здесь летом зеленеет густая трава, а зимой тщательно расчищают дорожки, обсаженные липами.

Если же подняться на вершину одной из нефтеперегонных установок, то взору откроется огромная площадь, застроенная рядом массивных колонн и серебристыми резервуарами — емкостями для нефти и газа.

Одни резервуары цилиндрической формы, другие похожи на металлические оболочки больших воздушных шаров, готовых вот-вот взметнуться в небо. В этих резервуарах хранится сжиженный газ под большим давлением. Но шары, конечно, никуда не взлетят, они стальные и прочно прикреплены к земле.

Эти ряды серых колонн и белых резервуаров словно бы движутся из края в край по степному холмистому простору. Здесь нет, собственно говоря, обычных цехов. Колонны стоят под открытым небом. А защитные сооружения не стелются по земле, а узкими башнями взметены в небо.

Таков этот необычный индустриальный пейзаж. Он интересен еще и тем, что по дорогам огромного Ново-Уфимского нефтеперерабатывающего завода не мчатся автомобили, не снуют автокары, не бегут железнодорожные вагоны. Здесь главенствует иной вид транспорта, бесшумного и непрерывного,— транспорт трубопроводный.

И еще — не устаешь удивляться малолюдности заводских широких и чистых магистралей.

В один из летних дней 1959 года я ехал по заводу на автобусе к установке, с которой, по сути дела, и начинается длинный путь нефти. В сыром виде нефть в наше время почти нигде не применяется. Народному хозяйству нужны бензин, керосин, дизельное топливо, масла, газы, из которых добывают химические, синтетические продукты.

Установка, стоящая в начале длинной технологической цепи постепенного превращения нефти в бензин, керосин, масла, расположена неподалеку от главной заводской дороги. Конторки цеха и его «бытовки» для безопасности выведены метров за пятьдесят от колонн. На самой установке людей не видно. Они в помещении, называемом аппаратной. Это точное название щита с контрольными аппаратами, которые управляют технологическим процессом.

Я приехал на установку, чтобы увидеть Гумера Теляшева, руководителя молодежного рабочего коллектива. Его портрет и портреты его товарищей висят в городской аллее Почета.

В этот день в аппаратной дежурили старший оператор Игнатий Зинов, коренастый молодой рабочий, и помощник оператора Миндуда Хазиева, двадцатилетняя девушка-башкирка, с тонкой фигуркой спортсменки, большелобая, темноволосая, подвижная.

— Где же наш Теляшев? — спросил я ее.

— Далеко, в Сибири. Но он скоро приедет,— сказала она.

Я узнал от Хазиевой, что начальник установки уехал в Омск. Там происходило Всесоюзное совещание ученых, специалистов по переработке нефти. Сам Теляшев еще не инженер, он только студент-заочник Уфимского нефтяного института. Совсем недавно Теляшев был рабочим.

Пожалуй, ныне никого уже не удивишь тем, что рабочий-новатор поехал на совещание ученых, но все-таки это всякий раз примечательно и интересно. Интересно потому, что сам этот факт раскрывает творческие черточки в характере человека, его отношение к делу.

— Что же он там делает, в Омске?

— Как — что? Выступает с докладом о наших находках.

И Хазиева широким, хозяйским жестом показала на видневшиеся в окне громады колонн, на стальные коробки термических печей, от которых исходил мягкий, ровный гул пламени, нагревающего нефть.

— Ему есть о чем рассказать,— добавил Зинов.— И не один он поехал — делегация от завода.

Узнав об этом, я еще с большим интересом взглянул на установку, с виду такую же, как и ее многочисленные соседки, на чистую рабочую площадку, выложенную крупными плитами, по которым, негромко стуча каблуками, лишь изредка проходил кто-либо из дежуривших операторов.

Гумер Теляшев вернулся из Омска и в первый же день побывал в своем институте, в нефтяном техникуме и школах рабочей молодежи. Начинался новый учебный год. Кроме двух молодых женщин, готовящихся стать матерями, в рабочем коллективе Теляшева работали и учились все.

Гумера я не застал на заводе и увидел его впервые только в воскресенье, у него дома. Невысокого роста, смуглый, круглолицый, одетый по-домашнему, он возился в своем кабинете с маленьким сыном. Живые умные глаза Гумера теплели, выражая застенчивую отцовскую гордость всякий раз, когда он смотрел на толстого, во весь рот улыбающегося малыша.

По комнате бегали еще один мальчик и девочка, сестренка Гумера, а жена, две старшие сестры и мать ушли на базар.

Гумер родился в башкирской деревне, закончил в городе техникум, стал рабочим, комсомольцем, членом обкома комсомола, известным на всю Башкирию руководителем молодежного коллектива, и всего этого он достиг к двадцати восьми годам.

Но жизнь вовсе не баловала его. Рано умер отец, на руках юноши остались мать и три маленькие сестры.

Работая, он начал учиться в институте, и множество заводских, общественных, комсомольских обязанностей соединял с рационализаторской деятельностью и домашними заботами.

Энергичный и целеустремленный, он научился ценить время. Он подчинил себя строжайшей внутренней самодисциплине, распределяя время работы и отдыха, дел личных и общественных.

Гумер очень занят, много работает, хотя и не позволяет себе сильно переутомляться: начинаются головные боли.

Я окинул взором письменный стол в его кабинете, книжный шкаф. Учебники и рядом Толстой и Чехов, в дорогом издании «Всемирная история», татарский поэт Габдулла Тукай и башкирский поэт Гафури.

Гумер читает по-татарски, по-башкирски, он любит русскую поэзию, следит за новинками литературы. Пока небогата обстановка в его квартире, семейный бюджет приходится делить на восемь человек. И сразу всего не купишь. Но книги! Это особое дело, это страсть Гумера.

— Последние деньги — на книги! — сказал он мне совершенно искренне.— Это у меня в крови. И началось, когда еще в школе учился.

Не знаю, как кому, а мне любовно подобранная библиотека в скромной квартире рабочего, да еще многосемейного, говорит о многом. И особенно когда знаешь, что книги здесь — друзья и мудрые советчики, испытанные спутники жизни.

Среди технических справочников, рядом с томиком Макаренко, стоит на полке Гумера книга «Ягодные культуры».

— Садик у меня — шесть соток. Этой весной двадцать четыре яблоньки посадил. Конечно, и картошку, и помидоры, вот своим луком вся кухня забита. У нас увлекаются садами,— сказал Гумер.

По дороге из города к заводам я видел эти сады уфимских рабочих. Они занимают двести пятьдесят гектаров и широко раскинулись на пологих склонах. Посадки еще невелики, они только поднимаются на уровень окон деревянных маленьких домиков, которые каждый хозяин возводит на своем участке.

Но скоро эти домики, похожие издали на большие скворечники, потонут в густой тени деревьев, а сады протянутся по некогда голой степи от горизонта до горизонта, украшая и облагораживая землю.

Обычно по воскресеньям Гумер выезжает поработать в сад, но сегодня ему нездоровилось, и он увидел своих друзей только после полудня, когда они вернулись со своих участков.

Пришли Фуат и Миндуда, заглянул на часок преподаватель нефтяного техникума Борис Шнеер. Техникум, который тогда окончили Гумер и некоторые его операторы, взял шефство над рабочим коллективом Теляшева. И естественно, что общий разговор завязался вокруг того, как на деле помочь заводской молодежи успешно учиться в средних и высших учебных заведениях города.

— Вот мы повторяем: учеба для всех! Очень хорошо. Но все ли здесь продумано с организационной точки зрения? — не то утверждая, не то спрашивая, произнес Гумер.

— Что ты имеешь в виду? Расписание занятий? — спросила Миндуда.

— А это не мелочь. Рабочие у нас каждую неделю заняты в разных сменах. В цехе учатся все. Раньше, когда таких было сравнительно немного, люди менялись сменами с теми, кто не учился. Теперь это невозможно. Учебные заведения должны работать в две смены, чтобы рабочие могли и утром и вечером приходить в институт на лекции, на консультации,— сказал Гумер.— Кто же к кому должен приспосабливаться — заводы к учебным заведениям или они к нашим заводским условиям?

— В нашем техникуме собираются организовать дублирующие лекции для рабочих по вечерам,— сказал Шнеер.

— Но ведь это пока только ваш техникум,— с невольным упреком заметил Гумер.

— Как поживает Лосев? — неожиданно спросил Шнеер у Теляшева.

— Все нормально,— откликнулся за Гумера Фуат.

Рассказ о рабочем Иване Лосеве я слышал уже раньше от Миндуды Хазиевой. Лосев, оператор с четырехклассным образованием, в свои тридцать два года считал, что учиться ему уже поздно.

— У меня семья, мои университеты кончены! — сказал он как-то Теляшеву.

— Но ведь в нашем коллективе все учатся, ты что же, будешь один такой, отсталый,— с упреком возразил Гумер.

Но Лосев только рукой махнул.

Об этом узнали в техникуме. И вот домой к Лосеву пришел студент-отличник Михаил Кириллов.

— Я буду вам помогать, начинайте заниматься.

— Нет, поздно, друг,— отказался Лосев,— вон трое пацанов бегают.

Через неделю Кириллов пришел снова, подсел к столу.

— Вы легко сдаетесь, Лосев,— сказал он.— Сильный мужчина в расцвете сил... Подсчитайте, в сорок лет вы уже закончите техникум.

Лосев молчал.

— Он уже колеблется,— сообщил товарищам Кириллов.

Когда студент пришел к нему домой в третий раз, Лосев согласился поступить в техникум.

Я видел в техникуме большой список рабочих, с которыми занимаются студенты. И операторы не остались в долгу у студентов.

Летом группа дипломников из техникума проходила практику на установке Теляшева. И вот тут-то каждый рабочий счел своим долгом «выложить всю душу», позаботиться о студентах, поделиться с шефами опытом.

— Ваши студенты,— сказал Гумер преподавателю Шнееру,— стояли на рабочих местах помощников операторов. Вы хорошо знаете, что мы не без труда добились этого. Как бывает у нас нередко,— продолжал Гумер,— студент-практикант чувствует себя этаким вольнослушателем на заводе — к установке его не допускают... А в результате человек с дипломом не знает порой простых вещей. Важно, чтобы молодой специалист, приходя на завод, мог, как говорится, сразу взять быка за рога! Чтобы он, не теряя времени, мог бы начать активную творческую работу.

Я с интересом слушал беседу рабочих, Разговор этот дома у Теляшева завязался случайно, но продуманными и выношенными были мысли Гумера и его друзей. Ведь о том, как надо, по их мнению, организовать производственную практику студентов, Гумер уже беседовал с министром просвещения своей республики, собирался писать в газету.

И ведь ему ни разу, должно быть, не пришла в голову мысль, что начальник заводской нефтеперерабатывающей установки вовсе не обязан думать о проблеме подготовки специалистов для всей республики.

Есть восточная поговорка: «Имеющему розы нет нужды говорить об их запахе». И действительно! Надо ли здесь пространно писать об общественных интересах Гумера Теляшева, когда его мысли, сами его государственные заботы свидетельствуют об этом и весомо и убедительно.

Этот разговор возник во время ночной смены. Была весна, вблизи установки цвели клены. Их свежий аромат смешивался с бензиновым острым холодком, всегда растворенным в воздухе. Ночью, хотя работали все установки, становилось как будто бы тише на заводе и даже слышалось щебетанье птиц на деревьях.

Весной рано занимается рассвет, и тогда с открытой площадки у колонны далеко во все стороны видно степное башкирское небо. Оно светлеет постепенно, словно кто-то медленно стаскивает с него громадное серое одеяло.

В эту ночь на установке дежурили двое: Гумер Теляшев и старший оператор Фуат Гафаров.

— Ты послушай, Фуат, какая интересная вещь,— как бы между прочим сказал другу Гумер.— Завод новый, проект новейший, прошло только четыре года, а сколько мы внесли в него поправок!

— Ты ведь бываешь на других башкирских заводах, как там? — спросил Фуат.

— То же самое. Нет такого проекта, который через год-два не улучшили бы. Тем более когда реконструкцию можно сделать своими силами, без больших затрат...

Существовала проблема большого народнохозяйственного значения. Как получить хорошие технические масла из восточных нефтей? Долгие годы эти масла получали только из южной, бакинской нефти. Считалось, что вообще восточные сернистые нефти не могут давать технического масла необходимого качества. Проблема поставлена жизнью. И вот за ее разрешение берутся многие научно-исследовательские институты. Над важной задачей задумываются и заводские работники, инженеры Ново-Уфимского завода, думают над этой проблемой и рабочие молодежного коллектива Гумера Теляшева.

...Когда летом в погожий день сидишь в тихой, чистой будке аппаратной или ходишь около установок, прислушиваясь к ровному дыханию колонн, в недрах которых бурлят пары нефти и газа, то может показаться, что людям здесь работается просто и легко, знай только посматривай на приборы.

И это действительно так, но до поры до времени, пока не возникает никаких осложнений, пока колонны соблюдают заданный им операторами технологический режим.

Технологический режим! Но ведь прежде надо его найти и установить. Нефтяники говорят: «Выводим установку на оптимальный, на самый производительный режим!»

И право, в этой работе есть высокая мера точности, расчета, мастерства. Выведение большой установки на режим, занимающее порой несколько дней или неделю,— сложная коллективная работа. Она требует внимания и напряжения. Она усложняется тем, что никто из операторов не может заглянуть в нутро колонны, чтобы увидеть, как сцепляются и расцепляются углеводороды нефти, как происходит удивительное и многообразное конструирование новых молекул новых веществ.

Особенно сложно обслуживать нефтеперегонные установки зимой. От холода замерзает вода, густеют продукты нефти. Но в любую погоду надо заставить их легко и свободно двигаться по всем трассам аппаратуры.

Как-то иностранцы, побывавшие в Башкирии, были удивлены, что завод работал зимой, в сорокаградусный мороз. Ведь все установки здесь стоят под открытым небом.

— И вы не останавливаете завод в такие жгучие морозы? — спросили они.

— Конечно, нет! — удивленные, в свою очередь, таким вопросом, отвечали уфимцы.

Зима в том году, когда Гумер Теляшев начал свои опыты, выдалась на редкость суровой. Температура опускалась до сорока семи градусов ниже нуля. Бушевал ветер, которому есть где разгуляться между цехами завода.

Часто шел снег, около установок наметало большие сугробы. И тогда рабочие брали в руки лопаты, чтобы через каждые два часа расчищать дорожки и площадки у колонн.

Разгуляется метель на пять суток подряд, пять дней свистит и воет ветер в степи, метет поземка, и на заводской территории снег лепит в глаза так, что ничего не видно и на десять шагов вперед. К ночи ветер усиливается до восьми-девяти баллов, и даже сквозь рев бурана слышно, как с протяжным стоном раскачиваются массивные металлические колонны.

Но никакая непогода не может отменить графика дежурств операторов. Каждые десять минут, как на вахту, выходят они на обход установки. Ветер обжигает лицо, проникает сквозь ватник, ладонью без рукавицы не схватишься за металл — сорвет кожу.

Если где-нибудь на установке образуется лед в трубах, их может разорвать. Шумит вьюга, заглушая даже гул пламени в нагревательных печах. И зорко надо следить оператору за работой установки, ведь здесь, на рабочей площадке, огонь соседствует с нефтью.

Но вот обход по земле окончен, и оператору надо подняться на вершину колонны. Одному туда нельзя. Выходят двое или трое, для безопасности обвязываются веревками, подымаются на верхние площадки блока-колонны.

Здесь, на тринадцатиметровой высоте, ветер толкает их с двойной силой. Ночью во время вьюги даже сильные прожектора с трудом пробивают снежный туман, закрывающий густой пеленой и землю, и небо, и контуры установок.

Не одну такую ночь провели в цехе Гумер Теляшев и его операторы. Однажды бураном сорвало крышу с нагревательной печи. Каждую секунду мог вспыхнуть пожар. Но дежурные операторы и подоспевшие через пять минут пожарники смело бросились к печи, укрепили крышу. И работа установки не прерывалась.

Ближе к весне, когда кончались бураны, но было еще холодно, бригада Теляшева устанавливала новую колонну рядом с действующими. Обычно в таких случаях подача нефти прекращается на четверо суток. Малейшая искра во время монтажных работ может вызвать катастрофу.

Но на этот раз коллектив решил монтаж новой колонны производить, не останавливая процесса. Конечно, это было рискованно. В бригаде не было человека, который бы не чувствовал всей полноты своей ответственности.

Правда, подачу нефти в установку прекратили, но только на полтора часа и в самый последний момент, на время подъема колонны на фундамент. И в результате коллектив выиграл почти четыре рабочих дня.

Автоматика на новом заводе вовсе не исключила героику труда, ту трудовую романтику борьбы с природой, которая так близка всякому молодому сердцу!

Эта зима испытаний, эти сражения со степными вьюгами сплотили коллектив. Может быть, какого-нибудь слабого человека, воспитанного в тепличных условиях, и испугала бы суровая башкирская природа. Но только не товарищей Гумера Теляшева.

...Прошел год предварительных исследований. Этот срок не так уж велик, если учесть, что, начиная от первых эскизов и до рабочего проекта, все чертежи были выполнены силами самих рабочих и инженеров установки Теляшева.

Но не только чертежи. Гумер и его товарищи прошли по всему заводу, разыскивая ненужные старые трубы, насосы; кстати, их оказалось довольно много. Вот из этих труб и насосов они смонтировали необходимые трубопроводы.

Конечно, операторы, каждый из которых, кстати говоря,

владеет двумя-тремя рабочими профессиями, были не одиноки. Им помогали заводские инженеры, их чертежи консультировали сотрудники Башкирского научно-исследовательского института нефтяной промышленности, но все-таки в тот весенний день, в ту смену, когда Гумер Теляшев решился начать испытание на всей промышленной установке, он и его помощники испытывали глубокое волнение экспериментаторов, поставивших ответственнейший опыт.

Почти двое суток продолжался опыт. Двое суток огромная установка постепенно «выходила на новый режим». И пока этот технологический процесс не закончился, никто не мог сказать, что ждет экспериментаторов: успех или провал?

Двое суток Гумер, Фуат, Миндуда, Игнатий и другие операторы не отходили от колонн. Двое суток сотрудники института проводили исследования проб через каждые два часа... И, наконец, все присутствующие на испытании наглядно убедились, что из восточных сернистых нефтей, вопреки предсказаниям многих специалистов, можно и надо получать высококачественное техническое масло,

Как это случается порой, одно открытие привело за собой и другое. Получив на своей установке ценное трансформаторное масло, заводские новаторы одновременно значительно улучшили качество бензина, керосина и мазута.

...Перед поездкой в Башкирию я был на Выставке достижений народного хозяйства СССР. В павильоне нефти и газа монументальная экспозиция рассказывает о том, как нефтяники востока решили задачу получения хороших масел из восточных нефтей. Но только уже в Башкирии, увидев нефтехимические заводы, побывав на установке Гумера Теляшева, я ощутил в полной мере всю масштабность и значительность этого дела.

Я как-то застал Гумера в конторе цеха. Он сидел за столом и готовился к выступлению на рабочем собрании, намереваясь рассказать об итогах сибирского совещания ученых.

— У нас в этом месяце приятное событие,— сказал он мне, просматривая свой блокнот,— своего рода юбилей. Вот уже год, как наша установка работает без ремонта. Годовой пробег — это рекорд не только для Башкирии. Обычно подобные установки ремонтируются через каждые три-четыре месяца.

— Как вы достигли этого?

— О, тут соединилось много дел. И новая технология, и борьба с коррозией металла, и мастерство людей.

— А может быть, установка работает на износ?

Гумер вскинул брови.

— Ну нет. Мы бережем технику пуще глаз своих. Думаем увеличить пробег до шестнадцати месяцев. Пусть на других заводах удивятся и зажгутся нашим примером.

Вот, собственно говоря, для того чтобы «зажечь других примером», и ездил в Сибирь Гумер. Но кроме метода получения технических масел, опыта годового пробега, он повез на совещание и новый, рожденный недавно проект реконструкции установки. Реконструкции интереснейшей. И что важно — задуманной и осуществленной лишь силами самого рабочего коллектива.

Гумер и его друзья сумели получить трансформаторное масло из восточной нефти. Это был первый шаг. Второй состоял в том, чтобы резко увеличить производительность установки, а следовательно, и количество добываемого масла и других продуктов нефти.

Нефть будет проходить внутри колонн уже не по двум, а по трем кругам постепенных превращений.

«Трехступенчатая разгонка нефти» — так назвали свой оригинальный метод новаторы. Он не имеет аналогий в отечественной практике.

Я слушал рассказ Гумера и, откровенно говоря, не знал, чему мне удивляться: техническим ли свершениям комсомольцев или тому, как Гумер говорил об успехах своего коллектива?

Ни тени зазнайства. Только ясное сознание своих задач и суховатая деловитость звучали в его рассказе.

Так что же это: черта характера одного Гумера Теляшева? Или, может быть, нечто большее? И я подумал, что это одна из тех характерных черт, которые присущи молодому нашему современнику, волевому, целеустремленному и скромному.

Гумер показал рукой в окно, на рабочую площадку. Там уже рыли котлованы, закладывали фундамент новой колонны. А в это время рядом в комнате Миндуда Хазиева, Фуат Гафаров, Игнатий Зинов и другие свободные от вахты операторы работали над чертежами проекта... Они сами делали расчеты, сами чертили, лишь изредка прибегая к консультации инженеров.

Мне сам этот факт кажется не только интересным, но и полным особого значения. Ну разве это не ново! Рабочий

коллектив своими силами создал инженерный проект сложной реконструкции.

Коллективу Гумера Теляшева присвоено звание коллектива коммунистического труда.

Должно быть, еще самой жизнью не выработаны, да и трудно определить четкие критерии, строгий перечень достижений, дающих право рабочим коллективам называться коммунистическими.

На одном заводе коллектив может быть более взыскательным и требовательным к себе, на другом менее. Не одинаков, да и не может быть однотипным круг и уровень тех задач, которые решают соревнующиеся бригады. Здесь нет шаблона, нет единой меры.

Но, думается мне, когда на Ново-Уфимском присваивали высокое звание коллективу Теляшева, заводская общественность оценила прежде всего творческую энергию рабочих, совершивших реконструкцию установки по своему проекту.

Не только на одной установке Гумера Теляшева, но и на всем заводе реконструкция силами коллектива, за счет внутренних резервов, без больших капитальных затрат, стала одной из форм расцвета массовой инициативы рабочих и инженеров. Это государственное дело огромной важности.

Директор Георгий Федорович Ивановский, главный инженер Владимир Васильевич Фрязинов, оба не достигшие еще сорока лет, оба сравнительно молодые руководители, проводили реконструкцию всех установок и цехов завода.

В Башкирии молодежь и строит, и осваивает, и реконструирует заводы большой химии. Не только рабочие и мастера, но и начальники цехов, технических отделов в большинстве своем молодые специалисты.

Это удивительное «помолодение» заводских кадров характерно не только для Башкирии.

Быстрое выдвижение молодых мастеров, техников, инженеров сулит им высокую радость ранней творческой зрелости. Ведь чем раньше созреет человек для большого дела, тем полнее и богаче будет его жизнь, тем больше он сделает для страны.

Нефть и газ — основное сырье для заводов большой химии. Мне приходилось наблюдать в башкирской степи, как, вырываясь из-под земли, поднимаются к небу голубые языки пламени. Это на промыслах сжигали газ, вместе с нефтью выходящий из глубин скважин. Красота этого зрелища дорого оплачивалась потерей важного химического сырья.

Такие факелы пылали раньше и на уфимских окраинах. Прямогонный газ, выделяющийся на установке Гумера Теляшева, и часть крекинг-газа завод не мог использовать и сжигал.

Но вот рядом с нефтеперегонным заводом, на ровной площадке под холмом, начали вырастать промышленные строения. От асфальтовой магистрали побежали в сторону лучики новых дорог, и на одной из них появился деревянный щит с надписью: «Синтезспирт. Одна из 27 комсомольских строек большой химии».

Пока рос новый завод, на Уфимском соорудили особый газовый цех. Со всех установок собирали сюда газообразные фракции нормального бутана, пропан-пропилена, прямогонного газа, содержащие ценное сырье — этилен. Завод готовился к производству синтетического спирта, собственно говоря, из ничего, из бросового газа, который раньше сжигался, из отходов нефтеперегонных установок.

Но разве только спирта! И метилстирола, и полиэтилена, а следовательно, и множества новых синтетических веществ.

Высокая стальная эстакада протянулась от вершины к подножию холма. На нее легли трубы. Как толстые мощные артерии, они соединили сердца двух заводов. И затем бесцветный, легкий газ, готовый к превращению в пластмассы, трубы, ткани и меха, бесшумно потек по нитке трубопровода к установкам впервые построенного по новой технологической схеме «Синтезспирта».

Кстати говоря, должно быть, не случайно слышал я так часто слова «впервые» в Башкирии. И всякий раз оно произносилось с какой-то особой гордостью. Впервые — это значит и с большим интересом, наверняка с большей ответственностью, но зато и с большей творческой радостью...

Все промышленные города в стране растут быстро, и Уфа не составляет исключения. В ней два центра — старый, исторически сложившийся, и новый; еще недавно они разделялись рощами и пустырями, а сейчас здесь протянулся длинный проспект, он соединил широко распластавшиеся крылья большой Уфы — города большой химии.

По этому проспекту я и поехал пять лет спустя из старого города в новый, с предчувствием, что я не найду Гумера Теляшева на его прежней квартире, неподалеку от площади и великолепного Дворца химиков. И действительно, Гумер переехал. Девушка-почтальон, хорошо знающая своих подписчиков, быстро отвела меня по новому адресу, благо это было в том же квартале, только шагать пришлось

по раскаленному зноем асфальту, вдоль чистых и густо озелененных улиц.

В июле Уфу неожиданно посетила изнуряющая жара. Ртутный столбик даже в тени держался выше тридцати градусов. И я не удивился, когда Гумер встретил меня в... трусах, он только что вернулся с работы. Признаться, он не слишком-то и смутился, хотя не сразу узнал в посетителе человека, с которым беседовал пять лет назад.

Мы выбрали относительно прохладную комнату и сели друг против друга за стол, чтобы предаться воспоминаниям.

Мне нравилась и прежняя квартира Гумера, хотя она была меньше. Новая же показалась мне примечательной не размерами, а тем, что была обставлена со вкусом, которого я раньше не замечал у Гумера, или ему еще не на чем было его проявить. Удобная низкая мебель, телевизор на изящном столике, пианино, хорошие книжные полки, книги по технике, но немало и беллетристики: русской, башкирской, татарской. Интерес Гумера к культуре разных народов не угасал.

Потом, когда пришла жена, мы прошлись по всей квартире, а в первые минуты просто смотрели друг на друга, как это делают давно не видевшиеся знакомые, и отыскивали на лицах следы перемен и возмужания.

Впрочем, последнее относилось, конечно, только к Гумеру, к его лицу, которое и раньше всегда выглядело серьезным и спокойным, как у тех, кто любит больше слушать, чем говорить, а если и говорит, то неторопливо и взвешивая слова. Его голосу и раньше были чужды нотки хвастовства, но звучала в нем всегда твердость человека, уверенного в себе. И живая улыбка не казалась у Гумера редким гостем, и я порой замечал у него стремление подмешать к пафосу своих высказываний легкую щепоть иронии.

— Итак, Гумер, пять лет,— сказал я.— Сейчас вам тридцать три. Как говорится, последний приступ молодости и пора зрелых свершений.

— Иисусу Христу тоже было тридцать три, когда его...— он сдержанно улыбнулся.

— Вы хотите сказать, что учения своего еще не создали,— заметил я в тон Гумеру, поддерживая его шутку,— однако сами учились много. Институт закончили?

— Еще четыре года назад. Потом новая должность — старший инженер цеха. А вскоре Всесоюзное совещание.

Это я знал и сам: следил по газетам. Гумер поехал на Всесоюзное совещание ударников коммунистического труда,

и там, в Москве, Указом Президиума Верховного Совета ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Я обрадовался за Гумера, но, откровенно говоря, и раньше предвидел, что дела его как-то будут отмечены на совещании. Что такое «карьера» в нашем обществе? Это труд, помноженный на талант, и правильное к нему отношение, то есть упорство и верная нацеленность усилий. Все это было у Гумера. А мы с вами, читатель, теперь ясно представляем себе, какое содержание скрывается за общепринятой в таких случаях формулировкой: «Выдающиеся производственные успехи и проявленная инициатива в организации соревнования за звание бригад и ударников коммунистического труда».

Я прочел эти слова на орденских документах Гумера и на фото, запечатлевшем группу зачинателей движения, на котором имелась еще и такая приписка: «Подлинник хранится в Государственном краеведческом музее Башкирской АССР».

— Вот видите, Гумер, вы уже вошли в историю своего родного края,— сказал я.

Гумер промолчал, я не знаю почему, может быть, в глубине души он еще не считал себя достойным такой чести. Потом он сказал, что после совещания в Кремле он вскоре уехал в США с группой советской молодежи. Он ездил в Америку не туристом, а в составе делегации, много выступал, участвуя в пресс-конференциях,— одним словом, был деятельным полпредом своей страны.

Он посетил и нефтеперегонные заводы, что было ему полезно как специалисту. И в довершение всего испытал редкую удачу, оказавшись вместе со всей делегацией в центре всеобщего внимания. Это случилось 12 апреля 1961 года в городе Мильвоки, где накануне вечером ничего не подозревавший Гумер спокойно лег спать в гостинице, а проснулся «знаменитым» человеком, ибо в этот день его земляк Гагарин полетел в космос.

И снова митинги, встречи, пресс-конференции на заводах, в институтах, в школах. Всякий, кто ездил за рубеж, хорошо знает, как обостряется там чувство неразрывной связи с Родиной и как окрыляет ответственность за все, что делается дома.

— А что после Америки?

— Работа.

Гумер был, как всегда, скромен в самооценках. Он бы мог сказать — творчество. Но рабочие почти никогда не го-

ворят, что они занимаются творчеством. Слово это стало привилегией людей искусства. А между тем то, что делалось на Ново-Уфимском заводе, вполне заслуживало и такое определение.

Вспомним идею Гумера о трехступенчатой разгонке нефти. Я напомнил ему о ней и ожидал ответа не без боязни, что замысел этот с годами мог быть оставлен, не завершен в производственной текучке дел и событий. Разве не случается такое?

— Сделано. Освоено,— кратко отвечал Гумер.— Пошли дальше. Поднимаем производительность установки. Помните, мы тогда боролись за увеличение ее пробега? Тут удалось даже изменить официальную норму. Было три месяца, а сейчас полгода.

— Для всех заводов?

— Для всех. Серьезное дело.

— Еще какое! Ведь вес такого опыта — миллион тонн нефтепродуктов.

Я слушал Гумера со все крепнущей уверенностью, что восходящая лестница заводских успехов поднимается выше и выше. Но он вдруг озадачил меня вопросом: «Вы слышали такое слово?» И Гумер произнес название нового нефтяного месторождения, открытого в Башкирии. Оно идет на смену знаменитой Туймазе. Но нефть там высокосернистая. А завод в Уфе рассчитан на переработку нефти с низким содержанием серы.

— Вы чувствуете — проблема? — спросил Гумер.

— И подбросила ее земля-матушка. Раскрыла еще одну свою кладовую, а там... другая нефть!

— Вот именно. А что такое сера, выходящая из дымовой трубы? Это яд для всего живого.

— Вы решаете эту проблему в цехе?

— В опытном цехе ректификации, то есть очистки нефти. Я там начальник. И еще аспирант Уфимского нефтяного института. Это моя кандидатская работа. Ваш Гумер стал научным работником,— сказал он мне и тихонько засмеялся, с удовольствием и еще с какой-то застенчивостью человека, похоже удивленного новым поворотом своей судьбы.

Я понял Гумера так: он занялся наукой, потому что хотел подготовить свой завод к переработке новой нефти. Задачу эту продиктовала жизнь. И не только одному Гумеру. Я вспомнил о беседах с еще одним инженером, который пришел к научным изысканиям тоже из... любви к своему

заводу. Это был его директор Георгий Федорович Ивановский.

С ним я не виделся тоже пять лет. Как и Гумер, он мало изменился, может быть, лишь немного раздался в плечах, статный, легкий в походке, но без торопливости в жестах, человек внешне чуждый какой-либо суетливости.

Мне сразу же показалось, что я вижу директора, умеющего работать разумно, без нервной перегрузки, без криков и громких нотаций, директора, думающего глубоко и серьезно.

Так же как и Гумер, он поездил по свету, его технический кругозор опирался на возможность сравнивать мировой опыт нефтепереработки.

После нашей беседы он пригласил меня полчаса... поплавать в заводском бассейне перед обедом. Бассейн — отличный. Как приятно рабочим после смены нырнуть в подогреваемую воду, которая мгновенно смывает с тела усталость. А какое тут раздолье ватерполистам, заводским пловцам!

— Вот и своего главинжа стараюсь всякий раз вытаскивать в бассейн,— сказал мне Георгий Федорович,— не понимает, чудак, что двадцать минут, потраченные на плавание, вернутся к нам сторицей — бодростью, энергией. Мы мало думаем о культуре быта. А как это важно!

Так рассуждал директор одного из самых крупных наших нефтеперегонных заводов, и лучшей деловой аттестацией ему стало то, что Ново-Уфимский закончил свою семилетку еще в... 1962 году. А в 1963 году на Всесоюзном совещании, которое проводилось на заводе, он был признан лучшим в стране.

Но тут придвинулась вплотную задача новой реконструкции. Ну что ж! В конце концов, реконструкция — это синоним непрерывного обновления и технического прогресса.

— Вы, конечно, понимаете, что любая перестройка отнимает не только время и средства. Она может сорвать и план. И вот мы, казалось бы, вопреки своим интересам требуем перестройки. И заранее. А почему?

Вопрос этот, заданный мне, предполагал, очевидно, ответ: предвидение.

Георгий Федорович выразился иначе:

— Всегда есть соблазн протянуть еще немного спокойную жизнь, а чем потом расплачиваться — придет новая нефть, а мы к ней не готовы!

— Вам мешают начать реконструкцию,— догадался я.

— Да, как ни странно. Есть такие люди. Ведь мы идем против своих «интересов», если их понимать узко. А руководить — это разве не то же, что и предвидеть?!

Я возвращаюсь к моей беседе с Гумером. Он увлеченно рассказывал о новом проекте. Переработка новой нефти сулила заводу получение серной кислоты и кокса. Старая нефть не давала этих продуктов. Вот что значит выжать «черное золото» до дна, вычерпать из него все! Кокс прямо из нефти. Как конечный продукт ее переработки. Кокс для металлургии, для алюминиевого производства.

— Чертовски интересно! — сказал Гумер.

«Не только технической стороной дела,— подумал я.— В том, что трудности реконструкции приведут к получению невиданных здесь ранее нефтепродуктов, есть своя логика поисков. Ну, а творческий характер самого дела, в которое втянуто множество людей, от рабочих до директора, все друзья Гумера Теляшева? Такое увидишь не часто... А в нем и особинка, и новизна, и примечательность наших дней».

Друзья Гумера! Те, что пять лет назад работали с ним на установке. Продвинулись ли они по восходящей лестнице жизни? Или Гумер просто счастливчик, его судьба — исключение, его успехи, созданные общим трудом, послужили лишь ему одному трамплином для прыжка в славу?

— Где Миндуда Хазиева, Гумер?

— Закончила техникум, поступила в институт. Сейчас работает на «Синтезспирте».

Я на другой день зашел в партийное бюро завода, к его молодому секретарю, инженеру Олегу Александровичу Рукавишину, и спросил, как мне найти Миндуду Хазиеву.

— Была у нас такая,— Рукавишин морщил лоб, вспоминая.

— Как — была?

— Одну минуточку. Уточню.

Он позвонил в отдел кадров, и, пока там наводили справки, мы разговорились о том, чем еще недавно был занят парторг, когда работал начальником цеха полиэтилена. Полиэтилен — новинка для Башкирии. Я уже видел его производство на заводах Дзержинска, видел, как мучились химики в попытках получить высококачественный продукт, а из

реакторов шла все время какая-то мутная серая масса низкого качества.

— Нет, этот этап у нас позади,— сказал Рукавишин.— Помогли ученые-полимерщики.— Он назвал имя академика Каргина. Кстати, парторг слушал его выступление на декабрьском Пленуме ЦК, куда был приглашен как гость вместе с директором соседнего Ново-Уфимского завода Ивановским.

— Большая химия — это значит многотоннажная. У нас входит в строй уже вторая линия полиэтиленового производства,— заметил Рукавишин.

Позвонили из отдела кадров.

— Алло! — сказал кадровик. Он говорил так громко, что я слышал его голос через мембрану.— Миндумба Хазиева, мастер цеха. Эта?

— Да, да,— подтвердил Рукавишин.

«Уже мастер»,— заметил я про себя.

— Уехала в Омск.

— ?!

— Неужели бросила завод?

— Да нет, там такой же, однотипный,— пояснил Рукавишин.— Тоже «Синтезспирт». И ваша Хазиева работает там также мастером...

Я шел от завода к станции «Бензин», конечной остановке электрички, построенной за эти пять лет; она соединяет заводы, вынесенные далеко за черту города, с районом новой Уфы, шел и вспоминал других друзей Гумера, что работали с ним на установке: Фуат Гафаров — старший оператор — закончил среднюю школу. Игнатий Зинов был оператором, теперь получил диплом нефтяного техникума, назначен начальником цеха на другом заводе. Аккар Габидулин был старший оператор, теперь инженер.

Нет, не у одного Гумера — жизнь у всех его друзей идет на крутой подъем.

— С Аккаром Габидулиным я недавно жил в ГДР,— сказал мне Гумер.

— Ездили туристом?

— Пускал завод.

— ?!

— Вы слышали про город Шведт, это на Одере. Вместе с группой специалистов я приехал туда, чтобы помочь пустить нефтеперегонный завод,— пояснил Гумер.

Восточная Померания, город Шведт! Мне ли не знать его! О Шведте говорили все военные сводки в последние

три месяца войны, которые составлялись в разведотделах 1-го Белорусского фронта. Шведтский плацдарм гитлеровцев на восточном берегу по-весеннему широко разлившегося Одера — твердый орешек обороны противника — мощный узел сопротивления, на который Гитлер возлагал большие надежды. Ведь «Одерфронт» был последней остановкой гитлеровцев перед падением в пропасть окончательного разгрома. Какие здесь шли ожесточенные бои!

Мне хорошо известен этот яркий эпизод заключительного этапа войны. Дорогой ценой, немалой кровью заплатили наши воины, чтобы очистить от гитлеровцев тот самый участок земли, на котором Гумер Теляшев помогал ныне немецким товарищам монтировать нефтеперегонный завод.

Я видел по лицу Гумера, с каким интересом выслушивает он подробности военной истории Шведта. Ведь он полгода жил в этом городе, ходил по его узким улочкам, вымощенным камнем, мимо многочисленных пивных и маленьких ресторанчиков, мимо старых, темно-серых, по-немецки массивных зданий, на которых внимательный глаз может и сейчас обнаружить следы войны: вмятины от осколков да простроченный по камню пунктир от пулеметной струи пуль.

В самом Шведте мне не довелось побывать в войну, прошел к Берлину южнее, и сейчас я видел этот городок зоркими глазами Гумера.

— Чистенький, как все немецкие города, с центральной площадью и обязательной ратушей, где башня и шаровидный купол над нею,— рассказывал он.— Тут же базар, торговые ряды. От них, как от центра всех интересов, город расходится как бы каменными кругами.

Я спросил Гумера, где он жил в Шведте.

— Это я вам говорил про старый город,— заметил он,— а рядом строится новый, социалистический. Там дали мне квартиру. Близко от клуба Артура Беккера — антифашиста. В двух километрах — Одер. В воскресенье ходил туда рыбачить. Справа и слева — дамбы, мост, а на той, польской стороне — лес. Одер здесь не шире двухсот метров. Сидишь с удочкой в тишине и слышишь немецкую, а из-за Одера, или Одры, польскую речь.

Гумер на монтаже завода работал вместе с немецкими специалистами. Проект завода был типовой, но германские товарищи вносили в него ценные поправки, химики они хорошие. Гумер был зачислен в бригаду социалистического

труда, которую возглавлял Ганс Вебер. Инженер из Уфы и инженер из Берлина подружились.

Завод был смонтирован и пущен в ход досрочно. Я сказал Гумеру, что вместе с нефтью из города Куйбышева сюда придет и прочная дружба двух народов.

Вместо ответа Гумер положил на стол две ярко-красные папки, две Почетные грамоты, которыми наградило его правительство ГДР. «За досрочный пуск завода» — гласила надпись на одной. «За развитие и укрепление германо-советской дружбы» — на другой.

Затем Гумер показал мне, должно быть предмет его особой гордости,— золотую медаль с эмблемой нового завода. Это был третий дар Гумеру Теляшеву от правительства Демократической Германии.

Пять лет назад Гумер не имел еще ни диплома инженера, ни Золотой Звезды Героя Социалистического Труда, ни золотой медали ГДР. Да и друзья его были лишь товарищами по работе на нефтеперегонной установке.

Но как удивительно быстро расширился этот дружеский круг. Друзья Гумера живут не только в Уфе, работают не только на заводе: это и ученые, с которыми он вместе трудился над проектом реконструкции, и товарищи по профессии и по классу — химики из ГДР.

Много успел за пять лет Гумер Теляшев. Хорошо, талантливо шагает он по жизни вместе с друзьями, вместе со всей страной. Я уверен в его будущем.

ЮЛИЯ ГЕРАСИМОВНА



ЗТМ. Уральский завод тяжелого машиностроения. Или так, как его зовут давно уже привычно для слуха,— Уралмаш. И по сей день это флагман отечественного машиностроения, завод-гигант, детище довоенных пятилеток, много сделавший для укрепления, развития, оснащения передовой техникой нашей индустрии.

С заводами бывает так же, как и с творческими людьми. То яркая полоса известности, то тень временного затишья, то имя завода не сходит со страниц газет, то о нем вспоминают изредка. Каковы здесь закономерности, законы? Это уж тема

особых размышлений. Здесь же хочется отметить, что в начале второй половины пятидесятых годов, когда я начал ездить в Свердловск на Уралмаш, о заводе говорилось и писалось много, и связано это было с еще не умолкнувшей военной славой Уралмаша, да и всего Урала, о которой прекрасно сказал Александр Твардовский:

Урал! Опорный край державы,
Ее добытчик и кузнец,
Ровесник древней нашей славы
И славы нынешней боец.

В ту пору, когда я приезжал на завод, здесь, по сути дела, был центр технического переоснащения таких отраслей нашей индустрии, как горнорудная, нефтедобывающая. Большие шагающие экскаваторы с емкостью ковша в 25 кубометров, с длиной стрелы в сто метров! Они рождались здесь. Популярность «шагающих» из рудных и угольных карьеров перешагнула в те дни на театральные подмостки, на экраны документальных фильмов, в поэзию.

Завод делал тогда и мощнейшие буровые установки, тоже своего рода передвигающиеся агрегаты, бурящие скважины в земле глубиной в несколько километров. Это были и роторные и новые турбинные установки, без них невозможно себе представить шедшее тогда полным ходом освоение «Второго Баку», морского Каспия, многих других нефтеносных районов. С этими буровыми связан и совершенный впоследствии исторический «бросок» нефтяников в районы Западной Сибири, на далекий Север, на новую нефтяную целину.

Помню, что меня, повидавшего до этого много крупных заводов, все же поразили масштабы Уралмаша. Эти громадные цеха, каждый из которых был под стать отдельному заводу. Да и сами эти машины, шагающие экскаваторы, которые даже внутри этих громадных цехов все же в полный рост собрать было невозможно, и их, опробуя частями, так, в разобранном виде, и отправляли потребителям.

Что же касается технологических новинок, то в те годы на заводе шла повсеместная замена ручной сварки автоматикой и полуавтоматическими аппаратами, внедрялись новейшие методы, связанные с именем академика Евгения Оскаровича Патона.

Среди многих людей, с которыми я тогда близко познакомился, мне особенно запала и в память и в сердце инженер Юлия Герасимовна Егошина. Она руководила в одном

из цехов внедрением автоматики в сварочное производство, работала с Патоном. И что, быть может, особенно примечательно, выделялась своей необычной судьбой. Егошина — яркий социальный пример того, как содержательна, богата и по-своему героична может быть жизнь русской женщины на заводе.

За Казанью на Волге есть село, улицы его выбегают прямо к реке, минуя лишь березовый лесок. В паводок березы погружаются в мутную, с глинистым оттенком воду, их ветки колышутся на волнах, и тогда кажется, что лесок вот-вот поплывет и стащит за собою приземистые деревянные домики.

До революции в селе жили староверы и православные. Юлия Герасимовна родилась в староверской семье, ее будущий муж — Федор Георгиевич — в православной. Оба они были Егошины — фамилию ту носило полсела.

Детство и юность Юлия Герасимовна провела в деревне, работала батрачкой, жила в глубокой нужде. До двадцати лет деревенская девушка не видела на своих ногах ничего, кроме лаптей, одевалась в посконину.

В 1916 году пришел из армии домой Федор Георгиевич Егошин, солдат царской службы, полный георгиевский кавалер. До армии Егошин — он был старше Юлии Герасимовны на двенадцать лет — успел побывать и кучером и пекарем, пахал землю и столярничал. Это был веселый, жизнерадостный человек с богатырской грудью, красивыми, пшеничного цвета усами, придававшими особо молодцеватый и бравый вид его прокаленному солнцем и обветренному в походах лицу.

Федор Георгиевич вскоре ушел на гражданскую войну, а когда в двадцатом году вернулся домой — женился. В деревне он затем жил мало, больше уходил на заработки в города, на стройки. В 1929 году профессия столяра привела Егошина на Урал, на окраину большого города, где в сосновом лесу начиналось строительство завода.

В одном из коридоров заводского отдела сварки висел на стене стенд с фотографиями времен первой пятилетки: вот в лесу, где еще в двадцатых годах можно было стрелять медведей, виднеются первые дома строителей, вернее, еще и не дома, а шалаши из досок и полуземлянки.

На втором снимке пионеры стройки уже корчуют пни и бревна и грузят их на телегу. Рабочие пробивают в чащобе

первые просеки. Лес постепенно отступает. Вот и первые двухэтажные дома, они вытягиваются в короткие улицы, белея новыми трубами. В центре дом с вывеской «Цербаком», по улица еще не мощенная, вся в буграх застывшей грязи, посреди валяются бревна, которые нелегко обойти группе подгулявших рабочих с балалайками в руках.

А за домами, в нескольких метрах, все еще густой, пугающий темной стеной таежной крепости высится лес.

Прошло всего два-три года, но как все резко меняется вокруг! Телегу сменил колесный трактор, он бодро переправляется через лужу, таща за собою тяжелые детали. Уже белеет зданиями социалистический городок, отодвинув тонкую полоску леса к горизонту. Уже сверкает искрою первый трамвай: он бежит по новым улицам к заводу, чьи цехи, выстроившись один за другим, массивными своими корпусами закрывают половину неба.

Летом 1933 года, в день пуска завода, на многотысячном митинге строителей была зачитана телеграмма Максима Горького.

«Горячий привет строителям Уралмаша,— писал Алексей Максимович.— Вот пролетариат-диктатор сделал еще одну могучую крепость, возвел еще одно сооружение, которое явится отцом многих заводов и фабрик. С каждым месяцем, с каждым годом рабочая энергия все более мощно и грандиозно воплощается в жизнь, творя чудеса трудового героизма. Еще два-три года усилия — и вы, товарищи, явитесь непобедимыми для всех врагов, которые уже и сейчас боятся нас.

Прекрасную жизнь строите вы, счастлив вам сказать это от всей души!

Желаю вам доброго здоровья, неиссякаемой бодрости духа, крепкой дружбы.

Ваш всей душою — М. Горький».

В группе рабочих, стоявших в рядах ударников на почетном месте у самой трибуны, слушали горьковскую телеграмму муж и жена Егошины.

В двадцать семь лет от роду Юлия Герасимовна оставалась еще малограмотной. На трех классах застрял и Федор Георгиевич. Когда Егошины поселились на Урале, Юлия Герасимовна пошла работать на завод уборщицей, потом землекопом, с трудом расписывалась в табеле на получение зарплаты.

Федор Георгиевич любил после работы посидеть в пивной, за холодным жигулевским вспомнить родную Волгу. Пил он немного, для «настроения», редко водку или вино, а все полюбившееся ему пиво.

— Мы с тобою трудяги, Юля. Чистые пролетарии. Живем — хлеб жуем. Чего нам еще? — говорил он жене.

А Юлия Герасимовна хотела не только работать, но и учиться. Трудно, конечно, после рабочего дня держать в уставших руках ручку и в тетрадке, разлинованной синими клетками, выводить расползающиеся во все стороны буквы. Юлия Герасимовна начала с малого: ходила в ликбез, потом на курсы для рабочих, потом на рабфак.

Федор Георгиевич сначала посмеивался над «тридцатилетней школьницей», с добродушной улыбкой махал рукой, когда жена предлагала и ему учиться.

— Мне и три класса сейчас девать некуда, чтобы рубанком шаркать, образования не нужно,— говорил он.— Я, Юля, чистый пролетарий, а ты... если хочешь — учись.

И Юлия Герасимовна училась — училась с любовью, со всем старанием и жаждой, что накопила ее душа за тридцать лет. Откуда ей было раньше знать, что человек она способный, а теперь чем дальше, тем больше учеба увлекала Юлию Герасимовну. Она тянулась к знаниям как к счастью, как к новому пути, манящему неизведанными, большими радостями, и лишь порою сама удивлялась, сколько сил и энергии таилось скрытно в ней много лет.

Работая на заводе, Егошина поступила на вечернее отделение рабфака. Однажды она попросила Федора Георгиевича сделать ей для книг отдельную полку и вот тут впервые почувствовала, что муж уже не снисходительно посмеивается над нею, а всерьез ревнует к образованию.

Полку он сделал, но пришел домой пьяный, и в мутных бессвязных укорах его звучала горечь задетого и давно уже уязвленного самолюбия.

— Выучилась — хватит! У тебя муж, ребенок. Мне, что ли, обеды стряпать? — спрашивал он и смотрел на Юлию Герасимовну недобрыми, обиженными глазами.— Хватит, брось, и так жить будем хорошо!..

Он слезно просил Юлию Герасимовну, уговаривал, иной раз грозил уйти, разрушить семью.

— Или я, или учеба! — как-то крикнул муж в гневе, внезапно накатившем на него.

— И ты, Федор Георгиевич, и учеба,— отложив книги

в сторону, твердо сказала Юлия Герасимовна. Когда шуткой, когда лаской, когда непреклонной своей твердостью старалась она убедить мужа.

После рабфака Егошина поступила в Энергетический институт. Годы учебы здесь оказались для нее не менее трудными, чем на рабфаке. Федор Георгиевич по-прежнему столярничал и все так же был недоволен тем, что мало видел жену дома. Как и прежде, ему приходилось частенько самому стряпать обед, гулять с сыном.

Сколько бессонных ночей просидела Юлия Герасимовна, готовясь к очередной сессии, где-нибудь на кухне, чтобы не мешать мужу и сыну. Занималась, опустив ноги в холодную воду, преодолевая сон и усталость. Как часто, раскрыв книгу по высшей математике или изучая сопротивление материалов, она невольно думала о другом сопротивлении — в ее собственной семье, о борьбе мужа против ее учебы. Преодоление этого требовало от нее — жены и матери — не меньше сил, чем сам гранит науки.

И все-таки это было время дорогих и незабываемых радостей открытия нового мира знаний.

Юлия Герасимовна заканчивала факультет в 1939 году, ей шел тридцать восьмой год. Уже взрослый сын ее Дмитрий закончил школу и тоже, как и мать, стал студентом.

Выпускные экзамены состоялись летом, Юлия Герасимовна запомнила на всю жизнь последний день экзаменов, тот редкий на Урале ясный и безветренный полдень, когда она отошла от стола комиссии, чувствуя какую-то ватную слабость в руках, с трудом открыла тяжелую дверь зала. Ее тут же подхватили под руки товарищи, подруги, потащили к выходу из института. Предлагали пойти в ресторан, звали в гости, на вечеринку. Но Юлия Герасимовна незаметно отделилась от всех, свернула в недалекий лесок.

Нет, ей сейчас хотелось остаться одной в лесу, где никого нет, где можно прилечь под деревом и, спрятав лицо в траву, по которой бродят солнечные зайчики, дать волю своему переполненному сердцу и разреветься от радости.

Вот она, Юлия Егошина — крестьянская дочь, уборщица, работница, почти сорокалетняя женщина,— инженер.

«Кончилась моя трудная жизнь,— думала Юлия Герасимовна,— будут, конечно, впереди трудности, но уже другие». Она инженер, и жизнь поставит перед нею новую лестницу, где ступени — искание, упорство, творчество.

И все-таки слезы душили ее, и она плакала, вспоминая

свое тяжелое детство и долгую нужду, себя в лаптях с кнутом подпаска на волжском берегу, свое село в дореволюционную пору...

Прошел год, другой. Грянула Отечественная война. Юлия Герасимовна встретила ее уже цеховым инженером по сварке. Днем и ночью гремели по земле между цехами танки, и уходили эшелоны с зачехленными платформами, где, точно темные руки, поднимались к небу стволы орудий.

На Урал для внедрения своих новых автоматов приехал академик, Герой Социалистического Труда Патон. Егошина помогала Евгению Оскаровичу. Ту работу, что опытные сварщики делали за смену, автоматы Патона стали выполнять за два часа. Каждая боевая машина, уходившая с завода, уносила на своей броне и частицу труда Юлии Егошиной. Она много сделала для того, чтобы открыть автоматической сварке широкую производственную улицу.

В 1942 году на Юлию Герасимовну обрушилось несчастье. Ее единственный сын ушел из института на фронт и погиб.

Трудно сказать, как бы она перенесла утрату, если бы не любовь и участие заводских товарищей. Ей и позднее всегда казалось, что она просто бы не пережила смерти сына, если бы не было завода и работы, такой напряженной и трудной, что она забирала все силы сердца, не давая ему разрываться от боли.

Миновали военные годы. И в память о них последний, окрашенный в зеленый цвет танк, которому уже не суждено было выйти за ворота завода, здесь решили приварить навечно к вершине своеобразного памятника. Последний танк подъехал к внутризаводскому скверику и по мосткам своим ходом вполз на темный скалообразный постамент в память о Великой Отечественной войне. На широкой его грани тысячи рабочих увидели надпись:

Снарядами, танками,
Тоннами стали
Уральцы священную
Клятву держали.

Последний «живой» танк был приварен к постаменту. И сделала это женщина в ватных брюках и телогрейке — Юлия Герасимовна Егошина.

Многоэтажный дом, где жила Юлия Герасимовна,—

один из первых на главной улице нового поселка, давно уже ставшего, по сути дела, отдельным городом. Крутая лестница вела на четвертый этаж.

— После смерти сына я стала слышать свое сердце,— призналась мне Юлия Герасимовна.

Егошины занимали отдельную квартиру.

— Федор Георгиевич, я не одна, встречай гостя! — еще в дверях крикнула Юлия Герасимовна.

Из кухни, с засученными по локоть рукавами, в распахнутой у ворота красной рубашке, вышел высокий, широкоплечий мужчина с подвязанным на поясе кухонным фартуком.

— Утку жарю. В прошлый раз старая попалась да жесткая, а эта ничего, сходственная,— сказал он, приветливо улыбнувшись, и, назвав себя:— Егошин Федор Георгиевич,— протянул руку.

Ему нельзя было дать шестидесяти пяти лет. Крупная львиная голова с мало поседевшими волосами, крупный нос, лоб, губы, широкий разлет слегка, по-стариковски уже закустившихся бровей, а главное — свежий, красноватый цвет кожи молодили Федора Георгиевича. И лицо и вся его фигура еще дышали былой молодцеватостью, силой.

— Я теперь кухонный мужик. Пришел домой, жены-инженера нет, сам стряпаю.

Он сказал это не жалуясь и с улыбкой, но сразу же подмигнул мне, незнакомому человеку, тут же кивнув на жену. В этом кивке и в улыбке чувствовалось взятое давно и уже вошедшее в привычку право любовно подтрунивать над женой.

— Вы раздевайтесь, проходите, он у меня хороший,— пригласила Юлия Герасимовна. Должно быть, и она привыкла и не обижалась, понимая, что Федор Георгиевич пользуется добродушной своей иронией как защитной броней для самолюбия, когда к жене приходят ученые, инженеры, журналисты.

Юлия Герасимовна вошла в комнату, переодевшись в яркое домашнее платье, забрала у мужа кухонный фартук. Несколько минут, разговаривая, супруги стояли рядом. И все-таки они были чем-то похожи, даже внешне, и не только певучим волжским говором, манерой ласково растягивать слова и порою произносить их так, как говорили в деревне десятки лет назад.

— Вот так и живем,— произнес Федор Георгиевич, любовно оглядывая свою квартиру.

Большая столовая Егошиных сверкала чистотой, натертые полы, занавески, шкафы, буфет, вышитые коврики на стенах — от всего этого веяло домовитостью, уютом.

Я понял, откуда идет это ощущение, когда пригляделся к мебели. Она была необычной. И мягкие стулья, и кресла, и диванчики в белоснежных чехлах, и шкафы — все это было любовно и мастерски сделано руками самого Федора Георгиевича. Вместе с тем каждая вещь выражала свой стиль мебельного искусства нашего и прошлых веков. Заметив мой интерес к мебели, Федор Георгиевич подошел к книжному шкафу.

— Моя-то всех твоих стоит, куда же засунула? — крикнул он Юлии Герасимовне, открыв дверь в кухню.— Вот она, книга давнишняя, ты сейчас такой не найдешь,— сказал он мне, кладя на стол потрепанное пособие для столяров с образцами различной мебели.— Это, что в комнате,— ерунда, между делом сделал.— Федор Георгиевич пренебрежительно махнул рукой.— А можно сделать красоту большую, можно очень замечательно сделать.

— Федя, опростай место для закуски,— попросила Юлия Герасимовна, входя в комнату с подносом.

— Фу-ты, ни пня ни пузыря. Что ж, на этой скатерти нельзя? — возразил он.

— Другую постелем. А вы, Федор Георгиевич, можете выпить, если пожелаете,— неожиданно на «вы» обратилась она к мужу, ставя на стол несколько бутылок пива.

Сейчас, закатав рукава платья, чтобы не мешали хозяйничать за столом, Юлия Герасимовна казалась мне совсем иной, чем на заводе. Было удивительно, как изменилась даже и ее речь. Я представил себе Егошину на техническом совете у директора, на трибуне совещания, в спорах с цеховыми инженерами, представил, как она в свою речь, посвященную тонкостям автоматической сварки, вставит вдруг «опростай место», и мысленно улыбнулся.

За столом мы разговорились о молодых годах супругов, о погибшем сыне. С многочисленных карточек в семейном альбоме на меня смотрели серые чистые глаза широколобого юноши с мило вздернутым егошинским носом.

— Ушел из института в сорок первом. И ни пня ни пузыря, а на заводе броню давали,— тяжко вздохнул Федор Георгиевич.

— Ах, перестань говорить о сыне, перестань,— твердо и с болью в голосе произнесла Юлия Герасимовна.— Я интересно живу сейчас,— продолжала она,— прямо скажу

вам — счастливо, вот только дома бываю мало, всегда на заводе задерживаешься. А так люблю заниматься хозяйством, так квартиру свою люблю. Митя, сын мой, тоже был бы сейчас инженер. Хотя Федор Георгиевич и возражал против нашей учебы.— Юлия Герасимовна взглянула на мужа, и тот отмахнулся, сделав вид, что сердится.

— Вспомнила прошлогодний снег! Тридцать пять лет прожили вместе мы, два чудака,— размягченный пивом, благодушно произнес Федор Георгиевич и улыбнулся жене. Но в глазах его мелькнуло что-то серьезное, грустное, словно бы задумался он о прошлом, о своей судьбе и судьбе жены, крестьянской дочери, инженера из народа, хозяйки цеха голубых огней. Жены, с которой, и мешая ей, и любя, и мучая, прожил он свой рабочий век...

НА МОСКОВСКОЙ ОКРАИНЕ



Я в разные годы написал несколько книг о строителях Москвы, из десятилетия в десятилетие прослеживая судьбы полюбившихся мне героев — рабочих, бригадиров, инженеров, архитекторов, создающих новый облик нашей столицы. Ныне среди них у меня много близких друзей, с которыми я постоянно связан частыми встречами на строительных площадках, дома, в помещении управления, комбината, просто телефонными звонками. Одним словом, постоянным и длительным слежением за тем, как идет их жизнь, работа, каковы происходящие перемены — и крупномасштабные, производственные, социальные, и личные, семейные, человеческие.

Эта постоянная моя «прописка на московских стройках» дала мне много как писателю, но не об этом сейчас речь, а о том, что, просматривая мои сорок тетрадей, я увидел, что истоки этих контактов и связей, начало этого длительного слежения за строительной эпопеей преображения Москвы связано для меня со второй половиной пятидесятых годов, когда я впервые прикоснулся к этой теме.

Сейчас с особым интересом читаются заметки о том, как началось в Москве строительство ныне знаменитого Юго-Запада и Черемушек, без которых современный москвич не

может представить себе столицы, с интересом вглядываешься в портреты тех, кто жил и работал в те годы, чьи труды легли в камень и бетон первых домов на бывших окраинах, ставших ныне прекрасными районами города.

Тот, кто много ездит по стране,— писал я в те годы,— знает: редкий город не встретит еще на дальних своих подступах видными издалека пирамидами башенных кранов. Москва, первый город нашего государства, в этом смысле ничем не изменяет новым приметам времени. Московские окраины, пожалуй, особенно резко подчеркивают контраст между старым и новым, и они перестали быть синонимом хилых домиков, кривых улочек, грязи и бездорожья.

Поезжайте от Калужской заставы в сторону Киевского шоссе, и вы очутитесь в преддверии вновь застраиваемого района столицы. Здесь все задумано и делается по широкому плану. Перебравшись через излучину Москвы-реки, столица на Юго-Западе левым своим каменным плечом уходит за Ленинские горы, за здание университета.

Я приехал сюда впервые зимой. На окраине крепче мороз, здесь на просторе разгуливал резкий ветер, набирая скорость в громадных каменных тоннелях кварталов, но даже и снегопад, заметающий кирпичные штабеля, был не в силах развеять характерный запах подогретой глины, цемента и древесного мусора — эту неистребимую атмосферу любого строительства.

Управление треста «Мосстрой-3» находилось, как и полагается боевому штабу, на переднем строительном крае. С крыльца управления виден новый квартал из восьмиэтажных корпусов и рядом — снежное поле, уходящее к синеватой от лесных опушек полосе горизонта.

То, что кажется грандиозным здесь, на краю поля, занимает лишь несколько скромных квадратов на карте генерального плана Юго-Запада, которая висела в кабинете управляющего трестом Михаила Георгиевича Локтюхова.

Управляющий сидел лицом к генеральному плану, а на стенах его кабинета, справа и сзади, большие графики: «поточно-скоростного метода застройки», «стадийного перехода с одного блока на другой», «совмещенного графика». Локтюхов сказал, что перед глазами он видит цель, а под руками имеет средства к ее осуществлению.

Трест «Мосстрой-3» перебрался на Юго-Запад зимой 1953 года. Район этот представлял собою соединение свалки с пустырем и старыми глиняными карьерами.

— Заехали, как на целину,— сказал Локтюхов,— ни дорог, ни домов! Земля оказалась мерзлой. Котлованы взрывали. Это был наш салют Юго-Западу и началу строительства.

Локтюхов развернул передо мною лист ватмана. В четырнадцатом квартале, где мы находились, надо было построить тридцать девять жилых корпусов, шесть домов с детскими учреждениями, четыре школы, стадион, бассейн, гаражи, магазины.

Весь фронт квартала разбивался на четыре полосы. Каждая полоса была отдана одному строительному управлению треста. Внутри полосы работа организована по стадийному методу. Каменщики, монтажники, плотники, экскаваторщики, как говорил Локтюхов, «все время движутся по вертикальному и горизонтальному потоку», иными словами — от корпуса к корпусу и с этажа на этаж. Это было тогда новое в организации производства, первые подступы к тому строительному конвейеру, который утвердился прочно впоследствии, в начале и в середине шестидесятых годов.

Но вернемся в то время, к началу освоения Юго-Запада. Все познается в сравнении. Раньше целиком достраивали один дом, только потом переходили к другому, и в результате много механизаторов простаивало, людей использовали нерационально.

Локтюхов говорил мне:

— Сначала все «выкладывали стены», потом шла «начинка» (внутренние перегородки), потом «столярка» (установка оконных и дверных блоков), а теперь все одновременно. Еще недавно кладка большого корпуса (добавлю от себя — кирпичная кладка) занимала год, да еще пять — семь месяцев — отделочные работы. А в прошлом году,— заметил управляющий трестом,— огромный корпус 52/56 вырос за восемь месяцев.

И еще одно отступление «от автора». Сейчас, когда возведение кирпичных домов стало уже редкостью и повсеместно наступила эра крупнопанельного монтажа, большие дома, в том числе и шестнадцатиэтажные, строятся примерно за месяц. Таковы темпы технического прогресса в одной из древнейших человеческих профессий — строительстве домов.

В технике обычно один шаг вперед неизбежно влечет за собою и второй, и третий. Поточно-скоростной метод, внедряемый тогда на Юго-Западе, как бы бросил творче-

ский вызов, и рабочая инициатива ответила на него созданием комплексных бригад.

Мне захотелось поговорить с Михаилом Яковлевичем Новиковым, организатором первой комплексной бригады в тресте Локтюхова, но я не застал его на площадке, зато мы встретились с ним дома у монтажников и секретаря партийной организации другого управления Петра Андреевича Киреева. Дело в том, что Киреев получил квартиру в том самом корпусе 52/56, который он сам строил.

Новиков, отметивший тридцатилетие работы каменщиком (сейчас в строительном обиходе нет уже ни такой профессии, ни такого наименования — каменщик), и Киреев, бывший шахтер, а ныне монтажник,— типичные кадровые строители. Оба они начинали возводить дома в Москве еще в ту пору, когда кирпич носили по этажам на «козах» за плечами, а нынешние краны и самосвалы заменяла деревянная тачка.

Новиков сказал:

— Раньше у нас объекты были разбросаны по всей Москве. Один дом строишь на Песчаной, другой на Русаковской, третий на Варшавском шоссе. Только и мотались с места на место. А теперь все в одном кулаке. Раньше три бригады каменщиков выкладывали этаж — не найдешь, с кого спрашивать. А теперь половина дома — за одной бригадой. Каждую стену ведет один мастер. Все, что положили, то наше. Даем чистоту, порядок и правильный учет...

...Я обдумываю сейчас эти свои старые записи. Вижу, что много писал о технологии, об организации производства. А имеет ли это какое-либо отношение к характеру людей, к их нравственным портретам? Весь мой почти сорокалетний опыт работы в рабочей теме говорит, что имеет, и немалое. Новые формы организации производства формируют и характер рабочего человека, и его отношение к труду, в котором становится год от года все больше коллективной заинтересованности, общей, разделенной на всех ответственности.

Недаром говорят, что стиль — это человек. А коллективный стиль труда вырабатывает и новые нравственные нормы взаимоотношений, взаимообщения людей в бригаде, в той самой комплексной бригаде, которая как важная производственная ячейка укрепилась в нашей промышленности на многие десятилетия. Вот и сейчас в последних решениях партии и правительства она объявлена как основная и на одиннадцатую пятилетку.

Когда я беседовал с Новиковым, Киреевым и Локтюховым на стройке Юго-Запада столицы, в стране шла шестая пятилетка. Однако же и тогда зримо просматривались в строительстве, в организации производства те ведущие тенденции, которые живы и развиваются поныне, только они назывались несколько иначе. Только намечались и не вошли еще в полную силу и теперешний суточный график, и комплексная подготовка всех деталей дома на заводах, и монтаж панелей прямо с колес панелевозов, и многое другое, что ныне знаменует собою непрерывный индустриальный поток монтажных работ, строительный конвейер под открытым небом.

Но и тогда шли эффективные поиски новых форм, люди думали, экспериментировали. Большие цифры иногда гипнотизируют. За их впечатляющим рядом можно порою не увидеть иных возможностей и не раскрытых еще резервов. Эту мысль высказал мне Локтюхов. От него я услышал и любопытное замечание о разных видах государственной пользы применительно к характерным приметам нашего градостроительства, о «видимой и невидимой экономике».

Одна из них — это очевидная и наглядная, выражающая себя в строительстве заводов и фабрик. Но существует и не столь очевидная и трудно поддающаяся учету, но несомненная выгода в том, что советский человек, живущий в хорошей квартире, где он бережет нервы и здоровье, работает производительнее, и творит успешнее, и больше приносит пользы своему государству.

Были тогда у Михаила Георгиевича Локтюхова и некоторые критические замечания и конструктивные предложения. Он ведь был человеком умным, хозяйственником с творческой жилкою думающего и беспокойного строителя, которого не могло удовлетворить показное благополучие иных нарастающих цифр.

В частности, он высказал тогда мысль о том, что существовавшая многоступенчатая система управления строительными трестами представлялась ему излишне громоздкой. Так называемые территориальные управления, стоящие между Главмосстроем и его трестами, по его мнению, стали лишним звеном.

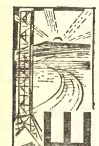
Структурная система Локтюхова была такова: «Главмосстрой — трест — участок». Такая система, как предполагал управляющий трестом, будет способствовать еще и втягиванию многих аппаратных инженеров в орбиту непосредственного строительства.

Теперь, когда прошло с тех давних встреч уже четверть века и самого Михаила Георгиевича уже нет в живых, можно сказать, что он многое предугадал правильно. Территориальные управления давно уже ликвидированы, тресты подчиняются непосредственно главку. Но дело даже не в этой частности. А в том, что постепенно, хотя и с трудом, с борьбою, медленнее, чем этого хотелось бы, но тем не менее неуклонно идет процесс рационального упрощения управленческой структуры в строительстве, сокращения промежуточных звеньев.

Стали ныне больше думать об экономике и об экономии человеческих сил и ресурсов, в том числе и занятых в сферах управления. Сейчас совершенствование управления и планирования — насущная проблема дня.

С теплым чувством в душе я вспоминаю мощную фигуру Локтюхова, похожего па борца, и вместе с тем очень живого и подвижного, несмотря на свою полноту и громоздкость. Он был одним из тех, о которых говорят, что они всегда «огонь и движение». Вспоминаю его энергичный бас, умное лицо, всегда готовое к улыбке, а это добрый признак душевной уравновешенности и мудрости. Хочется добром вспомнить человека, немало сделавшего для строительства в Москве и передавшего живую творческую эстафету тем, кто строит, украшает и тем самым возвеличивает сегодня наш замечательный город.

ДИАЛОГ ЭКОНОМИСТОВ



естидесятые годы в нашей промышленности проходили под знаком интенсивного внедрения экономической реформы. Она несла в себе много подлинной новизны в сферах рациональной экономики, хозяйственного расчета, прибыли, социального развития.

Реформа выдвигала новые задачи перед хозяйственными руководителями, призывая их к деятельности инициативной и энергичной, к развитию таких качеств, как деловая смелость, предприимчивость, хозяйственный размах. Реформа, значительно расширив их права хозяйственников, вместе с тем углубляла демократическую основу производственных и нравственных взаимоотношений внут-

ри коллективов, начиная с бригады и кончая заводом, комбинатом, производственным объединением.

Естественно, что все это заставляло пересматривать не только экономические, но и нравственные нормы в мире хозяйствования, привело к руководству новых людей, а следовательно, и новые характеры, способные двинуть вперед реформу, оказаться на уровне сложных требований жизни.

И где бы мне ни доводилось бывать в шестидесятые годы — на судостроительном ли заводе «Красное Сормово», на рыбных промыслах Каспия, на рудниках Кузбасса,— всюду я сталкивался с людьми, которые восприняли идеи реформы глубоко и прочно. Особенно же интересные процессы в этом смысле пришлось мне наблюдать в Челябинске, па заводах которого я бываю вот уже больше четверти века...

...На белой стене заводоуправления висела мраморная доска:

«Колющенко Дмитрий Васильевич — старый большевик, рабочий-токарь, пламенный борец за дело Великой Октябрьской революции, один из организаторов Красной гвардии в Челябинске, погиб от руки белоказаков 3 июля 1918 года».

Завод назван именем рабочего. Завод, старейший в Челябинске, основанный в 1898 году бельгийской фирмой, делал тогда конные плуги, сейчас выпускает новейшие дорожные машины, идущие нарасхват в стране и за рубежом,— всюду ведь строят дороги.

Завод имени Колющенко первый, который в Челябинске перешел на новую хозяйственную реформу.

В отделе организации и управления производством — для гостей, для собственного уразумения, для популяризации новых денежных расчетов — висел на стене большой плакат-диаграмма. Это финансовый план завода. Инженер Адольф Михайлович Сporиш — начальник отдела — водил по кружочкам палочкой-указкой, как бы извлекая из этой цифровой, кружевной вязи ясный экономический смысл.

Мне были интересны первые шаги первого эксперимента. Мне они были интересны как писателю, ибо никогда раньше экономическая реформа не сопрягалась в такой мере с целым комплексом нравственных и духовных вопросов.

У инженера Спориша приятно рокочущий басок, подкрепленный спокойным пафосом уверенности, басок, который кажется странным у человека невысокого роста, с тонкими строгими чертами лица. И то, что говорит Спориш, и то, как он это говорит, вполне гармонирует с его заявлением, что настроение у коллектива бодрое.

На заводе уже «широким фронтом» выдавались премии рабочим, за два месяца примерно столько же, сколько за весь прошлый год, а это значит, что из-за всех колонок цифр на схеме, как ручейки, сверху вниз текут накопления в «бассейн», именуемый «фондом материального вознаграждения».

Но чтобы иметь право щедро черпать из этого «бассейна», на заводе решили принять повышенный план производства по отношению к прошлогоднему — сразу на пятнадцать процентов. Это много!

Интересно, что премии выплачиваются не за количество («Количество рабочие дадут»,— говорят здесь), а за качество продукции, получившей высокую оценку при первом же предъявлении.

Я видел на заводе лозунг: «Совесть рабочего должна быть выше ОТК». Теперь работа на совесть получила дополнительный материальный стимул. И совесть и премии должны поднять степень мастерства до уровня мировых качественных стандартов.

Я приехал на завод имени Колющенко с другого — трубопрокатного. Здесь главный экономист Федор Исаакович Либерман, только еще готовил завод к реформе, и всякий раз, когда я заходил к нему, он сидел, весь погруженный в цифровые выкладки и сводки показателей.

Прежде всего кто такой главный экономист, ибо, в известной мере, им является и Спориш? Экономической службы до недавнего времени на заводах не существовало. Уметь анализировать должен каждый, и в этом смысле Либерман говорит, что главным экономистом должен стать прежде всего сам директор завода. Анализ не монополия экономиста, его продукцией является выработка рекомендаций на основе анализа. Если таких рекомендаций нет, главный экономист бездействует. Ему надо четко определить свое место на заводе. Не подменять ни главного инженера, ни коммерческого директора. Организация производства, творчески продуманная под углом зрения экономики,— вот поле его деятельности.

Либерман сказал мне, что собирается съездить к колю-

щенковцам, но я приехал раньше его и вел мысленный диалог между Либерманом и Споришем, сталкивая смутные предположения одного с очевидностью опыта другого, некую робость перед неизвестным с уверенностью, что трудности на новом пути будут преодолены. Я же остаюсь в этом диалоге лишь размышляющим посредником.

Либерман — Споришу: «Вас не беспокоит проблема занятости? По формуле рентабельности зарплата входит в оборотные средства, а они в знаменателе. Значит, чем меньше людей, тем выше рентабельность. А куда девать рабочих, которых захочет сократить тот или иной начальник цеха?»

Спориш — Либерману: «Зачем нам сокращать людей, когда у нас растет программа? Кто же будет ее выполнять? Ведь только повышенный план может обеспечить нам финансовую рентабельность».

Либерман — Споришу: «Не только план, но и цены на вашу продукцию. Никто ведь сейчас еще не знает, каковы будут цены. Не окажутся ли они столь низкими, что поставят под угрозу вашу рентабельность?»

Спориш — Либерману: «Ценообразование остается в руках государства, и оно не допустит финансового краха слабо работающих предприятий. Их будут подтягивать к определенному нормативному уровню и только тогда переведут на новую систему. Что же касается нашего завода, то качество изделий, которое стимулирует реформа,— это и есть главная гарантия спроса на дорожные машины, а следовательно, и хорошей цены».

Либерман — Споришу: «Хорошо, я снова возвращаюсь к вопросу о премиях рабочим. А как быть с нарушителями дисциплины, бракоделами? Вы тоже им черпаете из общего финансового котла прибыли?»

Спориш — Либерману: «Ну, нет, это было бы несправедливо. Прогульщикам премии урезаются или же не выплачиваются вообще. Все же хорошо работающие в конце года получают из фонда материального вознаграждения дополнительное поощрение в размере двенадцатидневного заработка. Кроме того, мы обдумываем вопрос и о том, чтобы платить рабочим еще и за выслугу лет на нашем предприятии».

Либерман — Споришу: «Оборудование цеха входит в основные средства производства. И они тоже в знаменателе формулы. Иные хозяйственники уже боятся покупать, например, сатураторы для рабочих, проводить лучшее осве-

щение и т. д. Оно дорого. Не войдет ли формула рентабельности в противоречие с заботой о рабочем, его самочувствии, его здоровье?»

Спориш — Либерману: «Конечно, кое у кого появилась тенденция «удержать копейку дома»; казалось бы, она диктуется математической логикой формулы рентабельности. Но бой этому глуповатому меркантилизму всегда дадут наши партийные организации, общественность. К тому же существует обязательный план по технике безопасности. Что же касается нового оборудования, то мы будем его приобретать лишь после того, как подсчитаем выгодность такой покупки. Одним словом, главенствовать будет в этих делах и все решать экономический анализ».

Либерман — Споришу: «Еще один вопрос. Сейчас понятие «сдача продукции» заменяется понятием «реализация». Допустим, вы продукцию отправили заказчику, а он вам ее не оплатил. Что делать тогда?»

Спориш — Либерману: «Возможны осечки, трудности. Возникает важная проблема — комплексность внедрения реформы, которая должна охватить не только все предприятия, но и транспорт, и всю сферу обслуживания, их тоже надо завязать крепкими нитями рентабельности и ответственности».

Я ставлю на этом коротком диалоге точку. Нет, скорее многоточие... Быть может, беседа, которая возникнет между Либерманом и Споришем, когда они встретятся, и не будет точно похожа на приведенную выше, но все же она коснется именно этих проблем.

Спориш сказал мне тогда в Челябинске, что их завод, окрыленный первыми успехами, собирается увеличить свой пятилетний план на 35—40 миллионов рублей. Либерман мог этого и не знать, но то, что новая реформа самим существом своим будет стимулировать заводы к увеличению программы, ему было и тогда совершенно ясно. Впрочем, я думаю, что и Либерман, и Спориш, и я могли бы, если бы собрались все вместе, определить три основных вывода, вытекающих из опыта колющенковцев.

Реформа в промышленности вовсе не обещает безмятежной и спокойной жизни. Наоборот, она предполагает еще более напряженный труд во всех производственных звеньях. Реформа, безусловно, побудит заводы не придерживать резервы, не выторговывать планы полегче и не выполнять их абы как, любой ценой. И отныне работа на высоком качественном уровне станет не только

благим желанием, но и жестокой материальной необходимостью...

...Так писал я в начале шестидесятых годов. Что ж, все эти наблюдения и размышления устарели? Отнюдь! Реформа вошла в плоть и кровь нашей индустриальной жизни. А проблемы, уже решенные давно, побудили теперь новые, еще не решенные, и я бы сказал, что реформа, развиваясь, углубляясь, приобретает сейчас новые формы и содержание. Внимание же к экономике, к ее задачам и стимулам только возрастает год от года. Разве не об этом красноречиво говорят постановления партии и правительства в конце семидесятых — начале восьмидесятых годов: об улучшении хозяйственного механизма, планирования, организации коллективного труда.

Да и новая, двенадцатая пятилетка не мыслится ныне вне развития основных принципов хозяйственной реформы шестидесятых годов, вне постоянной борьбы за эффективность и качество труда.

СТРАНИЧКИ ИСТОРИИ



Заводы, как и города, имеют свой неповторимый облик. Есть заводы, распланированные с геометрической точностью, где цехи выстроились в шеренгу, а заводские «улицы» и «переулки» напоминают линии на шахматной доске.

Есть заводы, расположенные в парках, где за сомкнувшимися кронами деревьев не увидишь соседнего цеха, и лишь рваные клочья дыма в ветвях свидетельствуют о том, что по какой-нибудь густой аллее пробежал заводской паровозик. Можно увидеть заводы на берегу моря, яркие огни их, словно маяки, далеко видны плывущим кораблям, и заводы в гуще кварталов большого города, где цеха трудно отличить от окружающих домов.

На Пресненском валу, соединяющем площади Белорусского вокзала и Пресни, недалеко от центра Москвы, находился вагоноремонтный завод «Памяти революции 1905 года». Как и большинство заводов в центре города, он так плотно «вписан» в геометрию кварталов, так закрыт ото-

всюду домами и высокими каменными заборами, что кажется спрятанным за корпусами обычных жилых строений.

Если вы едете в троллейбусе по оживленной улице или идете пешком по асфальту тротуара, обрамленного рядами аккуратно подстриженных деревьев, то можете даже не обратить внимания на выкрашенный в желтую краску деревянный домик, примыкающий к четырехэтажному каменному зданию. Это центральная проходная, и рядом с нею такие же малозаметные ворота завода.

Но достаточно миновать коридор проходной — всего несколько метров,— как мгновенно все меняется вокруг. Вы тотчас забываете о привычной московской улице и чувствуете себя на заводской территории, с ее особой атмосферой труда, ее шумами и характерными запахами металла и дыма, с ее индустриальным пейзажем и напряженным ритмом жизни.

Даже небольшой палисадник рядом с доской Почета и рельсами пути, даже цветы с высокими стеблями и крупными ярко-желтыми шарами головок вокруг небольшого бюста Ленина выглядят уже не так, как в городском саду на Пресне, потому что они растут рядом с цехами, озаряемыми огнями сварки, с массивными корпусами вагонов и грудами металла.

С крыши любого цеха можно увидеть привокзальную площадь, сквер и памятник Максиму Горькому, а с другой стороны сад на Краснопресненской заставе. Пассажирские поезда грохочут за легким забором, всего в нескольких метрах, отделяющих пути от цехов.

Поэтому завод в шестидесятые годы, когда я там бывал, рос не вширь, а ввысь, то и дело снимались крыши и надстраивались новые этажи в старых помещениях цехов. Но самое главное — внутри цехов скромная и особенно дорогая здесь производственная площадь все время оснащалась новыми, современными станками и машинами.

Колесный цех — один из основных. Он примыкает к путям и строениям депо имени Ильича, как бы демонстрируя наглядную связь завода с железнодорожным хозяйством: снятые с вагонов колесные пары могут через несколько минут вкатиться на площадку перед цехом.

Здесь они первым делом попадают в руки человека, обязанность которого — оценить колесо, увидеть его «болезни и раны», определить характер ремонта и отправить колесные пары «на операцию» в цех. Делал это семидесятилетний мастер Григорий Ильич Литвинов.

Его всегда можно было увидеть днем на площадке, он сортировал колеса, быстро продвигаясь вдоль рельсов совсем еще не старческой походкой. Его руки все время в движении, взор напряжен, вот он цепко оглядывает колесо; нагнувшись, протрет тряпочкой металл в подозрительном месте, предварительно, на глазок, определит дефект и пишет мелом на колесе, что с ним делать.

Литвинов в цехе с 1905 года. Свыше пятидесяти лет заводского труда за его плечами. Но этого не скажешь, глядя на невысокую, еще крепкую, стройную фигуру мастера в рабочей темной куртке, брезентовых штанах и грубых ботинках, в которых он шагает по земле, опутанной густой сеткой путей.

Любимый, хоть и долгий труд молодит человека, об этом я думал, глядя на лицо мастера, строгое, но не сердитое, скупое на улыбку. У Григория Ильича седые волосы, но они всегда прикрыты замасленной кепкой, свежая кожа на чисто выбритых щеках, очки, за которыми поблескивают светлые глаза, и тихий, спокойный голос, который, однако, различают даже машинисты электрокрана, с шумом бегающего по рельсам над площадкой цеха.

...Григорию Литвинову шел восемнадцатый год, когда он, сильный и крепкий деревенский парень, впервые приехал в Москву к знакомым отца искать здесь, в большом городе, работы и своей доли.

Из деревни Григория выгнала нужда: отец кормил десять душ детей на «одной душе земли», как говорили тогда в селе, обрабатывая скудную полоску земли. Поселился Григорий на Пресне, в Соколовском переулке, в деревянном, плохоньком домике, похожем на сотни таких же, составлявших кварталы этой рабочей окраины.

Соколовский переулок упирается в улицу Грузинский вал, от которой уже рукой подать было до линии железной дороги и Александровского вокзала. Близость «чугунки» и знакомства семьи, приютившей Григория, с мастерами на линии помогли молодому рабочему, уже прослужившему год на Стекольном заводе, поступить в Брестские паровозовагоноремонтные мастерские.

17 июля 1905 года Григорий впервые открыл дверь проходной будки и, не подозревая еще, что ходить по этой земле ему предстоит полвека, пошел по заводу к низким, закопченным дымом стенам колесного цеха, тогда еще не отгороженного от железнодорожных путей.

Так началось знакомство Григория Литвинова с «чугун-

кой» тех времен, и, хотя за свой век он увидел множество замечательных и великих перемен на русском транспорте, старый мастер на всю жизнь запомнил те первые паровозы и вагоны, с которых начинала свой технический прогресс русская железная дорога.

Начало XIX века ознаменовалось в России бурным наступлением «парового коня» и постройкой все новых и новых стальных магистралей, постепенно покрывающих огромную территорию государства. Первая в России Петербургско-Московская дорога открылась для движения 18 августа 1851 года, а через двадцать лет Москва торжественно отмечала рождение еще одной линии, связывающей два древних города, Москву и Смоленск, а затем присоединив к ним и Брест.

Новая дорога, Московско-Брестовская, естественно, потребовала создания опорных пунктов по ремонту паровозов и вагонов, и вот через три года, в 1875 году, создаются полукустарные ремонтные мастерские близ Александровского вокзала, ставшие впоследствии довольно крупным заводом.

Вначале все мастерские помещались в одном здании, кстати сохранившемся до сих пор. Это был цех для ремонта паровозов.

Первые русские локомотивы столь же отличаются от современных мощных паровозов и тепловозов, как, скажем, аэропланы времен Можайского от реактивных самолетов наших дней. В стране только начинали осваивать неуклюжие на вид паровозы, выпускаемые Александровским заводом в Петербурге. Локомотивы эти были еще весьма далеки от совершенства.

Григорий Ильич вспоминает, что у них было тогда по одному буферу, винтовая сцепка отсутствовала, при трогание паровоза с места помощник машиниста должен был бежать некоторое время рядом с поездом, чтобы открыть продувательные клапаны, а затем, закрыв кран, на ходу вскакивать на паровоз.

Грузовые вагоны делались в ту пору универсального типа, в них перевозились все грузы, а при небольшой переделке они превращались в те самые «теплушки», на которых выводилась ставшая поговоркой надпись: «Восемь лошадей или сорок человек».

Даже специально пассажирские вагоны выглядели приспособленными лишь для коротких расстояний и умеренного климата. Боковые двери, тесные сиденья, отсутствие

уборных, отопление с помощью раскаленных кирпичей, которые менялись на определенных остановках,— все это плохо вязалось с большими расстояниями, которые поезда покрывали на русских просторах и с русскими суровыми зимами и метелями.

Поэтому вскоре на железных дорогах отказались от вагонов иностранного типа и начали строить свои — со сквозным продольным проходом и дверьми в лобовых стенках, с площадками, с приборами для отопления, освещения, вентиляции, иными словами, тот тип вагонов, что дожил до наших дней.

Хотя Литвинов пришел в мастерские, уже насчитывающие тридцать лет существования, здесь по-прежнему царила примитивная техника и ручной труд. Мастерские постепенно обрастали новыми цехами — механическим, малярным, товарным, рессорным, литейным, кузнечным. На стенах этих помещений висели иконы, однако молитвы мало помогали, когда под «Дубинушку» рабочие выкатывали из-под вагонов тяжелые тележки. Подъемных кранов не было, все носили па руках. Инструменты выковывали в кузнице сами, а ночью работали при тусклом газовом освещении.

Один из станков той поры сохранился в колесном цехе. Это кажущийся сейчас музейным механизм для шлифовки валов. Мотор на месте суппорта приводит в движение наждачный круг, и тот бегает вдоль колесного вала. Три колесных пары в смену обрабатывали этот механизм, в три раза меньше, чем делает современный станок.

Но летом 1905 года, когда Григорий Литвинов с трепетным волнением молодого рабочего впервые пустил в ход механизм, станок казался ему чудом сложной техники. Он учился на шлифовальном, потом на токарном, жадно, с нетерпением любознательного, способного к технике человека, и хотя 12 рублей в месяц и угол в чужой квартире не позволяли даже мечтать о своем семейном гнезде, Литвинов был рад, что нашел увлекшее его дело.

Кончалось богатое событиями лето 1905 года. Литвинов постепенно втягивался и в политическую жизнь, подружился с отцом и братьями Самариными, Ковалевским и другими, составлявшими крепкое ядро рабочих-большевиков. Теперь он все чаще ходил на собрания, внимательно читал рабочие газеты. Его, точно кусок железа, спущенный в раскаленный горн, будоражили, накаляли революционные идеи, общий боевой подъем рабочего класса, уже в октябре вылившийся в большую забастовку.

Но вот наступили дни, когда Литвинову пришлось забыть про свой станок. Поздней осенью революционные события на Пресне закипели с особой силой. В мастерских читали листовки с призывом готовиться к вооруженному восстанию. Литвинов, которого еще мало знали в цехе, не был включен в список дружинников, но когда 5 декабря Всероссийская конференция железнодорожных рабочих и служащих приняла решение присоединиться к забастовке, молодой станочник голосовал за рабочую солидарность и борьбу с самодержавием.

7 декабря железнодорожники Москвы одними из первых приостановили работу на линии и во всех мастерских, в том числе и Брестских. Не случайно, что именно здесь гудок над котельной возвестил всей Пресне начало вооруженного восстания.

10 декабря на углу Тверской и Садовой улиц выросла первая баррикада. Войска установили орудия у Страстного монастыря, на Сухаревке и на Арбате, открыли огонь по баррикадам на Пресне и в Замоскворечье. Забастовка начала перерастать в вооруженную битву.

Рабочие Брестских мастерских отправили на Прохоровскую фабрику, где размещался штаб восстания, свою боевую дружину. Она насчитывала двадцать человек, вооруженных браунингами и винтовками.

Литвинов, не получивший оружия, помогал строить баррикады на Грузинской улице, на Кудринской и Смоленской площадях. День и ночь он проводил на улицах, лишь во время сильных обстрелов укрываясь в подвалах домов с тем, чтобы, как только затихнет стрельба, снова укреплять баррикады.

С 11 декабря все лучшие боевые дружины Москвы стали стягиваться на Пресню, окруженную со всех сторон войсками. От артиллерийского обстрела горели дома. В этом огненном кольце баррикад жила и боролась «Пресненская республика» — последний оплот московского восстания.

Девять дней продолжалась неравная, героическая борьба рабочих Пресни с войсками царя. 18 декабря в 9 часов утра по приказу штаба последние отряды дружин покинули Пресню. Это было организованное прекращение борьбы самими рабочими.

Дружина Брестских мастерских вместе с другими дружинами Пресни выполнила свой революционный долг. Литвинов, много переживший и многое понявший в эти дни, избежал ареста и видел, как полиция яростно разбирала

баррикады, как по притихшим в трауре улицам возили на кладбище убитых рабочих — героев вооруженной борьбы.

И только 6 января 1906 года в мастерских, пустовавших все дни боев, возобновилась работа. Пришел к воротам мастерских и Григорий Литвинов. Здесь, прямо на улице, побеленной хрустящим под ногами снежком, за столом чиновник записывал рабочих. Пришлось и Литвинову, как и другим революционным рабочим, снять шапку, чтобы снова встать к станку вместе с товарищами, временно сложившими оружие, и готовиться к новым, решительным битвам.

Прошли годы, отделявшие генеральную репетицию 1905 года от генерального сражения в октябре 1917-го. И в дни исторических революционных штурмов, а затем в период гражданской войны рабочие мастерских не только ремонтировали паровозы и вагоны, не только снаряжали для Красной Армии бронепоезда, но и сражались на фронтах, а затем так же героически восстанавливали теперь уже свой, родной железнодорожный транспорт.

После войны многие кадровые рабочие вернулись в свои цеха, мастерские постепенно расширялись и в 1925 году стали именоваться вагоноремонтным заводом. В ознаменование прошлых революционных заслуг тогда же заводу присваивается почетное название «Памяти революции 1905 года».

Григорий Ильич Литвинов все это время бессменно трудился в колесном цехе. Так уж сложилась его судьба, что ни на один год не порывал он своей связи с заводом, который в самые трудные годы всегда работал для нужд фронта и военного транспорта.

Я познакомился с Григорием Ильичом в теплый сентябрьский день, когда он получил заказ отремонтировать несколько колесных пар, снятых из-под вагонов поезда Москва — Берлин. Это было весьма срочное задание. Быстро осмотрев колеса, мастер направил их в цех, и мы пошли к станкам, чтобы проследить за технологической цепочкой ремонта.

— Раньше-то весь труд в цехе был ручной, а сейчас здесь электричество, а тут пневматика,— сказал Григорий Ильич, показывая на гидропресс, оригинальной формы станок, производящий одну из трудоемких операций — запрессовку оси в колесо.

— Гремит что твоя пушка, ударит — и ось в колесе.— Мастер с гордостью говорил о станке, как бы хваля его за огромную силу.

Самое большое отделение цеха служит для обточки колесных пар и осей, и здесь стоят большие и сложные токарные, винторезные, шеечно-накатные станки. Они работают на скоростных режимах, оборудованы новейшими приспособлениями.

Один из самых интересных здесь — дефектоскоп. Он контролирует качество обработки металла. Григорий Ильич показывал дефектоскоп как новинку и гордость цеха, о которой никто не смог бы и мечтать в старых мастерских.

— Это тот же рентген, если брать в сравнении,— заметил мастер.— Раньше как у нас оси проверяли? Обточат, протрут, глазом окинут — и все. Кустарщина! А ведь ось, скажем, паровозного колеса, сколько на ней ответственности? — Григорий Ильич поднял кверху палец.— Лопнет такая ось в дороге — крушение, жертвы, а такие случаи бывали. Но это не все,— продолжал мастер,— отсюда колесные пары идут на оснастку роликовыми буксами. Слышали, наверно, такое выражение: «Буксы горят!» Да, буксы! — Григорий Ильич произнес это слово с уважительной интонацией, в которой звучала уверенность, что всякий человек должен знать о такой серьезной вещи, как вагонная букса.

И действительно, кто из ездивших в поездах не наблюдал примелькавшейся пассажирам картины: на каждой большой станции вдоль состава проходит рабочий, в руках у него металлическая масленка с длинной шейкой и молотком. Останавливаясь у каждой колесной пары, он выстукивает пружины, осматривает буксу — стальную коробку, надетую на ось колесной пары. Вся тяжесть вагонов опирается на буксу, а та уже стальной ладонью обхватывает шейку движущегося колеса.

Все видели, должно быть, как смазчик, перед тем как заглянуть вовнутрь буксы, ощупывает ее своей ладонью, проверяя, не слишком ли она горяча? Если металл коробки сильно нагрелся — это верный признак того, что «букса сгорела», вагон вышел из строя.

Подобно многим пассажирам, я до встречи с Григорием Ильичом не подозревал, что букса столь серьезная деталь вагонного механизма, а «роликовая букса» — не просто термин, а интересная страница в истории технического прогресса на транспорте, и более того — важная веха на пути его развития.

Завод на Пресне много сделал для внедрения роликовых букс, или, как еще иначе говорят, подшипников каче-

ния. Роликовое отделение рядом с основным зданием колесного цеха. В помещении, где на шейки осей, отполированных до блеска, надевают буксы, чисто, тихо, светло. Тут царит скорей лабораторная атмосфера, чем цеховая, что и соответствует работе исключительно точной и ответственной.

Заводские пути уходят вдаль, сливаясь с линиями Белорусской дороги. Ее шум и гудки паровозов хорошо слышны у цехов, и, пока мы ходили по заводу с Григорием Ильичом, они, казалось, волнуя мастера, все время напоминали ему о скоростном ремонте колесных пар для поезда Москва — Берлин.

Григорий Ильич обычно занят лишь общим контролем за ремонтом, но в эти дни он сам следил за обработкой бандажей на парах, снятых из-под вагонов дальнего следования. Он, отремонтировавший за полвека тысячи колес, в последнее время питает своего рода душевное пристрастие к двум видам, так, словно это и в самом деле «живые ноги вагонов».

Первые — самые маленькие колесные пары, бегающие по новым узкоколейным путям на целине. Чуть ли не в три раза меньше обычных, они кажутся подростками в темных колоннах солидных и массивных колесных пар, выстраивающихся, словно в очередь, у ворот цеха.

Вторые — это все колеса из-под вагонов соседней железной дороги, с которой Григорий Ильич считает себя породнившимся за свою долгую жизнь на заводе. Колесные пары из-под берлинского состава были отремонтированы в цехе за три дня.

...Колеса отправляли в путь утром. Григорий Ильич суетился на площадке — это был последний его рабочий день перед отпуском, и мастер торопился успешно завершить работу.

— Вот не могу я так, чтобы было трудно людям, а я не помогаю,— сказал он, тяжело дыша и помогая двум подросткам сдвинуть с места колесную пару. Электрокран, подхватив колеса за ось, по воздуху переносил их с площадки перед цехом на рельсы, уходящие в сторону депо.

В перерыве мы присели прямо на ось колеса, и Григорий Ильич вытер платком лоб, почистил стекла очков. Как у всех близоруких людей, глаза его без очков казались бледнее, меньше и какими-то беззащитными. Прищурив их, мастер взглянул на небо — хороша ли погода?

— К зиме надо готовиться, на заводе и дома,— произнес он озабоченно.— За пятьдесят лет я один раз в Кисловодске был, а то все отпуска — дома,— добавил он безо всякого сожаления,— люблю возиться по хозяйству.

Григорий Ильич жил в дачном поселке по Белорусской дороге.

— Сейчас реконструкцию дачи делаю,— с охотой рассказывал мастер,— паровое отопление. Угольком топить буду. Все как надо.

Григорий Ильич заметил, что старается он для семьи, двух взрослых дочерей-инженеров, внуков и внучат.

— Садик я вытянул хороший. Яблоньки, груши, сливы, малина есть, клубника, ну и картошка, конечно, само собой, огурчики, помидорчики. Морока с ними большая, но трудов своих я не считаю. Отпуск не отпуск, а для дома я всегда что-нибудь ковыряюсь. Прудик в саду небольшой соорудил, карасей развожу. Вам не смешно, что я рыбками увлекся под старость? — спросил Григорий Ильич, словно чуть подсмеиваясь над собой.— По-моему, самое пенсионное занятие.

Я представил себе садик Григория Ильича, каких видел немало у старых рабочих-пенсионеров, уже ушедших с завода или еще работающих в цехах, садик, возделанный с особой тщательностью и любовью, где каждое дерево посажено своими руками, взращено и любимо.

Пожалуй, не так дороги мастеру плоды со своих деревьев, как само дело, куда можно приложить руки, когда мастер покидает стены завода, руки старого мастерового, которые не умеют долго быть без работы.

Григорий Ильич вытащил из кармана куртки вчетверо сложенный листок и чуть смутился, лицо его напряглось, как бывает у людей внутренне застенчивых, но привыкших всегда сохранять вид серьезный и даже сердитый.

— «Дедушка. К пятидесятилетию работы на заводе,— прочел он. Это было стихотворение, посвященное старому мастеру.— С пятидесятилетием поздравляю, всей жизни трудовой твоей...» — Григорий Ильич пропустил несколько строк.— Вот тут интересно: «Без дела ты сидеть не можешь, уж что-нибудь ты делаешь всегда, то пилишь ты, то воду носишь, нисколько не смущают ведь тебя твои преклонные года.

Твоя внучка Алла Дранникова».

— Подметила внучка верно,— сказал Григорий Ильич,

аккуратно складывая листок и в широкой, молодившей его лицо улыбке не скрывая ни радости, ни горделивого чувства.

Затем мастер поднялся, чтобы отправить в депо последние вагонные пары. Несколько рабочих подталкивали колеса по рельсам, а Григорий Ильич степенно шагал сзади по шпалам до самых ворот.

Здесь он пристально оглядел депо, пути, стоящие повсюду составы и паровозы, как картину, знакомую до мелочей, но всегда ему интересную.

— Ну, в путь! — он прощально махнул рукой, когда за воротами колеса подхватили работники станции и покатили дальше.

«В путь!» Это слово я часто слышал в цехах, им озаглавлена местная многотиражка, это слово невольно связывается с историей завода и тем славным путем, который вместе с рабочей Пресней прошел старый русский рабочий, коммунист Григорий Ильич Литвинов.

ЭТАЖИ



семидесятые годы, начавшиеся девятой пятилеткой, я много писал о строителях Москвы, и особенно о бригаде знатного монтажника Владимира Ефимовича Копелева. Он быстро рос профессионально и как личность, как государственный человек, ибо два созыва избирался депутатом Верховного Совета СССР. Крутой разбег его рабочей судьбы был, как мне думается, особенно характерен именно для годов семидесятых, когда на первый план в нашей строительной индустрии стали выдвигаться именно такие люди — упорные в труде, динамичные и инициативные, умеющие заразить высоким накалом энтузиазма весь коллектив бригады.

Копелев представлялся мне государственным человеком не только потому, что он эффективно работал, а понятия качества и эффективности уже тогда начинали становиться главным содержанием всех производственных усилий, но и потому, что у него было высоко развито чувство ответственности не только за свою бригаду или управление, он мыслил гораздо шире и своей скромной рабочей должности,

и своих непосредственных обязанностей. А это верная примета крупной личности, соизмеряющей свои личные интересы и заботы с заботами народной жизни, делами всей страны.

В те же семидесятые годы Владимир Ефимович, работая, начал учиться в Высшей партийной школе и через несколько лет получил диплом о высшем образовании, подготовляя себя к той инженерно-административной работе, которой он и занялся впоследствии, став начальником строительного управления.

Наша многолетняя дружба возникла и окрепла в девятой пятилетке, когда я, в буквальном смысле слова, следовал за копелевской бригадой с одной московской стройки на другую. Поэтому мои записи оказались бы неполными, если бы здесь, пусть в коротком эпизоде, я бы не упомянул о делах знаменитой бригады строителей.

В тот февральский день по пустырю мела поземка, приятно похрустывал снежок под ногами. Бригадир строителей Владимир Копелев в больших валенках, высокий, статный, в брезентовой спецовке с незастегнутой курткой, под которой виднелись темный свитер и теплая рубашка, чуть сдвинув на ухо старенькую меховую шапку, шагал вдоль рельсов, проложенных у дома, и торопил механиков, исправлявших мелкую поломку на подъемном кране. В минуты вынужденной остановки монтажа он был особенно озабочен.

Не раз уже доводилось наблюдать это захватывающее начало строительного потока, когда по графику начинают поступать на стройку детали с заводов и в русле такого же почасового графика «прямо с колес», как говорят строители, идет монтаж корпуса в неукоснительном ритме: этаж за три дня. Это высокие темпы, и потому домостроительный комбинат № 1, где работали такие замечательные бригадиры, как Копелев, Суровцев, Авилов, Денисов, Калинкин, считается головным в крупнопанельном домостроении всей страны, а копелевская бригада, добившаяся наивысших и рекордной выработки, получила поздравление Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Леонида Ильича Брежнева. Поздравление это обсуждалось весной 1974 года на многих строительных площадках города. Шел деловой разговор о социалистических обязательствах, встречных планах, резервах производства.

Прошло некоторое время. И вот в здании клуба строителей начал работать Всесоюзный семинар, на который

в Москву съехались со всей страны четыреста человек: директора и главные инженеры домостроительных комбинатов, начальники технических служб, бригадиры и рядовые строители. Повестка семинара имела длинное название, но, попросту говоря, это был семинар Копелева. Всесоюзная школа его опыта и мастерства.

Два дня обсуждений, докладов и непосредственного показа на копелевской «боевой площадке», на других стройках. Пристальный интерес к новаторскому опыту столичных градостроителей естествен: Москва — главная строительная площадка страны, главная по масштабу, по размаху новостроек, каких не знает ни один город планеты.

Копелев приехал на семинар в десять утра из Орехово-Борисова.

— Я прямо с работы, вышли там на третий этаж, надо было пошуровать кое-где, завтра ко мне люди приедут,— так объяснил он, почему явился в своей «рабочей форме», а пе в «парадной».

Выступал он увлекательно. Речь человека, опирающегося на непреложные факты, всегда будут слушать. К тому же всякому интереспо сопоставить вызывающее уважение дело с психологическим обликом того, кто это дело совершил. Копелев сказал в своем выступлении:

— У нас на комбипате двадцать бригад, и в работе они отличаются одна от другой пенамного.

Наверное, Владимир Ефимович произнес эту фразу, почувствовав настоятельную необходимость отдать дань справедливости всем своим товарищам. Все бригады на комбинате монтируют девятиэтажные дома за тридцать два рабочих дня. Таков общий график, и это примерно в два с половиной раза быстрее, чем предусматривается нормами.

Слушая Копелева, я подумал тогда еще и о том, что можно потратить много слов, рассказывая о моральном климате, сложившемся в бригаде, а можно произнести предельно кратко: «От нас не уходят!» И этим выражено все.

Он рассказал еще об интересной новинке: кандидатуру каждого, желающего работать у них, обсуждают в коллективе бригады. «Мы должны знать, с кем будем трудиться, какого человека берем в свою семью». Потом добавил, что за последние два года в бригаде не было нарушений производственной и общественной дисциплины.

Но конечно же главное свое внимание Копелев уделил

подробному рассказу о многочисленных находках коллектива: совмещении профессий, а следовательно, полной взаимозаменяемости рабочих, культуре труда, которая выражается прежде всего в неукоснительном выполнении графика. Он говорил о «чувстве личной ответственности каждого рабочего за все, что происходит на строительной площадке». Каждодневным, каждочасным трудом строители стараются реализовать формулу эффективности: больше продукции, лучшего качества, с меньшими затратами. Хорошо, тепло говорил о соревновании с бригадой своего друга Анатолия Суровцева.

— Каждый квартал мы подводим итоги: то мы выйдем победителями, то суровцы,— говорил Владимир Ефимович.— Часто работаем рядом, плечом к плечу, тут и без подсчетов наглядно видно, кто больше поднимет этажей. И профессиональных секретов у нас друг от друга нет.

Строители делятся своими маленькими профессиональными открытиями, которые приходят к рабочему человеку вместе с опытом. Само это стремление поделиться всем, чтобы возвысить товарища в профессиональном мастерстве, а тем самым нравственно возвыситься и самому, великодушие этого дара принадлежит, мне думается, к одним из самых значительных социальных достижений рабочего класса нашей страны.

Вот уже более двадцати двух лет Копелев — на стройках Москвы, и этапные вехи его биографии — это дома, дома, кварталы, кварталы!

Отпраздновали награждение шестнадцати строителей орденами и медалями и, не успокаиваясь на достигнутом, не почивая на лаврах, решились на новый важный шаг в борьбе за эффективность строительства — приступили к монтажу типового дома в не виданные нигде и никогда сроки, за... 18 дней. Был взят ритм: этаж за два дня, предполагавший новый скачок в растущей год от года производительности труда.

— Мы давно уже работаем в таком темпе, что монтажников начинают сдерживать... механизмы,— сказал мне Владимир Ефимович в Отрадном, когда подъемный кран был починен и начал разгружать панелевоз, поднимая в воздух и ставя затем на этаж белостенные прямоугольники санитарных кабин.— А сдерживает то, что самим кранам не хватает скорости, маневренности. Честное слово, пока кран поднимает деталь на девятый этаж — выспаться

можно,— добавил он с улыбкой и, должно быть, с некоей долей иронического преувеличения.

На строительной площадке в Свиблове, а именно там проходил необычный эксперимент, вместо одного крана на корпусе Копелева действовали два. Пока один подавал на этажи материалы: бетонный раствор, «столярку», сантехнические детали, второй без задержки транспортировал с панелевозов крупные детали — стены, перегородки, лестничные марши. Естественно, в бригаде возросла интенсивность труда, но сорок семь строителей эту нагрузку приняли во всех звеньях, и работа доподлинно закипела, пожалуй, уже не только в метафорическом смысле.

...Давно я привык к характеру Владимира Ефимовича — скупого на слово, жест, но темпераментного и неутомимого в действиях, знаю его особенность поворчать на разные неполадки. Он чужд праздного суесловия, просто на это нет времени, и не выносит, когда торжественной замазкой восторженности пытаются сгладить реальные шероховатости и недостатки каждодневной строительной текучки. Но когда он сказал: «Вы знаете, мы в Свиблове такой темп дали, что даже жители отовсюду сбегались смотреть, как растет дом!» — я почувствовал, что на этот раз не устоял заслон обычной сдержанности Владимира Ефимовича. Уж больно хороша была эта работа, доставившая всей бригаде чувство заслуженной гордости и душевного ликования!

Поехал я посмотреть экспериментальный дом в Свиблове. Сейчас он стоит в ряду однотипных белостенных корпусов, выделяясь приятной зеленоватой окраской, ибо облицован новой крупноразмерной глазурованной плиткой. Ныне всякий эксперимент утверждается множественностью повторений. Копелев в декабре, применив два крана, смонтировал такой же «зелененький» корпус в Бибиреве. И также за 18 дней. А другие бригады поставили еще три таких корпуса в этом же темпе. И теперь технический совет комбината изучает открывшиеся возможности значительного прироста производительности труда в крупнопанельном строительстве.

— Кранов маловато, а главное — не хватает надлежащего фронта работ,— сокрушается бригадир.— Вот в чем загвоздка!

Фронт работ. Под этим подразумевается возможность без длительных остановок бригадам, смонтировавшим дом, сразу же переходить на новые фундаменты. И, что особо

важно, начинать монтаж в районе с уже готовыми инженерными, жизнеобеспечивающими коммуникациями. Однако реальность на сегодняшний день такова, что мощности монтажных организаций опережают пока возможности трестов «Фундаментстроя». Подготовленных «нулей», как говорят строители, не хватает. Отсюда — вынужденные простои потоков, а в лучшем случае частая перебазировка из района в район.

— В прошлом году я сам восемь раз перетаскивал все свое хозяйство. Сколько времени потерял. Ну разве это порядок! — вырвалось у Копелева.

Поисками «свободных нулей» обеспокоена не только бригада Копелева. Часто Владимир Ефимович начинает монтаж в районе, где еще не проложены коммуникации, нет воды, канализации, энергии. Иногда самим приходится доделывать фундаменты. Четкое планирование, согласованная работа всех звеньев строительного конвейера — вот самая острая и злободневная проблема дня. Об этом постоянно думает бригадир Копелев.

Высокий дух социалистического соревнования, инициатива и мастерство по праву вывели Владимира Копелева и его товарищей в первую славную шеренгу тех замечательных советских рабочих, которые сегодня решают судьбу наших созидательных планов.

ЧУДЕСНЫЙ СПЛАВ



натолия Коротенькова я узнал в середине семидесятых годов. Он мне живо напомнил тех героев восстановления нашей южной металлургии: сталеваров, доменщиков сороковых годов, которых я хорошо знал. Взяв у них лучшие традиции русского рабочего класса — самозабвенную, полную отдачу всех своих физических и нравственных сил в труде и то, что можно назвать русским революционным размахом,— Коротеньков, как представитель новой рабочей формации, вносил в свой труд черты, особенно характерные для годов семидесятых. Это были творческий поиск, эксперимент, новое осмысление традиций социалистического соревнования.

Частенько я приезжал в город Электросталь, о котором сохранил яркие впечатленяя с конца сороковых годов, когда впервые познакомился и с заводом «Электросталь», и с другим большим заводом, в войну отпочковавшимся от украинского Ново-Краматорского. Это машиностроительное предприятие, успешно развивающееся и сейчас.

Два завода — это как бы два могучих крыла этого небольшого живописного подмосковного городка — сформировали, если так можно выразиться, и его промышленный характер, и его урбанистическую эстетику. В конце сороковых здесь был рабочий поселок между двумя заводами. Сейчас город Электросталь конфигурацией своих домов и больших кварталов мало чем отличается от московских — являет собою типичный облик города-спутника, каких уже немало вокруг нашей столицы.

Помнится, в те, кажущиеся мне уже давними, времена я ездил в Электросталь на «паровике», на поезде, который тащил паровоз; продолжалось это часа три, сейчас же туда бегает электричка, и за час с небольшим вы попадаете на широкую платформу с перекидным мостом над железнодорожными путями. Спустившись по крутой лестнице с моста, пройдя еще метров сто по привокзальной площади, вы очутитесь перед входными дверьми заводоуправления, парткома, завкома ныне широко известного завода высококачественных сталей.

Здесь, в помещении парткома, я впервые и познакомился с Коротеньковым. Наверно, у меня есть чутье на талантливых рабочих, умеющих сказать свое и важное слово в развитии технологии, в совершенствовании новых форм организации производства. Так было со многими моими друзьями рабочими. Так стало и с Коротеньковым, который шесть лет тому назад стал лауреатом Государственной премии СССР. Именно в семидесятые годы семья лауреатов Государственных премий начала особенно весомо пополняться за счет рабочих-новаторов, вносящих свой ценный вклад в развитие научно-технического прогресса...

...Я видел, как работает Анатолий Романович Коротеньков.

Невысокого роста, коренастый, с глазами живыми и веселыми, он как бы излучал сосредоточенность и энергию, находясь все время в непрерывном движении. То подходил к стенду с многочисленными приборами управления, то

коротким, скупым жестом, без слов давал указания своим подручным, то, опустив на глаза защитные очки, заглядывал через открытую заслонку в печь, то сам брался за лопату и сильными, размашистыми движениями бросал в печь куски доломита, ферромолибдена, алюминия.

Сквозь синее стекло было видно, как мечется пламя над взбудораженной жидкой массой, бурлит и словно бы стонет сам металл, выбрасывая вверх короткие упругие столбики. Два толстых белых стержня электродов, погрузившись в ванну, плавили металл с таким мощным искрением, гулом и излучением света, которые создавали ощущение сопричастия к великолепному, поистине космическому сотворению нового вещества. Это и было рождением нового вещества — жаропрочных, высоколегированных, прецизионных и иных сложных и высококачественных сплавов.

Путь Коротенькова в сталевары лежал через... армию. Уроженец Тюменщины, Анатолий служил в городе, и однажды командир взвода привел своих солдат на экскурсию в сталеплавильный цех. Как раз в этот момент сливали готовую сталь. Ярчайший радужный свет озарил пролет. Густая струя металла слегка вибрирующим столбом лилась из ковша в прямоугольники изложниц. Удивительные краски цеха, ритмы труда заворожили Коротенькова. После трех лет срочной и двух сверхсрочной службы не мог забыть впечатления от экскурсии на завод и, отслужив, пришел на «Электросталь».

Взяли его сначала младшим канавщиком. Вскоре Коротеньков получил седьмой разряд, однако глаза его и сердце всегда были там, где плавился металл.

— Ты на печь не желаешь ли? Все время туда смотришь! — спросил однажды у Коротенькова партгрупорг смены Михаил Семенович Харламов.

— Хочу,— кивнул Коротеньков.

В семидесятом Коротеньков принял шестую электроплавильную печь. Шесть лет он проходил в подручных сталевара — стаж, на «Электростали» считающийся небольшим.

Начал он с элементарной экономии времени на каждой операции. Одна — на пять минут быстрее, другая — на десять. Совместили две операции — чистку печи и наращивание электродов. Выигрыш времени за счет сноровки, организации труда, маленьких рабочих открытий.

Я видел одну такую операцию. Коротеньков выпустил металл, шла разливка, и сталевар готовил печь к новой плавке. Здесь все было рассчитано. Никаких пауз. Подручные сами знают, что им делать. Коротеньков ничего не говорит, только иногда показывает жестами.

На завалку печи полагается двадцать минут. Чем ровнее и компактнее ляжет шихта, тем меньше расход электроэнергии. «Как завалишь, так и сваришь»,— говорят сталевары. И хотя на этот раз пришлось Коротенькову делать лишь небольшую дозавалку, все же управились на десять минут раньше.

По итогам 1973 года, когда Коротеньков и начал эту свою «погоню за временем», его бригада вышла далеко вперед, Коротеньков на своей пятитонной печи дал 244 тонны сверхпланового металла, в то время как у остальных бригад за тот же срок выходило лишь 60—80 тонн.

В ответ на сомнения Анатолий Романович повторял спокойно и уверенно:

— Приходите и смотрите!

И верно: лучше раз увидеть, чем десять раз услышать. Вскоре начальник сталеплавильного отделения Александр Сисев дал распоряжение: направить на печь к Коротенькову представителей всех бригад цеха.

И начались контрольные плавки. Сверялись по секундам операции одна за другой. Пока все не убедились воочию: на своей шестой печи на каждой плавке Коротеньков выигрывает полчаса. За смену уже полтора часа. В итоге за месяц — десятки тонн сверхпланового качественного металла.

Вот, видно, с той поры и стали на заводе сравнительно молодого еще человека Анатолия Романовича Коротенькова называть уважительно — Романыч.

В том же семьдесят третьем его бригада была признана лучшей в стране среди электроплавильщиков. Тогда же Коротеньков призвал своих товарищей начать соревнование под лозунгом: «Вчерашний рекорд — норма сегодня». Первым же Коротеньков показал практический пример: свою рекордную производительность семьдесят третьего года он не только сделал нормой для семьдесят четвертого, но и значительно увеличил ее в следующем году, одновременно добившись и резкого улучшения качества стали.

Началось с экономии времени на рабочих операциях. Вторым этапом для его бригады стало совершенствование технологии.

Накануне XXV съезда КПСС его делегат сталевар Коротеньков приступил к освоению одного сложного сплава.

— Я был не согласен со старой технологией,— сказал он мне.— И мы стали искать способы, чтобы варить эту сталь и быстрее, и дешевле.

«Не согласен с технологией...» Это заявление могло показаться не слишком серьезным, если бы Анатолий Романович был один, а не проводил свой опыт в тесном сотрудничестве с тремя инженерами — мастером Игорем Пивоваровым, начальником сталеплавильного отделения Александром Сисевым, заместителем начальника цеха Константином Федоткиным.

Это творческий союз, которым гордится Анатолий Романович. Здесь и соединение профессий, талантов, и распределение обязанностей. Все, как надо. Рассказывая об этом, Коротеньков попеременно загибал пальцы и делал это с видимым удовольствием:

— Заменить один технологический процесс применением кислорода — это предложил я. Вместо дефицитного никеля использовать его отходы — это Пивоваров. Изменить и удешевить состав лигатуры — это Сисев и Федоткин.

Ведущее звено в этом коллективном эксперименте — сталевар и мастер. Примечательно, что и дружба их началась с просьбы мастера, не совсем обычной.

— Романыч,— как-то сказал Пивоваров еще в первые дни их знакомства,— научи меня работе сталевара.

— Пожалуйста,— ответил Коротеньков,— бери лопату подручного.

Пивоваров взял лопату. Он подваривал футеровку, поправлял откосы печи, делал все, что положено подручному.

С таким мастером Анатолий Романович не побоялся смелого опыта с изменением технологии и возможных осложнений.

Стоял июльский солнечный день. Все раскалилось на заводском дворе. В цехе жара добавляли огонь печей, пламя разливки. Теплый сквозняк не приносил прохлады. Сталевары и летом часто работают в валенках, оберегая ноги от искр, на головах у них — брили, те твердые брезентовые шляпы, которые придают им вид пастухов возле громыхающих печей. Под шляпой еще и вязаные колпаки, а на плечах — брезентовые куртки. Работа горячая в полном смысле этого слова.

В этот день шла опытная плавка. В процессе выяснилось, что температура в ванне выше нормы.

— Романыч, скачай шлак! — крикнул Пивоваров.

Скачали. Температура не уменьшалась.

Мастер распорядился:

— Скачайте еще раз!

Надо видеть, как это делается: при открытой заслонке электропечи, вручную, с помощью березового полена, да так ловко и точно, чтобы не прихватить слой металла. К тому еще выяснилось, что слишком горячий металл повредил подину. Надо было чистить печь и наваривать новый свод.

Эту плавку Коротеньков закончил с чувством тройной усталости, с закравшейся в душу неуверенностью в успехе.

— Будем искать ошибку,— сказал тогда Пивоваров.— Без муки нет и науки. Давай, Романыч, успокаивайся, и начнем все сначала.

Сколько раз так бывало: то ли какой недосмотр или же просто сильно «перегреется» Коротеньков около печи и оттого начнет нервничать, а тут уж обязательно жди какого-либо упущения. Но, словно бы почувствовав это, подойдет мастер. И сразу успокоит. Приборы приборами, а все же многое сталевар определяет по слуху, по гудению печи, по треску электродов. Внимание — это все!

Они давно дружат с Пивоваровым, как говорится, еще и домами. Обмениваются книгами. Любят посидеть вместе у телевизора. И жены дружат. Обе Людмилы. Коротенькова — работница соседнего завода. Пивоварова — инженер электростальской ЦЗЛ. Сын Романыча учится в институте. Тоже станет металлургом.

Когда Пивоваров сказал: «Проведем еще одну опытную плавку», Коротеньков только кивнул в ответ: «Сделаем!» Провели плавку, потом еще одну. Все искали ошибку, как и учил мастер, прежде всего каждый у себя.

Пивоваров и предложил тогда оставлять в печи немного чистого никеля. Попробовали. Наконец-то температура в ванне стала нормальной. Таким образом новая технология обрела реальные права, сократив время плавки с трех часов до двух — на одну треть!

«Это был второй рывок бригады вперед!» — так назвал этот удачный эксперимент Анатолий Романович.

Прошло некоторое время, и новый рекорд стал в бригаде нормой каждого дня. Из месяца в месяц.

...Завод этот — родоначальник качественной металлургии в стране. Он еще и детище Великого Октября. Первую плавку здесь получили через несколько дней после революции — 17 ноября 1917 года. Еще шла мировая война, когда вблизи глухого разъезда Затишье, на седьмой версте Богородской ветви Нижегородской железной дороги, некое «общество на паях» заложило завод, жизнь в который вдохнули революционно настроенные рабочие и инженеры.

В памяти старейших рабочих сохранились живые детали этих неповторимых дней. Утром в день первой плавки в печь грузили необычную шихту — снарядные стаканы, обломки рельсов. С трудом установили заграничные электроды — своих не было — и, не имея опыта, несколько раз ломали их.

Но вот была подана команда:

— Включить рубильник!

Пошел ток, все замерли, считая секунды. Но печь молчала.

Рубильник отключили и полезли в нутро печи, чтобы найти ошибку. Снова тщательно перемешали шихту, убирая большие куски. Но вольтова дуга не вспыхивает. Что делать? Шихту заменили вчистую. Лом выбросили, набили плавильную ванну стальной стружкой. Опять проба — и снова ничего! И только к вечеру, после целого дня мучений и исканий, печь ожила, между электродами витыми краспыми жгутами вспыхнуло пламя.

Разбрызгивая далеко вокруг себя искры, начала работать первая в России электрическая сталеплавильная печь. Эта плавка была самой длинной в истории завода — продолжалась она двадцать четыре часа. А получено было всего полторы тонны металла. Но эти первые полторы тонны стали тогда поистине драгоценнейшим вкладом только что родившегося завода в индустриальный фундамент революции.

С 1917 года завод уже давал металл стране регулярно. А в 1923-м впервые освоил производство нержавеющей стали. В горестные дни всенародной скорби, когда страна прощалась с Ильичем, траурный венок из заводской нержавеющей стали электростальцы привезли на Красную площадь.

В годы еще довоенных пятилеток здесь возникла, по сути дела, практическая школа качественного сталеварения, проводились научные сессии Академии наук. «Элек-

тросталь» стала и великолепной кузницей кадров. Был здесь мастером, инженером, главным инженером один из будущих маршалов нашей индустрии, чье имя ныне носит завод,— И. Ф. Тевосян.

Пришла война. Эвакуированный на недолгое время и уже в феврале сорок второго восстановленный завод работал на победу. Часть рабочих осталась на Урале, мужчины ушли на фронт, а сталеварами, подручными, канавщиками, крановщиками стали женщины, подростки. Не надо подробно описывать их подвиг. Достаточно только сказать, что при тщательной светомаскировке температура в цехах доходила до 70 градусов. Все остальное можно представить.

История завода впитала в себя все шесть десятилетий страны. И не случайно все молодые рабочие, все вновь поступающие на завод вначале знакомятся с заводским Музеем трудовой славы.

Когда в конце 1976 года бригада Коротенькова вместе с бригадой сталевара Владимира Ивановича Корягина выступила со своим почином, который называется «Трудовые рекорды — 60-летию Октября», Анатолий Романович участвовал в разработке плана ежемесячных вахт на заводе. Каждая из двенадцати посвящалась одной из главных вех шестидесятилетней истории нашего государства.

Рабочий опыт, деловая инициатива и соревнование — всегда в развитии, в движении. Вот почему Анатолий Романович нередко ездит и на другие заводы, особенно же часто в Запорожье, на завод «Днепроспецсталь», с коллективом которого электростальцы соревнуются уже... сорок лет! Бывает он и за рубежом, в социалистических странах, делится опытом.

Конечно же Коротеньков не единственный ведущий сталевар на заводе. Четверо электростальцев — А. П. Журавлев, В. И. Корягин, П. И. Абашкин, В. Д. Постников — стали Героями Социалистического Труда. Они получили это звание в разные годы послевоенных пятилеток. Каждая пятилетка имела свои проблемы, поиски и успехи, и все это порождало и неповторимые судьбы и характеры сталеваров, передающих из рук в руки эстафету новаторства.

Анатолий Романович Коротеньков — лауреат Государственной премии СССР, один из славных сыновей большой рабочей семьи.

ВОЛЖСКАЯ КОЛЫБЕЛЬ



юнь — июль 1977 года. Дни советской литературы в Горьковской области. Литературный праздник на горьковской земле был, как мне кажется, особенным. Ведь он проходил на родине великого пролетарского писателя, основоположника советской литературы. На славной русской земле, богатой великолепными революционными и трудовыми традициями, на земле, где в зримых сопоставлениях с событиями и героями книг самого Алексея Максимовича так впечатляющи и выразительны огромные преобразования, происшедшие здесь за шестьдесят послеоктябрьских лет.

Любовь к Горькому, верность его заветам и творческое их развитие, успехи советской литературы, требовательный и взыскательный и вместе с тем доброжелательный и аналитический разговор о развитии современного литературного процесса — вот что, если взять главное, составляло содержание и, я бы сказал еще, многообразие форм, в которых осуществлялись Дни литературы.

Характер встреч писателей и читателей выработался не сразу, он определился на основе опыта и этого, горьковского, и многих других литературных праздников. Я имею в виду сочетание выступлений писателей перед массовыми аудиториями, в больших концертных залах, дворцах культуры и заводских, совхозных и колхозных клубах, с личным знакомством, беседой на рабочем месте, у станка.

«Встречи у станка». Эта форма общения понравилась писателям. И что, на мой взгляд, очень важно — на завод, к станку, к чертежной доске и в научно-исследовательскую лабораторию писатели приходили после интересных встреч с руководителями области и города Горького, партийными и хозяйственными работниками, секретарями городских и районных комитетов партии, директорами заводов и совхозов.

Так возникал столь необходимый, широкий, объемный и крупномасштабный взгляд на движение жизни, на экономическую, социальную, хозяйственную и культурную картину развития городов, заводов, районов.

Так писательское воображение насыщалось знаниями, интересными и важными и в том смысле, что они давали

верные ориентиры в многообразии впечатлений, подробностей и впечатляющих деталей жизни.

Маршруты той писательской бригады, в которой работал я, связали нас сначала с предприятиями Советского района города Горького, затем увезли в совхозы Дальнеконстантиновского района и, наконец, привели в город Павлово.

Естественно, что в Горьком я встречался со своими давними друзьями-сормовичами, о которых в разные годы немало писал, но сейчас мне хочется рассказать о Павлове, раскинувшемся на высоком берегу Оки, откуда открываются поистине необозримые, полные очарования, нежной и задумчивой грусти заокские дали.

Павлову — бывшему селу и ныне городу — было тогда 411 лет. В девяностых годах прошлого века об этом селе написал свои «Павловские очерки» Владимир Галактионович Короленко, друг Горького, живший тогда в Нижнем Новгороде.

Я невольно вспоминал об этих очерках с тем нарастающим интересом, который возбуждает сама возможность реального, зримого и вещного сопоставления былого и нынешнего. Своего рода наглядным памятником былому является и Павловский этнографический музей, рисующий картины жизни и быта знаменитых кустарей — павловских умельцев.

«Нищета здесь повсюду,— писал Короленко.— Но такую нищету за неисходной работой вы увидите, пожалуй, в одном только кустарном селе. Жизнь голодного нищего, протягивающего на улицах руку,— да это рай по сравнению с этой рабочей жизнью».

Убеждающе говорит об этом и музей реалиями своих экспонатов, картин, диорам. Удивительное искусство павловских мастеров, вызывающее интерес и сейчас, вырастало на почве существования тяжелого и угрюмого, ведь средняя продолжительность жизни кустарей достигала лишь тридцати семи лет.

«Когда же над этим хаосом провалившихся крыш и нелепых палат взвилась струйка белого пара и жидкий свисток «фабрики» прорезал воздух, то мне показалось,— писал Короленко,— что я, наконец, схватил общее впечатление картины: здесь как будто умирает что-то, но не хочет умереть, что-то возникает, но не имеет силы возникнуть...»

Я подумал в Павлове, что эти очерки, как и вся бли-

стательная публицистика Горького, является нам, современным писателям-публицистам, образцы художественно-социологического анализа и мастерства в лепке характеров, типов и сценок народной жизни. Реалистическая эта традиция жива и развивается в современной очерковой литературе.

«То, что не имеет силы возникнуть», иными словами — разумная, социально справедливая и счастливая жизнь пришла в Павлово вместе с революцией. Пришла и утвердилась в своих духовно богатых формах.

Конечно, сравнения с прошлым — традиционны, но тем не менее они впечатляют, ибо перемены разительны и особенно рельефны на этой старинной русской земле.

Ныне на крутом откосе стоит город, все более застраивающийся девяти- и двенадцатиэтажными домами-башнями. Из окон этих зданий хорошо видны окские водные просторы, которые бороздят теплоходы и скоростные суда на подводных крыльях — символ техники двадцатого века, пришедший и на водный транспорт.

«Хаос провалившихся крыш» заменила строгая геометрия улиц, по которым скоро собираются пустить троллейбус, лачуги кустарей уступили место нескольким современным заводам; один из них изготовляет медицинское оборудование и хирургический инструмент, другой — павловские автобусы, так называемой малой вместимости, на сорок восемь пассажиров.

И если вспомнить, что Львовский и Курганский автобусные заводы во многом перенимали опыт павловчан и их удобных «пазиков», если учесть, что павловчане поставляют автобусные шасси аж на далекую Кубу, если взглянуть на линии конвейеров, по которым один за другим движутся автобусы к финишу сборки, то воочию почувствуешь: Павлово, бывшее кустарное село, теперь современный очаг индустрии на древней нижегородской — горьковской земле.

И вместе с тем это все же небольшой русский город, утопающий в зелени садов и парков, с очарованием природы среднерусской полосы, с особым укладом жизни.

С одним из потомков павловских кустарей я познакомился у конвейера сборки автобусов. Это и был «разговор у станка» с кадровым обойщиком Борисом Александровичем Щербаковым. Он награжден за девятую пятилетку орденом Трудового Красного Знамени и за успехи в пер-

вом году десятой пятилетки — орденом Октябрьской революции.

Я видел, как он делает сиденья, кроит резиновые коврики, заготовляет обшивку для автобусов — быстро, ловко. И хотя он употребляет некоторые приспособления, но все же труд рабочего содержит пока и немало физических усилий.

— Пока конструкторы думают, как облегчить наш труд, обойщиков,— сказал он мне,— мы помогаем себе сноровкой и старательностью. Все же павловские умельцы! — И улыбнулся при этом мягко, спокойно. Однако же в словах его нельзя было не уловить и серьезного упрека тем, кто медлит с максимальной механизацией всех операций на конвейере.

Поточное производство требует не только энергии и качества, но и умения владеть несколькими специальностями с тем, чтобы в случае нужды подменить товарища. И если бы секретарь парторганизации цеха слесарь Василий Иванович Башмуров и не назвал бы Щербакова «безотказным человеком», я бы и сам увидел это. Да, я почувствовал, что Борис Александрович доподлинно человек долга и чести, не декларируемых на словах, а вошедших в плоть и кровь его каждодневного рабочего бытия.

Не случайно, должно быть, именно его участок, где работают четверо мужчин и семьдесят шесть женщин, первым на заводе получил звание «Участок коммунистического труда».

Мы разговаривали с Борисом Александровичем о житье-бытье. Жизнь есть жизнь, и не всегда в ней все ладится. У Бориса Александровича распалась семья, ушла жена, он остался с сыном-подростком, и живут они вдвоем в небольшом домике на берегу Оки.

Мы говорили с ним о будущем Павлова, которое он очень любит, о развитии завода, о рыбалке на Оке, которой Борис Александрович увлекается, как и большинство павловчан, и я ощутил желание еще раз приехать в этот город.

И еще. Если бы, подобно Короленко, я задал бы себе тогда вопрос, схватил ли я «общее впечатление картины» современного Павлова, то, пожалуй, ответил, что главное впечатление, как мне представляется, выражает себя в гармоничном слиянии красоты природы с красотою труда, душевной щедростью хороших и сильных людей, которые

делают нужные народу вещи, строят город и совершенствуют жизнь.

Несколько слов о большом и серьезном разговоре, который проходил в горьковском Доме архитекторов, красивом особняке, стоящем на верхней набережной Волги, рядом с памятником Чкалову, на верху знаменитого откоса. Думается, что едва ли можно было выбрать лучшее место, которое бы так отвечало самому характеру литературного наследия великого писателя, мыслям о нем как о творце, гражданине, основоположнике литературы социалистического реализма.

Для современного писателя очень важно ни на минуту не терять ощущения жизненности заветов Горького, восприятия его наследия как явления движущегося, изменяющегося. Непреходящая актуальность горьковских традиций — в социальной гражданственности, в патриотизме и интернационализме, зоркости и бдительности к идеологическим противникам.

«С кем вы, мастера культуры?» Этот вопрос Горького, обращенный к деятелям культуры на Западе, не утратил своего актуального значения и звучит ныне как голос высшей социальной совести, как призыв к совместной борьбе за мир на земле, за торжество справедливости и гуманизма.

Горький явился продолжателем традиций Пушкина и Толстого, его любимых писателей, глубоко проникших в нашу национальную сердцевину. Творчество Горького общезначимо, и интерес к нему читателей не ослабевает.

Для советских литераторов Максим Горький — ориентир идейно-философского мышления. Пафос социальной активности, твердой, убежденной веры в человеческие ценности — вот что завещал советским писателям Алексей Максимович.

В те дни всенародного обсуждения новой Конституции СССР с особой силою звучала главная идея творчества Максима Горького: «Все — в человеке, все для человека!» Никогда еще не получала такого наглядного подтверждения мысль Горького о творческом труде как о единственно реальной основе свободы и всестороннего развития личности. И никогда еще не был так ясен глубокий смысл неустанной борьбы Горького против тех, кто отделяет права человека от его обязанностей, кто считает себя не ответчиком перед историей, а только истцом. Вера Горького в великие возможности человека, его требовательная лю-

бовь к человеку, его реальный и воинствующий гуманизм — вот что все больше раскрывается в своем истинном значении.

Обо всем этом говорили в своих выступлениях участники творческого совещания, представители различных литератур, видные исследователи Горького из Москвы, Ленинграда, многих республик страны.

Алексей Максимович Горький любил термин «социалистическая индивидуальность». Он говорил, что наши герои труда являются «цветением рабочей массы», что их социалистические индивидуальности могут развиваться только в условиях коллективного труда. Как хорошо сказано: «цветение рабочей массы»! Наблюдать за этим цветением и должна неустанно наша литература и художественная публицистика.

Как писатель рабочей темы, как публицист я спрашивал себя тогда: устарела ли эта горьковская мысль применительно к реалиям сегодняшней рабочей жизни? Нисколько. Она только приобрела новое наполнение и развитие в многообразии духовной деятельности современных людей труда, динамичных, сильных в своей творческой и общественной активности.

ПАМЯТИ ОДНОГО ДИРЕКТОРА



В шестидесятые, семидесятые годы, более чем двадцать лет, я был тесно связан с коллективом крупного уральского завода, где директором долгое время был известный, уважаемый человек. Я много писал о нем и о заводе, пытаясь создать своего рода летопись производственных свершений, душою которых и вдохновителем всегда был директор.

Но вот в феврале 1977 года завод проводил его в последний путь. Однако смерть не поставила точку в его биографии. Бывает и так, что сильный, инициативный человек как бы продолжает жить и после жизни, имя его остается примером и знаменем, сделанное им служит точкой отсчета для дальнейшего движения вперед.

Так ценные уроки социалистического хозяйствования

становятся своего рода производительной силою, духовным подспорьем для тех, кто продолжает и углубляет сложившиеся на заводе традиции.

1

Гроб с телом покойного директора Трубного завода был установлен на сцене заводского Дворца культуры. Через каждые две-три минуты сменялся почетный караул, который поочередно провожали на сцену разводящие: двое Героев Советского Союза и двое Героев Социалистического Труда, все рабочие с Трубного.

Зал на восемьсот мест и все обширные фойе Дворца культуры, все коридоры и прилегающие к залу комнаты были заполнены людьми. Те, кто уже отстоял в почетном карауле, занимали места в зрительном зале и тихо переговаривались в ожидании траурного митинга, в то время как так же тихо, медленно, в молчании двигался между рядов кресел людской поток, который начинался метров за триста от колоннады главного входа, проникал через широко распахнутые двери и фойе и оттуда двигался к самой сцене.

Около нее движение потока еще более замедлялось, и все проходящие мимо гроба, увитого цветами и муаровыми лентами, могли хорошо видеть бледно-восковое, мало изменившееся лицо, словно бы спокойно спящего Якова Павловича Борового, верхнюю часть его темно-синего пиджака, а около ног подставку с множеством красных подушечек. На одной лежала Золотая Звезда Героя Социалистического Труда, на других — два ордена Ленина, два Трудового Красного Знамени и много медалей.

В небольшой комнате за сценой, где обычно собирался президиум партийно-хозяйственного актива, сейчас тоже было тесно от людей и душно, потому что многие курили, волнуясь, и, не в силах сдержать нервного напряжения, все время двигались из угла в угол комнаты, подходя и молча пожимая друг другу руки. Здесь собралась похоронная комиссия во главе с главным инженером Муромцевым, товарищи из областного и городского комитетов партии, члены партийного комитета, которых обзвонил секретарь парткома Батурин, хотя в этом и не было нужды,— явились все, кто был на ногах, здоров и находился в Нижнеуральске.

И, как обычно бывает в таких случаях, разговор шел

о том, как это случилось и что было с Боровым, ибо не все знали, чем именно страдал директор, хотя о том, что он болел и находился в больнице, было, конечно, известно на заводе.

И Батурин и Муромцев, знавшие больше других, отвечали кому кратко: «сердце», «мотор не выдержал», кому — с большими подробностями и деталями случившегося. И почти все, вздыхая, сходились на том, что Борового всем глубоко и искренне жаль, что смерть его большая и ничем не восполнимая потеря, прежде всего для завода, которому он отдал последние двадцать пять лет своей жизни, и что, несмотря на свои семьдесят два, он был еще полон, казалось бы, неиссякаемых запасов энергии и жизнелюбия...

...Траурный митинг по поручению администрации завода и парткома открыл Батурин. Он вышел на край большой сцены, задрапированной широкими полотнищами темного сукна, и встал у микрофона, укрепленного на высокой стойке чуть правее гроба, и на несколько шагов впереди плотно сбитой, тесной шеренги выстроившихся за спиной Батурина всех тех, кто пожелал сейчас сказать слово прощания, кто хорошо знал покойного.

Список желающих выступить Муромцеву все время приходилось дополнять и дополнять новыми фамилиями, включая представителей многих городских организаций. Боровой был почетным гражданином Нижнеуральска, и широкая его популярность в городе мало чем уступала известности на своем заводе.

Его биография являла собою живую страничку истории нашей индустрии. Сейчас уже трудно найти такую судьбу, где бы так причудливо спрессовались разные эпохи, особенности различных периодов довоенной и послевоенной промышленной жизни. В характере Борового, в стиле, приемах его работы отпластовалось многое из того, что видел, пережил, вынес на своих плечах. Но груз большого опыта не давил мертвой тяжестью, а постоянно окрылялся молодостью обновления, верным чутьем современности.

Муромцев, выступая, вспомнил о вкладе покойного в святое дело Победы. Ведь всю войну он директорствовал на соседнем уральском заводе, который эшелон за эшелоном отправлял на фронт минометные стволы, другое оружие. И случалось, что сам Верховный Главнокомандующий звонил по прямому проводу в кабинет Якова Павловича Борового.

Батурин в своей взволнованной речи назвал покойного «одним из славных маршалов нашей индустрии». И добавил, что считает его «маршалом» не по должности — всего лишь директор завода,— а по заслугам, по весомости его личного вклада и, как он выразился, «по масштабам авторитета в многотысячной армии советских трубников».

Траурные митинги редко продолжаются более получаса, сорока минут. И вовсе не потому, что можно за это время все сказать о человеке, будь он рабочий или директор завода. А потому, что нигде, пожалуй, не бывают столь невыносимы длинноты и бессердечное, казенное пустословие, как в речах около гроба. Тяжко бывает долго находиться в состоянии того крайнего напряжения, которое вызывают минуты последнего прощания. И давит сердце доведенная до спазмов в горле боль истинного горя.

Траурный митинг закончился, и те, кто ближе других стояли на сцене около гроба, подняли его на плечи и вынесли из зала на Приозерную улицу, которая оказалась запружена народом во всю ширину и обозримую длину.

День был холодный. Мело поземкой со стороны озера, мороз обжигал лицо, и ветер шевелил волосы на обнаженных головах, на иных прибавляя легкую изморозь к естественной седине, на других же выбеливая те волосы, где седина еще не появлялась. И поэтому белых голов в траурной процессии казалось больше, чем их было на самом деле.

И Батурин и Муромцев, прожившие в Нижнеуральске более двух десятков лет, никогда не видели здесь таких многолюдных, таких впечатляющих похорон. Весь призаводской жилой массив был сейчас затоплен людскою массою. На улицы вышли не только те, кто жил в этих домах, а это в большинстве своем были рабочие Трубного, Метизного, машиностроительных заводов, городской ТЭЦ, но и те, что на этих заводах не работали, однако знали Борового. Многие приехали сюда из центра Нижнеуральска на трамваях, автобусах и троллейбусах.

Через все это колышущееся людское море и двигалась траурная процессия. Медленно плыл гроб от Дворца культуры до главной проходной Трубного завода. На расстоянии около трех километров его несли на руках. И Батурин, высокий, крупный мужчина, осанка которого и тяжеловатая походка заставляли предполагать в нем немалую физическую силу, и пониже его ростом, но тоже плотно сбитый, начинающий полнеть Муромцев шагали в первой

восьмерке провожающих, попеременно подставляли свои плечи под дубовые грани гроба.

Порою им казалось, что движется не только траурная процессия, а вся улица, залив целиком людскою массою две широкие асфальтовые ленты мостовых, разделенных электрическими столбами и нитками трамвайных путей.

Батурин думал о том, что, пожалуй, нет ничего красноречивее именно стихийности рождения такой многотысячной толпы, по зову сердца собравшейся на траурную процессию. Сюда ведь никто никого не приглашал персонально, не давал указаний, не собирал людей в колонны. Было только траурное объявление в газете да передавали печальное известие по заводскому радио. И все. А колонна людей все течет и течет мимо заводских стен, цеховых корпусов, высоких труб, которые коптят сегодня вроде бы меньше, словно приспустили, как флаги, пушистые шлейфы дыма.

На Трубном время от времени начинали протяжно, надрывно выть сирены. Они заговорили, едва гроб Борового был вынесен из Дворца культуры, а затем, включаясь поочередно, как бы передавали эстафетой эту однообразную мелодию прощания и скорби.

Да, ничего подобного ни Батурин, ни Муромцев здесь не видели! Бывает так, что человек известен и знаменит, а все же именно похороны и открывают подлинную меру известности, степень истинного уважения людей к тому, что человек хотел, что смог сделать в своей жизни.

Когда траурная процессия поравнялась с заводом, на центральной проходной, пропуская колонну машин, раздвинулись железные створки ворот. И там, в глубине заводского пространства, Батурин увидел торец большой каменной краснолицей «коробки», которая тянулась на километр с лишним и в заводском обиходе именовалась «шестым цехом». Здесь производились так называемые большие газовые трубы диаметром в 820, 1020, 1220 миллиметров; последние предназначались для тысячекилометровых газопроводов.

Муромцев тоже поднял голову, которая, казалось, у него с утра была налита свинцом, поймал взгляд Батурина. И ему тогда показалось (так он мне рассказывал потом), что в ту минуту он и Батурин подумали об одном и том же.

Дело было в том, что в последние месяцы нелегкую жизнь Борового омрачала одна неприятная история. Она

была связана с трубами, которые изготовлялись именно в этом, шестом цехе. Досаждала эта неприятность не только покойному директору, но еще в большей степени главному инженеру, отвечающему за качество заводской продукции. И, следовательно, и секретарю парткома, которому до всего дело.

Суть же этих неприятностей заключалась в том, что с некоторых пор на Тюменском Севере во время предварительных испытаний было отмечено несколько случаев разрывов труб. Потом на одном из участков газопровода порвалась труба, уже уложенная в траншею.

И если первая неприятность была отнесена к разряду случайностей, то вторая и третья уже заставили руководителей северной стройки задуматься о качестве поставляемых им с завода газоносных труб с диаметром в 1220 миллиметров. Заварилось, как говорят, целое дело, и неприятная эта история получила огласку...

— Как самочувствие? — спросил Батурин, когда, уступив место у гроба другому товарищу, он очутился рядом с Муромцевым и, растирая прихваченные морозцем щеки, взглянул на сумрачное, посеревшее от переживаний лицо главного инженера.

— Какое может быть самочувствие? Тяжкое, Михаил Иванович,— Муромцев глубоко вздохнул.— Меня смерть Якова Павловича больно ударила. Совершенно ошеломила. До сих пор не могу прийти в себя.

— Ударила многих,— сказал Батурин.— Потеря тяжелая. Боровой был крупной личностью, мы это все еще остро почувствуем со временем. Я так скажу: кто бы ни заменил его в директорском кресле, будет он лучше Борового или хуже, а только такого уже не будет. «Этот», как говорил Гегель. Феномен!

— Да, да. Только лучше-то вряд ли скоро найдется,— Муромцев подхватил мысль Батурина.— У Борового был опыт огромный да еще помноженный на любовь к заводу, а такая любовь тоже талант. Существует пословица: «За семьдесят лет перешел — ум назад пошел». А у Якова Павловича этого не было. Никакого склероза. Ясность ума, твердость воли.

Муромцев говорил быстро, словно бы куда-то торопился. Его как бы знобило. Батурин заметил это, но отнес на счет волнения.

«Переживает сильно»,— подумал он о Муромцеве.

— Какие похороны! А? Поразительно! — вздохнул Ба-

турин.— Наши-то двадцать тысяч рабочих наверняка почти все тут, за исключением тех, кто на смене...

— «Слава — это солнце мертвых». Кажется, Наполеона слова,— заметил Муромцев.— Но наш Яков Павлович и живой узнал тепло его лучей. Ну кто он был такой? В общем-то только лишь директор завода. Пусть крупного. Но ведь в нашем городе таких крупных насчитывается три по меньшей мере, а еще с десяток заводов меньшего масштаба. А кто в городе знает фамилии их директоров? Только те, кому положено. Да и меняются часто. А вот у Борового была прочная, широкая известность не хозяйственника только, нет, а, я бы сказал, как у народного артиста, писателя или политического деятеля. Вот тоже феномен известности. Над этим стоит подумать.

— Подумаем, подумаем, у нас будет еще на все это время, много времени,— вздохнув, ответил Батурин, отмечая еще раз про себя нервозность Муромцева и необычное для него возбуждение, с каким он говорил сейчас о покойном директоре.

— Я наблюдал Якова Павловича в последние недели,— продолжал Муромцев.— Наблюдал и думал иногда, что старость требует порою больше мужества, чем война. Во всяком случае, не меньше. И вместе с тем, если хочешь жить долго, умей стареть.

— В каком смысле? — спросил Батурин.

— Приспосабливаться к возрасту. Уметь ограничить себя. Сказать себе, что жить по законам молодости уже нельзя.

— Да, пожалуй,— согласился Батурин.

— Где-то я читал, что для долголетия надо много условий, но едва ли не главное среди них — это хотеть долго жить. Желания много значат. И в связи с ними — положительные эмоции.

— Боровой жить хотел,— сказал Батурин.— Он не позволял себе уставать от работы, от жизни. И нам завещал это. Так ведь, Игорь Всеволодович?

Муромцев кивнул молча. Не ответил же он, скорее всего, потому, что подошла его очередь становиться в восьмерку, несущую на плечах гроб, вновь ощущать телом, ноющим плечом жесткие складки того последнего деревянного костюма, который сколотили для своего директора плотники из заводского УКСа — управления капитального строительства.

Процессия же тем временем миновала заводоуправле-

ние. Так как до кладбища было еще далеко, а нести все время гроб на руках — утомительно, в голову траурной колонны подали машины, гроб поставили на катафалк. Многие сели в автобусы, в легковые машины. И все же основная многотысячная толпа людей дошла до места последнего успокоения Борового пешком.

Там у открытой могилы состоялся еще один короткий траурный митинг, произнесены последние слова прощания. Батурин и Муромцев и многие другие побросали в могилу куски смерзшейся земли, твердые, льдистые комья. Четверо рабочих опустили гроб на веревках в могилу, застучали лопаты, и вскоре поднялся высокий бугор из темно-желтой земли, присыпанной снежком. На нем грудою легли живые цветы и венки с алыми лентами, а над всем этим возвышался большой, в траурной рамке портрет покойного, который в скором времени должен был сменить мраморный памятник директору Трубного... И все закончилось...

Традиционные поминки, по русскому обычаю, семья Боровых назначала часа на четыре дня. На кладбище к Батурину и Муромцеву подошла вдова Якова Павловича, заплаканная, с покрасневшими от слез глазами и тихо сказала: «А сейчас поедем к нам».

Перед этим последним в тот день и тоже нелегким ритуалом прощания Батурин и Муромцев на полчаса заскочили на завод. Каждый из них зашел в свой кабинет посмотреть срочные, накопившиеся с утра бумаги. А потом Батурин из парткома, который находился на том же этаже здания заводоуправления, только в другом конце длинного коридора, зашел в кабинет главного инженера.

Муромцев, разбиравший бумаги, отложил их в сторону и, бросив задумчивый взгляд на Батурина, спросил, поедут ли они сейчас к Боровым или же есть еще немного времени, чтобы поработать...

— Какая уж сегодня работа. Поедем, потому что подозреваю, они без нас за стол не сядут, а заставлять ждать неудобно,— ответил Батурин.

Муромцев согласился.

— Поедем,— сказал он,— только признаюсь, не очень-то я люблю поминки. Есть товарищи, которые в любой ситуации довольно быстро напиваются, и оживленность в их речах начинает приобретать такой накал, что впору и забыть повод, который собрал людей на печальное застолье.

— Но это ты берешь уже крайние случаи. Обычай поминок, Игорь Всеволодович, не нами придуман и не сегодня, а давно и нашими предками. Придуман для того, чтобы рюмкой водки снять гнетущее напряжение, оттаять немного и с оттаявшей душою по-доброму вспомнить о хорошем, дорогом человеке. Вот мы с тобою список выступающих на панихиде все сокращали, разве все сказали, кому хотелось? А вот дома у Боровых выговорятся многие. Да и родным хочется слышать побольше о том, кто сам уж никогда не услышит, как его любили и уважали. Поминать надо! — с уверенностью закончил свою мысль Батурин.

— Ты знаешь,— произнес потом, после длинной паузы Муромцев,— мне сейчас все вспоминаются стихи Николая Заболоцкого. Хороший был поэт, вот у него такие строчки: «Есть таинство звуков, быть может, нас затем и волнует оно, что каждое сердце предчувствует час, когда оно канет на дно». Боровой, я видел это, очень тосковал в последние две недели. Мне кажется, он предчувствовал этот свой час.

— А я думаю, что он все-таки прошел на тот свет, как говорится, вне очереди. Крепок был еще и духом и телом. Ты правильно сказал мне давеча — очень он хотел жить и работать. Да, да!.. А вот нам с тобою, брат, без него будет трудно. Вот это самое и предчувствует, как выразился твой поэт, предчувствует мое сердце,— заметил Батурин.

— И мое тоже,— сказал Муромцев.

— Но ничего, ничего. Народ у нас крепкий на заводе, традиции прочные, выверенные. Так что наладится дело,— ободряюще сказал Батурин, слегка улыбнулся Муромцеву, застегивая свою дубленку, которую так и не снял, войдя в кабинет главного инженера.

— Поедем,— поторопил Батурин,— мне самому надо еще сегодня поспеть кое-куда.

Когда Батурин и Муромцев уже вышли из кабинета в комнату секретаря, которая уже давно работала с Муромцевым, она, явно взволнованная, подала ему только что полученную из министерства телеграмму. Она извещала, что решением коллегии министерства временно исполнение обязанностей директора завода возлагается на тов. Муромцева И. В. — главного инженера Трубного.

2

Я приехал на Уральский завод как раз в те дни, когда память о похоронах Борового была еще очень свежа, все находились под впечатлением последнего прощания с директором, но вместе с тем производственная жизнь, как обычно напряженная, кипучая, темпированная, заполненная до краев текущими проблемами, продолжалась. И необходимо было, несмотря ни на что, продолжать выполнять свои обязанности, «всю эту упряжку тянуть», как говорили на заводе, но уже без твердой, авторитетной руки Борового и, следовательно, еще с большими, чем раньше, усилиями, с возросшей мерой ответственности.

Относилось все это, главным образом, к руководству завода и к главному инженеру, который заменил директора,— особенно. А проблем, как всегда, было множество — и производственных, и технологических, и снабженческих, ибо имели место и перебои с доставкой металла на завод.

Главный инженер, соединявший в те дни в себе два первых лица на заводе, проводил прежнюю, вдохновленную еще Боровым техническую политику на непрерывное обновление цехов, на технический прогресс. Из года в год продолжалась техническая реконструкция и основных и вспомогательных цехов без какой-либо их остановки, с постоянным наращиванием производственного плана.

Начавшееся еще при жизни директора разбирательство истории с повреждением труб продолжалось. И хотя завод делал в год примерно сто тысяч труб, а порвались какие-нибудь десять — двенадцать, но все равно дело раздули, создали авторитетную комиссию, которая на днях должна была прибыть на завод, а затем свои выводы доложить на коллегии Минчермета.

Главному инженеру в связи с этим предстояло вылететь на Север, в район, где порвалось несколько труб на испытании трубопровода. И перспектива этой поездки, как мне показалось тогда, не особенно радовала Муромцева.

Он сообщил мне, что уже ездил в Москву, где ему, по его выражению, «мыли голову» и, возможно, готовят выговор, что «жизнь — штука полосатая, а сейчас как раз трудная полоса, которую надо пройти». Еще он говорил мне, что уметь не теряться в трудных условиях — качество, необходимое для человека, работающего на заводе, как, впрочем, и хорошее здоровье, способное выносить неизбежные

перегрузки. И тут надо уметь найти главное в своих ошибках и работать над их устранением.

Трудно было со всем этим не согласиться. Это была мудрость, на мой взгляд, порожденная отношением к своей работе, той мерой ответственности, честности и добросовестного исполнения долга, которые были характерны для Муромцева. Он любил завод, не желал променять его ни на науку, ни на преподавательскую деятельность, а это не раз ему предлагалось. Он как-то мне сказал, что хотел бы «тянуть здесь, на заводе, до конца, пока хватит сил». И я не мог сомневаться в искренности этих слов.

И вместе с тем я, давно знавший Муромцева, видел тогда, что он невесел, стал суше, сдержаннее в своих эмоциональных проявлениях, возможно, после пережитого им потрясения и под влиянием той самой «трудной полосы», о которой он мне говорил.

Но ведь характер человека и проявляется особенно отчетливо в такие месяцы, на переломе жизни, на крутых поворотах судьбы.

Общение с Муромцевым именно в те дни представлялось мне интересным. Я сочувствовал главному инженеру и был на его стороне. Но, пожалуй, самым главным для меня было здесь то, что из этих рассказов Игоря Всеволодовича и общения с ним вновь всплывал в моем сознании образ покойного директора Борового, освещенный сиянием невыдуманных подробностей его последних дней.

Еще при жизни Якова Павловича, как это и положено главному инженеру, Муромцеву приходилось не раз замещать директора, когда тот улетал в Москву или за рубеж, уходил в отпуск, а в последние годы и частенько болел. Но тогда Муромцев оставался сидеть в своем кабинете. В кабинете же Борового, который находился на том же этаже, но в отдельном отсеке, с примыкающей к нему большой и красивой приемной и несколькими комнатами для секретарей и помощников,— там словно бы витал дух самого директора, незримо присутствующего здесь всегда, находился ли Яков Павлович в Нижнеуральске или же за тысячи километров от завода.

Муромцеву в те времена и в голову не могла прийти мысль о том, чтобы переселиться, пусть временно, в кабинет того, кого он практически замещал. Но сейчас, хотел этого Муромцев или нет, на малый срок или не малый, не сразу решаются серьезные кадровые вопросы, а перебраться в кабинет Борового ему пришлось.

При этом, он признался мне, Муромцев испытывал чувство душевной стеснительности, какой-то неловкости, смысл которых и объяснить было непросто. Скорее всего, неловкость эта происходила оттого, что за четверть века без малого все в этом кабинете как бы пропиталось духовной эманацией, исходившей от Борового, от силы, энергии и обаяния его личности.

Да, не так-то просто сесть за стол, около которого ты обычно стоял, выслушивая указания директора, или же устраивался рядом в мягком кресле, притронуться к телефонам, которые, казалось, еще хранили тепло ладоней Якова Павловича, подойти к книжным шкафам, где стояли книги технические и художественная литература, отобранные по вкусу и интересам Борового, вообще привыкнуть к тому, что этот кабинет с белыми занавесками на окнах, с мебелью из красного дерева, с красивой и дорогой люстрой, висевшей над традиционным столом для заседаний, что все это теперь — твое!

Сказать, что кабинет Борового был внушителен,— это означало подчеркнуть лишь одну из его характеристик. Он был еще и уютен, а в соединении первого и второго еще, пожалуй, и величествен. Кабинет в какой-то мере отражал лицо завода, его масштабы, значение, о том, чтобы это ощущалось, позаботился еще предшественник Борового. Яков Павлович лишь усилил это звучание внушительности, даже некоторой помпезности. А если и менял что-то, то это касалось содержания книжных шкафов да нескольких дрянных копий Шишкина на стенах, заменив мишек в лесу внушительными фотографиями главных цехов завода.

Вот то, что Боровой действительно изменил, так это комнату отдыха: поставил там хорошую мебель, телевизор, холодильник, оборудовал санузел и душ, которым пользовался главным образом летом, в жару, когда у всех, кто входил в горячие цеха, тело немедленно покрывалось потом, а ток воздуха от летящих по рольгангам трубных заготовок обжигал кожу лица и колол словно бы сотнями мелких иголочек.

С годами у всех нас увеличивается тяга к уровню комфорта. Боровой работал много, нередко вечером оставаясь на заводе до десяти-одиннадцати часов, и эта вторая комната была ему нужна, как и диванчик, где можно было полежать, и телевизор, чтобы послушать новости, и холодильник с боржомом и бутылочкой коньяка для гостей,

если это был доверительный разговор, а не официальная встреча в большом конференц-зале, где директор проводил обычно и общезаводские оперативки для руководящего состава и иные деловые совещания.

Странное дело! Войдя впервые в кабинет Борового уже как временный его хозяин, Муромцев заглянул вначале в комнату отдыха, словно бы надеялся увидеть там Якова Павловича за сервированным для завтрака столиком или полулежащим на диване со свежей газетой в руках.

Муромцев рассказывал мне, что тогда, осторожно закрыв дверь комнаты, он сел вначале не на обжитое мягкое кресло Борового, а на свое привычное место около стола директора, сел, глубоко вздохнул и вспомнил, что он сидел в этом кресле и в то похожее хмурое зимнее утро, когда Боровой вернулся из санатория на завод после своего первого инфаркта. Он вызвал тогда лишь одного Муромцева, запретив секретарю пускать еще кого-либо в кабинет, и с дружеской доверительностью и еще, пожалуй, с непрошедшим ошеломлением и удивлением стал рассказывать о том, как он, считавший себя здоровым и сильным, вдруг допустил такую слабину и, как он выразился, «выдал инфаркт».

«Ты понимаешь,— говорил Боровой,— я ехал из горкома домой в машине, и вдруг какая-то тошнота из живота. Приехал домой и подумал, что это приступ диабета или холецистит, бывает иногда. Но все же сказал жене: вызывай «неотложку»! Приехали быстро. Врач молодой, высокий, в джинсах, на баскетболиста похож, стал вслух думать, что со мною.

— У вас диабет,— спрашивает,— сахар есть?

— Есть немного,— отвечаю.

— Хорошо, а все-таки давайте сделаем кардиограмму.

Сделали. И тут они заметались. Через час я был уже в реанимации. Там пробыл сутки, потом перевели в нормальную палату. Понимаешь, самый настоящий инфаркт, но безболевой. И такие, оказывается, бывают. И вот, дорогой Игорь Всеволодович, уже будучи с инфарктом, выкурил дома последнюю в своей жизни сигарету. С тех пор ни-ни! А как я курил, ты знаешь!»

Муромцев слушал тогда директора с тем смешанным чувством сострадания и удивления, с каким обычно здоровые люди смотрят на тех, кто перенес инфаркт. Вместе с тем Муромцев и у Якова Павловича замечал на лице ра-

дость вкупе с не окрепшей, видно, еще уверенностью в своем теле, замечал и не прошедший еще окончательно испуг, который так внезапно и сильно потряс Борового во время болезни.

Может быть, директор и прочел эти мысли в глазах Муромцева, потому что произнес с коротким вздохом:

— Да, брат, хожу как по тонкому льду. Но ничего, бог милостив, надеюсь, все наладится,— добавил он.

И в общем-то все как-то наладилось. Яков Павлович проработал еще год, хотя уже с меньшим напряжением, в кабинете старался по вечерам не задерживаться, соблюдал установленный врачами режим отдыха и сна. Ощущение тонкого льда под ногами диктует свои нормы поведения.

Что еще вспоминалось Муромцеву в эти первые часы пребывания в кабинете Борового? Сложность их отношений. Они были людьми с разным багажом жизненного опыта, а следовательно, и с разными привычками, порою с разными «взглядами на вещи», на людей, на методы руководства.

Боровой умел выбирать людей, ценить в них деловые качества. Любил и смело выдвигал способных, добросовестных. Однако действовал по принципу, что два медведя в одной берлоге не живут, все, как говорят, «подгребал под себя», старался всегда держаться в фокусе общественного внимания, оставляя своих ближайших помощников в тени.

Все инициативы, кем бы они ни выдвигались вначале, если Боровой их принимал, то и делал своими, начинал энергично продвигать со всей энергией и мощью, а делать это он умел. И если он вначале и возражал против какой-либо идеи модернизации или реконструкции, то потом очень легко забывал об этих возражениях. Добившись же успеха, всегда значился в списке первых, удостоенных наград или премий.

Но, чтобы быть объективным, Муромцев должен был признать, что у Борового было то, что можно назвать государственным чутьем и предвидением будущего, здесь он умел быть масштабным в своих технических прозрениях. Так, он сделал ставку на завод-гигант, хотя его и упрекали в гигантомании, в прожектерстве. И оказался прав, ибо верно уловил потребность в развороте трубной индустрии, в строительстве тысячекилометровых газо- и нефтепроводов. Так, словно бы предвидел, что на Тюменском Севере,

в Западной Сибири откроют вскоре запасы подземных ископаемых.

Предвидеть — это ведь и означает уметь руководить. Верно предвидеть — значит оказаться мудрым и счастливым.

Но удача сама по себе не исправляет характера. И Муромцев подумал тогда о том, что в последние годы в его взаимоотношениях с Боровым создалось то дополнительное психологическое напряжение, которое было связано с тем, что директор старел. Как-никак Боровому шел семьдесят третий год, и перспектива того, что он заболеет и вынужден будет уйти в отставку, все явственнее вставала перед ним.

Муромцев пробовал порою порассуждать за директора, пытался представить себе ход его мыслей. Вот заболеет директор, а завод будет по-прежнему хорошо работать, так не подумает ли тогда начальство, что дело тут не только в заслугах Борового, а еще и в усилиях других, и первым делом главного инженера? Да, подумать так могут. И это было бы справедливо.

А хуже завод работать не станет, если даже и директор будет долго болеть. Боровой это понимал, потому что это самое «хорошо», применительно к такому большому предприятию, не возникает и не исчезает сразу, а есть результат многолетних усилий многотысячного коллектива, продуманности действий, хорошо усвоенных традиций.

Хотел ли Боровой, чтобы завод без него работал так же хорошо или нет? Ну конечно хотел. И вместе с тем не хотел, чтобы кто-то мог умалить его роль и сказать: «Вот посмотрите, и без директора все идет нормально, и незаменимых людей у нас нет».

Думать об этом Боровому, наверно, было неприятно, может быть, и больно, если допустить, что жила в его душе (а Муромцев в это верил) еще и подспудная зависть стареющего человека к тому, кто моложе на двадцать лет.

Люди, которые моложе на двадцать лет, они-то и будут оценивать наследие, оставленное Боровым, а кто может с полной уверенностью поручиться за суд потомков?

Конечно, впрямую Боровой ничего подобного не говорил ни Муромцеву, ни кому иному. Но ведь есть вещи, о которых вслух не говорят, о них догадываются. И Муромцеву казалось, что мысли эти прочитывались порою во взгляде,

в жесте, в случайно вырвавшемся слове, в иных поступках Борового.

Муромцев всегда, особенно же в последний год совместной работы с директором, много энергии отдавал заводу, чтобы восполнить убывающую энергию Борового, у которого слабела память, он многое начинал забывать и, замечая это за собою, злился на себя и переживал.

Иногда он злился и на Муромцева без причины, и в этом сказывалась старческая раздражительность. Но как бы Боровой ни сердился на своего главного инженера, он не отменял ни одного распоряжения Муромцева, хотя имел на это право. Муромцев ценил такое доверие, выраженное в той поддержке авторитета главного инженера, которая особенно ценна на производстве, где формула на приказах: «Главный инженер решил» — обязательна для неукоснительного выполнения.

3

Приехав зимой 1977 года на завод, я частенько заходил в бывший кабинет Борового, иногда молча сидел где-нибудь в уголке, слушал деловые разговоры, стараясь представить себе, как будут теперь развиваться дела на Трубном.

Как-то встретился здесь с Батуриным, который зашел к Муромцеву и, обращаясь одновременно и ко мне, заметил:

— Нелегкая нам досталась доля — и такого человека, как Боровой, похоронить, и традиции его не уронить.

— Сохранение традиций, Михаил Иванович,— ответил ему Муромцев,— это почти всегда их дальнейшее развитие. Ибо то, что застыло, это уже, скорее, лишь бронза памяти о делах былых. И только.

— Да, это так. Мы должны продолжать линию Борового на реконструкцию, на высокие мировые стандарты автоматизации производства, качества труб,— заметил Батурин.— Боровой был постоянно озабочен этим. И поддерживать высокий уровень заботы о людях, о рабочих, об их росте, производственном, духовном. Вспомни, как Боровой упрочивал связи коллектива с местным театром, с людьми искусства, даже на оперативках спрашивал начальников цехов, как люди посещают театр, интересуются ли живописью?

— У нас и договор был с театром на содружество,— вспомнил Муромцев.

— Надо его возобновить,— подхватил Батурин,— но наряду с этим продолжить мудрую линию директора на развитие подсобного хозяйства. Чтобы, как и при нем, в наших заводских домах отдыха для рабочих, инженеров всего было вдоволь, чтобы ширились наши парники, наш цех цветов. Директор не искал, как иногда говорят, «путь к сердцу рабочего через его желудок», но не забывал о том, что и такая забота создает рабочему хорошее настроение, а следовательно, поднимает и производительность.

— Наш бассейн заводской лучший в городе, там и большие соревнования проходят,— вставил Муромцев.

— Город хотел отобрать его у нас, а Боровой не дал, умел постоять за свой коллектив, это тоже входит в традицию,— сказал Батурин.

— Ну что мы с тобою напоминаем друг другу то, что сами хорошо знаем? Смешно! — пожал плечами Муромцев.

— Да нет, не смешно,— возразил Батурин,— потому что тебе, пока исполняешь обязанности директора, в общем-то будет несложно продолжать линию Якова Павловича, ты его выдвиженец и соратник. А может со временем прийти новый человек в этот кабинет, и наш долг с тобою будет в том, чтобы добрые традиции Борового в любых условиях отстоять.

— Ну, это само собою,— сказал Муромцев и при этом почему-то глубоко вздохнул.

Мне же почудилось, что в эту минуту интуитивно, подспудно, как говорится, кожей почувствовал Муромцев в интонации Батурина предчувствие того, что он, Муромцев, директором может и не стать, а придется им всем привыкать, притираться к новому человеку.

Вскоре Батурин ушел, а мы с Муромцевым вновь разговорились о последних днях Якова Павловича, которые так впечатлили Игоря Всеволодовича.

...Боровой лежал в палате один, да, собственно, это была и не палата в обычном смысле слова, то, что именуется лечебным боксом, со своей передней, откуда открывались двери в туалет и в ванную комнату, а одна вела в палату, где стояла одна койка, вторую вынесли, чтобы создать все удобства почетному гражданину города.

Лежал он в больнице уже почти два месяца после второго инфаркта и поправлялся, рассчитывая вскоре поехать в санаторий, а затем и выйти на работу.

Удивляло ли самого Якова Павловича его активное, деловое долголетие, желание и после семидесяти директорствовать на заводе? Он об этом никогда не заговаривал, но зато всегда и во всем старался показать, что он постоянно бодр, энергичен и увлечен работой. Других же это, может быть, и удивляло, иных раздражало, однако ж как можно было предложить такому человеку пенсию, если он ежедневно приезжает в свой кабинет и завод уверенно шагает в шеренге передовиков.

Правда, случались и огорчения и осложнения в производственной текучке, а где их не бывает? Непрерывное обновление, диктуемое жизнью, разве по природе своей не есть род коллективного творчества, а там, где оно существует, неизбежны и творческие муки, возможны срывы, временные неудачи.

Муромцев, бывая у директора в больнице, старался обходить «болевые точки» в сумме той информации, которую он два раза в неделю собирал для доклада директору вечером, в палате, вопреки запрещению врачей, но подчиняясь требованию Борового. Зная характер Якова Павловича, Муромцев не удивлялся его стремлению постоянно держать свою руку на пульсе завода, пытаться руководить им даже из больницы.

Правда, кроме Муромцева и своей жены, Боровой не принимал у себя в палате никого.

Когда в один из вечеров Муромцев вошел в палату, Яков Павлович, поужинав, читал газету, но тут же отложил ее в сторону, протягивая тяжелую ладонь гостю. Он снял очки в роговой оправе, которыми пользовался давно, и теперь глаза его близоруко щурились и от этого казались меньше. Широкое лицо Борового грубоватой крестьянской лепки с резко очерченным подбородком и большим лбом, обрамленным залысинами, чаще всего выражало спокойствие и волю.

Однако Муромцев в застывшей мраморности с годами тяжелеющих скул, в полуусмешке, блуждающей по губам, в быстром, живом взгляде Борового ощущал нечто не сразу поддающееся расшифровке, некую опасную зыбкость настроения директора. Точно определить это настроение не всегда удавалось.

Годы и болезнь не красят. Они накладывают свой отпечаток на лица, редко меняется лишь выражение глаз и почти не меняется голос. А он у Борового был по-прежнему молодой, не осевший с годами и не осипший, а сохранив-

ший напористость и живость интонации в той же мере, в какой глаза сохранили горячий блеск и солнечную веселость, которая как признак жизнелюбия всегда отличала Якова Павловича.

Все это Боровой, как казалось Муромцеву, старался не расплескать в себе и в больнице, сохранить свой образ, свой человеческий стереотип, к которому привык сам и привыкли все, кто с ним общался. Это не могло даваться легко. Муромцев невольно испытывал уважение к духовной стойкости больного и старого директора.

— Присаживайтесь, Игорь Всеволодович,— Боровой показал рукой на стул рядом с кроватью.— Вставать мне еще не разрешают, но посадили уже. Точнее, два-три раза в день сажусь в кровати.

— Это уже хорошо,—улыбнулся Муромцев.

— Куда как хорошо! Снова, как в детстве, учись сидеть, потом ходить. Эх, мама!— Боровой покачал головой.— Видно, верно, что в человеческой жизни события повторяются дважды, сначала как радость вступления в мир, потом как горе расставания с ним.

— До расставания далеко еще всем нам,— заметил Муромцев, однако ж и сам почувствовал ложную нотку в своем подбадривающем тоне да еще и в том, что вряд ли так уж правомерно объединять ему себя и Борового, отбросив разделяющую их разницу в двадцать с лишним лет.

Боровой не возразил, только на тонких и почему-то потрескавшихся его губах, с которых он все время как бы слизывал запекшуюся корочку, появилась знакомая полуусмешка.

— Никому неведом его день и час. И в этом наше человеческое счастье. Но говорить об этом не стоит, давай о заводе,— приказал Боровой, покрутился спиной на большой подушке, однако ж сесть на кровати в присутствии Муромцева не решился.

— Слушаюсь,— по-военному отчеканил Муромцев. Он хотел показать, что ему приятно сейчас выполнять распоряжения директора.

— Сводку принес?— спросил Боровой.

Как у себя в кабинете, так и здесь, в больнице, Боровой начинал с того, что смотрел сводку, где были обозначены главные параметры работы завода: выполнение плана, отгрузка труб, снабжение металлом,— потом все остальное.

— Как в первом цехе? — спросил Боровой.

Номера цехов остались в обиходе заводчан еще с времен войны, к ним привыкли, и проще было назвать номер, чем произнести, скажем, трубоэлектросварочный, или цех Манессмана. Первым и был старый манессмановский цех, где шла реконструкция, затрудняя ритмичную работу, а тут еще случились неполадки со станами, возникла угроза месячному плану. Муромцев сам провел несколько смен в Манессмане, сам просчитал калибровку валков, проследил за переналадкой станов.

— План в первом цехе будет,— кратко ответил он, опуская подробности, и Боровой удовлетворенно кивнул. Потом спросил, нет ли рекламаций на трубы, как работает мартеновский цех, тоже «военного призыва», старый, давно тоскующий по реконструкции, спросил о «зеленом цехе» — подсобном хозяйстве, своем любимом детище, умышленно, как показалось Муромцеву, обойдя вопрос о северных неприятностях, и посмотрел принесенные Муромцевым бумаги, некоторые подписал.

Муромцев заметил, что Яков Павлович устал, лоб у него увлажнился, взгляд стал более рассеянным.

— Хватит на сегодня,— сказал Муромцев и спрятал в папку все деловые бумаги.

Как обычно, еще минут десять они поговорили о том о сем, о разных житейских новостях. Яков Павлович дал Муромцеву ряд поручений: кому-то позвонить в городе и в Москву, о чем-то узнать, кому-то помочь. Случалось, что иные товарищи письмами, записками ли все же добирались к депутату Верховного Совета республики даже в больницу.

Слушая Борового, Муромцев начал осторожно посматривать на часы. Обычно проходил час, и в палату заходила сестра, вежливо, но твердо прося посетителя удалиться.

Но в тот вечер Боровой все не отпускал его. После долгой паузы, когда он лежал закрыв глаза, открыв их, пристально взглянул на своего главного инженера и спросил, боится ли Муромцев смерти.

Вопрос был неожидан, таил в себе подспудную тревогу, которая передалась Муромцеву легким нервным ознобом, и Муромцев ответил поспешно:

— Ну, как все, в общем-то.

— А я вот смерти не боюсь,— произнес Боровой и вновь словно бы слизнул какую-то невидимую корочку со своих губ.

— Вы не мнительны?— спросил Муромцев, ощущая случайность, если не глуповатость своего вопроса.

— Нет, совершенно. Знаю, что каждый день могу умереть, и спокойно отношусь к этому.

— Да, это большое счастье,— непроизвольно вырвалось у Муромцева, и снова, в который раз, он ощутил, что произнес слова невпопад, ибо говорить о каком-либо счастье здесь, в больничной палате, было малоуместно.

— Ну, не знаю, счастье или что иное, а вот так! Не надо бояться ничего! Я ведь из бедной крестьянской семьи и, представьте себе, всегда боялся нищей старости,— сказал Боровой,— от бедности, что ли, в детстве, всосал с молоком матери, как говорят, в общем, понемножку деньги копил, вещи. Но вот и старость прошла, а все осталось...

Он так и произнес: не пришла, а прошла, и это поразило Муромцева.

— Да, все осталось, и всего полно, нет только здоровья. Вот что надо было копить — здоровье, а с другой стороны, нельзя же всю жизнь бороться за жизнь! Я тебе так скажу: не хочу сдавать никаких позиций. Не хочу признаваться ни в каких болезнях. Женщин любил. Я на них, хотя и старик, и сейчас спокойно не могу смотреть, видно, уж это до самой смерти. В общем, если хочешь знать, главное для нас с тобою,— продолжал Боровой,— это до последнего вздоха стараться жить на полную катушку, но и, конечно, добросовестно делать свое дело.

— Наверно, так,— вздохнул Муромцев.

— Так-то так, но выполнить нелегко эту задачу. Большая нужна работа души, упорная. Я стараюсь.

— И заметно, заметно,— подхватил Муромцев,— вы выглядите молодцом, скоро в санаторий, а там и на работу, на заводе все о вас соскучились.

— Ну, ладно, твоими бы устами да мед пить, спасибо за дружбу,— сказал Боровой и слегка пошевелился на своей подушке.

Муромцев воспринял это как знак того, что ему надо уходить и следует только, как обычно, договориться о дате следующего посещения. Он подошел к кровати, пожал руку Борового. Болезнь не ослабила мускулов, и рукопожатие у Якова Павловича оказалось прочным, жестковатым.

В дверях Муромцев уловил взгляд Борового, брошенный ему вдогонку, как бы скользящий по предметам, но все замечающий, все в себя впитывающий, острый взгляд человека, которому все интересно.

«Поправляется, раз так остро смотрит,— подумал Муромцев,— набирает жизненные силы».

Нет, не мог он тогда подумать, не могло ему прийти в голову, что это было их последнее свидание. Умер Боровой в ту же ночь, тихо, без болей и страданий, даже не успев звонком вызвать прикрепленную к нему сиделку. Поэтому и смерть его была обнаружена не сразу.

...А потом был утренний звонок, в шесть часов, так рано обычно звонят только дежурные диспетчера, когда на заводе возникает такая аварийная ситуация, которую разрешить может только главный инженер. И странное дело, обычно Муромцев поднимается без четверти семь, но в то утро он сам проснулся минут за десять до рокового звонка, словно бы кто-то сильно толкнул его во сне, и Муромцев открыл глаза с томящей тяжестью на сердце...

...Прошло пять лет. Как и прежде, я часто приезжаю на завод, слежу за судьбами многих моих старых друзей заводчан. По-прежнему все, что происходит на заводе, мне близко и интересно.

На Трубном появился новый директор — Климов. Много лет он был начальником одного из цехов, а лет двадцать пять тому назад, когда Муромцев начинал здесь мастером, мастером был и Климов, избранный потом секретарем комсомольской организации. Муромцев был у него заместителем. Оба они в прямом смысле слова — воспитанники завода.

И, думается мне, эта многолетняя совместная их работа побудит Климова продолжать начатую при Боровом реконструкцию цехов, развивать оставленные им в наследство традиции.

Все дальше на Север мы идем за нефтью и газом, ведем разведку далеко за Полярным кругом, забираемся во все более отдаленные места, все глубже проникаем в землю, буря глубокие и сверхглубокие скважины. А это значит, что стране необходимо все больше труб — обсадных для бурения, транспортных для нефте- и газопроводов, которые все удлиняются и удлиняются. Трубы, трубы и еще раз трубы требует ныне наша социалистическая индустрия.

Приумножается на заводе и забота Борового о подсобном хозяйстве; оно расширяется, строятся новые дома отдыха для рабочих, цеховые коллективные дачи на озерах,

которых так много вокруг города, работает уютный, благоустроенный профилакторий в самом городе, похожий на санаторий где-нибудь на берегу Черного моря. Это тоже своеобразный памятник покойному директору.

Главным инженером продолжает работать и Муромцев. Работает много, как и во времена Борового, только несколько изменил распорядок дня — встает в шесть тридцать утра и идет к заводу... пешком. От центра города, где живет Муромцев, до завода — восемь километров. В любую погоду, в мороз, в метель, в дождь, в слякоть Муромцев выхаживает утром свои десять тысяч шагов. Это его зарядка. Приходит к восьми — принимает рапорт начальника производства, главного диспетчера о том, как сработал завод за прошедшие сутки, что произошло за ночь.

Принимать такой рапорт главному инженеру необязательно, но Муромцев хочет быть в курсе всех дел и, как он говорит, «не выпускать из рук пульс завода». В этом тоже школа Борового. Потом главный инженер идет в цеха, в отделы, часам к одиннадцати возвращается к себе в кабинет, завтракает, потом в двенадцать — ежедневное совещание у директора. Во второй половине дня сам Муромцев проводит какое-нибудь совещание у себя, у него в подчинении все службы завода, все технические звенья большого хозяйства, все отделы заводоуправления.

Потом разбирает почту, пишет деловые письма, домой возвращается около семи часов, и тогда отдых и обед домашний. Вечером или читает, или работает над статьей в технический журнал, или идет в театр, в кино.

Боровой был дружен с местным театром, идея содружества людей труда и искусства не ушла в песок, не заглохла, а живет, обретая устойчивость доброй традиции.

И все же самой важной гранью памяти о директоре Боровом является то, что завод продолжает высоко держать свою честь передового предприятия, работает устойчиво, ритмично и каждый год получает переходящее знамя министерства.

Каждая личность неповторима. Но то доброе, важное и ценное, что оставляет человек людям, живет не только в памяти, но и в поступках людских, в развитии верно угаданных тенденций технического прогресса, живет в пафосе увлеченности тем вечным делом, которым дышит завод и которому отдал столько сил директор Яков Павлович Боровой.



онец семидесятых годов для меня был связан с подступами к новой теме преобразования современной Сибири. Начиная с 1975 года я много раз летал на север Тюменской области, забирался далеко за Полярный круг, где шли и идут сейчас разведочные работы на нефть и газ, побывал на промыслах Тюменского Приобья.

Мои тетради в эти годы заполнились записями о встречах с интереснейшими людьми, теми, кто поднимал эту нефтяную целину, рабочими новой нравственной формации, особой сибирской чеканки. Я влюбился в них, многое в этих современных героях и удивляло, и поражало, и восхищало меня.

В этих поездках я с особой отчетливостью понял, что нельзя ныне хорошо писать о современности без умения увидеть и оценить качественно новые явления, качественно новые подходы к материалу действительности.

В конце января 1978 года в Тюмени проходила Всесоюзная творческая конференция писателей и критиков на тему: «Герои великих строек нашего времени и советская литература». В конференции принимали участие известные литераторы, приехавшие из Москвы, Ленинграда, союзных республик, из разных районов Российской Федерации, передовики производства, партийные работники, ученые, руководители предприятий и строек.

«Великой стройкой нашего времени» был назван Тюменский комплекс в решениях декабрьского (1977 г.) Пленума ЦК КПСС. В его документах отмечалось, что в ближайшие десять лет решающая роль в обеспечении страны топливом и энергией сохранится за нефтью и газом и, как было подчеркнуто, нефтью и газом тюменскими.

Серьезный и важный разговор на конференции о жизни, о литературе заставлял задуматься о многом, по-новому взглянуть на типические реалии жизни. Природе современного индустриального производства всегда был присущ характер коллективных деяний. В Тюменском крае одной мудрой голове нельзя было бы найти сотни вариантов решений, преодолеть сложные комплексные проблемы. Сражение за нефть в Тюмени — это доподлинно трудовая битва масс, и здесь лежит важная публицистическая концеп-

ция, которую еще слабо осваивает наша документальная литература.

У меня есть свой подход к этой концепции и свой литературный опыт, берущий начало на заводах Южного Урала, на хорошо мне известном Трубопрокатном заводе.

Труба — это не бинокль, но все же, когда я шел на Север маршрутами этих труб, маршрутами освоения края, когда я знакомился с тюменцами, то неизбежно вспоминал и уральцев, создавалась перспектива, обострялось видение существа массового трудового подвига. Ибо кроме цепочки технологической существует и животворяще пульсирует еще и эстафета труда, поисков, инициативы. Увидеть эту эстафету, почувствовать взаимовлияние починов, взаимообогащение личностей — это уже прямая обязанность литературы вообще и особенно литературы художественно-публицистической. Ведь именно художественная публицистика призвана не только запечатлевать время, но и стать на боевую литературную вахту, вместе с героями труда быть на марше наших пятилеток.

Тогда в Тюмени все мы, участники совещания, много размышляли над проблемами изображения в литературе личности современного героя.

Ничто так не возвышает личность, как активная жизненная позиция, сознательное отношение к общественному долгу, когда единство слова и дела становится повседневной нормой поведения. Выработать такую позицию — задача нравственного воспитания.

Об этом отчетливо говорилось в партийных документах тех лет.

Я слушал выступления писателей на совещании, и перед моим мысленным взором вставала прекрасная галерея лиц, невыдуманных судеб, славных деяний.

Если говорить о нефтяниках, то это цепочка — от буровых мастеров, осваивающих сразу же после войны промысла Кубани и «Второго Баку», и до героев Самотлора, Нефтеюганска, Уренгоя и Харасавэя, с которыми я познакомился во второй половине семидесятых годов.

Вне этой преемственности, благотворной и эффективной, я уверен, трудно раскрыть секрет так называемого «тюменского феномена», созданного трудом и творчеством преобразователей края. Выступая на конференции, я говорил еще и о том, что как читатель давно ощущаю острую потребность в том, чтобы масштабность изображения людей и событий в литературе подтягивалась бы к масштабности

самой жизни, к грандиозности ее исторических свершений. Все мы хотим видеть в литературе яркие очерки нравов и характеров по-настоящему интересных людей, крупные личности.

Масштабность — это, конечно, не количество авторских листов, или количество охваченного материала, или должностное положение героя. Большая должность в жизни далеко не всегда гарантирует крупный характер в очерковой литературе. Масштабность — это прежде всего острота публицистического зрения, качество обобщений и глубина типизации через реальные, невыдуманные события и факты, характеры и судьбы людей.

В Тюмени особенно остро понимаешь, что там, где очеркисту не хватает знания жизни, «подробностей текущей жизни», как любил говорить Достоевский, проникновения в проблемы, характеры,— там в ход идет выспреннее пустословие, вычурность стиля.

Великое наступление на нефтяной север преломилось уже в тысячах тысяч судеб. Как справедливо заметил кто-то: пройдут десятилетия, и впечатления участников тюменской эпопеи обретут для поколений тот же гражданственный смысл, что и воспоминания участников Великой Отечественной войны сегодня.

Так надо ли ждать, когда участники нефтяной битвы выйдут на пенсию или же вообще сойдут с арены жизни?— спрашивали тогда в Тюмени многие писатели. Не лучше ли уже сейчас собирать, фиксировать, учитывать документальные, литературные материалы, воспоминания участников тюменских и других великих строек наших дней, подобно тому как это делалось во времена Горького и первых пятилеток в так называемых «кабинетах мемуаров»?

Я вспоминаю холодный январь, градусник на улице показывал минут тридцать пять, а в гостинице «Турист», где работала конференция, было тепло, уютно, и никто не скучал за эти два дня пленарных заседаний и потом, когда состоялись многочисленные встречи литераторов — «встречи у станка», с геологами, нефтяниками, строителями магистральных трубопроводов.

Я вынес после нашей конференции ощущение того, что очерк, посвященный сегодняшнему дню Сибири, в целом, безусловно, стремился стать все более объемным зеркалом жизни, когда соединяет злободневность и актуальность проблем с глубиной постижения социалистической нови. Конечно же это не легкая задача. Но отрадно сознавать,

что ныне «ветер века» все сильнее, мощнее и требовательнее дует в широкие паруса современной художественной публицистики...

НА КРАЮ ЗЕМЛИ



начну с этой крайней северной точки на карте геологических поисков на нефть и газ, с полоски земли на суровом полуострове Ямал, с рабочего поселка вокруг нескольких буровых, который носит свистящее, похожее на крик каюра, гонящего оленей по тундре, имя — Харасавэй!

Харасавэй — этот участок шельфа Ледовитого океана — стал известен в семидесятые годы, когда здесь началось разведочное бурение на нефть, когда сюда прибыли первые буровые бригады — пионеры освоения Тюменского Заполярья.

Вскоре имя Харасавэя стало появляться на страницах журнальных и газетных очерков, зазвучало на радио и в телевизионных передачах. На Харасавэй по зимникам пролегли автомобильные трассы, сюда стали летать самолеты, и ледоколы, ведя за собою караваны транспортных судов через льды Карского моря, прокладывают новые свои маршруты к западному берегу Ямала, в район новых поселений разведчиков недр.

На Харасавэе удалось побывать и мне в середине семидесятых годов.

Известно, что Север притягивает молодых, это относится и к писателям. Север особенно привлекателен для тех, кто может здесь не только наблюдать и размышлять, но и взять материал жизни, так сказать, изнутри, ощутить его своими руками, выстрадать опытом. Вот почему здесь вошел в моду метод изучения жизненного материала, который известен под названием «Журналист меняет профессию». Нелегок этот метод, не всем доступен, однако все больше появляется молодых писателей, у которых достает решимости для того, чтобы самим пожить и поработать на Севере всерьез, избрав для себя рабочую точку — непосредственно ли на буровой, в разведочной партии, на трассе нефтепровода или новой железной дороги.

Среди таких писателей оказался и Юрий Калещук, который целый год проработал помощником бурильщика на одной из разведочных скважин Харасавэйской площади и описал затем все пережитое им и перечувствованное в документальной повести «Харасавэй». Он рассказал о товарищах, которые работали рядом с ним, стремясь рельефно показать и своеобразие труда в этих суровых условиях, и природу, и особую притягательность для молодых далекого Заполярья.

Я вспоминаю об этой повести потому, что ее автору удалось, на мой взгляд, схватить черты типические того упорства, воли к исполнению своего решения во что бы то ни стало найти нефть и газ в этих, казалось бы, забытых богом и людьми местах, черт недюжинного, особого сибирского характера, без которого в этих местах просто нельзя жить и работать.

О своих героях, которым ничто человеческое не чуждо, хорошо сказал сам автор: «Что умеют они, эти люди? Наверно, все: плотничать и кашеварить, водить машины любых марок и дубить шкуры, слесарничать и шить, ковать железо и тачать сапоги... они легки на подъем и тяжелы на руку, увлеченно говорят о деньгах и шутя расстаются с ними, они независимы в суждениях и самостоятельны в поступках, обидчивы и самолюбивы. Их понятия о правах вытеснены на периферию сознания добровольно взятыми обязательствами, но свою работу, которую может выполнить далеко не любой человек, свой долг они несут просто и без жертвенности: «Потому что я это могу. Умею». Они тоскуют и любят, молчат и весело смеются, они фантазеры и реалисты, свою жизнь они выбрали по себе, в иной жизни, пожалуй, им было бы неуютно и тесно...»

Хочется добавить, что черты эти не прирожденные, а благоприобретенные, ибо те рабочие, о которых писал Ю. Калещук, и те рабочие, которых увидел на Харасавзе я, приехали сюда из разных уголков страны, и истинных сибиряков среди них не так уж много.

...Буровая вахта на Харасавэйе — это восемнадцать чело век, полнокровная бригада для трехсменной работы. Лю в нее подбираются опытные, крепкие, сильные духом и т. лом, одним словом, под стать условиям жизни и работы здесь.

В состав одной из трех вахт входил в те годы и буровой мастер Борис Федорович Попов, прилетевший на Север в самом начале зимы семьдесят пятого года. Всем бурови-

кам предстояло прожить в поселке длинную полярную ночь и, сменяясь через каждые три недели, вести непрерывное бурение.

Не случайно, должно быть, здесь, на Севере, мне часто приходили на ум фронтовые ассоциации. Как и на войне, работа в глубоком Заполярье сама отбирает людей. Отбирает еще, как говорится, на дальних подступах к месту приложения сил, еще до начала длинной дороги сюда, еще только в первом замысле и в последующих естественных сомнениях — ехать или не ехать?

А летели и летят сюда из разных мест, из Надыма, Нижневартовска, Сургута, Тюмени, еще больше из Башкирии, Татарии, из далекого Баку. Из города Грозного и сам Борис Федорович Попов. Он рабочий с девятнадцати лет. Когда мы встретились на Харасавэе, ему было сорок восемь, и естественно, что Борис Федорович немало повидал, пережил за свой почти тридцатилетний путь в глубины земли за нефтью, за три десятка лет рабочей жизни.

Так почему же его, привыкшего к мягкому климату юга России, к горам, долинам и лесам Северного Кавказа, человека уже и не такого молодого, потянуло на Север?

Это «почему» как бы висело у меня на языке и напрашивалось как вопрос в разговоре с каждым из работающих в поселке. А ведь вряд ли кто-либо, даже из числа наиболее разговорчивых и откровенных, смог бы, да и захотел найти исчерпывающую форму ответа. Это непросто, совсем непросто. Редко поступок человека продиктован каким-либо одним желанием или чувством. Обычно это совокупность обстоятельств, потребностей, черт характера, душевных стремлений.

«Приехал поработать, посмотреть!»

Это сказал мне Попов предельно скупо, и в этом уже проглядывалась черта характера. Сказал безо всякого желания углублять или развивать эту тему. Я же подумал в ту минуту, что он приехал, конечно, не только посмотреть, но и себя показать, попробовать, сколь крепки еще его рабочая хватка и мастерство.

Признаться, меня поразила семья бурового мастера. Именно семья. В отличие от большинства своих товарищей по бригаде, Борис Федорович не совершал авиационных рейсов из поселка по другую сторону Полярного круга — для отдыха. Вахтовый метод он не применял и жил в Харасавэе постоянно. Жена и старший сын Григорий, бурильщик, прилетели с главою семьи на Север.

Я пошел с Поповым в балок-вагончик, чтобы посмотреть его «семейный уголок». Он занимал с женою комнатку, естественно небольшую, обставленную просто, по-походному, с минимумом мебели. И все же это был семейный уголок, дышащий непритязательным уютом, теплом домашнего очага, которые стремятся даже в таких условиях создать женские руки.

Попов высок, и это было заметно, даже когда он сидел, чуть ссутулившись, склонив книзу голову и оперев о колени ладони. Он был темноволос, с хорошей еще шевелюрой, в меру, по-рабочему худощав. Темные глаза его смотрели из-под густых бровей почти без улыбки. Может быть, он был сосредоточен на каких-то мыслях, охвачен своими заботами или же устал в этот день.

Много раз в жизни я встречал людей с таким угрюмоватым взглядом. Сам, в известной мере, такой же. И оттого хорошо знаю, что это лишь внешние и обманчивые признаки. Грубоватая лепка лица, его суровость отнюдь не «зеркало души», вовсе не отражение суровости душевной.

— Я приехал с семьей не налегке, а основательно, чтобы обосноваться прочно.

Сказав это, Попов бросил взгляд на свою комнату, мельком оглядел ее, словно увидел впервые. Мне показалось, что я понял этот взгляд. Конечно, прочность в поселке была особого рода. И смена бригад через год-два, видимо, неизбежна.

— Пережили зиму, работали нормально. Мне легче, чем другим,— заметил Борис Федорович,— рядом хозяйка, сын, все теплее.

Я посмотрел на хозяйку. Надежда Петровна сидела рядом, слушала наш разговор и улыбнулась, как человек, которому слова мужа и понятны и близки. Я не берусь определить ее возраст. Но она мать трех взрослых детей, и это уже говорит о многом. Странным было бы спрашивать Надежду Петровну, зачем она приехала сюда. Приехала с мужем, с которым привыкла делить все, что выпало на ее долю.

Надо иметь характер и волю, надо очень любить своих близких, надо быть смелой женщиной, чтобы так жить и делать все то, что делает Надежда Петровна, и поварихи из столовой, и немногие здесь женщины из геологической службы.

— А где же младший ваш?— спросил я Надежду Петровну, глядя на семейную фотографию.

— Анатолий служит в армии, скоро приедет.

— Куда?

— Сюда к нам, куда еще!

— К отцу в бригаду,— добавил Борис Федорович.— До армии был бурильщиком и снова будет со мною работать.

Когда я его спросил о зарплате, он назвал сумму заработка, не хвастаясь, но и не прибедняясь. Спокойно, достойно.

— Тут у всех так,— добавил он.

Я же подумал тогда, что трое бурильщиков в этой семье, зарабатывая рублей по шестьсот — семьсот в месяц, накопят значительную сумму денег. Было бы, конечно, ханжеством сбрасывать со счетов и это соображение в соединении тех побудительных мотивов, которые создали в поселке постоянную полярную вахту семьи бурильщиков Поповых.

Но главное ли это для них? Сколько есть людей, которых никакие денежные перспективы не заставят покинуть насиженные места в привычной городской обстановке и отправиться в этот маленький поселок нефтяников и геологов.

Я поднялся с Поповым на его буровую. Это большое и сложное хозяйство. С годами на буровых все становится более мощным. Двигатели, электромоторы, насосное хозяйство. Прибавляется автоматики. Своими глазами тут ничего не увидишь. Только приборы могут показать, как идет турбобур в глубь земли, как бежит по стенкам труб глинистый раствор.

Каркас современной буровой высотой с десятиэтажный дом. Чем глубже скважина, тем массивнее наземное сооружение, способное удержать на весу стальную колонну труб длиною подчас в пять километров.

Я наблюдал за работой смены. Шла проходка, наращивались «свечи». Гудел, постукивая, круглый массивный ротор, и от вращения стальной колонны в земле, от этого гигантского штопора в 1250 метров длиною вздрагивали пол и стены площадки. И вся буровая, словно бы корабль в движении, испытывала дрожь вибрации.

Мастер Попов поглядывал на приборы, несколько раз сам вставал к тормозу, помогая молодому рабочему, который недавно закончил курсы бурильщиков и здесь проходил стажировку.

Стояли июльские и неожиданно теплые в глубоком Заполярье дни. Ярко светило солнце, оно также светило и ночью, только свет чуть-чуть ослабевал и словно бы проходил

через матовое стекло. Я был еще под впечатлением полета на вертолете от мыса Каменного, на пятьсот километров над тундрой, над этим простором, казалось бы без конца и края, над зеленой и серо-зеленой ширью, едва ли не сплошь изрезанной и покрытой реками и озерами.

Тут их никто не может сосчитать точно, особенно много озер вблизи могучей Оби, которая катит свои серые холодные воды в океан. Озера с высоты кажутся разнокалиберными блюдцами с иззубренными и обломанными краями. Между ними твердые перемычки земли, кустарников, лишайников.

Озера тянутся цепями. Как и голубые вены рек и речушек. С воздуха летняя тундра красива, многоцветна. Весело поблескивает на солнце вода. Но вместе с тем как тревожна и даже зловеща эта красота топей, на тысячи километров вспученной водою, шаткой болотной земли!

Летом на Харасавэе, да еще в ясную погоду, трудно представить себе зимние яростные бураны, когда ветер дует с такой силою, что от балка к балку можно пройти только держась за канат, а верховому на буровой надо привязывать себя к стропилам монтажным поясом, иначе может сбросить с высоты. Трудно представить себе сорока- и пятидесятиградусные морозы, такие жгучие, что и дышать трудно, не только работать. Но люди работают здесь в любую погоду, и не просто работают, а выполняют и перевыполняют план, несмотря ни на что.

Я вспоминаю сейчас, как интересно рассказывал об особенностях работы нефтяников на Севере буровой мастер из Нижневартовска Борис Давыдов, выступая на нашей писательской конференции в Тюмени.

«Буровой участок — открытое небо. У нас не было и не будет такого периода, чтобы можно было укрыться от бури, не работать в грозу, в метель, в пургу, в дождь. Скважина не позволит, промысловая технология не позволит. Мы не можем, подобно морякам, вести свой корабль в гавань, если заштормит. Бывает температура сорок ниже нуля — дети не идут в школу (правда, все идут играть в хоккей), строителям представляется актированный день (ничего о них дурного сказать не хочу, у них свои трудности), а мы, буровики, должны работать при любой температуре — бывало, доходило чуть ли не до шестидесяти.

Вот и решайте, какой наш труд — героический или будничный?

Существует ли опасность в работе буровиков? Да, опас-

ность постоянно рядом с нами, мы живем с нею. Во время бурения мы подаем на забой промывочную жидкость под огромным давлением. Случись тут неполадка — а кто от них застрахован? — и человека не будет. Мы колонну труб поднимаем, а потом опускаем в скважину с помощью механизма, который мы называем талевой. Бывает, канат рвется и все это летит вниз. Когда главному инженеру докладывают о таком случае, то первый его вопрос — нет ли жертв? Если нет, значит, все в порядке.

И все же работают люди, работают не щадя себя, не отказываются от своей профессии, от своего дела. Когда мы скважину обуздаем, с нею можно делать все, что хочешь.

Вот и судите, каков наш труд — будничен или героичен?

Всякое было за эти годы — и трубы взлетали в воздух, и открытый фонтан выносил с собою породу, образуя воронку, и вся вышка как-то раз ушла вниз. Словом, случались аварийные ситуации. Но мы же не планируем такие ситуации, просто такая у нас работа. И, между прочим, заключается она и в том, чтобы с подобными ситуациями справляться. И справляемся.

Говорю я это все не к тому, чтобы напугать вас или похвастать, какие мы сильные и сознательные. Просто я рассказываю о нашей жизни, какова она есть».

Он хорошо рассказывал, этот широкоплечий, темноволосый рабочий, похожий на студента, увлекающегося тяжелой атлетикой, физически, на взгляд, сильный, ловкий. И вместе с тем во всей его фигуре, в модной среди молодежи прическе — волосы закрывали часть шеи, в его кожаной куртке, надетой поверх красивого свитера, в том, как он держался на трибуне, нимало не смущаясь аудитории, состоящей из писателей, в том, как он говорил без бумажки, спокойно, раздумчиво, не торопясь и, я бы сказал, с удовольствием развивая свои мысли,— во всем этом чувствовался человек интеллигентный, образованный, интуитивно улавливающий то, что от него ждут слушатели.

На наших писательских форумах любят слушать выступления бывалых людей, знатных рабочих, любят слышать слова, выражающие опыт живой практики. Но, понимая, должно быть, всю выигрышность своего выступления на конференции, Борис Давыдов отнюдь не стремился подчеркнуть свой «рабочий корень» или особые трудности работы на Севере, и без того очевидные для аудитории, он не педалировал на мысли о какой-либо исключительности, необычности, героичности своей профессии, одним словом,

не красовался на трибуне, но вместе с тем отстаивал свои убеждения достойно, солидно, как человек, знающий цену себе и своим товарищам.

Один из писателей, выступавший до Бориса Давыдова, с некими полемическими преувеличениями критиковал увлечение литераторов пафосом романтики и, как он выразился, «неоправданных костров и палаток... слишком дорогого героизма, покрывающего чье-то головотяпство».

Хватит надеяться на эту слишком дорогую — человеческую — «палочку-выручалочку»!.. И хватит воспевать ее в литературе, говорил оратор.

В основе своей правильная мысль о том, что надо избегать ненужных или кем-то искусственно создаваемых трудностей, что надо искать конкретных виновников тех или иных трудностей, вместе с тем несла в себе, может быть и помимо воли оратора, поспешное стремление вычеркнуть романтику вовсе из нравственного багажа первооткрывателей сибирских недр, игнорировать конкретику их существования в этих суровейших местах, реалии их на самом деле необычного и героического труда.

Вот против этого и возражал Борис Давыдов, опираясь на то, что прочувствовал и пережил он сам, и, как мне показалось, задетый за живое желанием писателя покончить с романтикой в литературе и тем самым обеднить его, Давыдова, мир жизненных представлений и духовных побуждений.

«Несколько слов о романтике,— развивая свою мысль, говорил бурильщик.— Жива ли она теперь? Помню то время, когда я получил приглашение поехать на работу в Заполярье. И первое, о чем подумал,— хорошо бы искупаться в Обской губе, посмотреть на тундру. Я и искупался несколько раз и встречался с рыбаками, ненцы меня научили есть сырую рыбу. Научился муксуна жарить на костре — то же самое получилось, что на сковородке. Берег Обской губы, правый берег, где мы обосновались, немножко холмистый. Сопочки метров в сорок, песчаные, плотные плесы, такие плотные, что по ним любая машина может проехать со скоростью восемьдесят километров. Я залез на сопочку и увидел — дело было зимой — мертвую тундру. Потом пошла в рост черемуха, смородина, морошка, я ходил по протокам, слушал говор птиц. И решил, что тундра прекрасна и работать там прекрасно, романтика — она все-таки жива, оказывается, вовсе не помешала делу...»

Я видел потом Бориса Давыдова в фойе, примыкавшем

к конференц-залу, окруженного людьми, он понравился писателям, притягивал, интересовал. Видел его и в кругу тех молодых литераторов, к которым он и обращал главным образом такое свое приглашение: «Ждем вас у себя, ждем не на чашку чая, не на день, хотим, чтобы прожили у нас два-три месяца, у кого сколько мужества хватит, и написали о нашем труде ярко, вдохновенно».

И чувствовалось, что он быстро сходится с людьми, сходится на равных, как человек, который умеет слушать, вникать в проблемы не только свои, чисто профессиональные, но в проблемы литературы, нимало не поступаясь при этом своим рабочим достоинством.

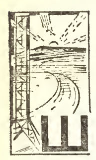
Слушая Бориса Давыдова, я вспомнил других буровых мастеров, с которыми познакомился в Сургуте, Нефтеюганске, в Нижневартовске, на Самотлоре: Виктора Китаева, Владимира Гулина, Владимира Глебова, знаменитого в те годы бурового мастера Геннадия Михайловича Левина — депутата Верховного Совета РСФСР.

Иные из них, такие, как Гулин, пришли на буровую, на рабочую точку, с инженерным дипломом в кармане. Он окончил Тюменский индустриальный институт и прослужил год в армии, приехал на нефтяную целину посмотреть на «жемчужину Приобья» Самотлор и остался здесь. Жена его, закончив институт в Тюмени, приехала к мужу.

Невольно я вспомнил тех бригадиров-нефтяников, которых знал в сороковые, пятидесятые годы. Тогда у буровых станков, у тормозов роторов стояли люди, не имеющие даже среднего образования. Инженер оставался инженером, рабочий — рабочим, каждый с кругом своих обязанностей. Но вот пришло время, когда никого уже не удивляет буровой мастер Гулин с дипломом о высшем образовании, занимающийся исконно рабочим делом, но теперь уже таким делом, которое исключает тяжелые физические нагрузки и требует инженерных знаний, высокой профессиональной выучки.

Да, это поистине новые люди семидесятых годов, новые рабочие характеры, с какой-то особой рельефностью сформировавшиеся здесь, в необычной обстановке, на бескрайних сибирских просторах. Характеры сложные, духовно богатые, представляющие гражданственный и психологический сплав, я бы сказал, особой чеканки. Его создают идейная убежденность и непоказное мужество, образованность и всегдашняя готовность к борьбе с природой, трудностями, что и составляет существо настоящего подвига.

ЛИНИЯ НА КАРТЕ



естиэтажное кирпичное здание Главсибтрубопроводстроя находится квартала за три от гостиницы «Турист», на той же центральной улице Тюмени. За мною пришла машина, и вскоре в сопровождении шофера я поднялся на лифте на пятый этаж в большой, солидный кабинет, с той сразу бросающейся в глаза особенностью, что одна стена его почти целиком была занята картой Тюменской области. Но это была не совсем обычная карта.

Выпускаются в иных наших индустриальных центрах для продажи населению, и главным образом с учебными целями, так называемые «экономические карты», где кружочками, пирамидками и звездочками и другими значками обозначаются не только промысла нефти и газа, но и заводы, тепловые электростанции, действующие и строящиеся, районы молочного животноводства и зерновых культур, районы промысловой охоты, оленеводства и рыболовства.

Такова, во всяком случае, была «экономическая карта», которую я приобрел для себя в Тюмени. На ней были прочерчены и тонкие черные линии нефте- и газопроводов; строящиеся — пунктиром и сплошной чертою — уже вошедшие в строй.

Примерно такую же карту, но с большими подробностями и с многократным увеличением, можно было увидеть на стене кабинета начальника главка Владимира Георгиевича Чирскова. Масштаб этой огромной строительной диспозиции как бы отвечал масштабам самого строительства, впечатлял доподлинной грандиозностью работ, комплексными усилиями по покорению природы, пространств, сурового климата.

Да, она возбуждала воображение у всех, кто смог увидеть эту «карту-стену», которая, пользуясь поэтической метафорой, звучала как хорал, как гимн труду первопроходцев. Карта, должно быть, еще и постоянно напоминала хозяину кабинета о том, кто он есть, где работает!

Вспомнилась речь Чирскова с трибуны нашей конференции. Я приехал в главк на следующий день после выступления Владимира Георгиевича. Запомнился темпераментный баритон оратора, эмоциональный напор его речи, окрашенный и естественным пафосом и естественной гордостью за то, чем действительно можно гордиться.

«Наш главк занимается строительством трубопроводных магистралей,— рассказывал Чирсков,— а также мы строим насосные и компрессорные станции на трубопроводах. Компрессорные станции — это сложные технологические объекты. У нас говорят так, что если человек построил за жизнь одну компрессорную станцию, значит, в жизни он сделал что-то. Компрессорные станции — это объекты, стоимость которых исчисляется в миллионах рублей, они расположены в самых глубинных местах.

Мы должны проложить в десятой пятилетке 15 тысяч километров трубопроводов, это в три раза больше, чем построено в девятой пятилетке. А условия... условия те же, что и в прошлые годы: 80 процентов территории нашей области обводнено, 40 процентов болот, 300 тысяч озер. Получается: на каждые 100 километров трубопровода трассы 55 километров непроходимых. Затем зима — это и морозы и метели. А ведь только зимой мы и строим трубопроводы: у нас всего 120 — 130 дней, когда тяжелая техника может проходить по болотам. И за это время надо проложить сотни километров. Климатические условия мы изменить не в состоянии. Противопоставить им можно только технический прогресс, материальные средства и упорство...»

Я помню, как слушала Чирскова наша писательская аудитория, слушала завороженно! И это не преувеличение. Бывают такие выступления, где красноречие — в самих фактах, где сила эмоциональности, быть может, именно в той краткости, лапидарности, с какой преподносится рассказ о событиях поистине необычайных.

«...Когда начинали строить трубопроводы в этих тяжелейших условиях,— продолжал Чирсков,— у нас не было достаточного опыта. И сегодня тюменцы помнят, как мы начинали на Самотлоре прокладывать первый трубопровод в болотах. Мы боялись, что труба уйдет в болото. И придумали такие «бочки», которые придерживают трубу, чтобы она не утонула. Сейчас этот трубопровод работает, «бочки» лежат в бездействии — они напоминают нам о первых шагах на тюменской земле. Теперь мы думаем, что нам делать, как трубу, наоборот, удержать в болоте от всплытия.

Да и вообще наша стройка — это полигон для испытания нового. И не потому, что мы такие хорошие и нам наука дает все для испытания. Это вызвано тем, что в наших условиях иначе не сделаешь...»

«Да, полигон, и каких размеров!»— подумал я, здорова-

ясь с Владимиром Георгиевичем, который, уловив мой заинтересованный взгляд, брошенный на карту, сказал:

«Вот наша область — великий северный край! По этой карте мы еще с вами побродим с указкой, а пока пройдемте-ка во вторую комнату, там нас ждет Олег Максимович».

Комната отдыха, примыкающая к кабинету начальника главка, мне показалась уютной, была обставлена удобной мягкой мебелью. Здесь стояли глубокие кожаные кресла, небольшой диван, посредине полированный обеденный столик, сервированный рыбными закусками.

— Для знакомства,— пояснил Чирсков.— Между прочим, такой рыбки, как у нас, в Тюмени, вы нигде не найдете, вот на разный вкус — и осетр, и наш знаменитый муксун, и омулечек, и чирок. Бывали ли вы в Салехарде?

Я утвердительно кивнул.

— Там у нас большой рыбный завод — пойманные осетры в бассейне плавают, режут воду плавниками, как подводные лодки перископом.

— Видел,— подтвердил я.

— Тогда еще должны знать,— с улыбкою заметил Владимир Георгиевич,— что наши гости увозят с собою «Сибирский сувенир» — это такая коробка килограммов на пятнадцать — северная рыбка разных сортов. И вам не миновать подарка.

— Так это, наверно, для очень уважаемых гостей?

— А других мы не принимаем. Верно, Олег Максимович?— Чирсков обернулся за подтверждением к поднявшемуся с дивана начальнику технического отдела министерства Иванцову, с которым я встречался еще в Москве.

— Знакомы, надеюсь?

— Труба свела,— кратко ответил Иванцов, протягивая мне руку.

В отличие от рослого, плотно сбитого Чирскова с густою копною темных волос над высоким лбом, Иванцов был худощав, с той стройностью и подтянутостью в фигуре, которую мужчины редко сохраняют к пятидесяти годам. Нет, это была не болезненная худоба, а та, что достигается постоянной тренированностью и тем взыскательным вниманием к своему телу, к своей физической форме, которую мужчины тоже, как правило, устают соблюдать, приближаясь к полувековому рубежу.

Я не ошибусь, если скажу, что Иванцов принадлежит к тому типу производственника, который ныне все чаще встречается в министерствах и, к сожалению, реже на за-

водах, когда специалист, погруженный в текучку каждодневных деловых забот, не чужд вместе с тем и исследовательской работе, выступает с научными идеями, систематизирует факты и пишет книги, выкраивая для этого время за счет выходных, ночных бдений или отпусков.

Иванцова давно привлекала тема надежности магистральных трубопроводов в условиях Севера. Тема эта необычайно важна. История трубопроводного транспорта не знала до сих пор такого масштаба работ. Трубопроводы, пролагаемые в этих краях, за пятилетку достигали длины в двадцать — двадцать пять тысяч километров. При этом диаметры самих труб нередко бывали метровые. Естественно, что в этих сложных климатических и почвенно-геологических условиях требования к надежности магистралей резко возрастали.

Иванцов написал книгу, посвященную этой проблеме и рассчитанную главным образом на специалистов. Я эту книгу приобрел, внимательно прочитал и даже взял ее с собою в эту поездку.

Едва мы расселись вокруг столика, пододвинув ближе мягкие кресла, как Чирсков, разлив коньячок по маленьким рюмочкам, пригласил всех выпить.

— За трубу! — кратко сформулировал он свой тост, но после паузы все же добавил: — Ну, и за ваше здоровье!

И я, и Иванцов, слегка усмехнувшись, тост этот поддержали. Я вспомнил, что на Уральском трубопрокатном заводе в большом ходу всевозможные этимологические производные от распространенного слова «труба». Скажем: «дать трубу», «большая труба», «труба решает», даже «вылететь в трубу» в смысле провалить план. И все же, когда Владимир Георгиевич сообщил нам, что недавно состоялось специальное решение директивных органов, как он выразился, «по трубе», я подумал, что эта краткость из разряда тех сокращенных слов и понятий, которые охотно принимаются специалистами, но все же кажутся странными человеку со стороны.

— За трубу так за трубу! — сказал я. — Хотя бы этот тост все же расширим: выпьем за успешное обживание Севера, за то дело, в которое сейчас втянуты тысячи человеческих судеб. Что там золотоносный Клондайк в Канаде, о котором написаны десятки романов. То, что происходит здесь, можно приравнять к одной из решающих битв Отечественной войны. А много ли написано волнующих и значительных книг об этой, тюменской эпопее?

— Это вы хорошо сказали, верно,— подхватил Владимир Георгиевич.— К сожалению, далеко не все еще ясно представляют себе, что было бы с нашей страной без тюменской нефти и газа, без этих исторических открытий. Откуда мы могли бы взять такое количество нефти и за какие деньги купить? Да, Тюмень — это такая счастливая и своевременная находка, значение которой невозможно переоценить. Вот и посчитайте.

— Точно,— поддержал Иванцов.— Государство возьмет здесь всю ту нефть, которую надо взять, возьмет с нами или без нас. Лучше бы, конечно, с нами,— он улыбнулся Владимиру Георгиевичу,— так давайте же все вместе постараемся, чтобы обязательно с нами.

— Безусловно, только с нами, с нашим прямым участием,— сказал Чирсков.

Иванцов наполнил рюмки по второму разу.

— Не спеши, Олег Максимович,— заметил Чирсков,— а то гость подумает, что мы хотим поскорее его выпроводить.

— Ни в коем случае, упаси бог!

— Вот именно. Хотя у нас и трескучие морозы, но градус северного гостеприимства не ниже грузинского.

— Так он и должен быть выше, раз у вас тут так холодно,— сказал я.

Я чувствовал себя хорошо, принимая участие в этом скромном и так неожиданно возникшем застолье, нравились и уютная комната, и наша беседа, естественная, откровенная, одухотворенная такой заботой о делах государственных, которая сама по себе придавала разговору ту значительность, весомость, которые исключали равнодушие сердца или леность ума. А как же иначе? Ведь речь шла об экономических судьбах страны, об энергетической проблеме, приобретшей в последние годы поистине всеобъемлющее звучание, как составная мировой политики.

— Много у нас тут глобальных проблем, много было и споров,— заметил Владимир Георгиевич, глядя главным образом на меня и предполагая, должно быть, что именно мне малоизвестны эти споры и могут сейчас живо заинтересовать.

— Да, интересно,— подогрел я Владимира Георгиевича,— я весь внимание.

— Наверно, слышали, что долго тут у нас спорили, что

сначала строить: города или промыслы,— начал Чирсков.— Ставить сначала жилье, а потом уж добывать нефть, или же наоборот?! Или же третий вариант — и нефть добывать, и одновременно строить города.

— Пошли по третьему,— догадался я, ибо не впервые слышал об этих спорах.

— Да, ибо существуют экономические законы социализма. Как можно строить города, не получая соответствующих доходов от нефти? Из каких, собственно, средств? Разве государство может пойти на это? Вот и приходилось биться по широкому фронту проблем и трудностей,— говорил Владимир Георгиевич.— И при том при всем не допускать резкого опережения ни одного, ни другого. То есть ни строительства жилья, ни обустройства месторождений. А в общем-то, на практике мы с заводами, трубопроводами и жильем особенно скорее отстаем, чем опережаем. С разведкой нефти и газа вылезли уже на полуостров Ямал, далеко за Полярный круг, беспокоим шельф Карского моря. Так и надо. Разведка месторождений должна расширяться и углубляться постоянно,— заметил Чирсков.

— Месторождения! Запасы и их использование! Тоже ведь есть и были споры, как относиться к запасам,— вставил свое слово Иванцов.— Что нам оставить потомкам — «нетронутые запасы нефти или же богатую страну»? — как однажды сформулировал эту проблему наш первый секретарь обкома Геннадий Павлович Богомяков. Я думаю, что все же лучше — богатую страну. А нефть, ее еще найдут и в нашей Западной Сибири и в Восточной, где она должна быть, пока большие поиски там еще не развернулись, или в Ледовитом океане, или же подоспеет атомная энергетика. Кстати говоря, и у нас в области можно ставить мощные ТЭС на попутном газе.

— Что ж, это очень интересно,— сказал я.— И вот что примечательно: какую проблему ни возьми, если она понастоящему масштабна, то и начинена противоречиями.

— Противоречиями роста,— поправил меня Чирсков.

— Да, именно роста, развития,— согласился я.

— Ну, тогда согласитесь еще и с тем, что у нас по-настоящему трудная работа,— сказал Владимир Георгиевич,— одна вечная мерзлота содержит в себе большие для нас сложности. Здесь еще много нерешенных инженерных вопросов. Наши конструкторы создали так называемый болотоход «Сибирь». Сегодня уже создан механизированный комплекс для прокладки труб на болотах. К сожалению, он

рассчитан только на трубы малого диаметра. Большие трубы приходится прокладывать только зимой. Вы же знаете, все наши строительные подразделения разбросаны по трассе, движутся непрерывно, каждый день уходят вперед на километр, на два, что порождает много организационных трудностей...

Я слушал Чирскова не только внимательно, но и сочувственно, ведь я бывал на трассах, представлял себе характер работы трубоукладчиков.

— Мы пытаемся организационно решать наши проблемы,— продолжал Чирсков,— создавая крупные бригады. На должность бригадиров назначаем нередко инженеров, которые закончили институты пять-шесть лет назад и имеют хороший руководящий опыт. По сути дела, это бригадиры-инженеры. Так мы их называем. Вот на таких людей и опираемся. Знаете ли вы,— увлеченно продолжал Чирсков,— что по нормативным срокам на строительство такого трубопровода, как, скажем, Вангапур — Челябинск, полагается тридцать шесть месяцев, а нам дали срок — год! Построим же мы его за шесть месяцев. А какова длина этого трубопровода? Тысяча семьсот километров. Из них семьсот — заболоченных. Или возьмите газопровод Уренгой — Челябинск. Здесь капиталовложения едва ли меньше, чем на БАМе. Вот такие дела!..

...Да, дела большие, дела замечательные. Мне надолго запала в память и карта во всю стену, и этот разговор во «второй комнате», и мысли Иванцова, и мысли Чирскова, чей труд и заслуги были вскоре оценены тем, что он получил новую должность — министра.

Министерство строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР находится в Москве, на улице Кирова. Но не так-то просто застать Владимира Георгиевича здесь, в его министерском кабинете. Он почти всегда в Тюмени, на северных трассах, ездит на вездеходах по зимнику, летает на вертолетах, он постоянно в гуще неотложных дел и проблем, руководит армией инженеров, по преимуществу таких же сравнительно молодых, полных энергии, знающих свое дело и искушенных в борьбе с трудностями. Да и кабинетный стиль руководства здесь просто невозможен для тех, кто обязан практикой ежедневно и ежечасно поверять теорию, на чьи плечи страна и история возложили грандиозные планы развития Тюменского края...

ХОЗЯИН НЕБА — ВЕРТОЛЕТ



депутатской комнате тюменского аэродрома, на втором этаже, куда кроме депутатов приглашаются и другие гости города, меня встретил инженер из главка, назову его Петр Алексеевич, выделенный мне Чирсковым в сопровождающие. Как и Иванцов, он тоже занимался проблемой надежности труб, руководил здесь, на месте, некоторыми исследованиями, собирал экспериментальные данные и в этой поездке имел еще и свой деловой интерес, а не только задание помочь литератору. Это был молодой, во всяком случае для меня, человек, лет тридцати пяти, с модной ныне темно-русой бородкой, правильными, несколько иконописными чертами лица и с глазами редкой просветленности, не то голубого, не то бирюзового цвета. В такие глаза хочется заглядывать, как в озерную глубину. Петр Алексеевич мне показался человеком приятным и, уж во всяком случае, общительным.

В депутатской комнате мы посидели минут десять в креслах, стоящих около столика, где лежали свежие газеты и журналы. Не успели еще как следует отогреться с мороза, как пришла женщина-диспетчер и повела нас на снежное поле аэродрома, пешком, прямо к самолету.

Это был «ЯК-40» — небольшой турбинный лайнер, а не вертолет, как я ожидал. Петр Алексеевич пояснил мне, что лететь придется на дальний конец строящегося трубопровода, а это более тысячи километров от Тюмени, а до этого побывать в приполярном городе Надыме, где находится одно из управлений треста «Севертрубпроводстрой». Так что расстояние это не вертолетное, а как раз под стать турбинному лайнеру.

— Такая уж эта Тюменская область, на ее просторах можно разместить немало западноевропейских государств,— заметил Петр Алексеевич.

Мы поднялись в самолет по лестнице, с хвоста, что само по себе выглядело не совсем обычным. Салон «ЯК-40» — я тогда впервые летел этим самолетом — был рассчитан человек на пятьдесят, компактен, уютен, удобен. Петр Алексеевич уступил мне место у окошка. Короткий разбег — и «ЯК-40», поднявшись в воздух, взял курс на север.

Когда впереди несколько дней совместного путешествия, есть ли смысл каждую свободную минуту заполнять разго-

вором, не лучше ли наверстать недоспанное, встали-то рано, да и ночь перед любым полетом всегда проходит беспокойно. Я так и понял Петра Алексеевича, когда увидел, что он, аккуратно расправив на себе ремни безопасности, откинул спинку кресла.

— Подремать?—спросил я.

— Люблю поспать в самолете,— признался Петр Алексеевич,— есть в этом особая нега и сладость. Покажут тебе какой-нибудь сон-короткометражку, проснулся, а самолет уже идет на снижение, и тысячи километров пути как не бывало! Двадцатый век! Авиационные скорости — это такое обыкновенное чудо, к которому мы вроде бы и привыкли давно, а все же всякий раз впечатляет.

— Да, пожалуй,— согласился я.— Попробую и я поспать. Тоже, знаете, как это говорят немцы, райзенфибр — дорожное волнение.

Я откинул назад спинку кресла, закрыл глаза. Но сон не шел. Пробежал глазами газету «Тюменская правда», которая торчала из кармана сиденья, и стал смотреть в окошко на белую землю, которая изредка появлялась в разводьях облаков. Там, внизу, нельзя было различить ни городов, ни поселков, да и находилось их тут немного, что же касается промыслов, то они и подавно вставали сейчас лишь в моем воображении, когда я вспоминал карту, висящую в кабинете Чирскова.

И все же, стараясь что-то разглядеть на земле, я думал о том, пролетели ли мы уже пояс Среднего Приобья, где располагались нефтяные месторождения, они тянулись от Игрима на западе до Нижневартовска, Самотлора и Мегиона на востоке, по территории Ханты-Мансийского округа. Километров в ста пятидесяти севернее уже проходила южная граница многолетней полярной мерзлоты.

Я вспомнил о том, что именно здесь, неподалеку от Самотлора, как рассказывал мне главный инженер Челябинского трубопрокатного завода, и наблюдались неприятные случаи обрыва труб на испытании нефтепровода Нижневартовский — Куйбышев, около местечка, называвшегося не то Ташлык, не то Машлык. Мне захотелось там побывать. И казалось, что Петр Алексеевич повезет меня сначала именно сюда, но диктовать маршрут мне не хотелось.

«Они хозяева,— подумал я,— пускай доставят туда, куда считают нужным».

Вскоре Петр Алексеевич открыл глаза, сладко поспав минут двадцать. Увидев, что я бодрствую, он, видимо, по-

считал необходимым как-то развлечь спутника, а в самолете развлечь можно только разговором.

— Вы впервые в этих краях?— спросил он меня.

— Да нет, не впервые. Однако все же чувствую себя новичком. Чтобы вжиться сердцем в этот край, нужны, наверно, годы. Было время,— сказал я,— когда слово «Тюмень» ассоциировалось для большинства из нас с представлением о далекой, глухой сибирской окраине. И рифмовалось все больше: «в Тюмени» и «пельмени». Что, тут действительно так любят пельмени?

— А разве на Урале, где вы, видно, часто бываете, меньше?

— Да, и там любят. Но ведь современного туриста привлекает не гастрономия, не потребности желудка, едут не туда, где можно лишь вкусно поесть, а туда, где есть что посмотреть, чему удивиться.

— Туристов у нас еще немного,— согласился Петр Алексеевич.— Эти болота, и озера, и вечная мерзлота— конечно, не Сорренто, остров Капри, где я был туристом в прошлом году. Но, погодите, придет время, когда этот Север, и низовья великой Оби, и шельф Ледовитого океана тоже начнут привлекать туристов. Вот в Помпее,— продолжал, оживившись, Петр Алексеевич,— мы, туристы, разглядывали быт и цивилизацию древних, любовались плодами их, в общем-то, примитивного труда. Ну, скажите, а разве не интересно будет нашим потомкам посмотреть на то, что мы сделали в этом, считавшемся гиблым, краю, какой подвели фундамент под основы будущей коммунистической цивилизации? Разве это,— Петр Алексеевич показал рукою куда-то туда, вниз, на землю,— разве это меньше впечатляет, чем гибель Помпеи?

Я усмехнулся.

— Ну, не меньше, а как-то, наверно, по-другому.

Есть у всех у нас своего рода профессиональное отталкивание от всякой возвышенной риторики, и редко кто решится на пафос, не сдобренный, как принято в разговоре, некоей долею иронии. Однако сейчас я слушал внимательно и сочувственно Петра Алексеевича. Я готов был принять и его эмоциональный накал, и порыв его мечты о туристах, и то высокое удивление перед творимой здесь явью преображения сурового и по-своему прекрасного края.

За разговором мы незаметно скоротали время. И я удивился, увидев загоревшуюся на панели пилотской кабины

надпись красными буквами: «Пристегните ремни!» «ЯК-40» начал снижаться, подходя к аэропорту города Надыма.

Любопытство к местам неведомым, к нехоженым тропам заложено в нас с детства. Оно рождается, должно быть, вместе с первыми шагами ребенка по земле, удивленно взирающего на мир, полный поразительных открытий. С нетерпением и я ждал встречи с городком у Полярного круга, он мог называться так, потому что находился еще в детсадовском возрасте, получив статус города всего... четыре года назад.

В этом краю старые промысловые поселки, такие, как Надым, Мегион, Светлый, Горноправдинск, Шаим, Пунга, Уренгой, быстро входили в ранг городов, подобно тому как и вся Тюменская область выдвигалась на авансцену нашей индустриальной истории.

Порою все начиналось с первого колышка на чистом месте или рядом с древним поселком, начиналось с палаток, балков-вагончиков, а через год, два, три вырастал многоэтажный силуэт города в тундре, вставал белокаменный остров, полукружьем своих корпусов образуя некий мощный редут зданий, защищавших центр города от свирепых ветров и вьюг.

И дома-то здесь возводятся не совсем обычные, а в северном исполнении, с концентрированным уютом, призванным смягчать суровость края, чтобы жители города могли хорошо отдохнуть у домашнего очага, набраться сил и бодрости.

Петр Алексеевич еще в самолете говорил мне, что в домах Надыма тепло, много света, большие кухни, хорошие ванные, встроенные шкафы, порою здания соединяются сплошными теплыми проходами, с тем чтобы человеку, пришедшему с работы, не надо было выходить снова на холод, если он захочет навестить друзей или попасть в библиотеку, в кинотеатр, спортивный зал.

Правда, мне не удалось осмотреть такую «теплую улицу», не было времени. Когда «ЯК-40» приземлился на укатанное снежное поле (здесь еще не существовало бетонной полосы), Петр Алексеевич усадил меня в вездеход, и мы покатались немного по Надыму, не заехав даже в управление «Севертрубпроводстроя», треста, который строит и город, и, как здесь говорят, «обустраивает» месторождение газа.

На надымском аэродроме пришлось пересесть на вертолет «МИ-8», и вот еще через пятнадцать минут полета я

увидел строения ГПГ — главного пункта очистки и сборки газа, поступающего от многих скважин большого месторождения — Медвежье.

Это был завод, вполне современный и высокоавтоматизированный, выстроенный за полгода «с воздуха», как выразился Петр Алексеевич, то есть смонтированный главным образом с помощью авиации: тяжеловесов «АН-12» и вертолетов, которые умеют даже вести монтаж конструкций.

— Неужели с воздуха и за полгода?— искренне удивился я, когда мы по морозцу, по ременно скрипящему под ногами снегу подошли к массивной коробке ГПГ.

— Именно так. Энергия всегда адекватна масштабу цели,— сказал Петр Алексеевич.

Позже я понял, почему мой спутник завез меня сначала на ГПГ: ведь из Надыма мы могли бы сразу вылететь на трассу, к месту обрыва труб. Он хотел обязательно показать мне этот завод, поистине уникальное сооружение в тундре, это царство труб, многие из которых были сделаны на Уральском трубопрокатном заводе.

Уральские трубы я узнал сразу, едва мы попали в цеха ГПГ. Здесь всюду были трубы, емкости, компрессоры и снова трубы, трубы. Их нельзя было увидеть разве только на пульте управления — в большом светлом зале с подковообразным столом диспетчера, с приборами, занимающими всю стену.

Такие пульты мы видим на современных электростанциях, там, где царит полная и совершенная автоматика. Там это кажется привычным, в наших обжитых индустриальных районах. Но здесь, в пустынной лесотундре, автоматика производила особое впечатление, скажу больше — удивляла. Холодная, снежная пустыня и какой-то удивительный оазис индустриального совершенства — уровень двадцатого века!

Дежурный инженер, а их всего шестеро, обслуживающих станцию, рассказал мне, как здесь с помощью автоматики регулируют работу скважин, устанавливая нормы отбора газа из подземных кладовых и очищая его. «А повышенные отборы», как выразился инженер, ведут к истощению недр, нарушают технологию.

— А вы знаете,— сказал Петр Алексеевич,— «надым» по-ненецки означает «счастье».

— Случайное совпадение?

— С чем?

— Ну, с открытием гигантского месторождения.

— Может быть, и случайное, но поговорите здесь с людьми, и вы почувствуете, что они считают счастливыми и город, и месторождение, и этот завод.

Признаться, я уже не раз замечал, что отблеск большой удачи, даже если это касается открытия месторождения, ложится затем в какой-то степени и на судьбы людей. Ну, а то, как добывается это счастье в здешних условиях, это я мог теперь наблюдать сам.

Осмотрев завод, на это ушло не более часа, мы снова подошли к вертолету.

— Теперь куда, на трассу?— спросил я, испытывающий естественное нетерпение человека, которому хочется поскорее добраться до конечной цели пути.

— Да, но не знаю, как мы там сядем,— сказал Петр Алексеевич.— Болота-то ведь замерзли.

Я вспомнил, как мне пришлось однажды садиться на вертолете летом в тундре на Ямале; командир корабля, коснувшись колесами топкой земли, не заглушил мотор, лопасти винта, вращаясь, держали тяжелую машину «в подвешенном состоянии», не давали ей основательно погрузиться в болото.

— Замерзла топь, замерзла,— подтвердил Петр Алексеевич,— но каков там снег, метра на полтора. В нем тоже завязнуть можно.

— Ну, тогда сбрасывайте меня с парашютом как одного из виновников обрывов труб, я ведь много писал об этом заводе.

— Ну нет, с гостями нашими мы так не поступаем. Сейчас свяжемся по рации с бригадой трубоукладчиков на участке испытаний труб, пусть они нам расчистят место для посадки вертолета да и костры зажгут, чтобы их обнаружить точно, где они там копошатся.— И Петр Алексеевич показал мне рукою на дверь вертолета.— Прошу на борт, как говорят здесь. Вы еще не очень устали от полетов?— спросил он.

— А если и устал, то что ж из этого! В каждом деле есть своя профессиональная необходимость и свои перегрузки. Документальная литература, она, знаете ли, тоже требует здоровья. Хлипкие люди ни у нас, среди очеркистов, ни на заводах, как вам известно, долго не держатся,— сказал я.

— Ну, а тут-то у нас и подавно. Север!— подхватил Петр Алексеевич.— Есть такое выражение: «Край непуганых птиц». Подходит к нашим местам. Но я бы еще до-

бавил: «Край никого не пугающих вертолетов». Здесь это главный способ передвижения — и связь, и транспорт, и скорая медицинская помощь, и средство для монтажа заводов, и вахты на буровую отправляются не на машинах, а на вертолетах, километров так за двести — триста. Тут это не расстояние. Одним словом, что бы мы делали без вертолетов? Да ничего! — сам же ответил на свой вопрос Петр Алексеевич.— У нас и дети, и старушки летают на вертолетах, так же как в городе ездят на трамваях. И все привыкли. И никого это не удивляет.

— Дороговато все-таки,— заметил я.

— Дороговато,— согласился Петр Алексеевич,— дешевле было бы на дирижаблях — и вместительнее они, да вот беда — забросили мы дирижаблестроение, а зря,— усмехнувшись, заметил Петр Алексеевич, и я почувствовал, что в тоне его было столько же серьезности, сколько и иронии, однако думать об этом мне, признаться, было уже некогда. Заработал шумный движок вертолета, и Петр Алексеевич плотно закрыл за мною дверь машины.

ПРОБЛЕМА НАДЕЖНОСТИ



До участка испытания мы летели минут двадцать. Испытания проводились газом и под большим давлением; чтобы создать это давление, почти в полтора раза превышающее обычное, необходима была близость к мощному источнику поддержания такого рода нагрузок трубопровода, то есть к компрессорной станции.

Петр Алексеевич показал мне еще с борта вертолета на кажущуюся сверху карточным домиком станцию перекачивания газа, и наш «МИ-8» начал снижаться туда, где горели костры и виднелась слегка расчищенная и утоптанная ногами монтажников и испытателей площадка.

Когда Петр Алексеевич говорил, ему приходилось напрягать голос, чтобы преодолеть шум от двигателя и вращения винта. Между прочим, он сообщил мне, что испытательное давление здесь газом на 10 — 20 процентов выше заводского, гидравлического, и поэтому когда трубы рвутся или искусственно доводятся до разрушения, то и много га-

за теряется безвозвратно, не говоря уже о том, что наносится ущерб окружающей среде.

Я мог себе это представить и не побывав в тундре. Остановить прорвавшийся газ трудно, особенно если происходит так называемое «лавинное разрушение трубопровода», трещины бегут по трубам иной раз на длину двух — двух с половиною километров.

— В США,— крикнул мне Петр Алексеевич,— был такой случай, что трещина пробежала тринадцать километров. Попробуй-ка исправь такую трещину и прекрати утечку дорогого газа в условиях тундры, в болотах!

Я кивнул с пониманием, когда Петр Алексеевич добавил, что потери газа даже при испытаниях значительны. Подсчеты, которые он делал сейчас, видимо безо всякой задней мысли, тем не менее звучали как упрек трассовикам тем, по чьей вине возникают дефекты, кто снижает, вольно или невольно, надежность этих трасс еще при изготовлении труб на заводах.

Вертолет спустился на площадку, и Петр Алексеевич пригласил меня выйти из машины, направиться к участку испытаний. На борту вертолета было сравнительно тепло, хотя немного мерзли ноги даже в валенках, но сколь разительным оказался переход из машины в открытую всем ветрам тундру, где холод тут же начал пробираться и через дубленку, мохнатый шерстяной свитер и теплое нижнее белье.

На трассе «актированными», то есть нерабочими, днями считались такие, когда температура опускалась ниже пятидесяти градусов и при ветре в три балла. Петр Алексеевич сообщил мне, что сегодня всего лишь тридцать пять ниже нуля, по местным понятиям, это тепло.

— Да уж, тепло!— вздохнул я, прикрывая меховой рукавицей рот.— От холода у меня даже заныли зубы...

...Испытательная площадка казалась пустынной. На снегу в отдалении лежали трубы, подвергающиеся испытаниям или уже отбракованные. На площадке стояло несколько щитовых домиков, видимо с приборами, а вокруг, насколько хватало зрения, простиралась белая пустыня, открытое со всех сторон безбрежное заснеженное пространство.

Я начал с того, что попросил своего спутника показать мне трубы, которые были уже забракованы и заменены другими. Вспомнилась фраза Чиркова, произнесенная полушутя-полусерьезно: «Мы и сами иногда рвем заводские трубы». И в самом деле, иные дефекты появлялись на тру-

бах и во время транспортировки на большие расстояния, и в процессе самого строительства. Это могли быть риски, забоины, повреждения кромок, трещины от ударов, деформации.

— Хотите поискать наши грехи? — правильно поняв мои намерения, заметил Петр Алексеевич, и добродушие, с каким это было сказано, допускало, что грехи такого рода могли существовать.

— Я как «болельщик» за свой Уральский завод хотел бы отделить их грехи от ваших,— сказал я в тон моему собеседнику.

— Я понимаю,— кивнул Петр Алексеевич,— найдете тут и то и другое.

Мне понравилась профессиональная честность Петра Алексеевича, он не пытался выстраивать какие-либо спекулятивные гипотезы, целиком возлагая ответственность на завод и выгораживая своих трассовиков.

Трубы, которые мы вместе внимательно осмотрели, кое-где действительно хранили следы небрежного с собою обращения: на темном стальном теле явственно проступали следы вмятин,— должно быть, резко сбросили с платформы на землю, и особенно часто виднелись деформации на концах труб.

— И все-таки,— заметил Петр Алексеевич,— если прибегнуть к статистике, то она говорит о том, что часто разрушение трубы происходит в зоне термического влияния сварочных швов именно заводского происхождения. На нефтепроводах так почти девяносто процентов разрушений по этой причине. Ну а чтобы быть совершенно точным, то «призовые», так сказать, места по числу аварий распределяются примерно так: на первом месте — коррозия труб, тут нет заводской вины, на втором — плохое качество сварных монтажных стыков, на третьем — плохое качество труб, несовершенства технологии и заводских гидроиспытаний. Да вот, кстати говоря, полюбуйтесь.— Петр Алексеевич подвел меня к большой «плети», сваренной из нескольких тридцатиметровых труб.

Я увидел длинную змейку трещины, которая пробежала вдоль всей «плети». Начиналась она в зоне заводского сварочного шва, в этом не возникало никаких сомнений. Это было как раз то разрушение трубопровода, которое принято называть «лавинным».

— На испытании порвались трубы?

— Да, здесь, здесь. Сейчас у нас нет свежего случая

повреждения трубы на трассе, а то мы вас туда обязательно свозили бы, это, знаете ли, зрелище впечатляющее,— сказал Петр Алексеевич.

— Гибель Помпеи!

— Ну, не Помпеи, а все же когда в безлюдной тундре хлещет из-под земли нефть и вылетают ядовитым фонтаном тысячи кубометров газа, отравляя все вокруг, да еще при пятидесятиградусном морозе, то ремонт такой трассы тоже не подарок!

— Да уж!— я развел руками.— Хорошо бы кое-кого из заводских сварщиков привезти сюда, чтобы посмотрели на свой брачок воочию, увидели бы эти богом забытые места. А вы знаете, замерз,— пожаловался я,— вот правой щеки не чувствую, и ноги оледенели.

— Сейчас зайдем в балок, там тепло,— предложил Петр Алексеевич.

В небольшом полуврытом в землю помещении, составленном из овальных металлических секций, утепленных изнутри войлоком, в так называемом балке-вагончике, где жили испытатели труб, было действительно тепло и по контрасту с окружающим даже уютно, ибо наши представления об уюте основываются более всего на относительном сопоставлении.

Вагончик был разделен на отсеки-комнатки, в каждой из которых жили по два-три человека. Здесь все выглядело по-походному скромно, с минимумом мебели, однако кровати были застелены с солдатской аккуратностью, почти над каждой висели веером фотографии родных, этакие уголки памяти и ностальгии по привычным и более приспособленным для человеческого обитания местам.

Вагончик обогревался металлической печкой, гудящей как нефтяная форсунка под напором толстой струи пламени. Пришлось скинуть дубленки. В одном из отсеков Петр Алексеевич присел за небольшой стол, служивший и обеденным и письменным одновременно, и познакомил меня с начальником испытательного участка Иваном Егоровичем.

Это был светловолосый инженер лет тридцати пяти, должно быть, ровесник Петра Алексеевича; его слегка вьющиеся на концах волосы, мягко лежавшие на шее, напомнили мне бригадира Бориса Давыдова.

Мода, как известно, не признает географических границ. Однако ж то, что начальник участка здесь, у Полярного круга, напоминал прической эстрадного певца, меня слегка

смущало, быть может потому, что сам-то я всегда принадлежал к поколению мужчин, которые стриглись коротко.

— Вот наш гость из Москвы,— представил меня Петр Алексеевич,— прилетел посмотреть, как мы здесь рвем трубы Уральского завода.

— Не только Уральского, но и Харцызского, например, и фирмы «Манессман» из Западной Германии,— сказал, усмехнувшись, Иван Егорович и, как бы суммируя всевозможные на этот счет объяснения, бросил кратко:— Север!

— Значит, от импорта труб мы не отказались?

— Не выходит, такие масштабы здесь! А потом, вы извините, у немцев трубы неплохие, скажу как практик, а вот на Уральском заводе к концу года план, видно, сильно гонят, и качество кое-где стало хромать.

Критика была преподнесена начальником участка в облатке добродушной улыбки. Такая же мелькнула и на лице Петра Алексеевича.

— Ну, это вы адресуйте на завод,— сказал я, все еще поеживаясь, как с мороза, хотя уже и отогрелся. Захотелось перевести разговор в другое русло, я спросил, как здесь живется Ивану Егоровичу, не тоскует ли он по дому?

— Никто здесь не хнычет, отпустите, мол, на Большую землю. Есть работа, пусть трудная, но работа, а это, я считаю, главное для мужчины. А жизнь наша, сами видите, живем вот в таких вагонах-городках,— он показал рукою на балок и как бы охватывая пространство вокруг него,— тут у нас маленькая котельная, пекарня, магазинчик, бывает, что и клуб свой.

— Городком-то, пожалуй, эти десять балков не назовешь,— вмешался Петр Алексеевич.

— А мы все равно зовем городком, из уважения, что ли,— не согласился Иван Егорович.— Бывают такие поселения и больше, человек на триста — пятьсот. Городки у нас трудовые, я бы сказал — безалкогольные. Зимою, когда «идет труба»,— он так и выразился: «идет труба»,— никто не пьет, хотя водка кругом продается. А почему?— спросил. И тут же сам ответил:— Не до нее — такая работа. Самый штурм!

— А как заработки?

— На каждый заработанный рубль — два пятьдесят доплаты,— кратко сформулировал Иван Егорович, давая возможность мне самому прикинуть месячный заработок, который здесь у представителей ведущих рабочих профессий был весьма высок. К основной ставке прибавлялись прогрес-

сивка, северная надбавка, полевая. И уже не в первый раз я замечал, что о заработках люди здесь говорят не хвастаясь, но и не прибедняясь, со сдержанным достоинством.

— Не хотите ли закусить, товарищи?— поинтересовался Иван Егорович.— Столовая рядышком.

— Отчего же,— оживился Петр Алексеевич,— что-нибудь горяченькое?

— Обязательно. У нас камбуз — первый сорт! И борщи — флотские. Воткнешь ложку — стоит,— заметил Иван Егорович, обнаруживая знакомство с флотской службою.

— Военный моряк?

— Было. Отслужил срочную после института. Североморец.

Балок-столовая находился рядом. Вплотную к окошку раздаточной, за которым размещался «камбуз», примыкал обеденный стол человек на двадцать. Иван Егорович постучал в закрытое окошко, пошептался с поварихой, и вскоре перед нами стояли тарелки с горячим и вкусным борщом, свежие огурцы и помидоры, редиска, должно быть, парниковые, как, собственно, и все продукты, доставленные сюда вертолетами. Затем последовал большой кусок мяса — «андрикот», как называла его повариха, с гарниром из гречневой каши.

Обед был хоть куда! Иван Егорович предложил «для сугреву» выпить «по стопарю водочки».

— Это уж к вечеру, пожалуй, ибо, возможно, и заночуем у вас,— сказал Петр Алексеевич.

Но и без «стопаря», разгоряченные «жировыми градусами» борща, мы почувствовали себя уютно и раскованно в этом балке-столовой, продолжая разговор, начатый раньше и касавшийся, естественно, тех же труб и испытаний.

— Вот мы сейчас столкнулись с неприятностями,— сказал Петр Алексеевич,— и потому острее видим, как необходима нам серьезная наука о надежности трубопроводов. Для северных условий — особенно. И еще потому, что дальше мы пойдем в сторону увеличения давления в трубе и более резкого перепада температур, ибо газ будем охлаждать.

Я сказал, что слышал об этом.

— Ну, наверно, не только слышали, но и знаете,— продолжал Петр Алексеевич,— раз часто бываете на трубных заводах, что увеличение диаметра эффективно влияет на пропускную способность газопроводов. Однако, видимо, по

разным причинам в ближайшие годы мы остановимся на максимальном диаметре 1420 миллиметров.

— А если делать трубу еще большую?— поинтересовался Иван Егорович.

— Это потребует технического переоснащения всей отрасли. Пока предел 1420 миллиметров,— пояснил Петр Алексеевич.

— Проблема охлаждения газа, она перспективна, но, должно быть, в такой же мере и трудна,— я решил поддержать эту тему, чувствуя, что моего спутника эта проблема живо интересует. И не ошибся.

— Безусловно!— подхватил он.— Но каковы бы ни были трудности — игра стоит свеч! Ты понимаешь, Иван Егорович,— обращаясь к начальнику участка, продолжал Петр Алексеевич,— при охлаждении до минус тридцати градусов и рабочем давлении в сто двадцать атмосфер пропускная способность газопровода увеличивается сразу не более и не менее как в два раза. Так, словно бы мы с тобою еще один новый газопровод построили.

— Да, это здорово!— произнес Иван Егорович, быть может, он услышал об этом впервые.

— Но это еще не все,— подогретый искренним удивлением моим и отчасти Ивана Егоровича, мой спутник продолжал говорить с тем воодушевлением, которое вызывала у него сама мысль о том, что при охлаждении газа, оказывается, прекращаются коррозийные процессы.

— Вот сейчас, когда на улице минус пятьдесят, а газ нагрет до плюс сорока градусов, возникают большие температурные перепады, они влияют на металл, увеличивают динамические нагрузки,— пояснил Петр Алексеевич.

— Вот потому-то и трубопровод лезет из траншей вверх на поверхность,— вставил начальник участка,— и не людей здесь вина, а, так сказать, физики явлений.

— Вот именно,— кивнул Петр Алексеевич.— К чему будет стремиться в ближайшее время наша техническая политика в этой области? К повышению давления и охлаждению газа. Ну и, естественно, при все при этом ужесточатся требования к металлу, к его прочности, надежности. Вот так!

...Мы закончили обед. За разговором время летит быстро, и мы снова вышли на испытательную площадку. Я попросил Ивана Егоровича дать мне с собою маленький образец металла, вырезанный автогеном из дефектной трубы.

— На память. Хотя сувенир и тяжеловат!

— А вообще-то, — спросил Иван Егорович,— не жалеете, что прилетели сюда?

— Нет, не жалею,— заверил я.— Лучше раз увидеть самому, чем десять раз услышать от других. Теперь буду знать, как вы испытываете здесь трубы.

— Ну и лады,— кивнул Петр Алексеевич.— Нам с Уральским заводом еще многие годы надо будет дружить крепко. Я имею в виду не только ежегодные договора на технические условия, обязательные для обеих сторон. Но и вообще наше сотворчество с дальней перспективою.

— Я уверен, что на Уральском заводе думают так же,— ответил я Петру Алексеевичу, но уже прикрывая рукавицей рот, ибо начали сильно мерзнуть подбородок и щеки, покалывало даже веки, и я щурился так, словно бы колючим песком несло из тундры. Во всю глубину белой, холодной, казалось бы, бескрайней пустыни ветер то там, то здесь закручивал витые жгуты снежных смерчей...

ТЮМЕНСКОЕ УСКОРЕНИЕ



Два академика, работающие в Сибири, выступили в «Правде» со статьей «Рождение сибирских темпов», под рубрикой «На соискание Ленинской премии». Статья была подписана: А. Аганбегян и Л. Мелентьев.

Не только уважаемые имена ученых, но и сама по себе проблема, решаемая в Западно-Сибирском нефтегазовом районе, который стал основной топливно-энергетической базой страны, привлекали внимание.

И вновь я вспомнил свои поездки по «стране Тюмении», и встречи с людьми, и все, что удалось увидеть и узнать и на местах, и в техническом отделе министерства в Москве, куда я стал заглядывать для того, чтобы быть в курсе той технической политики, которая осуществлялась на территории, равной по площади Франции, Англии, Италии и Финляндии, но с непроходимыми болотами и тундрой, с суровым климатом.

В статье речь шла о разработке и внедрении метода комплексно-блочного строительства при освоении нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири, и, естественно, чтобы оценить этот метод не только в экономических кате-

гориях, суммарно, обобщенно, а еще и непосредственно, эмоционально, зримо, то есть по-писательски, я вспомнил то, что видел сам или о чем узнал еще в пору первого, пионерского освоения той сложнейшей, уникальнейшей по трудностям проблемы, которую сама жизнь поставила перед нефтяниками.

Буровой мастер Александр Николаевич Филимонов, Герой Социалистического Труда, одна из ярких фигур Тюменского Севера, надолго запомнился мне, быть может потому, что не только судьбою, но и «статью своей» он рельефно ассоциировался с представлением о первопроходчике, покорявшем эти таежные места. Крупный мужчина, слегка седеющий, Александр Николаевич, казалось бы, излучал силу физическую и нравственную.

Филимонов прилетел в район Усть-Балыкских месторождений летом 1964 года и с удивлением застал здесь жару, доходившую в тени до плюс тридцати восьми градусов. Вот уж этого он не ожидал встретить в местах выше шестидесятой параллели.

Лесные пожары — спутники затянувшейся засухи — тоже поражали Филимонова своей неукротимостью, главным образом потому, что укрощать их здесь было тогда нечем. Горели редкие сосновые рощи, пылал кустарник на болотах, густая трава. Но мошкара, которая, казалось, не боялась дыма, не отступала. Прибавьте ко всему этому еще и бытовое неустройство... Немудрено, что кое-кто уже летом потянулся назад, как здесь говорят, на Большую землю, не дожидаясь пугающей всех зимы. Но Филимонов остался, он сразу же привез на Север свою семью, стал на эту землю твердо, прочно.

В Усть-Балыке он бурил одну из первых разведочных скважин, кстати говоря, под руководством главного геолога здешней геологической экспедиции, впоследствии лауреата Ленинской премии, возглавившего в конце семидесятых годов и всю геологическую службу в этом крае,— Фармана Салманова. Тот же Филимонов разбуривал и первые эксплуатационные скважины — его труд лег в фундамент освоения этого месторождения.

Но как осваивались здесь месторождения? В чем была главная, генеральная проблема, решаемая и поныне ежедневно и ежечасно? Это проблема самой технологии покорения болот, их освоения как промысловых площадок. Помнится, что Александр Николаевич Филимонов сформулировал это кратко так:

— У нас в Сибири вышел спор: сваи или грунт? Мы работаем на болотах,— рассказывал Филимонов.— Как пройти по ним, чтобы поставить буровую? Как подвезти к этой буровой тяжелое оборудование и не утопить его вместе с вышкою в трясине? Сперва возникла идея повторить каспийский вариант, устанавливать на болотах, как в море, металлические сваи, глубоко вбивая их в толщу вечной мерзлоты. Затем сооружать на них многокилометровые эстакады. А уж с этих эстакад, со стальных оснований, бурить скважины...

В начале пятидесятых годов автору этих строк довелось побывать на Каспийском море, в тех районах, где начинали добывать нефть, на знаменитых в те годы так называемых Нефтяных Камнях, вокруг которых в море поднялся лес вышек.

Удивительное это было место в море, привлекающее своими нефтяными богатствами, но и опасное. Нередко в тумане корабли разбивались о Нефтяные Камни. Моряки чувствовали приближение опасности по острому запаху нефти, разносившемуся далеко в море. И до сих пор в прозрачной воде около промыслов можно увидеть обросшие водорослями остовы затонувших судов.

Однако ни опасности, ни трудности добычи нефти в открытом море не могли помешать бурному развитию здесь морского нефтяного промысла. В море вскоре вырос город-остров, «полный жизни и огня», как писал о нем Николай Тихонов, а ныне уже это не один остров, а нефтяной морской архипелаг.

Казалось бы, опыт Каспия наталкивал на необходимость повторить его в Тюмени. Но точные аналоги редко повторяются в истории развития техники, всюду возникают свои условия, свои требования, которые диктует время. К тому же, когда речь идет о свершениях такого масштаба, как добыча нефти на море или в тюменских болотах, в споры о выборе варианта втягиваются десятки научных учреждений, множество людей. Так было и на Тюменском Севере.

В конце концов решение было найдено, но это был не тот путь, которым шли на Каспии. Здесь нашли то, что более подходило для Сибири, то, что сулило более быстрые темпы и в конечном счете оказалось дешевле. Так возникла идея заменить сваи и эстакады насыпями из местного грунта. Так создают земляные плотины на реках, когда их сдвигают с обоих берегов, чтобы преградить дорогу потоку воды. Насыпают грунт с помощью экскаваторов или намывают насыпь земснарядами.

И Филимонов рассказывал мне, как создавали здесь сначала земляные островки из глины и песка, затем между ними такие же насыпные дороги с асфальтовым покрытием, а чаще всего — из бетонных плит. Асфальту не выдержать гусениц болотоходов, тяжелых самосвалов, мощной северной техники.

Прошло время, и все увидели, что идея земляных оснований для буровых вышек полностью оправдала себя. Теперь с земляного основания, сооруженного в болотных топях, бурят не одну-единственную, а много скважин. И называется это кустовым бурением.

Однако бурение скважин еще далеко не все. Многообразно, сложно современное хозяйство нефтяного промысла, система транспортировки нефти по трубопроводам. Необходимы еще и кустовые насосные станции. Эти сложные агрегаты, по сути дела, небольшие заводы в тундре, строить их нелегко в условиях Севера.

Как возникла, окрепла, претворилась в жизнь идея комплексно-блочного строительства в Сибири? В таких делах трудно найти того, кто первый произнес первое слово, положив начало разработке идеи. Трудно выделить одного автора, когда, как говорится, идея носится в воздухе, подсказана самой жизнью.

Во всяком случае, в круг «разработчиков» этой идеи с полным основанием входят научно-исследовательские и проектные институты, экспериментальное строительно-монтажное объединение «Сибкомлектмонтаж» со всеми своими заводами и транспортно-комплектовочными колоннами, с укрупненными комплексами, механизированными бригадами во главе с прорабами-бригадирами.

Входят сюда и сотрудники технического управления министерства во главе с Олегом Максимовичем Иванцовым и защитившим недавно диссертацию на звание кандидата технических наук, несмотря на свою огромную занятость, Владимиром Георгиевичем Чирсковым и те товарищи, которые были поименованы в статье «Рождение сибирских темпов»: Ю. П. Баталин, В. А. Аронов, В. Г. Жевтун, М. С. Ройтер, И. А. Шаповалов, А. Ф. Шевкопляс.

Как до внедрения этого метода строились компрессорные, кустовые насосные станции? Достаточно сказать, что строились они примерно года два. На каждую станцию требовалось 70 — 80 рабочих. Примерно треть из них имела семьи. Значит, требовалось еще и жилье, возведенное в тундре.

Пятидесятиградусный мороз! Мороз такой, что в костях звон идет, руки прилипают к железу. И вот надо бить ломами каменную землю, готовить фундамент. А потом по кирпичику возводить стены, чуть ли не вручную гнуть трубы.

Романтика! Выступая на митинге в начале стройки компрессорной станции, один из рабочих-монтажников, Валерий Машанин, так сказал:

«Мы приехали сюда хлебнуть романтики, но не в палатке таежной и не с плотницким топориком в руках. Сегодняшнюю романтику мы видим в техническом прогрессе, и главными бойцами на фронте НТР должны стать, как мне кажется, именно мы — молодые».

Без мощного взлета технического прогресса невозможно себе представить эффективное освоение Тюменского Севера.

В чем же суть современного метода строительства? А прежде всего в том, что комплексно-блочный метод гармонично сочетает промышленное производство с поточной технологией строительства, суммирует их преимущество. Стены кустовой станции изготовляются на заводе, там монтируются и насосы и электромоторы, их настраивают, опробуют, а затем разбирают на блоки с тем, чтобы в таком, разобранном, виде перебросить на месторождение. И на месте монтаж идет из блоков.

Я видел сам, как везут по зимнику двигатели выше человеческого роста, как тащит по воздуху работяга вертолет крупные детали компрессорных станций и монтирует их прямо с воздуха, точно опытный и сильный такелажник. Рабочим на земле остается только скрепить детали болтами, отрегулировать, наладить систему и нажать кнопку «Пуск».

Теперь сроки строительства насосных станций сократились в пять-шесть раз, себестоимость уменьшилась, сохраняется много дефицитного материала. Кроме того, досрочный ввод станции дает стране и немало дополнительной нефти.

Раньше строительные управления забрасывали своих людей на северные точки сроком на два-три года, а людей надо там поселить, устроить, теперь же рабочие постоянно живут на «юге», в городах со своими семьями, и лишь в командировку на два-три месяца отправляются на далекие месторождения... Да, определенно этот новый, как пишут в статьях, «сквозной строительно-технологический конвейер»

имеет не только экономическое, но и человеческое содержание. Людям стало легче жить и работать на Дальнем Севере, и вместо 60 — 70 тысяч, которые бы потребовались при традиционных способах, к работе привлечено только 28 — 29 тысяч рабочих.

А все это, в свою очередь, в сочетании с экспедиционно вахтовым методом обустройства газовых и нефтяных месторождений позволяет ставить вопрос о комплексном освоении отдаленных районов без перемещения туда трудовых ресурсов из обжитых районов. Какая это, если вдуматься, серьезная и благотворная идея обживания подземных кладовых Севера с максимальной заботой о самочувствии, об условиях труда нашего советского человека!

Ну, а если добавить еще, что новый метод хорош не только для Сибири, а уже успешно внедряется в Туркмении или в Коми республике и на Сахалине, иными словами, приобретает значение для всей страны, то понимаешь, что плодотворность этого свершения достойна высокой оценки — Ленинской премии.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СУДЬБЫ



ак бы ни складывалась жизнь, но если посмотреть на нее внимательно, то увидишь, что в конечном счете человек сам разумный кузнец своей судьбы. Он кует ее из года в год, и прежде всего — трудом, ясно обозначенной целью, желанием долго и упорно идти по избранному пути.

Строитель Геннадий Масленников. Его имя в конце пятидесятых — начале шестидесятых гремело в семье московских строителей. Это был знаменитый бригадир, новатор, заслуженный строитель РСФСР, депутат Верховного Совета, Герой Социалистического Труда.

Период бригадирствования продолжался у Масленникова лет десять и сочетался с яркой и многообразной общественной деятельностью. Геннадий Владимирович был членом Ревизионной комиссии ЦК КПСС, занимался общественными делами в Моссовете, в профсоюзных организациях, много ездил и по стране и за рубеж, распространяя свой опыт строителя.

В те годы он и начал учебу в строительном институте, учился долго, лет восемь, ибо сочетал учебу с работой, и, еще будучи студентом-заочником, возглавил строительное управление, то самое, в котором начинал рабочим, бригадиром. Затем он получил должность заместителя начальника УЖС — управления жилищного строительства, существовали тогда такие управленческие звенья, связующие главки с домостроительными комбинатами и трестами.

В ту пору я впервые и познакомился с Геннадием Владимировичем. Он мне сразу понравился той человеческой одаренностью, которая просматривалась во всем, что он делал. Высокий, стройный, темноглазый и темноволосый, хороший оратор, обаятельный человек, с умом живым и проницательным, он как бы подтвердил ту мысль, что если человек талантлив по-настоящему, то не только в чем-то одном, а во всем, что он умеет и хочет делать.

Закончив заочно институт и получив диплом, Геннадий Владимирович удивил многих, в том числе и меня, неожиданным решением. Дело в том, что, став дипломированным инженером, он мог бы укрепиться на своей должности, а затем продвигаться выше по служебной лестнице, однако он предпочел другое. А именно — пошел добровольно «вниз», попросил себе должность начальника строительного управления, которую занимал еще до своего выдвижения в УЖС, иными словами, спустился на две ступени по той самой должностной лестнице, по коей еще недавно стремился подниматься.

Работа аппаратная, не обеспеченная правом самому принимать решения, была явно не по нему. Поэтому он и ушел из УЖС, стремясь ближе к переднему краю строительства, к непосредственному возведению домов.

Масленников несколько лет возглавлял четвертое строительно-монтажное управление хорошо знакомого мне Домостроительного комбината № 1, и я частенько в те годы бывал в его «штабе», расположенном вблизи проспекта Мира и Рижского вокзала.

Но вот лет пять тому назад Масленников был направлен на работу в дружественный нам Афганистан. В Москву стал наезжать изредка, лишь во время отпусков. О его жизни, делах я узнавал теперь лишь через общих знакомых — строителей того же ДСК-1, с которым Масленников продолжал общаться, ибо свой московский комбинат любил и туда заглядывал.

Ну, а что касается его имени, раньше так часто мель-

кавшего в газетной хронике, то оно, естественно, там больше не появлялось, и, как водится в таких случаях, всякая популярность, не обновляемая постоянным общественным вниманием, стала постепенно затухать.

Но вот весной 1980 года, развернув газетный лист, я прочитал «Репортаж из Кабула», в котором очень уважительно упоминалось имя Геннадия Владимировича Масленникова.

«На территории КДСК (Кабульский домостроительный комбинат — так расшифровывается это слово) можно повсюду увидеть знаменитые передвижные «бытовки». И как тут не вспомнить 1957 год, Ленинский проспект Москвы, грандиозное строительство и первую, самую первую передвижную масленниковскую «бытовку», положившую начало целому движению в строительстве за лучший быт на рабочих площадках. Та, первая «бытовка» Масленникова трансформировалась со временем в «бытовки» серийного производства. Верный своему принципу, знаменитый строитель и здесь, на земле дружественного Афганистана, крупное дело начал с заботы о людях, условиях их труда».

Прочитав это, я тоже невольно вспомнил то, что происходило двадцать три года тому назад, когда еще совсем молодой Масленников только-только начинал свое восхождение к вершинам опыта, мастерства, своей известности.

...В мае 1957 года Масленникова вызвали в трест Мосстрой-3.

— Знаешь что, Гена,— сказал ему управляющий,— нам поручили крупноблочное строительство. Первый дом. Первенец! А дело там дрянь.

— Что так? — удивился Масленников.

— Технология новая, люди не подготовлены. Бригадир пьяница, ребята его не слушают. Вот констатация фактов. А выводы делай сам.

— Почему я?

— Потому что иди и принимай команду,— сказал управляющий.

Масленников был ошеломлен. Он долго бился после того, как из аппарата ВЦСПС пришел на стройку, чтобы создать хорошую бригаду, а тут бросай ее, начинай в новой все сначала...

— Ты же коммунист, Гена,— сказал управляющий.— Правильно? Вот и порядок! Успеха тебе, вопрос будем считать решенным.

— Я пришел утром на крупноблочную стройку,— рас-

сказывал мне потом Масленников,— вижу, ребятки из ночной смены сидят на перекрытии, рядом бутылочка горькой, зеленые огурчики.

«Здорово, Гена! Ты чего это к нам?» — весело кричит один из ребят.

«Да вот бригадиром».

«Да что ты говоришь! Здорово! Садись, выпей с нами».

Я поднялся к ним на площадку, взял посуду, посмотрел на солнце через стекло. В посудине еще булькалось граммов триста. Я взял бутылку за горло и разбил о камень.

Что было! Ребята чуть не сбросили меня с третьего этажа. Правда, сбросить меня трудновато. И вес и рост приличный, отпечатано крупно. Прогнал я эту компанию домой и стал ожидать утреннюю смену. А когда пришли люди, я начал с ними разговор, «держал тронную речь». Я сказал, что пьяниц не потерплю, тому, кто любит пожить за счет других, скатертью дорога, случайные люди нам не нужны и время легкой наживы для лодырей кончилось. С этого часа и навсегда.

Много потов я тогда согнал с себя, многое ломал, поправлял, а все-таки пятиэтажный первенец мы за два с половиною месяца подвели под крышу. А первого мая эта самая бывшая «пьяная бригада» получила диплом бригады коммунистического труда, тот, что находится сейчас в Историческом музее, а мы все стояли, принимая поздравления, на сцене Зала имени Чайковского. Вот так!

Вот она, первая бригада коммунистического труда среди строителей Москвы. Я смотрю на старый, слегка пожелтевший снимок, хранящийся в альбоме Масленникова. Сам он в центре — выделяется крупным торсом, в белой рубашке с широко распахнутым воротником, широко улыбающийся не для фотографа, а, чувствуется, оттого, что у него действительно хорошее настроение.

Снимок датирован 1959 годом. Год десятилетия его работы на стройках. И десятилетия со дня опубликования первой заметки о нем в газете. В пятьдесят девятом Масленников уже депутат Московского Совета, секретарь партийной организации управления, член Президиума ЦК профсоюза строителей.

Я смотрел на этот снимок и думал, что эта бегло рассказанная мне история конечно же сюжет для повести о ломке и становлении характеров, о переменах, которые за короткий срок произошли в рабочем коллективе.

В 1961 году Геннадия Владимировича в числе лучших

бригадиров Москвы вызвали на совещание в Главмосстрой. Речь шла об организации домостроительного комбината в столице. И докладчиком выступил первый его начальник Валентин Николаевич Галицкий.

— Я сразу почувствовал, что это дело с большим будущим, может увлечь на многие годы,— вспоминал Масленников.— Галицкий еще не закончил доклад, а я в душе уже решил для себя вопрос, что пойду работать в этот комбинат.

Новый комбинат основывался на идее полной индустриализации строительства, внедрения промышленных методов, потока, неукоснительно выполняемого графика. Строительная площадка как бы превращалась в цех огромного предприятия под открытым небом, осуществляющего весь комплекс домостроения — от изготовления сборных деталей на заводах до сдачи готовых домов в эксплуатацию.

Когда Масленников решил со своей бригадой перейти в ДСК — так сразу сокращенно начали называть домостроительный комбинат,— ему пришлось часть людей оставить в тресте и снова лепить из частей целое, снова подбирать монтажников, приучать их к своему стилю работы. Воспитывать людей и складывать коллектив.

Он как-то сказал мне:

— Опять я долго вил свое гнездо. Трудно пришлось, зато и вырастили новых соколов в нашем деле...

Новые соколы строительства! По-моему, хорошо сказано. Я потому привел некоторые подробности из примечательной биографии Геннадия Владимировича, что действительно из «гнезда Масленникова» вылетели в большую жизнь многие из тех, кто ныне мощно расправил свои крылья,— Владимир Денисов, Александр Гусев, Владимир Копелев, Анатолий Суровцев. Их имена я часто читаю в газетах, на московском строительном небосклоне ныне это заметные и яркие индивидуальности. Однако ж каждый из них в разные годы ощутил благотворное влияние своего бывшего бригадира в той же мере, как и дружба со своими учениками оставила заметный и глубокий след в душе Масленникова.

Более двадцати лет назад Масленников организовывал первый в Москве домостроительный комбинат, теперь он создал первый домостроительный комбинат в Кабуле, по образу и подобию московского. Теперь он — главный советский специалист в КДСК, пестует в столице Афганистана новых соколов строительства. Ну разве это не интересно

и не примечательно для продолжения судьбы Масленникова, для типических примет современной рабочей жизни восьмидесятых годов!

К сожалению, в Кабуле встретиться с Масленниковым мне пока не довелось, но я не раз виделся с ним в Москве, расспрашивал его о работе, жизни в Афганистане.

История комбината, в котором теперь работает Масленников, такова. Он был заложен в 1962 году на основе соглашения между СССР и Афганистаном. Три года спустя главный производственный корпус, снабженный оборудованием из нашей страны, был передан в дар афганскому народу. С тех пор комбинат вошел в строй действующих. Однако его бурное развитие стало возможным лишь после Апрельской революции.

Из окон кабинета Масленникова видны взлетно-посадочные полосы Кабульского аэропорта, сине-белые пассажирские самолеты афганской авиакомпании «Ариана», вдали новые большие дома, построенные комбинатом и разметавшие недавние трущобы, убогие жилища. Люди, поколениями жившие в звериных норах, получили наконец достойное человека жилье.

— Комбинат,— рассказывал мне Масленников,— это яркий пример бескорыстной помощи нашего народа дружескому Афганистану. Его породило чувство пролетарского интернационализма, которое приобрело в Кабуле осязаемую конкретность для всех тех, кто становится новоселами новых благоустроенных домов. За время существования комбината сдано 210 тысяч квадратных метров жилья. В понятие «сдано» входит, естественно, и благоустройство дворов, улиц, посадка деревьев, озеленение города.

Развитие комбината идет как бы по двум направлениям,— продолжал Геннадий Владимирович,— растут объемы самого строительства в Кабуле и одновременно производственные мощности комбината. Мы строим немало и для афганских рабочих, которые становятся кадровыми сотрудниками комбината, вселяем их в квартиры с холодной и горячей водой, благоустроенными кухнями, ваннами, рядом с жильем и кварталами встают школы, никогда здесь ничего подобного никто не строил. Ведь достаточно вспомнить, что еще недавно рабочие на стройке не могли даже умыться. После смены в грязном они ехали домой, где тоже не было ванной. И так изо дня в день, с работы и на работу люди отправлялись испачканные в масле, в цементной пыли.

Борьба за достойное человека существование, стро-

ительство нового Кабула происходит в обстановке жестоких схваток с силами реакции. Посмотрите газеты весны восьмидесятого года, когда Геннадий Владимирович приезжал в Москву, чтобы отпраздновать в столице в кругу семьи и друзей свое пятидесятилетие. Взгляните на газетные полосы, и вы увидите сообщение о бандитских налетах наемников империализма на мирное население Афганистана. Вооруженные автоматами, пулеметами, гранатами американского и китайского производства, щедро обеспеченные взрывчаткою, эти банды бесчинствовали в стране.

Газеты в те дни сообщали о действиях банд Адам-хана и Пандча-хана, других наймитов агрессивных сил, которые обстреливали дороги, разрушали мосты, уничтожали склады, насильно уводили в горы молодежь, забирали продовольствие, а если какая-либо деревня пыталась оказать сопротивление, ее сжигали.

Масленников видел это своими глазами. Он хорошо знаком со многими истинными патриотами, сынами нового, революционного Афганистана. Не раз он видел их в серых грубоватых мундирах, поднимающих цепи в атаку, падающих под бандитскими пулями. Часто видел в ночных патрулях в Кабуле вблизи домостроительного комбината, где трудились такие же патриоты, готовые в любую минуту сменить рабочую спецовку на военную форму. Видел, как они охраняют заводы, банки, школы. Это они, новые друзья Геннадия Владимировича Масленникова и его товарищи по работе, сменив меч на орало, военную службу на мирную, учились и учатся управлять экономикой своей страны, строить заводы и фабрики, университеты и школы, учатся налаживать новые взаимоотношения в труде, в распределении народных богатств, учатся новой, социалистической морали.

Помнится, Геннадий Владимирович рассказывал мне о директоре домостроительного комбината Али Балуче. Этот еще сравнительно молодой специалист, человек веселый и любознательный, всегда говорит, что любовь к его профессии архитектора ему привили советские специалисты. У советских людей Али Балуче и его товарищи учатся еще и такому, как он выразился, «неинженерному искусству», как энтузиазм, который оплодотворяет любое творческое дело.

А поле для применения энтузиазма в новом Афганистане — огромно. В том числе и в домостроительном комбинате. Здесь все дается немалыми усилиями. Строитель-

ная индустрия создается заново. Существовавшие ранее десятки мелких фирм не отвечали требованиям современного индустриального строительства, его темпам, его масштабам. Комбинат в Кабуле сам создал для себя заводскую базу, так же как это когда-то с помощью самого Масленникова делалось в Москве, на Красной Пресне.

Теперь КДСК, и Масленников говорил мне об этом с гордостью, решает самостоятельно все проблемы градостроительства, выполняет заказы министерства энергетики, сельского хозяйства. Конечно, Геннадий Владимирович скромно умалчивал о своей личной роли в становлении комбината, в творческой передаче советского опыта. Но можно ли сомневаться в том, что этот вклад советских специалистов был, есть и будет весом и результативен.

Кабульский домостроительный комбинат на подъеме, расширяется, укрепляется. Здесь растут и уже выросли новые национальные кадры. Некоторые имена мне называл Масленников: Махат Фазар, Салях Уддин, Мамат Шариф, Анвар Анджи — это строители, которые уже и сами имеют своих учеников, перенимающих у них мастерство.

Но растут в Кабуле не только новые дома и кварталы. В общем труде укрепляется интернациональная дружба — великое завоевание социалистических стран, ленинской национальной политики. И Геннадий Масленников убежден в том, что мирная жизнь скоро воцарится во всем Афганистане. Народ сможет полнокровно осуществить завоевания Апрельской революции, самобытной, неповторимой во многих своих чертах и особенностях, но развивающейся по той общей коренной закономерности, которая была увидена и предугадана великим Лениным, проверена в русской революции и теперь победоносно подтверждается в новом Афганистане.

Отпраздновав свое пятидесятилетие — возраст мудрой зрелости и первого подведения итогов уже пройденного жизненного пути,— Геннадий Владимирович вернулся в Кабул на свою нелегкую, ответственную и, право же, очень интересную и увлекающую его работу. Когда мы его провожали на работу в Афганистан, ни сам он, ни кто-либо из его друзей не могли предположить, что этот казавшийся всем нам тихий уголок в Средней Азии привлечет к себе внимание всего мира, станет средоточием острых социальных и революционных конфликтов нашего времени.

Геннадий Масленников оказался в гуще больших со-

бытий, революционных изменений. В этом есть своя логика, своя закономерность продолжения судьбы. Ведь тот, кто в наше время строит дома, возводит не только стены, но и новые взаимоотношения между людьми, строит еще и новую жизнь.

СНОВА НА ЮЖНОМ ПЛАЦДАРМЕ



ак-то вот так получалось, что мои писательские маршруты после сорок седьмого не приводили меня больше на «Азовсталь», в красивый город у моря. Не видел я и Якова Павловича Куликова до весны 1980 года, но прежде, за шесть лет до этой встречи, неожиданно для себя получил письмо из Днепропетровска:

«Уважаемый тов. Медников. В газете «Труд» 10 февраля 1974 года прочитал Вашу статью «Командировка на всю жизнь» и вспомнил наши встречи на «Азовстали». Вы написали потом очерк «Свет на азовском берегу»; есть в этом очерке два подраздела под названием «Военная хватка» про меня.

В то время все мы, оставшиеся в живых, вернулись с фронта к мирному труду. Работал я начальником смены доменного цеха, потом заместителем начальника цеха, затем начальником доменного цеха, главным инженером завода, директором завода «Азовсталь».

Вместе с заводом рос и я. Стал Героем Социалистического Труда.

Потом работал начальником Главного управления металлургических заводов Украины, затем заместителем председателя Украинского Совнархоза, а с 1965 года работаю министром черной металлургии Украины. Член ЦК КПУ, депутат Верховного Совета СССР.

На заводе «Азовсталь» проработал в общей сложности (до войны и после) 14 лет, прекрасный завод, прекрасные люди, и считаю его родным домом. По долгу службы мне часто приходится там бывать, встречаться со знакомыми, но время неумолимо бежит, и многих уже нет в живых. Своей статьей в «Труде» Вы воскресили в памяти воспоминания о тех днях, навеяли на меня, я бы сказал, лирическое настроение. Спасибо Вам! Будьте здоровы! Желаю дальнейших успехов в Вашей литературной деятельности».

Эта добрая весточка из Днепропетровска, в котором находится Министерство черной металлургии Украины, не только обрадовала, но и глубоко взволновала меня. И тем, что инженер с четвертой азовстальской домны стал министром, и тем, что он остро и живо помнит далекие сороковые годы и своих прежних товарищей, нежно любит и чтит свой «родной дом» — завод «Азовсталь», и тем, наконец, что он вспомнил и наши давние встречи и при всей своей занятости нашел время, чтобы написать это письмо.

Глядя тогда на эти странички письма, написанного от руки и в «лирическом настроении», не на официальном министерском бланке, а как письмо давнему знакомому, глядя тогда на четкие строчки крупного, уверенного почерка, дышащие теплотою и искренностью, я ощутил еще и чисто профессиональные радость и удовлетворение от того, что жизнь героя моего давнего очерка сложилась именно так. И в этом мощном разбеге судьбы бывшего рабочего, фронтовика, коммуниста, государственного деятеля я увидел ясно проглядывающие фабульные контуры новой книги, которую я, возможно, напишу.

Пока же у нас с семьдесят четвертого года завязалась переписка. Яков Павлович не раз приглашал меня приехать в Днепропетровск, но все как-то не складывались обстоятельства, пока наконец в мае восьмидесятого мне довелось приехать в Харьков на Всесоюзную творческую конференцию писателей и критиков, посвященную отображению в литературе НТР и жизни современного рабочего класса.

Конференция эта сопрягалась с проведением Дней литературы на Украине, в пяти областях, в том числе и в Днепропетровске, куда выехала представительная, многонациональная делегация писателей.

Мы жили несколько дней в гостинице, ее окна выходили на прекрасный парк имени Тараса Шевченко, который с крутого правого берега спускается к синему раздолью широкого и могучего здесь Днепра.

Я не погрешу преувеличением, если скажу, что выросший на крутом, словно натянутый лук, изгибе Днепра сегодняшний Днепропетровск красив и величав. Это не признание туриста, заглянувшего в город на несколько дней, а ощущение человека, который более шестидесяти лет тому назад родился на этой земле, на одной из рабочих окраин города. Это впечатление очевидца и свидетеля того, как рос, мужал, набирал силы и расцветал Днепропетровск в

годы Советской власти, как, говоря строчками стихов, «из тихого, безвестного местечка он стал гигантом — городом Труда».

Когда смотришь на Днепропетровск с высоты пролетов его мостов, то с одной стороны у самой воды, словно бы вышедшие из нее, встают белыми великанами современные корпуса новых районов, а на другом берегу поднимаются на трех холмах утопающие в зелени жилые массивы с великолепной набережной. И кажется, весь город как бы заключил в свои богатырские объятия Днепр.

Днепропетровску — Екатеринославу — недавно исполнилось двести лет. Однако, как говорят здесь, у города молодое сердце. Годы не старят Днепропетровск, потому что в историю его гармонически вписывается работа все новых и новых поколений. Идет перекличка десятилетий труда и творчества. Иные страницы этой летописи свершений особенно памятны. К ним относятся и героические сороковые, когда на Днепропетровщине областную и городскую партийные организации возглавлял Леонид Ильич Брежнев.

Ныне Днепропетровск — один из бастионов нашей южной индустрии, город могучих заводов и множества научных и учебных институтов; территория, которую он занимает, равна территории Ленинграда, больше Харькова и в два с лишним раза превышает площадь Баку.

Безбрежным морем электрического света встречает вечерний Днепропетровск своих гостей. Но еще, пожалуй, красивее город утром, когда воздух напоен свежестью Днепра и ароматом многочисленных скверов, бульваров и парков. Подымитесь весною на один из больших холмов города, и вы почувствуете, как неповторимо благоухает здесь, на днепровских берегах, акация.

Я пишу об этом, потому что именно в мае бродил вместе со своими товарищами по городу, поднимался на холмы и шагал по набережной, любовался воздвигнутым на крутом откосе Днепра тридцатиметровым монументом Вечной славы, видел воочию крутой берег, который форсировали наши войска в сорок третьем году, а затем осматривал в Историческом музее замечательную диораму «Битва за Днепр», полную художественной правды и впечатляющей силы.

Я пишу об этом потому, что именно в такое весеннее солнечное утро я подошел к массивным, с медными ручками дверям большого, шестиэтажного здания Министерства черной металлургии и в ожидании встречи, волнуясь, с то-

мительным стеснением в груди, поднялся по лестнице в кабинет министра.

Тридцать три года — солидный срок! Я вряд ли мог рассчитывать на то, что узнаю Якова Павловича, если бы случайно встретил его на улице. Но ведь в эту минуту я знал, к кому вхожу в кабинет, и поэтому сразу же припомнил и внимательный взгляд серых глаз из-под густых и темных бровей, и высокий открытый лоб, облагораживающий мало поседевшую, красивой лепки голову, и четкий рисунок губ, а главное, то общее выражение целеустремленности и твердости, соединенное с естественным добросердечием, которое мне запомнилось как определяющее в характере азовстальского инженера сороковых годов, и ныне, слава богу, оно не исчезло и у министра.

Яков Павлович с живым интересом взглянул на меня, я молча смотрел на него; мы сдержанно улыбнулись в эту первую минуту и, быть может, не очень весело. И это оттого, что слишком велика была пауза в нашем диалоге, начатом в сорок седьмом, что много воды утекло, и оба мы, конечно, изменились. Так ведь года, как бы они ни были прожиты, все-таки не красят.

— А глаза у вас все такие же,— сказал мне Яков Павлович, выделив неизменными только глаза и не определив, какими же именно они остались. В эту минуту я тоже подумал о глазах, но уже не о своих, а министра Куликова, ибо вот они-то действительно по-прежнему излучали живой, теплый свет и энергию, выражая, видимо, неменяющуюся сущность души и характера.

Что сказать о первых минутах нашего свидания? Они были согреты тем самым лирическим настроением, о котором мне однажды писал Яков Павлович. Воспоминания освещают прошлое и как бы высветляют его. Словно бы смотришь на пережитое через окуляры бинокля, и тогда укрупняются наши представления о главном, самом важном — в людях, судьбах, событиях.

Мы сидели, наверно, с минуту молча, привыкая к этой сразу же возникшей теплоте взаимоприятного свидания. И только потом, после длинной паузы, начали разговор. О чем же? Ну конечно, о наших общих знакомых, о тех, кого знали, кого помнили на заводе «Азовсталь».

Но прежде, и я оценил этот акт доверительности, Яков Павлович показал мне семейные фотографии внуков, дочерей, жены.

— Супругу мою, Раису Захаровну, вы, конечно, помните молодой?

— Да, конечно,— сказал я.

— Я ведь с нею познакомился на Севере, на фронте, в нашей части она была санинструктором. Воевала в танковой части, награждена. Скажу прямо, многим, очень многим ей обязан в жизни — ее сердцу, уму и той верности друга, десятилетиями идущего рядом, которому нет цены.

Что ж, и я скажу прямо. Меня не удивили откровенность и душевный жар этого признания. Семья, сложившаяся в огне боев,— дорого стоит! Люди, пережившие вместе так много, конечно, особой мерою чистоты и верности, взыскательности и доброты оценивают все, что происходит с ними. Да и так ли много спустя тридцать лет осталось в наши дни таких благородных союзов сердец!

Я спросил у Якова Павловича о брате Николае.

— Жив. Двадцать пять лет проработал в Нижнем Тагиле, а сейчас в Болгарии — наш консультант на одном из заводов. Жив Семен Сроелов,— продолжал Яков Павлович. Сроелов был одним из героев послевоенного восстановления домен на «Азовстали».

— А Максим Горбуля — горновой?

— Жив и Горбуля, он сейчас на пенсии, их было три брата Горбули, и все работали у нас на заводе. Ну и вы прекрасно знаете,— заметил Яков Павлович,— что Владимир Владимирович Лепорский — Герой Социалистического Труда и директор завода «Азовсталь».

Мне надо было бы в те дни самому слетать на завод «Азовсталь», но я, к сожалению, не мог этого сделать, потому что в Харькове через несколько дней — прерванная на поездки писателей в области — конференция вновь приглашала своих делегатов на обсуждение докладов. А хорошо бы, конечно, походить по знакомым дорожкам, посмотреть на столь памятную мне теперь уже «старушку четверку» — домну, на которой работали Куликов и Горбуля, заглянуть и в «старый мартен», где впервые в сорок седьмом я увидел высокого, худого, с легкой походкой человека, умного, ироничного, что не мешало ему быть одухотворенным поэзией металлургии, увидел начальника цеха, ныне уже покойного — Владимира Владимировича Лепорского.

Пока же пришлось удовлетвориться информацией министра о том, что облик «Азовстали» уже в пятидесятые годы начал в корне изменяться — появились две новых доменных печи объемом 1513 и 1719 кубических метров, четыре

качающиеся мартеновские печи емкостью 350 тонн, крупносортный стан «650» и два шарикопрокатных стана. Уже и в том десятилетии производство чугуна, стали и проката возросло на заводе более чем в два раза.

— Ну, а позже,— продолжал министр,— появился здесь уникальный, крупнейший в Европе толстолистовой стан «3600», построены кислородные конверторы в цехе мощностью в 2,5 миллиона тонн, они снабжены автоматическими станциями управления, и многое другое. В общем, вы сейчас «Азовсталь» не узнаете!

— В этом не сомневаюсь,— заметил я.

— Да, жизнь быстро идет вперед, и надо все больше металла, хоть и производим мы его больше, чем кто-либо в мире. А все мало, все не хватает! Одна из причин в том, что не везде и не всегда научились мы по-хозяйски, бережливо относиться к металлу. Ну и, конечно, растут постоянно и неуклонно требования к качеству и эффективности самого производства. Вот вы о чем собираетесь говорить на конференции? — неожиданно спросил у меня Яков Павлович.

— Много различных литературных проблем связано с изображением жизни рабочего класса, технической интеллигенции,— ответил я уклончиво.

— Нет, я имею в виду вас лично,— уточнил он.— Наверно, о людях, об изображении их в литературе, о воспитании. Проблему кадров затронете?

— Применительно к задачам литературы. Если вы имеете в виду разговор о престиже труда, воспитании в труде характеров, личностей, то — да.

— Старые кадры стареют,— живо подхватил Яков Павлович.— На заводах сейчас все решает молодежь, и рабочая и инженерная. А мы вот в последние годы с трудом набираем студентов в наши институты черной металлургии. Порою не хватает молодых рабочих и на заводах. Не хотелось бы широко обобщать, но ощущается некое снижение престижа черной металлургии среди молодежи, которая выбирает себе жизненные пути. Разве писатели рабочей темы могут остаться к этому равнодушными?

— Не могут,— сказал я.— Достоинство рабочего человека, престижность в обществе рабочих профессий нашей литературе следовало бы показывать ярче, убедительнее. Ведь у нас здесь есть прекрасные традиции, идущие от Горького, который всегда рассматривал труд как деяние, как творчество...

Так в нашем разговоре с Яковом Павловичем мы вышли на очень важную тему, которая сразу же определилась для нас обоих как взаимоинтересная. Она затрагивала, с одной стороны, деловые, а с другой — литературные аспекты той сложной, многоплановой — и социальной, и экономической, и нравственной — проблемы, которую мы для краткости частенько именуем просто кадровой.

Конечно, у Якова Павловича были здесь и свои профессиональные пристрастия. Но чего стоит человек, который не любит своего дела, не считает его самым важным, самым интересным!

В одной из своих статей, обращенных к молодежи и названной «Авторитет профессии», Куликов писал:

«Как человек, прошедший путь от рабочего до министра, я искренне советую вам, юноши, ищущие свое место в жизни,— выбирайте профессию металлурга! Вы нужны нам. Вас ждут совершенные металлургические агрегаты, сложнейшие автоматические системы, современная вычислительная техника. Вас встретят добрые и отзывчивые люди, умудренные опытом мастера-наставника, готовые щедро поделиться с вами своими знаниями».

Вспомнив об этой статье, Яков Павлович сказал мне:

— Так это, действительно так. Сейчас на предприятиях министерства насчитывается более четырнадцати тысяч рабочих-наставников. Среди них Герои Социалистического Труда И. И. Стадниченко и В. Н. Довгаль из Кривого Рога, В. И. Денисенко из Никополя, И. С. Терещенко из Днепропетровска, В. В. Никитенко из Макеевки, В. М. Волков из Донецка. Воспитанники заслуженных металлургов работают прекрасно. Многие из них уже достигли вершин мастерства.

Учтите и то,— продолжал Яков Павлович,— что мы много делаем и для осуществления нашей социальной программы, у нас в отрасли сейчас один из самых стабильных и высоких заработков. Упорядочено пенсионное обеспечение. Дополнительные льготы имеют работники основных профессий, желающие вместо ухода на заслуженный отдых продолжать некоторое время трудиться. И «ручной труд мы перекладываем на плечи машин»— есть у нас такой лозунг. К концу десятой пятилетки вдвое сократим объем ручных работ. Есть и еще одно очень важное обстоятельство кадровой проблемы.

Министр сделал паузу. Должно быть, хотел подчеркнуть особую весомость своего сообщения.

— Начиная с 1965 года число людей, занятых у нас в

черной металлургии республики, не растет,— сказал Яков Павлович.— Обратите на это внимание. В то время как год от года вводятся новые мощности, растет выпуск металла. Спрашивается, за счет чего же? Конечно, за счет новой техники, производительности труда. Но и мастерства, квалификации людей. Вот видите, опять проблема кадров, опять люди, люди! Теперь вам ясно, откуда идет наша заинтересованность в общественном престиже труда, почему нам так важно внимание литературы к героям производственной жизни, к молодежи. Да и я как министр, просто по долгу службы, не могу оставаться безразличным к подготовке смены для наших кадровых рабочих.

Над тем, что сказал Яков Павлович, и в самом деле стоило серьезно задуматься. Не просто примечательный, но, я бы сказал еще, и удивительный факт. При таком огромном росте мощностей, новых домен, мартенов, конверторов, прокатных станов — обходиться в течение трех пятилеток одним и тем же числом людей! Не говорило ли это о том, что такая стабильность кадров и есть лучшая основа для динамики развития индустрии, что именно это более всего отвечает задачам времени.

Что же касается убежденности министра в том, что литература, и особенно художественная публицистика, может здесь сказать свое авторитетное и весомое слово, то я ее тоже разделяю полностью. Литература наша возвеличивает труд и поднимает его престиж прежде всего своим вниманием к каждодневному выполнению человеком своего долга перед обществом. Вниманием к духовному миру людей труда. Социальную, нравственную и экономическую эффективность этого внимания литературы нельзя недооценивать.

В конце беседы мы вернулись памятью к сороковым, пятидесятым годам. Это согревало наши души и сближало, как может сближать единомыслие и общность впечатлений. Когда мы уже прощались, Яков Павлович вдруг вспомнил любопытный эпизод, как я понял позже, касавшийся изучения писателями заводской жизни.

— Лет через пять-шесть после наших с вами встреч,— начал Яков Павлович,— я был уже тогда директором завода «Азовсталь», мой секретарь доложила мне: меня хочет видеть писатель. Я пригласил его в кабинет.

Вошел высокий худощавый человек с умным энергичным лицом, назвался Всеволодом Кочетовым и сказал, что задумал написать роман о жизни металлургов и для этого взял командировку от Союза писателей на две недели.

«Очень хорошо,— ответил я ему,— но две недели — это не срок, уважаемый товарищ писатель. Ничего вы основательного у нас за две недели не узнаете. Если у вас есть серьезные намерения, то приезжайте к нам месяца на три-четыре. И поработайте в доменном цехе у летки, и помощником сталевара у мартена, и дублером вальцовщика у прокатного стана. Походите в рабочей спецовке не на экскурсию, а как рабочий человек на смену каждый день, сначала в утреннюю, потом в дневную, потом в ночную. Одним словом, поваритесь в нашем котле, попробуйте наш труд на ощупь — вот тогда у вас появятся добротные впечатления».

Кочетов молча и немного угрюмо, как мне тогда показалось, выслушал меня, поблагодарил и, прожив на заводе две недели, уехал. А потом, через некоторое время, он неожиданно для меня приехал снова, теперь уже с командировкой на три месяца. Как я ему рекомендовал, так он и сделал: поработал и в доменном, и в мартеновском, и в прокатных цехах. Честно говоря, я даже вначале думал, что писатель в первую нашу встречу обиделся на мои советы и больше на заводе не покажется. А он, оказывается, посчитал их разумными, держался в цехах, среди людей скромно, никто, кроме нескольких лиц, и не знал, что он писатель.

Ну, а потом появился роман «Братья Ершовы». Мало кто знает, что он написан на материале нашего завода «Азовсталь». Мы, заводчане, конечно, узнавали там многие детали, приметы, так сказать, нашей заводской фактуры, производственные ситуации. Писатель идейно насытил роман такими гражданственными, нравственными проблемами, которые носили характер больших обобщений, относящихся к жизни всего нашего общества тех лет, это естественно. У Кочетова был бойцовский темперамент, прочные убеждения, партийные принципы, которые он умел отстаивать. Но это уже иной разговор. Просто я вспомнил, как он собирал материал у нас на заводе не путем опроса свидетелей, не как сторонний наблюдатель.

Была ли заложена тональность своего рода дружеского напутствия мне в этой кратко изложенной Яковом Павловичем истории написания романа «Братья Ершовы»? Не знаю. Может быть, и была. Существуют разные методы изучения заводской жизни. Можно и постоянно приезжать к своим героям, прослеживая развитие судеб, характеров, производственных ситуаций, и мне, например, этот метод «длительного слежения», как я его называю, тоже кажется добротным и продуктивным. Важно главное — «не быть сто-

ронним наблюдателем», как верно сказал министр,— глубоко вникать и осмысливать подлинные реалии жизни, ее ведущие тенденции.

ПАФОС СМЕЛЫХ ИНИЦИАТИВ



Здание Днепропетровского обкома КП Украины в нескольких кварталах от Министерства черной металлургии. Красивый белый дом, окруженный островками садиков, в тени которых прячутся вереницы автомашин. Из окон верхних этажей здания видна широкая зеленая река главного городского проспекта, носящего имя Карла Маркса — гордости днепропетровцев, проспекта, который тянется параллельно голубой ленте легендарной реки.

Удивительно широк и привлекателен этот проспект, таким он и был задуман двести лет назад, когда в связи с ликвидацией Запорожской Сечи в 1775 году и образованием Азовской губернии новому краю стал нужен административный центр. Его решили заложить в том живописном месте, где река Кильчень сливается с Самарой. Были составлены сметы на каменные строения губернского центра, однако работы шли медленно, и только в 1778 году в город перебрались губернская администрация, а за нею купцы, мещане, ремесленники — всего две тысячи жителей.

Разрушительное половодье, малярия вскоре заставили искать для города другое место. Указ императрицы Екатерины II от 22 января 1784 года повелевал: «Губернскому городу под названием Екатеринослав быть по лучшей удобности на правой стороне Днепра у Кайдака». Город и в те времена строился с широкими, величавыми улицами и проспектами, как будущая столица юга России.

И теперь, через двести лет, в любую пору года проспект Карла Маркса необычайно привлекателен. Две транспортные магистрали разделяют широкий бульвар, и, скрытые его зеленью, здесь, никому не мешая, бойко позванивая на перекрестках, снуют красные вагончики трамваев. Проспект кажется нарядным и в будние дни, с раннего утра и до позднего вечера он заполнен спешащими на работу, с работы или же гуляющими горожанами.

Здесь, в городе, названном именем рабочего-революцио-

нера Григория Ивановича Петровского, хорошо помнят и не устают напоминать гостям Днепропетровска, что по этой главной магистрали когда-то гуляли А. С. Пушкин и И. П. Котляревский, бывали здесь В. Г. Белинский и великий пролетарский писатель А. М. Горький, художники И. К. Айвазовский и И. Е. Репин, певец Л. В. Собинов. Здесь начинали известные в советскую пору комсомольские поэты Михаил Светлов и Михаил Голодный, проложил первые в истории металлургии швы автоматической сварки под флюсом академик Евгений Оскарович Патон, тут ученым удалось разгадать тайну булатной стали, впервые использовать кислород для ускорения выплавки металлов.

«Жизнь города. Она не только в 240 тысячах километров, которые пробегает за сутки весь городской транспорт — вшестеро больше земного экватора, жизнь города вся в делах человека. В том, что он создает металлические марши мостов и пишет книгу о своем современнике...» — сказано в путеводителе по книге фотографий, которая вышла к 200-летию города и называется «Зори Днепропетровска».

Надо ли удивляться тому, что в обкоме партии разговор зашел не столько о литературе, сколько о Днепропетровске наших дней, его людях и проблемах. Разговор этот содержал ответы самой жизни на некоторые чисто литературные проблемы, поднятые на совещании в Харькове. Я имею в виду возникший спор о производственных ситуациях и конфликтах, изображаемых в литературе. Было высказано мнение, что анализ человеческих взаимоотношений, которые возникают вокруг разного рода хозяйственных проблем, рано или поздно разрешаемых, может ослабить художественность произведений. В основе их должны лежать коллизии общечеловеческого характера, вечные, непреходящие.

Но большинство выступавших на конференции держалось иной позиции. Они говорили о том, что нам не может быть безразлично, как рано или поздно будут разрешены те или иные хозяйственные конфликты. Лучше, чтобы они разрешались как можно раньше. Конечно, естественно, что каждый писатель взвешивает в своем замысле меру злободневного и, так сказать, вечного, непреходящего. Верно и то, что существуют разного рода проблемы, есть и мелкие, плод различных неувязок и хозяйственных упущений, встречаются и просто ложные, надуманные. Но диалектику нашего движения вперед определяет преодоление тех коренных, существенных проблем, которые заложены в самом поступательном ходе нашей индустриальной истории.

Злободневное и вечное! Разве есть между ними взаимоисключающее противоречие? Разве опыт советской литературы не говорит нам о том, что острая злободневность не только не мешала, но, наоборот, часто порождала литературное долголетие произведений, если они ярко выражали свое время.

Я уверен: то, что не волнует нас сейчас, не взволнует и наших потомков. Что же касается конфликтов в промышленности, в сельском хозяйстве, а именно о них говорил Евгений Викторович Качаловский, первый секретарь обкома, то на преодолении их и вызревают личности, формируются характеры, определяется жизненная позиция героев.

Много в области проблем острых, насущных. Многопроблемность не от бедности, а от богатства, от динамики движения вперед. Чем стремительнее рост, тем и больше трудности роста.

Увлекательно рассказывал Евгений Викторович о хозяйском использовании недр Криворожского и Кременчугского железорудных бассейнов, об эффективном использовании ресурсов, об экономии металла на заводах, о строительстве новых угольных шахт на Днепропетровщине, здесь, в подспорье старому, развивается ныне молодой, так называемый Западный Донбасс, о многом другом.

Очень важны сейчас уроки подлинной деловитости. Нельзя здесь добиться успеха, если не подумать столь же серьезно о кадрах, готовых и способных поставить любое дело по-новому. Ведь о какой бы народнохозяйственной проблеме ни заходила в этой беседе речь, нельзя было не видеть, что лейтмотивом всего этого становилась все та же главная тема — люди! Относилось ли это к промышленности или к сельскому хозяйству, науке, культуре, городской жизни или сельской.

— Наша индустриальная область сама себя кормит,— заметил Евгений Викторович.— И тем не менее нас беспокоит уход людей из села в город. А на селе не хватает рабочих рук, порою тракторы работают в одну смену. Мы много строим,— добавил он,— но больше в городах, а нам надо развивать строительную индустрию на селе и ставить дома хорошие, комфортабельные. В три раза в области увеличилось сельское строительство, и с этим мы тоже связываем наши успехи в самом сельскохозяйственном производстве.

Потом Евгений Викторович развивал эту же мысль применительно к промышленности и, говоря о проблеме кадров,

повторил то, что я уже слышал от министра Куликова. Речь идет о стремлении ограничить в масштабах области, как он выразился, «состав людей на заводах» с тем, чтобы с этим неувеличивающимся числом рабочих и инженеров выполнять все увеличивающийся объем производства.

«Мы этим самым снимем проблему дефицита людей и поднимем высоко престиж заводчанина и ценность того, что человек имеет работу и прочно вписан в свой трудовой коллектив»,— сказал он.

Важная, смелая, на мой взгляд, и очень интересная идея! Ее осуществление требует особо ответственного подхода именно потому, что эта идея безусловно окажет влияние на уровень организации производства, и на качественный отбор людей, и на нравственно-психологический климат в любом заводском коллективе. Ведь в самом деле, как выразился Евгений Викторович, «пьянице уже трудно будет устроиться на работу, ведь нужды-то в людях не будет».

Да, в нерадивых работниках нужды не будет, но зато возрастет потребность в хороших, добросовестных, инициативных. Для тех, кому завод надолго станет родным и дорогим домом, будет «задействована», выражаясь военным языком, и уже эффективно действует широко осуществляемая программа социального развития предприятий.

Об этом стоит сказать особо. Программа эта обширна, многопланова: это и социальная забота о людях, и проблемы комплексного воспитания, сюда входят и трудовые кодексы, предусматривающие меры поощрения, меры наказания в зависимости от количества и качества труда, и так называемая «Служба регулирования морально-психологического климата в производственных коллективах».

Иной раз эту «службу» называют на заводах «Система — Ваше настроение». Любой заводчанин может позвонить, набрав номер, скажем, 05, как вызывают «скорую», на этот раз не медицинскую, а нравственную помощь, и такому рабочему, инженеру ответят, выслушают его заботы и нужды, беды и потребности и постараются помочь.

Не правда ли — привлекательно, необычно, интересно! Если, конечно, «служба настроения» не пустая формальность, не бойкая показуха, а организована солидно, на базе внимания и любви к людям и обладает возможностями не только выслушивать, но и с помощью профсоюзных органов еще и эффективно действовать.

Я знал одного директора, который, размышляя о на-

строении заводчан, любил повторять, что «путь к сердцу рабочего лежит через его желудок». Но вряд ли это так, и говорилось директором более для красного словца. Однако ж сейчас трудно найти хорошее предприятие, где бы не заботились о добавках к рабочему столу, не имели бы своего «зеленого цеха», подсобного хозяйства.

И все же когда в обкоме зашел разговор о том, что в подсобных хозяйствах многих металлургических заводов человек орудует ныне не тяпкой, а выращивает помидоры и огурцы с помощью... пульта управления сельскохозяйственными работами, и такие пульты имеются в крупных совхозах, это прозвучало свежо и ново. Впрочем, как и то, что для оценки деятельности заводского коллектива имеются 650 показателей и эти показатели для подведения итогов закладываются в электронно-вычислительную машину.

Над всем этим стоит задуматься. В последние годы особенным скачком, качественным сдвигом усложнилась и обогатилась рабочая и вообще заводская жизнь. Как много качественно нового в самой природе современных производственных отношений, в этих системах управления и контроля, нравственного воздействия личности на коллектив и коллектива на личность! Как быстро все это входит в заводской обиход, становится реалиями каждодневного труда!

Видимо, можно, да, пожалуй, даже и нужно сейчас вспомнить мне сороковые годы. Можно сравнить сегодняшние были с пятидесятыми, шестидесятыми. Все это поучительно. И все же любые сравнения могут лишь внешне подчеркнуть дистанцию времени, происходящие перемены.

А вот чтобы во всей полноте и глубине осмыслить их, надо, думается мне, прежде всего отчетливо представить себе самое главное. А оно в том, что все новое в этой сфере сейчас широким фронтом повернуто к Человеку, его духовному миру и гражданскому самосознанию современника.

Я внимательно слушал Евгения Викторовича, других секретарей обкома и думал, не без озабоченности, о том, с достаточной ли глубиной мы осмысливаем эти процессы, совершающиеся на наших глазах? Достаточно ли внимательны к новым фактам и идеям в планировании, в хозрасчете, регулировании хозяйственного механизма? Хорошо ли поняли суть новых рычагов и стимулов в мире хозяйствования, в сфере деловой морали, которая входит в жизнь и будет определяющей в годы одиннадцатой пятилетки?

А ведь в этих днепропетровских и харьковских встречах с рабочими, новаторами, хозяйственными и партийными ра-

ботниками, в самом характере откровенных бесед, сфокусированных вокруг волнующих, важных проблем, не заключено ли разве отчетливое приглашение нам, писателям,— вторжением литературы в жизнь, заинтересованным, страстным пером помочь общему делу, обозначить новые рубежи нравственного воспитания героев современной индустрии!

ГОРЯЧИЙ ЦЕХ РЕСПУБЛИКИ



не давно хотелось побывать на Новомосковском трубном заводе. Я слышал о нем немало, несколько десятилетий занимаясь делами трубников, этим вначале небольшим, а потом сильно разросшимся отрядом людей, тесно спаянных профессионально, хорошо знающих друг друга на протяжении многих лет. Одним словом, трубники — одна из славных дружин в огромной семье советских металлургов.

К тому же Новомосковский завод является во многом аналогом Челябинского трубопрокатного, часто называемого «Трубной Магниткой», о людях которого я написал несколько повестей, знаю его досконально и считаю родным еще, так сказать, и по семейной принадлежности. Более четверти века там работает мой брат, Юрий Медников, начавший с рабочего, мастера, теперь он — главный инженер завода.

Открывшаяся возможность деловых ассоциаций, размышлений и поучительных сравнений двух «братьев-заводов», похожих и, конечно, в чем-то разных, представляла несомненный интерес. Я поехал прямо из обкома в Новомосковск, расположенный совсем близко от Днепропетровска, как спутник его индустриальной мощи и славы.

Весь город расположен вокруг завода, живет им, гордится, а сам завод похож на огромный парк, разбросанный щедро на огромной территории, где просторные, вдаль уходящие аллеи могут соперничать, пожалуй, лишь с размерами самих гигантских коробок-цехов.

Это обилие больших деревьев — тополей, дубов, буков, акаций, эти поля зеленой травы, вереницы цветочных клумб и оранжерей прямо на внутризаводской территории вначале поражают, но потом быстро привыкаешь к этому, как при-

выкаешь здесь к самой природе, щедрому на краски украинскому степному раздолью.

Иван Гаврилович Баранцев, хорошо знающий моего брата, коллега его по должности и даже недавно вместе с Юрием Медниковым проведший месяц в Москве на курсах усовершенствования директоров и главных инженеров, когда мы шли по заводу, вспомнил, как один из инженеров-гостей вроде бы в шутку, но с серьезным лицом просил:

— Выдай мне, Иван Гаврилович, путевку к тебе на завод, хоть поваляюсь здесь на травке в твоем парке, отдохну.

Гордость предприятия — трубоэлектросварочный. Он производит 1 миллион труб в год. Огромная цифра!

— Такого цеха нет в Челябинске, нет во всем Союзе,— сказал Иван Гаврилович.

Цех действительно могуч, красив! Он производит впечатление даже на тех, кто не впервые на современном трубопрокатном заводе. Здесь автоматика, казалось бы, совсем вытеснила людей, их не видно в пролетах, но и сами пролеты таковы, что с одного конца цеха не видно другого.

Мне же, едва я вошел под крышу трубоэлектросварочного, почудилось, что я снова в Челябинске, в знакомом цехе. И все же я шагал вдоль станов с тем же удовольствием, которое всегда испытываю, видя длинные линии рольгангов, по которым со звоном катятся трубы, и знакомые эстакады с множеством разветвлений — мостиков, которые все вместе как бы образуют второй этаж цеха.

Эти ажурные сцепления переходов мне всегда напоминают мостики над машинным отделением корабля. В этом внешнее своеобразие таких цехов, их особинка. Здесь, в Новомосковске, вновь встал передо мною образ большого корабля, даже с иллюзией присутствия на палубе, под которой свариваются трубы, озаряемые голубыми звездами искр, мощно гудят станы-машины, словно хотят сдвинуть корабль с места, увести отсюда вдаль. Но корабль-цех все на том же своем месте, на своей вечной якорной стоянке.

Жизнь не стоит на месте, и конечно же здесь, на Новомосковском заводе, я увидел технологические новации, скажем, производство обсадных труб для бурения нефтяных скважин; раньше они делались лишь цельнопрокатными, а теперь сварными, что и дешевле и экономичнее.

Есть и новые методы электросварки газовых труб, но, пожалуй, самое значительное — это экспериментальная установка по производству двухслойных труб, небывалых

доныне в практике трубной индустрии. Об этом стоит сказать особо.

Иван Гаврилович подвел нашу группу к этой установке, разработанной группой ученых во главе с академиком А. И. Целиковым. Она находилась в самом конце цеха. Подошли мы к ней, собственно, по моей настоятельной просьбе. В этот день установка не работала, и мы спокойно взобрались на мостик машины, осмотрели все ее узлы. Труба здесь сначала свертывалась, а затем сваривалась из цельного листа, а не из двух половинок, как в Челябинске, сваривалась в два слоя, что делало трубу и толще и прочнее. Это и было так называемое «специальное северное исполнение».

Люди, мало сведущие в специальных трубных проблемах, догадываюсь, что и мои спутники тоже, не слишком-то внимательно осматривали установку. Ведь для того чтобы оценить ее, надо представлять себе всю трудность строительства северных газо- и нефтепроводов, всю сложность их эксплуатации. Надо знать, что обычные трубы там, за Полярным кругом, в экстремальных климатических условиях и коррозируют и иногда, к сожалению, даже и рвутся.

Двухслойные трубы исключают аварии такого рода, они дают возможность резко поднять давление газа в трубопроводах, а следовательно, их производительность, ликвидировать те стихийные утечки голубого топлива, разрушительное действие которых, увы, мне довелось наблюдать самому в своих поездках по Тюменскому Северу.

Строительство специального цеха двухслойных труб на заводе задержалось.

— Оборудование нам дали, но до сих пор не решен вопрос с финансированием строительства,— заметил Иван Гаврилович,— а жаль! На Севере очень и очень ждут такие трубы!

Я долго ходил с Иваном Гавриловичем по пролетам цеха и невольно думал о том, что такие крупные народнохозяйственные проблемы, как, скажем, строительство магистральных трубопроводов, которые протянулись по всей нашей стране, и изготовление особо прочных труб в северном исполнении не решаются в рамках какого-либо одного региона. Они представляют собою общегосударственную задачу. Далеко от Тюменского Севера, здесь, в Приднепровье, испытываются двухслойные трубы, а на другом украинском заводе, Харцызском, будут делаться трехслойные, в то время как и для украинских, и для Челябинского заводов ста-

льной лист катается на еще более южном заводе — «Азовсталь».

Индустриальный север и индустриальный юг — они неразделимы. Их прочно связывает единый меридиан поисков и свершений, единая цепочка плановых расчетов и технологических достижений, составляющие особенность социалистического метода хозяйствования.

Но еще больше и шире и, я бы сказал, универсальнее любой технологической проблемы встают сейчас на каждом заводе тождественные и объединяющие задачи улучшения хозяйственного механизма, развития народной инициативы, совершенствования демократической основы бригадного метода, который остается основным и в двенадцатой пятилетке.

Естественно, что я заговорил об этом с Иваном Гавриловичем. Меня интересовало, держится ли количественно стабильным состав работающих на заводе, как говорил об этом в обкоме Евгений Викторович Качаловский.

— Да, держится,— подтвердил Иван Гаврилович,— это результат наших заводских усилий, но и не только наших. В городе действует бюро по трудоустройству, оно посылает людей на заводы и, естественно, лимитирует нам рабочую силу. И тут уж хочешь не хочешь, а стабильность поддерживать приходится.

— Ну, а в бригадах? — спросил я.

— Там регулятор — общественный совет бригады и, я бы добавил еще,— заметил Иван Гаврилович,— коллективная совесть. Много раз замечал — хорошая бригада оказывает большое моральное влияние на человека. Рабочий с рабочим разговаривает по-особенному.

— А именно? — заинтересовался я.

— Да вот так, по-рабочему. Меня, мол, связали с тобою заработной платою, так что изволь, не валяй дурака! И выражают свои чувства, не всегда придерживаясь парламентской учтивости.— Иван Гаврилович слегка улыбнулся. И добавил: — Бригадир ведь не тот начальник, которого кто-либо может упрекнуть в разбазаривании кадров. Людей отбирает коллектив. Совет бригады сам выносит каждому рабочему оценку за качество его труда. И поощряет, и взыскивает, если надо. Это не просто административные меры, а совсем иная система производственных взаимоотношений.

Да, совершенно согласен — иная! И не только производственная, но и нравственная, психологическая. Эту новую систему взаимоотношений внутри рабочего коллекти-

ва, богатую содержанием и новациями, приобретающую сложные формы в новых условиях труда, борьбы за эффективность и качество, как мне представляется, еще мало исследует наша художественная публицистика.

...Прошло некоторое время после наших днепропетровских встреч. И вот мне довелось снова услышать об успехах и проблемах нашей южной металлургии, о ее перспективах. Я вновь встретился с Яковом Павловичем Куликовым.

Он приехал в Москву на очередную сессию Верховного Совета СССР дня за два до ее начала (совпало с субботним и воскресным днями), приехал вместе с дочерью и зятем, которые живут в Киеве и были рады возможности повидаться с Яковом Павловичем и посмотреть столицу. Вместе смотрели олимпийские объекты, съездили в музей-парк Архангельское, побывали в Большом театре.

Предолимпийская Москва, с ее особо напряженным в эти жаркие июньские дни ритмом, монументальные и вместе с тем изящные, в духе современной спортивной архитектуры, сооружения произвели на Куликовых большое впечатление. Москва в предолимпийском наряде не только похорошела, но и стала богаче гостиницами, стадионами, приобрел новые контуры высотный силуэт кварталов.

Яков Павлович осмотрел и пляжи на Москве-реке, съездил в Химки, речной порт. Ведь он в молодости долго жил у Азовского моря, а сейчас давно на берегу Днепра, вблизи парка имени Шевченко. Летом, вставая в шесть утра, он в легком спортивном костюме совершает ежедневную прогулку по парку, километра полтора по днепровскому откосу, и, искупавшись в Днепре, возвращается пешком домой.

— Это моя зарядка,— сказал мне Куликов,—и занимает всего час двадцать минут. На работу я не опаздываю,— улыбнулся он.

Я пришел к Якову Павловичу в гостиницу «Россия», в западное ее крыло, окна его номера выходили на Кремль. С высоты десятого этажа открывалась красивая панорама Москвы, во всю глубину просматривался кремлевский холм, знаменитые строения, здание Верховного Совета.

— Дочке и зятю очень нравится этот вид, и для нас с вами это, так сказать, уровень мышления, высота взгляда на события в нашем разговоре,— пошутил Куликов. Потом добавил: — Был у меня сегодня нелегкий день — заседание, потом встречи в союзном министерстве, в ЦК. Обсуждали наши дела, перспективы, проблемы.

Тому, что и в Москве, даже в гостинице, Яков Павлович не мог уйти от своих забот, я тут же стал невольным свидетелем. Едва мы начали разговор, как к Куликову позвонил товарищ, которого он называл Николай Иванович, и я понял, что речь идет о том, что министр приглашает Николая Ивановича занять место директора одного из металлургических заводов. Теперешний, как я понял, не справлялся с обязанностями и уже подал заявление о том, что он переоценил свои силы.

— Приезжайте туда ну вроде бы как на экскурсию, походите по заводу, подышите его воздухом. Я думаю, что завод вам понравится, а силенки у вас есть, и опыт, и добрая репутация. Впрочем, дело не срочное, и я не хочу давить на вас, так сказать, своим авторитетом, взвесьте все не торопясь, подумайте,— говорил Яков Павлович.

— Проблема кадров всегда актуальна, думаешь об этом постоянно,— заметил он, положив трубку.

В это время я просматривал мемуарную книгу генерала Харитона Алексеевича Худалова «У кромки континента», в части которого начинал войну сержант, командир танка Яков Куликов. Генерал пишет о том, с каким же удивлением он узнал через много лет, что герой боев западнее Мурманска, а потом в Норвегии, сержант, впоследствии старший лейтенант, вот уже пятнадцать лет работает... министром.

— Да, время бежит неумолимо,— заметил Яков Павлович,— а работа в промышленности, на заводах особенно, требует и постоянного заряда энергии, и неостывающего увлечения, и здоровья, между прочим. Применительно к олимпиаде я бы сравнил это с бегом на длинную дистанцию. Надо, чтобы это почувствовала молодежь, наше будущее.

В книге «Горячий цех республики», которую Куликов и написал в расчете главным образом на молодежь, есть глава «Заглядывая в будущее». Да и разве можно, не заглядывая в будущее, полюбить это романтическое производство, которое, по словам академика Бардина, «может захватить так же, как сцена, как завоевание воздушных пространств».

«Как бы далеко ни шагнула наука и техника, какие бы открытия ни совершились, людям будущего не обойтись без металла» — так начал эту книгу Яков Павлович. Он пишет затем о перспективах ближайшего будущего металлургии республики, об основных путях и направлениях ее развития.

Тут широчайшее поле применения сил, таланта, поисков. И строительство огромных домен объемом в пять тысяч кубических метров, одна такая печь-гигант уже работает в Запорожье. И интенсификация доменной плавки, и обогащение дутья кислородом, и дальнейшее развитие кислородно-конверторного способа выплавки стали в конверторах емкостью 400—500 тонн, и для качественных сталей развитие электроплавки, это и получение металла из руд без применения кокса, прямое восстановление железа из руд, и создание непрерывного процесса производства труб среднего диаметра методом прессования. Да и многое, многое другое.

Мы подходим в восьмидесятых годах к такому рубежу, когда выплавлять большое количество металла в будущем уже невозможно без атомной энергии. Атомный реактор способен стать неотъемлемой частью металлургического комбината. Весьма перспективны и плазменные нагревательные устройства, и использование в дальней перспективе водорода — топлива, которое станет главным источником энергии для человечества...

Не случайно тогда завязался у нас с Яковом Павловичем разговор о перспективах, о будущем. Ведь за день до открытия сессии Верховного Совета, 23 июня 1980 года состоялся Пленум ЦК КПСС, принявший решение о созыве очередного, XXVI съезда партии. Страна вступала в особую пору подготовки к новой пятилетке, развертывания социалистического соревнования в честь съезда.

Наша партия делает стержнем своей экономической стратегии поворот нашей экономики в сторону интенсивного развития, повышения эффективности и качества, упора на конечные результаты хозяйственной деятельности. Этот переход был начат в семидесятые годы, продолжить и завершить его становится задачей годов восьмидесятых.

Предсъездовскими мыслями и заботами, приподнятым и вместе с тем по-деловому энергичным настроением был в тот день целиком охвачен и Яков Павлович Куликов.

— Завтра улетаю к себе, — сказал он, — в свой горячий цех республики. Будем готовиться к съезду. Я был делегатом Двадцатого, Двадцать третьего, Двадцать четвертого и Двадцать пятого съездов нашей партии. Горжусь этим.

Яков Павлович проводил меня к выходу из гостиницы. Мы постояли немного у подъезда, любуясь Кремлем, Спасской башней, которые были хорошо видны от гостиницы.

— Ну, до встреч на наших заводах, — сказал он на

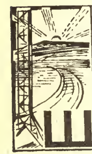
прощанье.— Желаю вам постоянно такого же хорошего настроения, какое у меня сейчас. Ведь мы и живем-то интересно,— заметил Яков Павлович,— должно быть, потому, что увлекательно работаем, а не работаем лишь для того, чтобы как-то жить. На любой должности, в любом качестве, пока ты жив и полезен стране.

И я думаю теперь, когда Куликов по возрасту и состоянию здоровья уже ушел на пенсию, что сказано это было не для красного словца, а отвечало смыслу всего того, что делал Яков Павлович, сущности его жизненной позиции, характеру всех его деяний — крупного организатора производства, коммуниста.

Сорок лет нашего знакомства — этому весомое подтверждение. И снова в ту минуту уже мысленным взором я как бы увидел перед собой молодого инженера, фронтовика, начальника смены на азовстальской домне в давние, сороковые годы, увидел хорошего человека, которому партия, как и всему нашему военному поколению, возложила на крепкие плечи груз нелегких, ответственных, но и счастливых забот.

СВЕТ ЛЕНИНСКИХ ИДЕЙ

1



ушенское! Притягательную силу этого знаменитого ныне музея-заповедника «Сибирская ссылка В. И. Ленина» ощущаешь на дальних подступах к поселку — в промышленном городе Абакане, представляющем собою один из уголков бурно развивающейся Сибири, в старинном и неузнаваемо изменившемся Минусинске, на дороге, бегущей по холмистой хакасской земле, заполненной автобусами с туристами со всех краев страны, со всего мира.

И вот первое памятное место — Думная гора, где не раз бывал Ленин, любуясь чудесным видом Енисея, отрогами Саян, неоглядными далями суровой и красивой земли.

Наша большая писательская группа, прилетевшая в Красноярский край, подъехала к Думной горе под вечер. Быстро смеркалось. На вершине горы, откуда в ясную погоду на горизонте можно разглядеть Шушенское, нас ожи-

дали пионеры, молодежь. Первый хлеб-соль от тружеников района, по сибирским понятиям — среднего, по европейским масштабам — большого, занимающего по площади примерно половину Московской области. Первые слова сердечных приветствий около белого четырехгранного столба с поперечным темным квадратом, на котором надпись: «До Санктъ-Петербурга 5924 версты».

Восемьдесят один день добирался Владимир Ильич до своего шушенского сидения восемьдесят лет назад. Мы же проделали этот путь по воздуху за несколько часов. Вот одна из множества впечатляющих подробностей этой поездки, предоставляющая нам всем возможность воочию ощутить стремительный бег времени и шаги саженьи современной Сибири, идущей с именем Ленина по ленинскому пути.

«Ты просишь, Маняша, описать село Шу-шу-шу... Гм, гм! Да ведь я, кажись, однажды уже описывал его. Село большое, в несколько улиц, довольно грязных, пыльных — все как быть следует. Стоит в степи — садов и вообще растительности нет. Окружено село... навозом, который здесь на поля не вывозят, а бросают прямо за селом, так что для того, чтобы выйти из села, надо всегда почти пройти через некоторое количество навоза. У самого села речонка Шушь, теперь совсем обмелевшая. Верстах в 1—1½ от села (точнее, от меня: село длинное) Шушь впадает в Енисей, который образует здесь массу островов и протоков, так что к главному руслу Енисея подхода нет...» (Собр. соч., изд. 4-е, т. 37, с. 55).

Так в июле 1897 года, вскоре после приезда в Шушенское, писал Владимир Ильич своей сестре. Жители Шушенского сами говорили тогда о родном селе: «Нет места глуше Шуши, дальше Шуши — Саяны, дальше Саян — край света».

На кривых и грязных улочках окраины Шушенского лепились покосившиеся хибарки бедноты. На 257 дворов с 1382 жителями — ни врача, ни фельдшера. Начальная школа, с тремя десятками учеников, не имела своего помещения. Грамотный человек в селе был редкостью. Четыре кабака, два шинка, одна церковь и один учитель.

Современное Шушенское — в лесах новостроек. Шестиэтажные дома образуют улицы и кварталы, и хотя селение именуется еще поселком, но вот-вот выйдет в ранг города. Особенно впечатляюще выглядит центр с массивным зданием Сельскохозяйственного техникума имени В. И. Ленина и Н. К. Крупской, внушительными Домом культуры и До-

мом советов, а также расположенным недалеко речным вокзалом, от которого отходят летящие по енисейской волне крылатые «Ракеты».

В Шушенском есть и аэродром, пока для легких самолетов, но недалек тот час, когда здесь будут садиться реактивные лайнеры, совершающие прямые рейсы Москва — Шушенское. Только в 1978 году Шушенское посетило 232 тысячи туристов, среди них две тысячи иностранцев.

Ленинский мемориал занимает площадь в 6,6 га. Как обширный музей под открытым небом, он находится в центре поселка. Восстановлен облик села конца девятнадцатого века. Каждый дом здесь, каждая вещь — экспонат. Впервые в СССР создан такой комплекс — историко-революционный, историко-бытовой и архитектурно-этнографический музей-заповедник.

«На половицы бережно ступая, по домику я тихо прохожу, стоит в нем тишина святая, я ею, как бессмертием, дышу». Так выразил Степан Щипачев то чувство трепетного благоговения, которое охватывает на «главной улице» поселка; в начале ее находится первая квартира В. И. Ленина, в доме крестьянина Зырянова. Большой бревенчатый дом с тесовой четырехскатной крышей и пятью окнами по фасаду. Кухнею с двумя комнатами пользовался хозяин, а небольшую комнату около 14 кв. метров он отдал ссыльному Ульянову.

Волнует простота обстановки — прямо против двери крестьянский стол, покрытый белой самотканой скатертью, за ним работал Владимир Ильич. На столе лежат газеты «Русские ведомости», «Сын отечества» за 1897 год, а также листки письма к родным. У правой от входа стены — книжная полка, на ней сочинения по экономике и статистике, тома «толстых» журналов — «Русская мысль», «Русское обозрение» и книги Толстого, Некрасова, Тургенева, Чернышевского, Добролюбова.

Именно здесь, в доме Зырянова, целыми днями и поздно вечером при свете керосиновой лампы с зеленым абажуром работал Владимир Ильич над книгой «Развитие капитализма в России», носившей предварительное название «Рынки». Здесь им были написаны многие статьи, обобщившие опыт петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», обоснована политическая программа социал-демократии, необходимость создания революционной партии пролетариата.

С таким же волнением переступаешь и порог второй

квартиры Ленина, в доме крестьянки Прасковьи Олимпиевны Петровой. Муж Петровой вел доходную торговлю зерном, позволившую ему иметь большой, городского типа дом с высокими окнами и двумя входами, с крыльцом, обрамленным деревянными колоннами.

Во дворе справа от ворот, особенно летом и осенью, а мы были в Шушенском в сентябре, обращает на себя внимание зеленая беседка из прутьев, обвитая хмелем. Это копия беседки, в которой Владимир Ильич и Надежда Константиновна любили работать и отдыхать.

Особый интерес, естественно, вызывает рабочая комната Ульяновых, служившая им также и спальней. В углу деревянная конторка, основанием которой был письменный стол. На конторке лампа с тем же зеленым абажуром, а слева от лампы и рядом книжные полки.

Условия жизни Ульяновых в доме Петровой кажутся несколько лучше, но все равно это была «тюрьма без решеток», жизнь под гласным надзором полиции (надзиратель мог в любое время войти и посмотреть, что делает ссыльный Ульянов). Постоянные обыски и дознания, мелочный полицейский контроль — такова была горькая и унизительная доля ссыльного. Ленин отвечал на это мужеством самообладания, стойкостью духа и ежедневным подвигом своей громадной творческой деятельности.

Есть одна особенность восприятия уже написанных книг о Шушенском, входящих в нашу Лениниану, когда о них думаешь здесь, на сибирской земле, в окружении точных примеров «среды обитания», своего рода житейской плоти событий и фактов. Это особенность, я бы сказал, укрупненного видения не поверхностной, а глубинной сути явлений, подлинного значения невыдуманных реалий жизни, которые во многом обретают значение символическое.

Зоя Воскресенская назвала свою повесть «Надежда». Надя Крупская и ее подруги закончили гимназию. Нет и месяца, как царь казнил группу молодых революционеров, и среди них Александра Ульянова. Но молодость не может существовать без надежды, а надежды не могут быть черными, мрачными. Надежды всегда светлы.

В своей повести Зоя Воскресенская художественной выразительностью письма обогащает эту мысль. Надежда не только имя героини, не только пароль юности. Надежда — это и пароль революции, которая вечно молода, ибо устремлена вперед, в завтрашний день.

Об удивительной силе партийного товарищества, кото-

рой были связаны товарищи по борьбе в сибирской ссылке, об огромной организаторской деятельности Владимира Ильича в этих тяжелых условиях здесь постоянно думаешь, все это остро ощущаешь не только в Шушенском, но и в подтаежном селе Ермаковском, к которому, быть может, еще больше, чем к Шушенскому, относится ленинское определение юга Минусинского округа как «Сибирской Италии» (т. 37, с. 37).

«...На горизонте — Саянские горы или отроги их; некоторые совсем белые, и снег на них едва ли когда-либо стаивает. Значит, и по части художественности кое-что есть, и я недаром сочинял еще в Красноярске стихи: «В Шуше, у подножья Саян...», но дальше первого стиха ничего, к сожалению, не сочинил!» — писал Ленин М. А. и М. И. Ульяновым (т. 37, с. 42).

Если от Шушенского Саяны видны на горизонте, то от Ермаковского — центра самого южного района Красноярского края — они в десяти километрах, совсем близко, хотя само село лежит еще на равнине, покрытой прекрасными садами и рощами.

Ермаковское видело Ленина. Он приезжал сюда для обсуждения документа, вошедшего в историю под названием «Протест российских социал-демократов» и сыгравшего важную роль в борьбе против «экономизма», за создание революционной рабочей партии в России.

Происходило обсуждение этого документа в августе 1899 года сначала на квартире П. Н. и О. Б. Лепешинских, затем само подписание состоялось в доме Анатолия Александровича Ванеева, прикованного болезнью к постели.

И дом, где жили Ванеевы, и дом, в котором жили Лепешинские, и памятник А. А. Ванееву на кладбище в Ермаковском, заказанный Владимиром Ильичем,— все это ныне глубоко почитаемые и широко посещаемые туристами места, ибо, побывав в Шушенском, они обязательно едут и в Ермаковский филиал музея-заповедника.

«Ермаковское — село историческое» — прочитал я большой транспарант при въезде в районный центр. А в изданном здесь для гостей специальном путеводителе сказано: «Товарищ! Ты держишь в руках путеводитель по ленинским местам села Ермаковского. Посети их. Ты унесешь в своем сердце частицу истории борьбы русской социал-демократии во главе с великим Лениным за счастье народа!»

Сколько в этих словах благородной взволнованности и законной гордости ермаковцев за историческое прошлое

своего села и за сегодняшние трудовые будни, достойные этого прошлого.

События лета 1899 года в селе Ермаковском привлекали и продолжают привлекать внимание писателей, справедливо усматривающих в этих фактах ярчайшее выражение ленинской заботы о теоретическом оснащении партии и в то же время о своих товарищах, которых Владимир Ильич в трудные годы и поддерживал и окрылял своим дружеским словом, теплом своего участия в будничных, житейских делах.

В Ермаковское Ленин приехал не только потому, что здесь находилась тогда самая большая колония политических ссыльных. Но еще и затем, чтобы дать возможность участвовать в обсуждении «Протеста» Анатолию Ванееву, чье мнение, чью преданность революционному делу высоко ценил.

Посмотрите многочисленные письма Ленина родным шушенского периода, и вы увидите в них две главные, пронизывающие все заботы Владимира Ильича — о присылке книг и материалов для огромной теоретической работы и о здоровье, самочувствии, душевном настрое своих товарищей по партии и ссылке.

В одном из старинных домов села Шушенского, на той самой главной улице, где находилось когда-то волостное управление (туда Ленин ходил отмечаться каждый день, видя сзади управления острог на тридцать человек — мрачное, обнесенное деревянным частоколом строение), в одном из таких домов ныне музейная экспозиция, относящаяся уже ко времени подготовки Октябрьской революции и первым годам Советской власти. Здесь посетителям дают возможность прослушать граммофонную запись речи Ленина «Что такое Советская власть», произнесенной в марте 1919 года.

Необычайно волнующе звучит в этой избе родной голос Ильича, произносящего знаменитые слова:

«Мы хорошо знаем, что у нас еще много недостатков в организации Советской власти. Советская власть — не чудесный талисман. Она не излечивает сразу от недостатков прошлого, от безграмотности, от некультурности, от наследия дикой войны, от наследия грабительского капитализма. Но зато она дает возможность подняться тем, кого угнетали, и самим брать все больше и больше в свои руки управление государством, все управление хозяйством, все управление производством.

Советская власть есть путь к социализму, найденный массами трудящихся, и потому — верный и потому — непобедимый» (т. 29, с. 224—225).

В повести Эм. Казакевича «Синяя тетрадь» есть впечатляющие страницы, рассказывающие о том, что Ленин летом 1917 года, скрываясь от царских ищеек в шалаше, работал над книгой «Государство и революция». После разгрома июльской мирной демонстрации Временное правительство издало указ об аресте В. И. Ленина. Партия, перейдя на нелегальное положение, укрыла своего вождя в глубоком подполье. Однако и там, так же как и в сибирской ссылке, Ленин совершает огромную теоретическую работу, с июля по октябрь 1917 года им написано свыше 60 брошюр, статей, писем, завершена работа над книгою, определившей путь строительства социалистического государства после победоносной пролетарской революции.

Шалаш в сосновом бору на озере Перово, где Ленин в годы сибирской ссылки любил размышлять и отдыхать, внешне похож и волнительно ассоциируется в нашем сознании с шалашом на озере вблизи Сестрорецка (в котором Владимир Ильич работал над своей «Синей тетрадью»).

А слова Ленина о революции, о Советской власти, звучащие с пластинки, и сама эта духоподъемная радость от соприкосновения с ленинским Шушенским, которую испытали все, естественно, переносили нас, участников конференции, к живым и насущным делам и заботам сегодняшнего дня, к осмыслению художественного опыта Ленинианы в преддверии 110-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина.

2

За день до начала Всесоюзной творческой конференции на тему «С Лениным, по ленинскому пути» мне довелось побывать в Новополтавском совхозе Ермаковского района. Село Новополтавка — это своего рода заповедный уголок Украины на сибирской земле, здесь всюду слышна певучая украинская речь, окрашенная типично сибирскими речениями и интонациями.

В эти благодатные края, летом по климату своему напоминающие юг России, в давние времена переселились украинцы, прижились и укоренились. Ныне здесь процветает экономически сильный совхоз; достаточно сказать, что

надои от каждой коровы достигают трех тысяч литров молока в год. Красивое село утопает в больших фруктовых садах, здесь множество фруктов, растет почти все, что и на Украине, даже арбузы свои, сибирские.

Но не только производственными успехами широко известно это село, но и ратной славою. В годы войны сотни новополтавцев ушли на фронт, сражались начиная с сорок первого, когда сибирские дивизии заслонили собою Москву. Многие остались на полях сражений. 95 только однополчан-новополтавцев сложили свои головы за победу. Об этом постоянно напоминает всем стоящий рядом с клубом белый обелиск с бронзовым лицом сурового солдата в каске. На гранях обелиска поименный список тех, что ушли защищать Родину и не вернулись.

Позади обелиска шумят молодые липы и клены, и мы, группа писателей, были удостоены чести посадить новые деревья в святом для сельчан месте — парке памяти о героях войны. Рядом со мною сажал клен один из ныне здравствующих участников войны, управляющий фермой в совхозе Николай Федорович Магда — человек здесь широко известный и очень уважаемый.

Седоголовый, коренастый, физически еще очень крепкий и энергичный, Николай Федорович оказался бывшим солдатом знаменитой 150-й стрелковой дивизии, которая в апреле сорок пятого в Берлине штурмовала рейхстаг.

Я принимал участие в Берлинской битве как военный корреспондент Всесоюзного радио, бывал и в 150-й, знал многих ее прославившихся воинов, тем более мне была приятна встреча через тридцать пять лет здесь, во глубине Сибири, с ветераном дивизии, человеком в полном здравии и силе, жизнерадостным и веселым, грудь которого украшают и боевые, и заслуженные на мирном трудовом поприще ордена.

Видно, крепка солдатская косточка! И об этом думаешь с радостью, ощущая на примере Николая Федоровича, как велик в селе его нравственный престиж и мера народного уважения к людям, сумевшим подвиг ратный дополнить многолетним честным исполнением своего трудового долга перед Родиной.

Владимир Ильич Ленин и большевики воспитывали в народе, в том числе и здесь, в Ермаковском районе, по выражению Герцена, «новый кряж людей», которые способны на великое самопожертвование во имя счастья народа.

Тема героической нравственности, столь успешно разрабатываемая в нашей литературе, в том числе и в литературе о Великой Отечественной войне, имеет своим истоком ленинские идеи и заветы. Как тут не вспомнить военных героев книг Василя Быкова или Юрия Бондарева, Константина Симонова или Ивана Стаднюка, Александра Чаковского или Михаила Алексеева с их непоколебимой стойкостью и самоотверженностью, в которых всегда находила свое высшее нравственное проявление духовная сущность современного советского человека.

И прав был докладчик на конференции Вадим Баранов, когда заметил, что есть «нечто символическое в том, что совершившая изумительный подвиг мужества и самоотречения единственная в годы второй мировой войны женщина-политкомиссар, о которой рассказал Даниил Гранин в своей повести «Клавдия Вилор», носила фамилию, которая расшифровывается так: «Владимир Ильич Ленин Организатор Революции. Женщина-политкомиссар оправдала ее полностью в самых суровых испытаниях».

Конференция, открывшаяся вступительным словом Бориса Полевого — «Слово о Ленине», проходила в необыкновенно духоподъемной атмосфере, я бы сказал еще — в атмосфере деловой праздничности, ибо сразу же соединила высокий эмоциональный настрой с серьезностью и глубиною обсуждаемых проблем.

Реально, зримо, ярко, почти физически ощутимая обозримость пути, проделанного за 80 лет нашей партией и страной, придала конференции не только торжественность, но и деловой, масштабно-конструктивный характер в обсуждении ленинской темы в литературе. А многонациональный состав конференции, участие в ней писателей из семи социалистических стран позволили проявиться в выступлениях богатой палитре писательских индивидуальностей, проникнутых пафосом ленинского интернационализма.

Хороший тон задал докладчик. В его историческом обзоре достижений советской Ленинианы и не решенных еще проблем мне хочется выделить несколько, на мой взгляд, важных и конструктивных мыслей.

Шушенский период деятельности В. И. Ленина занимает в нашей Ленининиане достойное место. Писатели немало сделали для того, чтобы осмыслить и достойно отразить все, что было создано Владимиром Ильичем в годы сибирской ссылки. И здесь надо прежде всего вспомнить сибиряка Афанасия Коптелова с его трилогией «Большой за-

чин», «Возгорится пламя» и «Точка опоры», составляющей полнокровное эпическое повествование о жизни В. И. Ленина, которая целиком охватывает и героический шушенский период.

Скрупулезно изучив материалы, документы и факты, относящиеся к пребыванию Ленина в Сибири, Афанасий Коптелов проделал, несомненно, большую работу исследователя, продиктованную потребностью шаг за шагом, эпизод за эпизодом проследить за всеми подробностями деятельности Владимира Ильича и в Минусинске, в Шушенском, в Ермаковском, в Красноярске.

Романы Коптелова отличает достоверное знание сибирского быта, близость автора к природе, та коренная сибирская закваска, которую нельзя приобрести в кратковременной командировке или путем опроса свидетелей и очевидцев. Отсюда и то, что можно назвать кровным, сыновним отношением писателя к Сибири. Отсюда и ощущение неповторимой сибирской атмосферы, которой в романе «Возгорится пламя» пронизано все — и детали сибирского быта тех лет, и судьбы крестьян, и сцены охоты и отдыха Ленина. Фигура Ленина, если можно так выразиться, «плотно вписана» в Сибирь, и вместе с тем писатель стремится показать нам образ молодого Ленина во всей его многогранной активности политического деятеля, ученого, философа.

К Шушенскому периоду относятся рассказы и повести (если пользоваться названием повести Марии Прилежаевой) о действительно «удивительном годе» — 1899-м, о событиях в селах Шушенском и Ермаковском, о которых в разных книгах для взрослого и детского читателя рассказали также и Зоя Воскресенская, и Виктор Тельпугов, и С. Ф. Антонов.

Образы Ленина и Крупской, их соратников по ссылке даются в повести М. Прилежаевой преломленными через сознание и чувства молодого рабочего паренька Прохора, печатника из петербургской типографии Лейферта. Прохор знаком с семьей Ульяновых и встречается с Лениным в красноярской ссылке.

Есть элемент случайности в том, что Прохор, которого пытались увлечь в свои сети «экономисты», был захвачен полицией с листовками. Но непреложна закономерность сближения молодого русского рабочего с Лениным, с ленинскими идеями революционной борьбы русского пролетариата с царизмом, которые Прохор воспринимает всем сознанием, всем сердцем.

Образ Прохора удался М. Прилежаевой, и многие страницы повести, особенно посвященные смерти и похоронам Ванеева в Ермаковском, оставляют ощущение естественности и простоты, овеяны любовью писательницы к своим героям.

Мне думается, что на примере этой повести, да и многих других книг об интеллигентных рабочих, которые и в ту эпоху, и в наши дни составляют авангард своего класса, мы можем видеть, как классовая сущность и мораль людей рабочего класса, его политические и нравственные черты, оказывая влияние на развитие всей жизни, постепенно становятся достоянием и всего советского народа.

И поэтому нельзя не согласиться с мыслью докладчика о том, что при оценке Ленинианы последних лет нам необходимо учитывать общее состояние и генеральную нацеленность литературного процесса в целом. А следовательно, всегда помнить об опыте писателей, разрабатывающих внутренне родственные Лениниане темы, в первую очередь Отечественной войны или рабочего класса, об уровне реальных достижений в них.

«Новые фундаментальные произведения о Ленине, которые мы ждем, смогут появиться только тогда, когда будут отброшены всякие скидки на важность темы, еще бытующие порою в работе иных критиков и издателей, а в качестве ориентира выступят высшие достижения литературы»,— подчеркнул Вадим Баранов.

И он, безусловно, прав. Так же, как и в том, что эти достижения связаны прежде всего с нашим движением вперед по компасу бессмертного учения Ленина. Они невозможны вне ленинского интернационализма, вне постоянной опоры на творческую инициативу масс, вне понимания высокой личной нравственной ответственности коммуниста за все, что происходит в жизни, в стране.

К высшим достижениям Ленинианы наших дней относятся получившие наибольшую известность книги М. Шагинян, драматургическая трилогия Н. Погодина и произведения участника конференции В. П. Катаева. Валентин Петрович Катаев был знаком с Н. К. Крупской, и его речь на конференции, во многом основанная на личных воспоминаниях о роли Ленина в организации культурной и литературной жизни начала двадцатых годов, произвела на всех большое впечатление. С трибуны звучал голос свидетеля и участника важнейших событий, одного из зачинателей советской литературы, выдающегося ее мастера.

Повесть В. Катаева «Маленькая железная дверь в стене» построена на лирико-ассоциативном методе организации художественного материала и воссоздает пластически выразительные картины работы и жизни Ленина в Париже, в Лонжюмо, в Сорренто, у Горького на Капри.

Рисуя образ Ленина, ритмы его рабочего дня, его привычки и пристрастия, писатель опирается не только на мемуарные свидетельства и подробности быта тех лет, но и на свое художническое видение характера живого Ленина. Прослеживая за ходом ленинских размышлений, Катаев предпочитает формулу своих наблюдений — ассоциативно-предположительную, вот это-то, на мой взгляд, придает прозе этой повести особую деликатность интонации, тонкий лиризм и, в конечном счете, силу впечатляющей убедительности.

В поэтической основе повести, как отмечал и докладчик, особое значение имеет образ Парижской коммуны. Ленин едет на велосипеде в парижскую библиотеку не только на несколько километров вперед, но и мысленно на четыре десятилетия назад, в 1871 год. Взрывы на баррикадах Парижской коммуны как бы сливаются с ружейными выстрелами на баррикадах Красной Пресни.

Слушая Катаева в Шушенском, я подумал и о том, что теперь сам автор повести получил возможность перенестись на восемьдесят лет вперед, увидеть Шушенское сегодняшнего дня, сопоставив его с тем, в котором жил и работал Ленин, работал и зимой, когда за окнами были пятидесятиградусные морозы.

Валентин Петрович говорил нам о том, как впечатлило его мужество Ленина и его соратников, и что только здесь, увидев эти сибирские просторы, он, Катаев, представил себе, каких усилий и организаторской энергии стоило Ленину создание «Протеста российских социал-демократов», еще глубже понял Ленина как человека, сочетающего в себе непреклонную целеустремленность с трогательной нежностью к своим товарищам по борьбе.

Значение основополагающих ленинских идей для нашей современной литературы, особенно подчеркнутое в докладе, привлекло, естественно, внимание многих писателей, выступавших на конференции. Верна и важна, на мой взгляд, мысль В. Баранова и о том, как в ряде произведений последних лет собственно Лениниана, расширяясь и углубляясь, перерастает в историко-революционную тему. И тут надо назвать такие значительные книги, как «Сибирь»

Г. Маркова, «Комиссия» С. Залыгина, «А ты гори, звезда» С. Сартакова.

Наряду с этим художественный опыт Ленинианы прочно и органически связан с литературой на современные темы, с изображением действительности наших дней. Гигантское здание советской государственности основывается на том фундаменте, который закладывал Ленин. Ленинские мысли, посвященные развитию народной инициативы, рассматриваемые в качестве одной из главных движущих сил общества, и поныне открывают перед писателями широкий простор для осмысления нашей действительности, для глубокого изучения больших забот и задач пятилетки, осмысления ведущих тенденций времени.

Владимир Ильич писал:

«Строить новую дисциплину труда, строить новые формы общественной связи между людьми, строить новые формы и приемы привлечения людей к труду, это — работа многих лет и десятилетий.

Это — благороднейшая и благодарнейшая работа.

Счастье наше, что, низвергнув буржуазию и подавив ее сопротивление, мы могли завоевать себе почву, на которой такая работа стала возможной» (Статья «От разрушения векового уклада к творчеству нового». В. И. Ленин, сборник «Ленин о коммунистическом воспитании». 1961, с. 205).

«Не на энтузиазме непосредственно, а при помощи энтузиазма, рожденного великой революцией, на личном интересе, на личной заинтересованности, на хозяйственном расчете потрудитесь построить сначала прочные мостки, ведущие в мелкокрестьянской стране через государственный капитализм к социализму; иначе вы не подойдете к коммунизму, иначе вы не подведете десятки и десятки миллионов людей к коммунизму...» — писал Ленин в статье «К четырехлетней годовщине Октябрьской революции» (тот же сборник, с. 233).

Как было не вспомнить на конференции, не подумать совместно и всерьез об этих словах Владимира Ильича. Сейчас, когда мы изучаем последние постановления партии и правительства о регулировании хозяйственного механизма.

Мне думается, что это очень важные решения и для нашего, писательского осмысления процессов, идущих сейчас в жизни, для той, я бы сказал, новой «хозяйственной морали», которую они за собою несут.

Писателю, если он близок к теме труда, очень важно глубоко ощущать последовательность экономической стратегии партии. Надо ясно представлять себе психологическую роль хозрасчета, существо новых экономических рычагов и стимулов. Чтобы написать роман, повесть, очерк о современном предприятии, надо учитывать и то, как новый хозяйственный механизм побуждает предприятие, фирму, объединение, каждую бригаду, в конечном счете, каждого рабочего активно использовать интенсивные факторы роста, принимать и выполнять напряженные планы, беречь ресурсы, снижать себестоимость.

Одним словом, пришло время качественно нового подхода к, казалось бы, знакомым проблемам, нового мышления и для нас — писателей, публицистов. Надо видеть, как сейчас формируются заново и уточняются критерии оценки добра и зла в мире хозяйствования.

Во многих выступлениях на конференции, и особенно в речи доктора филологических наук Юрия Андреева, убедительно прозвучала мысль о том, что многое из того, о чем мы читаем сейчас в документах партии и правительства, и подсказано самой жизнью, и опробовано уже на практике.

Так оно и есть на самом деле. Достаточно вспомнить широко распространившуюся по стране идею бригадного подряда московского строителя Николая Злобина или эксперимент на Калужском турбинном заводе, где полностью ликвидировали индивидуальную сдельщину, создав подрядные бригады с оплатой по конечной продукции, о других починах, ведущих к повышению личной заинтересованности и ответственности рабочих. Это чувство ответственности самой своей сутью противостоит обману, очковтирательству, стяжательству, такие бригады изгоняют из своих рядов прогульщиков, пьяниц, бракоделов.

Особенность конференции в Шушенском кроме всего прочего состояла, мне думается, еще и в том, что теория здесь могла быть проверена и проверялась живой и непосредственной практикой жизни. Конференция ведь не закончилась за два дня заседаний. По сути дела, она нашла свое продолжение и в последующие дни в знакомстве писателей с огромным и богатейшим Красноярским краем, во встречах с интереснейшими людьми, чей труд и творчество, как сказал в заключительном слове Виталий Озеров, дают нам яркие примеры того, как русская революционная ини-

циатива здесь, на сибирской земле, соединяется с высокой культурою труда. А в этом один из важнейших ленинских заветов.

3

Перед тем как 120 писателей разбились на группы и разлетелись в разные концы края, который насчитывает 22 города и 50 районов, заселен представителями более ста национальностей и с юга на север протянулся на три тысячи километров, мы все совершили поездку на Саяно-Шушенскую ГЭС.

Об этом хочется сказать особо. И не только потому, что поездка была интересна и поучительна, но еще и потому, что она носила характер во многом и символический.

Хорошо сказал об этом Борис Полевой, автор широко известного романа «На диком бреге», повествующего о героических буднях, о сложных деловых страстях строителей первой на Енисее — Красноярской ГЭС:

«Может быть, именно здесь, на берегах самой могучей из сибирских рек, которая текла по малонаселенному тогда краю, здесь, в Шушенском, мы сможем с особою яркостью увидеть и почувствовать просто-таки волшебное осуществление заветнейшей ленинской мечты об электрификации России...»

И в самом деле, огни и Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС — это ленинский свет над Сибирью, над Красноярским краем, с его, безо всякого преувеличения, великим будущим.

Как бы напутствуя писателей в эту поездку и рассказывая о делах, проблемах и перспективах, первый секретарь крайкома партии Павел Стефанович Федирко несколькими яркими штрихами убедительно нарисовал картину динамичного экономического, социального, культурного развития края. Разве не волнуют такие цифры: дважды награжденный орденом Ленина, край за годы Советской власти увеличил объем производства... в 900 раз! Колоссальны здесь запасы природных богатств — по бурому углю они составляют 40% запасов страны, столько же по каменному углю, 19% по гидроэнергии, 20% по лесу. Запасы железной руды — 70% от всех запасов Сибири.

КАТЭК — Канско-Ачинский тепло-энергетический комплекс — предполагает бурное развитие энергетики, создание нового территориально-производственного региона, осуществляющего полную технологическую цепочку переработки

сырья. В крае уже работают, строятся и намечены к строительству многие крупнейшие предприятия союзного значения; достаточно назвать Красноярский экскаваторный завод, по мощности равный Уралмашу. В крае — 7 тысяч научных работников, создается Сибирский филиал Академии наук СССР...

...Четыре быстроходных «Ракеты», поднявшись на подводные крылья, понеслись от Шушенского вверх по Енисею. Все ближе подступают, все круче обжимают реку с обоих сторон склоны Саянских гор с их хвойною шубой таежных лесов. И вот после нескольких часов пути — причалы Саяногорска, молодого сибирского города. Достаточно сказать, что средний возраст его жителей — 28 лет.

Кто-то назвал строящийся Саяногорск городом солнца. Вспоминаются утопические, хотя и благородные фантазии Томмазо Кампанеллы, название его знаменитой книги. Нет, это не фантазия, это современная сибирская явь, которая вознесла в Саянах город, действительно полный простора и света. Три его жилых района обращены к Енисею, который здесь удивительно красив. Я долго любовался набережной, она уже почти вся одета в бетон, и улицами, которые, как лучи солнца, тянутся к огромному парку с магазинами, кафе, бассейнами.

Здесь нет и следа столь памятных всем нам строительных времянок: 70 тысяч строителей разместились в хороших блочных домах, и саяногорцы рассчитывают, что сады, лесозащитные полосы «погасят» уличный шум, станут барьерами на пути ветров, и в таежном городе смогут уютно жить, продуктивно работать, восстанавливать здоровье те, кто сейчас, опережая плановые сроки, в проеме знаменитого Карловского створа строят, как здесь говорят, «звезду первой величины», красавицу Саяно-Шушенскую ГЭС, с проектной мощностью в 6,4 миллиона киловатт.

В послевоенные годы я подолгу бывал на стройках, был знаком с героями многих выдающихся гидросооружений, которые в разные времена приковывали к себе внимание всей страны, всего мира. Куйбышевская у Жигулей. Ниже ее — Волгоградская. Уникальная Пермская на Каме и Нурекская на Вахше. Сколько труда, поисков, дерзаний, сколько неповторимых человеческих характеров связывались и связаны поныне с этими трудовыми эпопеями созидания!

Быть может, по внешнему виду, своей гигантской железобетонной подковою связав две горы и перекрыв бур-

ный поток реки, Саяно-Шушенская ГЭС более всего напоминает Нурекскую. И там и здесь величественная панорама станции, открывающаяся с верхнего бьефа плотины, и там и здесь ее высота огромна и особо впечатляюща именно в горах, в ущелье: в Саянах — 250 метров, в Нуреке — 300. И там и здесь уже работают и будут еще установлены мощные генераторы, силою которых смогут эффективно воспользоваться сооружаемые вблизи энергоемкие, главным образом металлургические, производства...

Но куда, мне думается, важнее внешних примет подобия те глубинные аналогии, которые связаны с современным характером строительства, с борьбою за его качество, с развитием новых форм массовой, народной инициативы.

В Нуреке эта инициатива, называемая «рабочей эстафетой», способствовала производственным связям коллектива стройки и заводов — изготовителей оборудования. В Саянах, близкая по смыслу и духу, но еще более широкая по задачам, эта инициатива носит имя содружества многих предприятий со стройкой и имеет общую комплексную цель всемерного ускорения темпов и повышения качества работ.

В этом примечательном научно-техническом содружестве, охватывающем все проблемы и все задачи и начатом по инициативе ленинградцев в декабре 1974 года, был предусмотрен новый, ускоренный график создания ГЭС. Содружество начали 28 предприятий, сейчас в нем участвуют коллективы 170 заводов, проектных и научных организаций. Уже одно это говорит о многом.

Начальник строительства Саяно-Шушенской ГЭС Станислав Иванович Садовский, принимавший писателей в прекрасном Дворце культуры и показавший нам несколько впечатляющих фильмов-хроник о ходе стройки, рассказал мне и о знаменитом бригадире Валерии Позднякове. Недавно он был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Бригада Познякова соревнуется по договору на содружество с бригадой Владимира Чичерева — Героя Социалистического Труда из объединения «Ленинградский металлический завод».

Валерий Позняков строил раньше Красноярскую ГЭС, был там звеньевым в бригаде, почетным членом которой избрали тогда первого космонавта планеты Ю. А. Гагарина. Осенью 1963 года Юрий Алексеевич приезжал в Дивногорск и поработал немного в бригаде, помог уложить первый кубометр бетона в одном из котлованов станции.

После окончания строительства Красноярской ГЭС

Познякова потянуло далеко на юг, в солнечный Нурек, он славно потрудился там, но потом его опять позвала Сибирь. И вот он снова на Енисее, уже во главе комплексной бригады плотников-бетонщиков укладывает в станционную часть плотины первый кубометр бетона, а затем вместе с бригадой добивается победы в соревновании за право участвовать в пуске первого агрегата Саяно-Шушенской ГЭС, уже третьей могучей станции в его биографии строителя.

Беседуя с Садовским, я, признаться, вначале немного удивился тому, что в прямые производственные контакты вступили столь разные бригады сибиряков и ленинградцев, отдаленные друг от друга тысячами километров. Ведь заняты они совсем непохожими делами: одни делают турбины, другие создают плотину ГЭС. На чем же основано деловое сотрудничество плотников, бетонщиков и металлистов?

«Да на общей ответственности за научно-технический прогресс,— сказал мне Садовский,— на объединяющей их большой заботе о ГЭС, о том, чтобы стройка шла быстро и качественно».

Есть ли в этой инициативе подлинная новизна деловых взаимоотношений коллективов? Да, безусловно есть. И природа ее такая же, как и в бригадном подряде Злобина, только это теперь как бы «подряд», расширившийся до масштабов громадной стройки и большого производственного объединения. И суть соревнования в той же всевозрастающей, все углубляющейся активной, деловой и нравственной позиции людей рабочего класса, которые живут ныне интересами доподлинно гражданственными, доподлинно государственными.

И конечно же эти новые формы массовой инициативы нельзя отделить от духовного облика современного рабочего, от того его коллективного портрета, который обязана создавать советская литература.

«В повседневных заботах, в сутолоке наших будней мы не всегда успеваем обобщать отдельные факты и явления, окружающие нас. Образцов общественной деятельности советских людей в наши дни сотни и тысячи. Сегодня наш рабочий, советский колхозник, советский интеллигент — это человек, который не просто сознательно и инициативно относится к своему труду, но и, как правило, живет интересами более широкими — интересами своего предприятия, района, области, республики, всей Родины.

В этом мы видим конкретные плоды той большой работы в области идейно-политического воспитания масс, которую постоянно проводит наша партия. В конечном счете,

решающей предпосылкой нашего продвижения вперед во всех направлениях является именно рост идейной убежденности, политической сознательности трудящихся» [1],— говорил Леонид Ильич Брежнев.

Следуя ленинским предначертаниям, наша партия уделяет много внимания рождению новых форм народной инициативы, пропаганде именно таких рабочих коллективов, которые избрали для себя самые эффективные методы работы.

С помощью газет, телевидения, радио широкое распространение получает, например, соревнование коллективов, применяющих львовскую систему управления качеством продукции, работающих по щекинскому, ипатовскому, ямпольскому методам, по методу бригады строителей Н. Злобина, а также опыт ленинградских и красноярских предприятий по комплексному решению вопросов, связанных с с созданием Саяно-Шушенской ГЭС.

Об этом вновь и вновь думаешь при посещении Саяно-Шушенской ГЭС, при знакомстве с летописью будничных дел и каждодневно решаемых проблем, со всем тем, что и не назовешь иначе как повседневной героикой созидания.

Весною 1979 года, в период бурного паводка, волны Енисея начали перехлестывать через плотину. Сразу на стройке создалась серьезная аварийная ситуация. В оперативных сводках тех дней появились тревогою обжигающие сообщения: «Паводок захлестнул бетоновозную эстакаду», «Вода поступает в котлован здания ГЭС».

Вот тогда-то на пути разбушевавшейся стихии встали 15 здоровых ребят, рабочие, прорабы, начальники участков. Среди них Михаил Полторан, Юрий Плотников, их товарищи. Измученные бессонными ночами, промокшие насквозь, валящиеся с ног от усталости, люди выполняли свой долг. Несколько суток под сплошным потоком воды, под постоянной угрозой быть сметенными Енисеем, они возводили защитную бетонную стену. И победили. Через неделю котлован был осушен. А через месяц первый агрегат, уже введенный в строй на ГЭС, снова дал ток.

«Подвиг в Карловском створе» — так была озаглавлена заметка, рассказывающая об этом на страницах городской газеты «Огни Саян». «Герои живут рядом с нами,— писалось там.— Подвиги здесь совершаются постоянно».

---

[1] Сборник Л. Брежнев. Актуальные вопросы идеологической работы КПСС, т. 2, с. 103.

Этот вывод саяногорской газеты я мог бы подкрепить и множеством своих наблюдений в поездках по Сибири, по Красноярскому и Тюменскому краю. В Сибири сейчас работают миллионы людей, чей труд давно уже приобрел черты массового героизма. И тут, безусловно, заложена важная публицистическая идея, которую наша литература должна ярче осваивать в художественной прозе и документалистике.

Когда читаешь книги, посвященные теме преобразования современной Сибири,— романы, повести, очерки о БАМе, о героях Тюменщины, о заполярных разведчиках нефти и газа, а таких книг, главным образом документальных, появилось немало,— то с удовольствием замечаешь, что тема трудовой героики в них сопрягается с желанием писателей выйти на стрежень жизни, уловить в ней типическое.

Я бы сказал, что в процессе художественного освоения темы новой Сибири, в разработке темы современного рабочего класса именно эта сторона жизни, героическая нравственность рабочих людей, современных тружеников, выражена, пожалуй, с наибольшей полнотой и убедительностью.

Но при всем при этом это лишь одна, хотя и важная, сторона многогранного бытия наших современных рабочих героев. Внимательное изучение действительности, в том числе и сибирской нови, все настойчивее подводит к мысли о том, что одна только героика, героическая нравственность не исчерпывает всего богатства и глубины современного рабочего характера. Не исчерпывает и существа самих деяний, которым ныне, как никогда, присущ стиль коллективности, творческих исканий и разделенной ответственности.

Пример комплексного содружества на Саяно-Шушенской ГЭС, высоко оцененный нашей партией, разве не является одним из убедительнейших тому доказательств?

Но спрашивается — почему же все-таки так мал удельный вес таких исканий в современной прозе, и даже в наиболее мобильном, оперативном жанре художественной публицистики, рассказывающей о преображении современной Сибири, вообще о труде?

Я говорил об этом на конференции; поездка на Саяно-Шушенскую ГЭС заставила еще раз подумать о том, что духовный мир таких передовых рабочих интересен, сложен, творческие и нравственные их потенциалы — высоки. И я убежден, что без таких людей всегда будет неполон многомерный, коллективный портрет рабочего героя наших дней.

4

Конференция в Шушенском, как уже говорилось, нашла свое логическое продолжение в Днях литературы. Давно замечено, что когда серьезный писатель едет в такие поездки, он, посильно участвуя в выполнении общей программы встреч и бесед, всегда имеет еще и свою личную художническую задачу, свой творческий настрой.

Была такая задача и у меня, связанная с постановлением партии и правительства о регулировании хозяйственного механизма, с ролью народной инициативы и расширением демократической основы прав коллективов (советов) производственных бригад.

Дни литературы в городе Канске, встречи с читателями и особенно знакомство с выступавшей на конференции ткачихой из Канска, Героем Социалистического Труда Ниной Михайловной Веселковой помогли мне и, думается, моим товарищам по нашей многонациональной писательской бригаде увидеть, понять, глубже оценить народную инициативу, жизненную необходимость новых решений.

Канск! Старинный сибирский городок, основанный в 1636 году. Теперь ему недалеко и до 350-летия. Бывший глухой сибирский острог, место ссылки революционеров. Здесь отбывала ссылку Елена Стасова — верный соратник Владимира Ильича.

В годы гражданской войны Канск прославила Тасеевская республика — очаг партизанского движения вокруг села Тасеево, где сибиряки так и не покорились Колчаку, сохранили у себя Советскую власть. События эти ярко описал Владимир Зазубрин в своем популярном в двадцатые годы романе «Два мира». В городе чтят имя писателя.

Необозримые просторы Канской лесостепи по-настоящему начали осваиваться только после революции. Сейчас здесь 38 промышленных предприятий, 234 тысячи сельскохозяйственных угодий и 14 крупных совхозов.

Гордость Канска — крупный хлопчатобумажный комбинат, известный и за пределами Родины. Средний возраст работающих здесь, главным образом женщин,— тридцать три года, возраст зрелости и расцвета физических и духовных сил.

Выступая от имени ткачих своего поколения на конференции в Шушенском, невысокая изящная женщина с красиво взбитой волною светлых волос, с Золотой Звездою Героя на груди, слегка волнуясь, говорила:

«Замечательна древняя профессия ткача. И я ее очень люблю. Любят и мои подруги-ровесницы, а вот молодежь сегодня на наши текстильные предприятия идет не очень охотно. Если будет так продолжаться, некому будет ткать через несколько лет. Чем могут, спросите, нам помочь писатели?

А вот чем. Первое — помогите поднять престиж нашей профессии. Расскажите о ней так, как воспринимаем ее мы, текстильщики с большим стажем работы. Убедительно раскройте необходимость этой профессии людям. И второе — помогите, чтобы быстрее наша легкая промышленность становилась действительно легкой. Привлеките к ней внимание науки. Ведь в текстильной промышленности в большинстве работают женщины, труд которых в первую очередь нуждается в облегчении».

Нина Михайловна Веселкова сформулировала таким образом, по сути дела, свой требовательный и широкий социальный заказ нашей литературе. Обоснованность его я готов поддержать всем своим опытом публициста.

Наша советская литература в целом всегда стремилась к тому, чтобы возвеличить труд как основную жизненную ценность. Всем своим смыслом и внутренним пафосом она способствовала возникновению жизненной потребности в труде, когда каждодневный подвиг сознательности, выполнения рабочего долга стремилась поддержать правдивым повествованием о реалиях наших дней, о людях, которые воплощают в себе высокие добродетели нашего времени.

Значительную часть этой «нагрузки» всегда брала и берет на себя художественная и деловая публицистика, выступающая во всеоружии знания жизни и ее проблем, с позиций активного участия в борьбе за пятилетку.

Я думаю, что Нина Михайловна Веселкова с полным правом и убежденностью ставит вопрос о нравственном престиже рабочей профессии, и не только ткачей, ибо рассматривает этот престиж как своего рода «производительную силу» в нашем обществе. Литература здесь действительно может сделать многое.

В очерковом жанре недостаточно активно заявляют о себе признанные мастера художественной прозы, авторы широко известных повестей и романов. А ведь художественная публицистика — это хорошая возможность проявить свой гражданский темперамент, внести реальный вклад в скорейшее решение вопросов, которые волнуют широкие слои советских людей, возбудить гнев общества

против зла, имеющего еще место в той или иной сфере нашей жизни.

Единство слова и дела! Мне думается, это тоже своего рода формула эффективности, которая важна для писателей не в меньшей мере, чем для новатора-ткачихи.

В Канске на комбинате я видел, как работает Веселкова. В большом и, к сожалению, еще весьма шумном цехе, где выстроились длинными рядами ткацкие станки, Нина Михайловна во главе своей маленькой бригады, состоящей из поммастера Владимира Ивановича Яблокова и обрывщицы Валентины Павловны Волковой, управляла... 80 станками! Норма — 19 станков.

По сути дела, она одна осуществляла полновластный контроль за целым пролетом, одна двигалась вдоль рядов станков по разработанным ею же маршрутам, точно рассчитывая, где и когда ей нужно появиться.

Мне рассказывали, что Веселкова недавно побывала на Кубе, работала две недели на одной из фабрик и, как говорят на комбинате, «тоже показала там класс». Теперь ее опытом интересуются и на других предприятиях, просят приехать во многие города страны.

В чем секрет мастерства Веселковой? Да в той ловкости и сноровистости, которая, по мнению главного инженера комбината Михаила Романовича Борисенкова, дается не столько природной одаренностью, сколько вырастает из глубоко продуманных навыков и тех маленьких рабочих открытий, которые вдумчивому человеку дарит его опыт.

Я видел, как быстро Веселкова устраняет обрыв нитей за 18 секунд вместо обычных 23, как не спеша, но динамично движется вдоль станков, как планирует свои маршруты по пролету, держа в поле своего внимания все восемьдесят ткацких машин.

Нина Михайловна уже работает в счет двенадцатой пятилетки! Факт, сам по себе говорящий о многом. И на таком же, как здесь говорят, «уплотнении» трудится рядом с нею в соседнем пролете ткачиха Людмила Борисовна Дюканова, которая тоже «взяла себе» 80 станков. Почин находит последователей, отдающих себе полный отчет в том, как важна такая инициатива и с точки зрения производительности труда, и с точки зрения того дефицита рабочих рук, который ощутим и в комбинате, да и во всем Канске.

Бригадир Виталий Николаевич Патрушев не ткач, он слесарь-сборщик бумагоделательных машин и оборудования. Есть такой завод в Канске. Патрушев — фронтовик.

Награжден орденом за труд. Его тоже волнуют проблемы производительности, качества и применительно к его профессии «уплотнения» рабочего времени и затраченных сил.

Недавно из бригады Патрушева, где пятнадцать человек, двое уволились, но новых людей на их место не взяли, решили, что справятся и меньшим числом. Растут и заработки в бригаде, средний сейчас 250 — 280 рублей.

Патрушев сказал, что есть у них и «спецы», как он выразился, которые противятся бригадному методу, ведь вне бригад на заводе еще 40 процентов рабочих-сдельщиков. Однако идея коллективно разделенной ответственности, новые принципы бригадного самоуправления все шире и основательнее пробивают себе дорогу и в сознании рабочих, и в самой заводской практике.

Знакомясь с интересными людьми в Канске, я вновь мысленно обращался к произведениям о современности, главным образом документальным, о которых шла речь на нашей конференции, недавно написанных о Сибири людьми одаренными. Я имею в виду книги Анатолия Приставкина об Ангаре, Валерия Поволяева о нефтяниках Тюмени, романы и очерки Константина Логунова, новую книгу «В степи под Абаканом» Анатолия Зябрева — красноярца, очерки Виталия Гербачевского о БАМе, рассказы Валерия Осипова и Вячеслава Шугаева, книгу мансийца Ювана Шесталова «Сибирское ускорение» и другие.

Естественно, им присущи разные художественные достоинства и вместе с тем все же печать одного общего недостатка. Этим интересным повествованиям недостает подлинной масштабности характеров. Большая должность — это ведь не всегда еще и большой характер. Крупная личность в любом деле, независимо от должности, как это и ярко видно на примере ткачихи Нины Веселковой, вырастает на почве коммунистической нравственности, реальных государственных дел и поступков.

В иных произведениях писатели, к сожалению, как говорится, еще «мелко пашут». А вместе с тем давно уже миновала пора первого знакомства с новыми индустриальными регионами Сибири. Беглые зарисовки, случайные встречи с героями, наблюдения, порою окрашенные сиюминутным авторским настроением, поверхностная описательность, общие места — все это не может уже удовлетворить читателя. Масштабы перемен социальных, экономических, нравственных в современной Сибири, во всей стране требуют такого же масштаба характеров.

Мы сейчас с удовлетворением повсеместно наблюдаем в жизни страны, в жизни рабочего класса выход на авансцену нашего хозяйственного строительства новых крупных экономических идей. Крупномасштабные задачи в области экономики прочно и долговременно сопрягаются с задачами коммунистического воспитания. Это естественно и закономерно. Успехи в этих двух важнейших сферах жизнедеятельности органически взаимообусловлены.

Претворение государственных решений в реальную практику наших дней — дело сложное, творческое и, видимо, многолетнее. Имеет ли все это отношение к нашей литературе, к нравственному облику рабочего наших дней, к нашим современникам, государственности их мышления, активной жизненной позиции? Имеет, и самое прямое и непосредственное. И конечно же наша литература, особенно боевая публицистика, не может пройти мимо этих реалий жизни, ее перспективных, ведущих тенденций.

Мы живем и работаем сейчас в двенадцатой пятилетке. Самое время снова и снова подумать «об уроках Ленина», как сами писатели определили главное содержание своего большого творческого форума в Сибири, пристально вглядеться в живой образ коммуниста — героя нашего времени великих свершений, показать громадную, разностороннюю работу партии сегодня, творческий ленинизм в действии. В этом, как мне представляется, один из самых важных, деловых итогов конференции в Шушенском.

УЛИЦА СУРОВЦЕВА



натолий Суровцев получил новую квартиру как раз в те дни, когда его бригаде поручили монтаж первенца новой серии шестнадцатиэтажных башен. Первенец — это первенец, и этим уже много сказано.

Хлопотный, хотя и радостный переезд с одной квартиры на другую совпал с началом монтажа дома, проект которого впервые во всей Москве осуществлялся на практике.

Жили Суровцевы раньше в районе Севастопольского бульвара в двухкомнатной квартире, тесноватой для четырех. Да и подрастали дети — мальчик и девочка. Единственным удобством здесь иногда оказывалась близость к самим новостройкам. Но так уж

случалось, что, когда Суровцев жил на Юго-Западе, он монтировал дома все больше в Свиблове, Медведкове, Новогиреeве, Вешняках или Ивановском, то есть в другой стороне Москвы. А как только дали ему квартиру вблизи Речного вокзала, в Химках, то и первую шестнадцатиэтажку наметили ставить опять же на Юго-Западе, в Северном Чертанове, куда от Химок часа полтора езды на метро, автобусах, и только в один конец.

Но все равно в новую квартиру Суровцевы перебрались с радостью. Это старикам всякие переезды уже в тягость, а у Суровцева перемена жилья вызвала духоподъемное настроение, так, словно бы он не мебель перетаскивал в новую квартиру, а садился на вокзале в поезд, чтобы отправиться в манящую неизведанными радостями поездку.

Суровцев хоть и строитель, но масштабный, а с обустройством собственной кухни или ванной возиться не очень-то любил, да и времени не хватало. Но тут выручала жена, все взвалила на себя — переезд, возню с детьми, домашнее хозяйство.

Существует в иных семьях такой установившийся, нигде не зафиксированный, но тем не менее прочный договор на распределение семейных обязанностей. Суровцев ценил старания жены, ее супружескую преданность, постоянное выполнение ею своего семейного долга так, как она его понимала.

И раньше, живя на Севастопольском бульваре, и здесь, у Речного вокзала, Суровцев вставал ежедневно в 5.15 утра. Не было случая, чтобы Валентина Петровна не вставала вместе с ним, хотя должна уходить на работу позже, разогревала завтрак, в хорошем настроении отправляла мужа на работу.

И так каждый день, год за годом, не уставая, не ворча, не жалуясь. Суровцев уходил осенью и зимой затемно, возвращался тоже обычно затемно, часам к восьми, а то и позже — собрания, заседания, общественная работа. С детьми — только в воскресенье. Иногда времени не было. И тут находил понимание — не слышал от жены ни жалоб, ни упреков в том, что он ее мало видит и в кино, театры вместе ходят редко.

— Она у меня хорошая семьянинка, верный человек! Как бы я без нее, наверно, не смог бы так вкалывать! — как-то сказал Владимиру Копелеву он еще в пору их совместного бригадирства, когда они после собрания в управлении забежали однажды в «стекляшку» выпить пивца.

— Повезло тебе,— мрачновато буркнул Копелев, должно быть уловив в голосе Суровцева нотку самоуверенного удовлетворения и даже гордости за такую жену.

— А это потому, что сам нашел, не по приговору суда получил.

Суровцев пытался шуткой смягчить свою похвальбу.

— Вот именно — сам. Все мы сами кузнецы своего счастья,— сказал Копелев.

— А в чем оно?

— В любви. Любишь, и все!

— Я потому и хвалю Валентину, что люблю. Мне это удовольствие доставляет,— заявил Суровцев, интонационно как бы ставя точку на этой мысли. При этом коротко вздохнул и улыбнулся, потому что был искренен до конца.

Этот разговор как-то вспомнился Суровцеву на новой квартире. К вечеру они собрались всей семьей у телевизора и могли с удовлетворением заметить, что квартира обрела жилой вид и все выглядит неплохо. Труды же здесь были главным образом Валентины Петровны. Суровцев ворочал лишь там, где требовалась мужская сила.

— Спасибо тебе, Валюха! — прочувственно сказал он жене так, как называл ее в молодые годы, когда они только поженились.— Ты у меня герой домашнего труда. Если бы такое звание объявили, тебе бы — медаль, а то и орден.

— Ладно уж,— Валентина Петровна махнула рукой.— Мне лучший орден — когда дома все хорошо, и у тебя, и у детей.

— На стройке как раз дела тяжелые,— признался Суровцев, обычно он не любил без особой нужды посвящать жену в свои производственные проблемы, ей хватало своих. Валентина Петровна работала на заводе твердых сплавов, где занимала должность распорядителя работ.

Сейчас Валентина Петровна насторожилась.

— Что у тебя стряслось, милый?

— Новый дом надо слепить. Задачка! Ты видела проект? — спросил Суровцев.

Они сели тогда рядом на диван, и Суровцев показал ей некоторые чертежи, которые были у него дома, и фотографию с большого макета, выполненного в одной из мастерских МНИИТЭПа.

В отличие от знакомой и привычной Суровцеву продолговатой девятиэтажки, которую он мог монтировать, как однажды выразился, с «завязанными глазами», новый дом, даже внешне, являл собою иную картину.

Это была башня, соединенная из четырех кубов-секций. Проект прибавил не только новых семь этажей, отчего количественно наращивались трудности, характер монтажных работ изменялся и качественно. Появилось много новых деталей дома: несущие стены с пилонами, которых раньше не было, вместо балконов — лоджии. Так называемый открытый стык между панелями из экспериментальной новинки, на девятиэтажках, стал здесь обязательной частью проекта.

Самое главное заключалось, пожалуй, в том, что другой стала и общая конфигурация здания.

— Сложный домик! — заметил Суровцев.— Но мы его освоим. Только нужно время. А пока приходится переживать трудности.

— Не ты же один ответственный! — всполошилась жена. И, как всегда в минуты нахлынувшей тревоги, приложила обе ладони к груди.

— Не один я, Валюха, не один. Народу на площадке бывает много. И хронометраж начали вести.

— А это зачем?

— Ну, сколько времени занимают разные операции. Чтобы и для других домов и бригад дать точный график. Отсюда и темпы, и производительность, и заработки. Усекаешь?

— Как не усечь насчет заработков. Не потеряешь ли в деньгах?

— Потеряю, и не я один, вся бригада. Вначале. Это неизбежно. Как водится, хочешь чего-то добиться — и попотеть и немного пострадать надо,— сказал Суровцев, как бы извиняясь перед женою заранее за то, что в этом месяце принесет домой меньше денег.

— Ну, если немного, то это и не страшно. Живы будем — не помрем. Лишь бы дело пошло в гору, лишь бы ты был доволен, Толечка!

— Молодец! — обрадовался Суровцев. — Понимаешь ситуацию,— похвалил жену. И вспомнил...

...Шестнадцать дней назад бригада приступила к монтажу первого шестнадцатиэтажного корпуса. Происходило это в известном ныне экспериментальном районе Москвы, в Северном Чертанове. Теперь здесь новаторский полигон столицы. Опробуются новинки мировой строительной практики и воздвигаются корпуса с загадом на массовое строительство лет через пять — десять.

Первая шестнадцатиэтажка тоже имела адрес: Север-

ное Чертаново. Однако на этом участке было еще сравнительно пустынно, в полукилометре зиял заросший травою овраг, слева приятно курчавился зеленью чудом сохранившийся в такой близости от кварталов фруктовый сад, и ребята лазили туда за антоновкой и сладким ранетом. И еще вблизи этого большого сада притулился садик маленький — детский.

Фундаментщики, как обычно, подготовили бригаде бетонное основание, смонтирован был башенный кран, уже возвышались на земле штабеля из панелей, лестничных маршей и плит перекрытия — все было готово к началу нулевого цикла и монтажа первого этажа первой шестнадцатиэтажки.

С утра на площадку Суровцева съехалось начальство и управленческое и комбинатское. Дмитрий Ефимович Легчилин — тогдашний секретарь парткома, главный экономист комбината Петр Давыдович Косарев, молодой начальник управления Владимир Ефимович Копелев и инженер из производственного отдела комбината, назовем его условной фамилией Копытин. Провели маленькую оперативную десятиминутку в прорабской Суровцева как последний смотр перед началом работы.

— Даю тебе добро, Анатолий! Бери бригаду и начинай. Раньше говорили «с богом»! Я скажу — с удачей!

Копелев крепко пожал Суровцеву ладонь.

— Ты у нас ведущий, прокладываешь для комбината новую дорожку. Сейчас шестнадцатиэтажный, потом двадцати, потом двадцати пяти. Вперед и выше!

— Ведущий предполагает ведомых, а у нас двадцать бригад в комбинате — какой простор для передачи опыта! Учти это, Суровцев! — добавил Легчилин.

После этого к Суровцеву с приветствиями подходили все начальники и свои ребята-работяги. Получилось какое-то незапланированное маленькое торжество, приятно волновавшее.

— Космонавту, который все выше и выше,— протянул свою ладонь и Копытин. И хмыкнул при этом как-то без добра.

— А что! — Суровцев иронической интонацией Копытина пренебрег.— А что! — задорно повторил Суровцев.— Я считаю, что каждый в своем деле набирает высоту. Я сегодня своим ребятам скажу «Поехали!», как Гагарин перед полетом в космос.

— От скромности ты определенно не умрешь,— съязвил

Копытин.— А на этом домике как бы не пришлось тебе, товарищ Суровцев, кровью харкать. Ты его слепи сначала в срок, а потом уж крикнешь: «Поехали!»

— Да не каркайте вы хоть сегодня,— возмутился Легчилин.— Есть у иных людей привычка обязательно товарищу и в праздник настроение испортить. Чем-нибудь, как-нибудь.

— Привычка — вторая натура,— добавил Копелев.

— По себе знаете,— окрысился Копытин.

— Я на свой аршин людей не меряю,— отрезал Копелев.

Эта внезапно вспыхнувшая перепалка начальника управления и инженера из производственного отдела выглядела странноватой, особенно в торжественной обстановке начала монтажа первенца.

— Будет вам, Константин Касьянович, я ничего не слышал, вы мне ничего не сказали. А если и подумали что про себя, так это ваше дело,— примирительно заметил Суровцев.— Сейчас начинаем,— сказал он через минуту, взглянув на часы.— Там ребята бутылку шампанского приготовили — о фундамент разбить, чтобы рос наш домик быстро и ладно.

Все отправились на площадку. Суровцев подал знак машинисту крана, тот поднял с земли первую панель и потащил ее на корпус. И в это мгновение двинулась вперед стрелка почасового графика, единого для транспортников и строителей, для всех звеньев конвейера, для четырех заводов комбината, комплектующих для строек все детали домов.

И начался «первый день творения», как пошутил тогда Дмитрий Ефимович Легчилин.

Прошло несколько дней. Бригада монтировала первый этаж. На девятиэтажке это занимало двое-трое суток. А здесь, на первенце шестнадцатиэтажной башни, шел уже шестнадцатый день монтажа только лишь первого этажа. Да, шестнадцатый! И как это ни казалось диким и странным Суровцеву, привыкшему к высоким темпам стройки, мрачноватый прогноз инженера Копытина вроде бы становился болезненно гнетущей реальностью.

...— А что же Копелев теперь говорит тебе? — опечаленно спросила Валентина Петровна, прервав затянувшееся молчание, пока Суровцев и вспоминал и молча думал. Оттого же, что думал он невеселое, на сердце накаты-

валось тяжкое томление, которое хотелось стряхнуть с себя.

— Что говорит Копелев? А что, Валюша, в таких случаях говорят все начальники? «Давай, давай!» И он сам такое же слышал, когда бригадирствовал. Хотя понимает ситуацию и помогает. Редкий день, чтобы не приезжал на площадку, да и к себе вызывает в управление. Но что поделаешь, есть такие трудности, которые разом, как мел с доски, не сотрешь. Время нужно, а где его взять?..

На следующий день рано утром Суровцев, когда ехал на работу, вспоминал этот разговор, сначала в длинном маршруте метро до крайней станции «Варшавская», а затем пересаживаясь на автобус.

«Хорошо, когда в семье есть такое понимание между супругами, тогда и трудности переживать легче, и беда не так горька, и радость больше. С женой мне повезло,— решил он,— Валюха — человек!»

От метро «Варшавская» сесть в автобус даже рано утром не так-то просто. Куда уж как не окраина, а народу — тьма! А ведь еще полгода назад кругом были пустыри, да лес, да овраги, выходящие своими извилистыми расщелинами к черте Окружной шоссейной дороги. А сейчас по всему обозримому периметру везде уже вставали кварталы и изломанный, зубчатый силуэт новых микрорайонов подпирал к Окружному шоссе и чуть ли не к аэродрому Внуково.

«Растет Москва,— думал Суровцев,— и народ все прибывает и прибывает». Еще недавно ему казалось, вот-вот они застроят все свободные площади в столице. Темп-то огромный. Ежедневно несколько новых зданий. Ежегодно — сто двадцать тысяч новых квартир. Такого размаха строительства не знает ни одна столица мира. Время поднимает Москву вверх. Город тянется в небо. А те, еще недавно считавшиеся новыми, кварталы, где стоят унылые ряды из блочных пятиэтажек без лифтов, те самые корпуса, которые десяток лет тому назад монтировал сам Суровцев со своей бригадой, глядишь, лет через десять уже начнут сносить как устаревшие.

«Нет, безработицы строителям в Москве не предвидится»,— продолжал думать Суровцев, и сын его Игорек, если решит стать строителем, сможет продолжить отцовское дело. Москва будет расти, переустраиваться, хорошеть вечно как один из самых великих городов нашей земли.

На строительной площадке, где уже выпер из-под зем-

ли фундамент, в отличие от серого бетонного прямоугольника типовой девятиэтажки, похожий на изогнутое основание в виде укороченной буквы «Ш», между возведенными стенами первого этажа ходили Копытин и Косарев. Увидев начальство, Суровцев поспешил к ним.

— Ну что, Герой Труда, загораешь на фундаменте, заело у тебя,— вместо приветствия грубовато бросил Копытин. Он разговаривал со звеньевым Геннадием Чоховым и бетонщиком Худяковым.

Чохов, худой парень с острым профилем и лохматой шевелюрой, которая выбивалась даже из-под каски, был на полголовы выше Копытина, в то время как маленький Худяков в своей брезентовой робе казался почти квадратным. Стоя рядом с Копытиным, они как бы образовывали живую пирамиду. Заметив это, Суровцев слегка улыбнулся и еле заметно подмигнул своим рабочим. Он ценил обоих, это были кадровики в бригаде — ее золотой фонд.

Однако неопределенная улыбка Суровцева могла быть истолкована по-разному. Копытин, видно, принял вариант некоей иронии, объяснить которую себе не мог.

— Чего осклабился? Тут бригадиру впору плакать. График завалил, монтаж еле дышит, радоваться-то какая причина?

— Радоваться нечему, но и слезам Москва не верит. Пилоны, Константин Касьяныч, замучили нас. Раньше их мы не делали. А сейчас выводим эти столбики по вертикали, и семь потов сходит. Потому что нет монтажной оснастки, опыта нет.

— А я что говорил,— почти обрадованно воскликнул Копытин,— о чем предупреждал?! Проект сырой, подготовки не было настоящей, а мы взялись и пошли-поехали! «Ура, ура!»

— Заводы должны сделать нам оснастку. Я вас просил об этом много раз,— сказал нахмурившийся Суровцев.

— Я штампы не рожаю. На завод надейся, а сам не плошай, самим пока что-то соображать надо.

— Соображаем как можем,— сухо ответил Суровцев, подумав про себя, что ставить задачи легче, чем их решать, и что Копытин злится, но конкретных советов не дает, технологических решений не предлагает, а только понукает и «сигнализирует» о том, что и всем другим ясно.

«Деятель типа «давай-давай!». Глотка луженая, и это главный инструмент».

Это Суровцев произнес про себя, а может быть, и ска-

зал бы в лицо Копытину, смягчив, конечно, формулу, он был не робкий с начальством. Но тут вмешался Косарев, подойдя и спросив, знает ли бригадир стоимость фонда зарплаты за эту первую шестнадцатиэтажку...

— Знаю, двадцать четыре тысячи на бригаду.

— Правильно. У вас сейчас производительность упала, есть, конечно, к этому объективные причины, но вот, Анатолий Михеевич, если уменьшить численно состав бригады, заработки поднимутся. И тогда этот трудный период освоения легче будет пройти. Выгода здесь очевидна.

— Кому? — спросил Суровцев и слегка насупился.

— Вам, я полагаю.

— Мне — нет! Простите, Петр Давыдович. Меньше людей — это все хорошо. Денег больше — правильно. А дальше?

— Что дальше? — не понял Косарев.

— Дальше темпы возрастут. И тогда с маленькой бригадой мы не управимся. Пусть мы сейчас потеряем в деньгах, пострадаем на этом деле, но зато на этих малых темпах не присохнем, когда вместо одного такого корпуса за это же время будем делать два. А заработки, они постепенно выровняются, я уверен, именно за счет производительности.

— Это только ваше мнение? — спросил Косарев, не скрывая своего удивления.— Насчет желания «пострадать в деньгах»,— пояснил он.

— Не только мое, Петр Давыдович, я еще не всех опрашивал, но, думаю, ребята поддержат,— сказал Суровцев.— Вперед смотрим.

— Вот как! — Косарев пожал плечами; он не ожидал такой реакции Суровцева, и чувствовалось, что он хочет подумать, прежде чем привести еще какие-то аргументы в защиту своего мнения.

— У вас хронометраж, а у бригады свои расчеты, Петр Давыдович,— интонационно смягчая остроту разногласий, заметил Суровцев.

— Нет, тут можно спорить,— сказал Косарев.

— Будем спорить,— пообещал Суровцев.

Копытин, слушавший весь этот разговор с очевидным и нарастающим раздражением, не выдержал и резко сплюнул себе под ноги.

— Ты, Суровцев, несовременный человек. Случаем, не фантаст-самоучка? А? На первом этаже присох, а фантазий вагон и маленькая тележка. Ты давай лучше вкалывай

по-настоящему, людей мобилизуй, сумей потребовать на максимуме. План — это закон нашей жизни. Если через два дня не выйдешь на второй этаж, ну, в общем, пеняй на себя!

— А мы что, разве не выкладываемся на полную катушку? Вы у ребят спросите! — Суровцев начинал закипать, несправедливость укоров Копытина обидно задевала его.— Константин Касьяныч, вы у ребят спросите,— повторил Суровцев и кивнул на Чохова и Худякова.

— Сварки больно много, товарищ Копытин, никогда не было у нас столько сварки,— поддержал бригадира Чохов.— Сварщик варит, а мы стоим. А что сделаешь! Надо бы кое-какие металлические рамки на земле варить, а еще лучше — на заводе. А мы бы тогда их точно сажали на место, и быстрее бы дело шло.

— Хорошая мысль, Худяков. Я тоже так думаю,— заметил Суровцев.

— «Хорошая мысль»! Академики в серых робах! Вы что, сговорились, что ли! — почти закричал Копытин и побагровел. Сначала краской налилась грудь, видная из-под расстегнутой рубашки, потом шея, щеки и лоб, и казалось, словно бы эту краску возмущения нагнетало сейчас сердце раскипятившегося инженера.

— Что мне с ваших «надо бы», «да как бы», «да если бы»? Условная форма! А нам безусловно план надо тянуть. Бригадный подряд выполнять. Ты договор подписывал? Ответь, Суровцев!

— Подписывал. Но сами видите, с какими мы столкнулись трудностями. Я уже пятый день прошу вас, Константин Касьяныч, съездите на завод, поставьте вопрос о новой монтажной оснастке для этого дома. Сами-то мы тут не можем ее сделать.

— Сделать не сможешь, а поставить вопрос сможешь,— бросил Копытин.

— Кто я такой? Бригадир. Тут должен быть начальственный голос.

— Ну, ты такой бригадир, что умеешь разговаривать басом,— возразил тут же Копытин и после паузы, почему-то вздохнув, добавил: — У нас есть начальник управления, знатный товарищ. Это его забота, к нему обращайтесь, а сейчас хватит нам с тобою пререканий, иди работай, бригада ждет.

— Иду,— резче, чем обычно, ответил Суровцев, не совладав со своей обычной сдержанностью, ибо грубость и

бесцеремонность любого собеседника вызывали у него резкую реакцию раздражения.

И все же сразу на монтажную площадку он не пошел, а заскочил на минутку в прорабскую, подошел к телефону.

— Где Копелев? — спросил он, позвонив в диспетчерскую управления.

— На дороге в Вешняки,— ответили ему.

— А соединиться можно? Это Суровцев.

— Попробуем.

На «Волгу» Копелева недавно поставили телефон, и он из машины мог разговаривать со всеми своими стройками и объектами. Даже самого его можно было вызвать через коммутатор управления. Сейчас, сквозь гул проводов и расстояния, Суровцев слышал, как кричал в трубку диспетчер.

«Первый! Первый! Ответьте, где вы? Алло! Вышли, что ли, из машины? Шофер где?» Шофер откликнулся, может, он выходил из машины вместе с Копелевым, который летом, в жару, не пропускал по дороге ни одной бочки с холодным квасом. Суровцев понял, что он «засек» «Волгу» Копелева на Волгоградском проспекте, на другом конце Москвы, если смотреть из Северного Чертанова.

— Что тебе, Толя? — голос Копелева звучал ясно и четко.

— Копытин здесь, приехал стружку снимать с меня,— начал Суровцев.

— Много снял?

— Да чешет и чешет. За то, что сидим шестнадцатый день на первом этаже.

— Чтобы твою фигуру в стружку перегнать, ему месяц надо потеть.

Суровцев почувствовал, как усмехается Копелев. Представил себе его в машине, рядом с шофером, с лоснящимся от пота лицом, облизывающим губы, слегка занемевшие от холодного кваса.

— Мне не до смеха, Владимир Ефимович.

— И мне тоже. Сколько еще думаешь монтировать первый этаж?

— Дня два еще.

— Итого — восемнадцать! Многовато даже для начала,— голос у Копелева стал заметно суше.— Заклинило крепко. Ну, ты хоть проанализировал, что жмет больше всего, какой узел надо разрубить?

— Говорил же я — монтажная оснастка. Бетонирование вертикальных стыков. Пилоны эти, черт бы их побрал! Никогда раньше мы с ними дела не имели. Нужна помощь завода.

— А Копытин что? Инженерные же вопросы.

— Говорит, у нас есть начальник управления. У него глотка крепче.

— Ишь ты, футболист! На пас работает. Мастер отбивать мяч подальше от себя!

Копелев на том конце провода не то зевнул, не то заскрипел зубами.

— Глотка у него, я думаю, луженее моей. А к глотке еще бы и старание и ума побольше.

Суровцев помолчал. Он ждал ответа на свой вопрос относительно завода.

— Я сейчас на стройку, оттуда на Краснопресненский завод. Будем требовать. Если у тебя есть какие-либо соображения по оснастке, чертежи давай мне. И сегодня же вечером.

Суровцев кивнул, хотя этот кивок Копелев, естественно, не мог увидеть.

— А ты не раскисай,— продолжал Копелев.— Освоение — это освоение. Каждый понимает. Работай напористо, но спокойно. Как эта пословица: «Глаза страшатся, а руки делают!» Так понемногу, раскачкою, раскачкою, а дойдем до ума. Бывай!

— Спасибо. До вечера,— с чувством душевного облегчения произнес Суровцев и повесил трубку.

По дороге на площадку он подумал:

«Вот Владимир Ефимович Копелев умеет поднять настроение. Хвалит он или ругает — неважно. В любом случае положительным зарядом намагничивает, заряжает энергией. Это важное свойство для любого руководителя. А то ведь с иным поговоришь, точно мыла напьешься. Вот как с Копытиным. И не то чтобы работать, а и жить после таких разговоров не хочется».

На монтажной площадке шла обычная работа. Суровцев надел брезентовые рукавицы, сам взялся за стропы крана, на которых опускалась вниз наружная панель. Потом лопатой подровнял бетонную «постельку» для панели.

Руководитель бригады, он любил поработать и сам. И в силу необходимости, когда надо было помочь товарищам, и для удовольствия, которое приносило мышечное напряжение. Работа снимала раздражение, успокаивала.

Вот и сейчас постепенно улетучился налет свинцовой угнетенности, оставшейся после разговора с Копытиным. Так всегда: начинаешь работать и тем самым обретаешь устойчивость настроения. Душа становится на место. Правильно сказал ему по телефону Копелев:

«Не раскисай, не бойся трудностей. Глаза страшатся, а руки делают!»

...Прошло еще несколько дней. Как обычно, Суровцев рано утром уехал на работу. Он торопился попасть к «разводу». «Развод», как говорили на стройке, а иными словами — сдача и прием вахты после ночной смены, проходил в семь тридцать утра. Зимой и осенью этот ранний час ничем не отличался от ночи. Все так же горели прожектора и лампы, и в их мерцании серый бетон перекрытий отливал густой чернотой.

Другое дело — летом. В семь уже светло, солнце часа два как над горизонтом, и если небо чистое, то и плиты, панели и перекрытия густо рябят веселыми, движущимися солнечными бликами, и кажется, будто этот утренний свет ложится всюду чистым, радующим глаз сиянием с легкой примесью яичного, желтоватого цвета.

Суровцев был родом из Сибири. Как он сам говорил нередко: «Папа и мама наградили меня хорошим здоровьем». Суровцев надеялся на свое здоровье, и оно его не подводило, легко выдерживая все перегрузки и недосыпания, и интенсивной работы. Поэтому, ощущая свою надежную физическую форму, Суровцев рассчитывал в бригадирах держаться долго.

Про себя он не раз думал так: «Вот если я перестану испытывать перед работой чувство веселящей бодрости, то, что можно назвать «мышечной радостью», тогда можно начинать думать о конце бригадирской деятельности. Но не раньше. Никак не раньше».

«Развод» звучало как слово военное и придавало обычной рабочей пересменке значение некоей приподнятости. Суровцеву и другим монтажникам, служившим в армии, слово это напоминало ритуал развода караула на дежурство или охрану постов. На стройке каждое утро, провожая ночную смену и встречая утреннюю, бригадиры тоже «разводили на посты», только это были рабочие места монтажников и бетонщиков, крановщиков и штукатуров.

Процедура «развода» обычно приятно возбуждала Суров-

цева как своего рода духовная зарядка, как мобилизующая увертюра к музыке всего рабочего дня. Однако ж сегодня Суровцев вступил на рабочую площадку без обычной радости. Заболел сынишка, и мысли об этом не давали ему покоя, мешали сосредоточиться на делах. Суровцев нервничал, и это, должно быть, было заметно.

На корпусе, как говорили строители, первый этаж был уже окончательно завершен. Сейчас бригада сделала все приготовления для начала монтажа второго этажа. И сама мысль об этом, о том, что все-таки первый этаж нового дома они одолели, принесла какое-то облегчение.

Около корпуса он снова увидел Копытина и Косарева.

Значит, они поднялись тоже в пять утра, чтобы поспеть к «разводу». Такое рвение начальства вызывало сейчас не столько удивление, сколько настороженную озабоченность. Если бы речь шла о производственном совещании, то его можно было бы созвать ближе к обеду, что обычно и делалось.

— Что у вас такое лицо? — спросил Косарев у Суровцева, когда рабочие из ночной и утренней смен собрались в кружок прямо на плитах перекрытия, иными словами, на будущем полу второго этажа.

— Сейчас начинаем «развод», извините за задержку,— сказал Суровцев и взглянул на часы.— Опоздали на три минуты. Ну, а лицо? Я себя, признаться, не вижу,— он повернулся к Косареву.— Вообще-то мальчишка у меня заболел, Петр Давыдович, вот какое дело. Наверно, уже жена привезла его в больницу. Ну, и, понимаете, душа не на месте!

— Конечно, конечно! А сможете ли вы сегодня работать?..— сочувственно спросил Косарев.

Суровцев не ответил, только пожал плечами, что могло выражать: «Не знаю, посмотрим, работать надо!»

Что такое «развод», если представить его в лицах? Звеньевой ночной смены Чохов коротко доложил, что сделано за ночь, чего не хватало, каков запас деталей. Бетонщик Худяков, заменивший заболевшего Родиона Яковлевича Богатко, звеньевого и партгрупорга бригады, выслушав замечания бригадира по работе ночной смены, как говорится, мотал себе на ус. Потом он давал свои заявки на материалы. На эти наставления бригадира уходило минут пять — десять. Время дорого, и ритм работы проверен, налажен. Каждый знает свое место и обязанности.

Но на этот раз «развод» затянулся. Ведь не зря же Копытин и Косарев, которые явно не страдают бессонницей, приехали в Чертаново так рано.

«Значит, им есть что сказать бригаде»,— подумал Суровцев. И не ошибся.

Едва Суровцев закончил «развод», как заговорил Копытин.

— Товарищи монтажники,— начал он на торжественной ноте, которая мало соответствовала мрачному выражению его лица, а еще меньше смыслу того, о чем он говорил.— Мы приехали сюда так рано, чтобы захватить две смены и сэкономить вам время — не приглашать же всю бригаду в комбинат после работы. Однако, как вы понимаете, мы приехали не по пустяковому делу. Плохо, товарищи, и тревожно! Очень тревожно. Первый этаж вы монтировали восемнадцать дней!

Копытин передохнул, словно бы ему трудно было продолжать — так огорчало и удручало его положение на стройке.

«Актер!» — зло подумал Суровцев.

— Это еще ничего — восемнадцать, могло бы и больше! — крикнул Худяков.— Новое дело, первый блин — всегда комом.

— Мы не блины печем, товарищи, мы монтируем корпуса на основе современной техники. А вы мне не мешайте! — вдруг цыкнул Копытин на Худякова.— Вы лучше подсчитайте в уме: шестнадцать этажей по восемнадцать дней. Это больше чем полгода на один корпус. Да кто же это нам позволит! В таком темпе мы кирпичные дома строили лет тридцать тому назад. А сейчас это нонсенс!

— Кого? — переспросил Чохов.

— Не кого, а что! «Нонсенс» в переводе — бессмыслица, глупость, нелепость.

— Тем не менее факт,— сказал Суровцев.

— Но нетерпимый. Прямо скажем — аварийное положение у вас, бригадир. ЧП, как говорят в армии. А я не вижу у вас тревоги, законного чувства ответственности.

— Оно в работе,— снова не удержался Суровцев.— А как его еще выражать?

— Не знаю, не знаю! Вот я и Петр Давыдович,— Копытин кивнул в сторону Косарева,— он как главный экономист комбината тоже хотел бы знать, как вы думаете работать дальше?

Копытин замолчал, вытер платком лоб, и наступила за-

тяжная пауза. Его вопрос был обращен ко всей бригаде. Но Копытин при этом сердито смотрел только на одного Суровцева, словно бы именно от него ожидая ответа. Суровцев заметил, что Петр Давыдович хотя и отмалчивается пока, но и он выжидательно посматривает на бригадира.

А Суровцев тянул и тянул с ответом. Подняв голову, он посмотрел сначала на небо, словно хотел что-то прочесть там, в бездонной голубизне, оттененной лишь кое-где разводьями перистых облаков. Потом бросил взгляд на башенный кран, где около кабины машиниста висел плакат со словами: «Сегодня работать лучше, чем вчера, завтра — лучше, чем сегодня!» Успел, скосив глаза, увидеть подъехавший из центра панелевоз и шофера, который уже кричал такелажнику, чтобы тот быстро разгружал панели. У шофера свой график, а такелажник находится на «разводе».

Суровцев растягивал паузу. Он разглядывал знакомую картину стройки с тем, чтобы успокоиться, побороть в себе раздражение от напыщенной речи Копытина. Он думал о жене, о сынишке, которые сейчас маются в больнице. И снова с раздражением о Копытине. Ведь был же он в курсе всех трудностей. Не раз они уже заводили об этом разговор. На вопрос Копытина он, Суровцев, мог бы сейчас ответить не менее сердитыми вопросами и претензиями к производственному отделу комбината.

И вместе с тем Суровцев понимал, что мало толку в такой перепалке на глазах у бригады, что дела настоящего не решить сейчас взаимными упреками и претензиями. К тому же был еще уверен, чувствовал сердцем, что Копытин приехал на площадку не из желания выслушать справедливые или несправедливые замечания бригадира. А лишь затем, чтобы, как говорится, «нажать покрепче на бригаду» и сигнализировать потом комбинатскому начальству, что он-де, Копытин, предупредил, заострил вопрос.

— Ну что же ты, бригадир, замечтался об отпуске, что ли? — нетерпеливо прервал паузу Копытин.— Мы ждем ответа.

— На втором этаже корпуса бригада срок споловинит,— кратко и резко, словно команду, бросил Суровцев.

Это прозвучало неожиданно. Для Копытина, во всяком случае. Но не только для него. Двое монтажников пере-

глянулись между собою. Их недоуменные взгляды поймал Суровцев. Да, он не успел обговорить этого решения со всеми, но ведущие монтажники, звеньевые знали о нем. Суровцев прикинул, подсчитал сам дома и, опираясь на свой опыт, на рабочую интуицию, сейчас был уверен, что срок этот они выдержат.

Что же касается Копытина, то он в некоем ошеломлении открыл рот и, задумавшись, забыл закрыть его.

— Значит, девять дней? Лихо! А за счет чего, позвольте узнать?

В голосе инженера звучало явное недоверие к этому заявлению бригадира... Но будь оно даже искренним, все равно здесь, на строительной площадке, Копытин должен был постараться его скрыть. Ведь рабочие привыкли уважать бригадира и верить ему..

— Вас удивляет, Константин Касьяныч, за счет чего? Секретов тут нет никаких. Труд. Набираем навыки, приспосабливаемся. Привыкаем. Вот так, раскачкою, раскачкою, и доходим до ума. Великое это дело — рабочее терпение, опыт крупица за крупицей... Вот и вся тайна. Шестнадцатиэтажку слепим как надо. Мы это уже и на первом этаже почувствовали. Верно, ребята?

Суровцев с надеждой посмотрел на монтажников. Он ждал, что его поддержат, прежде всего — звеньевые.

— Есть движение, мы это чувствуем,— тут же сказал Чохов, зачем-то сняв и снова надев каску.

— Конечно, осваиваем. Трудно будет, но сделаем. Погвардейски. Бригадир правильно говорит,— вставил Худяков.

— Ну, вот вам мнение бригады,— Суровцев взмахнул рукой, как бы охватывая всех стоящих на площадке и одновременно подводя итог сказанному.

— Запишем, запишем, как ваше торжественное обещание, товарищ Суровцев. Сегодня же доложу в комбинате.

«Тебе бы только доложить! — зло подумал Суровцев.— Информатор!»

— Ускорение на втором этаже будет,— твердо повторил он.

И был доволен, что ограничился этим. Чтобы искренне говорить человеку правду в лицо, надо по меньшей мере уважать его или рассчитывать на то, что правда эта дойдет, будет понята.

Удовлетворенный итогами совещания, Копытин тут же уехал. Косарев же отправился в прорабскую со своими схемами и графиками хронометража рабочих операций на экспериментальном корпусе.

...Так и получилось, как пообещал Суровцев. Слово свое бригада сдержала, и монтаж второго этажа занял теперь уже только... девять дней.

Немалого это стоило труда. Не раз бригадир ездил на завод торопить с изготовлением исправленных деталей дома. И не только Суровцев, но и Копелев, Косарев. Не раз проводились совместные совещания с проектировщиками, с архитекторами. Внедрять новое — это всегда трудно.

«На нашем первенце — шестнадцатиэтажке, — сказал Суровцев, выступая на районном совещании строителей, посвященном опыту внедрения бригадного подряда,— было обнаружено, товарищи, двадцать девять ошибок по качеству. И в самом проекте, и в нашей работе, и потом в оценках монтажа. Я собрал бригаду: так, мол, нельзя, друзья! Мы обсудили все досконально. И многое поправили по нашей рабочей инициативе».

Мне довелось присутствовать на этом совещании, слушать выступление Суровцева. Помню, что, когда он заговорил об этой инициативе бригады, в зале раздались аплодисменты. Хлопали, конечно, не тому, что бригадир созвал своих товарищей на еще одно собрание. А потому, что бригада проявила такую творческую заинтересованность, тому, что с небрежной и некачественной работой совместить свой труд бригадир Суровцев не хочет и не может.

«Товарищи,— продолжал тогда Суровцев, ободренный и, как мне показалось, даже вдохновленный этой реакцией зала,— мы все в комбинате работаем в ритме точного графика и потока, и поэтому злобинский метод в наших условиях получает свою, так сказать, физиономию. Вот пример. Обычно бригады соревнуются за экономию материалов. А у нас отдел комплектации все отпускает тютелька в тютельку. Экономить не на чем. А вот сохранять материалы необходимо. Сохранение деталей — вот направление нашего соревнования за экономию. Тут дело не просто в аккуратности рабочего. А в том, чтобы он всегда беспокоился

за народную копейку. А это хорошее беспокойство. Оно должно быть цементом схвачено с настоящей дисциплиною...»

Суровцев тогда развивал в своем выступлении интересную мысль о том, что успех бригадного подряда не только в организованности, в высоком уровне управления, не только в дисциплине рабочих, но и в дисциплине руководителей.

«Я вот спрашиваю себя,— говорил он,— почему иные бригады обходят этот бригадный подряд стороною, как кот горячую кашу. Потому, что подписать подряд легко, а если нет обеспечения, то бумага эта становится дырявою, и через эту дыру улетают и зарплата, и премия, и честь рабочая. Так что приветствовать бригадный подряд надо не только на словах, но и на деле, создавая условия, как говорится в афишах, «сегодня и ежедневно». Когда в бригаде вырастает коллективная ответственность, то образуется и другой нравственный микроклимат. А это важная штука, потому что в этом климате мы живем и работаем»,— подытожил он свою мысль...

Как же развивались дальше события на стройке первенца дома новой серии? На одиннадцатом этаже бригада Суровцева пошла уже по четырехдневному графику, на четырнадцатом — запросили себе график: «Три дня — этаж!» И выдержали этот ритм.

Следует заметить, что и сейчас шесть дней на этаж — это, так сказать, «усредненный норматив для домостроительных комбинатов и трестов». Начиная со второго шестнадцатиэтажного дома, Суровцев выдерживает на монтаже ритм «Этаж за три дня!». Иногда же ведет по графику: два дня — этаж! Теперь бригада сдает дома, как говорят строители, «с первого предъявления». И на каждый новый дом выдается гарантийный паспорт.

Устойчивые высокие темпы! Устойчивые из месяца в месяц, из года в год.

Не является ли эта деятельная постоянность высшей оценкой для бригады? Оценкой и долговременности усилий коллектива, и высокой добротности организации труда. И не отсюда ли проистекает почти всегда бодрое, ровно устойчивое и хорошее рабочее настроение у Анатолия Михеевича Суровцева?

* * *

Можно сказать, что я уже давно знаю Суровцева. В 1979 году мы отметили наш маленький юбилей — первое десятилетие знакомства и дружбы. Отметили дружеской беседой, когда встретились однажды вечером (Суровцев заканчивает работу на стройке в четыре дня) в уютном здании управления, которое с любовью возведено руками самих строителей и находится на Красной Пресне, рядом с главным входом в зоопарк.

Заговорили о делах текущих, но и вспомнили лето 1969 года — большой жилой массив в Вешняках-Владычино. Я тогда сказал Анатолию Михеевичу:

— А вы помните ли этот крайний, восточный, жилой редут Москвы? Вы возводили там первые типовые девятиэтажки. Рядом работала тогда бригада Владимира Копелева, тут же, близко, к сожалению, уже покойного бригадира Игоря Логачева. Три передовые бригады тех лет, между собою упорно соревнующиеся. Трое верных друзей. Трое правофланговых бригадиров в комбинате, который возводит каждый четвертый типовой дом в столице.

— Все правильно,— ответил мне Суровцев, — только тогда уж надо вспомнить, что я был не тот бригадир, что теперь. Тогда только еще осваивал новую бригадирскую должность в коллективе, которым много лет руководил Геннадий Владимирович Масленников, Герой Социалистического Труда. Масленников был замечательный организатор, практик, инициативный человек. А я в ту пору никому не известный, скромный парень из города Кургана. Как справиться с масленниковским наследством, как не уронить славы и чести бригады?

Первые два года мне было очень тяжело. Требовалось найти верную дорожку к сердцам рабочих. Но не подстраиваться под человеческие слабости, не через водку идти на сближение, а искать в людях ценное, главное и опираться на это лучшее, перспективное. Изучить характеры своих товарищей. Я старался завоевать доверие, авторитет, твердой рукою укрепляя дисциплину, боролся за качество монтажа, за профессиональную взаимозаменяемость в бригаде. Особенно меня тогда не удовлетворяло качество работы. В общем, не легкое было для меня время.

Я спросил у Анатолия Михеевича, намного ли легче ему сейчас.

— В чем-то легче,— сказал он,— а в чем-то еще слож-

нее и труднее, но по-иному. Жизнь все время выдвигает новые задачи.

— Да, наверно, это так,— заметил я,— но все-таки давайте сейчас, Анатолий Михеевич, вернемся памятью к этому десятилетию. В вашей рабочей жизни оно было бурным, насыщенным событиями, и если согласитесь, то и счастливым. Когда я с вами впервые познакомился, вы были действительно только еще начинающим бригадиром, которого не все-то знали даже в комбинате. Безо всяких званий и наград. Но вот вас наградили орденом Трудового Красного Знамени, вы стали заслуженным строителем РСФСР. Это звание дается почтенным по возрасту строителям, а вы получили его — молодым. Затем вас удостоили звания лауреата Государственной премии СССР. И наконец, в августе 1979 года вы стали Героем Социалистического Труда. И все это за одно десятилетие.

Суровцев тогда почему-то слегка вздохнул и задумался. О чем — не знаю. Могу только предположить, что он как бы мысленно оценивал, оглядывал прожитые в труде годы, взвешивал их груз на весах быстротекущего времени. И не мог, я уверен, не ощутить при этом радости удовлетворения.

Я же продолжал:

— А кроме того, за эти годы так внушительно расширился круг ваших общественных, партийных обязанностей и забот. Член парткома комбината, член пленума райкома, член пленума МГК КПСС, член Президиума Моссовета. Жизнь ваша стала многогранной, духовно насыщенной, богатой. Ведь вы и литературу любите, я в этом убеждался не раз, и дома у вас хорошая библиотека, любите книги о войне, интересуетесь современной темой. Ну и, конечно, вам не безразличны книги о современном рабочем классе, о тех людях, которых вы знаете, пожалуй, лучше всего.

Суровцев тогда ответил мне, что люди в его бригаде, управлении, комбинате быстро растут профессионально, но и они растут политически, расширяются их интересы, укрепляется, и он об этом не раз говорил, государственное отношение к работе, государственный взгляд на все, что происходит вокруг. И что в этом заложена активная позиция рабочего человека в нашем обществе.

И здесь у нас завязался интересный, на мой взгляд, разговор, а беседовали мы в кабинете начальника управления Копелева, который со строек приезжает часикам к пятишести, не раньше, разговор о проблемах, поднятых в по-

следних постановлениях партии и правительства о планировании, о хозрасчете, о регулировании хозяйственного механизма.

— Вообще-то говоря, эти решения подсказаны самой жизнью и во многом уже опробованы на практике.— Суровцев сказал тут же, что его радует то, как теперь значительно расширяется демократическая основа прав и обязанностей коллектива бригады. И в производственных делах — какой план принять, какой осваивать ритм монтажа? И в соревновании, и в определении форм поощрения за труд, за добросовестность.

— У нас есть совет, или, как мы его называем, актив бригады. В него входят звеньевые: Сергей Харламов, Василий Степанов, Виктор Шеметков, Нина Воронкова и другие. Вот построили мы корпус. Полагается нам премия, скажем, три тысячи рублей. Собираем актив и говорим: «Давайте посмотрим, как будем распределять деньги — кому дадим премию больше, кому меньше, кому совсем не дадим?» Потом утром на «разводе» объявляем свое решение, чтобы знала вся бригада.

Я спросил, считает ли Анатолий Михеевич, что эта мера влияния на коллектив не только, так сказать, материальная, но и моральная.

— Моральная еще, может быть, более сильная, чем материальная. Человек слышит, как при всем коллективе оценивается его труд, и если его лишили премии, то и вся бригада знает, за что именно. Мы организовали у себя в бригаде еще и общественное бюро кадров — из пяти человек. Всего-то в коллективе сейчас сорок восемь. Вот пришел в управление человек наниматься, а там ему выдают специальный бланк и направляют к нам на собеседование. Мы встречаемся с товарищем, расспрашиваем его обстоятельно и решаем в нашем общественном бюро, брать его или не брать. Бывает и так, что говорим: «Извините, дорогой товарищ, но вы нам не подходите». Без подписи нашего общественного бюро кадров управление не может зачислить рабочего к нам в бригаду.

— Вот как? — спросил я.

— Да, такой заведен порядок,— подтвердил Суровцев.

Признаться, я, много знающий о бригаде и ее руководителе (десять лет немалый срок), с обострившимся интересом слушал и смотрел на Суровцева в тот вечер. И не только потому, что общественное бюро кадров представлялось мне инициативой полезной, не в одном лишь дело-

вом аспекте, а ведь она еще и втягивала всех рабочих в бригаде в решение очень важных кадровых вопросов. И не только потому, что по сути своей эта форма демократизации производственной жизни отвечала духу и задачам новых постановлений партии и правительства, но еще и потому, что был уверен, идея эта, во всяком случае в масштабе строительного управления, исходила от Суровцева, который всегда был взыскателен не только к качеству монтажа, но и к соблюдению нравственного кодекса рабочего человека. Сам был наделен высокой рабочей совестью и требовал такой же совести и от других.

— Давно ли существует у вас такое бюро и кто его придумал? — спросил я.

— Существует с полгода, а «придумали», как вы говорите, мы сами. Нас подвела к этой идее практика жизни,— ответил Анатолий Михеевич без обычной своей мягкой полуулыбки. Когда он говорил о чем-то важном, близко задевающем его сердце, то и становился серьезным.— Если хотите, именно бригадный подряд,— продолжал он,— заставляет строго отбирать людей, быть более требовательным, взыскательным. При бригадном подряде никто за лентяя вкалывать не собирается. Пьяницы и прогульщики сорвут нам выполнение плана, да и по заработкам ударят. Как видите, мы все ведем к тому, чтобы увеличить нашу коллективную ответственность. И хотя груз ее не легок, и многое ложится на плечи бригадира, а все-таки мы идем на это с охотой. Я бы еще и так сказал: хорошо бы полноту ответственности разделить еще с полнотой власти бригады на порученном ей объекте. Раз мы отчитываемся по конечным результатам, раз нам отдали весь дом — значит, дайте бригаде в подчинение и всех маляров, и паркетчиков, и сантехников. Я вышел с таким предложением...

Да, Суровцев вышел с таким предложением и тут же... вошел в конфликт с руководством комбината, которое недавно организовало у себя специальное отделочное управление. Тут столкнулись две противоположные идеи. Что ж, бывает и так. Какая организационная форма больше отвечает интересам дела, повышению эффективности и качества, рассудит теперь сама практика, живой опыт. Только ведь так, путем исканий, обретений, потерь, и можно добраться до истины. Иного пути нет.

Слушая Суровцева в тот вечер, я невольно вспомнил и о том, что не впервые приходится ему отстаивать свое мнение и бороться за свои инициативы, встречая сопротивле-

ние, инертность и непонимание иных своих товарищей по комбинату. Так происходит и сейчас с опробованием одного из начинаний, которое на стройках носит название «Маршрутный журнал». Это инициатива одного из инженеров Главмосстроя, но Суровцев охотно взял ее «на вооружение» своей бригады и рассказывал мне о «Маршрутном журнале» с неподдельной искренностью увлечения:

— Раньше мы оценивали дом, когда уже все сделано и мало что можно исправить. А в «Маршрутном журнале» ежедневно выставляются оценки по качеству за каждую монтажную или отделочную операцию. Значит, возможности для исправления есть каждый день. В комбинате создана специальная «Лаборатория по качеству». Каждый день нам выставляются определенные баллы. В конечном счете они и составляют тот общий балл, который и определит качество дома. А следовательно, и размер премии. Я считаю это делом очень полезным,— закончил Суровцев.

Однако ж мне приходилось выслушивать скептические, отрицательные суждения на этот счет. По мнению иных специалистов, весь контроль здесь должен взять на себя сам бригадир, мастер, начальник потока, а не работники службы качества.

Что ж, и на этот раз истина не так уж ясна и проста. И вновь ее может выявить только длительный эксперимент, подсчеты и конечные результаты.

Но в ракурсе психологическом, в свете характера Суровцева, каким он мне представляется, вполне закономерен интерес Анатолия Михеевича к «Маршрутному журналу», хотя журнал этот и прибавляет бригадиру каждый день новые заботы. Новинка нравится Суровцеву, я думаю, потому, что Суровцев и сам «рыцарь качества», как его частенько зовут на комбинате, и поэтому все, что может поддерживать и укреплять это его рыцарство, ему хочется опробовать.

Он как-то сказал мне убежденно:

«Качество — это ведь не только технология, это еще и совесть рабочего, а для нее нет ни ограничений, ни потолка. Совесть же — это наше представление о своем долге перед людьми, страною. Я об этом часто думаю дома и за рубежом, когда выезжаю в командировки. И особенно в Берлине».

Это «особенно в Берлине» расшифровывается в том смысле, что Суровцев недавно вот уже в шестой раз приезжал в столицу ГДР. Приезжал не туристом, а для того,

чтобы поработать вместе с немецкими коллегами на новостройках немецкой столицы. Эти поездки Суровцева и многих его товарищей по комбинату можно назвать новыми шагами интернационального содружества строителей Москвы и Берлина.

Началось оно около десяти лет назад. Мне довелось с самого начала наблюдать за развитием этой интереснейшей инициативы. Сперва это были взаимные гостевые поездки, ответные визиты, переписка, а затем и совместная работа на сооружении домов, социалистическое соревнование в его новых формах — соревнование через границы.

Есть в Берлине площадь Ленинплац. Она расположена на северо-востоке от исторического центра Берлина, граничит с большим парком, зеленая полоса которого образует одну из граней архитектурного ансамбля. Однако это вторжение зелени не мешает ощущению широты, свободному размаху планировки, напротив, придает ей еще большую объемность и простор.

На этой площади стоит памятник Владимиру Ильичу, и рядом — трехступенчатая пирамида высотного здания в двадцать пять этажей. На сооружении этого здания в канун двадцать пятой годовщины образования Германской Демократической Республики в содружестве с Гербертом Кольманом и работал впервые Анатолий Михеевич Суровцев.

«Счастливый час в нашей дружбе!» Это не строка из стихотворения и не название рассказа. Это фраза из воспоминаний Герберта Кольмана, Героя Труда ГДР, которому этот «час» запомнился на всю жизнь.

Счастливый час! Это, конечно, метафора. Точнее, поделовому надо бы сказать — счастливых полгода, в течение которых берлинцы, построив несколько типовых и высотных домов, осваивали советскую технологию, метод московских и ленинградских домостроительных комбинатов.

Обычно от нулевого цикла до сдачи дома новоселам у берлинских строителей проходило сто сорок — сто шестьдесят дней. Лучшие бригады в московском комбинате выполняли тот же цикл дней за шестьдесят. Разница в темпах выглядела весьма существенной. Берлинские монтажники поставили перед собою задачу — эту разницу преодолеть или же значительно сократить.

— Я трудился на последних этажах высотного дома,— рассказывал мне Суровцев,— а мой товарищ из Ленинграда, Семен Ткачев, прилетел в Берлин на монтаж самого верхне-

го этажа и затем, чтобы уложить вместе с Кольманом последнюю балку перекрытия.

Я спросил, почему именно Ткачев.

— Его бригада соревновалась тогда с бригадой Кольмана, вот его и вызвали телеграммой.

Я тоже подумал: «Как мы быстро порою привыкаем ко многим приметам новизны! И начинаем считать эту новизну делом обыденным, заурядным. Вот, например, такие зарубежные поездки строителей, совместная дружная работа в интернациональных бригадах. Бывало ли раньше такое? А сейчас это укоренившаяся практика строительных буден».

Только взаимное обогащение опытом, взаимная учеба рабочих становится по-настоящему эффективной. Суровцев старался как можно больше взять из опыта немецких друзей и, в свою очередь, передать им навыки, умение. Со стройки на площади Ленинплац и началось, по сути дела, многолетнее соревнование, ежегодный обмен группами строителей для общей работы на стройках Москвы и Берлина, «обмен маленькими рабочими открытиями», как однажды удачно выразился Анатолий Михеевич.

А в результате — немецкие строители теперь работают намного быстрее, эффективнее, увеличили темпы монтажа, приближаясь к рабочим ритмам москвичей. А москвичи теперь работают с более высокими качественными показателями, приближаясь к уровню берлинцев.

Такова закономерность делового интернационального сотрудничества. Такова природа той самой животворящей силы, которая зовется социалистическим соревнованием.

Мне приходилось не раз бывать в Берлине. Я хорошо знаком со строителями Вонунгсбаукомбината, который строит современную столицу ГДР. Структурно и функционально Вонунгсбаукомбинат напоминает наши домостроительные комбинаты в Москве, ибо организован на тех же принципах индустриального поточного строительства.

Примечательно, что ныне на берлинских стройках производственный цикл и финансовые расчеты ведутся по методу Николая Злобина. Однако не за один дом. Договор со строительной бригадой здесь заключается на комплексную сдачу сразу всего объекта, то есть группы домов, на которой занято несколько бригад.

Наш прославленный новатор Николай Злобин приезжал в Берлин, был гостем Вонунгсбаукомбината. Рациональные зерна его метода бригадного подряда упали, как говорится, на благодатную почву. И проросли в виде новой организа-

ционной структуры, где эта идея получила расширительное применение.

И это закономерно. Ведь сила и удача любой прогрессивной идеи на производстве состоит еще и в том, что ее можно дополнить, расширить, углубить применительно к богатству и своеобразию живой практики. Добротность деловой инициативы поверяется еще и временем. Не все выдерживает такую проверку. Но настоящее, перспективное, творческое начинание не может бесследно уйти в песок.

Летом 1979 года в нашей столице проходили Дни Берлина в Москве, и вновь очередная бригада немецких строителей побывала на наших стройках. Они хорошо потрудились в районах Бибирево и Лианозово, монтажники, маляры, паркетчики рука об руку со своими московскими коллегами. Немецкую бригаду возглавляли Вольфганг Фалькенген и Тимгольд Дитмар. В это же время с поездом дружбы, уже не в первый раз, приезжал в Москву и Герберт Кольман. Правда, он теперь уже не бригадир, а начальник строительного потока, это инженерная должность, одним словом, он пошел по пути Владимира Ефимовича Копелева.

Рабочие биографии моих давних друзей Копелева и Суровцева невольно наводят на размышления о том, что в нашем обществе зрелого социализма есть разные пути роста, совершенствования, развития и обогащения личности человека труда.

Есть путь, если можно так выразиться, «выдвижения по вертикали», роста по служебной лестнице, как это и произошло у Владимира Копелева, который, работая, получил высшее образование. И таких примеров великое множество.

Но есть и другая линия жизни. Можно вот так, как Суровцев, десять лет оставаясь бригадиром, расти «от рабочего к рабочему», расти в труде, расти профессионально, быть инициативным, деятельным, творчески относясь к своей должности, и поэтому с каждым годом прибавлять себе уважения в среде строителей.

Выбор пути всегда был задачей в человеческом плане непростой, окрашен индивидуальными особенностями рабочей судьбы каждого, здесь много зависит от личных обстоятельств жизни, характера, устремлений. Мне приходилось наблюдать и вызревание своеобразных «конфликтов» на этой почве. Человека, скажем, хотят поднять с рабочей точки на более высокую, на инженерную должность, а он

не хочет, упирается и борется за то, чтобы остаться рабочим. Однако странность эта, если хорошо вдуматься, имеет и свои закономерности. И разгадка ее в социальном престиже, а иногда и в материальном, рабочей профессии, в сущности тех важных деловых, нравственных и гражданских качеств, которые принесли рабочему классу такую славу, влияние в советском обществе, глубочайшее уважение во всем мире.

Вот именно с таким, особенно весомым за рубежом, ощущением своего достоинства советского рабочего, своей государственной ответственности за труд и работал Суровцев в шестой раз на интернациональной стройке Берлина. Происходило это в октябре 1979 года, в знаменательные дни празднования 30-летия ГДР.

В эти дни Суровцев заключил новый договор на соревнование с бригадой Хельмута Кунке. За десять лет это уже третий рабочий коллектив, с которым связаны московские строители. Первый возглавлял Курт Бромберг, он теперь инженер на заводе. Многолетняя дружба с Куртом — Суровцев и гостил у него дома в Берлине, и ездил с ним вместе в наш Крым, на отдых,— оставила в душе Анатолия Михеевича добрый след, теплые воспоминания. Потом был сильный и духом и телом, добрый и приятный человек — Кольман. Теперь Кунке, деловая дружба с которым только начинается, она в восхождении.

В октябре 1979 года Суровцев и Кунке, другие москвичи и берлинцы дружно работали на сооружении жилых домов в 9-м микрорайоне столицы ГДР, неподалеку от знаменитого Берлинского зоопарка.

— В эту октябрьскую поездку,— рассказывал мне Суровцев,— я внедрял на берлинских стройках нашу новую опалубку, а мы взяли у наших друзей их способы наклейки потолочных обоев и стремимся перенять их аккуратность и культуру труда. Одним словом, мы с каждым годом все больше расширяем международную службу обмена опытом...

— Как хорошо вы сказали,— заметил я тогда Анатолию Михеевичу.— Какая это емкая и важная формула — служба обмена опытом! И внутрисоюзная, она уже давно и широко поставлена, например, всесоюзные семинары, основанные на опыте вашей бригады, а теперь — международная. В этой формуле, как мне представляется, и деловое, и большое нравственное содержание. Я имею в виду интернациональное воспитание.

Суровцев согласился со мной. Он утвердительно кивнул,

когда я совершенно искренне заметил, что мне сейчас просто трудно представить себе Анатолия Михеевича как человека, как бригадира без этого интереснейшего соревнования через границы, без дружбы и взаимообогащающей учебы на стройках Москвы и Берлина.

Тут бы я мог добавить еще и то, что, побывав в конце прошлого года в Будапеште, в хорошо мне знакомом строительном предприятии № 43, именуемом еще и комбинатом «Панель», я узнал, что строители современного Будапешта тоже намерены в ближайшее время заключить такой же, как и немцы, договор на содружество с московским ДСК-1. Суровцев бывал в Венгрии несколько лет назад, высоко ценит мастерство венгерских градостроителей и уверен в полезности этой все расширяющейся «службы обмена опытом» на большом строительном фронте социалистических стран.

...Вернувшись в Москву, как это бывало с ним не раз после зарубежной поездки, Суровцев с новой энергией приступил к возведению шестнадцатиэтажных башен на северной окраине Москвы, в Бибиреве, где бригада работала более трех лет и, завершив здесь намеченное, готовилась к перебазировке в еще один район новостроек.

* * *

Ноябрьский праздник 1979 года, уже не впервые, Суровцев встречал на трибунах Красной площади. Утро выдалось холодное, небо затянуло тучами. Улицы, по которым от площади Революции и площади Дзержинского, а затем по улице Куйбышева к церкви Василия Блаженного и мимо Спасской башни к трибуне № 5 шел Суровцев, сама Красная площадь — все выглядело необычно для этого времени года, тротуары и мостовые уже по-зимнему покрыты снегом, который, то утихая, то усиливаясь, заметал Москву.

Временами налетал сильный, обжигающий лицо ветер, под его напором трещали широкие полотнища флагов и знамен, развевающиеся на фасаде ГУМа, над рядами выстроившихся в парадном расчете батальонов.

Но разве может непогода изменить торжественную строгость и завораживающую мощь церемониала военного парада, разве может она повлиять на праздничное настроение молодых, закаленных и мужественных воинов, и демонстрантов в колоннах, и гостей, разместившихся на трибунах.

Мне надолго запомнился этот парад, и выступления спортсменов на припорошенной снежком брусчатке, и яркие, расцвеченные цветами и транспарантами колонны трудящихся, потому что в то утро я и сам был удостоен чести находиться на трибуне, расположенной почти напротив того места, где находился Суровцев, на противоположной стороне площади, около ГУМа.

И как мне сейчас не вспомнить о том, что ни много ни мало, а ровно сорок три года назад мне доводилось и самому принимать непосредственное участие в параде, маршировать в составе одного из батальонов Военно-инженерной академии имени В. Куйбышева, в которой я тогда учился, готовясь стать военным инженером-строителем. И было это еще до войны, в 1936 году.

Жар давних воспоминаний, увы, не возвращает нам молодости. Но зато он согревает душу и несет в себе ту живительную энергию душевного удовлетворения, с какой память возвращает нас к прошлому. Неповторимая же красота наших всенародных торжеств, военного парада, неизменно впечатляющие картины демонстрации — все это только усиливало у меня чувство, которое я, старый солдат, мог бы определить как сдержанное ликование, как отклик сердца на волнующий смысл и значение ежегодного праздника Революции.

Не берусь судить в полной мере о том, что думал в эти минуты Анатолий Суровцев, какие чувства испытывал он, человек более молодого поколения? Но нисколько не сомневаюсь в одном — Анатолий Михеевич тоже ощущал нравственный подъем и неизбежное волнение, особенно тогда, когда взял в руки микрофон Всесоюзного телевидения, увидел наведенную на него камеру и начал свое выступление с трибуны Красной площади от имени строителей Москвы.

Именно в то утро, рассказывая о своем труде, о делах товарищей, Суровцев торжественно пообещал и, так сказать, всенародно объявил о решении своей бригады через два месяца, на год раньше срока, выполнить пятилетний план и уже начиная с января 1980 года возводить дома в счет пятилетки одиннадцатой.

Слово, произнесенное с Красной площади, дорого стоит. Суровцев это прекрасно понимал. Пожалуй, одной из определяющих черт в коллективном портрете нашего современника-рабочего является его высокое человеческое достоинство. Оно рождено самой сутью советского общества, неразрывно связано с его духовной атмосферой, с революционны-

ми завоеваниями социализма. Единство слова и дела тоже неотделимо от представления о достоинстве человека, потому-то оно и выражает себя в массовом трудовом героизме, в умении хорошо работать.

В оставшиеся месяцы семьдесят девятого года бригада Суровцева продолжала, как обычно, трудиться интенсивно и качественно, и в новый год, в годы восьмидесятые она уверенно вошла в обычном своем рабочем ритме, воздвигая этажи на строительной площадке, теперь уже вблизи Алтуфьевского шоссе...

Эта новостройка находилась на том же северном периметре Москвы, южнее Бибирева и совсем рядом с большим парковым массивом Главного ботанического сада АН СССР.

Я приехал на Алтуфьевское шоссе в то время, когда бригада переживала всегда хлопотные первые дни освоения площадки, обустройства на новом месте. Как обычно, пробивалась в сторону от шоссе дорога для панелевозов, были уже проложены рельсы, по которым двигался подъемный кран, вблизи корпуса разместились разноцветные служебные вагончики-бытовки для монтажников, для диспетчера и прораба.

Сам этот участок примыкал к мосту через Окружную железную дорогу. Я заметил вблизи небольшую и, как сказал Суровцев, действующую церковь, примыкавшую к покрытому льдом и снегом руслу реки Лихоборки. В общем-то это был окраинный район со своим типичным урбанистическим пейзажем, который с такой быстротой меняется на наших глазах. Он уже и начал меняться, справа виднелось несколько шестнадцатиэтажных корпусов, а слева еще простиралось открытое поле, и тянулось оно далеко, в глубину Дегунина и Бескудникова, уже застроенных рядами жилых домов бывших подмосковных деревенек.

Открытое поле сулило большой простор для монтажников и перспективу, которая не так уж часто улыбается им, а именно: возможность долго без перебазировки работать в одном районе. Пока же бригада приступила к монтажу корпуса № 6, рядом поднимала такую же шестнадцатиэтажку бригада Валерия Максимова, который вот уже несколько лет как сменил Героя Социалистического Труда Владимира Копелева.

Соседство двух бригад, старых и испытанных соперников в соревновании, по воле производственного плана возникало частенько то на одной строительной площадке, то на дру-

гой. Соседство это предполагало ту наглядность и очевидность соревнования, когда и без подсчетов видно, кто впереди и кто отстал. А это в конечном счете становилось силою мобилизующей и вдохновляющей, ибо и та и другая бригады работали лучше, чувствуя рядом дружеский рабочий локоть товарищей.

Я застал Анатолия Михеевича за работой самой непосредственной, он устанавливал наружные панели здания. «Зимний» Суровцев выглядел сейчас, я бы сказал, несколько внушительнее, чем обычно. Правда, его плотная фигура, хотя и безо всяких весовых излишеств, всегда производила впечатление физической крепости и выносливости. Сейчас же это впечатление усиливалось одеждой: плотным свитером, надетым под телогрейку, на которую была наброшена еще и спортивная куртка «Воркута». На ногах у Суровцева были войлочные ботинки, знакомая мне белесая каска — подарок берлинских строителей — сменилась голубой, с теплым подшлемником, а талию охватывал широкий монтажный пояс.

Я обратил внимание на то, что на монтажной площадке, и обычно-то не слишком многолюдной, сейчас и вовсе никого не было видно. Машинист крана сидел наверху, в своей будке, а монтаж вели всего двое, сварщик и... сам бригадир!

— Где же звено, Анатолий Михеевич? — спросил я.

— А вот мы и есть звено. Знаете, как говорят моряки: «Нас мало, но мы в тельняшках»,— усмехнулся он и пояснил:— По Москве гуляет грипп. Народ у меня в этом утреннем звене приболел малость. Что делать! Вот мы и вкалываем за себя и за товарищей. Но ничего. Заданный темп не роняем.

— Но тяжело, должно быть? — сказал я, не скрывая удивления.

— Есть чуток, а в общем-то ничего, все идет нормально, главное, чтобы дело не пострадало,— заметил Суровцев.

Не в первый раз, признаться, я наблюдал за тем, как сам бригадир берется за стропы крана, за лом и лопату, приготовляя мягкую бетонную постельку под ложе очередной панели. Организаторская нагрузка, обязанности бригадира вовсе не освобождают Анатолия Михеевича от непосредственной физической работы. Конечно, бывают такие дни, когда в этом и нет нужды, когда основной заботой бригадира становятся поддержание четкого ритма монтажа, контроль за качеством. Однако ж не для красоты Суровцев

носит свой широкий монтажный пояс и не для красного словца, а с полным основанием частенько именует себя в разговоре рабочим.

Одним словом, своих профессиональных навыков монтажника Суровцев не теряет, в этом убеждал и высокий темп монтажа и сама эта работа, когда двое заменяли пятерых.

— Стараемся в эти дни по-особенному,— заметил Суровцев.

— А с чем это связано? — спросил я.

— Во-первых, этим корпусом мы... заканчиваем пятилетку! Десятую! Факт весомый и серьезный. Для бригады это событие важное,— Суровцев с удовлетворением улыбнулся.

— Ну еще бы, факт просто замечательный! Я искренне рад за вас!

— Спасибо. Во-вторых, в этом корпусе будет располагаться, видимо, одна из олимпийских гостиниц. Не для гостей, скорее всего — для обслуживающего персонала. Но все равно наша ответственность возрастает. И еще,— добавил Суровцев с чувством, пожалуй, даже некоторого удивления перед тем обстоятельством, что с этим корпусом №6 на Алтуфьевском шоссе, внешне таким обыкновенным, похожим на все иные смонтированные бригадой дома, на этот раз связано так много действительно очень важных для бригады событий,— тут такое дело: в середине января в Зеленограде созывается Всесоюзный семинар-конференция, посвященный первому десятилетию внедрения бригадного подряда по методу Николая Злобина.

— Очень интересно,— заметил я тогда,— потому что отвечает решениям партии и правительства о хозяйственном механизме, о важной роли бригад в десятой и одиннадцатой пятилетках.

Соглашаясь с этой мыслью, Анатолий Михеевич сказал мне с той особенной, неравнодушной убежденностью, которая возникает у человека не сразу, не в один день или месяц, а выношена долгим и, что важно еще, личным опытом:

— Вы понимаете, бывали ведь и такие почины, которые со временем бесследно уходили в песок. Бывали, бывали, чего греха таить! А вот бригадный подряд выдержал испытание целым десятилетием. Живет и развивается. Набирает мощь и силу. Я бы сказал, эта идея еще в восхождении.

— Хорошо сказано,— оценил я,— вот уж верно, когда мысль хорошо выношена, она обретает и чеканную форму.

Суровцев, продолжая, рассказал мне, что он уже работает над докладом и поедет на это совещание, пленарные занятия которого будут проходить в самом Зеленограде, а практический показ на различных объектах.

— В том числе и на этом, шестом корпусе? — догадался я.

— Да, здесь тоже, на Алтуфьевском шоссе,— кивнул Анатолий Михеевич,— говорят, что на этот семинар приедут многие строительные начальники, руководители комбинатов, трестов. Сейчас ведь остро стоит вопрос о подъеме уровня управления в самом широком смысле, на всех направлениях. Ну, и бригадный опыт пригодится. Нам же здесь, конечно, надо подготовиться чуток, привести в полный порядочек корпус, бытовки, навести, как это говорят, марафет,— сказал он, мягко улыбнувшись, как бы извиняюще за это странное словечко.

— Дело житейское,— заметил я,— такой показ — это ведь как праздник.

— Вот именно. Доклад — это одно, а вот делом убедить — всегда сложнее.

Вот тогда-то я и спросил у Суровцева о том, что меня, давно уже знавшего бригаду, тем не менее всякий раз удивляло,— я спросил о том, почему график всегда выдерживается чуть ли не с математической точностью, ведь неизбежны какие-то срывы по разным, от бригады зависящим или не зависящим, обстоятельствам.

— Ведь не боги же вы, в конце концов? И не работаете в идеальных условиях?!

— На прошлой неделе кран поломался,— конкретно ответил мне Суровцев,— чинили целую смену. Недавно энергия отключилась — две смены долой. Бывает, что недовезут вовремя детали. Вот люди болеют.

— Тогда как же вам удается такая ритмичность?

— А мы потерянное наверстываем, как только появляется такая возможность. Скажем, сегодня я потерял несколько часов — недовезли детали, завтра я требую двойной завоз. Детали нам доставляют. И тут уж наша задача смонтировать и то, что недовезли вчера, и то, что полагается на сегодня. С тем чтобы, как у нас говорят, «снова твердо встать в график». Вот посмотрите, Анатолий Михайлович, на это,— сказал мне Суровцев и вытащил из кармана обычную пухлую записную книжку для адресов и телефонов. Он раскрыл ее и показал вклеенный в книжку обычный годовой календарик, на котором острым карандашом

были размечены какие-то цифры, были проставлены галочки и кружки.

— Что это?

— Мой личный график монтажа на весь год. Кружочками отмечены те дни, когда бригада должна закончить тот или иной корпус. Эти сроки для меня — закон.

— Вот так просто! — вырвалось у меня.

— Не просто, совсем не просто. За этим графиком много чего стоит, вы и сами знаете. Год напряженного труда. А все же, учтите, мы за семьдесят девятый год только пару рабочих дней потеряли. И отстали от этого графика всего на один этаж. Вот посмотрите,— Суровцев ткнул пальцем в цифру: 29 декабря 1979 года.— Что здесь написано?

— Шестой корпус, пятый этаж,— прочел я.

— Да, пятый, а мы с вами стоим сейчас на четвертом. Но не забудьте, это мой личный график, который и предусмотрел выполнение пятилетки за четыре года. Я иногда и сам удивляюсь,— сказал после паузы Суровцев,— как это у нас все так кругло получается. Но, как видите, получается. А потому, что желание коллектива — большое дело, и самодисциплина, и наша общая воля к тому, чтобы такие задачи перед собою ставить и выполнять их. С нового года, как обычно, я опять размечу себе такой календарик, на весь восьмидесятый,— добавил он...

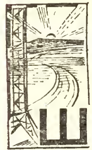
... Улица Суровцева! Есть ли такая в Москве? Нет, такой улицы нет, но ее можно себе зримо представить, если мысленно поставить в два ряда все девяти- и шестнадцатиэтажные дома, которые воздвигла бригада Суровцева. А может быть, это уже и не одна улица, и не один квартал! Двенадцать лет Анатолий Михеевич руководит своей бригадой, а до этого он немало лет работал рядовым монтажником на московских стройках. Сколько он сделал за это время, из месяца в месяц, из года в год наращивая свои этажи!

Вот уже десять лет, как я иду по доброму следу строителя Суровцева. Дружба наша крепнет и перекочевала из годов семидесятых в восьмидесятые. Уверен: у Суровцева впереди еще много строительных лет, славных дел и успехов. Что же касается меня, то от каждой нашей встречи — на стройке ли, в управлении, дома ли у Анатолия Михеевича или у меня, на строительных площадках Берлина и Будапешта — всюду, везде я получаю от этих встреч истинное душевное удовлетворение. Всегда приятно видеть рабочего

человека, круто набирающего высоту в своих делах и замыслах и сознающего при этом всю меру своей государственной ответственности.

НА МАСШТАБНЫХ ВЕСАХ ВРЕМЕНИ

1. ДАЛЕКИЙ ТРИДЦАТЫЙ



ел тысяча девятьсот тридцатый год. Весна в Туркмении — ранняя и стремительная, полыхающая многоцветьем бурных трав, цветов и красок. В марте все в зеленом цвету кленов, лип, тутовых деревьев, а в апреле уже и в белом кипении акаций. За окраинами столицы республики Ашхабада, там, где еще тянется поясок орошаемого оазиса и только лишь робко подступает голая степь и текучие пески пустыни, март и апрель восходят чистой и нежной зеленью травы и красным сиянием тюльпанов. В апреле в городе уже ходят в костюмах, а то и просто в белых рубашках, оживают парки и бульвары, и, как во всех южных городах, жизнь словно бы переселяется из домов во дворы, огороженные высокими глинистыми дувалами.

Республиканская газета «Туркменская искра» 29 марта 1930 года поместила заметку такого содержания:

«Сегодня скорым поездом из Москвы в Ашхабад приехала первая писательская бригада в составе: В. Иванова, Л. Леонова, Н. Тихонова, Вл. Луговского, П. Павленко и Гр. Санникова.

Горячий товарищеский привет мастерам слова, приехавшим изучать советский Восток!»

Приобщение к строительству новой жизни севера и юга, запада и востока, Дальнего Востока и Средней Азии — всех краев нашей огромной страны было характерно для кругозора и интереса развивающейся литературы начала тридцатых годов. Постоянное уважение русской литературы к духовным ценностям всех больших и малых наций, населяющих нашу страну, совпало с процессом коренного переустройства жизни на социалистических основах, важных перемен в экономике, быте, культуре всех советских республик, во всех самых отдаленных уголках страны.

Спустя много лет, вспоминая о том, как родилась мысль об этой коллективной поездке писателей, Николай Семенович Тихонов рассказывал в одной из статей:

«Началась она с разговора Горького с Всеволодом Ивановым и Петром Павленко. Уже в ту пору Алексей Максимович размышлял о будущем Первом Всесоюзном съезде советских писателей... Он говорил, что многие писатели живут в разных республиках и до сих пор незнакомы, иные ни разу не видели друг друга... Надо помочь им сблизиться, подружиться. Надо внимательно приглядываться к новой жизни, особенно на бывших национальных окраинах нашей страны. Так советовал Горький. Он предложил создать писательские бригады, которые поедут в братские советские республики, поживут там, будут общаться с местными литераторами и по возможности сами напишут об этих республиках...»

Эта поездка писателей в Туркмению, принесшая затем значительные творческие плоды, стала важным событием в плодотворном сближении литераторов и литературы с жизнью пробужденного революцией советского Востока. В опыте таких коллективных поездок, начиная с тридцатых годов, содержится много интересного, поучительного, и задача глубокого, аналитического его изучения не потеряла и по сей день своей актуальности и важности.

Время, которое выбрали писатели для своей поездки в Туркменистан, было весьма примечательным. 1929 год явился годом великого перелома в жизни нашей страны. Всюду шло или начиналось новое гигантское промышленное строительство. Развернулась стройка Днепрогэса. В Донбассе началось возведение Краматорского и Горловского заводов, реконструкция Луганского паровозостроительного. Выросли новые шахты и доменные печи. На Урале поднимались цеха «отца заводов» — Уралмаша, строились Березниковский и Соликамский химкомбинаты. Началось строительство Магнитогорского металлургического гиганта, автомобильных заводов в Москве и в Горьком. Расширялась вторая угольная база страны — Кузбасс.

В развитии сельского хозяйства, в процессе коллективизации был также достигнут коренной перелом. Открывшийся летом 1930 года XVI съезд ВКП(б) вошел в историю как съезд развернутого наступления социализма по всему фронту. В этой обстановке всенародного подъема производитель-

ных сил, успехов социалистического строительства формировались и подлинно талантливые, жизнеспособные силы молодой советской литературы, на авансцену которой выходил новый тип и самого писателя, тесно связанного с заботами народной жизни, не мыслящего своего творчества без активной гражданственной позиции, без изучения новых конфликтов и проблем действительности.

Это время исторических свершений находило свое своеобразное и яркое преломление в реалиях строительства социализма и на земле древней Туркмении. Газетная хроника тех дней, рассказывающая об обычных трудовых буднях республики, была заполнена событиями большими и малыми, составлявшими в совокупности черты, штрихи, подробности, атмосферу того времени, ставшего уже ныне историей советского Востока. Вот некоторые из этих штрихов. Газеты сообщали, что ставший в ту пору уже знаменитым Турксиб принимал первые поезда сквозного движения. Была популярна яркая киносимволика тех лет: верблюд, нюхающий рельсы, и казахи, летящие на своих конях наперегонки с поездом.

В те дни состоялся автопробег машин марки «Рено-Сахара» от Ашхабада до Серного завода и обратно. В Каракумы отправился другой автомобильный отряд во главе с академиком А. Е. Ферсманом и академиком Д. И. Щербаковым, чтобы определить точное географическое положение ряда колодцев по караванным путям на Хиву. Изучалось древнее русло Амударьи, по сути дела, это расширялись изыскания трассы будущего Большого Каракумского канала.

В дни приезда писательской бригады в Ашхабаде работала партконференция, посвященная весеннему севу.

Писатели сразу же, почувствовав бурный и напряженный ритм жизни республики, едва ступив на землю Ашхабада, делали первые заявления, наполненные энергией, размахом и решимостью своих литературных замыслов.

«Бригада приехала не только погостить, а взять на ощупь социалистическое строительство в Туркмении»,— заявил Петр Павленко журналистам «Туркменской искры». Представляя членов бригады, для большинства из которых эта поездка стала осуществлением давних замыслов и интересов, несмотря на то что все они были сравнительно молодые люди, младше и чуть старше тридцати лет, Павленко заметил, что Николай Тихонов и раньше много бродил по советскому Востоку, Всеволод Иванов тоже не раз бывал

в Средней Азии, сам Павленко много путешествовал по Малой Азии.

— Теперь,— закончил руководитель бригады,— писатели намерены написать коллективную книгу о Туркмении, книгу всех жанров (проза, стихи, статьи).

«Мало отразить быт,— говорил Вл. Луговской на встрече в редакции газеты,— надо установить постоянную связь между туркменскими и русскими писателями. Экзотика умирает. Надо изобразить Туркмению, полную творческого огня и энтузиазма. Я хочу прежде всего дать такой цикл стихов о Туркмении, который бы сыграл определенную роль в моей четвертой книге лирики, которая будет называться «Колыбель оптимизма». Книга покажет зарождение оптимистического мировоззрения, как результат теперешней эпохи реконструкции».

«Быт далекой Туркменской республики почти неизвестен широкому читателю, а между тем эта страна, превосходящая площадью Германию, имеющая миллионное население, ответственную границу с Афганистаном и Персией, играет колоссальную роль в Средней Азии. Она незаслуженно забыта советской литературой. Со времен Карамзина и Верещагина никто не писал о ней подробно...» — так начал вскоре свои знаменитые очерки «Кочевники» Николай Тихонов.

«Сейчас нужно написать об этой стране,— продолжал Тихонов,— очень суровой, любопытной и богатой, рассказы поучительные и занимательные. Одной из главных задач ударной писательской бригады, исследовавшей Туркмению весною тридцатого года, было как раз подробнейшее ознакомление с ее современным бытом».

Большая энергия, как известно, рождается для серьезной цели. И писатели из «первой ударной» с первого же дня, буквально с первого же часа устремились к осуществлению этой цели. Они проводили встречи в рабочих клубах, выступали у железнодорожников, печатников, в красноармейских казармах.

В те годы в Ашхабаде были размещены части Первой горнострелковой Туркестанской дивизии, которой командовал, будучи и начальником Ашхабадского гарнизона, мой отец, М. Л. Медников, член ЦК КП(б)Т и Президиума Туркменского ВЦИКа. Он вместе с другими встречал писателей на вокзале, провел с ними немало времени, помогал в организации поездок по республике, в воинские части своей дивизии, расположенные и в самом городе, и в песках

Каракумов, в горах, вблизи границы. Он сблизился тогда с писателями, и особенно с Тихоновым и Луговским.

В 1930 году я жил с отцом в Ашхабаде, в одноэтажном особняке, окруженном садом и высоким дувалом, па тихой зеленой улице имени Фрунзе. Я учился тогда в ашхабадской школе и знал о приезде писателей не только из газет, разговоров в школе, но и видел их сам и более всего узнавал о том, что они делают, из рассказов отца, когда он ужинал дома, что, по правде говоря, случалось не так уж часто. Отец проводил много времени в походах и учениях, а то и в боях с басмаческими группами, организуемыми в ту пору известным главарем басмачей Джунаид-ханом.

Так что события, о которых я пишу, и это хотелось бы подчеркнуть вначале, не только плод архивных изысканий, а в значительной мере пережитое и перечувствованное самим, хотя и в юном возрасте, во многом почерпнутое впоследствии из памятных мне рассказов Тихонова, Луговского и отца, из наших встреч и бесед в разные годы, из последующих моих приездов в Туркмению, на протяжении уже... полувека, из постоянных возвращений к запасникам памяти, в которой так остро и рельефно запечатлелись эти героические годы.

Однако вернемся к первым дням пребывания писательской бригады в республике. Литераторы продолжали знакомиться с городом, выступать в различных аудиториях, встречаться с государственными деятелями. Состоялся большой вечер в Ашхабадском государственном театре, а после выступлений прозаиков и поэтов театр в присутствии автора Всеволода Иванова показал его пьесу «Бронепоезд 14-69».

В тот же вечер Л. Леонов читал на сцене театра отрывок из своей повести «Соть», печатавшейся в «Новом мире», Луговской читал стихи о гражданской войне из цикла «Сибирские рассказы» и ставшую впоследствии знаменитой «Песню о ветре».

Помню, как выглядел Луговской. Туркменская весна и готовность отправиться в пустыню, так сказать, опростили и военизировали его костюм. Узкие брюки и спортивные чулки, которые он обычно носил, были заменены галифе и сапогами, гимнастерку без петлиц украшала портупея. Правда, на встрече в театре Луговской выступал в хорошо сшитом сером костюме.

Трудно забыть голос поэта, читающего стихи. Голос его звучал превосходно — молодо, страстно, и аудитория долго

не хотела его отпускать, но своей очереди ожидали другие поэты и писатели, московские и ашхабадские: Григорий Санников и Берды Кербабаев, Ахундов, Насырли.

В конце выступил Николай Семенович Тихонов, прочитал свое стихотворение «Прощание с омачем», написанное им уже в Ашхабаде. В нем он старался отразить новизну Туркмении «пустынно-золотой», в которой старый уклад уходит из жизни медленно, порождая классовые схватки, кровавые набеги басмачества.

«Развей меня, чтобы мной не завладела,
Как знаменем твоих врагов, толпа»,—

просит древний омач своего хозяина, седого туркмена.

Уже с первых дней Тихонов начал втягиваться в походную жизнь, он почувствовал себя почти туркменом, во всяком случае, человеком, давно и прочно влюбленным в Азию, с детских лет имевшим влечение к истории, и истории Востока в частности.

«Мои приятели — петербургские мальчишки бредили пиратами и «диким западом»,— вспоминал потом Н. Тихонов,— а меня влекли Индия и Египет. Уже в те давние времена я много читал об этих странах. Это, собственно, и стало причиной того, что в юные годы я начал храбро писать романы о Востоке — некоторые из них сохранились в моем архиве».

Одевался Николай Семенович в ту пору если не так «военизированно», как Луговской, то тоже упростив для походов свой костюм человека, которому легко, свободно и не очень жарко бродить по пескам, карабкаться по горам, скакать на ахалтекинских скакунах, замечательных лошадях Туркмении, ездить на машинах и плавать на лодках по Амударье.

Вот как вспоминает о Тихонове тех дней Берды Кербабаев:

«...А по горам, по ущельям и долинам ходил, постукивая дорожным посохом, ходил человек в крепких солдатских ботинках и защитной гимнастерке с вещевым мешком за спиной. Лицо у путника было медно-красным от солнца, а волосы — седыми, как белоснежные папахи на вершинах гор. Но та седина была не от возраста, а от пережитого.

Путник шагал легко и непринужденно, словно только что вышел на небольшую прогулку, словно не целый месяц он шагает уже по одиноким дорогам Туркмении. Его интересовало все — изящный отпечаток копытца у ручья,

изумрудно вспыхнувшая в кустах сизоворонка, прошелестевшая в кустах змея-стрелка, прозрачный от солнца аметистовый стаканчик колокольчика. Время от времени путник присаживался на случайный камень и что-то записывал в свой блокнот.

Внимание путника было далеким от праздного любопытства. В нем чувствовалась какая-то целеустремленность, поиски чего-то нужного, может быть, утерянного. Давным-давно по этим тропкам проходил великий Махтумкули, ища в единстве с природой отдыха от тревог и превратностей жизни. Не его ли след пытался усмотреть путник на поющей под ветром траве?»

В этом несколько романтизированном и поэтически приподнятом воспроизведении физического облика и образа Тихонова тех дней есть и та главная, реалистическая правда целеустремленности и энергии, интереса и страсти, с которой Тихонов и его товарищи знакомились с Ашхабадом, а затем и устремились в двухмесячное путешествие по республике.

«С 29 марта по 6 апреля дни были заполнены совершенно чудовищной работой,— писал Луговской своей сестре в Москву.— Нам читали лекции, демонстрировали кинофильмы, устраивали заседания и банкеты. Принимали нас предсовнаркома и председатель ЦИК и секретарь ЦК партии. Нас снабдили литературой о Туркмении по пуду. Читать, записывать, ездить, осматривать без минуты отдыха... Материал невероятный. Нам предоставляют все, никто еще так не видел страны, как мы».

«Нас закружил шторм разнообразнейших впечатлений»,— признавался тогда же Петр Павленко.

Из Ашхабада писатели направились в Мерв (Мары), побывали в окружающих его колхозах, затем посетили пограничную Кушку, вернулись, осмотрев по пути Иолотань, Мерв, выехали через Узбекистан в Керки, сделали на каюке триста километров вниз по Амударье до Чарджоу и близко познакомились с районами сплошной коллективизации вокруг Дейнау.

Первоначальный маршрут не предусматривал посещения Кушки, изменение было уже внесено в пути.

«Начальник наших сообщений Н. С. Тихонов, великий охотник за расстояниями,— вспоминал потом Павленко,— прямо-таки садистически радовался, что у нас прибавилось несколько сот лишних километров».

Писатели, каждый по своему вкусу и пристрастиям,

взяли себе тему. В записях Павленко есть упоминание о том, что «Леонид Леонов снимал живую историю, караванами проходящую через города, и начинал интересоваться саранчовой кампанией». Всеволода Иванова интересовали люди, перестраивающие сельское хозяйство республики. П. Павленко привлекли новые герои, занятые обводнением пустыни, предшественники тех, кто прокладывает ныне великую стройку республики — Большой Каракумский канал. Г. Санников, автор стихов о Кавказе и Средней Азии, отдал свое внимание людям, боровшимся за внедрение нового сорта хлопка — египетского.

Луговской писал стихи о «большевиках пустыни и весны». Тихонов, приезжавший в Туркмению не впервые и еще в 1929 году работавший над сценарием «Люди пустыни», о строительстве дороги Север — Юг, давно обнаруживший у себя склонность к темам советского Востока, широко задумал свои творческие планы: они включали стихи и прозу о социальных переменах в республике, о судьбе бывших кочевников, о новых колхозах-гигантах, о классовой борьбе. Содержание плана свидетельствовало о том, что Тихонов уже тогда хорошо знал республику и смотрел на нее глазами человека, прослеживающего исторические пути всей Средней Азии, всего Востока.

В книге Л. Левина о Луговском есть выразительный эпизод, относящийся к совместной поездке Тихонова и Луговского по избранному ими маршруту:

«Сделав около ста верст за день, Луговской и Тихонов, страшно усталые, приехали в районный центр. Они явились в райком, где шло ночное заседание (в районе было плохо с посевной), и заговорили о ночлеге. Их немедленно пригласили на заседание бюро райкома. «Но ведь мы беспартийные!» — «Ну и что же? Вы советские, пролетарские писатели!» Заседание бюро продолжалось до четырех часов утра, а днем Луговскому и Тихонову пришлось принять участие в других собраниях...»

Писатель — советский, значит, не равнодушный к сегодняшним реальным, животрепещущим проблемам, значит, гражданственно заряженный и нацеленный. Это был урок жизни, политически намагничивающий писателей.

Любопытно, что после недельного пребывания в Кушке Тихонов и Луговской отделились от бригады и отправились в Иолотанский район, затем из Керков выехали в район Копетдага. Владислав Шонин подсчитал в своей книге о Тихонове, что писатели тогда проехали свыше двух тысяч

верст по железной дороге, более восьмисот на автомашине, около двухсот пятидесяти по Амударье на каюках и лодках. К этому надо добавить поездки на двухколесных арбах, в седле по отрогам Капетдага и Гиндукуша и, естественно, пешком.

Как-то ночью в Чарджоу Луговской прочел Тихонову свое первое стихотворение из будущей книги о Туркмении.

«Он читал и читал,— вспоминал Тихонов,— и передо мною проходили дни и ночи нашего путешествия, и пустыня в весеннем цвету, и горы Копетдага, и пограничные заставы, и люди — работники пустынь, полей, воды, границы, все пережитое нами вместе — и грустное и веселое. Я видел, и он это тоже видел внутренними очами сердца, что рождается книга. И так оно и было. В весеннюю ночь далекого, хаотичного, делового, разноцветного Чарджоу родилось первое стихотворение эпопеи «Большевикам пустыни и весны».

Да, Николай Тихонов и Владимир Луговской совершили многодневное путешествие в седле, что для них, людей сравнительно молодых, было тогда делом физически нелегким. Держались оба они молодцами, верховая езда не только не изнуряла, хотя, конечно, поэты уставали, но еще и доставляла им видимое удовольствие. Оба они шли навстречу испытаниям пустыни с готовностью преодолевать любые трудности.

В мае и июне жара в Каракумах достигает почти своего наивысшего накала. Ветры уже не теплые, а удушающе-горячие. Кому приходилось в эти месяцы бывать в Туркмении, тот знает, что в домах даже ночью трудно заснуть от духоты, от горячего воздуха, которому неведома прохлада. Раскаленная печка песков работает уже круглые сутки.

Но писатели, скачущие на конях по пустыне, редко ночевали в домах, а больше под открытым небом. Всё хотели увидеть Тихонов и Луговской — краски пустыни, организацию новых поселений и жизнь кочевых племен — белуджей, и заброшенные колодцы, древние мечети, и столь же древние караванные пути, быт новых городов, становление колхозов, посевную, борьбу с саранчой, и более всего — труд и творческое горение новых людей Туркмении.

Работники песков, воды, земли,
Какую тяжесть вы поднять могли!
Какую силу вам дает одна-
Единственная на земле страна! —

писал Вл. Луговской.

Тем же ощущением каждодневно творящегося романтического подвига дышит и поэзия Николая Тихонова, его проникнутые эпосом героики стихи об искателях воды, о людях, умеющих находить живительную влагу в песках пустыни. Это те, кому суждено «невероятным водяным тараном пробить пески, пустыню расковать».

В своей книге туркменских очерков, написанной по следам этой поездки тридцатых годов и предшествовавшей поездке в Среднюю Азию в 1926 году, Николай Семенович писал:

«...думал о том, как мало знаем мы у себя на севере, какими путями идет революция на Востоке, на Востоке, где будут еще величайшие события и пустыни потрясут мир откровениями».

Какая удивительная историческая прозорливость, как далеко еще в те годы смотрел писатель!

Первое соприкосновение с новой действительностью всегда вызывает у художника свежие, яркие впечатления. Быть может, потому, что они первые, впечатления эти несут на себе поначалу печать некоторой поверхностности и требуют дальнейшего изучения, углубления, проникновения в новые пласты жизни.

Это прекрасно понимали все участники «первой ударной бригады», ощущал и Тихонов. Я помню, как отец рассказывал мне тогда, что, увлеченные ашхабадскими впечатлениями, писатели все же торопились поскорее уехать в глубь республики, в горы, в пустыню, на пограничные заставы, в приграничные части дивизии, с тем чтобы непосредственно взять на ощупь приметы новизны, реалии быта, подробности быстротекущей и бурно изменяющейся жизни.

Подобно людям с колодца Ширама, «из ревкома советских песков», которые воспел Тихонов, писателей в те дни обуревала такая же благородная страсть самим мчаться «вкось по дюнам, по глинам, по бурым саксаулам, солончакам...», включиться в непосредственную работу, собирать материалы, выступать перед людьми,

Чтобы пафосом вечной заботы,
Через грязь, лихорадку, цингу,
Раскачать этих юрт переплеты,
Этих нищих, что мрут на бегу.
Позабыть о себе и за них побороться,
Дней кочевья принять без числа —
И в бессонную ночь на иссохшем колодце
Заметить вдруг, что молодость прошла.

Не любопытство туристов вело писателей по горным тропам и маршрутам пустыни, не экзотика манила их, а желание включиться в большую всенародную работу, пафос интернационализма, как сказали бы мы сейчас — чувство семьи единой.

Именно эти чувства, такой гражданственный заряд, и давали возможность писателям увидеть самое главное, самое существенное, наилучшим образом постичь новую для них действительность, постичь в динамике, в развитии, в совокупности нравственных и психологических черт героев новой Туркмении.

Широта и громадный объем полученных впечатлений не только Тихоновым и Луговским, но и всеми участниками «первой ударной», безусловно, способствовали количеству и качеству «литературной отдачи», пожалуй беспримерной в истории всех коллективных писательских поездок. Писатели ехали с намерением создать коллективную книгу, что не мешало каждому из них осуществлять и свои личные планы и замыслы.

В результате поездки появился альманах «Туркменистан весною», как именовалась тогда книга. «Альманах первой писательской бригады Огиза и «Известий ЦИК СССР». Название книги не просто указывало на время года, оно символически выражало тонус жизнеощущения писателей и, что еще более важно, весенний бурный подъем творческих сил молодой республики.

В этом альманахе Леонид Леонов опубликовал повесть «Саранчуки», Владимир Луговской — цикл стихов «Большевикам пустыни и весны», Всеволод Иванов — «Повесть бригадира М. М. Синицына» и пьесу «Компромисс Наиб-Хана», Григорий Санников — поэму «В гостях у египтян», Николай Тихонов — цикл стихов «Люди Ширама», «Ворота Гаудана», «Весна в Дейнау, или Ночная пахота тракторами «валлис», «Искатели воды» и очерки, Петр Павленко — два очерка «Пустыня».

Туркменская поездка, безусловно, сыграла важную роль в творческой биографии каждого из ее участников. Не будет преувеличением сказать, что она определила для каждого существенный этап творческого развития. И вместе с тем произведения, написанные после поездки, явились и серьезными достижениями литературы тех лет. С полным основанием сюда можно отнести повесть Леонида Леонова «Саранчуки», повесть Петра Павленко «Пустыня», яркие свидетельства приобщения писателей к разработке тем социали-

стической пови, книги стихов Вл. Луговского и Николая Тихонова, составившие основу цикла «Юрга» и сборника очерков и рассказов «Кочевники».

Результаты поездки при всем при этом нельзя измерять только осуществленными литературными замыслами. Это была еще и эффективная помощь молодой туркменской литературе, и крупная общественная акция, способствующая развитию чувства пролетарского интернационализма, взаимоизучения и взаимообогащения культур народов нашей страны, один из ярких фактов сближения литературы с живой практикой социалистического строительства.

2. В ОГНЕ КЛАССОВЫХ БИТВ

Строительству социализма, решительному наступлению на косность, убожество, нужду, темноту, коренным переменам в экономике, быте, культуре мешали враги Советской власти, в том числе и басмачи, которые не унимались и в начале тридцатых годов.

Николая Тихонова остро интересовала социальная и политическая проблема басмачества, это нашло отражение в «Кочевниках», в стихах из цикла «Юрга». Он писал об особой жестокости и свирепости басмачей, откровенно называя тех, кто стоит за их спинами — кормит, вооружает и благословляет на захватнические, разбойнические набеги.

«Новый Пушкин, пожелавший написать «Историю басмачества»,— замечает Николай Семенович,— должен будет знать узбекский и туркменский языки, и тогда он напишет книгу, поражающую неожиданностями, ибо самые любопытные материалы можно получить путем личного опроса свидетелей басмачества или чтением подлинных документов. Что стоит одна прокламация Джунаида, где он в числе прочих благ, кои будут отпущены погибшим в борьбе с большевиками — джадидами, обещает каждому умершему пост председателя райкома (?) в раю. Борьба с Джунаидом потребовала больших усилий, она происходила в пустыне, где пехота действовать не может, автомобили бесполезны, и только кавалерия и отчасти авиация могут соперничать с быстрым, неуловимым и ловким, знающим все местные условия противником...»

Отмечая все трудности этой борьбы, Николай Семенович писал:

«Басмач жесток по природе, как жестока по природе и сегодняшняя его покровительница, имя которой — Англия»,

Шли годы, сменились ныне покровители басмаческих банд, но неизменной оставалась и остается антинародная, антисоциалистическая, антигуманистическая природа басмачества. В книге «Кочевники» это показано подробно, доказательно, изображено пластично, впечатляюще. И, наверно, будет правильно считать, что с этих туркменских очерков и начинается многолетняя работа Тихонова — публициста, очеркиста, общественного деятеля. Работа, с годами набиравшая все бо́льшую силу, размах, страсть и высокий накал гражданственности. Начиная с тридцатых годов и по конец семидесятых годов на весь мир звучало прекрасное публицистическое слово Николая Семеновича Тихонова.

Анализируя сущность басмачества, Николай Семенович не раз подчеркивал особенную жестокость басмачей к женщине. Таким, например, как Анна Джамаль — героиня очерка Тихонова. Это была одна из тысяч туркменок, решительно отказавшихся жить той жалкой, унизительной жизнью, на которую были обречены их матери.

Басмачество и раскрепощение женщин — все это переплеталось тогда в тугой узел борьбы с пережитками прошлого, с косностью суеверий, с идеологией классовых врагов.

«Первая в мире, единственная статуя, изображающая туркменку, стоит у входа у Туркменкульт,— писал Тихонов в очерке «Дорогу женщине».— Туркменка занята невероятным делом — она читает книгу. Рядом с нею на равной высоте по другую сторону лестницы сидит туркмен. В жизни пока туркменской женщине не так часто приходится видеть книгу или быть на равной высоте со своими мужчинами. Но туркменка завоюет себе свободу, по-видимому, очень скоро, и это будет неожиданная туркменка».

За год до приезда писательской бригады в Туркмению проходила работа Третьего Всетуркменского съезда Советов. В ряду других важных вопросов на съезде был заслушан и доклад «О фактическом раскрепощении женщины».

«...Законы, которые мы издаем,— говорил докладчик,— не всегда встречают активную поддержку со стороны низовых советских работников. Поэтому целый ряд преступлений, убийств женщин, издевательств проходят мимо нашего советского и судебного аппарата. Я не буду останавливаться на отдельных убийствах, которые произошли в последнее время: убийство учительницы, убийство курсантки педтехникума. Они всем известны. Коснусь тайных убийств, происходящих чуть ли не ежедневно. Один из товарищей, ко-

торый обследовал Керкинский район, говорил, что там не проходит дня, чтобы не произошло в каком-либо ауле убийство женщины.

Мы имеем такие факты, когда выдвиженок, учительниц и других общественных работниц, которые начинают расти на работе, травят, обвиняя во всех смертных грехах. Антисоветские элементы аула натравливают на выдвиженок детей.

Говорят, что у туркмен нет затворничества. Это неверно. Я утверждаю, что есть районы, где затворничество существует. Например, Ташаузский округ. Как особый вид затворничества следует считать и яшмак. Туркменка должна завязывать рот. Она не может выступить на собрании, где сидят мужчины и женщины. Значит, женщины не могут активно участвовать в общественной работе. Поэтому я думаю, что здесь надо поставить вопрос об издании специального декрета о запрещении этих отдельных видов закрепощения, которые еще сохранились в быту туркмен и националов. Надо снять яшмак и паранджу, нужно устранить полузатворничество отдельных племен... Мы ведем и будем вести успешную работу в области вовлечения женщин в производство»,— говорил товарищ Айтаков, председатель ЦИК республики.

И речь его, искренняя, откровенная, как видно, была далека от лакировки действительности, насыщена пафосом борьбы с пережитками прошлого.

Судя по газетной хронике тех дней, в президиуме съезда рядом с руководителями республики, тт. Айтаковым и Атабаевым, сидел и командир Первой Туркестанской дивизии М. Л. Медников. Он тоже выступал на съезде по вопросу обороноспособности республики. В частности, он сказал:

«Нужно отдать должное правительству ТССР. Оно чрезвычайно внимательно относится к Красной Армии. Условия для подготовки частей в Туркменской республике чрезвычайно тяжелы. Нам приходится создавать такую обстановку, чтобы учеба была доведена до конца, несмотря на знойное солнце. Имеются ли у нас в достаточном количестве дома отдыха для начальствующего состава, который страшно изматывается, можем ли мы обслужить все наши части ленинскими палатками — все эти вопросы надо решать. Рабоче-крестьянская Красная Армия вправе требовать у своего правительства еще бо́льшего внимания. Я думаю, что съезд отметит это в своих резолюциях...»

М. Л. Медников коснулся и вопроса о женщинах-турк-

менках, имея в виду ту помощь, которую они могут оказать в деле укрепления обороны республики. А сделать они могли многое, например, заменяя мужчин на работе, с тем «чтобы последние в нужную минуту имели возможность отправиться на фронт». Командир дивизии и начальник Ашхабадского гарнизона имел в виду, конечно, в своем выступлении и фронт борьбы с басмачеством.

Так случилось, что именно в дни работы съезда и буквально на другой день после доклада о раскрепощении женщин республику потрясло землетрясение силой в 5—6 баллов, с эпицентром в Персии, неподалеку от границы. Естественно, что и спустя год Тихонову и его друзьям много рассказывали об этом землетрясении, слухи о нем распространились широко, и разнообразные отзвуки этого события настигали писательскую группу на ее маршрутах по республике.

Осталось это землетрясение и в моей памяти — одиннадцатилетнего мальчика.

Поначалу был тихий, приятный вечер, когда я, не знаю уж каким образом, оказался один в большом и ныне существующем парке, занимавшем собою целый квартал и примыкавшем к Дому Красной Армии.

Я сидел на скамейке, на торце ее, в двух метрах от большого дерева, и вдруг услышал нарастающий гул где-то там на горизонте, в горах Копетдага. Гул усиливался, набирал какую-то утробную мощь, я никогда больше в жизни не слышал такого могучего, грозного и зловещего грохота, исходившего, казалось, из глубин земли, как будто бы это заговорили земные пласты, как будто бы сами горы начали трубить о приближении чего-то страшного, какого-то несчастья.

Этот страшный гул быстро пронизал собою все, он шел и снизу и чуть ли не сверху, низвергаясь, как казалось, уже и с неба, которое в сумерках быстро стало темнеть, словно бы занесенное густым песком. И вот... сильный толчок, такой резкий, что меня кинуло на дерево, я больно ударился о шершавый ствол тополя и, чтобы не упасть, ухватился за него обеими руками.

Но дерево тоже не давало твердой опоры, оно стало словно бы каучуковым, шевелилось вместе с землей, со скамейкой, с прилегающими к скамейке кустами. Удивительное это чувство, когда ты лишаешься такой надежной, такой привычной опоры, как земля.

И тут же, пронзая дробным звоном тяжкий гул земли,

загремел рухнувший на землю буфет, он находился неподалеку, зазвенели бутылки, стаканы, посуда. И какая-то женщина истерично закричала, кто-то заплакал, сидевшая рядом со мною на скамейке старушка громко молилась... Мне стало страшно. Так страшно, как бывает только при землетрясении,— об этом не расскажешь словами, это надо пережить.

Помню, как через какое-то время, мне пауза показалась длинной, подземный толчок повторился, и снова звон разбитой посуды, возгласы ужаса, стоны в парке, погрузившемся в темноту.

Толчки продолжались, но уже слабее, еще несколько раз...

Прошло много лет. Сейчас я не могу точно вспомнить, что делал, когда неохотно оторвался от дерева, куда побежал, о чем спрашивал. Да и у кого в этом темном парке, по которому метались в страхе люди, можно было что-то узнать?

Не помню, как уж я очутился на нашей улице имени Фрунзе, около дома. В темноте я увидел, что только упал дувал, а дом стоит на своем месте, и обрадовался. Однако утром стало видно, какая глубокая трещина разделила наш особняк на две неравные части.

В тот вечер отца и матери не было дома, и увидел я их не скоро. Дело в том, что они присутствовали на торжественном заседании в помещении бывшего собора, переделанного под концертный зал. Можете себе представить тысячи людей в зале, над головами высокий купол собора, с купола свисает громадная, в посеребренной оправе люстра, которая неожиданно заходила над головами людей огромным маятником. Люстру раскачало землетрясение. Когда люди поняли это, все бросились к единственному выходу. Началась та страшная паника, которая тоже, наверно, бывает лишь при землетрясениях.

Кое-как выбравшись из собора и доставив в полуобморочном состоянии маму домой, отец, естественно, уехал в штаб дивизии, и я долго не видел его в нашей квартире...

Через много лет, читая газетную хронику тех дней, я узнал, что землетрясение, начавшееся 1 мая в 19 часов 23 минуты, происходило при слабом повышении атмосферного давления, штиле и полуясном состоянии неба. Ряд толчков продолжался около одной минуты, затем три слабых повторных толчка около 19 часов 35 минут, в 21 час 20 минут

и в 22 часа 13 минут. Затем ночью, около 2 часов 30 минут, два довольно сильных толчка.

Прочитав это, я припомнил, что всю ночь никто в городе не спал, тревога не затихала, люди боялись находиться в домах, стоять близко к дувалам, коротали ночь на улицах, во дворах. Но земля по-прежнему казалась ненадежной, ведь ползли слухи, что кое-где образовались трещины, провалы, что почва могла неожиданно в буквальном смысле слова разверзнуться под ногами.

Газеты сообщали, что четвертого мая на продолжающемся съезде Советов с сообщением о землетрясении выступил уполномоченный Наркомпочтеля. Поступали сообщения, что особенно сильное сотрясение почвы наблюдалось в горах, вдоль границы. В Фирюзе толчки продолжались всю ночь. Из Гермага сообщали, что разрушено управление комендатуры, казармы, конюшни, десять убитых, пятнадцать раненых. Красноармейцы и командный состав с женами и детьми живут под открытым небом. В два часа дня правительственная комиссия отправила в Гермаг врачебно-санитарный отряд, снабженный всем необходимым для оказания помощи пострадавшим.

В Фирюзе, которая издавна славилась своими паводнениями и землетрясениями, было тогда 250 строений, и все они в той или иной мере пострадали.

«Вчера в Ашхабаде,— писалось в газетах,— все было совершенно спокойно. С вечера у всех кино выстроились большие очереди...»

Меня заинтересовало сообщение о Воскресенском соборе, в котором в час землетрясения находились мои родители. Оказалось, что от толчков накренился малый купол на колокольне, крест завалился, повиснув над садом, который я хорошо помню. Погнулся крест и на главном куполе. Комиссия считает, что главный купол получил повреждения, угрожает обвалом и его придется, видимо, снять.

О Воскресенском соборе я упоминаю не случайно. Ведь землетрясение совпало с празднованием 1 Мая и заседаниями съезда Советов. Этим совпадением не замедлили воспользоваться враги Советской власти. Положение в республике было весьма напряженным. 7 мая подземные толчки возобновились снова. Зашевелились басмачи. Правительство Ирана обратилось за помощью к соседней республике, и уже 9 мая газеты напечатали благодарность иранского правительства туркменскому правительству за помощь пострадавшим. Врачебно-санитарные отряды действовали на террито-

рии Ирана. Постпредство СССР в Тегеране внесло в фонд пострадавших 5000 туманов.

14 мая был новый подземный толчок. А 19-го появились первые сообщения о нашествии саранчи, телеграфная сводка о ее продвижении, началась та самая героическая эпопея борьбы с саранчою, которую так ярко, пластично изобразил Леонид Леонов в своей повести.

«Если вам какой-либо враг рабочего народа и советской власти начнет говорить, что землетрясение — это наказание божье за грехи, за безбожную советскую власть,— писала в те дни республиканская газета,— вы в это не поверите и скажете, что и в буржуазных странах, где еще нет советской власти, землетрясения бывают очень часто.

При нынешнем землетрясении главные бедствия перенесли жители Персии, из которых многие убиты, а есть ли там советская власть? Можно ли верить после этого лживым словам попов, мулл, баев и их приспешников, которые пользуются несчастьем для антисоветской агитации. Такая агитация должна встретить решительный отпор...»

И она встречала этот отпор, выраженный не только и не столько в пропагандистских статьях, сколько в самих действиях, энергии, распорядительности правительства, в мужестве и спокойствии, которое проявили трудящиеся республики.

Да, на границе в те дни действительно все было весьма и весьма неспокойно. Я это знаю не только из литературы, не только из старых газет. Кстати говоря, в номер «Туркменской искры» от 23 февраля 1930 года, где напечатаны воспоминания моего отца о революционных боях в конце 1919 года в Екатеринославе, есть заметка и о тех сражениях, которые в тридцатом году вели части Туркменской горнострелковой дивизии.

«...12-летний юбилей РККА мы празднуем,— писал отец,— под лозунгом повышения темпов нашей боевой учебы. С басмачеством ведется беспощадная борьба. Уже недалеко то время, когда на территории ТССР басмачества не будет совсем».

Но пока, и это я видел сам, еще привозили раненых в наш ашхабадский военный госпиталь, пока еще хоронили убитых красноармейцев и командиров, пока еще отец и дни и ночи проводил в частях, в походах и редко ночевал дома.

Вспоминая свое знакомство с военными людьми Туркмении, Николай Тихонов впоследствии в очерке «Невиданная весна» писал:

«Принять их, как меня!» — написал коменданту Кушки наш друг в Ашхабаде, комбриг Медников. И комендант самой южной крепости Советского Союза предоставил нам все возможности познакомиться с пограничной жизнью.

Будапештский садовник Сабо, человек широкоплечий, невысокий, как говорится, неладно скроенный, но крепко сшитый, прошедший гражданскую войну в рядах Красной Армии, был комендантом Кушки и очень внимательно отнесся к работе писательской бригады.

Принимая во внимание особые условия жизни в этом районе в те довольно далекие от сегодняшнего времени дни, он сам пришел напутствовать нас в поездку по пустыне.

Он вникал во все мелочи, до всего ему было дело. Кони вставали на дыбы, звенело оружие, подтягивали подпруги, вымеривали стремена, словом, вокруг было самое боевое оживление, точно наш маленький отряд должен был совершить большой и трудный рейд...»

Прочитав эти очерки, я в 1962 году написал письмо Николаю Семеновичу и вскоре получил ответное, в котором, вновь касаясь событий весны 1930 года, Тихонов писал:

«...Я не мог, говоря о пребывании писательской бригады в Ашхабаде в 1930 году, не вспомнить нашего друга, который принял такое горячее участие в наших странствиях по Туркмении,— всем нам полюбившегося и на всю жизнь запомнившегося комбрига Медникова.

Комбриг Медников произвел на нас тогда незабываемое впечатление. Это был человек большого масштаба, огромной ответственности, прекрасных знаний, настоящий знаток тех пограничных краев, добрый товарищ и выдающийся военный. Тогда как раз в Афганистане развертывались серьезные события, связанные с восстанием Баче-Сакао, и положение на границе было сложным. Благодаря нашему другу-комбригу мы повидали и Кушку, и границу, и совершили незабываемую поездку в пустыню. Эта поездка описана писателями, входившими в бригаду. Мы неоднократно встречались с тов. Медниковым, и все его полюбили за простоту его души и радушие, за его помощь в нашей работе...»

За полгода до писательской поездки в Афганистане происходили бурные и кровавые события, вооруженная борьба за власть. Недолго правивший эмир Хабибулла-хан, известный также под именем Баче-Сакао (сын водоноса), был казнен со своими приближенными.

И поскольку о Баче-Сакао упоминает Н. Тихонов в своем письме ко мне, поскольку эти давние события в Афганиста-

не и политическая обстановка на границах Туркмении в ту весну привлекали внимание и, естественно, волновали московских писателей, о Баче-Сакао следует сказать немного подробнее.

Дезертир афганской армии, Баче-Сакао приобрел известность как главарь большой банды, начавшей восстание после того, как правитель Афганистана Аманулла отрекся от престола. Крупную роль в подготовке этого восстания сыграл английский разведчик Лоуренс. Раздувая гражданскую войну в Афганистане, английские империалисты брали курс на расчленение страны, на превращение Афганистана в плацдарм для басмаческих банд, вторгающихся в Туркмению, Узбекистан и Таджикистан.

Узнав о воцарении Баче-Сакао в Кабуле, Аманулла взял назад свое отречение. Началась гражданская война. Первый поход Амануллы на Кабул закончился неудачей, Аманулла покинул Афганистан, но вооруженную борьбу с Баче-Сакао продолжал Надир-хан, в октябре 1929 года занявший Кабул и провозгласивший себя падишахом.

В газетной хронике той поры то и дело появлялись сообщения об активности басмачей и вооруженной борьбе с ними:

«Термез. В приграничной полосе продолжается лихорадочная подготовка басмачей к вторжению на нашу территорию».

«В Ташкурган прибыл «святой» Хазрет-Саиб, бывший одним из видных идеологов и вдохновителей басмачества».

«В Кабуле идут секретные переговоры с одним из главарей басмачества — Ибрагим-беком».

«Кушка. В последние дни (после землетрясения в мае 1929 года) начали проявлять активность банды басмачей, сформированные в Гератской провинции. 4 мая пыталась перейти границу в районе Иеручак (сто километров восточнее Кушки) небольшая банда, отбитая пограничными войсками».

«В ночь на 5 мая там же перешла границу банда под командованием Аляр-бека, направившаяся к северу, в пески Каракум».

«По словам местных жителей, в кишлаках к северо-востоку от Герата расположено несколько банд, собирающихся перейти границу для борьбы с советской властью».

«Расчленение Афганистана — первый шаг к нападению на советские среднеазиатские республики,— высказывала мнение газета, полагая, что «с превращением Афганистана

в антисоветский плацдарм связано нападение басмаческих банд на территорию Узбекистана, Таджикистана, Туркмении. Банды эти организуются на английские деньги и английское оружие».

Как актуально звучит эта газетная хроника в наши дни, когда контрреволюционные, басмаческие банды, вторгающиеся из Пакистана, снабженные американским, китайским оружием, пытаются помешать мирной, созидательной жизни Демократической Республики Афганистан.

Но вернемся к событиям после землетрясения 1929 года. Нормальная жизнь города, и это я могу засвидетельствовать сам, нарушалась лишь на очень короткое время, и это потому, что и в Ашхабаде и в районах республики умело действовали «большевики пустыни и весны», весь туркменский народ, действовали те самые герои, которых потом так выпукло изобразил Н. Тихонов в своих «Кочевниках»: и большевик Шкильтер, «сожженный пустыней латыш», и донбасский горнорабочий Сидоров, помогающий туркменам осваивать богатые залежами недра республики, и милиционер Нури, весело скачущий по пустыне, и Анна Джамаль, восставшая против суеверий, вступившая в партию, и секретарь райкома Ваттола, работающий в Красноводском районе, где «жара выжимала залив и сжигала горы вокруг», Ваттола, мать которого была из Милана, отец из Берлина, и этого интернационалиста «революция научила не останавливаться перед труднейшим», и, наконец, такие военные, как комендант Кушки, венгр Сабо, или мой отец, командир дивизии, части которой всегда самоотверженно помогали населению в любой беде.

В своих очерках о Туркмении Николай Тихонов воссоздал образы строителей социализма в республике, одухотворенных «пафосом вечной заботы», создал с той точностью и полнотой, которых требует художественная проза. Материалы, собранные в 1930 году и после «Кочевников» и «Юрги», не лежали втуне, неоднократно писатель возвращался к этой теме. В 1932 году им был написан рассказ «Горькая застава» — о пограничниках на афганской границе. Был задуман и роман о Туркмении широкого дыхания — о колхозниках и кочевниках, о красноармейцах и партийных работниках; в фабулу романа должна была войти и борьба с басмачами Джунаид-хана. Однако написать этот роман Николаю Семеновичу не довелось.

К туркменской теме Тихонов вернулся и через тридцать

лет в очерке «Невиданная весна», который вошел в мемуарную книгу «Двойная радуга», книгу рассказов-воспоминаний о писателях-современниках.

3. ЧЕРЕЗ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

Когда писатель через тридцать лет возвращается к воспоминаниям своей молодости, он может через призму времени зорко взглянуть на былое, взвесив все, отобрать самое важное, отбросить несущественное. Дистанция годов придает зрению художника как бы дополнительную зоркость и делает весомее меру требовательности к художническому отбору событий и фактов.

Через тридцать лет записки о пережитом пишет уже, по сути дела, другой человек. Но если он в главном остается верен тому, что он писал раньше, если не изменились, а, наоборот, укрепились и углубились его оценки и выводы,— не является ли это весомым свидетельством тому, что давние впечатления писателя оказались точными, глубокими и именно поэтому выдержали испытание временем?

С такими мыслями я читал очерк Николая Тихонова «Невиданная весна». Погружаясь вновь в атмосферу Туркмении тридцатых годов, я с удовольствием вникал в новое прочтение Тихоновым истории знаменитой поездки, туркменских впечатлений. Душа художника не старела, и через тридцать лет он писал о Туркмении так же влюбленно, свежо, молодо, так же ценил и любил своих товарищей по писательской группе, и более всего, пожалуй, Владимира Луговского.

«Молодой человек, которого звали Владимиром Луговским, впервые видел весною Туркмению. Он влюбился в нее бурно, сразу, как влюбляются с первого взгляда»,— писал Тихонов в главе «Невиданная весна».

И далее:

«Мы мчались по пустыне, и день начал склоняться к вечеру. Я смотрел на Луговского. Он ехал молодцом, сидел в седле как надо. Я не знаю, занимался ли он раньше верховой ездою, но это пустынное испытание он выдерживал хорошо. Мало того. Когда дали пустыни начали становиться розово-фиолетовыми, какой-то красноватый отблеск лег на пески, темные полосы тюльпанов стали сливаться все больше и больше, я взглянул на Луговского и увидел такое лицо, что сейчас же подъехал совсем близко. Наши кони зашагали рядом.

Он смотрел какими-то расширенными глазами, точно видел перед собою что-то необыкновенное, что надо запомнить во что бы то ни стало. Такое лицо может быть у поэта, когда он остается один и первые строки стихов уже бьют в виски и просятся на бумагу».

Уже не говоря о том, как это хорошо написано, прочитав эти строки, отчетливо видишь как бы пластически вылепленную фигуру поэта на коне, чувствуешь, что «пустыня входит в его сердце», как точно определил Тихонов. Да так это, конечно, и было.

«...Завтра выезжаем в Кушку на афганскую границу»,— сообщал в письме к сестре Владимир Луговской в начале апреля 1930 года.

Это было примерно в те же дни, когда я обнаружил у нас дома на столе у отца книжку стихов с обложкою, вид которой почему-то запомнился мне на всю жизнь. На темно-сером фоне крупными, яркими буквами пять раз повторялось слово «Мускул», и это вызывало у меня ощущение чего-то очень крепкого, сильного, выносливого, как мускулы у лошадей, на которых в путешествие по пустыне, в Кушку, отправлялись тогда писатели.

Это была книжка стихов Луговского, вышедшая, естественно, до поездки в Ашхабад. Там была теплая, дружеская надпись отцу.

Итак, Кушка! Поселок и старая крепость — самая южная точка Советского Союза. Место, которое знает каждый школьник, изучающий географию, но вряд ли можно утверждать, что много людей повидало эту крепость, побывало в этом дальнем гарнизоне. В Кушку упираются последние километры железной дороги, и бежит в город быстрая речонка Кушка, берущая начало на северных склонах Афганского Паропамиза.

Кушка — это оазис в пустыне, райский уголок на фоне выжженных зноем пространств, и в те далекие тридцатые, и ныне здесь все словно бы окутано зеленым дымом огромных фисташковых лесов, на десятки километров протянулись луга, по которым бродят стада каракулевых овец, тут Бадхызский звериный заповедник — это примечательные места тридцатых годов. Теперь, естественно, здесь выросло много новых предприятий и учреждений, домов и кварталов, но, как в те времена, так и ныне, за кромками ядовито-серых известняковых карьеров — Каракумы.

Немного истории, которую отлично знал Николай Семенович. У Кушки славное революционное прошлое. Когда-

то, в дооктябрьские времена, сюда ссылали провинившихся офицеров. Существует легенда о том, что в Кушке жил Куприн и здесь написал свой «Поединок». Правда, это не подтверждается документами, живучесть же легенды можно объяснить тем, что атмосфера романа и события, описанные в нем, очень похожи и рельефно напоминают жизнь и быт далекого, заброшенного на край света гарнизона в Кушке.

В 1918 году националисты и английские интервенты, две тысячи басмачей из банды Курбаши Сардархана обложили Кушку. Но крепость стояла. Начальник гарнизона генерал Востросаблин выехал из Кушки в Ташкент с последним эшелоном. Обороной крепости остались руководить коммунисты. Ворвавшись в крепость, белогвардейцы захватили семьдесят двух защитников. Отправили их в Мерв. Но на полпути каким-то образом кушкинцам удалось поджечь эшелон. По пустыне мчался огненный поезд. Герои обороны Кушки не хотели сдаваться. Впоследствии большинство из них бежало из плена.

В апреле 1919 года в Кушку вошла Красная Армия. А еще через год сюда приехал М. В. Фрунзе с тем, чтобы объявить благодарность героям Кушки и вручить гарнизону крепости боевое Красное знамя — за славную оборону, за спасение военных запасов, оружия и боеприпасов, которые попали затем на Оренбургский фронт и помогли разгромить войска атамана Дутова, укрепить Советскую власть в Ташкенте и во всем Туркменистане.

В 1927 году в пустыне Каракум, вблизи нашей южной границы, активизировался известный руководитель басмаческих банд Джунаид-хан и его помощник Шалтай-Батыр. Тогда из Кушки был отправлен 84-й кавалерийский полк. Попав по железной дороге в Чарджоу, полк затем походным порядком проделал еще шестьсот километров по пустыне, пока не настиг басмачей.

Были жестокие бои. Остатки разбитых банд Джунаид-хана пытались перейти границу, но лишь немногим удалось это сделать.

А через три года из ворот кушкинской крепости в пустыню отправился отряд из пяти писателей и одного местного журналиста, редактора газеты «Туркменская искра» Григория Брагинского, а также сопровождающих красноармейцев...

...В одном из аулов, вблизи Амударьи, где уже в те годы начиналось прокладывание канала, они увидели прошлогоднюю саранчу, с которой был свирепый бой.

«Мы обходили с Володей огромные скопления мертвой саранчи,— писал Тихонов,— неисчислимое количество страшных маленьких латников погибло, сраженное огнем, усилиями тысяч защитников полей и садов. Крылья мертвой саранчи мрачно шелестели, как мертвые листья на кладбищенских венках, высушенных временем».

Такие же мертвые полки саранчи, прилетевшие с далеких берегов Персидского залива, с Аравийского полуострова, видел, конечно, и автор повести «Саранчуки». В центре ее фигура Маронова — героической натуры, человека, который ищет опасные дороги в жизни, хочет совершить что-то необыкновенное. Он побывал на Севере, теперь приехал в знойную Туркмению и неожиданно оказался в самой гуще борьбы с саранчою, где энергично действует. В этой тяжкой борьбе у Маронова прорезывается характер, в котором воля соединяется с четким сознанием долга.

Былая романтическая созерцательность Маронова жестко проверяется прозою жизни. Становится более определенной внутренняя жизнь героя. В борьбе с саранчою он созревает как личность.

Я впервые прочитал эту повесть Леонида Леонова еще молодым человеком, потом сравнительно недавно перечитал ее дважды, и уж не помню в деталях своего давнего ощущения от повести, но знаю определенно, что и тогда и сейчас главным для меня была героическая нравственность Маронова. Она — стержень произведения, привлекает круто нарастающей динамикой поступков, выражением духовной силы героя.

Это вещь яркая, как солнце Туркмении, краски повести не стираются со временем и по-прежнему впечатляют живостью деталей, реалистическими картинами жизни. К тому же «Саранчуки» — это еще и документ, свидетельство писателя о событиях, художественный образ которых так пластично запечатлелся в его сознании.

В нашей памяти остается не история любви Маронова и Иды Мазель, сложная, несколько запутанная и трагическая, не взаимоотношения с младшим братом Яковом, который погиб на Севере и перед смертью завещал Маронову повидать Иду и рассказать ей о его любви. А сама Туркмения тех лет в борьбе и движении, черты облика людей нового поколения, ощущающего себя рожденным для того, чтобы перестроить мир, полнокровные краски быта, природы и поражающая всегда экспрессия леоновского пера, так вер-

но выразившая полноту и особенности жизни в республике тех лет.

Уже много сотен километров проехали писатели по республике, уже многое увидели и, как писал Тихонов, «сидели на коврах заседаний, на старых войлоках, в нищих юртах; видели рождение на голой земле колхозов, живописные картины посевной, первые тракторы, первые разрушенные дувалы, первые общие поля», когда в середине апреля они ненадолго вернулись из пустыни в «симпатичный, зеленый, легкий городок» Иолотань. И здесь неожиданно Тихонов и Луговской узнали... о смерти Маяковского! Произошло это так.

Жена местного зоотехника, с которым беседовали писатели, ухаживала за гостями.

«...Хозяйка вышла из комнаты — дверь вела прямо во двор,— вспоминал Николай Семенович,— и когда она снова появилась в конце нашей беседы, я спросил у нее мимоходом:

— А газеты вы получаете здесь часто?

— Да не очень часто, но приходят, читаем,— отвечала она, остановившись у двери.— Вот недавно получили. Да что я говорю — вчера получили московскую, но ведь знаете, какое опоздание...

— А что там интересного, в газетах? Есть что-нибудь особенное?

— Да нет,— сказала она,— ничего в них нет, и особенного нет...

И она взялась за ручку двери.

— Да,— вдруг сказала она, обернувшись к нам,— там помер один, в Москве. Вот как его фамилия, подождите, сейчас вспомню... Как же это?.. Вот память какая у меня... Мисковский какой-то... не знаете такого?

Мы пожали плечами: нет, что-то не знаем...

Она открыла дверь и вдруг снова закрыла ее и сказала так просто, как говорит человек, когда ему неизвестен настоящий смысл произносимых им слов:

— Ведь вспомнила, кто помер... Маяковский умер какой-то!

— Как?! — вместе закричали мы.— Как Маяковский?! Что вы говорите?

— Да, да, совсем вспомнила: Владимир Маяковский. А что с вами? — Она смотрела большими глазами на нас и вдруг сказала:— Если бы я знала, что вы так расстрои-

тесь, я бы и не говорила вам. Кто это Маяковский — ваш друг?»

...Потом хозяйка принесла эту газету. Тихонов и Луговской, придя к себе, в скромную комнату, расстелили газету на столе и стали по строчкам изучать ее, стремясь, как вспоминал Николай Семенович, «проникнуть в тайну страшного известия».

Проникнуть в эту тайну в те дни старались многие. Я не помню своей мальчишеской реакции, но когда через те же тридцать лет я читал и сообщение ТАСС, и опубликованный тогда в газетах текст предсмертного письма Маяковского, я пережил минуты ошеломления, томительное стеснение в груди.

«14 апреля,— сообщало ТАСС,— утром в своем рабочем кабинете покончил жизнь самоубийством поэт Владимир Маяковский.

Предварительные данные следствия указывают, что самоубийство вызвано причинами чисто личного порядка, не имеющими ничего общего с общественной и литературной деятельностью поэта. Самоубийству предшествовала длительная болезнь, после которой поэт еще не совсем поправился...»

А в письме значилось:

«Всем!

В том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил.

Мама, сестры и товарищи — это не способ, другим не советую, но у меня выходов нет.

Лиля — люби меня.

Товарищ правительство. Моя семья — это Лиля Брик, мама, сестра и Вероника Витольдовна Полонская.

Если ты устроишь им сносную жизнь — спасибо.

Начатые стихи отдайте Брикам — они разберутся.

Как говорят,
Инцидент исперчен,
Любовная лодка разбилась о быт.
С жизнью в расчете.
И не к чему перечень
Взаимных болей,
бед и обид.

Владимир Маяковский

12 апреля 1930 года».

Тихонов и Луговской не могли уснуть, вспоминали свою последнюю встречу с Маяковским в ресторанчике Дома Герцена, когда они рассказывали ему о предстоящей поездке в Туркмению. Маяковский интересовался поездкой, сказал, что и сам бы поехал, но много дел в Москве. И происходил этот разговор всего лишь за двадцать дней до рокового 14 апреля.

«И теперь, вспоминая через тридцать лет эту светлую, легкую иолотанскую ночь, я не могу отделаться от гнетущего удара черной молнии, которая ослепила нас блеском страшного события,— писал Тихонов.— Эта черная молния отсекла ожидаемую всеми новую поэму Маяковского от ее громоподобного вступления «Во весь голос».

Путешествие по Туркмении продолжалось еще долго. Но иолотанская ночь, несомненно, наложила на настроение писателей, которые вскоре все вместе встретились в городе Мары, свой неизгладимый отпечаток, заставляла зорче всматриваться в окружающее, серьезнее, глубже задумываться о сложностях борьбы, которую вела страна. Известие это вошло в их души леденящей газетной строкою, определившей какую-то грань бытия, как входит всякая смерть в жизнь, полную насущных забот и тревог.

4. НА ГРАНИЦЕ

Есть вблизи Ашхабада приграничное место, километрах в сорока, куда надо ехать сначала по равнине, потом начинаются предгорья Копетдага, а затем и сами горы, стиснув шоссе, втягивают его в живописное ущелье, поросшее не только кустарником, но и тополями, кленами, дубками, которые чем ближе к границе, тем выше карабкаются по крутым склонам. Журчит в ущелье и речка, есть тут тень и влага, можно искупаться, даже летом тут не все сгорает и жухнет, преобладает все же зеленый цвет, и вообще горы буйством и богатством красок напоминают Кавказ или Южный берег Крыма. Однако это все же Туркмения, один из ее прелестных оазисов.

Это ущелье похоже на то, что называется Ай-Дэрэ, описанное с любовью Николаем Тихоновым и в прозе, и в стихах.

«...Когда въезжаешь в это ущелье вечером и пересекаешь его бесчисленные ручьи и родники, то хочется говорить обязательно стихами про него, и очень простыми и наивными, потому что здесь действительно травы брата род-

ней, в темножильях камней родников отчеканена дрожь — лучше рощ, гибче вод, драгоценней пород ты в Туркмении, верь, не найдешь» («Кочевники»).

Как и в ущелье Ай-Дэрз, так и в этом, ему подобном, имя которого я не хочу называть по той причине, что оно выводит прямо на границу с Ираном и, пересеченное пограничной заставою, продолжается уже на сопредельной стороне, как известно, побывала вся писательская бригада, а позже вместе с Тихоновым не один раз приезжал Владимир Луговской, когда работал над своей книгой «Большевикам пустыни и весны».

Через много лет, осенью 1956 года, мы встретились в переделкинском Доме творчества, очутились за соседними столиками в столовой и однажды в беседе вспомнили об Ашхабаде тридцатого года, о той давней, необыкновенной весне.

Луговской был всегда красив, а в тот год обрел еще и черты, я бы сказал, величественной монументальности. Седая голова со все еще густыми волосами и знаменитые мощные брови Луговского, оставшиеся черными. В крупных, словно бы резцом скульптора высеченных чертах — резкие меты пережитого. Но все просветляла, снимала все тени добрая улыбка.

И вообще мне тогда казалось, что от Луговского исходит эманация мудрости и сердечной широты, душевной ясности и воли человека, который именно в те дни мог написать жене:

«...Я должен закончить книгу. Это цель жизни. Теперь я знаю все в искусстве. Я понял. Душа свободна».

Когда мы заговорили об Ашхабаде, вспомнили о моем отце, Владимир Александрович оживился, повеселел, как-то по-особенному взбодрился. И мне показалось, что в эту минуту он увидел духовным зрением то время, когда

Невозможные силы весны
поднимались по жилам.
Ветер,
брат моей жизни,
держал ночной караул...

— Помню, все помню, да и как забыть! — сказал он.— Кто-то заметил, что юность — это та часть, которая больше целого, то есть всей жизни. Для математики это несуразица. Но не для поэтов...

Здоровье его тогда оставляло желать лучшего. Болело сердце. Ходил Луговской медленно и часто останавливался,

походка у него стала грузной, он опирался на массивную палку, и что-то было в его походке настораживающее, какая-то зыбкость, неуверенность. И только высокую посадку его львиной головы и атлетический разворот плеч не могли изменить ни время, ни болезни.

Я сказал Владимиру Александровичу, что побывал в Туркмении, в Ашхабаде, который после землетрясения сорок восьмого года весь, по сути дела, выстроен заново, съездил и на пограничные заставы, и на иранскую границу, между прочим, и в то горное местечко, которое он так любил.

— Чудесное место,— отозвался Луговской.— Зеленая застава в ущелье. Кругом такое буйство зелени, что трудно поверить, что где-то рядом пустыня. Тополь, клен, урюк и масса белой акации. И шумит, катая камни, этакая бойкая горная речушка, но во время обильных дождей она преображается.

Как она может преображаться, мне было хорошо известно. Помнится, я рассказал тогда Владимиру Александровичу, как однажды летом, кажется в двадцать восьмом году, пережил там наводнение, когда один, десятилетний мальчик, я находился в доме отдыха для военных. Один, должно быть, потому, что мать работала, отец был постоянно занят в войсках.

Сильный ливень шел три дня, и к вечеру речушка поднялась так высоко, что залила сначала пол комнат, потом стала по колено, а на земле поднялась до пояса, потом до уровня груди. Чтобы спастись от наводнения, надо было перейти из расположенного на дне ущелья дома отдыха через водный поток на склон ближайшей горы.

Отдыхавшие здесь красноармейцы и командиры, выстроившись цепочкою и крепко взявшись за руки, начали этот переход через бурный поток, который уже не камешки мелкие катил с гор, а грозные валуны.

Я стал просить, чтобы кто-нибудь перенес меня на руках или на плечах, но один отказался потому, что еще слаб после болезни, другой потому, что болит нога, и я стал бояться, что останусь один и утону. Это был, наверно, первый серьезный страх в моей жизни, больно сжавший мое сердце.

Уж не помню, плакал я или нет, но только прошло минут десять, и нашелся человек, не очень здоровый и тоже хромавший, один из младших командиров в отцовской дивизии, он посадил меня на плечи, и мы двинулись с ним в этой цепочке, под проливным дождем, через поток, кото-

рый время от времени разрушал цепь, вырывая из нее людей, или калечил камнями, которые со страшной силой тащила разбушевавшаяся речка.

Я же со своим спасителем благополучно перебрался на склон горы, и там мы мокли еще всю ночь под дождем, укрываясь захваченными из дома отдыха одеялами. Наступило утро. Вода начала спадать, потому что прекратился дождь. Мы по-прежнему жили на склоне горы, и только, мне помнится, еще через день или полтора из Ашхабада, по занесенному камнями ущелью, смогли наконец пробраться первые верховые. В их числе и красноармеец, посланный отцом за мною, со второй оседланной лошадью. Я взобрался на седло, ездить тогда уже немного умел, и вот медленно, осторожно мы миновали разрушенную часть ущелья и выбрались на дорогу к Ашхабаду.

Владимир Александрович пошутил тогда, в Переделкине, что, мол, детство мое началось с наводнения и землетрясения и поэтому я должен помнить и любить тот край, где я все это пережил. Я смотрел на Луговского и видел по его лицу, что воспоминания об этом маленьком горном селении, в котором причудливо скрестились черты курорта и боевой пограничной заставы, доставляют ему удовольствие.

— Что сейчас там новенького, на заставе, где я оставил часть своей поэтической души? — спросил он.

— Через много лет она мне показалась примерно такой же,— сказал я,— правда, больше стало домов отдыха для военных, разросся парк, и знаменитая чинара «семь братьев», которую в тридцатом году могли охватить только шесть человек, взявшись за руки, теперь не охватят и десятеро. И застава на том же месте, и граница.

— А все же подробнее, подробнее,— попросил Владимир Александрович.

Я рассказал Луговскому о деревянных воротах заставы, обвитых зеленью и кумачом, словно это вход в санаторий, однако, нарушая эту, казалось бы, мирную идиллию, вдоль ворот прохаживается часовой с автоматом. А далее густой парк, за деревьями которого от одной казармы не видно другой,— чистенькие, посыпанные песком дорожки, конюшни, служебные строения, затем уже колючая проволока забора, ограничивающая территорию заставы с юга. И от южных ворот крутая горная тропа, ведущая непосредственно к границе, а она за четыреста метров.

Я вспомнил тогда же историю, рассказанную мне на

заставе о том, как до войны, в 1939 году, здесь в боях с басмачами погиб начальник этой заставы, молодой лейтенант Иван Семенович Скупченко. Могила его па территории заставы. Около нее молодые пограничники принимают присягу.

Едва ли не каждый год к могиле брата приезжал из далекого Днепропетровска Скупченко Семен Семенович, немолодой уже человек, инженер, верно и трогательно исполняющий долг памяти и любви. Семен Скупченко всякий раз привозил в подарок пограничникам книги, создал на заставе, по сути дела, библиотеку. Я видел эти книжные полки и сказал Луговскому, что на них много томиков его стихов.

Мой рассказ о брате начальника заставы не оставил Луговского равнодушным.

— Это достойно стиха,— сказал он.

Кто не знает, что Луговской издавна и глубоко был привязан к «работникам границ». Да и как было не уважать людей, несущих тяжелейшую и всегда напряженную, опасную службу на границах не год, не два. Я назвал тогда Луговскому имя старшины Вербицкого, прослужившего двадцать шесть лет на заставе с «перерывом» только на Отечественную войну, когда Вербицкий воевал на Западном фронте. Такая же была выслуга у сверхсрочников Кудрявцева, Каталупы.

Оказалось, что Владимир Александрович хорошо помнит даже фамилии этих пограничников, с иными он встречался в своих поездках по Туркмении в разные годы.

Многие стихи Луговского могли бы доподлинно выстроиться в шеренгу поэтических солдат в зеленых фуражках. Луговской умел поэтически рассказывать о быте пограничников, честно, правдиво — о нелегкой их судьбе, о большой любви и порою одинокой доле и о жизни, полной самых обычных «изъянов», как поэт однажды выразился. Однако суровые подробности ратной службы вовсе не снижали романтического пафоса его мужественных песен.

— Настоящая романтика берет барьеры обыденности,— заметил Луговской,— как текинский скакун берет препятствия. Вы видели, конечно, какие прекрасные кони в Туркмении: крепкие, топконогие, выносливые. Как я любил скакать на них по пустыне! И сейчас люблю... в воспоминаниях. Вот я вас слушаю с удовольствием,— продолжал Владимир Александрович,— и «снова, как прежде, по тем же дорогам, Азией нашей к югу иду»,— процитировал он строки из своего стихотворения.

Мы еще долго говорили с ним тогда о Туркмении, о счастливой и плодотворной для поэта поре жизни, о которой он никогда не забывал.

Увы, это была одна из последних встреч с Владимиром Александровичем, он умер через год в Ялте в возрасте 56 лет, полный энергии и замыслов, всегда уверенный в том, что

Дыхание молодости слышит мир,
Рожденный, чтобы вечно обновляться,
Так будем вечно обновлять его!

Николай Тихонов в своих туркменских очерках и рассказах тоже стремился дать представление о героических буднях пограничников, высоко ценя все то, что они делают для сохранения мира и спокойствия в республике. «Хранители границ» — так названы люди одной заставы в маленьком очерке из цикла «Кочевники».

Есть у Тихонова рассказ «Горькая граница», его герой Иван Зернин служит неподалеку от городка, о котором сказано, что в старое время здесь люди тихо стрелялись от скуки, ежевечерне звенели рюмками о бутылки, после службы валялись в меланхолии на кроватях весь остальной день, изнывая от жары или в тесных объятиях лихорадки, высасывающей всю влажность из тела и превращавшей человека в сухой кокон.

Иван Зернин пережил в песках тяжкую драму, в перестрелке с басмачами ему показалось, что он убил своего командира, помкомвзвода Челюсткина. Тоскуя, Зернин уходит в пустыню. Он не может себе простить этого выстрела, долго бродит по пескам, потерянный, опустошенный, пока не наталкивается на басмачей. Зернин смело вступает с ними в бой и возвращается в крепость-заставу победителем. Здесь же он узнает, что Челюсткин жив и был только ранен, из тела его извлекли английскую пулю, которой басмач стрелял из английской винтовки.

Рассказ написан не без некоторого любования экзотикой, необыкновенностью обстановки и ситуаций. Но и вместе с тем — с реалистической точностью деталей, со стремлением дать психологическое обоснование поступкам Ивана Зернина, человека честного, смелого и сильного.

Восхищение ратным трудом, понимание всех особенностей подвижнической жизни пограничников, равнозначной трудовому подвигу преобразователей края, было очень органично для всего, что написал о Туркмении Николай Тихонов.

Почему-то это мало замечала критика. А вместе с тем и очерки Тихонова, и его рассказы о пограничниках дают все основания утверждать, что нравственные истоки героики ратной и трудовой в жизни и в литературе — тождественны. Их питает прежде всего идейная убежденность, горячая любовь к Родине.

В цикле очерков «Кочевники» не раз упоминается Николаем Семеновичем Кушко-Серахский район, «Серахский рик», где был основан один из первых колхозов.

Восемьдесят семей белуджей установили здесь свои шатры и приступили к трудному и благородному делу — обрабатыванию земли впервые за свою страническую жизнь.

Упоминается там и о границе около Серахса.

Мне довелось побывать в этих приграничных местах через тридцать лет после поездки писательской бригады. В колхозы я, правда, не заезжал, ибо приехал выступать в погранвойсках. Зато пожил на заставе, познакомился с ее людьми.

Как раз в то время здесь, на границе, произошла боевая стычка с контрабандистами. Сами герои этой схватки отбыли в те дни в Москву получать правительственные награды. К сожалению, мне не удалось их видеть. Но зато об этом событии было много разговоров на заставе, а в солдатском клубе висел еще и типографским способом отпечатанный плакат с благодарностью героям председателя Комитета государственной безопасности, а ниже шло изложение самого боя, который вели трое пограничников.

Я не люблю описывать то, чего не видел сам. И поэтому предоставляю слово безымянному автору плаката, рассказывающего о боевых действиях воинов, примечательных уже по одному тому, что в их мужестве проявились те черты героической нравственности, которую не раз наблюдали и неоднократно описывали еще в тридцатые годы и Тихонов, и Луговской.

«...На выбранный на охрану участок государственной границы капитан Владимир Викторович Астафьев с рядовыми Михаилом Родионовичем Войтом и Жигловым Михаилом Федоровичем прибыли как раз в тот момент, когда стало уже смеркаться. От небольшой шумной пограничной речушки потянуло холодом. С каждой минутой небо все больше и больше чернело. Наступала ночь.

...Но вот тишина нарушилась. Ее разорвал как-то сразу

внезапный шакалий вой, похожий больше на плач маленького ребенка. За рекою, в поселке, лениво забрехали разбуженные собаки. Потом снова все стихло, но ненадолго. Начальник заставы едва различал какой-то неясный шум, похожий на стук конских копыт по твердому грунту. Спачала он подумал, что это кони перебирают ногами. Но нет. Ветерок, дунувший в лицо, донес до слуха уже более четкий стук копыт.

— Товарищ капитан, никак кто-то на конях едет,— прошептал Жиглов.

— Слышу,— прошептал и кивком головы подтвердил Астафьев и, подвинувшись ближе к солдату, приказал:— Быстро предупредите Войта. Пусть подготовится. Идите.

— Есть! — неслышною тенью метнулся Жиглов к товарищу.

А звук цокающих копыт становился все отчетливее, все явственнее. Капитан Астафьев вскинул к глазам бинокль. В его окулярах он сразу же заметил группу всадников. Их кони, тяжело нагруженные какими-то мешками, шли тяжелой мелкой рысью. В руках у неизвестных начальник заставы увидел вскинутые на изготовку карабины...

...Вот уже передний нарушитель проезжал мимо замаскировавшихся капитана Астафьева и рядового Жиглова. В нос пограничникам ударил терпкий запах конского пота. Совсем рядом от воинов проехал второй, третий. Убедившись, что больше никого уже сзади нет, капитан скомандовал:

— Стой, руки вверх! Бросай оружие!

Ехавший последним нарушитель, быстро повернувшись в седле, выкинул вперед ствол карабина. Прогремел выстрел. Над головой капитана взвизгнула пуля. Но офицер был спокоен. Отскочив в сторону, он нажал на спусковой крючок автомата. Короткая очередь. Нелепо взмахнув руками, бандит приподнялся на стременах и перелетел через голову своей лошади. А та, освободившись от седока, рванулась в сторону и понеслась по лощине полным наметом.

А бой нарастал. Ошеломленные внезапным окликом пограничников, бандиты открыли огонь. Били наугад, больше по кустам, а сами, нахлестывая коней, мчались все вперед и вперед, стараясь проскочить опасное место.

...Услышав оклик капитана, а затем перестрелку, Войт приготовился к бою. Подпустив как можно ближе врага, Михаил Войт дал из автомата короткую очередь, за нею вторую, третью. Услышал, как дико заржал подстреленный

конь, ойкнул в предсмертном крике бандит и тяжело рухнул на землю вместе с конем.

Но сколько их? Может быть, уже спешат на помощь своим другие вооруженные бандиты? Нужно предупредить заставу. Мешкать нельзя ни минуты. И капитан принимает решение послать с устным донесением рядового Жиглова.

Маскируясь среди камней и зарослей гребенчука, Михаил Жиглов бросился к коням, но их на месте не оказалось.

— Давай, Миша, жми без коней. Их нельзя здесь держать, бандиты бы всех поколотили, и я отпустил...— так сказал своему другу рядовой Войт.

И Жиглов, выполняя приказ командира, бросился бежать на пост, до которого не так уж мало — двенадцать километров...»

Далее в плакате рассказывалось о том, как Михаил Жиглов прибежал на пост, оттуда передали на заставу о происшествии, заставу поднимают «в ружье», и пограничники на автомашине на предельной скорости мчатся в горы. По бокам дороги с одной стороны — отвесные скалы, с другой — головокружительные обрывы. Свернул чуть в сторону — и поминай как звали!

«Кто бы мог подумать, что шофер Гвоздев,— говорилось в плакате,— на своей машине ночью сможет за тридцать минут доехать от заставы до наряда капитана Астафьева. Это по кручам, обрывам, страшным ущельям. Ведь даже днем, да при хорошей езде (разумеется, с мерами предосторожности) это расстояние водители проходят на машинах за час сорок, минимум — за час двадцать минут. А тут ночью, и всего за... полчаса...»

Я смотрел на портреты этих трех воинов, помещенные на плакате под крупным заголовком «Они совершили подвиг».

Вот офицер Астафьев — он старше других: уверенный взгляд из-под густых темных бровей, волевое лицо. Застенчиво улыбающийся Жиглов, добродушный Войт с резко очерченной линией рта и словно бы еще по-детски припухлыми губами. Сознавали ли они в бою, что совершают подвиг? Скорее всего — нет, потому что и думать-то об этом у них не было времени. Кто был на фронте, ходил в атаки, тот знает, что в бою все делается по большей части рефлекторно, под воздействием мгновенно срабатывающих рефлексов, что длительным раздумьям тут вообще нет места. Но для того чтобы уверенно делалась ратная работа, чтобы совершался подвиг, нужны долгая нравственная подготовка,

воспитание души. Солдат должен быть знаком с силою и благородством дружбы, славного войскового товарищества, честности, исполнения своего долга.

Когда я жил с товарищами Астафьева, Жиглова и Войта на заставе, днем мучился от жары, ночью с трудом засыпал, и только под открытым небом, как и солдаты, которые выносят под тень деревьев свои кровати, когда узнавал многие подробности боевой жизни, мне попалась книжка «Пограничники Туркмении», изданная политотделом Туркменского пограничного округа. Там было собрано множество эпизодов боевой работы пограничников, и все они могли быть названы героическими, безо всякого преувеличения, и каждый мог послужить фабулой для интересного рассказа.

Книга эта издана, так сказать, для внутреннего пользования, как боевое наставление для солдат, как подспорье в их боевой и политической учебе. Я заметил там даже гриф: «Из части не выносить». Поэтому, поверьте на слово, пограничники Туркменистана — «работники границ», как сказал бы Владимир Луговской, как и в тридцатые годы, изо дня в день, из года в год, из десятилетия в десятилетие, в песках, где водные источники порою расположены на большом расстоянии друг от друга, в условиях бездорожья, жары, нередко доходящей до... 70 градусов, мужественно, умело, неустанно выполняют свой долг перед Родиной.

5. МНОГООБРАЗЕН, КАК ЖИЗНЬ

В кратком вступлении к книге «Кочевники» Николай Тихонов сделал попытку определить особенности своей работы, а заодно и те принципы художественного освоения действительности в жанре очерка, которые были ему тогда близки.

«...Эти очерки, написанные без всякой примеси вымысла, без всякой игры воображения, заключают в себе одни сухие факты, потому что пришло время, когда советский Восток, сбросив покрывало легендарной косности, так же по-деловому вступил на путь завоевания социализма, как и остальные территории Советского Союза. Картины изменяющегося быта, борьба с дикостью первобытного кочевья, процесс перерождения кочевника заслуживают самого пристального внимания».

Комментируя это вступление в своей книге «Творчество Николая Тихонова», И. Л. Гринберг замечает:

«Уверенно поставленное «потому что» в действительно-

сти не имеет никакого основания. Правдивый рассказ о социалистической перестройке советского Востока вовсе не предполагал сухости, «наготы» изложения. Точная обрисовка картин изменяющегося быта отнюдь не требовала у художника отказа от игры воображения. Иными словами, верность фактам ни в малой мере не была «противопоказана» художественному обобщению. Напротив!»

И далее критик показывает в своем разборе, что эти декларативные обещания художника вовсе и не были им выполнены. «Кочевники» и стали выдающимся литературным явлением той поры именно потому, что, запечатлев драгоценные факты новизны, книга обрела черты широких сопоставлений, обобщений, яркой живописи словом и поэтичности изображения жизни.

Теория здесь, как говорится, разошлась с практикой, и это примечательно. Николай Тихонов не мог не видеть, как подчас добросовестные, но бескрылые описания, наполненные к тому же отвлеченной риторикой, были далеки и от жизни, и от искусства, не могли служить надежным подспорьем в решении сложных художественных задач.

Тихонов был ярым врагом верхоглядства и поверхностности, в очерках требовал сугубо литературного внимания к приметам новой жизни и зло высмеивал ситуации, когда «каждый набегающий в колхоз литератор в первую голову не наблюдает, а берет готовую схему из собственной головы, где бродит трактор с большой буквы и больше ничего».

Но вместе с тем, думается, поучителен и интересен сегодняшним мастерам очерка ретроспективный взгляд на декларативные воззрения, на художественную практику писателей тридцатых годов. Ведь тяга к подчеркнуто строгой документальности, деловитости, порою даже к сжатости и сухости была весьма характерна и для очеркового мышления других участников «первой ударной». И сочеталась в то же время с высоким поэтизмом по отношению к жанру, на который литература возлагала тогда большие надежды.

В своем очерке «Кстати о жанре» Петр Павленко на примере своего туркменского опыта так рассуждал о перспективах развития очерка.

Художественный очерк, как замечал Петр Павленко, вырастает «в одну из наиболее сложных, наиболее монументальных форм». Это объясняется стремлением «выйти из недр своей творческой лаборатории и превратиться из делателя героев в делателя живых событий, чтобы самому участвовать в сотворенных им процессах жизни».

Разве не тождественны по идее, по главному своему пафосу эти устремления писателей из «первой ударной» с нашим сегодняшним постоянным желанием стать ближе к жизни, активно вторгаться в ее проблемы и заботы!

Признаться, давно уже ведется этот спор о взаимоотношениях факта и вымысла, о месте и значении очерка-обобщения и так называемого «фотографического», с адресом и подлинной фамилией героя.

Интересно, что Павленко в тридцатые годы именно с очерковым жанром связывал «охоту рискнуть и написать о человеке в лицо, в глаза, назвав имя, отчество, адрес».

«Манера изменять имя героя — она уже отживает»,— подчеркивал Павленко и относил это не только к очерку, но и к художественной литературе в целом.

«Мне, например, мыслится,— говорил Павленко в той же статье,— что всегдашней мечтою старых литератур было приобретение прав писать людей с их настоящими адресами, чтобы читатель мог разыскать их через адресный стол».

Однако совершенно очевидно, что требование отказаться от всякого художественного вымысла в прозе означало, по сути дела, требование вообще отказаться от всякого творчества.

Но как Николай Тихонов, так и Петр Павленко, к счастью, были далеки от следования этой лефовской рецептуре в своем творчестве.

Что же касается проблемы фактографичности в жанре очерка, то она безусловно имеет важное значение для художественной практики. И здесь, как мне представляется, меру фактов и меру вымысла дозирует сам писатель в соответствии с правдою ситуации или характера. Только при этом надо всегда помнить о том, и это остро чувствовали в свое время и Тихонов и Павленко, что очерк исторически возник в нашей литературе как потребность в художественной летописи современности, как ответ литературы на множество совершенно конкретных, изумительных по своему новаторству фактов строительства новой жизни, как желание народа увидеть под пером художника-публициста портрет реальных творцов этой жизни, разобраться в сложных противоречиях действительности.

Я думаю, что правомерны любые обобщения, можно менять фамилии, если это необходимо, но нельзя забывать при этом, что читателю отнюдь не безразлично, о ком все-таки идет в очерке речь, реальный ли это человек во всей совокупности его деяний или же плод авторского обобщения.

Не надо упускать из виду и громадной силы впечатления именно от совершенно реальных событий или обаяния конкретной личности, будь то ученый, генерал, рабочий, колхозник или космонавт.

Как-то так получалось, что я в своей работе очеркиста, публициста, за редким исключением, не менял фамилии героев. В конце концов, форма диктуется внутренней потребностью жизненного материала. Сюда же, думается, относится и право выбора точной фактографии или же «раздокументированного» обобщения.

Во времена «Кочевников» малоисследованные проблемы очеркового жанра занимали не только профессиональных очеркистов. Они выходили на уровень общелитературных забот. Высокая оценка М. Горьким очерка, в котором искусство слова успешно служит делу познания жизни, поставило этот жанр на многие годы в фокус общественного внимания.

«Широкий поток очерков — явление, какого еще не было в нашей литературе. Никогда и нигде важнейшее дело познания своей страны не развивалось так быстро и в такой удачной форме, как это совершается у нас...» — писал Горький в своей статье «О литературе».

Там же Алексей Максимович уверенно и энергично поддержал поток этой работы очеркистов, эту тенденцию в литературе, в частности выделил очерковое произведение о Туркмении Николая Тихонова.

«Молодая наша литература выдвинула из своей среды группу талантливых «очеркистов», и они постепенно придают очерку формы высокого искусства. «Туркменские записи» талантливейшего поэта и прозаика Н. Тихонова — это очерк и это подлинное искусство изображения жизни словом».

Николай Семенович Тихонов в тридцатые годы сам не только целиком разделял мысли и оценки М. Горького, но и не раз выступал как один из убежденных пропагандистов очеркизма. Он видел в этом жанре не только многие художнические возможности для изображения быстро меняющейся действительности, но и прочный плацдарм для отчетливого выражения своей гражданственной позиции.

«Мировоззрение должно выражаться в очерке с наибольшей силою»,— писал он в статье «Темы, ждущие писателей».

В Ленинграде, выступая в те годы на одной из дискус-

сий, Тихонов высоко поднял значение и общественную значимость этого боевого жанра:

«Я хочу специально говорить об очерке, чтобы показать, что это одно из замечательных орудий... Его экономическая сила очень велика. Он может включить пейзаж и все... Очерк должен быть молодым, как и сама эпоха («Нет произведения без политики»)».

«Экономическая сила»! Это сформулировано смело и, я бы сказал, для тех времен — новаторски. Впрочем, об экономической силе очерков и художественной публицистики и по сей день идут споры.

Переводя это выражение на терминологический язык наших дней, можно сказать, что Тихонов, опираясь на свою практику очеркиста и далеко смотря вперед, верно предугадал перспективу той разновидности развития жанра, которую сейчас именуют проблемным очерком.

Менялась жизнь, развивались литературные жанры. И если, говоря об очерке, бросить сейчас взгляд не только на последние годы, но и на всю дистанцию времени, отделяющую нас от «Кочевников» Николая Тихонова, то можно отметить, на мой взгляд, две особенности, сосуществующие во времени и в единстве отнюдь не антагонистическом.

С одной стороны, это все растущая многоплановость очерковых и публицистических произведений, все расширяющийся объем жанровых характеристик. Недаром говорят, что современный советский очерк богат, интересен и разнообразен, как сама жизнь, его порождающая. А с другой стороны — отчетливо идущая специализация очеркистов и публицистов по тем сферам деятельности, которые они с особым пристрастием изучают. Пожалуй, отсюда пошла условная тематическая классификация этих произведений, как относящихся к теме рабочей, деревенской, международной или нравственно-этической.

Классификация эта условна, а специализация явление реальное, обусловленное главным образом разветвленностью и сложностью самих жизненных процессов, требующих постоянного, глубокого и многолетнего наблюдения.

И поэтому вряд ли можно представить себе ныне хорошее очерковое произведение, начисто лишенное социальной или психологической проблематики и в связи с этим выраженной гражданственной позиции автора.

Проблемное направление, если можно так выразиться, «вышло из Овечкина», а если иметь в виду более ранних предшественников, то это тот же Николай Тихонов и Ма-

риэтта Шагинян, Борис Агапов, Александр Бек, Борис Галин.

Известен уже почти классический пример того, как в послевоенные годы в очерке М. Шагинян был оспорен один из вариантов строительства железной дороги на Урале и предложен другой, более целесообразный.

Проблемная публицистика наших дней почти во всех своих аспектах сопрягается с задачами научно-технического прогресса. НТР во многом формирует и новую природу конфликтов в сфере труда. Это конфликты знания и незнания, стилей и методов работы, руководства нашим хозяйственным строительством, конфликты компетентности и некомпетентности в новых условиях жизни. В большинстве своем это конфликты нравственного плана, если даже они облачены в одежды технических или технологических столкновений.

И поэтому мы так часто видим в хороших проблемных очерках наших дней исследование деловых страстей, сложных, неоднозначных эмоций, психологических задач и проблем, порожденных большими проблемами и заботами современной народной жизни.

Конечно, очерк в своем развитии далеко ушел вперед со времен «Кочевников». Новые времена выдвинули и новые задачи. Но не уходили в песок и многие ценные традиции и достижения жанра в пору тридцатых годов. И среди них всегда присущее очерку острое чувство современности. Высоко ценивший достоверность жизненных реалий, Николай Тихонов понимал, как важно, чтобы очерковое произведение верно отвечало духу времени.

«Разведка боем» — это определение сущности очерка родилось не в наши дни, а еще в тридцатые годы. И в самом деле: очеркист, публицист — это всегда разведчик нового. И уже одно это требует от очерка всегда свежести материала, пусть малого, но всякий раз своего открытия, предполагает новые ракурсы в освещении удивительного богатства жизни.

К этому следует добавить, что «разведка боем» предполагает еще и постоянную заботу о качестве, о художественности очерковой литературы. Еще в тридцатые годы Тихонов выступал против конвейерных поставок в литературу сырого, стандартного материала. Сам он стремился найти новые формы очерка, насытить его содержание, обогатить метафорически и предстать перед читателем не только че-

ловеком, собирающим факты, но и умеющим их глубоко анализировать.

Зоркость писательского видения мира и проблема качества в очерке как бы взаимопроникающи. Качество здесь — категория не только чисто литературная. Я бы сказал еще — и мировоззренческая. Нельзя хорошо писать о современности без умения увидеть, оценить качественно новые явления самой жизни. Несомненно и ныне общепризнано, а к этому выводу внутренне подходил и Николай Тихонов в тридцатые годы, что очерковая литература живет по тем же законам типизации, но, в отличие от беллетристики, где образ — это всегда нечто собирательное, художественно-документальная литература ищет обобщение, как бы уже данное самой жизнью, собранное в конкретной человеческой личности, в реальных событиях, фактах и характерах.

6. В РАЗНЫЕ ГОДЫ

Мои встречи с Николаем Семеновичем были немногочисленны, о чем с болью душевной сожалею сейчас и не нахожу оправдания тому чувству застенчивости, а точнее, естественной робости перед именем Тихонова, которое помешало мне в свое время «напроситься» на личное свидание с ним дома, на пространный разговор о туркменской поездке. Удерживало меня от этого еще и отчетливое представление о той громадной загруженности творческими, общественными, государственными делами, которая сопровождала Николая Семеновича до последнего часа.

И тем не менее мы встречались и разговаривали, или же я слушал и видел Николая Семеновича на различных совещаниях, пленумах и вечерах в Центральном Доме литераторов.

Признаться честно, меня поддерживали и душевно окрыляли в эти минуты не только, естественно, наш взаимный интерес к теме, связанной с Туркменией, но и мое увлечение творчеством Тихонова, да еще и та оценка глав из одной моей книги о войне, которые Николай Семенович прочел и в том же письме, где рассказывалось о моем отце, написал мне следующее:

«...Спасибо Вам за доброе слово о моих очерках. Я знаком и с Вашими работами. И особенно мне понравились главы из Вашей новой книги, напечатанные в журнале «Москва», под названием «Берлинская тетрадь». Там же сооб-

щалось, что книга Ваша уже приготовлена для печати. Должен сказать, что Ваши рассказы произвели на меня большое впечатление. Все очень живо, живописно, умно и точно... Я люблю, когда описания картинны, а люди показываются без ложного пафоса, без налета того мрачного скепсиса, без нагромождения ужасов, бессмысленных гибелей и прочего, что переполняет многие произведения о войне последнего времени.

У Вас хороший язык, широкое повествование, видишь и людей наших в последней битве за Берлин, и сам город, охваченный небывалой бурей истребления.

Я бы очень просил Вас, когда выйдет Ваша книга, подарить мне один экземпляр на доброе чтение. А если она выйдет не скоро и Вы будете печатать еще отдельные главы, то я с удовольствием буду их читать по мере напечатания.

Желаю Вам всего доброго

Н. Тихонов».

Я привожу здесь отрывок из письма ко мне Николая Семеновича, а также мои дневниковые записи в разные годы, потому что уверен — любая крупица достоверных воспоминаний, слово, мысль, им оброненная, живая сценка общений с писателями, читателями,— все, буквально все, интересно, поучительно, все ложится в образ человека поистине легендарной судьбы, обогащает историю советской литературы.

26 марта 1968 года в ЦДЛ проводился большой литературный вечер, посвященный столетию со дня рождения А. М. Горького. Председательствовал на вечере А. Чаковский. Николай Семенович поднялся по крутой, как корабельный мостик, лестнице, ведущей в хорошо известную писателям комнату за сценою, где всегда минут за десять — пятнадцать до начала собираются те, кому предстоит выступать, чтобы договориться о порядке ведения вечера, регламенте и т. д.

Увидев знакомую фигуру уверенно шагавшего по вестибюлю Малого зала и всегда высоко поднятую красивую, седую, молодую голову Николая Семеновича, я тоже поднялся вслед за ним по этой лестнице, чтобы поздороваться и в надежде на несколько минут мимолетной беседы.

Помню, что в комнате в креслах вдоль стен и на стульях около продолговатого стола тогда находилось немного лю-

дей: художник М. Куприянов (Кукрыниксы), покойные ныне И. Нович, И. Рахилло, Б. Галин, позже подошло много других писателей старшего поколения, лично знавших и встречавшихся с М. Горьким

Приехал А. Чаковский и поздоровался с пожилой полной женщиной с высокой прической седых волос, все еще статной, красивой, и я бы сказал еще — величественной. Это была Мария Игнатьевна Будберг, хорошо знавшая А. М. Горького и прилетевшая из Англии на эти юбилейные торжества.

Пришел и еще один запомнившийся мне высокий худой человек с острыми чертами лица и щеками, словно бы срезанными бритвою. Это был знаменитый в свое время полярный летчик Чудновский, встречавшийся с М. Горьким.

Я подсел к Николаю Семеновичу, напомнил о себе, он сказал: «Как же, как же!» — и полуобнял меня за плечи. Я еще раз поблагодарил Николая Семеновича за письмо ко мне, за добрые слова о моем отце, и разговор наш сразу соскользнул на тему, связанную с туркменской поездкою тридцатых годов.

«Перечитайте моих «Кочевников»,— сказал мне тогда Николай Семенович.— Мы тогда, по сути дела, объехали всю Туркмению, и каждый что-то написал, каждый вынашивал свою тему, которая ему была ближе других. Надо сказать, что поездка для нас была трудная. Донимала адская жара. Некоторые наши товарищи до этого не делали больших переходов верхом и страдали от долгого пути по пескам пустыни. Кроме того, мы на каюке одолели бурную Амударью и проплыли на крошечном суденышке от Керков до Чарджоу.

В общем, работали мы в трудных условиях, ибо к тому же нас окружала еще и сложная военная обстановка. Главным образом по ту сторону границы, в Афганском Туркестане. Отчетливо помню,— заметил Николай Семенович,— вот такой полусерьезный, полушутливый разговор с вашим отцом, который напутствовал нас в поездку вдоль границы.

— Ну, что мы им покажем, Герат? — спросил ваш папа у одного из военных, который его сопровождал.

Мои спутники в то время, видимо, не сразу сообразили, где находится Герат,— продолжал Тихонов,— но я-то знал, что это в Афганистане. Ваш папа сказал тогда писателям: «Я там хозяин, сколько вас человек? Шесть. Многовато. Вот если бы двое. А то могут быть осложнения».

Что таилось за всем этим? Как я понял Николая Семе-

новича, в то весьма неустойчивое в политическом отношении время в приграничных районах, где вооруженную борьбу с Баче-Сакао вел Надир-хан, провозгласивший себя падишахом в Кабуле осенью 1929 года, в город Герат, видимо, сравнительно легко было проникнуть. Возможно, там находились какие-то люди, которых знал отец, возможно, что он и сам бывал там и хотел увлечь возможностью такой поездки и писателей. Однако тут же передумал, не решаясь подвергать писателей какому-либо риску.

— В общем, в Герат мы не попали, но, наверно, это и к лучшему. Но и в пустыне, вдоль границы, нас ожидало множество ярчайших впечатлений,— говорил Николай Семенович.— Это было время нашей молодости, и годы давно скрыли те дни, когда все было иным. Мы выросли, состарились. От нашей бригады туркменской остались сегодня только два человека — Леонид Леонов да я. Уже тогда мы видели, что делаем нужное дело. Дальше жизнь поставила перед нами другие задачи. У каждого был свой путь.

Я сидел рядом с Николаем Семеновичем, внимательно слушал его, и, признаться, куда больше, чем этот странноватый разговор с моим отцом о Герате, который все-таки больше воспринимался как шутка, меня удивляло то молодое воодушевление, тот горячий душевный запал, с каким 74-летний Тихонов вспоминал в тот вечер об этой давней поездке.

Живой блеск его глаз, одушевление запечатлел фотограф ЦДЛ, снявший Николая Семеновича и меня во время беседы. Этот дорогой мне снимок и сейчас стоит у меня под стеклом, на книжной полке, рядом с томами Тихонова. Стоит и напоминает о том, что душа поэта не старела даже и тогда, когда он уже начинал чувствовать тяжесть лет и, по его словам, «уже не мог легко преодолевать пространства». Душа его не умела равнодушно жить...

...14 июня 1969 года мне довелось присутствовать на очень интересной встрече в Дубовом зале нашего клуба с Первым секретарем ВРСП Яношем Кадаром. Он выступал с двумя переводчиками, которые сменяли друг друга, ибо говорил Янош Кадар два часа без подготовленного текста. Это была касавшаяся многих проблем — и международных, и внутренних, и взаимоотношений партии с писателями — непринужденная, искренняя, расцвеченная мягким юмором, доверительная беседа с литераторами.

В частности, Янош Кадар говорил о том, что взаимоотношения Венгерской социалистической рабочей партии с

творческой интеллигенцией обретают все больше и больше черты гармонии, ибо партия старается писателям не приказывать, а только убеждать их, но неустанно, пока не согласятся с правотой партии.

— Писать трудно,— заметил Янош Кадар,— не случайно человек научился сначала говорить, а потом уж писать. Я по себе знаю, что говорить, даже хорошо говорить, легче, чем писать. И вообще,— заметил товарищ Кадар,— никто в Венгрии не диктует писателям, каким стилем им писать. Хорош любой стиль, лишь бы произведение было за социализм.

Первым от имени писателей выступил на этой встрече «наш старейшина», как назвал Николая Семеновича председательствовавший тогдашний парторг МГК КПСС в Московской писательской организации Аркадий Николаевич Васильев.

Николай Семенович неоднократно бывал в Венгрии, и он начал свою речь с рассказа о встречах с теми своими венгерскими друзьями, которые, так же как и он, были участниками еще гражданской войны.

И Николай Семенович сказал дословно следующее:

«...Мы были просто солдатами, маленькими людьми, но как это связывает, как приятно об этом вспоминать».

И далее Николай Семенович говорил о давних венгеро-русских литературных связях.

«Близость, все более растущая,— точнее и трудно определить сущность отношений между нами, между нашими культурами и литературами. Венгерская поэзия близка и дорога моему сердцу, так же как и русское художественное слово близко и дорого моим венгерским собратьям по перу».

Слово Тихонова далее было посвящено дружбе народов, крепнущему чувству интернационализма и тому, с каким пристрастным вниманием следят в нашей стране за жизнью братской социалистической Венгрии, за развитием литературы.

Николай Семенович вспомнил и о том, что не раз выступал в качестве переводчика вместе с Н. Заболоцким, Б. Пастернаком, М. Исаковским, Н. Чуковским и Д. Самойловым, помогал созданию антологии венгерской поэзии и четырехтомника Петёфи.

А в заключение поблагодарил товарища Яноша Кадара за прекрасное выступление, насыщенное подлинным народным венгерским юмором и умом.

Помню, как тогда был сделан снимок президиума этой

встречи, а вскоре и опубликован в «Литературной газете». На снимке: первый секретарь МГК КПСС тов. Виктор Васильевич Гришин, Янош Кадар, Аркадий Николаевич Васильев, Леонид Сергеевич Соболев. В президиуме был и Николай Семенович Тихонов.

Фотография эта была тут же изготовлена и подарена Яношу Кадару, причем на оборотной ее стороне расписались присутствующие на этой встрече писатели. На память. Увы! Многих из них уже нет с нами, и фотография действительно осталась в моем альбоме как память об этой замечательной встрече.

Помнится, что Янош Кадар и после общей беседы долго еще сидел за столом рядом с Николаем Семеновичем, другими писателями. Они дружески беседовали, как говорится, «о жизни и о литературе», о том, как много могут сделать люди доброй воли, о том, что и сама возможность художественного творчества стоит в прямой связи с деятельностью защитников мира, среди которых одним из правофланговых долгие годы был Николай Семенович Тихонов...

...27 июня 1971 года в Доме союзов состоялся вечер поэзии, посвященный 70-летию со дня рождения Владимира Александровича Луговского. Особенность этого вечера заключалась в том, что празднование проводилось буквально за два дня до открытия Пятого Всесоюзного съезда писателей. Поэтому и чествование Луговского выходило из ряда обычных поэтических мероприятий, приобретя характер значительного события.

Предсъездовский, приподнятый характер этого вечера ощущался во многом. В какой-то особой торжественности, соединенной с деловым и серьезно аналитическим разговором о творчестве Луговского. В том, что почти каждый оратор так или иначе расширял рамки своих размышлений о поэте, выводя их на уровень больших литературных забот и задач предстоящего всесоюзного форума писателей.

В том еще, быть может, особом, предсъездовском внимании читателей к поэзии Луговского и к тому, что о нем говорили его соратники и товарищи.

Был до отказа заполнен зал, чутко внимающий поэтическому слову и с интересом разглядывающий известных поэтов: Сергея Наровчатова, Роберта Рождественского, Александра Межирова, Андрея Вознесенского, Сергея Васильева, Евгения Долматовского и других. Председательст-

вовал на вечере Константин Симонов. Вступительное слово произнес Николай Тихонов.

Конечно, я не помню всего, о чем он говорил. Остались в памяти лишь самые важные мысли о творчестве Луговского как поэта революции, как певца национальных окраин, показавшего в своем творчестве нового человека социализма.

Тихонов говорил о Луговском тепло и взволнованно, как о своем старом друге, с которым вместе много пережито и много пройдено дорог в жизни и в искусстве.

Естественно, что Тихонов упомянул и Туркмению. Есть в его очерке «Невиданная весна» несколько ярких страниц о совместных странствиях с Луговским по пустыне.

«Володя Луговской наслаждался радостью бытия. Он встречал прекрасных людей, талантливых, интересных строителей пустыни и весны. Он пел на вечерах свои и чужие широко известные песни. Его голос гремел по всей Туркмении. Наша бригада,— писал Тихонов,— вносила некоторое оживление в быт тогда далекой окраины, только что начавшей свое преобразование, свое превращение в передовую советскую республику...»

У Луговского большая поэтическая судьба. Сложный путь в искусстве. Его литературное наследие содержательно, богато. И каждый из выступавших тогда на вечере касался той или иной грани его многопланового творчества. А затем читал стихотворение Луговского, одно или два своих, посвященных поэту или же каким-то образом с ним связанных.

И почти все ораторы вспоминали о том, каким красивым и духовно богатым был Луговской, как был добр к людям, к поэтам, как помогал многим молодым. Александр Межиров, говоря об оригинальности дарования Луговского, заметил, что «гул поэтический был у Луговского свой, а не заемный ни у Маяковского, ни у Пастернака, ни у Тихонова».

Хорошо помню, как К. Симонов прочел сначала те свои стихи, которые, как он сказал, «очень нравились Луговскому». Это было стихотворение о генерале Лукаче, герое испанской революции. А потом Симонов читал свои стихи о войне, и в одном из них говорилось о том, что к нему, Симонову, идут и идут письма с просьбою ответить, какова судьба того или иного героя, хотя в своих военных романах фамилии подлинных героев он меняет на вымышленные.

— О чем это говорит? — спросил аудиторию Симонов. И ответил сам: — Да о том, дорогие товарищи, что на любую фамилию в книгах о войне находится кто-то, кто разыскива-

ет отца, мужа, брата, близкого и дорогого человека. Как же велика та цена, которой народ заплатил за победу!

Относилось ли это наблюдение к поэзии Луговского? Безусловно. Потому, что мысли о войне, о потерях, о мужестве человеческого сердца были кровно близки и поэтическому мировоззрению Владимира Александровича. Они были очень близки по духу и тому, как выразился Сергей Наровчатов, «паспортному стихотворению Луговского», которое Наровчатов и прочитал. Я имею в виду «Песню о ветре».

В очерках «Невиданная весна» Тихонов писал:

«Ветер! Ветер — любимый образ Луговского. Мы начали туркменское путешествие, и с самого начала на вечерах Луговской много и хорошо читал свою «Песню о ветре». «Ветер, брат моей жизни»,— напишет он впоследствии. И про это ущелье он скажет: «По этой дороге теплых ветров...»

Мне тоже доводилось не раз слышать Луговского, и трудно забыть голос поэта, читающего стихи. Сказать, что у него был мощный бас, трубно гремевший,— этого мало. Голос Луговского имел много и эмоциональных диапазонов, в нем скрывались таинства полифонии, казалось, он один может звучать как своего рода оркестр:

Итак, начинается песня о ветре,
О ветре, обутом в солдатские гетры,
О гетрах, идущих дорогой войны,
О войнах, которым стихи не нужны.

Наверное, не я один задумывался над поэтическою силою этого стихотворения, с таким успехом выдержавшего испытание временем, над истоками его популярности.

Должно быть, разгадка в том особом песенном ладе этой «Песни о ветре», запечатлевшем и богатство, и характерные черты народных, солдатских песен времен гражданской войны, в эмоциональной, я бы сказал, эпохальной широте, исторической емкости этого небольшого сравнительно стихотворения, объемлющего и героику, и драму классовых боев, глубокие раздумья о судьбах России.

Есть в нем и «тяговая» сила маршевой песни, ее упругая энергия и вместе с тем мелодичность, веселящая душу в трудном походе. А какое раздолье, дерзость, революционный размах струится от этих строф:

Идет эта песня, ногам помогая,
Качая штыки по следам Улагая,
То чешской, то польской, то русскою речью —
За Волгу, за Дон, за Урал, в Семиречье.

Это отметил и Сергей Наровчатов. Он прочитал затем два своих «паспортных стихотворения» — «Костер» и «За советскую власть».

И то, что Наровчатов говорил о поэте в день семидесятилетия, перекликалось с теми давними наблюдениями тридцатых годов, которые прозорливо сделал Тихонов в своем очерке о Луговском, с той высказанной так давно уверенностью: Владимир Луговской останется верен идеалам своей юности, идеям Революции, он обязательно вернется в Туркмению.

«...Азия вошла в него, на ее зов он бросился без раздумий!»

Естественно, что и после семьдесят первого года я не раз и видел и слушал Николая Семеновича Тихонова на наших пленумах, юбилеях, собраниях. Разве можно перечислить все доклады, которые он сделал, все его речи, выступления, участие в торжественных и деловых заседаниях, где неизменно звучало всегда принципиальное и пристрастное, тонкое, умное, обогащенное огромным опытом и плодотворными мыслями слово Тихонова.

Мне запомнился Николай Семенович, открывший в июле 1973 года своим вступительным словом торжественный вечер в помещении Театра имени Моссовета, посвященный 80-летию В. В. Маяковского. Доклад на этом вечере делал С. С. Наровчатов.

Уж наверно Николаю Семеновичу вспомнилась тогда отступившая на дистанцию в... сорок три года та давняя бессонная оилотанская ночь в Туркмении, мысли о Маяковском — поэте Революции, о суровом времени, движении истории и литературы.

Через несколько дней я встретил Николая Семеновича на выставке «20 лет работы Маяковского», возобновленной к восьмидесятилетию со дня рождения поэта. Выставка впервые открылась 1 февраля 1930 года в тогдашнем клубе ФОСПа — Федерации объединений советских писателей, предоставившей Маяковскому это помещение. Возобновлена в теперешнем здании Союза писателей СССР, в конференц-зале и комнате рядом с ним.

Там, где я увидел Николая Семеновича, на выходе с лестницы, в начале вестибюля, примыкающего к конференц-

залу, стоял и Маяковский в тридцатом году и встречал первых посетителей своей выставки.

Маяковский был не только великим поэтом, но и талантливым художником. Он сам придумал, какой должна быть его выставка, сам делал ее, сам решал, где что должно быть, писал тексты плакатов и надписей и часто сам пришпиливал кнопками листки своих рукописей, записок, афиши, фотографии, карикатуры.

Все это летом семьдесят третьего можно было увидеть вновь в доме Союза писателей, в тот жаркий день, когда в комнаты набилось много посетителей и не так-то легко было пробиться к экспонатам.

Выставку открывал К. М. Симонов, и рядом с ним стояли те, кто знали живого Маяковского,— Н. С. Тихонов, А. А. Сурков, Бесо Жгенти, П. И. Лавут, и поэты более молодого поколения — С. В. Михалков, М. К. Луконин, Р. И. Рождественский.

Я слышал в тот день, что пришел на выставку человек с пропуском, подписанным в тридцатом году самим Маяковским.

Талантливейший современник Маяковского, соратник и боец, шагавший с ним в одном строю, Тихонов не мог, конечно, не почтить своим присутствием эту выставку, живо напоминавшую не только самого Маяковского, но и неповторимые черты бурной и сложной литературной эпохи тридцатых годов.

...В следующем году 3 сентября в Колонном зале Дома союзов я слушал доклад Н. С. Тихонова на открытии пленума СП СССР, посвященного 40-летию Первого съезда писателей. Николай Семенович был членом оргкомитета Первого съезда.

Президиум этого пленума был украшен именами славных представителей старой гвардии, именами зачинателей советской литературы — Леонида Леонова, Мариэтты Шагинян, Валентина Катаева, Алексея Суркова.

Михаил Александрович Шолохов прислал телеграмму: «Приветствую стариков-ветеранов 1-го съезда писателей». Константин Александрович Федин, по болезни не принимавший участие в пленуме, тоже прислал приветственную телеграмму.

Старая писательская гвардия встречала сорокалетний юбилей Первого съезда в рабочем строю, в кипении литературных и общественных дел.

Николай Семенович выступал с трибуны этого торжест-

венного пленума не только как писатель, но и как человек, который стоял у истоков всемирного движения сторонников мира. Со дня основания Советского комитета защиты мира он бессменно был его председателем. Николай Семенович был также и почетным президентом Всемирного Совета Мира, был удостоен Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», Золотой медали Мира имени Ф. Жолио-Кюри, премии Всемирного Совета Мира в области культуры, премии имени Джавахарлала Неру.

Тихонов как-то сказал:

«Я участник четырех войн, и поэтому я совершенно уверенно в свое время принял пост председателя Советского комитета защиты мира».

В канун своего 80-летия, в ноябре 1976 года, отвечая на вопросы анкеты, посланной ему редакцией АПН, Николай Семенович, между прочим, написал:

«...Никакого секрета неутомимой энергии у меня нет, да и самой неутомимой энергии тоже нет. Остались старая привычка писательской работы и опыт, добытый десятками лет непрерывного труда во многих областях общественной жизни, да неослабевающее чувство ответственности за сделанное».

И все же, все же, и об этом уж судить не Николаю Семеновичу, удивительная энергия, направленная на общественные, творческие заботы, не оставляла его никогда. По свидетельству Варвары Тихоновой, «последнее, что он писал, что нашли на его столе, было его — депутата — воззвание к избирателям. Вынужденно ограниченный в свершении своих общественных, гражданских дел, а они были безотказно всегда на первом месте, он не прожил ни минуты без поэтического творчества, ни в болезни, ни в больнице, ни на регламентированном «отдыхе».

В одной из своих самых последних публикаций в «Новом мире», в статье, написанной за несколько дней до смерти и посвященной восьмидесятилетию Леонида Леонова, Тихонов заметил:

«...Леонид Леонов встречает юбилей не сгорбленным, отставшим от жизни старцем, который мудро изрекает свои мысли и только полон воспоминаний о давно прошедших временах. Он обладет богатырской созидательной силою, которая с годами не превратила его в ветерана прошлых битв жизни, а наполняет его свежей энергией, и я не сомневаюсь, что мы еще получим удовольствие прочесть его новое

произведение, потому что трудно представить себе его не занятым творческим трудом изо дня в день, а годы не играют особой роли для такого могучего организма...»

Все, что тут взволнованно написал Николай Семенович о старом своем соратнике еще по «первой ударной», все, что сказано о «богатырской созидательной силе», относилось в такой же мере и к нему самому.

Человек откристаллизованной порядочности, Николай Тихонов черпал свое вдохновение в гуще народной жизни. Поистине он был неутомимым трубачом мира в своем замечательном творчестве. И вся жизнь его была ярким примером беззаветного служения литературе, горячо любимой Родине.

7. ЧЕРЕЗ ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ

Встреча с городом детства отзывается в сердце с бо́льшей силою, чем в сознании, чем в мыслях. Отзывается томительным стеснением в груди. В этом чувстве сопряжено многое — и удивительная радость узнавания того, что еще можно узнать, и невольная тоска по ушедшей юности, и отчетливо встающий в памяти весь объем пережитого, перечувствованного за полувековую дистанцию времени, и еще... удивление, да, удивление перед самим фактом такой протяженности твоего бытия, перед сознанием того, что это именно ты, а не кто другой, ходил пятьдесят лет назад по этой земле, по этим камням и траве, видел эти деревья, смотрел на это небо...

Если бы Николай Семенович Тихонов смог в наши дни прилететь в Ашхабад, съездить в так понравившуюся ему Кушку, вновь проехать в пустыню, в горы, я уверен, он испытал бы нечто подобное, но как замечательный поэт, с еще большей остротой и глубиной постижения новых реалий действительности.

Предчувствие будущего неотделимо от поэтического восприятия мира. Оно входит в плоть и в кровь, в саму природу социального оптимизма, которым дышит наша литература. Это предчувствие всегда ярко звучало в творчестве Николая Тихонова.

Смело заглядывая из тридцатых годов в восьмидесятые, Николай Семенович в своих «Кочевниках» решил посмотреть на будущее с... высоты Галеевой кометы, которая в восьмидесятых годах нашего столетия должна пройти над Кушкою.

«Может быть,— писал Тихонов,— она найдет в Кушке узловой пункт (небоскребы, склады, заводы) трансазиатской железной дороги, вагоны с надписями: Париж — Москва — Дели, Ташкент — Герат — Сингапур, увидит громадные станции использования солнечной энергии, огромный канал, пересекающий Каракумы, с барками и электрическими лодками, тучи каракулевых стад, плантации каучуконосов, темные тела дирижаблей, летящих за Гиндукуш,— полный расцвет человеческой жизни...»

Многое из того, что предвидел Тихонов, сбылось. Да и не могло не сбыться. Республика, прошедшая полувековой путь строительства новой жизни, вписала ярчайшие страницы в летопись разительных перемен во всех областях социального, экономического, культурного развития.

Появилось много новых заводов, фабрик, нефтяных и газовых промыслов, научных учреждений, есть и предвиденные Тихоновым станции использования солнечной энергии, вот уже более двадцати пяти лет строится огромный канал, пересекающий Каракумы, вокруг него расцветают новые колхозы и совхозы на жарких землях, получивших живительную воду, бродят тучи каракулевых стад, и в небывалых ранее масштабах возделывается в Туркмении белое золото пустыни — хлопок.

Правда, нигде не строятся небоскребы, даже в столице республики, которая не раз переживала сильные землетрясения, и вместо «дирижаблей, летящих за Гиндукуш», над землею проносятся реактивные лайнеры, а над ними космические спутники.

Современный Ашхабад, по сути дела, выстроен заново после землетрясения 1948 года. Это чистый, красивый и по-южному уютный город. Само время да еще и разрушительная сила подземных толчков начисто вымели из города когда-то преобладавший здесь тип так называемых сырцовых домов с плоскими крышами. Их заменили современные, в большинстве своем типовые трех-четырехэтажные здания с большими лоджиями и балконами, так необходимыми здесь, на жарком юге, где возможность спать на открытом воздухе одновременно едва ли не единственная возможность заснуть вообще, когда температура воздуха ночью немногим уступает дневной.

Нынешние кварталы Ашхабада развивают исторически сложившуюся здесь планировку с учетом того, что при новом строительстве кварталы укрупнялись, улицы расширялись, создавались микрорайоны и зеленые зоны отдыха.

Уроки землетрясений не пропали даром. Общественные здания строятся сейчас с большим запасом, или, как говорят здесь, с высокой сейсмостойкостью. Таковы наиболее впечатляющие своими архитектурными формами здания Совета Министров, университета, Музея изобразительных искусств, гостиниц «Ашхабад» и «Интурист», комплекса зданий Академии наук ТССР.

Весною 1980 года я поселился в гостинице «Туркменистан», в нескольких десятках метров от центральной площади имени Карла Маркса, удивительной во многих отношениях. И если верно то, что архитектура — это застывшая в камне музыка, то на этой площади она звучит ярко, сильно, трогая сердце скорбно-величественным хоралом памяти о войне и одновременно гимном размаху нынешних, как сказал бы Маяковский, «шагов саженьих».

Слово «Ашхабад», как свидетельствует энциклопедия, происходит от арабского «ашк» — любовь и персидского «абад» — город.

Итак, «город любви»! И если есть место, где любовь ашхабадцев к своему городу выражается с наибольшей полнотой, проникновенностью и размахом, так это здесь, на проспекте имени Карла Маркса.

Он широк, я бы сказал даже — величав, выложен в центре большими бетонными плитами, украшен зелеными аллеями и цветниками, квадратными бассейнами и фонтанами, а более всего мемориалом в честь павших в Великой Отечественной войне и светильниками Вечной славы.

У основания бульвара примечательное здание — Государственная республиканская публичная библиотека имени Карла Маркса. Монументальность его сама по себе говорит о богатстве этого обширного книгохранилища, открытого для детей тех самых безграмотных, бывших кочевников пустыни, белуджей и джемшидов, о которых Николай Тихонов писал как о странниках, «гонимых судьбою из страны в страну».

Рядом с библиотекой внушительный бетонный прямоугольник многоэтажного управления Каракумстроя, его бельэтаж, соединяясь с просторным из стекла и металла подъездом, образует прекрасный вход в это деловое здание, монументальность которого удивительным образом сочетается с южной легкостью архитектуры.

Частенько вечером, когда темнело и зажигались повсюду крупные гроздья фонарей, я выходил погулять по этому проспекту, немноголюдному и немноголюдностью привлека-

тельному, с уютно устроившимися парочками в тени деревьев, и, миновав бассейны, фонтаны, попадал под кроны большого парка. В тридцатые годы здесь находился Дом Красной Армии, хорошо памятный мне по землетрясению 1929 года, теперь тут выстроен новый Дом офицеров. Все здесь новое, кроме старых деревьев, они-то — немые свидетели истории, единственно выстоявшие перед всеми испытаниями стихии.

От этого парка недалеко и до другого архитектурного комплекса, о котором Тихонов писал в очерке «Невиданная весна»:

«И памятник великому Ленину в Ашхабаде был тоже необыкновенный. Над высоким каменным квадратом, стены которого были украшены мозаичными коврами и блистающими узорами, похожими на творения древних мастеров, стоял Ленин. В привычной позе, но не в привычном светло-зеленом костюме, весь какой-то весенний и легкий».

Вот таким, сделанным из того состава бронзы, «который сначала светится светло-зеленым, со временем потемнеет, примет другой оттенок и тогда сохранится на века...», памятник стоит в Ашхабаде, не поддавшийся никаким толчкам земли, возвышаясь величественным символом бессмертия.

Сила и непобедимость ленинских идей олицетворяется во всем, чем живет республика сегодня. Памятником великому Ленину, расширенной символикой животворящей дружбы народов является и сам город, возрожденный из праха и руин, его заводы, фабрики, институты, школы, работающая с 1951 года Академия наук ТССР. Там есть уникальный, единственный в СССР Институт пустынь, по идее он близок мечтам Тихонова о преобразовании Каракумов, Институт сейсмостойкого строительства Госстроя ТССР.

Я побывал в те дни еще в одном из институтов академии — языка и литературы, где давно ведется серьезная работа по изучению взаимовлияния и взаимообогащения литератур и культур братских республик. И, в частности, систематизируются материалы, связанные с историей поездки первой писательской бригады в Туркмению.

Сотрудники института работают в тесном контакте с писательской организацией республики и с Домом-музеем Берды Кербабаева, недавно организованным. От улицы Махтумкули до домика Кербабаева не наберется и сотни метров. Эта близость в известной мере тоже символична. Экспонаты музея развертывают перед писателями значительную часть истории всей туркменской литературы советского

периода, неразрывно связанной с социалистическим строительством в республике начиная с двадцатых, тридцатых годов.

В Союз писателей от своей гостиницы, хотя это немного дальше, чем двигаться по прямой, я обычно направлялся по улице имени Фрунзе. Понять меня нетрудно. Ведь именно на этой улице, с тем же, неизменившимся названием, я жил с отцом пятьдесят лет назад.

Это странно волнующее ощущение. Ты как бы смотришь на город, обладая двойным зрением, сквозь даль памяти зримо представляя себе то, что существует отныне лишь в твоем воображении, и видя сегодняшние кварталы, улицы, где, кроме старых деревьев, не сохранилось ровным счетом ничего. Это двойное зрение обостряет чувства. У детства острая, цепкая память.

На той, давней улице моего детства тянулись вдоль тротуаров уныло желтеющие, длиннейшие глиняные дувалы, за которыми зеленели сады. Сколько домов вмещалось на одну улицу? Немного. Сады, дувалы и снова дувалы и сады. И лишь в конце нашей улицы Фрунзе, видный издали, возвышался, казавшийся мне тогда внушительным, Дом Красной Армии.

А теперь я шагал вдоль шеренги современных зданий, и, как всюду в наших городах, то тут, то здесь виднелись строительные краны, магазины чередовались с учреждениями, один магазин — большой Дом обуви — мне особенно запомнился. Вблизи него и стоял когда-то тот одноэтажный продолговатый дом в саду, в котором жила наша семья и где в гостях у отца бывали Тихонов и Луговской.

Один из моих ашхабадских спутников, с которым я часто по вечерам гулял по городу, заметил, что, по случайному ли совпадению или же в силу какой-то традиции, примерно там же, где в тридцатом году жил начальник Ашхабадского гарнизона, живет и сейчас генерал с аналогичными обязанностями и ответственностью.

Я зашел в Дом офицеров, чтобы узнать судьбу Первой горнострелковой дивизии, и получил подтверждение тому, что знал и раньше. Когда отца в 1931 году перевели из Туркмении в Приволжский военный округ, на должность заместителя командующего, дивизию у него «принял» Иван Ефимович Петров, впоследствии генерал армии, Герой Советского Союза, командовавший во время Великой Отечественной войны Четвертым Украинским фронтом.

Ну, а сама Первая горнострелковая? Сохранилась ли

она? Нет, под этим номером не сохранилась. Перед войной дивизия, получив номер восемьдесят седьмой, отличилась в боях под Сталинградом. Память о ратных делах дивизии хранится не только в архивных документах, но и на стендах комнат боевой славы в Доме офицеров.

Признаться, меня все время тянуло в Дом офицеров. Это тоже можно понять. Хоть и не тот, что прежде, хотя и выстроенный заново, дом этот представлялся мне живой реликвией прошлого, свидетелем пережитого. Между старым и новым домом для меня пролегла полувековая мера событий, отделявшая босоногого мальчишку, который бегал в расположенный тогда за дорогой кавалерийский эскадрон дивизии, чтобы вместе с красноармейцами ездить купать лошадей, от писателя пенсионного возраста, ветерана минувшей войны.

В мае восьмидесятого я однажды выступил в этом доме перед офицерами, приехавшими на учебные сборы, с рассказом о тридцатипятилетии нашей Победы. И, говоря о боях в Берлине с правом очевидца и участника этих исторических событий, я глядел через окна конференц-зала на деревья густо разросшегося парка и, естественно, не мог не вспомнить, не вернуться к делам той поры, когда отцы и деды сидевших в зале молодых офицеров, воины Туркестанской дивизии, встречались здесь с писателями из «первой ударной»...

А затем, 31 марта 1930 года, как свидетельствует об этом хроника поездок и выступлений писательской бригады, московские литераторы присутствовали на общем собрании рабочих и служащих текстильной фабрики в Ашхабаде. Дело в том, что в ту пору прошло только лишь полгода с момента ввода в строй этой фабрики — первенца текстильной промышленности в Туркмении.

Собственно, это вообще первое крупное машинное производство в республике, здесь закладывалось начало формирования национального рабочего класса. Событие само по себе важное, знаменательное, и можно не сомневаться в том, с какой серьезностью отнеслись к своим выступлениям в цехах фабрики члены писательской бригады.

Ветераны труда, которые могли бы помнить эту встречу, давно уже покинули производство. Конечно, и фабрика неузнаваемо изменилась. В шестидесятых годах она уже именовалась не фабрикой, а первым в Туркмении хлопчатобумажным комбинатом с завершенным циклом производства.

В разные годы я видел много больших текстильных комбинатов. В Москве, в Иванове, в Сибири. Есть в них, безусловно, черты технологического тождества, но и вместе с тем у каждого производства своя особинка, «лица необщее выражение».

Когда через полвека после посещения фабрики писательской бригадою я ходил по цехам комбината, пафос заинтересованности подогревался во мне не только сознанием необычности самого этого сопоставления, но еще и другими соображениями, которые выделяли этот комбинат из ряда ему подобных.

Во-первых, сама история его возникновения. В ней ярко выразилась помощь братского русского народа только-только зарождающейся туркменской индустрии, и состояла она конкретно в том, что в 1926 году Туркмении была передана подмосковная Реутовская фабрика, которая стала именоваться Реутовской хлопкопрядильной фабрикой Туркменской ССР. Прибыль, полученная от выпуска пряжи на Реутовской фабрике, дала возможность республике построить и первое свое текстильное предприятие.

Наибольшего размаха строительные работы достигли в конце 1927 года. Когда главный производственный корпус был закончен, он приобрел черты монументальности и архитектурной гармонии. Вот и поныне известная всему Ашхабаду тридцатишестиметровая башня с большими часами украшает этот район города.

Листать подшивки старых газет всегда интересно. Я просмотрел газетные листы за 1929 год — время окончания строительства фабрики — и окунулся в атмосферу бескомпромиссной и решительной борьбы за экономическое переустройство республики, в гущу классовых столкновений, в накал политических страстей.

Чего стоят только одни заголовки статей: «Враг действует», «Выкачать кулацкие излишки», «Сломить байский саботаж», «Кулацкая вылазка бита», «Выстрел классового врага», «К расстрелу за убийство активистки». И тут же другое: «За хлопковую независимость», «Соревнование ликбезов», «Конец арабского алфавита», «Обучить 10 000 неграмотных», «Безработица идет на убыль».

Теперь, спустя 50 лет, даже трудно поверить, что в такой сложной политической обстановке было положено начало индустриализации республики и делалось так много для того, чтобы вырвать туркменскую женщину из связывающих ее оков и предрассудков. Ведь работать на текстильной

фабрике означало для туркменки встать на путь просвещения и активной деятельности, обрести место, которое достойно женщины-труженицы.

Новое утверждалось в трудовой борьбе. В те годы участь иных туркменских девушек, посмевших перейти границы беспощадного закона шариата, заканчивалась трагически. Так, выехавшая на учебу в Москву без разрешения родителей девушка по имени Якуджан из Ташауза после годичного обучения на Реутовской фабрике в каникулы решила навестить родной дом и в то же время добиться прощения за свое «непослушание». Но ей не удалось вернуться в Москву. Якуджан убил родной отец по приказу басмачей.

По-другому сложилась судьба ветерана фабрики Сапармухамедовой Дурдынияз. 14-летним подростком она была выдана замуж за 44-летнего мужчину, который, к счастью, оказался добрым человеком и хорошо относился к Дурдынияз. Ее мать, может быть, на печальном примере своей дочери раньше других поняла необходимость борьбы с бесправием женщин-туркменок. Как одну из активисток ее посылают делегатом на Одиннадцатый съезд туркменских женщин, проходивший в Ашхабаде. С нею едут ее дочь и зять. Делегаты съезда устроили на площади имени Карла Маркса символический костер. Туркменки бросали в огонь свои борыки и яшмаки, не желая больше закрывать свои уста платком молчания.

Молодая женщина видела этот костер, и, когда мать вернулась к себе в аул, Дурдынияз поехала вместе с мужем учиться на Реутовскую фабрику, навстречу новой жизни. Впоследствии Дурдыниз не только стала передовой прядильщицей, но и в годы войны была выдвинута на пост директора фабрики.

Последовавшее за войной второе землетрясение фабрика выдержала на удивление стойко. Я пристально разглядывал на вид такие обыкновенные стены основного корпуса, но ведь они-то устояли во время ночных подземных толчков 1948 года, когда за считанные секунды весь этот район подвергся значительным разрушениям. И не только сохранилось само здание, но еще и спасло триста человеческих жизней — всех рабочих ночной смены. И в этом заслуга строителей конца двадцатых годов.

Сразу же после катастрофы именно работницы фабрики выступили с благородным почином провести месячник по расчистке города от завалов. Одновременно они вели работы на своем предприятии, где все же пострадало технологи-

ческое оборудование и многие машины были смещены со своих рабочих мест... Прошло всего три месяца напряженнейшего труда, и фабрика вновь вступила в строй.

С историей комбината я знакомился весною восьмидесятого. Его богатое героико-драматическое содержание вызывает интерес и уважение. Недаром же осуществлявшееся во времена Горького и по его идее издание «Истории фабрик и заводов» исходило из мысли о том, что жизнь каждого большого рабочего коллектива уникальна, своеобычна, и опыт, приобретенный десятилетиями, поучителен для молодежи.

В дни празднования 50-летия Туркменской республики, когда на комбинате побывала вторая писательская бригада во главе с Михаилом Луконииым, здесь был открыт Музей трудовой славы. На центральном стенде, среди других примечательных экспонатов, под заголовком «Рабочей династии Абаевых — 130 лет» была помещена фотография семьи: ее глава, Меликкули Абаев, 40 лет был помощником мастера прядильного производства, Абаева Алтын — мать-героиня, ватерщица фабрики, воспитала десять детей, пятеро из них стали работниками комбината.

Одна из них, Эне Овезова, пятнадцатилетним подростком связала свою судьбу с комбинатом. Вначале обслуживала 14 ткацких станков, а теперь —26. Бригада, в которой работала Эне, первой в ткацком производстве включилась в движение за коммунистический труд. Эне Овезова в 1960 году стала Героем Социалистического Труда, затем депутатом Верховного Совета ТССР, одновременно исполняла обязанности заместителя Председателя Верховного Совета республики.

В 1971 году Эне вместе с отцом Меликкули Абаевым, старшим братом Алты, бригадиром, и сестрою Дурсун принимала участие во всесоюзной встрече трудовых династий. И тогда Эне рассказала собравшимся о своей семье, о первой рабочей династии туркменских текстильщиков.

На этой встрече было принято письмо в 2018 год, к будущему столетию Ленинского комсомола. Вот тогда вместе с отцом Эне вложила письмо в капсулу, замуровав ее в пьедестал памятника Ленину в Ашхабаде.

Богатство, духовная наполненность, стремительный разбег рабочих судеб, «полный расцвет человеческой жизни», как писал Николай Тихонов в своем мудром прозрении будущего республики, ведь это и есть, быть может, самое ценное в полувековой истории этого текстильного комбина-

та, чьи ткани в последние годы приобрели признание на мировом рынке, чей экспорт отправляется ныне в европейские страны и в страны Африканского континента, а знаменитая ашхабадская бязь, ткань с фабричной маркою «Лось», костюмное трико «Ливадия» отгружаются во все наши союзные республики.

Я ходил по большим, просторным цехам комбината, к сожалению, еще шумным — это пока общий недостаток всех текстильных предприятий,— наблюдал за трудом работниц, не впервые ощущая во всей очевидности, что напряженный труд в легкой промышленности вовсе не такой уж легкий. Хорошо, что на комбинате позаботились о мощных вентиляционных установках, сделав соответствующие трехэтажные пристройки к прядильному корпусу, где разместились кондиционеры, кстати говоря, популярные в Ашхабаде, на редком окне не увидишь вмонтированный прямоугольный ящик охлаждения воздуха.

Вентиляционное хозяйство на комбинате как бы представляет собою отдельную фабрику по созданию искусственного климата. На это не жалеют средств, создавая прохладу и вместе с нею возможность эффективной работы в условиях ашхабадского жаркого лета.

Тут видна важная забота о человеке, о рабочем, его физическом и нравственном самочувствии. Забота эта определяет главное существо тех усилий коллектива, которые в дни, предшествовавшие XXVI съезду партии, выражали себя не только в накале соревнования, упорядочении хозяйственного механизма управления, укреплении бригадных форм работы, но и в последовательной механизации и облегчении труда, главным образом женщин. И все это разительно, зримо, качественно отличало бывшую прядильно-ткацкую фабрику, которую видели участники первой писательской бригады, от комбината сегодняшнего дня.

8. ПОЕЗДКА В ЧАРДЖОУ

Я прилетел в Чарджоу на небольшом, но комфортабельном «ЯК-40», стартовавшем ранним утром из Ашхабада с группой писателей на борту, которые представляли собою один из «десантов», как принято ныне писать, большой писательской многонациональной делегации, на проводимых впервые Днях литературы в Туркмении. Пятьдесят лет назад здесь, в Чарджоу, также побывали члены «первой ударной бригады», причем прилетели не реактивным са-

молетом, а... приплыли на маленьком суденышке, которое называлось «каик», по воде Амударьи из города Керки.

В очерке «Невиданная весна», написанном Николаем Семеновичем Тихоновым спустя тридцать лет после первого посещения города, он рассказывал:

«Тридцать лет назад город Чарджоу не был похож на сегодняшний индустриальный центр, с фабриками и заводами, с парками и асфальтированными улицами.

Это был провинциальный городок, куда, в силу его особого расположения на пересечении железнодорожных и водных путей, забирались люди, которым приходилось искать счастья в новых местах, оставив далекие края родного севера. Излишек таких пришедших сюда бродячих людей очень чувствовался.

Поэтому, при слабом благоустройстве города, где вместо тротуаров были деревянные мостки, не хватало электроэнергии и свет часто отсутствовал в домах и на улицах, можно было, особенно по вечерам, натолкнуться на множество чересчур веселых субъектов, которые, упав в темноте в арыки, правда сухие, и, пытаясь оттуда выбраться во что бы то ни стало, даже хватали прохожих за ноги... Можно было видеть пьяного, уснувшего на спущенный шлагбаум на железнодорожном переезде, можно было слышать пьяные выкрики, несущиеся вдоль улицы. Это уже изолированный в так называемой «холодной» гражданин вопил оттуда в окошечко, жалуясь на свои жизненные неудачи. И вместе с тем даже этот неустроенный Чарджоу имел и хорошие улицы, и дома с садами, и много деревьев, и весною, когда все деревья цвели и благоухали, он был вполне терпим...»

Надо ли сейчас говорить о том, что современный Чарджоу мало чем напоминает город тридцатых годов. Всюду многоэтажные дома, новые благоустроенные микрорайоны, город высоко поднял в небо трубы своих заводов и фабрик. Когда от самой кромки начинающейся здесь тысячекилометровой пустыни Каракумы смотришь на Чарджоу, широко раскинувшийся на берегу Амударьи, шумный, заполненный «Жигулями», автобусами, грузовиками, опоясанный густою зеленью садов, то видишь тот особый урбанический пейзаж, в облике которого черты традиционного Востока остались лишь легким орнаментом на стальной и бетонной чеканке профиля вполне современного индустриального города.

Одно из тех предприятий, которым гордится область, это большой Чарджоуский комбинат. Он отпраздновал уже свой «золотой юбилей» — пятидесятилетие существования. Пер-

вый камень в фундамент предприятия здесь заложили в 1929 году, после первомайской демонстрации, а разматывать коконы и производить шелковую материю начали в тридцать первом.

Я видел на своем веку много текстильных предприятий. Есть у них и черты сходства, есть и у каждого свои особенности. Но если отбросить в сторону технологию, то надо сказать, что главной особенностью всех текстильных предприятий Туркмении, главным богатством являются женщины — работницы-туркменки и представительницы еще сорока шести национальностей, работающие на этом комбинате.

Ведь на этом комбинате, так же, как и на Ашхабадском хлопчатобумажном, где мне довелось сейчас побывать, именно тогда, в двадцатые и тридцатые годы, формировались первые отряды молодого рабочего класса республики. Именно в эти цеха, сбросив паранджу и связывающие ее оковы предрассудков, пришла туркменка, став на путь просвещения и активной деятельности, обретя место, достойное женщины-труженицы.

На комбинате сейчас три четверти работающих — женщины, и средний их возраст — тридцать шесть лет. И здесь в цехах, где еще довольно шумно, труд сам по себе требует и поныне физического напряжения и нервной энергии. И я видел сотни умелых женских рук, прекрасно овладевших современной техникой.

Потом мы знакомились в кабинете главного инженера комбината Эвелины Александровны Зинухиной (в цехах-то разговаривать трудно) с передовиками комбината, ткачихами Миноват Ачиловой, Тахтаргуль Самедовой — депутатом Верховного Совета республики, с другими текстильщицами.

Наш современный рабочий класс повсеместно растет и профессионально и духовно, занимая активную жизненную позицию и в делах производственных и в делах общественных. Это черты ведущие, типические.

Но все же есть еще и национальные особенности, со своими историческими и социальными корнями, о них тоже нельзя забывать. Есть работницы, обремененные большой семьей; четверо — шестеро детей в семье нечто вроде усредненной нормы. Когда видишь, что эти заботы не мешают женщине и отлично трудиться и заниматься активной общественной деятельностью, то невольно испытываешь глубокое уважение к таким, как Миноват Ачилова или Тахтагуль Самедова. Они и им подобные и составляют поистине «золотой человеческий фонд» шелкового комбината в Чарджоу.

У Николая Семеновича Тихонова в его книге «Юрга» есть стихотворение, написанное после поездки в 1930 году в Чарджоу. Называется оно так: «Весна в Дейнау, или Ночная пахота тракторами «валлис». Поэт наблюдал ночную пахоту первыми в ту пору тракторами на «полях, величиною с кошму», наблюдал ломку старого землеустройства, которое от древности досталось в почин тем, кто строил тогда в колхозах новую жизнь, организовал тракторную базу, и она, как пишет поэт, «свергает власть оскаленных пустынь».

Дейнауский район примыкает к Чарджоу, и мы побывали там в нескольких колхозах. Одно из таких передовых хозяйств, награжденное орденом Трудового Красного Знамени,— колхоз имени Степана Халтурина. Его председатель, «башлык», как говорят здесь, показывал нам свое богатое хозяйство, хлопковые поля, на которых только в этом колхозе в тот день работало 26 хлопкоуборочных комбайнов. Лучшим механизатором считается Бабамурат Курбанов, заполняющий белым золотом за смену 11—12 бункеров своего голубоватого агрегата. Похожий на какого-то огромного металлического жука, комбайн хоботками втягивает в себя белые пушистые комочки хлопка.

Тридцатишестилетний комбайнер Курбанов, отец шестерых детей, вот уже двадцать лет сидит за рулем своего агрегата, заменяющего тяжелый ручной труд сборщиков хлопка. Он взял обязательство собрать триста тонн хлопка, сезон уборки заканчивается в декабре, пока держится тепло, и Бабамурат надеялся свои обязательства выполнить.

Колхоз имени Степана Халтурина богат во всех смыслах — и прежде всего здесь зажиточно живут сами колхозники. Многие из механизаторов имеют легковые машины. Богатство колхоза определяется еще и уровнем заботы о людях, внимания к ним. Так, на полевом стане (на уборке хлопка применяется еще и ручной труд — работает много женщин) организованы ясли, бесплатное питание для всех работающих.

Меня, признаться, удивил колхозный клуб — прекрасное здание, в котором с охотою разместился бы любой областной драматический театр. Огромные многоцветные витражи в фойе, металлическая чеканка на стенах зала, рассчитанного на девятьсот человек, удобная сцена. В соседнем колхозе имени Жданова работает своя музыкальная школа для детей колхозников. Я вспоминаю, как Николай Тихонов в тридцатые годы увидел в одном из аулов маленький кукольный театр. Он писал тогда, что кукольный театр может

научить своих маленьких зрителей «...мыться, употреблять мыло, чистить зубы, ликвидировать неграмотность, научить обращаться с примусом, с керосиновой лампою, а заодно и меткою шуткою разоблачить ишана или бая...».

Ну, а теперь туркменские дети могут учиться музыке в своем же колхозе, а на клубной колхозной сцене видеть и слышать мастеров искусств, работающих в Чарджоуской филармонии.

Разительно изменилось время, живые реалии бытия в современной Туркмении, богатой не только хлопком, шелком, газом, но и новыми людьми.

В одном из колхозов того же Дейнауского района, который так впечатлил когда-то Николая Тихонова и его товарищей по писательской бригаде, в 1948 году родился мальчик. Зовут его Пархат Курбанов. Пархат рано лишился родителей, воспитывался в семье старшего брата Ораз-Дурды.

В 1966 году он закончил среднюю школу и в том же году поступил учиться в профессиональное техническое училище в городе Чарджоу, а потом пришел на большой суперфосфатный завод имени В. И. Ленина.

С тех пор судьба Пархата Курбанова прочно связана с заводским коллективом. Его, воспитанника колхоза, приняла заводская семья, которая дала ему многое, если не сказать — всё. Образование, воспитание, профессиональное мастерство.

Сейчас Пархат Курбанов — аппаратчик на установке по производству суперфосфата, несколько лет был депутатом высшего органа власти — заместителем Председателя Совета Союза Верховного Совета СССР.

Мы встретились с ним сначала в Чарджоу. Завод, выросший у кромки Центральных Каракумов, ныне широко известен в стране.

— За пятилетку мощности завода выросли в... десять раз! И все-таки мы остались средним предприятием,— сказал мне главный инженер завода Таймаз Кулиев,— ибо так быстро растет и вся наша химическая индустрия.

В начале октября в Чарджоу еще очень жарко, градусов тридцать пять. Нагретый металл установки Пархата Курбанова, стоящей под открытым небом, тоже излучает жар. Однако на рабочей точке аппаратчика в закрытой кабине управления действует кондиционер, которым здесь, кстати говоря, не очень-то спешат пользоваться. Порою лучше жара, чем резкий перепад температуры, ведущий к простуде.

Сама установка — это как отдельный завод — приборы

сложные, требующие высокой технологической культуры, от аппаратчика в первую очередь. Пархат мастерски овладел этой техникой, свой ежемесячный план он выполняет на 120—130 процентов.

Я видел, как работает Пархат на своей установке, а потом мы встретились в Москве, куда он приезжал на сессию Верховного Совета СССР. Мы говорили о работе сессии, о государственных обязанностях, возложенных на молодого депутата, о решениях Верховного Совета; и я стремился уловить те черты характера, которые формируют Пархата Курбанова как рабочего и общественного деятеля.

Много раз я наблюдал на разных заводах, как передовые рабочие, инициативные люди, ищут, мыслят, смотрят дальше, куда шире своих непосредственных обязанностей. Гражданственная зрелость вырастает у них не только из стремления сделать свой труд наиболее эффективным, но и помочь в этом другим. Они принимают близко к сердцу дела всего завода, проблемы своей республики, в конечном счете, всей страны.

Таков и Пархат Курбанов. Я ощутил это в его мыслях, в его заботе о том, чтобы на родном заводе были созданы все условия для постоянного технического и культурного развития каждого рабочего. Он и сам, закончив техникум, который работает при заводе, учился в Ташкентском филиале Высшей партийной школы при ЦК КПСС.

Со сдержанной гордостью, но и с уверенностью человека, понимающего, какой это большой социально-экономический вопрос — жилищное строительство, он рассказывал мне, что в Чарджоу вырос новый большой микрорайон для химиков и что на заводе каждый нуждающийся ждет квартиру не больше полутора лет.

— Партия дала нам наказ: нынешние огромные масштабы жилищного строительства сохранить на все годы одиннадцатой пятилетки,— сказал он.

Коллектив на заводе в основном молодежный, средний возраст 27—28 лет, естественно, возникают новые семьи, им нужны квартиры.

С одной такой молодежной бригадою, которая работает рядом с установкой Пархата Курбанова, я познакомился еще в Чарджоу. Бригада производит амафос — ценное химическое сырье. Начальник смены на этой установке Анатолий Семенов, вместе с ним работали Гарик Игнатьев, Борис Тимохин. Парни все с усами, так их и зовут здесь — «бригада усатых». Это уже опытные мастера своего дела, рабочие

люди, перед которыми открыта перспектива роста, учебы, профессионального усовершенствования.

— У нас говорят,— как-то в шутку сказал мне Пархат Курбанов,— что кадры мы начинаем готовить с ясель. Они у нас при заводе, затем школа, свое профессиональное училище, свой техникум, есть в Чарджоу и филиал Ашхабадского политехникума. В других высших и средних учебных заведениях занимаются заводские стипендиаты. Я уже не говорю о вечерних школах при заводе.

Одним словом, возможности широкие — только учись!

Я заметил, что и сам Пархат Курбанов полон жажды приобщения к большой культуре, стремится овладеть всеми богатствами русского языка, с тем чтобы читать на русском писателей и поэтов всех наших республик. Жена его — Гульсара — учительница, преподает английский язык в школе. Вот такая это семья рабочего-интеллигента, но не по одним формальным признакам, не только потому, что муж и жена образованны и продолжают учиться.

Я бы интеллигентность Пархата Курбанова поставил в прямую зависимость от его духовных запросов и устремлений, от коренной основы всей его жизни, отданной идеям и идеалам нашей партии, от его все углубляющегося интеллектуального развития, наконец, от активной жизненной позиции рабочего и государственного деятеля.

9. ВЕСНОЮ ВОСЬМИДЕСЯТОГО

В наше время больших свершений, атомной энергии, освоения космоса вряд ли звучит необычайно строительство оросительного канала, хотя он и протянулся почти на полторы тысячи километров. И тем не менее эта стройка уникальна и удивительна по замыслу, размаху, масштабности и преодолеваемым трудностям, по неотступности многолетних усилий народа, поставившего перед собой задачу преображения пустыни.

Эта стройка едва ли не главная в республике, определяющая ее перспективы, и все, кто связан с нею своим трудом, ощущают и свою причастность к сотворению истории новой Туркмении.

Совершая ратный подвиг на войне или в труде, человек редко думает о его значении. Порою лишь спустя многие годы люди понимают, сколь веществен и весом был их вклад в сотворение важных перемен. Но разве от этого подлинная историчность событий становится меньше!

Необычайную важность строительства оросительных каналов в пустыне отчетливо сознавал еще и в тридцатые годы Николай Семенович Тихонов. «Начало канала» — так называется глава в его очерке «Невиданная весна».

«Мы шли по узким улочкам пустынного кишлака. Арыки были сухи, потому что воду незачем было пускать — в кишлаке не было жителей. Через кишлак шла государственная граница. Доска, переброшенная через сухой арык, вела прямо к афганскому посту.

Пограничник, командир богатырского телосложения, привел нас показать, где кончается Советский Союз и начинается земля дружественного Афганистана. Афганский часовой, в необъятных шальварах, в зеленой куртке английского образца, что-то закричал, лежавший на коврике и предававшийся легкому раздумью другой афганец встал, пошел внутрь глинобитного домика, и оттуда вышел немного погодя афганский офицер в туфлях на босу ногу, в накинутом на плечи макинтоше и с самой любезной улыбкою подошел к доске, перед которой мы стояли, приветствовал нас краткой речью и пригласил на чашку чая.

Мы не располагали временем, стоя поговорили с афганским офицером, который с дружеской любезностью пояснил, что если бы была вода, много воды, то все вокруг зеленело бы, были бы сады, и мы бы сидели между журчащих вод и ели замечательные плоды садов, которых здесь нет и в помине».

Затем там же Тихонов и Луговской беседовали «с работником воды», который оспаривал возможность северного варианта поворота Амударьи, через Саракамыш и Узбой, и всецело стоял за смелый и тогда казавшийся фантастическим путь воды через пустыню, от Керков-Босаги на Мары».

И вот Тихонов и Луговской пошли на канал.

«Он был небольшой. Вода медленно стремилась в нем, мутная, илистая, драгоценная вода Амударьи, она шла на запад, и казалось, что прав старый ирригатор, победу нужно искать здесь, на этом направлении...»

Прошли годы. Все это время в республике продолжались упорные изыскания оптимальных маршрутов будущего канала. Наконец была избрана окончательная трасса, кстати говоря, примерно совпадавшая именно с тем самым, казавшимся фантастическим, путем, который был предсказан старым ирригатором и о котором упомянул в своем очерке Николай Тихонов.

Строительство канала, начавшееся в предвоенные и энер-

гично продолженное в послевоенные годы, впоследствии было разделено на три очереди. И канал широкой голубою трассою, огромным водным поясом лег на карту Туркмении, от Амударьи на востоке до предгорий Небит-Дага на западе, выходящих к Каспийскому морю.

На большую генеральную схему канала я смотрел в кабинете главного инженера Каракумстроя Геннадия Эдуардовича Грибача.

За столом поднялся и пошел навстречу мне человек лет за сорок с небольшим, среднего роста, худощавый, темноволосый. Если бы его увидел Тихонов, он бы сказал о нем, как когда-то о Шкильтере,— «сожженный пустыней». Двигался Грибач легко, пружинисто, рассказывал спокойно, но с тем внутренним теплом одушевления, которое, должно быть, появлялось у него всякий раз, когда речь заходила о деле, которому он, инженер-гидротехник, отдал, по сути дела, всю свою жизнь.

Геннадий Эдуардович рассказал мне, что родился в Туркмении, вырос здесь и чувствует себя в полном смысле этого слова как на родине, ибо свободно говорит по-туркменски.

— Туркмен, туркмен! Хотя и с русской кровью,— сказал он, улыбнувшись,— и отец мой, и дед жили здесь, дед строил первую железную дорогу в этих краях.

Геннадий Эдуардович закончил институт в 1960 году и начал свою трудовую биографию на строительстве канала, как водится сначала мастером, потом начальником участка.

Некоторое время занимался мелиорацией в Геок-Тепе, потом снова вернулся на канал к строительным делам. А четыре года назад стал главным инженером всего Каракумстроя, управление которого возглавляет Ата Чарыевич Чарыев; с ним в мае восьмидесятого мне, к сожалению, не удалось познакомиться, он был в отпуску.

Когда Геннадий Эдуардович привычно, должно быть, не первая у него такая беседа, прошел к карте, его указка прочертила сначала линию от района Керки на Амударье до реки Мургаб, немного севернее города Мары. Это и была трасса первой очереди канала. Ее протяженность около 400 километров. Главный инженер сказал, что в строй она вошла в 1959 году. Самого Геннадия Эдуардовича тогда на стройке еще не было.

— Моей стала вторая очередь,— заметил он,— от Мургаба до Теджена, длиною в сто сорок километров, создание

трех станций перекачки воды, ведь в Мургабе ее не так уж много. Ну, а потом, уже на третьей очереди, я толкнул воду на Ашхабад.

Он так и выразился: «толкнул воду»! Надо заметить, что «толкать» ее пришлось на порядочное расстояние — триста километров по пустыне.

Называя эту цифру, главный инженер добавил:

— Когда тянули канал через пустыню, много было неверящих.

Неверящих и, надо добавить, удивленных тем, что около Ашхабада были созданы два больших водохранилища, и там, где раньше ползали по пескам лишь ящерицы и змеи, появились рыбы, над водою загуляли волны, в пустыню вошло влажное дыхание искусственного «моря». Удивляться, в самом деле, было чему!

Произошло это все в конце шестидесятых годов. Однако канал здесь не остановился и пошел дальше на северо-запад, вдоль южной кромки Центральных Каракумов. Указка главного инженера остановилась неподалеку от Небит-Дага и показала два новых направления, которые еще предстояло освоить, два русла: одно из них протянется до Красноводска, а другое — к городам Кизил-Атрек, Гасан-Кули, в район западных туркменских субтропиков.

Сейчас уже проложено около 1035 километров водной трассы, много работы еще впереди.

Если бы Геннадий Эдуардович, вернувшись к своему столу, и не выразил бы кратко и броско мысль о том, что канал — это трасса жизни, подтверждением бы этой фразы служили сами факты освоения земли вокруг канала, развертывание здесь многих, как это ни звучит странно в применении к пустыне, именно целинных совхозов. Запланировано их около ста, освоено уже пятнадцать.

Надо ли говорить о том, что это новые миллионы гектаров возрожденной земли, получившей влагу, новые тысячи тонн хлопка, овощей, фруктов, новые пастбища для овец, обильные урожаи на земле, где безморозный период в году достигает 210—240 дней.

Слушая Геннадия Эдуардовича, я невольно думал о том, что вода поистине бесценный дар природы, однако ресурсы воды всюду не безграничны, и использовать их надо бережно. Я прочитал в одной статье, что с 1950 по 1970 год потребление воды промышленностью в нашей стране выросло более чем в четыре, а на орошение земель — в два с лиш-

ним раза. Какой же здесь выход? Да только один — в бережном, рациональном использовании ресурсов. В Туркмении это ощущаешь с особой остротой.

— Вода у нас в республике давно уже превратилась в труднодобываемое минеральное сырье,— заметил главный инженер. И сказано это было невесело.

Геннадий Эдуардович имел в виду и целый ряд побочных проблем, которые порождены строительством и эксплуатацией канала. И понижение уровня воды в Амударье и других реках, и засоление, заболачивание орошенных земель, с которым надо научиться бороться, и зарастание канала водорослями, и проблемы судоходства по каналу, радующие своими перспективами, но и нелегкие, непростые.

— Однако мы заставим наш канал работать на судоходство,— сказал Геннадий Эдуардович.— Будут по нему ходить суда до города Безмеина, это западнее Ашхабада. Между прочим, у нас есть два ледокола,— добавил он.— Зимою они освобождают замерзшие во льду наши земснаряды. Ледоколы в Туркмении — это звучит, не правда ли!

Он впервые даже засмеялся, этот на вид суровый и, как говорится, замотанный до предела человек. Когда мы заговорили о судоходстве, о рыбе, которой давно уже заселили акваторию Каракумского канала, то есть о том, что к чисто инженерным проблемам не имело прямого отношения, у Геннадия Эдуардовича даже как-то просветлел взгляд, улыбаться он стал чаще, и я заподозрил в нем любителя посидеть с удочкой на берегу канала или водохранилища.

— Рыбы у нас прижились большие, толстолобик и белый амур, завезли с Дальнего Востока, издалека, чувствуют они себя в канале хорошо,— говорил Геннадий Эдуардович.— Правда, для них мы все время углубляем дно, чтобы не прогревались особенно сильно нижние слои воды, да и сами рыбы нам помогают — съедают водоросли, которыми зарастает канал. И он стал чистым. Есть у нас судак, осетр...

И закончил главный инженер ту свою оду рыбе в Каракумском канале фразою, в которой, думается, мера гордости мало уступала мере собственного удивления перед тем, что ныне «в сухопутной Туркменской республике есть... своя рыба!».

Сколько я ни видел на своем веку подлинных, невыдуманных энтузиастов, одушевленных размахом и зримыми

результатами своего многолетнего труда, а все же каждая встреча с таким человеком — подарок.

Я бы еще сказал, что такие встречи индуктируют столь необходимую нам всем энергию, ту самую, которой был словно бы наэлектризован этот деловой и крайне занятый руководитель. Он и время нашел и, как мне показалось, сам получил некоторое удовлетворение оттого, что как бы окинул мысленным взором стоящие перед ним нелегкие задачи.

Проблемы! Без них не мыслится ныне ни одно крупное народнохозяйственное свершение. А там, где проблемы, там и решения, которые порождают поступки, а поступки, в свою очередь, создают характеры.

Многопроблемность в наши дни вокруг каждого серьезного дела никого не удивляет. И хотя всегда найдется здесь какая-то доля недоработок, недомыслия, просто ошибок, все же коренная природа неизбежных трудностей — в самом росте, в движении вперед.

Изменяя лик пустыни, люди, строящие Каракумский канал, делают большое и благородное дело. Никогда уж более перо писателя не выведет те строки, которые в тридцатых годах, несомненно, с болью душевной начертал Николай Семенович Тихонов:

«...Мрачные люди живут в песках, и мрачна сама пустыня, владычица их жизни».

Работа писательской бригады в 1930 году и тихоновский Туркменистан остались в истории советской литературы. Глубокое осознание Тихоновым значительности того, что им было тогда сделано, ощущение исторической важности преобразований, происходящих в Туркмении, во всей Азии, мажорным лейтмотивом звучит в туркменской прозе и стихах писателя.

Период этот оставил глубокий след во всем, что затем создавал Николай Семенович, и мысль эту поэтически четко сформулировал недавно Яков Хелемский, заметив в стихотворении, что «так уж вышло, что с первого шага до последней минуты — всегда, в нем бродила поэзии брага и теснилась желаний орда».

Работая над материалами этой поездки, Тихонов черпал свое вдохновение также и в предчувствии грядущих на Востоке решительных боев с империализмом.

«...Недаром старый коммунар Элизе Реклю предсказывал с упорством географа-историка, что судьба мира решится

когда-нибудь в четырехугольнике, образуемом Гератом, Кандагаром, Газли и Кабулом. За ним лежат ворота в Индию...» — писал Николай Семенович в своих «Кочевниках».

> Лишь бурей взыграет Азия,
> Не встретимся здесь мы разве? —

сказал он в стихах.

Жизнь подтвердила справедливость этого прозорливого взгляда в будущее, умение писателя взвешивать события и злобу дня на масштабных весах времени, и эта историческая дальнозоркость Николая Семеновича Тихонова озарялась огромной силою его социального оптимизма, любовью к революции, Родине, ко всему человечеству.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПОЛЬЗЫ



ехал осматривать новый район массовой застройки в Берлине — Марцан, ехал не в первый раз, ибо бывал уже здесь в 1978 году. В конце 1982 года я жил в пансионе Союза писателей ГДР па Унтер-ден-Линден, то есть в самом центре города, и путь мой к восточной части столицы республики лежал через те особо памятные мне места, которые я неизменно посещаю, пачиная с первых же послевоенных лет.

Из многих я упомяну сейчас лишь два, другие находились в стороне от нашего маршрута.

Сначала была небольшая улица Инзельштрассе, ныне тихий, скромный, малолюдный уголок Берлина. Жилые дома, учреждения. Теперь этот дом носит номер 13-а, а в сорок пятом это был дом № 3. В здании в дни боев за Берлин и в первые месяцы после окончания войны находилась, жила, активно действовала советская военная комендатура района Митте, то есть самого центра Берлина.

В этом доме в мае сорок пятого я прожил несколько дней в квартире подполковника Александра Леонтьевича Угрюмова, тогдашнего заместителя коменданта района Митте по политической части, ныне профессора одного из московских вузов.

Я был в те дни военным корреспондентом Московского радио — в дни штурма Берлина и в первые месяцы после

окончания войны — и не один час провел около служебного стола Александра Леонтьевича, наблюдая за его многотрудной работой по налаживанию новой жизни в новой Германии.

Теперь в служебном помещении комендатуры на первом этаже расположился продуктовый магазин, и жители Инзельштрассе и близко расположенных улиц покупают здесь расфасованный сыр, масло, молоко, колбасы и многое другое. В этом мне сейчас видится даже некий символ. Там, где когда-то налаживалась жизнь города, освобожденного от фашизма, сейчас жители района покупают все, что необходимо им для сытого стола, для семьи, для добротного и недорогого питания.

Посещение Инзельштрассе меня всегда волнует, сколько бы я там ни бывал, всегда вызывает томительное стеснение в груди, в памяти встают героические дни боев за Берлин, образы живых и мертвых участников этих исторических дней.

С днями освобождения от фашизма связывается в моем представлении и площадь Ленина с примыкающей к ней Фриденштрассе, то есть улицей Мира, в этом тоже высокая символика. Ведь не будь нашей Победы, не было бы в Европе и мира, и площади, носящей имя великого Ленина.

Когда я проезжаю теперь мимо Ленинплац, то всегда вспоминаю, как в год двадцатилетия со дня образования ГДР, осенью 1969 года, здесь на монтаже высотного двадцатипятиэтажного здания вместе с немецкими коллегами работали и два советских монтажника — Семен Ткачев, и москвич, Анатолий Суровцев. Рядом с ними был Герберт Кольман, бригадир монтажников, один из ветеранов в семье берлинских строителей. Именно в те дни Кольман за свою многолетнюю работу был награжден Золотой медалью Героя Труда ГДР.

«Счастливый час в нашей дружбе». Я уже вспоминал об этой фразе, но хочется еще раз ее повторить: очень она красноречива.

Итак, счастливый час дружбы! Это, конечно, метафора. Точнее, это были и есть счастливые годы содружества строителей Москвы и Берлина, годы взаимообогащения опытом, налаживания и деловых и личных контактов рабочих, инженеров, проектировщиков, архитекторов двух наших столиц.

Вспоминая строительство всем известного высотного дома на Ленинплац, Кольман в свое время писал:

«Два подъемных крана вздымались в небо. Из стеклянных кабин можно было обозреть весь город. На кранах висели знамена ГДР и СССР, как знаки германо-советской дружбы.

В бригаде работало много молодежи. Моя «классная комната», как руководителя и учителя молодежи, находилась в нашем передвижном красном вагончике, который путешествует со строителями от одного дома к другому. На стенах этого вагончика висели рисунки, схемы, чертежи, поясняющие советскую технологию скоростного возведения зданий. Я читал тогда планы, как некоторые читают захватывающие романы!»

Так написал Кольман, не считая свои слова преувеличением. Да и какие основания оспаривать то, что он написал? Значит, таковы были в ту пору его увлеченность планами, деловой азарт. Счастливый час — это счастливый час!

В конце 1982 года я ехал в Марцан, зная, что уже не бригадиром монтажников, а на инженерной должности работает Герберт Кольман, работают многие строители из Вонунгсбаукомбината, за жизнью которых я слежу уже не первый год.

Машина наша шла к Марцану по прямой и длинной Ландсберг-аллее. И справа и слева тянулись улицы, основательно подновленные современными новостройками. Но все же эти кварталы принадлежали к тем территориям, которые всегда считались городскими.

Сам Марцан вырастал на земле бывшего пригорода Берлина, на ровной местности, совсем недавно застроенной дачными селениями, поселками, которые перемежались пустырями, сосновыми, липовыми рощицами, прудами. Кое-где эти дачные домики еще остались и воспринимались как некие музейные островки, напоминавшие о прошлом.

Марцан создается на свободной площади, где ничто не сдерживает дерзания архитекторов, это многое определяет. И главное, Марцан прирастает к Берлину сразу всем своим мощным, широко раскинувшимся комплексом, по сути дела, это самостоятельный город со своим автономным благоустройством и своим ритмом жизни.

Вообще говоря, современные принципы массовой застройки ныне знакомы нам по опыту многих городов. Разве наш московский Юго-Запад или Черемушки, Теплый стан, Орехово, Вешняки-Владычино, Медведково, Свиблово,

Строгино и многие другие районы не создавались по тождественным схемам на обширных пригородных территориях, которые входили затем составной частью в генеральный план застройки и реконструкции всей столицы.

И все-таки знакомое — знакомым, привычное — привычным, а в Марцане профессиональный, да и не профессиональный взгляд найдет и немало своеобразного, чисто немецкого, в чем-то уникального. Как и всякий хороший градостроительный комплекс, Марцан обладает, я бы сказал, «лица не общим выражением», и это притягивает, возбуждает интерес.

Берлинцы начали застраивать Марцан в 1973 году, рассчитывая вначале создать здесь 30 000 квартир.

Вспоминается, как в 1978 году еще вместе с бригадиром Кольманом я рассматривал макет Марцана, и Кольман сказал, что здесь осуществляется самое большое жилищное строительство в республике, рассчитанное до 1985 года. Сюда передко приезжает поговорить со строителями товарищ Хонеккер, руководитель Социалистической единой партии Германии, председатель Госсовета ГДР.

От макета мы с Кольманом перешли к осмотру самих кварталов, и меня тогда приятно удивило, как хорошо берлинцы строят кафе, рестораны, детские, медицинские учреждения — они есть в каждом квартале.

— Люди будут недовольны, если мы не будем строить быстро, вот и стараемся,— заметил Кольман.

Кольман руководил тогда бригадой на строительстве одиннадцатиэтажных домов. Мне показалось весьма примечательным, что Кольман любил часто обновлять бригаду за счет молодежи. Это, естественно, связано со своими сложностями. Ведь учить молодых всегда нелегко. Но именно постоянно учить, передавать свой опыт Кольман и любит и умеет.

Кольман и в человеческом, и в деловом плане фигура колоритная, личность интересная. У него лицо сильного и доброго человека — оно уже одним этим привлекает внимание. Крупные черты, открытый высокий лоб, волевые складки у красиво очерченного рта, внимательный взгляд из-под густых бровей. И атлетическая фигура спортсмена.

Я не удивился, когда узнал, что он бывший чемпион по боксу. Строительство не оторвало его от спорта, а спорт — от любимой профессии монтажника. Это гармоническое сочетание сложило и его характер, спокойную и вместе с тем динамичную уравновешенность.

В том же году я познакомился и с Бено Ратке, руководителем участка, или, как у нас в Москве говорят,— начальником потока. Вот такую должность занял теперь и Кольман. Познакомился с Гюнтером Шольцем, бригадиром, с Куртом Бромбергом, с другими строителями.

У Ратке, который вот уже более тридцати лет проработал в строительстве, спачала плотником, потом в монтажной бригаде, затем пошел учиться, и теперь он дипломированный инженер,— трое сыновей, и все трое — на стройках. Старший — строительный инженер, второй, как сказал Ратке, «делает паркеты», третий — самый младший — был тогда в армии, но, вернувшись на стройку, станет штукатуром. А зовут их Вернер, Норберг и Франц. Вот типичная рабочая династия, прочно привязанная к делу строительства.

Конечно, я не рассчитывал всех их застать в Марцане, на строительных площадках через четыре года. Четыре года немалый срок. И в Москве и в Берлине рабочие люди растут профессионально, учатся очно и заочно и меняют должности. Я знал, что монтажник Курт Бромберг, который когда-то успешно соревновался с Анатолием Суровцевым, теперь мастер на одном из заводов Берлина, изготовляющем железобетонные детали домов. Гюнтер Шольц выдвинут на партийную работу и успешно с нею справляется. Кольман уже не бригадир, а руководитель участка. К сожалению, Ратке в те дни находился в отпуске.

Да и главное, что привлекало меня в Марцане осенью 1982 года, были проблемы экономики в масштабах не одной какой-либо бригады или участка, а всего комбината, точнее, даже разных комбинатов и в различных столицах социалистических стран.

Проблемы экономики, к которым сейчас приковано такое большое общественное внимание, для нас, писателей, это еще и проблемы нравственные, психологические. Ибо экономику творят люди, и писателю, если он близок к теме труда, важно глубоко ощущать последовательность экономической стратегии нашей партии и экономическую стратегию в других социалистических партиях, понимать психологическую роль хозрасчета, суть новых экономических рычагов и стимулов. А это непростая материя.

Одним словом, я ехал в Марцан, чтобы поговорить с экономистами, с проектировщиками и архитекторами, которые поддерживают контакты с экономистами Московского домостроительного комбината № 1, чьи задачи теперь выросли,

ибо ныне решено число квартир в Марцане довести до 50 000, число новоселов до 160 000.

В наш век большие цифры градостроительства впечатляют лишь тогда, когда они вырастают из зримой тенденции создавать не просто большой район, а еще и гармонично организованный, где все подчинено заботе о человеке.

Казалось бы, эта мысль совершенно очевидна. Но очевидное бывает ныне не только невероятным, но еще и не всегда реально осуществляемым на практике.

Ну, скажем, всем известно, что новый район надо создавать комплексно, так, чтобы сфера обслуживания не отставала от сферы жилья. А всюду ли это неукоснительно выполняется? Или все знают, что новый район надо планировать так, чтобы новоселам не было нужды везти из центра продукты, ходить первое время по заваленным строительным мусором пустырям, годами ждать установки телефона. И для детей должны быть хорошо оборудованы игровые площадки, для автомобилистов — удобные подъезды к домам и хорошие стоянки. Но всюду ли это делается?

А вот в Марцане все существует именно в этой гармонии и сразу открывается глазу человека, который захотел бы прогуляться по новым кварталам или проехать по ним на машине.

Садовые скамейки, городские часы, скульптурные композиции, фонтаны, киоски, все так называемые «малые формы» создают здесь обстановку уюта, обжитости, комфорта.

Ирэна Тиц — главный экономист Вонунгсбаукомбината, ее можно еще назвать экономическим директором,— говорила мне, что горожанину, перебравшемуся в Марцан, не приходится долго привыкать к новым условиям, хотя кое-кто из получивших здесь квартиру не смог преодолеть в себе привычек к жизни в центре города и вернулся в старые, давно обжитые кварталы. Но это были лишь одиночки.

Ирэна Тиц рассказывала, что над оформлением Марцана работают сто сорок художников, скульпторов, дизайнеров — по единому плану, придерживаясь определенной художественной концепции, за ее осуществлением следит человек, которого в комбинате именуют «комплексный архитектор».

Я занес эту информацию в свою записную книжку. Она мне показалась интересной, полезной. Но еще более примечательным и важным представилось другое, а именно — систематически организуемые в Марцане так называемые «диалоги» проектировщиков и будущих новоселов, совместные размышления над тем, каким быть новому району.

К таким собеседованиям приурочиваются выставки макетов застройки нового района, с тем чтобы подобные беседы оказывались не поверхностно осведомительными, не только умозрительными, а наглядно впечатляющими даже для тех новоселов, которые не слишком-то компетентны в строительных делах.

Обычно такую конференцию открывает бургомистр района, выступают работники плановой комиссии, строители, транспортники. Ведь пока проект не отлит в бетонную плоть зданий и кварталов, многое можно еще раз взвесить, осмыслить, учесть предложения жителей.

— Подобные собеседования расширяют демократическую основу градостроительства,— сказала Ирэна Тиц, и я с нею согласен.— У нас действует еще такое правило,— добавила она,— пока не пройдут диалоги с новоселами, пока не будут учтены все их просьбы и замечания, архитекторы строительного комбината вообще не могут рассчитывать на утверждение проекта магистратом.

Я же подумал о том, что это хорошая инициатива, безусловно достойная подражания.

Обо всем этом я вспомнил в машине, пока мы ехали к Марцану и, приехав, остановились около одной из больших светло-серых бытовок Вонунгсбаукомбината, в помещениях которых, рядом с производственниками, точнее — со службами управления производством, работали и проектировщики и архитекторы. Ну, а перед этим мы проехались и по самому району и походили по его кварталам.

Конечно, одним словом не выразишь всю гамму впечатлений, не ответишь одной формулой на вопрос — почему тебе нравится этот градостроительный комплекс? Может, потому, подумал я, что здесь зримо осуществлялась господствующая ныне идея типового, а следовательно, и индустриального строительства, соединенная с поелико возможным архитектурным разнообразием. Но достигалось это, конечно, не отступлением от проектов, а чередованием зданий различной этажности, многоцветной облицовкой фасадов, фигурной керамикой, балконами и лоджиями и обилием стекла и алюминия, что так украшает здания.

И чувствовалась во всем этом еще одна особенность — повсеместная немецкая чистота и аккуратность.

Моя переводчица Сибилла Глезер обратила внимание на ступени подъездов, вытертые до блеска, на сверкающие, как зеркала, окна домов.

— Правда, ведь сразу видно, кто здесь живет? — спросила она.

— Кто же? — спросил я, собственно уже догадываясь об ответе, но привлеченный той очевидной ноткой гордости, которая прозвучала в ее голосе.

— Немцы! — кратко бросила она.

Затем в одной из комнат бытовки я встретился с проектировщиками Вонунгсбаукомбината. Их было трое: Гютлер Олаф, Бехтер Манфред и Штейман Клаус Иорген, все сравнительно молодые люди.

Разговор наш завязался главным образом вокруг проектов зданий, которые строятся в Берлине и в Москве, и вокруг организационного принципа сотрудничества производственников с проектировщиками и архитекторами.

Клаус Штейман, темноволосый, спортивного вида архитектор, сказал мне, что в комбинате сейчас осуществляется пять проектов зданий, начиная от шестиэтажных без лифта и кончая высотными в двадцать пять этажей.

— Неужели вы делаете шестиэтажки без лифта? — удивился я.— Сейчас в Москве от них отказались начисто.

— Строим, и в значительных количествах,— подтвердил Штейман,— ибо считаем их экономически рентабельными.

Я заметил, что дом без лифта, конечно, дешевле, но невысокие дома занимают большие площади, растягиваются линии коммуникаций, транспорта, в конечном счете это удорожает стоимость и домов, и всего района. Я опирался не на свои выводы писателя, а на выкладки главного экономиста Домостроительного комбината № 1 в Москве Петра Давыдовича Косарева, которого хорошо знают берлинские строители. Опытный экономист, свободно владеющий немецким языком, он частый и желанный гость в Вонунгсбаукомбинате.

— У нас существуют нормы расселения жителей на гектаре площади. И мы в эти нормы укладываемся. Теперь посмотрим на экономию,— сказал мне Штейман,— в шестиэтажном доме у нас квартира стоит тридцать пять тысяч марок, в одиннадцатиэтажном — сорок две тысячи марок, в высотном, скажем, в двадцать этажей — уже семьдесят тысяч марок. Как видите, высотные дома очень дорогие.

— Да, но они высотные,— возразил я, хотя на меня этот финансовый расклад Штеймана произвел определенное впечатление.— За красоту надо платить, за удобства людей тоже,— добавил я.

— Деньги есть деньги, их надо беречь,— стоял на сво-

ем Штейман.— И есть еще проблема с металлом. На одиннадцатиэтажный дом уходит тысяча четыреста двадцать три килограмма металла, а на шестиэтажный — тысяча двести девятнадцать. Разница ощутимая. Металл мы экономим и на лифтах.

— Вот бытовки ваши мне очень нравятся,— заметил я, явно стараясь закончить спор на примирительной ноте и перевести разговор на другую тему. Во-первых, потому, что я не экономист, не проектировщик и мне трудно было продолжать этот диалог на определенном профессиональном уровне. А во-вторых, оказалось достаточно и того общего впечатления, которое сложилось у меня. Проблемы экономики не просты, их решают всякий раз применительно к условиям того или иного города, республики. И в Москве, и в Берлине стали тщательнее считать деньги, взвешивать экономику на весах рентабельности.

— Так вот бытовки,— продолжал я.— По сути дела, у вас это легкие переносные сборные домики со всеми удобствами. Работать здесь, конечно, удобно, хорошо. На наших стройках таких домиков пока нет.

— Да, удобные,— согласился проектировщик Олаф.— Многим нравятся. Вот югославы, так те даже купили у нас лицензии.

— Это можно понять,— заметил я. И продолжал:— В вашем Вонунгсбаукомбинате проектировщики, архитекторы находятся в штате строительного предприятия. У нас, в Москве, как вы знаете, дело обстоит не так. Архитекторы работают в своем институте, проектировщики в своем, и называется он институтом типового проектирования. Вот товарищи Олаф и Манфред считают вашу систему наиболее целесообразной с точки зрения интересов самих строителей. Но, может быть, это и не всем нравится. Ваше мнение, архитектор?

Я адресовал этот вопрос Штейману.

— Вы, наверно, чутьем угадали, мне как раз больше нравится ваша система, когда архитекторы собраны в институте,— ответил Штейман.— На стройке я больше организатор, а не творец,— заметил он после паузы.

— А как же авторский, архитектурный контроль за строительством?

— Это с успехом могут осуществлять сами прорабы, опытные бригадиры, все они хорошо читают чертежи. А вообще-то,— добавил Штейман,— хотелось бы больше контак-

тов, обмена опытом не только между рабочими наших стран, но и между проектировщиками, архитекторами.

Я слушал немецких товарищей и думал, что такое обмен опытом через границы? Это и деловые споры, и сравнения, это поиски оптимальных решений и, в конечном счете, взаимное обогащение. Есть такой расхожий силлогизм. Допустим, два человека обменялись яблоками. В результате у каждого останется по одному яблоку. А если они обменялись идеями? То теперь у каждого будет по две идеи, а следовательно, каждый станет на идею богаче.

Это, на мой взгляд, в полной мере относится к обмену теми организационными, технологическими новациями, теми рабочими открытиями, которыми так богата созидательная практика социалистических стран.

Широкий обмен опытом предполагает, да и немыслим без человеческих контактов, близкого знакомства, завязывания дружбы и многолетних привязанностей между людьми. В среде строителей я это наблюдал неоднократно.

И пока я слушал проектировщиков и ходил по новому району Марцану, пока мы беседовали о проблемах экономики, я невольно думал и о личных контактах двух главных экономистов московского и берлинского комбинатов, о деловой дружбе Петра Давыдовича Косарева и Ирэны Тиц. Они поддерживают эту дружбу не только поездками друг к другу (Ирэна Тиц не раз бывала в Москве). Но и перепиской, телефонными разговорами, постоянным вниманием к работе, в которой так много общего.

В эту осень с Ирэной Тиц познакомился и я. Женщина на должности экономического директора — явление не столь уж частое. Ирэна Тиц вышла из рабочей семьи, год разгрома фашизма встретила пятнадцатилетней девчонкой, закончила сначала экономическое училище, работая в химической промышленности, заочно училась в институте планирования и экономики и в Университете имени Гумбольдта изучала математику. И уже с этим багажом опыта и знаний пришла в строительство.

Мы беседовали в ее кабинете на улице Родигерштрассе, где находится управление комбинатом, на улице, хорошо мне памятной по прежним посещениям, и я обратил внимание на деловое, строгое обустройство кабинета Ирэны Тиц и на то, что она разговаривала со мной с карандашом в руке, все время производя быстрые расчеты на листе бумаги и вспоминая цифры, стараясь быть предельно точной.

Член партии вот уже более двадцати лет, экономист, на-

деленная большой ответственностью, мать взрослого сына и молодая бабушка, Ирэна Тиц пользуется на предприятии авторитетом и уважением. В ее руках все рычаги управления рентабельностью, эффективностью производства, вся система стимулирования премиями, все финансовые фонды, она имеет непосредственное отношение и к методам организации производства, и тут, к слову будь сказано, высоко оценивает метод нашего знатного строителя Николая Злобина, бригадный подряд, который широко распространен в Вонунгсбаукомбинате.

— Метод Злобина,— сказала мне Ирэна Тиц,— самый лучший с точки зрения совпадения коллективных и личных интересов рабочих.

Разговор зашел о трудовой дисциплине, которая связана с производительностью труда.

— Мы намерены сократить,— сказала мне Ирэна Тиц,— число работающих па комбинате на восемьсот человек, они получают рабочие места на других предприятиях и все расходы намерены снизить на пятнадцать процентов. Это значительная цифра. Будем сокращать и число работающих в бригадах. Это тоже вытекает из метода Злобина — меньшим числом людей выполнять больший объем работы.

Я поинтересовался у Ирэны Тиц, нет ли на комбинате дефицита рабочей силы?

— Нет, рабочих у нас в бригадах в основном хватает, но если говорить об особенностях нашей премиальной системы, то она предусматривает дополнительное вознаграждение тех рабочих, которые работают во всех трех сменах. И ночью тоже. Они получают дополнительно сто пятьдесят марок в год. И кроме того, в ночных сменах мы даем им еще и бесплатный ужин.

— Это любопытно,— заметил я.— Значит, необходим стимул для работы в ночные смены.

— Да, именно для ночной работы людей у пас не хватает. Поэтому мы даже в Марцане ведем в иных бригадах только двухсменную работу. Ночью не очень-то люди хотят работать.

Я развел руками.

— Я думал, что в вашем комбинате такой проблемы не возникает.

— Всюду возпикают проблемы трудовой сознательности, осознанной дисциплины, выполнения своего рабочего долга,— сказала Ирэна Тиц.— Все знают, что ночью на

стройке работать труднее. Вот мы и посчитали нужным эти трудности как-то компенсировать.

— Из какой статьи вы берете эти деньги? — поинтересовался я.

— У нас есть значительные культурно-социальные фонды, вообще премии стимулируют и многое другое — в первую очередь темп работы и ее качество, у нас действует пять разрядов оценки качества возведения домов, и высший разряд определяется цифрой «один». Рабочие в нашем комбинате зарабатывают хорошо. Я знаю, что и в ваших передовых бригадах, которые работают в темпе: три дня — этаж дома, заработки тоже высокие.

И Ирэна Тиц с удовольствием вспомнила, как летом 1981 года она приезжала в Москву, была гостем Петра Давыдовича Косарева, много ездила по нашим московским стройкам, и особенно по стройкам Домостроительного комбината № 1.

— Нас было десять человек в делегации, и среди них я единственная женщина,— сказала Ирэна Тиц.— О приезде нашей группы сообщали даже в газете «Правда». Наши товарищи работали на стройках Москвы, непосредственно передавая свой опыт, свои навыки. А что может быть убедительнее такого показа?!

— Ну, а вы энергично осваивали экономическую службу в ДСК-1? — спросил я, ибо слово «энергично», на мой взгляд, определяло главную черту в облике Ирэны Тиц. Ей необходимо было много энергии и для работы, и для того, чтобы сидеть за рулем своего «трабанда», который она сама водит по Берлину, и каждый день приезжает на работу или от своей квартиры в городе, или с дачи в Рансдорфе, местечке примерно в сорока пяти километрах от Берлина.

— И энергично, и, может быть, даже с некоторой конструктивной критикой,— ответила, улыбнувшись, Ирэна Тиц,— есть ведь и различия в подходе к некоторым вопросам. Это естественно. Вот мы говорили о бригадном подряде, и мне хотелось бы подчеркнуть, что у нас этот метод действует уже семь лет с некоторыми поправками, продиктованными нашей практикой. Мы, скажем, твердо стоим на том, чтобы рабочие материально не страдали, если какие-то сбои в строительстве происходят не по их вине. Тогда им выплачивается средняя зарплата. И у нас рабочие монтажники, скажем, не отвечают за подводку коммуникаций к домам

или за полное озеленение, а оценивается только их непосредственная работа на монтаже или же отделке домов.

Ирэна Тиц написала потом деловой отчет о своей поездке в Москву, изложила свои мысли, впечатления, и отчет этот изучали в обоих комбинатах. Такие же отчеты пишет и Косарев после каждой своей поездки в Берлин. А однажды он выступал с докладом об опыте немецких строителей в Главмосстрое.

Буквально через неделю после моего приезда из Берлина в Москву Косарев вновь в декабре 1982 года повез в столицу ГДР группу московских строителей. Группа эта состояла главным образом из женщин-штукатуров, которые показывали свое умение на Берлинском заводе железобетонных изделий № 5, он входит в структуру Вонунгсбаукомбината.

Их работу мне наблюдать не пришлось, и я могу лишь сослаться на авторитетное свидетельство Косарева о том, что работали наши строители очень хорошо, особенно молодые женщины, что многие их приемы и темпы произвели впечатление на немецких коллег. Так что рабочим берлинского завода есть чему поучиться у своих московских товарищей. В конце двухнедельного пребывания москвичей в Берлине был заключен договор на соревнование между бригадой Анатолия Подсосникова с Ростокинского завода железобетонных изделий и бригадой Литера Кёнига с берлинского завода № 5.

Хочется особенно подчеркнуть два примечательных факта. Первое: взаимообогащение опытом перешло ныне с монтажных площадок в пролеты заводов, а следовательно, обрело более широкую базу, новые возможности. Эти деловые поездки рабочих становятся все более эффективными. И второе, заслуживает внимания новый почин по укреплению дисциплины труда, родившийся на этом заводе.

В переводе с немецкого формула этого почина звучит примерно так: «Пять минут от нас, пять минут для нас!» Что это значит? А то, что рабочие, приходя на смену за пять минут до начала, успевают все подготовить для производительной работы, и в результате они делают больше продукции «для нас», то есть для себя, для народа. Почин тот получил популярность на заводе, вообще в Вонунгсбаукомбинате, и, мне кажется, он заслуживает внимания и наших московских строителей.

Как бы ни были привлекательны перипетии экономики, интересны рабочие почины, все же главное дело писателя — это, конечно, люди. Я вновь думаю о Суровцеве и Кольмане,

Ирэне Тиц и Косареве, о женщинах-штукатурах из московского домостроительного комбината.

Недавно мне попалась книга воспоминаний знатного штукатура Алексея Михайловича Пиванова. Книга называется «50 лет на стройке». Пиванов принадлежит к поколению стахановцев первой пятилетки. Начинал же он в тридцатые годы, в артелях каменщиков-сезонников. Вот маленький отрывок из его воспоминаний:

«...Нам повезло, нас нанял подрядчик — штукатурить двухэтажный дом. Соскучившись по настоящему делу, артель весело принялась за работу. Я из сил выбивался, таская на верхний этаж раствор и алебастр. И все бегом, вверх-вниз, по грубо сколоченным настилам. Ящик трет спину, лямки режут плечи и руки. Соленый пот попадает в глаза, только успевай утирать лицо рукавом рубахи.

Вечером доберешься до сарая, где мы остановились, и валишься без сил на кровать. Собственно, кровати никакой не было. Просто настил, как на стройке, присыпанный стружками. Вместо подушки — мешок из-под алебастра, набитый теми же стружками... Одеяло — свой пиджачок. Но все это было нипочем. Дома я тоже не привык к простыням да одеялам. Спал на стружках как убитый до самой побудки, очень ранней...»

Есть в книге и фотография «Сезонники приехали». Шагают от вокзала люди в армяках, в лаптях, с топором и пилой за плечами, в холщовых штанах, шагают на стройки, чтобы работать там вручную — с лопатами, ломами, тачками...

Как изменилась рабочая жизнь за несколько десятилетий! Если бы тому же Пиванову сказали в пору его юности, что скоро придет время, когда сам он или его ученики, дети и внуки, будут жить так, как живет сегодня Анатолий Суровцев или девушки-штукатуры из ДСК-1, поверил бы он в это? Мог ли сезонник-артельщик представить себе государственный уровень мышления современного бригадира монтажников или штукатура, который стремится вникать в тождества и различия международного опыта строителей, получая от всего этого реальную пользу?

Наверно, тогда это могло показаться только фантастикой. А ныне такая практика международного трудового общения рабочих стала нормой жизни, никого уже не удивляющей. И уже сегодня мы извлекаем из содружества рабочих социалистических стран ценные практические и нравственные уроки.

НА СТАРОМ ПРЕСНЕНСКОМ ВАЛУ



етверть века дружбы с заводом и институтом. Вот из чего выросли эти мои наблюдения за многими свершениями на фронте литейной техники. 25 лет тому назад я принимал участие в создании коллективной писательской книги по истории завода, кстати говоря, в 1984 году ему исполнилось сто лет. И с тех пор я прирос душой к заводу, бываю здесь часто, не раз писал о людях, и все, что происходит в этом интереснейшем уголке Красной Пресни, не оставляет меня равнодушным.

Какой же это завод и институт? Оба они находятся на теперешнем оживленном Пресненском валу, на широкой красивой улице, застроенной многоэтажными домами. Тут же и скромный подъезд с белыми прямоугольными колоннами, тремя близко расположенными дверьми, могущими сойти и за входные двери обычного жилого дома. Это и есть центральная проходная, ведущая на завод, носящий имя Красной Пресни, и к большой каменной лестнице, за которой метрах в двадцати высится 14-этажное здание из стали, стекла и бетона, внушительный четырехгранник ВНИИлитмаша — мозгового центра той технической революции, происходящей ныне в литейной промышленности страны.

И не каждый идущий мимо знает, что именно тут, за воротами завода, восемьдесят один год назад кипели революционные страсти, действовала боевая дружина, с оружием в руках дравшаяся за рабочее дело.

Когда 10 декабря 1905 года вся Москва покрылась баррикадами, а на Прохоровской мануфактуре расположился штаб восстания, дружине завода Грачева поручили оборонять четвертый участок, который охватывал Пресненский и Грузинский валы и Курбатовский переулок до Сенной (Тишинской площади). Вместе с дружиной Брестских мастерских она же охраняла Малые Грузины.

В неравном бою ряды дружинников заметно редели. Дальнейшее сопротивление при явном превосходстве сил противника могло привести к поголовному истреблению мужественных защитников Пресни.

Подчиняясь приказу штаба, Московского комитета

РСДРП и Исполнительного комитета Московского Совета, дружинники 18 декабря организованно прекратили борьбу, сдали штабу оружие и, оставив баррикады, разошлись.

В те же дни Московский комитет партии обратился к рабочим с листовкой, где говорилось:

«Славные борцы за свободу и счастье рабочего класса, бессмертные защитники баррикад доказали и нам, и рабочим всей страны, что мы можем бороться не только с ружьями и нагайками, но и с пушками и пулеметами... Мы не побеждены... Но держать без работы всех рабочих Москвы дольше невозможно. Голод вступил в свои права, и мы прекращаем стачку с понедельника. Становитесь на работу, товарищи, до следующей, последней битвы! Она неизбежна, она близка...»

Каким мужественным и вдохновенным, каким страстным и человечным бывал язык революционных приказов и обращений тех лет!

В ту пору предприятие принадлежало инженеру Грачеву и купцу Верхоланцеву, объединившимся под общей вывеской «Фирма Грачев и К°». Небольшие производственные помещения с единственной паровой машиной, десятком станков, скромным кузнечным оборудованием. Производил тогда заводик прессы, насосы, болты, гайки, пожарные трубы, иногда по особым заказам и могильные кресты, садовые ограды или железные двери для лабаза какого-нибудь купца. Хоть и не внушительная продукция, а труд людей, ее изготовляющих, был тяжек, рабочие приходили на завод в шесть часов утра и уходили в семь вечера.

Я как-то упомянул об этом в одном из своих радиовыступлений, и вдруг у меня дома раздался телефонный звонок, удививший меня, необычный отклик на передачу, звонок как бы из далекого прошлого. Позвонила вдова бывшего заводовладельца с Пресненского вала — Грачева. Ей показалось, что я недостаточно уважительно отозвался о старом дореволюционном заводе.

Нет, отозвался вполне уважительно. Но ведь писать надо всю правду. И как работалось, и как жилось рабочим. Мне бы хотелось, чтобы современный читатель представил себе ясно и зримо дореволюционную литейку на грачевском заводе: мрачное помещение с низким потолком, земляным полом, покрытым ямами, с удушающей атмосферой непроветриваемой гари — от горелого металла, горелой земли, с примитивными вагранками, с полным отсутствием заботы об охране труда и технике безопасности. Да и заработка рабо-

чих едва хватало на пропитание. Жилье предоставлялось убогое — комнатушка на три — пять человек считалась жилищной нормой в деревянных домишках, в трущобах старой Пресни.

Можно долго листать страницы заводской летописи. С началом Октябрьского вооруженного восстания в Москве красногвардейцы грачевского завода влились в красные отряды московских пролетариев. Начиналось новое время, новая история завода на Пресне. Годы, опаленные дыханием гражданской войны, первые мирные годы труда всегда невольно вставали в моей памяти, когда из года в год, миновав железные ворота проходной, я входил на заводскую территорию, попадая вначале на небольшую асфальтовую площадь между цехами, в центре которой высился зеленый островок из деревьев и цветочных клумб. Вот там-то на гранитном пьедестале стоял бюст Владимира Ильича, небольшой памятник Ленину как вечный символ революционного обновления, как знамя, осеняющее поступательное движение жизни.

На путь создания литейных машин завод встал еще в годы предвоенных пятилеток. Однако это движение к автоматике, к созданию эффективной литейной техники на какое-то время остановила Отечественная война. И по сей день заводские старожилы, ветераны завода, которых становится все меньше, помнят, как в июле сорок первого, в день первого воздушного налета на Москву, большая бомба угодила в производственное помещение завода, разрушив несколько цехов.

Словно бы предчувствуя возможную катастрофу, конструкторы заранее начали эвакуацию чертежей из технических архивов. Однако основная часть их еще оставалась на заводе, когда помещение потряс взрыв бомбы.

В ту ночь сгорели почти все чертежи новых литейных машин, их с великим трудом пришлось восстанавливать, когда завод после победы вновь приступил к созданию литейных автоматов и полуавтоматов, совершенствуя достигнутое и добытое многолетним опытом.

Сорок послевоенных лет — срок для любого завода немалый. Иные старые цеха, которые я хорошо помню, уже не существуют вовсе. Другие заводские уголки хотя и можно узнать, но они представляют собою скорее историческую и музейную редкость. Завод находится в гуще московских кварталов, он так плотно вписан в геометрию района, что

расти-то может только вверх, модернизируя оборудование, насыщаясь новой техникой.

Признаться, есть всегда какая-то доля горечи в свидетельствах очевидцев перемен даже самого благодатного свойства. И вовсе не потому, что жалко устаревшее, идущее на слом. Нет, конечно. А потому, что эти приметы прошлого связаны в памяти с людьми, которых знал и любил, ведь многих из них уже нет с нами.

Когда-то в этих старых литейках и экспериментальных цехах работали, искали, мучились над чертежами и моделями, страдали и побеждали люди сравнительно молодые и просто молодые, талантливые, полные энергии и сил конструкторы и рабочие.

И Николай Николаевич Морозов — создатель первых семейств литейных автоматов, энтузиаст своего дела, и одаренный слесарь-наладчик Владимир Иванович Баринов, и его старший товарищ-фронтовик Михаил Ефимович Игнаткин, смонтировавший у себя на Красной Пресне и на других заводах в стране множество автоматических линий.

Всегда встречи с ними приносили мне радость.

В старых, снесенных цехах и в новых в разные годы я наблюдал за работой высококвалифицированных слесарей-сборщиков Анатолия Егоровича Перевезенцева (он стал затем начальником цеха), Федота Туткина, Виктора Панфиленкова, Владимира Марсакова.

Они много ездили по стране как шефы-монтажники и наладчики, как своего рода «полномочные послы» вновь внедряемой литейной автоматики.

Если бы я составил таблички с маршрутами этих поездок, с наименованием заводов, где в разные годы работали Баринов и Игнаткин, Перевезенцев, Марсаков, Панфиленков — слесари-сборщики с творческой жилкой, со стремлением внести что-то свое, новое в совершенствование, в отладку механизмов, и профессиональные конструкторы Морозов, Колбасов, Христов, Бережанов, то эти маршруты протянулись бы от Москвы «до самых до окраин», в десятки важнейших индустриальных центров страны.

Такими деловыми точками, где рядом, плечом к плечу, соединяя знания, опыт, работали вместе конструкторы и рабочие «Красной Пресни», стали бы Рязань и Липецк, Одесса, Свердловск, Ленинград, Омск и Рыбинск, Ярославль и Миасс, Караганда и Минск, Волгоград и Пенза. И всюду входящие в строй на заводах автоматические линии приносили с собою не только новую технологию, они совершен-

но меняли облик старых литеек, в корне меняли и характер самого труда.

История любого завода — и большого и малого — это, конечно, не только восхождение по ступенькам технического прогресса. Не в меньшей мере это история рабочих поколений, человеческих судеб, летопись будничного труда, освещенного энергией и вдохновением коллектива.

История завода — это, в конечном счете, история самих рабочих людей, развития их как личностей. И как это нередко бывает, в среде ветеранов всегда найдется человек, чья жизнь связана с заводом многолетним трудом и душевной привязанностью, во многом являет собою живую историю предприятия и вместе с тем фокусирует многое из того, что пережили в разные годы и завод, и все товарищи по профессии, и вся наша страна.

Такое ощущение возникает у меня всякий раз при встрече с моим давним знакомым слесарем-сборщиком Александром Дмитриевичем Александровым. Можно сказать, что все в этом человеке крупно — руки, плечи, голова. Высокого роста, он движется между станков и сборочных стендов с удивительной легкостью. У крупных, так сказать, габаритных людей часто бывают добрые лица. И лицо Александрова сразу привлекло меня выражением той спокойной доброты, той ясности духа, которые чаще всего — свидетельство прочно укрепившегося с годами удовлетворения работой, жизнью.

Впервые об Александрове я услышал давно, более двадцати лет назад. Он был одним из тех, кто организовал на заводе первую экспериментальную мастерскую по созданию новых моделей машин. Я помню этот большой, почти неотапливаемый каменный сарай, где было не только холодно, но и неуютно. Самый молодой из слесарей Виктор Панфиленков сделал себе тряпичный мяч и, разогреваясь в перерывах, гонял его по бетонному полу будущей мастерской.

Постепенно оборудовали первый станочный пролет, подготовили стенды для сборки. Бригада составилась из ребят умелых и знающих, из тех, про кого на заводе говорили: «рабочие инженерного ума». Ведь работа в экспериментальном цехе требовала от каждого слесаря смекалки, самостоятельности, инициативы. Каждую новую машину надо было еще и полюбить. Без этого нельзя преодолеть множество трудностей, возникающих при монтаже, апробировании, внедрении новой модели.

Сейчас я жалею о том, что двадцать лет назад я не со-

шелся близко с Александровым, а больше внимания уделял Баринову и Игнаткину, бывал у них дома, познакомился с родными, ездил по их маршрутам, скажем, на Рязанский литейный завод, где в цехе мелкого литья эти слесари-сборщики вместе с Александровым смонтировали одну из самых первых автоматических линий, которая работает и по сей день. Но зато мы подружились позже.

Александровы — рабочая династия. Я нередко спрашиваю себя, существуют ли определенные, так сказать, типично-династические черты в таких семьях, где профессия рабочего переходит из рода в род? Что привносит многолетняя привязанность семьи к заводу в характеры людей, в их мироощущения, в жизненные принципы и правила?

Существует литература о династиях царских, княжеских, о торговых и банкирских домах; куда меньше пишем мы о династиях рабочих. К тому же их и становится все меньше. Велика тяга к образованию, широки здесь возможности, и часто у рабочих-отцов дети уже инженеры, ученые, люди иных профессий.

И все же! С рабочими династиями в нашем общественном сознании всегда связано что-то очень важное, ценное, я бы сказал, некий классовый, социально-генетический код, который в таких семьях передается от поколения к поколению.

Что же это такое? Да вот то столь необходимое в обыденной жизни выполнение своего долга. И честность в труде. И рабочая выносливость, и дисциплина. И чувство доброго товарищества. И, наконец, социальный оптимизм, революционная вера в будущее.

Отец Александра Дмитриевича — Дмитрий Васильевич, крестьянин из Подмосковья, поступил на завод в 1917 году. И проработал сорок лет на Пресненском валу, сначала строгальщиком, потом, подучившись, заведовал инструментальным хозяйством. Сорок лет — это серьезная мера привязанности рабочего человека к весьма скромному в те годы предприятию.

— От добра добра не ищут,— сказал мне как-то Александр Дмитриевич.— Не любим прыгать с места на место. Нашел то, что надо, и работай на полную катушку. Наша семья — однолюбы...

И действительно — однолюбы. Жена Дмитрия Васильевича проработала на «Красной Пресне» без малого двадцать пять лет. И рядом с братом и его женой много лет трудил-

ся Василий Васильевич Александров, дядя Александра Дмитриевича, инженер-конструктор.

Я вспоминаю сейчас один разговор. Лет пять назад мы встретились с Александровым в красном уголке цеха, месте сравнительно тихом, где нам не мешали и не отвлекали. А вспомнить Александру было что. Если его отец был участником гражданской, то сам он — Великой Отечественной.

Давно я заметил, что с годами все лапидарнее, порою суше становятся рассказы фронтовиков о пережитом. И не то чтобы происходило некое ослабление чувств, притупление остроты переживаний, естественное с годами, а скорее фронтовикам, знаю это и по себе, многое уже видится иначе: важное, основное укрупняется, детали, подробности забываются. Верно сказал кто-то: мы сейчас больше знаем о войне, но меньше помним. И многое уже не вызывает того душевного отклика, как прежде. Это работает над нашей памятью и чувствами Его Величество Время.

Так вот и Александр Дмитриевич рассказывал о своей военной биографии весьма и весьма скупо, мол, исполнил свой долг, воевал как все. И вовсе не был склонен распространяться о подробностях.

К тому же ему, рабочему человеку, чуждому суесловию, было еще и дорого время, ведь он пришел в красный уголок прямо от стенда, на котором собирал машину. На наш разговор он согласился неохотно, только после просьбы секретаря парткома.

А ведь военная судьба у рабочего Александрова такова, что иной, другого склада человек не уставал бы годами и десятилетиями подчеркивать и пропагандировать свои заслуги.

Александр Дмитриевич ушел в армию с завода в сорок втором. Служил в артиллерии, подружился со знаменитой в годы войны сорокапяткой — противотанковым орудием, которое чаще всего выдвигали вперед для стрельбы прямой наводкой по движущимся танкам. Военная специальность у него была — наводчик орудия. Глядя на Александрова, я пытался представить его себе молодым, должно быть тогда ловким, худым солдатом, сноровисто выполнявшим свои обязанности в расчете сорокапятки, а уж расчеты этих орудий всегда оказывались под огнем.

Начав с Украины, Александров попал затем в Румынию, на поля Венгрии, Чехословакии, Австрии, которую очищал стрелковый корпус от остатков разгромленных фашистских войск.

Да, литейщик Александров основательно повоевал в Европе, ведь он поколесил со своим орудием еще и по дорогам Югославии, а закончил войну в Праге. Видя ликующие толпы людей на улицах счастливой Праги, он решил было, что закончил войну, но вот проходит несколько месяцев — и перед Александровым простирается долгая и длинная дорога на восток, на войну с Японией, и снова расчет сорокапятки в боевом строю.

— Надо и эту, вторую войну довоевать тебе, солдат,— сказал ему командир батареи.

— Что ж, довоюем, как положено,— ответил Александров. Его корпус совершил переходы через Большой и Малый Хинган, воевал на полях Маньчжурии и закончил свой поход в районе порта Дальнего.

Александров вернулся на «Красную Пресню» после пяти лет службы в Маньчжурии и начал с того самого старенького экспериментального цеха, о котором уже говорилось.

Литейному производству пять тысяч лет. Это один из древнейших видов производства, с которым познакомилось человечество. Древность ремесла — источник богатого опыта, но вместе с тем нередко и рутины, косности. Долгие годы медленно двигался возок технического прогресса в литейном производстве, пока не получил в нашей стране решительного ускорения в послевоенные пятилетки и особенно в наши дни, когда сама жизнь выдвинула актуальную, неотложную и благородную задачу — исключить полностью тяжелый ручной труд, заменить механизмами и роботами человеческие руки, перевести всю технологию на рельсы автоматических поточных линий.

Советский Союз имеет развитое литейное производство. По выпуску литья мы сейчас первая страна в мире. А литые детали — это, по существу, хлеб машиностроения. Более половины веса машин, автомобилей, дизелей, турбин — литые детали. Каждая тонна литья — это новый автомобиль, трактор, станок...

Меру своей ответственности перед отечественным машиностроением ныне отчетливо сознают в институте, так же как и необходимость вывести работу на уровень мировой литейной техники. Не случайно здесь действует запрет проектировать какую-либо автоматику, которая бы уступала за-

рубежным образцам. Это барьер качественный, однако за последние годы значительно выросли и количественные объемы совместной продукции института и завода.

Пожалуй, ничто так не впечатляет, как возможность самому сопоставить во времени происходящие перемены. А я ведь помню этот зеленый заводской двор (ныне в значительной мере потесненный большой лестницей, ведущей к высотному зданию института), и на нем выстроенные для отправки ряды пузатых, примитивных смесеприготовительных барабанов, так называемых «бегунков» — едва ли не основной тогда продукции завода.

Ну, а ныне? В год всеми заводами в стране изготовляется примерно 80—90 комплексных линий, из них 5—6 на опытном заводе «Красная Пресня». А иные из них так велики, что целиком и не вмещаются в старых, хотя и посильно расширяемых пролетах. Но главное отличие новых линий, естественно, не в размерах, а в том, какова теперь автоматика, как сложна, универсальна, насыщена электронными системами.

Не раз в последние годы вместе с Александровым и главным конструктором объединения Ильей Петровичем Бережановым я ходил по пролетам сборочных цехов. Теперь здесь успешно трудится новая «слесарная гвардия», представленная такими уважаемыми сейчас людьми, как Николай Лобанов, Иван Францев, Николай Шеховцев, Андрей Федоровский. Все это деятельные помощники и верные друзья конструкторов и конечно же того главного, кто осуществляет техническую политику в научно-производственном объединении.

Илья Бережанов! Когда-то его конструкторское бюро размещалось в полуподвальном помещении филиала института в Измайлове. Помню тесно расставленные кульманы, молодые лица сотрудников.

Есть пословица, утверждающая, что не место красит человека, а человек место. Сколько в нашей стране небольших, мало кому известных заводов, скромных конструкторских бюро! А какая идет в них интересная творческая жизнь, какие вершатся дела!

К ним еще и десять лет назад принадлежало бюро Бережанова. Уровень проектного творчества и тогда был здесь высок. Не случайно же Илья Петрович не раз выезжал на литейные предприятия Англии, посещал известные фирмы. Конструктор Бережанов был интересен и западногерман-

ским коллегам, ибо мощных центролитов в ФРГ нет, они родились в СССР и США.

— Всю жизнь я отдал внедрению автоматики,— сказал он мне,— тернистый это путь. Но единственно верный. Молодым я удивлялся — почему не внедряют автоматику повсеместно, ведь она так необходима. Десять лет я подбирался к этому делу, конструировал лишь оснастку. А когда взялся за главное, понял, не автомат трудно создать, а людей к нему приучить, перестроить сознание.

И вспомнил красноречивый исторический пример. Когда Генри Форд в двадцатые годы нашего века на своих заводах менял технологию, он распорядился не принимать на работу ни одного литейщика, чтобы он не внес рутину. На освоение новых конвейерных линий он брал кого угодно — слесарей, матросов, официантов, только не опытных литейщиков. Учить всегда легче, чем переучивать, это известно давно. Может быть, эти страхи были преувеличены или же, как всякая легенда, обросли преувеличениями, но Бережанов уверял, что так это и было.

Я видел уже и в ту пору, что бюро Бережанова находится, как выразился Илья Петрович, «в состоянии набора высоты». Он имел в виду уровень, качество новых разработок — научных, конструкторских. Свидетельства этому находились тут же — на чертежных досках, где разрабатывались линии со все более усложняющимися системами управления. Уже тогда в бюро переходили на электронно-вычислительные машины, которые могут давать сложные команды не на одну автоматическую линию, а сразу на несколько линий, или, как здесь говорят, «блоков».

В ту же пору на московском заводе «Станколит» я наблюдал за работой первой автоматической линии. У финиша конвейера, где происходила разливка жидкого металла в литники опок, трудилось только двое рабочих: девушка за пультом управления линии и литейщик с ковшом. Вот для того чтобы на линии оставалось только двое и труд их был легок, люди ломали головы в течение многих лет, упорно и постепенно «доводили линию», а затем «дорабатывали ее» уже на самом «Станколите».

Теперь Бережанов работает не в Измайлове, а на Красной Пресне. Все бюро, все отделы ВНИлитмаша собраны в одном здании. А то ведь в былые времена ходила шутка о том, что ВНИлитмаш — самое устойчивое учреждение: оно рассредоточено в 13 местах Москвы...

Шаги технического прогресса! Возможно, они могли быть

более решительными, масштабными, но в любом случае их реальная поступь наглядна и очевидна, если ты даже и не специалист в этой области, а вот так, как я, в течение длительного времени следишь за развитием конструкторской мысли, инженерных поисков.

Как далеко ушли теперешние механизмы от тех устройств, которые именуют «автоматами первого поколения» и которые я преотлично помню.

— Видите, у нас на стендах все больше появляется манипуляторов, по сути дела упрощенных роботов, которые заменяют собою человеческие руки,— сказал мне Бережанов, когда мы ходили с ним по заводу.— Теперь это их забота,— продолжал Илья Петрович,— вытащить из формы горячую чугунную отливку, перенести ее на конвейер. Человек у машины, конечно, полностью не исчезает, но доля его физического труда уменьшается до минимума.

Потом Илья Петрович заметил, что новейшие автоматические линии, над которыми они сейчас работают, освобождают не только рабочих, но и инженерно-технических работников, их обслуживающих, ибо линия сама себя контролирует, меняет модельную оснастку, сама себе — диспетчер и технолог.

— Значит, вы работаете над уничтожением своей инженерной профессии? — пошутил я.

— В ее примитивном использовании — да,— твердо ответил Бережанов,— но остается и всегда будет нужен инженер-мыслитель, конструктор, творец... Не думайте, что самое сложное дело,— размышлял далее Бережанов,— это создание головного образца автоматической линии. Труднее бывает вторая часть задачи — налаживание творческих контактов между заводом-изготовителем и заводом-заказчиком, «приживление линии», выход ее на оптимальную мощность.

...Мы подошли к стенду, где работает один из таких головных образцов — стержневой автомат, собранный руками Александра Дмитриевича Александрова. Ничем он уже не походил на тот давний, пятидесятых годов, механизм, похожий на металлическую карусель, который, вернувшись из армии, тоже собирал Александров.

— Это наша новая машина, на уровне мировых образцов и, кстати, для массового производства,— заметил Бережанов.— Она и должна работать как телевизор: включил и сиди. К этому стремимся...

Пока автомат, ритмично постукивая на холостом ходу,

методично совершал свои циклы, а рабочий Александров и главный конструктор Бережанов смотрели на него, как действительно смотрят в телевизор, я пошел по другим пролетам. Позже ко мне присоединился Бережанов, и мы осмотрели сборочный цех, где почти весь станочный парк, как сказал Илья Петрович, «был переоборудован на ЧПУ», то есть на станки с числовым программным управлением. Автоматизация ныне затрагивает все звенья производства. Но вот явление, с которым трудно мириться. У некоторых из этих дорогих и замечательных приспособлений пустовали рабочие места. Станки стояли: в цехе не хватает рабочих рук. Автоматизация, к слову, стала непреложным требованием времени еще и в силу этого обстоятельства.

Проблемы автоматики и «роботизации», как выразился Илья Петрович, развивающейся сейчас очень широко и повсеместно, особенно остро стоят именно в литейном производстве. Именно здесь необходимо сделать труд легким, заинтересовать современную рабочую молодежь сложной техникой и по-настоящему увлекательной работой в литейной индустрии.

В 1957 году на конгрессе в Мадриде наша страна была принята в Международное объединение литейщиков. Сороковой юбилейный конгресс (они проводятся с 1927 года) был созван в Москве и осенью 1973 года открылся торжественным заседанием в Большом Кремлевском дворце.

Полезность международных научных и технических форумов бесспорна. В мире работает более чем двухсполовинomиллионная армия литейщиков. Громадный практический опыт требует осмысления, научные достижения — самой широкой проверки, использования.

Московский конгресс был очень представительным. Он объединял литейщиков двадцати шести стран. Лишь в советскую делегацию входило четыреста человек. Это были академики, профессора, виднейшие хозяйственные руководители, директора, главные инженеры заводов. Многие из героев этого очерка тоже были участниками конгресса.

На заседаниях участвовали и собственно литейщики и представители смежных, родственных производств и отраслей знаний — станкостроители, работники судостроительной, автомобильной, авиационной промышленности, тяжелого машиностроения, различных учебных и исследовательских

учреждений. Такая глобальная заинтересованность в литье характерна для современной индустрии.

Через несколько лет состоялся еще один очередной конгресс литейщиков, теперь уже в Румынии.

Литейный фронт велик! Он связывает сотни заводов, многие страны, науку и производство.

«Научно-техническая революция, развернувшаяся в наш стремительный век, век атома, электрона и полимеров, и совершившая переворот во всех отраслях знаний, не обошла и литейное производство».

Слова эти вошли в программу Московского юбилейного конгресса. Они были помещены ниже девиза, под которым конгресс проходил. А девиз гласил: «Человек, наука и техника в литейном производстве».

Мне хочется особо подчеркнуть слово — Человек! Советский человек!

Принято сознавать, что мы уже выходим по многим позициям на передовые рубежи мировой литейной техники. И несомненны большие, энергичные усилия, совершаемые в нашей стране, в столице, на старом Пресненском валу для того, чтобы превратить древнейший и вечно молодой труд советских литейщиков в высокоавтоматизированный, эффективный и радостный.

В КРАЮ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ



ладивосток, по знаменитому определению Владимира Ильича Ленина, город «нашенский» — украшение и слава легендарного Приморья. Это край особенный, овеянный романтикой, неповторимо красивый, с огромными просторами земли, тайги и океана, с редкими по разнообразию природой и климатом.

Центр экономической, научной, культурной жизни края, Владивосток — город с удивительной биографией, на знамени которого ныне орден Октябрьской Революции. Трудно удержаться от того, чтобы не привести несколько штрихов из истории Владивостока.

В 1859 году русский пароход-корвет «Америка» вышел в рейс с задачей обследовать берега южной части Примо-

рья и примыкающие к ним воды. На борту судна находился генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев. Он осмотрел огромный залив, по которому плыл корвет, и нарек его именем Петра Великого.

А через год, теплым июньским днем 1860 года, в одной из лучших бухт залива Петра Великого, названной Золотой Рог, отдал якорь русский военный транспорт «Манжур». Через несколько часов на первой очищенной от таежного леса площадке поднялась деревянная мачта с государственным флагом России. Так был заложен пост Владивосток, в будущем порт и крепость на Тихом океане.

Любопытно, что через тридцать лет, в 1890 году, путешествуя по этим краям, Антон Павлович Чехов писал:

«Когда я был во Владивостоке, то погода была чудесная, теплая, несмотря на октябрь, по бухте ходил настоящий кит и плескал хвостищем, впечатление, одним словом, оказалось роскошное... Устрицы по всему побережью крупные, вкусные. В июле или августе, если здоровье позволит, я поеду врачом на Дальний Восток. Быть может, побываю и во Владивостоке». (Из письма к Б. А. Лазаревскому).

Кому не известны героические страницы истории гражданской войны на Дальнем Востоке, где были уничтожены последние остатки армии Колчака, разбиты войска интервентов.

«Перед нами стояла тогда задача не столько обороны Дальнего Востока, сколько наступления, чтобы выгнать всю сволочь из Владивостока, стать твердой ногой на Тихом океане и сказать: «С сего дня знамя Дальневосточной республики превращается в знамя Союза»,— писал в те годы Василий Блюхер.

Годы мирного строительства на Дальнем Востоке были ознаменованы не менее героической летописью самоотверженного труда. Во Владивостоке создавался большой город и большой, мирового значения порт. Все здесь было — от моря и для моря. В том числе и промышленность. Так, через двадцать пять лет после возникновения крепости Владивосток, в 1885 году, кустарные деревянные мастерские военного порта уступили место механическому заводу. Он должен был служить флоту, торговому, рыболовецкому. Через десять лет состоялось торжественное открытие предприятия, именуемого просто Дальзаводом, широко известным в крае.

Почти ровесник города, Дальзавод рос и развивался вме-

сте с ним, мужал, встречал испытания, познавал радости и невзгоды. Город давал заводу людей, они переплавлялись в горниле рабочей жизни, переплавлялись в пролетариат и становились силою могучей, революционной, преобразующей и себя и саму действительность.

Ныне Дальзавод, чьи доки раскинулись по огромному периметру бухты Золотой Рог,— одно из самых передовых предприятий Владивостока. На знамени завода — два ордена Ленина за успешное выполнение заданий Родины в годы Великой Отечественной войны и орден Трудового Красного Знамени — за успешное выполнение восьмого пятилетнего плана. Дальзавод носит имя 50-летия СССР.

В конце сентября — начале октября 1981 года во Владивостоке проходила Всесоюзная творческая конференция писателей, посвященная героике борьбы и созидания, революционно-патриотическим традициям советской литературы и творческому наследию А. А. Фадеева. Мне довелось принимать участие в работе конференции, ставшей, несомненно, крупным событием в общественно-литературной жизни страны.

Особую весомость придавал этому разговору представительный, многонациональный характер писательского форума, его «всесоюзное дыхание», масштабность поставленных проблем. И конечно же то обстоятельство, что жизненным плацдармом для писательских размышлений и наблюдений стал Дальневосточный край — вторая родина Александра Фадеева.

Конференция во Владивостоке происходила вместе с Днями литературы. Это уже установившаяся традиция в работе Союза писателей. По сути дела, конференция и продолжалась, и углублялась во многочисленных встречах с читателями Владивостока и Артема, Арсеньева и Спасска, Уссурийска и Находки, других городов, в цехах заводов и кубриках рыболовецких кораблей, на пограничных заставах, у моряков Тихоокеанского военного флота.

С большим интересом мы все слушали на этой конференции выступления работников Дальзавода. Мне понравилось и то, с какой озабоченностью заводчане говорили о воспитании рабочей молодежи, о правильной профессиональной ориентации ее, о нравственном престиже труда, к которому молодежь особенно чувствительна.

Завод не должен стареть во всех смыслах, и в возрастном тоже, молодежь не должна уходить с предприятий, ведь

молодые несут с собою постоянное обновление сил, энергии, дерзаний.

Это проблемы общие для промышленности и вместе с тем окрашенные своим, дальневосточным своеобразием. Экзотикой край не обделен. Но главное его богатство — это люди. Ускоренное развитие экономики быстро формирует личность человека, закаляет его нравственно и духовно. Дальневосточники — люди сильных характеров, всегда способные на подвиг.

Из села Чугуевка, где был открыт первый в стране музей А. А. Фадеева, наша писательская группа направилась в таежный город Арсеньев, город неутомимого исследователя края, автора «Дерсу Узала», книги, которую поддержал и одобрил Горький, сердечно любил Фадеев, ныне Арсеньев, если можно так выразиться, вышел в ранг города, удостоен высокой чести.

Город Арсеньев — молод, ему только 34 года. Однако он уже обрел все формы современного города, удобного для жилья, с достаточным уровнем комфорта. Улицы его широки, дышат простором площади. И повсеместно ощущается стремление сделать его еще и нарядным, утопающим в зелени парков и садов. И кажется, что окружающее Арсеньев «зеленое море тайги», как поется в песне, широко и щедро вливается на эти веселые улицы.

Вадим Николаевич Маслов — первый секретарь горкома,— когда привез нас на сопку Увальную, к белокаменному памятнику Арсеньеву и Дерсу Узала, любуясь сам с высоты панорамой города, сообщил с той сдержанной гордостью, которая и понятна и оправданна, что город Арсеньев, во-первых, самый солнечный в крае (триста солнечных дней в году), и это по милости природы, а во-вторых — самый чистый город Приморья, а это уже стараниями его жителей, средний возраст которых, как и полагается такому молодому городу, около тридцати лет.

Прекрасны в Арсеньеве часы рассвета. Первые лучи солнца касаются синеватых отрогов Сихотэ-Алиня и, окрасив их в розоватые тона, быстро опускаются в лощину, позолотив шпиль телевизионной башни, мазнув светлой краской по крышам высотных зданий, корпусов заводов, выбелив вершинки темнохвойных елей и широколиственных кедров.

Именно в такие часы особенно полно ощущается своеобразие Арсеньева, который так и хочется назвать городом

утренней свежести, городом на заре, которая в нашей огромной стране раньше всего восходит здесь, в Приморье.

Есть одна особенность, и не только Арсеньева, но и многих молодых городов Сибири, которые мне довелось видеть,— они развиваются по общему плану и прирастают сразу большими районами, формируются вокруг очагов индустрии. В Арсеньеве их два — два завода союзного значения. С одним, машиностроительным, носящим звучное название «Аскольд», изготовляющего системы автоматического дистанционного управления для судов, я знакомился с интересом и удовольствием.

Завод современный, с тонкой и точной техникой, которой мастерски овладели люди. «Аскольд» недавно награжден орденом Трудового Красного Знамени. Шесть переходящих знамен, присужденных заводу, оставлены здесь на вечное хранение. И это в таежном городе, далеко даже от Чугуевки, где вырос Фадеев, в горах Сихотэ-Алиня, где, казалось бы, совсем еще недавно Владимир Клавдиевич Арсеньев путешествовал с Дерсу Узала, где юный Фадеев участвовал в партизанском движении.

Побывав в последние годы и на Крайнем Севере страны и на крайнем юге, а теперь на Дальнем Востоке, я уже, признаться, не удивляюсь тому, что на этих так называемых окраинах встречаешься с первоклассными предприятиями, с людьми, овладевшими сложной и тонкой техникой. Будь это такие, как на «Аскольде», пролеты станков с программным управлением, со светящимся табло телевизионного экрана или машины, производящие литье под давлением.

Современный индустриальный прогресс не связан географическими границами. И ныне Приморье — край высокоразвитой экономики. Только, пожалуй, в таких местах, как Арсеньев, вершинные достижения мировой техники впечатляют особенно сильно.

Мастер-коммунист Алексей Иванович Федякин — хозяин пролета точного литья под давлением. Он приехал в Приморье еще до войны из города Куйбышева, вместе с отцом, который возводил первые корпуса «Аскольда». Поэтому считает себя основателем города в первом поколении. Бывает так, что биография и города и человека очерчивается двумя-тремя временными сравнениями, дистанцию между которыми воображение может заполнить множеством фактов и свершений.

— Когда приехали, жили в палатках в тайге, потом по-

строили себе бараки,— рассказывал Федякин,— утром проспешься, смотришь — змея под подушкой! Ну, а теперь, видите сами,— красивый город, и у меня отдельная двухкомнатная квартира. Ну и завод, замечательный, без наших систем управления судну в море не выйти.

Нас знакомили с заводом его директор Борис Васильевич Баданов и главный инженер Анатолий Федорович Огнев. И, слушая их, я подумал, что удельный вес заводских успехов справедливо будет умножить на масштаб трудностей. И общих для края, и особенных, арсеньевских. Ну, скажем, в связи с ростом производства и бурным жилым строительством возрос дефицит топлива, электроэнергии. Строить трудно, нет мощной строительной базы. Сказывается отдаленность города. Есть сложные проблемы сельского хозяйства, уникальные, приморские.

И все же, на этом настаивал Баданов, самая главная ключевая проблема — это проблема кадровая. Люди. Примерно из двадцати человек, приезжающих в Приморский край, ныне оседает здесь лишь один. И это соотношение говорит о многом. Будут люди, такие, как мастер Федякин, как первый в Арсеньеве Герой Социалистического Труда кузнец Алексей Иванович Рябов, как делегат XXVI съезда КПСС работница Мария Алексеевна Немчинова, приедут на Дальний Восток новые тысячи людей, и придет решение всех проблем, преодоление всех трудностей — упорным, героическим трудом, которым так славен этот край. Иного пути нет.

Беседуя с инженерами, рабочими «Аскольда», я невольно переносился мыслями к нашей конференции, к делам литературным, к памяти об Александре Александровиче Фадееве.

...Я начал войну в Москве, вместе с моими товарищами С. С. Смирновым, С. С. Наровчатовым, М. К. Лукониным и другими, впоследствии известными прозаиками и поэтами, начал в истребительном батальоне, где целый взвод составляли бывшие студенты Литературного института имени Максима Горького.

Александр Фадеев не был преподавателем Литературного института. Но зато творческие семинары в нем вели его друзья и соратники — Константин Федин, Константин Паустовский, Леонид Леонов, Владимир Луговской и другие зачинатели советской литературы. Их патриотические книги, уроки их мастерства, их представления о задачах литературы социалистического реализма, о служении лите-

ратуры своему народу — все это во многом сформировало наши души, юношей сороковых годов, в самый канун нагрянувших испытаний Отечественной войны.

Безусловно, немалую роль здесь сыграли и книги Александра Фадеева, пронизанный высокой романтикой защиты завоеваний Октября роман «Разгром», главы из романа «Последний из удэге», страстная публицистика Фадеева.

После войны я не раз видел, наблюдал Фадеева на различных наших совещаниях и съездах и могу сказать, что имею непосредственное представление о человеческом облике этого выдающегося писателя и интереснейшего человека. Ведь живого Фадеева помнят сейчас не так уж много писателей. Прошло более четверти века, как он ушел от нас.

Сорок девятый год. Начало зимы. Александр Фадеев читает на заседании секретариата Союза писателей СССР письмо-приглашение от коллектива знаменитого Сормовского завода — принять участие в столетнем юбилее, создать коллективную книгу о заводе.

Помню, как Фадеев говорил о горьковской традиции коллективных писательских работ, которую надо поддерживать, о возможности приобщения к богатейшему материалу, о будущей книге, чья добротность должна измеряться если не веком жизни, то хотя бы половиной заводского юбилейного срока. И это как минимум.

— На заводе вас с нетерпением ждут, товарищи, а дело важное, большое дело! — обращался он к писателям, которые собирались поехать в Сормово.

Вспоминая сейчас нашу работу над книгой о людях старейшего русского завода, я думаю, а не послужила ли организация этой поездки, письмо сормовичей каким-то толчком и для самого Фадеева, приступившего через некоторое время к собиранию материала на Урале, к роману «Черная металлургия»?

Влекомый новыми творческими побуждениями, Александр Фадеев не раз приезжал на Южный Урал, подолгу жил в Магнитке, в семье знаменитого в те пятидесятые годы сталевара Владимира Захарова, ныне уже покойного, бывал и на челябинских заводах, на металлургическом, на трубопрокатном. Когда Фадеев работал над главами романа «Черная металлургия», то жил в доме отдыха на озере Смолино, выступал перед партийно-хозяйственным активом в Челябинске.

«Металлургов я очень люблю, — делился своими твор-

ческими планами писатель с первым секретарем Челябинского обкома КПСС товарищем Н. В. Лаптевым осенью 1951 года.— Очень уж красивы эти повелители огня и своей горячей профессией, и упорством в труде, и крепким, как сталь, чувством нерасторжимого товарищества. Мысль написать о людях, выплавляющих из конгломерата минералов стальные монолиты, из которых куется не только индустриальное, но и общественно-политическое могущество страны, давно зародилась у меня...»

Урал притягивал Фадеева еще и тем, что здесь жили и работали друзья боевой молодости писателя. Многие из них были уже к тому времени прототипами написанных им произведений, другие, по замыслу Александра Александровича, должны были войти в новый роман. Переписка с ними, их дружба и внимание вдохновляли писателя.

В Миассе, например, жил один из организаторов Союза рабочей молодежи во Владивостоке, активный участник партизанской войны в Приморье Г. Цапурин. Фадеев воевал с ним в партизанском отряде на Сучане. Семья Цапуриных — братья Григорий и Андрей — стали прототипами героев романа «Последний из удэге», главы из которого писались на Южном Урале.

Дороги Александру Александровичу были и главный геолог рудника горы Магнитной А. Воронкин, старейший писатель из народа И. Милютин, с которыми Фадеев познакомился еще в Ярославле в 1928 году.

В записных книжках Фадеева той поры отражено свыше пятидесяти бесед с рабочими и руководителями производства, с горняками, коксохимиками, доменщиками, сталеварами и прокатчиками.

Теперешний главный инженер Челябинского трубопрокатного завода, Юрий Медников, проработавший на заводе уже более тридцати лет, в ту пору, будучи начальником смены в горячем цехе, однажды сопровождал Фадеева по заводу. Он рассказывал мне потом, с каким вниманием, настойчивостью, любопытством вникал Александр Александрович в реалии заводской жизни, особенно интересуясь человеческими судьбами, расспрашивал и моего брата о том, кто он, откуда, как ему работается на заводе.

«Все трудности в художественном, поэтическом изображении людей на производстве могут быть преодолены, если все это будет также преломлено через человеческое»,— писал в те годы Фадеев в своих «Заметках о литературе».

И он всюду искал это человеческое, внимательно вглядывался в людей, вел с ними долгие беседы. Несомненно, с Южным Уралом, в той же мере, как и с Дальним Востоком, была прочно и плодотворно связана творческая судьба писателя.

Я убедился в этом в конце 1981 года во время «Фадеевских чтений» в городе Челябинске, участником которых я был. Мы посетили фадеевские места в Челябинске, большой металлургический завод.

Удивительное дело! Прошло много лет, но память о пребывании здесь Александра Фадеева не потускнела, не выветрилась, и мы с удовольствием слушали живые, взволнованные рассказы тех рабочих, которые помнили встречи с Фадеевым, рассматривали старые фотографии, плакаты, книги, выпущенные к 80-летию писателя.

Одним словом, постоянно ощущали незримое присутствие Фадеева и у фурм большой доменной печи, на смотровой площадке, которая нравилась Александру Фадееву, и в красном уголке цеха, где Фадеев любил беседовать с рабочими, и около пышущих ослепительно ярким светом мартенов второго мартеновского цеха, куда писатель приходил особенно часто, наблюдая за работой сталеваров.

Со многими металлургами он встречался в те дни, среди них со сталеварами ЧМЗ Н. Осиповым и Н. Груниным. Они запечатлены вместе с Фадеевым на снимке во время областного слета стахановцев в саду Дворца культуры тракторостроителей в 1952 году.

Виделся он с мастером Виктором Михайловичем Костеркиным, здравствующим и поныне. Виктор Михайлович был так внимателен к участникам чтений, что пришел на нашу встречу в тот самый красный уголок, где он впервые, более четверти века назад, увидел Фадеева. И сказал:

— Помню Фадеева вот так, как будто бы вчера это было. Вошел сюда к нам — высокий, стройный, прямой, как струна. Сел за этот стол, как домой к себе пришел.

У нас тогда шла оперативка, но как-то все замялись, неудобно показалось проводить ее обычным порядком, разные наши текущие дела обсуждать. Ведь какой гость! Сам Фадеев! Ну, и естественно, что разговор у нас пошел покрупному — о нашей жизни, о труде металлургов, о книгах Фадеева.

Кто-то из наших сталеваров спросил, вот, мол, у меня

сосед в поселке по фамилии Мечик. Не он ли выведен в романе «Разгром»?

Фадеев в ответ так звонко, весело, очень выразительно засмеялся. Смех у него был удивительный, никогда не забыть.

Нет, говорит, это образ вымышленный, обобщенный, как и все художественные образы в романе. Так что, мол, не ищите здесь ни своих соседей, ни однофамильцев.

Пришел на нашу встречу в красном уголке и Иван Иванович Каргополов, невысокий коренастый человек с глубокими морщинами на лице — следами немалых лет и больших трудов у огня доменных печей.

Каргополов — ветеран войны и труда, заводской поэт, в свое время замеченный Фадеевым. Они встретились впервые в Челябинском отделении Союза писателей, и Каргополов вспомнил:

— Александр Александрович был синеглазый, и синева голубоватого оттенка, редко такое встретишь. И хохот — во весь рот.

Меня тогда поразило то, что Фадеев по своей инициативе стал читать товарищам напечатанное в газете мое стихотворение «Баянист» — о войне, о переживаниях солдата. А когда закончил, спросил у меня: «Ну как, Иван Иванович, голова не кружится оттого, что я читал ваши стихи?»

А я ответил: «Моя голова не на такой высоте, как ваша, Александр Александрович. Нет, ничего, не кружится!»

И Каргополов рассказывал нам потом, как знакомство с новыми уральскими друзьями помогало Фадееву лучше узнать жизнь края, полюбить его тружеников.

«Сейчас я хочу,— взволнованно говорил Фадеев, выступая на вечере, посвященном его пятидесятилетию,— спеть песню о нашей черной металлургии, о нашем советском рабочем классе, о наших рабочих — младших и старших поколений, о командирах и организаторах нашей промышленности. Я хочу спеть песню о нашей партии как вдохновляющей и организующей силе нашего общества...»

...Но вернемся сейчас к нашей конференции во Владивостоке, к мыслям Фадеева, которые как бы подытоживают его уральские и дальневосточные впечатления.

«Я никогда бы не написал «Разгром»,— заявил в 1955 году Фадеев,— если бы не оперся на опыт классического изображения положительного. Я с самого начала опирался на классический опыт в изображении положительного и

опираюсь до сегодняшнего дня, в то же время беря героев из жизни».

Без положительного героя невозможно в наши дни представить себе развитие нашей литературы, всех ее жанров. Однако положительный герой и в жизни, и в литературе ныне не тот, что был раньше, меняются наши представления о положительном герое, и более всего они связаны с тем, что мы называем сегодня активной жизненной позицией.

Снижение престижа труда, пусть это не покажется странным, напрямую влияет на эффективность производства, ибо в общественном мнении заключена и своего рода производственная сила в нашем обществе. Снижение престижа труда оказывает влияние, в частности, на проблему рабочих кадров, на формирование инженерного корпуса, непосредственно занятого на производстве, на приход в технические вузы молодежи.

Резонность таких наблюдений и выводов подтверждает и опыт Приморья. Более того, важность общественного престижа труда именно здесь ощущается особенно остро. Ведь в крае очень напряженный баланс трудовых ресурсов. Люди, рабочие руки в крае нужны повсеместно. Ощущается в них нужда и на Базе активного морского рыболовства, так называется это большое предприятие, расположенное в знаменитом морском порту Находка.

Мы отплывали в Находку из Владивостока ночью и ночью же вышли затем из Находки на борту большого теплохода «Хабаровск».

Надо сказать, что оба города и бухты удивительно красивы именно в вечернее время. Тысячи огней, рассыпанные по сопкам Находки, сливаются с судовыми огнями на рейде и отражаются, переливаются фантастическими бликами в темно-маслянистой воде. В эту пору каждая сопка Находки превращается как бы в смотровую площадку, открывая глубокую перспективу пасыщенного контрастными красками ночного моря.

На Базе активного морского рыболовства ни много ни мало — 14 тысяч рыбаков. Большинство из них всегда в море. Начальник базы Анатолий Николаевич Колесниченко провожает свои корабли в полугодовое плавание — в Тихий, Индийский океаны, в Антарктику, Берингово море.

Далеко от родных берегов работают рыбаки, ловят рыбу, обрабатывают, замораживают, там же в море погружают продукцию на рефрижераторы, идущие в порт Находка.

Так круглосуточно и всесезонно работает этот громадный океанский конвейер добычи и обработки рыбы, растянувшийся на тысячи морских миль.

Активное рыболовство означает, что траловый флот базы неустанно нацелен на динамичные поиски рыбы. Анатолий Николаевич пошутил: «Рыба ищет, где глубже, человек — где рыба».

Я побывал на этих океанских сейнерах, на одном из них выступал. Это современные мощные суда, приспособленные для многомесячной автономной жизни в любых морях. Жить здесь рыбакам удобно. Нелегкий их труд испокон веков овеян поэзией романтики и героической борьбы со стихиями.

Само название — База активного морского рыболовства — по близкому звучанию понятий ассоциируется с активной жизненной позицией тех, кто своим трудом поддерживает славу этой дружной многонациональной семьи рыбаков. Я думал об этом, услышав от Колесниченко имена передовиков флотилии, капитана сейнера «Советская гавань» Алексея Васильевича Кузяева и капитана сейнера «Гея» Петра Ивановича Белякова. Оба они были в море. Самому мне довелось познакомиться с капитаном Василием Ивановичем Баевым на борту его корабля «50 лет ВЛКСМ», недавно вернувшегося из дальнего рейса.

И вот что характерно. На базе ли рыбаков в торговом порту Находка, где действует высокопроизводительный контейнерный терминал с механизацией всех разгрузочных работ и рука человека не прикасается к грузу, у строителей ли Находки и порта Восточного — всюду в фокусе наших бесед оказывались люди, которые определяют судьбу всех планов, социальную и нравственную атмосферу жизни в рабочих коллективах.

Ежедневно около ста тысяч приморцев работают на океанских просторах, подолгу оторваны от берегов. Как важна для них умная, содержательная книга, несущая в себе заряд социального оптимизма, коммунистической идейности.

Мне говорил об этом и капитан Василий Иванович Баев, и управляющий Дальморгидростроя Леонид Иосифович Ефимиков, его трест — мощная организация, создающая морские порты, по сути дела построившая весь город Находку.

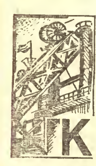
Здесь, на Дальнем Востоке, книга, быть может, особо мощное оружие в борьбе с идеологическими диверсиями

наших идейных противников, с лживой буржуазной пропагандой. И боевое перо писателя-публициста может сделать много.

И в порту Находка, в таежном городе Арсеньеве, во многих других городах замечательного края, на встречах с теми, кто ныне берет на себя главный груз эпохи, с коммунистами, с передовыми людьми современности вновь и вновь чувствуешь — жизнь поставила на повестку дня важный и неотложный социальный заказ литературе. Талантливые книги должны позвать новые тысячи людей-патриотов, энтузиастов, романтиков на наш героический, суровый и прекрасный Дальний Восток...

ГОРЯЧИЙ СЕВЕР

1. ДВЕ ДАТЫ РОЖДЕНИЯ



Как-то в одну из своих поездок на север Тюменской области я возвращался в Сургут по дороге, выложенной бетонными плитами, которые только и могут выдерживать здешние транспортные потоки тяжелой техники. Ехал с нефтяного месторождения, носящего имя своего первооткрывателя геолога Федорова, трясся в зеленоватом «уазике» рядом с парторгом Сургутского управления буровых работ № 1 Анатолием Ивановичем Юдиным, который расспрашивал меня о московском литературном житье-бытье. Разговаривая с ним, я смотрел на шеренги буровых пирамид, шагавших в разные стороны к горизонту, на толстые черные нити трубопроводов, тянувшиеся вдоль дороги, на привычную уже глазу, покрытую невысоким и негустым леском из чахлых сосенок и елей, сильно заболоченную и унылую на вид местность.

В Сургуте в лето 1983 года стояла странная для этих северных широт жара, когда ртуть на термометре упорно держалась выше отметки 30°, жара, отягощенная еще и болотной духотой и сильной влажностью воздуха.

Федоровка — одно из типичных вахтовых поселений, где можно увидеть ремонтные цеха, ангары для техники, уют-

ные бытовки для жилья и отдыха, есть здесь и магазин, и столовые, свой клуб, медпункт, баня, прачечная.

Дома и бытовки радиофицированы, телевизоры работают с помощью искусственных спутников Земли через систему «Орбита», в Федоровке своя киноустановка, естественно, доставляются газеты и журналы. Одним словом, вахтовые поселки, большие и малые, даже самые отдаленные, как и все города и села Тюменской области, приобщены к достижениям культуры, никоим образом не оторваны от той общественно-гражданственной жизни, которая присуща всей стране. И в этом одна из примет современного трудового нелегкого освоения Севера. Оно связано с особыми, как принято сейчас говорить, экстремальными условиями. И я спрашивал тогда себя, почему в жару у меня, покусанного комарами, уставшего от длительной поездки, в преддверии нелегкой ночи в душной гостинице с теми же комарами и при немеркнущем свете белых ночей, почему у меня такое бодрое, духоподъемное настроение, прилив сил и желапие немедленно по возвращении в гостиницу сделать важные для себя записи?

Что так впечатлило меня? Да ведь то самое,— отвечал я себе,— что поднимало мне настроепие и па Самотлоре, и в Нефтеюганске, в Надыме, Уренгое, на Харасавэе, всюду, где в разные годы мне довелось увидеть, воочию наблюдать это, без преувеличения, достойное эпоса современной эпохи двадцатилетнее паступление на север Западной Сибири.

Я имею в виду труд двух миллионов людей, приехавших сюда изо всех уголков страны, усилия по освоению суровых, безлюдных, казалось бы, забытых богом и людьми болот, труд, поставивший здесь молодые города со всем современным социальным обустройством и продвигающий в приполярные и заполярные широты современную цивилизацию.

Пафос вечного дела! Это всегда привлекало меня как писателя, становясь и моим внутренне осознанным пафосом литературных устремлений. Пафос вечной работы скорее всего и привел меня к очерку, к художественной публицистике.

Впервые я прилетел в Сургут летом 1976 года. Молодые северные города «в стране Тюмении» обычно начинались с палаток, балков, вагончиков. Потом приходили строители. Так начинались в шестидесятых годах Мегион и Урай, Нефтеюганск и Игрим, Светлый и Горноправдинск. Вслед

за геологоразведчиками появлялись промысловики, преображая таежный и тундровый край, и постепенно выходили в ранг прославленных промышленных центров Шаим и Нижневартовский, Пунга и Уренгой, Тазовское и Ноябрьский.

Но у Сургута все же своя особенная история. И две даты рождения. Первая отдалена от нас почти четырьмя веками. Тогда на месте остяцкой крепости возник острог, названный по имени одного из притоков Оби — Сургутом.

Старый Сургут, прижатое к обскому берегу поселение рыбаков и охотников, прибежище ссыльнопоселенцев, появился на свет в 1593 году. Но кто тогда в России знал о его существовании? Местное население, в основном ханты и манси, да жандармы, привозившие сюда в ссылку тех, кто боролся с царизмом.

И после революции многие десятилетия мало кто слышал о существовании поселка Сургут. До начала пятидесятых годов здесь не было ни одного автомобиля. Дощатые полуразрушенные тротуарчики, ряды немощеных улиц. За домами тускло-свинцовая Обь. Они и сейчас еще сохранились кое-где, эти чистенькие улицы с крепкими домами, садиками и палисадниками. Зимой связь с окружным центром Ханты-Мансийском осуществлялась только санным путем.

Вспоминая о тогдашнем Сургуте, секретарь райкома партии В. В. Бахилов писал, как в одно октябрьское утро 1961 года он пришел на работу.

«...На столе уже лежал свежий номер газеты «К победе коммунизма». Обычно я начинал свой рабочий день с обзора «районки», изучал сводки, критические выступления, острые сигналы. Помнится, меня особо заинтересовала таблица, где были подведены итоги соцсоревнования по добыче рыбы с соседним Ларьякским районом.

Вдруг карандаш, которым я делал пометки, наткнулся на очевидную нелепицу в газетном репортаже о Сургуте: «Судно на подводных крыльях пришвартовалось к одетому в бетон причалу. Машина мчит нас по широкой асфальтированной магистрали... Перед нами корпуса управления «Сургутнефть»...» Рядом пуще — сообщение о новых кварталах многоэтажных зданий, возведенных индустриальными методами в городе... Сургуте. С легкой руки какого-то фантазера наш пятитысячный поселок получил вдруг статус города! Бетонированные магистрали, современные жилые массивы? Помилуйте, товарищи!..

Все стало на свои места, когда я прочитал редакционное пояснение. Оказывается, разворот газеты содержал коллективный рассказ редакции о таком же октябрьском дне Сургута... 1981 года: дату выхода номера журналисты перенесли ровно на два десятилетия вперед.

Любопытно, что именно в те дни 1961 года в районный комитет пришел худощавый горячий геолог с черными глазами и щеточкой усов над губой — Фарман Курбанович Салманов, возглавлявший геологическую экспедицию в Сургуте, и показал набросок «исторической» телеграммы в Тюмень.

«На скважине Р-62 в 13.35 ударил нефтяной фонтан с газом. Скважина лупит по всем правилам — вот что я разобрал,— вспоминает Бахилов.— На невеликом клочке бумаги уместилось событие, которого так долго ждали. «Шестьдесят вторая» находилась на территории нашего района».

Так началось второе рождение Сургута, движение города к своему будущему. В семьдесят шестом, когда я впервые ходил по улицам Сургута, с момента первого фонтана нефти из скважины прошло пятнадцать лет. Но каких! О том, как растет город, рассказывала нам, группе писателей, Евгения Ивановна Калентьева — тогдашний секретарь Сургутского горкома.

Женщина на большой партийной работе как-то особенно привлекает внимание. Тем более на Севере, где столько трудностей, где каждый день приносит с собою какую-то толику испытаний — на волю, твердость характера, на подлинную партийность, человечность.

Евгения Ивановна невысокого роста, очень подвижная и энергичная, скорая на шутку, острое замечание, общительная, веселая и неутомимая в своем желании показать все в городе. Учительница, она в те годы пришла на партийную работу. Я слушал тогда Евгению Ивановну и думал, что ее одухотворенность, сургутский патриотизм, внимание к людским судьбам составляют индивидуальность ее как человека, коммуниста.

Показывала ли нам Евгения Ивановна новые дома, клубы, столовые, библиотеки, сургутское «Черное море» — хозяйство по разведению карпов с «доморощенным рыбным стадом», речной порт и корпуса рыбоперерабатывающего завода, музыкальное училище, куда едут учиться ребятишки аж из дальних южных городов (училище — это гордость Сургута), она все время старалась вывести на первый план

нравственный аспект, подчеркнуть духовную силу и богатство сургучан в их повседневном труде, обиходе. В человеке ее прежде всего интересовало человечное.

— Видите, сколько мы строим учреждений культуры, здесь у нас есть, по сути дела, все, что в любом другом городе. И знаете,— убежденно говорила Евгения Ивановна,— люди у нас душевно не беднеют, нет, не беднеют, ни от морозов, ни от болот, гнуса летом, от всех трудностей, что приходится преодолевать. А те, что беднеют, и не задерживаются здесь. Вот даже в нашем музыкальном училище,— живо продолжала она,— двадцать два преподавателя, и большинство с консерваторским образованием. Как видите, к нам едут такие культурные силы, оседают здесь и с удовольствием работают с нашими ребятишками.

Помнится, я спросил тогда у Евгении Ивановны об особенностях культурной работы, эстетического образования и, естественно, партийной работы, ведь Калентьева была секретарем горкома по идеологии.

— Главные принципы те же, как везде в стране. Они изложены в партийных решениях. А особенности,— она задумалась,— они есть, конечно. Ну вот, скажем, в том, как идет формирование кадрового ядра сургучан, людей, для которых Север стал или становится родным и обжитым домом. Север сам отбирает своих героев. Ну с нашей помощью, конечно,— улыбнулась Евгения Ивановна.

Население Сургута состоит из сорока национальностей. К каждой национальной группе нужен и свой подход с учетом разного рода особенностей. Сургут — город молодых и зрелых людей, пенсионеров почти нет. И все это формирует стиль партийной работы.

— У нас широко известен выработанный общественностью «Наказ гражданину города Сургута». Там много хороших мыслей, заповедей. А если говорить о главном, то это желание сделать город коммунистическим. Коммунистического труда и облика. Это все только начало,— и Евгения Ивановна взмахнула рукой, как бы очерчивая контур этой быстро застраивающейся территории, состоявшей тогда лишь из отдельных многоэтажных домов, а между ними пустырей, соснового леска около речушки, маленького притока Оби, где, кстати говоря, размещалась и наша гостиница, в обиходе именуемая «Канадской».

Деревянный коттедж быстро поставили в лесу и хорошо оборудовали для приезжавших как-то сюда канадцев-

специалистов, которых привлекла слава сургучан. Природные условия Канадского Севера и Тюменского похожи. Однако наши темпы и размах работ буквально ошеломили канадцев.

— Да, это только начало,— повторяла Евгения Ивановна,— вот скоро начнем асфальтировать улицы, станет много автобусных маршрутов, построим новые гостиницы. Десять лет назад приезжал к нам как-то Председатель Госплана СССР, так и ему пришлось спать на столе в кабинете председателя райисполкома. И он мерз, дело было зимой. Ну, а сейчас мы принимаем большие иностранные делегации на высоком уровне комфорта, если исключить комаров, с которыми летом пока не можем справиться. Большого ресторана у нас еще нет, но скоро будет. Одним словом, пройдет несколько лет, и мы Сургут не узнаем!

Она так и сказала — «мы». Потому что, когда свой город «не узнают» старожилы, значит, он действительно здорово изменился.

В Сургуте тогда уже работал свой домостроительный комбинат.

— Большое дело иметь здесь, на Севере, свой домостроительный комбинат. Сами строимся, соседям — близким и далеким — помогаем. Взаимовыручка, взаимопомощь на Севере — главный нравственный закон.

Так говорила Евгения Ивановна Калентьева. С той нашей встречи прошло еще пять лет. Я приехал вновь в Сургут позже на два года и поэтому вынужден вновь прибегнуть к свидетельству В. В. Бахилова, тем более что оно связано с той самой двадцатилетней давности заметкой в районной газете «Путь к коммунизму», которая продолжает выходить и по сей день.

Так вот что писал Бахилов:

«...Мы шли (вместе с Фарманом Салмановым) по вечернему городу мимо нового здания нефтегазового управления. Бетонная дорога, по которой сновали «Жигули» и «Москвичи», пролегла вдоль недавно построенных жилых корпусов, окрашенных в разные цвета, с белыми экранами лоджий, мозаичными фигурами на фасадах. Город назывался Сургут, а объединение «Сургутнефтегаз».

Несколько часов назад мы с Фарманом Курбановичем с красными лентами через плечо стояли на сцене Дворца культуры, на лентах было написано: «Ветеран нефтеразведки»... Так торжественно отметил Сургут двадцатилетие

организации нефтеразведочной экспедиции, первым начальником которой был Фарман Салманов...»

Что можно добавить к этим достоверным воспоминаниям очевидцев и непосредственных участников рождения нового города. Быть может, только то, что со временем, когда в Сургуте, а я в этом не сомневаюсь, откроется музей трудовой славы, строки этих воспоминаний, живые детали прошлого, которое так быстро откатывается в историю, станут принадлежностью музейных фондов, будут начертаны на плакатах, лягут под стекло стендов и экспозиций.

И когда начнут собирать эти материалы по крупицам, по архивным данным и свидетельствам ветеранов, то наверняка вспомнят, что вторая дата рождения Сургута — 1965 год. И став городом, он имел население всего в... 14 тысяч человек. А сейчас в Сургуте живет уже 200 тысяч, население бурно растет с каждым годом, но средний возраст сургутчан по-прежнему делает его городом молодости, силы и энергии. Он равен 27 годам.

2. СВЕТ НАД СУРГУТОМ

Я люблю приезжать в знакомые места, встречаться с теми, кого уже знаю. Люблю следить во времени за движением судеб, характеров, сопоставлять убедительные свидетельства того, что наглядно открывает взору сама действительность. Про себя я это называю методом «длительного слежения за жизнью».

Нефтяниками я стал интересоваться давно. Еще в конце сороковых годов приезжал в освобожденные от врага районы нашего юга, на обожженную огнем войны нефтяную Кубань. В годы послевоенных пятилеток бывал во «Втором Баку», в Туймазе, на Урале. А позже — семь поездок в Западную Сибирь.

С чего начинает всякий гость в молодом городе? С панорамного взгляда на строительство, с ознакомления с деловой явью сегодняшнего дня, с планами на будущее. И лучше всего об этом всегда расскажут в горкоме партии, где умеют смотреть на сущие проблемы широко, объемно, сочетая интересы различных предприятий, учреждений, организаций, которых в Сургуте ныне уже шестьсот!

Николай Григорьевич Аникин, теперешний первый секретарь горкома, показывая панорамный снимок города, снятого с вертолета и в современных своих контурах мало чем отличающийся от жилого массива в любом большом

городе, заметил, что ныне в Сургуте интенсивно трудятся не один, а два домостроительных комбината, что всего в городе 50 тысяч одних строителей, ежегодный ввод жилой площади — 350 тысяч квадратных метров. Цифры эти, думается, достаточно красноречивы.

И для гостей и для себя, быть может для внутренней мобилизации сил, боевого настроения, придающих деловым людям вот такие очевидные свидетельства реализации их энергии,— в горкоме сделаны альбомы и хранятся пачки фотографий. Они рассказывают о том, как выглядела эта болотистая земля и тридцать, и двадцать, и десять лет назад. И тот накал горячего сургутского патриотизма, как отражение чувств, которое вызывает развитие всего края, тот накал, что светился в глазах Евгении Ивановны Калентьевой, с той же мерой удовлетворения звучит и в голосе Николая Григорьевича Аникина, и у сменившего Калентьеву на посту секретаря по идеологии (она ушла на пенсию) Виктора Яковлевича Русинова. Так ведь и в самом деле есть чем гордиться!

Когда далеким эхом начавшейся войны с фашистами пришла сюда волна всенародной беды и испытаний, почти все взрослое население рыбачьего поселка ушло на фронт. Из четырех тысяч воинов тысяча не вернулась. Надо ли удивляться тому, что ныне, как рассказывал об этом Аникин, в год сорокалетия Победы, рабочие зачисляют в свои бригады погибших на войне. И это не только память о них, не только выражение народной благодарности, но и реальная помощь семьям героев.

На большой и главной пока площади Сургута, где летом восемьдесят третьего я жил в гостинице «Нефтяник» рядом с Дворцом культуры,— именно там чествовали Бахилова и Салманова — большой и вполне современный жилой район с универсамом и кинотеатром, кафе и библиотекой и даже с тем большим рестораном, о котором когда-то говорила Калентьева.

Но, честно говоря, не это, в общем-то привычное глазу, а другое, то, что в жару ли летом, в сорокаградусные ли морозы зимой всегда оживлены, заполнены детскими колясками улицы Сургута, что тут видишь много беременных молодых женщин,— вот это, пожалуй, самая разительная примета города, полного молодой силы и красоты. Не это ли лучшее свидетельство того, что хозяева города обосновываются прочно, с уверенным загадом на будущее.

Чего не хватает современному Сургуту? Наверно, свое-

го драматического театра, постоянной труппы, а не только гастролирующих артистов. Как-то при мне летом здесь пел Гнатюк, выступала Нонна Мордюкова, показывал спектакли молодежный театр из Ленинграда.

Надо побольше и кафе. Единственный сургутский ресторан явно перегружен посетителями. Нужны кафе как маленькие клубы, как место общения; в северных городах, быть может, особенно велика потребность в человеческом общении, в душевном тепле. А то так порою получается, что молодым людям в молодом городе негде встретиться, собраться дружеской компанией. Теперь почти все новые районы городов прирастают большими блоками. Так и в Сургуте. Район геологов, нефтяников, энергетиков, строителей. И у каждого свой микроцентр, своя хозяйственная автономия. Однако заметен еще и старый Сургут, и тот еще мало застроенный район, где поднимает в небо свои корпуса Сургутская ГРЭС.

Маленький экскурс в прошлое. Самыми первыми источниками энергии для малообжитых, труднодоступных районов Западной Сибири стали плавучие электростанции «Северное сияние». Их и по сей день выпускает старейшее тюменское предприятие, основанное в 1834 году. Кстати, первые пароходы стали строить в Сибири на тюменских верфях еще в первой половине девятнадцатого века, в 1838—1840 годах. Ныне завод на уровне передовой техники. Лучшее доказательство тому — интереснейший технический гибрид теплохода с электростанцией.

Я видел одно такое «Сияние» на стапелях, другое — на воде заводского затона. Они производят внушительное впечатление. На Колыму, Печору, на Алдан, на острова Ледовитого океана уходят из Тюменской гавани, справедливо называемой «воротами в Сибирь», эти суда-электростанции. Плавучие электростанции работают и в районах Тюменского Севера.

Вскоре, однако, потребовались куда более мощные источники энергии, и неподалеку от Сургута, в том месте, где еще летом 1968 года простиралась тайга, началось строительство ГРЭС, ее первая очередь была рассчитана примерно на два с половиной миллиона киловатт — почти четыре довоенных Днепрогэса.

Ее возвели за четыре года! Срок, безо всякого преувеличения, поразительный!

В Сургуте тогда говорили, что на тюменской земле вме-

сте с пуском первых агрегатов ГРЭС случилось еще одно техническое чудо.

Основные работы начались только в 1971 году, года полтора заняла тщательная и продуманная подготовка тылов, строительной базы. А затем все нарастающая по темпам работа в котловане, монтаж блоков и узлов, которые собирались тут же на площадке и готовыми или же укрупненными подавались в здание станции. Это примета современного строительства.

И вот мои коротенькие впечатления 1976 года. Дорога от города к ГРЭС уложена большими бетонными плитами. Машину слегка трясет на стыках. По обочинам мелькают тощие сосенки, ельник, поднявшийся на болотистой земле, покрытой тонким зеленым покровом травы.

Около ГРЭС небольшой поселок — пятиэтажные каменные дома, но многие работающие на станции живут в городе. Дыхание ГРЭС слышно издали. Прямоугольник каменного гиганта с мощными трубами поднялся над тайгой. Мохнатая шапка дыма висит над станцией и, растворяясь, постепенно уходит в сторону движения ветра.

Внутри, как обычно на таких станциях, чистота, малолюдность. Помещения соединены галереями с цветными витражами. Сквозь них видны деревья, зелень, цветы.

Чем ближе к основному корпусу, тем сильнее гул котлов и явственнее вибрация от работы генераторов. ГРЭС напоминает корабль, но не плавучий, а на вечной стоянке. Это сравнение особенно рельефно, когда движешься по переходам, галереям, с этажа на этаж поднимаешься по крутым металлическим лестницам.

Кабинет директора станции на самой высокой галерее. Это одновременно как бы и наблюдательный пункт, отсюда просматривается весь главный корпус.

Я увидел тогда в центральном зале станции на кране, за рычагами которого сидела веселая узкоглазая девушка, большой плакат со словами: «Делать — значит жить хорошо!» И рядом другой — цитата из К. Федина: «Нет малых и больших дел, всякое дело велико, если исполняется по зову Родины».

Оба лозунга были призывом и как бы определяли оптимизм работающих на ГРЭС. И кран и лозунги на нем — все время в движении над огромными котлами.

Василий Иванович Ананьин — секретарь объединенного парткома действующей и строящейся второй очереди станции — сказал мне, что сейчас, зимой 1984 года, уже и не за-

метно болото, на котором стоит ГРЭС. А ведь глубина торфа была шесть метров. И сначала надо было его вынуть, засыпать котлованы привозным песком, а уж потом укладывать фундамент под могучие корпуса.

Тот, кто бывал на таких ГРЭС, знает, как поражает соединение наглядно ощутимой энергетической мощи, которая гудит и вибрирует в массивных сферических корпусах турбогенераторов, с малолюдностью, чистотой и строгим порядком в огромном машинном зале, вмещающем в себя шестнадцать энергоблоков по 210 тысяч мегаватт каждый.

А как впечатляет пульт управления — красивый овальный зал, на стенах которого сотни приборов для контроля, измерений, регулировки машин! Ежесекундно они как бы снимают кардиограмму биения энергетического сердца станции. Центральный пульт производит впечатление не только высоким уровнем автоматики, телемеханики, но еще, я бы сказал, их поэзией, техническим гимном полному освобождению человека от физического труда.

Но это, естественно, только тогда, когда все механизмы в порядке. На ремонтных работах приходится потрудиться и физически.

Мне кажется не случайным, что основная рабочая профессия на станции — машинист энергоблока. И в самом деле, такой рабочий подобен машинисту, отвечающему за «движение» своего агрегата, хотя агрегат и прирос к бетонному основанию.

А какую словно бы физически ощутимую мощь излучают эти генераторы энергии! На каждом из них огромными буквами написано: «Турбогенератор» — и номер. Когда видишь, выстроившиеся в громадном зале один за другим турбогенераторы, то и без подсчетов этих тысяч киловатт понимаешь, какой импульс энергии передается отсюда на все Среднее Приобье, превратившееся из района энергопотребляющего в район энергопроизводящий.

Мы ходили зимой по станции в одних костюмах. Всюду тепло, воздух чист и словно бы наэлектролизован озоном.

На Сургутской ГРЭС молоды все. От подсобного рабочего до руководителей станции. Средний возраст работающих — тридцать три года. Я смотрел на молодые лица Василия Ивановича Аньшина, и секретаря парткома треста Запсибэнергострой Юрия Александровича Жукова, и заместителя главного инженера ГРЭС Михаила Владимировича Крашенинникова и с интересом слушал их рассказ о

«ветеранах станции»: тут ветеранами считаются те, кто проработал 10 лет. А ведь многим из таких только тридцать — тридцать пять лет.

Зимой 1984 года мне довелось увидеть и вторую очередь Сургутской ГРЭС накануне пуска первого агрегата.

Мы подъехали к станции уже затемно, в ноябре световой день короткий. Сильно мело, морозило. Стройка шла при свете прожекторов.

Массивное здание, большее, чем корпус первой очереди, поднимало свои серые стены в завьюженное небо.

Не требуется большого воображения, надо только один раз увидеть, как работают монтажники в мороз, в пургу, под открытым небом, чтобы представить себе, чего стоит здесь труд!

Ныне Сургутская ГРЭС — самая мощная в крае и самая крупная в стране из работающих на попутном газе. И она становится базовой для продвижений новых станций по всему Северу. Намечены к строительству еще и Нижневартовская, Уренгойская, Тобольская, Тюменская ГРЭС. Так разгорается электрическое солнце Западной Сибири!

И невольно подумалось о том, что и Ананьин, и Жуков, и Крашенинников, и многие теперешние строители второй очереди станции не только сами увидят это море света, но и поведут дальше каскад электроэнергетических мощностей, объединенных в единую систему и шагающих на восток и на запад, к Полярному кругу, к берегам Ледовитого океана.

3. ДОМ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ТРЕХ ДОРОГ

Он потому и заметен издали, что стоит на перекрестке, обдуваемый ветрами, с одной стороны — ничем не застроенное еще бывшее болото с курчавившимся чахлым леском на горизонте, влево уходит дорога к аэропорту, справа — к месторождениям. И только один торец шестиэтажного здания примыкает к шоссе, которое ведет в город, в большой жилой квартал Сургута.

Этот дом принадлежит Сургутскому управлению буровых работ № 1. В дни моей молодости такие организации назывались скромнее — буровыми конторами. Сейчас — управление. Все шесть этажей заняты службами — механиков, электриков, геологов, снабженцев. Есть даже «отдел надежности», контролирующий качество и надежность аппаратуры, присылаемой заводами. В отделе порою пи-

шут бумаги в арбитраж, накладывают штрафы, одним словом, воюют с браком.

Иными теперь стали объемы производства, куда больше техники, и она сложнее, разветвленнее структуры организации производства. И все это надо умножить на западносибирские масштабы. Так что управлять есть чем.

Соседи-нижневартовцы говорят про себя, что каждая третья тонна нефти, добываемой в стране,— самотлорская. И это так. Сургутское месторождение стоит на втором месте в Западной Сибири.

Кабинет начальника управления, думается мне, похож на сотни подобных, те же столы буквой «Т», шкафы с документами, селектор и на стенах карты районов. В них-то главное отличие, ибо карты всюду разные и напоминают они те, военные, что мы на фронте называли «поднятыми», то есть густо размеченными условными знаками. В данном случае это обозначения вахтовых поселков, компрессорных станций, буровых вышек и многого другого, объединяемого одним понятием — «обустройство месторождения».

У хозяина кабинета, я бы даже сказал, атлетическая фигура. Он высок, строен, даже на внешний взгляд — очень динамичен, и от его фигуры веет физической силой, энергией. Я человек не очень впечатлительный, думаю, что это не преувеличение. Сургутское управление — самое старое в Тюменской области, его начальник самый молодой из тех, кто занимает такую должность. Ему тридцать четыре.

Владимир Гаврилович Долгов. Он местный, родился на севере Тюменской области, сказал о себе: «Я из чалдонов». К буровым делам пришел не сразу, попробовал одно, другое, к главному делу жизни шел через поиск самого для себя нужного, оптимального. А начало было на Балтике, на судах рыбного флота, где, закончив мореходку, плавал механиком.

Я не спрашивал у Владимира Гавриловича, что побудило его переменить не только географические широты — море на сушу, на болотистую низменность, суда — на буровые вышки. Не спрашивал и о том, притянули ли родные места, масштабы, перспективы, оказанное ему доверие.

Не задавал такого вопроса потому, что не рассчитывал получить однозначный и простой ответ. Ведь человеческие поступки чаще всего диктуются не одной причиной, а совокупностью обстоятельств, из которых трудно выделить самое важное. Думаю, что много тут было побудительных причин. Мне же показалось самым интересным то, что,

приехав в Сургут, Долгов со всеми своими человеческими качествами быстро и прочно вписался в сургутский трудовой климат, почувствовал себя на своем месте, в конечном счете именно это и определяет, приживется человек на Севере или нет, обретет ли для себя возможность максимально раскрыть свои дарования. Это решает.

Когда Долгову четыре года назад доверили управление № 1, план не выполнялся. Как расшевелить коллектив, расширить узкие места, найти главное звено, уцепившись за которое можно вытянуть и всю цепочку проблем,— вот о чем он думал, что решал! И Долгов начал с... личного примера.

Ох этот личный положительный пример, о котором так много спорят в литературе, взвешивая меру положительного и отрицательного в собирательных образах, а в жизни тем временем личный положительный пример живет, действует, множит себе подобных.

Такой человеческий тип хозяйственного руководителя, который начал высветляться для меня в Долгове, честно говоря, мне хорошо знаком. В разные годы и десятилетия я встречал и ныне встречаю работников, которые как бы олицетворяют в себе генератор личностной, деловой энергии. Они умеют, хотят и в самом деле создают вокруг себя магнитное поле, заряженное самозабвенной отдачей труду, увлеченности деловыми страстями.

Можно, конечно, спорить о том, лучший ли это способ интенсификации производства? Ясно и то, что это не может заменить упорядочения общей культуры и организации труда. Но личный пример всегда действенен как начало, как первый толчок к иному стилю, методам и темпам в работе.

Долгов мне сказал:

— В семь утра я уже на месте в управлении. Хотя начало работы в восемь. Люди это видят и сами подтягиваются. Вечером засиживаюсь поздно. Никто меня не заставляет, кроме моего беспокойства и собственной совести. Весь день в управлении и на месторождениях, на буровых. В субботу тоже на работе. Себя не щажу. Поэтому могу потребовать и с других.

Он взглянул на меня, есть ли в моих глазах отсвет понимания и одобрения.

— У нас непрерывный процесс и бурения, и добычи нефти. Это обязывает ко многому,— добавил Долгов.

Конечно, лучше бы работать ровно восемь часов, как и положено, с расчетом на то, что все точно и неукоснитель-

но движется по схемам и графикам. Приходить домой вместе с женой в четыре часа дня, чтобы иметь много свободного времени для досуга, для развлечений... Но у Долгова это пока не получается, думаю, что не только у Долгова.

Он сам продиктовал себе такой режим, такой накал усилий, напряжения, и поступай он по-иному, вряд ли смог бы в Сургуте за один год вывести управление из отстающих в передовые. Начиная с 1981 года УБР № 1 перевыполняет план. Это не столько мое умозаключение, так думает сам Владимир Гаврилович. Это он сказал мне:

— А как вы полагаете, можно ли работать с прохладцем в таком месте, как наш Сургут?!

Вот на почве разного отношения к делу и возник у Долгова конфликт с бывшим главным инженером управления. Конфликт во многом типичный для экстремальных условий Севера. Главный инженер был уволен как человек, который, по выражению Долгова, «был не на уровне современных требований».

— А как же это расшифровать? — спросил я.

— Современные требования у нас в Сургуте предполагают, я думаю, вот что: осознанную ответственность, предприимчивость, и вот еще — предельную самоотдачу. Кто не желает жертвовать своим покоем, кто хочет экономить силы, тот, как правило, уезжает с Севера,— произнес он с той уверенностью, которая родилась из множества примеров и может быть в любой момент подтверждена фактами.

И в самом деле приезжает и уезжает из Сургута немало людей. Накал темпов высок, работа на буровых под открытым небом, еще значительная доля тяжелого ручного труда — все это сущие реалии, которые пока не сбросишь со счетов. И как результат «коэффициент сменности», есть такое понятие в бригадах, достигает 50 процентов.

— Отсюда вытекает для нас и важнейшая проблема,— сказал Владимир Гаврилович,— стабильность кадров в производственных коллективах.

Стабильность эта неотрывна еще и от социальных условий, нравственного климата.

Я вспомнил, как секретарь парткома управления Анатолий Иванович Юдин, тоже местный, родившийся в Ялуторовске, из рабочих, позже закончивший индустриальный институт, человек при всем при том еще очень молодой, так ответил мне на вопрос о том, что составляет и для него, и для Долгова сейчас главную заботу:

— Бездорожье, жилье и детские сады.

И несколько странным показалось мне соединение этих вроде бы разных задач в один узел.

Но точку зрения секретаря парткома подтвердил и начальник управления:

— У нас кругом болота. А к каждой буровой надо подтянуть дорогу. Сколько буровых, сколько действующих скважин! Ведь их счет идет на тысячи. Будь у нас дорог больше и будь они лучше, мы могли бы только за счет этого производительность труда увеличить процентов на 10—20.

Тот, кто видел однажды, как пять или шесть тракторов с бульдозером впереди, который своим широким ножом сметает слои снега, по замерзшему болоту тянут вышку со всей ее тяжелой начинкой с одной точки на другую и в морозы по зимнику, и летом, когда раскисают болота, по дорогам, тот оценит их значение в этом краю.

Вот уже несколько лет широко задействован метод «блочного монтажа», когда промысловые объекты полностью изготовляются на тыловых базах, в заводских цехах, а затем блоками завозятся на место, в любую даль, и там монтируются. Подсчитано: такой метод позволяет при обустройстве сибирских месторождений вчетверо увеличить производительность труда. А это экономия тысяч и даже десятков тысяч рабочих рук.

Заговорив о дорогах, Долгов заметил с коротким вздохом, что все же вышкомонтажники отстают от буровиков, и эта разница в темпах, естественно, ломает график и синхронность согласованных работ.

— Не хватает и обсадных колонн,— добавил он.— Хромает и снабжение. Проблем хватает. Вагон и маленькая тележка! Они есть всюду. И у нас, конечно, не меньше.— Он усмехнулся:— Не зря же пишут в газетах: «Мы спорим со стихией Севера». А стихия — вещь серьезная.

— А как насчет жилья и детских садиков? — спросил я.

— Строим. А еще быстрее растут запросы людей. Я, когда приехал сюда, получил квартиру в деревянном доме и был счастлив. А теперь два года ждать квартиру мало кто хочет. А мы очень нуждаемся в притоке хороших специалистов. Одна зарплата проблемы не решает. Да, не решает! — повторил он.— И нельзя отставать с социальными делами.

Потом, подумав, он добавил не без очевидного огорчения и даже удивления:

— Вы знаете, порою нелегко найти человека на долж-

ность, скажем, начальника цеха. Странно звучит, но иные люди с трудом идут на выдвижение. Добавка к заработку небольшая, а иногда она и уменьшается. Но многократно вырастает ответственность. О чем же это говорит? — спросил себя Долгов. И ответил: — Надо лучше воспитывать политическую сознательность и чувство ответственности за судьбы страны. Видимо, в этом корень вопроса.

Сейчас много говорят о новом характере мышления, о переориентации общественного сознания. Говорят справедливо. Есть сугубо функциональный, связанный только с проблемами хозяйствования. В современных условиях этого недостаточно. Хорошо, когда руководитель умеет видеть и нравственные аспекты, задумываться над психологией людей, понимает, вот так, как Долгов, что одним рублем всех проблем не решишь. Еще лучше, если человек думает глубже и видит дальше своей должности и непосредственных обязанностей. И, как сказал Владимир Гаврилович, «несет в душе ответственность за судьбу страны». Это уже черты мышления государственного.

Мне показалось, что Долгов судит здраво, правды не боится, даже глядя на раскрытый блокнот гостя, а искренность его суждений явилась для меня залогом их достоверности.

— Поезжайте на Федоровку, на Лянторское месторождение, на буровые, посмотрите сами,— предложил он.

Я так и сделал.

4. ГОРЯЧИЙ СЕВЕР

Он и в самом деле горячий. По масштабам, по темпам развития, по характеру революционных преобразований. Я, например, совершенно уверен, что пройдут десятилетия — и впечатления участников этой северной эпопеи обретут для поколений тот же гражданственный смысл, что и воспоминания участников Отечественной войны сегодня.

Вот с этой уверенностью, которая родилась у меня за время прежних многих поездок в эти края, с таким настроением я и отправился на Лянторское месторождение, и не один, а в компании с Олегом Александровичем Цареградским — заместителем генерального директора объединения «Сургутнефтегаз» и заместителем секретаря парткома объединения Ритой Федоровной Мальвечко. Коммунистов в объединении несколько тысяч, и партком имеет права районного комитета.

Так уж повелось, к сожалению, что когда пишут о нефтяниках, то в фокусе внимания почти всегда оказываются буровые бригады и управления буровых работ с их скоростями проходки скважин, захватывающим динамизмом социалистического соревнования, драматизмом иных производственных и технологических ситуаций. И это, несомненно, привлекает.

А вот о тех, кто добывает нефть, пишут мало, часто и не вспоминают вовсе. Их будничная работа, казалось бы, лищена внешних атрибутов героического, эффектного. Качают, дескать, нефть и качают. И все заботы об этом берет на себя автоматика.

Поэтому нередко читатель не получает ясного представления о том, что современный нефтяной промысел — это сложнейший технологический комплекс, состоящий не только из скважин, подающих черное золото из-под земли. Здесь работают сепарационные станции, замерные установки, установки подготовки нефти, кустовые насосные агрегаты. Прежде чем нефть попадет в магистральный трубопровод, ее нужно освободить от попутного газа, обезводить и обессолить. И все это на самом деле производится с помощью автоматических устройств, но всю эту автоматику и телемеханику на Севере и монтируют, и обслуживают, постоянно регулируют и сохраняют люди.

Лянторское месторождение — в ста десяти километрах от Сургута. По сибирским масштабам — рядом. Однако добраться туда не так уж и легко. Дорога ответвляется от основного тракта, идущего на Нефтеюганск, но от этого не становится менее загруженной транспортом. Через полтора-два часа езды с неизбежными остановками из-за пробок машин — в низине, тянущейся до горизонта и обрамленной лишь кое-где чахлым леском,— возникает вахтовый поселок. Много каменных строений и балков в окружении огромных серебристых цилиндров емкостей для нефти. Они оплетены сетью таких же белых и толстых труб. То там, то здесь выпирают из-под земли остовы регулирующей аппаратуры, напоминающие своего рода «перископы», как бы выброшенные на поверхность земли из глубинных стволов скважин.

Самой нефти, которую можно взять в руки и пощупать, никто и нигде на месторождении не увидит. Она вся спрятана в емкостях, в трубах. И только приборы на пультах управлений, пульсируя, стрелками на табло, экранах телевизоров и дисплеев могут рассказать о том, что происхо-

дит с нефтью на всех этапах ее последовательной подготовки, как говорят, перед стартом на большую землю.

Я обратил внимание на то, что, повествуя о своих делах, нефтяники любят употреблять сокращенные названия. Их порою так много, что путаешься в этих УБР или БПО, УБТ, СМУ, НГДУ и так далее. Хозяином Лянтора и является это самое НГДУ — то есть нефтегазовое добычное управление, выражаясь стремительным языком — главный подрядчик всех работ и ответчик за добычу нефти.

Назаргалеев Мухтар Бахтиганеевич принадлежит к числу ветеранов нефтяной промышленности, он проработал в ней уже тридцать пять лет. Статный мужчина с добрым, приветливым лицом, он не устает обустраивать одно месторождение за другим, не устает от экстремальных условий Севера и, может быть, поэтому, как он заметил, не устает и расти как специалист, как начальник НГДУ.

Я спросил у него и у Цареградского: освобождает ли современная автоматика рабочего от напряженного контроля, не принижает ли она его активность?

— Вопрос не простой,— сказал Назаргалеев.— Нет, в общем-то, не принижает. Просто она переводит эту активность в иной ряд.

— Да, да,— вмешался Цареградский.— Иногда мы действительно задумываемся над тем, нет ли в сплошной автоматизации, в несколько монотонной работе, нет ли в характере такого труда и некоторых отрицательных сторон, как бы тормозящих активную деятельность рабочего человека.

— И какой же ответ?

— А такой, что автоматика создает иные, более высокие и содержательные формы этой активности. Автоматика освобождает человека от грубых и неинтересных форм применения сил и энергии. Но человек всегда должен оставаться активным. Правда, и в этом надо найти некую разумную меру.

— А в чем она?

— В том, чтобы не так уж и торопиться всюду и везде отключать человека от процессов регулировки, управления автоматами.

— Ну в том, что этого отключения и не происходит на практике, можно убедиться и у нас на Лянторе,— усмехнулся Назаргалеев.

Люба Карпилович — одна из тех, кого можно назвать хозяйкой автоматов. Она оператор на станции, регулирующей разные процессы очистки, нагнетания нефти под дав-

лением в систему магистральных трубопроводов и, пожалуй, самой важной операции, так называемого газлифта.

Люба — молодая женщина, приехала на Ляптор из Кемерова, работает здесь с мужем, живет на самом месторождении, в вахтовом поселке. Лицо приветливое, излучает энергию, веселость не показную, идущую, видимо, от характера. На фоне приборов своего пульта она выглядит, я бы сказал, даже нарядно — в темном блестящем кожаном костюме, куртке и штанах, в пышной меховой шапке и свитере.

Работой довольна, зарабатывает много, впрочем, как и все на Лянторе. На недостаток своей рабочей активности не жалуется, ибо обязана не только внимательно следить за приборами, но и приходится ей то и дело наведываться в помещение насосной станции, метрах в сорока от пульта.

Приборы приборами, но всюду нужен и свой глаз. Когда мы вместе вошли в насосную, Люба вдруг заметила, как из-под манометра на одной из труб, видимо, из трещины, протекла нефть. И бежали по горячему металлу толстые струи жидкости. Это был тот редкий случай, когда можно увидеть на промысле «живую нефть».

— Сейчас вызову слесарей,— крикнула Люба.— И быстро заварим трещину. Вы знаете, у нас во всех системах нефть движется под большим давлением. Ибо работаем с газлифтом.

Что такое газлифт? Новаторский метод, практически доминирующий на Лянторе, где скважины не фонтанируют. Три компрессора закачивают под землю из скважин полученный попутный газ с водой, и он вместе с собою поднимает из глубины нефть. Эта искусственная «поддувка» газом повышает нефтеотдачу из каждой скважины на 5—6 процентов.

В насосной нормально говорить невозможно, приходится кричать. Компрессоры ревут, как реактивные двигатели. Гудят трубы, где бурлит нефть. Жарко. Все звенит в напряжении.

Люба Карпилович должна быть все время начеку, собранной, внимательной и, естественно, компетентной во всех технических вопросах.

На Лянторе я видел сложнейшую импортную установку по очистке газа. Это цех, но людей практически не видно. Установкой командует начальник цеха, а ему только двадцать два года. Недавно закончил институт. Нефтяной Се-

вер сразу открыл перед ним широкие возможности — роста, ответственной практики, выдвижения.

Трудно решить, что более впечатляет на Лянторе — газлифт, автоматика или же сам вахтовый поселок.

Олег Александрович Цареградский говорил:

— Посудите сами: всего лишь пять лет назад здесь высадилась первая экспедиция. Что они увидели перед собою? Островок земли и вокруг сплошные болота. Дорог нет. Летать можно было только на вертолетах. И летали. Не только из Сургута. По вахтовому методу на месторождения летают даже из Куйбышева, из Ивано-Франковска. Две недели — на месторождении, две недели — отдых, дома.

Накладно? Да, на первый взгляд очень даже. Но тут дело не в том, что поток тюменской нефти и газа оправдывает все расходы. Уже через год-два вложения в нефтегазовый комплекс окупаются. Себестоимость сибирской нефти и газа самая низкая в стране, несмотря на первичные большие вложения.

Дело еще и в том, и нет порою иного выхода, кроме вахтового метода.

Вахтовые перелеты беспокоят и нашего брата писателя. Не раз приходилось слышать на конференциях, на встречах с читателями и такой вопрос: а оправдано ли то, что люди прилетают в необжитые места, испытывают определенные неудобства? Не лучше ли было бы вначале построить поселки, города, а потом уж браться за добычу нефти? Но, очевидно, это бы надолго отодвинуло сроки разработки новых районов, притормозило развитие экономики страны, сказалось бы на индустриальном, оборонном потенциале государства.

Геннадий Дмитриевич Лутошкин, секретарь Тюменского обкома КПСС,— я не раз беседовал с ним в Тюмени и в Москве,— думается мне, справедливо писал по этому поводу:

«Показательно, что такой вопрос возникает у тех, кто смотрит на жизнь нового района со стороны. Хозяева края осознанно приехали на трудное дело, зная, что идут не на готовенькое, что самим придется обустраивать жизнь. С первого колышка. При этом они не только не чувствуют себя обделенными, но и гордятся, считают, что им повезло. Когда формировался ударный комсомольский отряд на Уренгой, в городах страны был своеобразный конкурс. Отбирали парней и девчат для большой и трудной работы.

Звали на Полярный круг, чтобы на пустом месте построить город и мощный газовый промысел».

Вахтовый метод продолжает существовать в своих разновидностях, но вот что интересно: именно на Лянторе основное направление было взято не на этот метод, а на то, чтобы, как сказал Назаргалеев, «основной костяк людей посадить здесь. То есть в самом поселке. И они тут сделали бы очень много».

И в самом деле за четыре года на Лянторе построено удивительно много. И если это еще не полностью, как принято тут говорить, «гостиничный комплекс», то во всяком случае приближающийся к нему. Жилые дома, столовая, балки, медпункт.

Рита Федоровна обязательно хотела показать нам школу — это нечто необычное для вахтового поселка — настоящая большая каменная школа со множеством классов, учебных кабинетов, библиотекой, укомплектованная учителями. Она выросла на месте болота, у берега реки Пим. Рита Федоровна сказала, что летом над рекой летают и кричат чайки.

Если уж ребятишки могут учиться в школе, то можно уверенно вить семейные гнезда, а не мотаться каждый день или через день за сто километров в Сургут, что еще некоторые нефтяники делают.

Не меньше, чем школа, предмет гордости для лянторцев еще и клуб. Большой, трехэтажный, с залом для зрителей человек на пятьсот, с большой библиотекой, с помещениями для спортивных игр, для танцев молодежи. Такой можно увидеть в областном городе.

Пока мы ходили по поселку, строители порвали в одном месте тепловую магистраль. И за несколько часов, пока трубы заваривали, вахтовый поселок выстудился. В клубе люди сидели не раздеваясь, в полушубках. Но зал был все равно полон. Это происшествие вдруг, как говорится, явочным порядком напомнило всем, что вахтовый поселок — это все-таки вахтовый поселок, а Север есть Север!

Сейчас на Лянторе живет уже восемь тысяч человек. И они не оторваны от культурной жизни Сургута, но и вместе с тем максимально приближены к своим рабочим точкам, скважинам, компрессорным станциям, к переднему краю битвы за нефть.

Когда ходишь по вахтовому поселку, где люди обосновываются прочно и надолго, невольно думаешь о его будущем. Каковы перспективы освоения этого индустриального

района? Геологи считают, что Тюменская область является высокоперспективной на нефть и газ. И поиски новых подземных богатств продолжаются.

Пока же по Сургутскому району надо перевести на механизированный способ добычи нефти, то есть на газлифт, более двух тысяч скважин. Лянторское месторождение после четырех лет энергичного обустройства ныне рассматривается как базовый поселок для дальнейшего движения на Север, к Алехинскому, Нижневартовскому и другим месторождениям.

...Мы уезжали из Лянтора вечером, быстро спускались сумерки, и заснеженная равнина освещалась не только светом электроламп и прожекторов, но и гораздо ярче — большими факелами горящего попутного газа. Горящие факелы в ночи! Красивое, эффектное это зрелище, но не радостное, ибо больно смотреть па то, сколько стоит эта красота вместе с газом, который еще не могут всюду быстро утилизировать, сгорают и народные деньги.

К сожалению, эти факелы еще являются кое-где опознавательными знаками действующего месторождения, и розово окрашенное небо над ними все время напоминает о том, сколь необходима заранее продуманная, разумная и хозяйская эксплуатация земных богатств.

На выезде из вахтового поселка нам однажды встретились оленьи упряжки и на них ханты, одетые в свои национальные одежды. Олени тут давно уже не боятся ни автомобилей, ни тракторов, ни горящих факелов газа. Они спокойно стоят, опустив вниз красивые головы, украшенные тяжелой короной рогов.

Появление новых городов меняет и характер, облик национальных поселков, становятся более разносторонними их связи с промышленными предприятиями, широко практикуется шефство производственных коллективов над национальными поселками, им помогают строить жилье, клубы, школы, больницы. Постепенно меняется и жизненный уклад людей, занятых традиционными здесь рыболовством, оленеводством, пушным промыслом, приходят в национальные поселки и новая культура труда и быта, новые, современные ритмы жизни.

И вместе с тем оленьи упряжки в тундре зримо, образно напоминают о недавнем прошлом, о том, как выглядела эта земля еще несколько десятков лет назад. Вахтовый поселок Лянтор и национальные стойбища — это как два века, встретившиеся на дорогах пятилеток. И разве можно

остаться равнодушным к тому, как разительно, контрастно меняется жизнь, внося свои преобразующие черты в былое малолюдье этих просторов, в суровое, но по-своему и величественное белое безмолвие Севера.

5. ЧЕРТЫ К ГРУППОВОМУ ПОРТРЕТУ

Если говорить о сургутской рабочей гвардии, то это, конечно, бурильщики, буровые мастера.

За сорок лет я встречался со многими буровыми мастерами в разных районах страны. И, думается, могу с дистанции времени увидеть новые черты современной генерации добытчиков нефти и то, как из десятилетия в десятилетие менялся и меняется их облик вместе со сменой общественных образцов труда и переменами в духовном мире людей рабочего класса.

Кадровые рабочие — это костяк всей нефтяной Тюмени. Разработка ее недр стала уделом молодых. Но естественно, что за двадцать лет первооткрыватели и первопроходцы повзрослели, и ныне уже новое поколение молодых берет на свои плечи основную тяжесть усилий по освоению края.

Порою говорят, что дети и внуки не разделяют увлечений отцов и дедов. Но так ли это на самом деле? Взгляните внимательно на взаимоотношения ветеранов Тюмени — их пока еще немного — с молодым поколением, посмотрите на процессы гражданского взаимовлияния, взаимообогащения отцов и детей, и вы убедитесь в том, что преемственность устремлений разных поколений становится не только приметой сегодняшнего дня, но и своего рода мощным нравственным стимулом в нашем движении вперед.

Когда-то первые скважины на Самотлоре разбуривала комсомольско-молодежная бригада Степана Повха. А начальником Главтюменьнефтегаза многие годы был В. И. Муравленко. Теперь же имя Повха носит одно из месторождений, а его сын (как и сын Муравленко) работает в столице Самотлора Нижневартовске инженером-нефтяником.

В Сургуте трудится один из первооткрывателей тюменской нефти Герой Социалистического Труда Вениамин Максимович Агафонов, а в его бригаде работает бурильщи сын Виктор — инженер. У отца нет высшего образовани и это тот случай, когда главенствует все же опыт, опирающийся на знания молодых.

Далеко за Полярным кругом на буровых Харасавэя я встречал геолога Вячеслава Подшибякина — сына Василия

Тихоновича Подшибякина — лауреата Ленинской премии, знаменитого в этих краях разведчика недр. Вячеслав сейчас — начальник объединения Уренгойгеология, того самого Уренгоя, который открыл отец. Кроме того, в нефтяной Тюмени работают еще два сына Василия Тихоновича, младший брат и сестра. Это уже целая династия Подшибякиных. Отца и сыновей связывает одна мечта, одни устремления, ставшие и семейной традицией и смыслом жизни.

Возможности проявить свои силы, смолоду взяться за большое, ответственное дело на Тюменском Севере необычайно широки, было бы только желание, способности, трудолюбие.

Буровому мастеру из Сургута Сергею Ивановичу Пономареву 53 года. Он еще не пенсионер, о пенсии и не думает, работает, совсем недавно я встретил его на Федоровском месторождении. Но от звания ветерана Пономарев не отказывается, ибо и в самом деле принадлежит к славному племени первопроходцев в этих краях.

Он работает здесь с 1954 года. Начал с разведочного бурения, занимался тушением нефтяных пожаров, потом перешел к эксплуатации месторождений, и вот уже 14 лет разбуривает сургутскую нефтеносную площадь.

За плечами Сергея Ивановича и рекордные по скорости сменные проходки, и годовая выработка в 61 250 метров, одно время считавшаяся лучшей по министерству, и технологическое освоение кустового, наклонного бурения. Он дважды награжден орденами за свой труд. Многое повидал и пережил на Севере.

Почти тридцать лет практики — это богатство, которому сам Сергей Иванович цену знает. В той же мере, как и гордится своим делом.

— Профессия, как любовь, половинчатого отношения не терпит,— сказал он мне. Я же подумал, что это относится не только к бурению скважин.

Мастер в буровой бригаде всегда наставник уже в силу своих обязанностей руководителя и воспитателя коллектива. А руководитель Пономарев — волевой, твердый, не скрывает того, что дисциплину поддерживает сильной рукой, лодырей не терпит, пьяниц тоже, да они и не приживаются там, где труд требует постоянного напряжения, коллективной ответственности.

Я бы сказал, что дисциплина и ответственность — близнецы-братья, соединение дисциплины с ответственностью и создает тот деловой стиль, который приносит успех брига-

де. Да и суть-то сознательной дисциплины в том, чтобы люди не просто отбывали на рабочей точке положенные часы, а каждый на своем рабочем месте добивался наивысшей производительности труда.

Трудовая дисциплина диктует и свои этические нормы.

— В вопросах порядочности стою твердо,— заметил Сергей Иванович. Он имел в виду распределение премий по труду, справедливую оценку вклада каждого, коллективное распределение, скажем, квартир или автомашин, полученных за перевыполнение плана, сейчас эти вопросы решает бригада.

Буровой мастер, который не гордится своей профессией, вряд ли привьет любовь к ней своим ученикам. Мне понравилось, как, вспоминая о том времени, когда Пономарев сам стоял у тормоза, работал бурильщиком, он сказал, что это были его «звездные часы». В словах этих прозвучала та мера высокого уважения к труду, которой порою недостает нам и в жизни и в литературе.

У Сергея Ивановича двое сыновей: Александр работает шофером, Виктор — слесарь. Глава семьи уже дед, в сургутскую землю врос крепко и никуда уезжать не собирается, даже когда выйдет на пенсию.

С улыбкой рассказал мне о своем тезке, тоже Сергее Ивановиче, работнике буровой конторы, который, выйдя на пенсию, уехал на юг, купил себе там «Запорожец», домик приобрел, стал ловить рыбу. Прошло несколько лет, и Пономарев вдруг встречает своего друга, катящего на «Запорожце» по Сургуту. Тут его дети, внуки, жена все время мотается с юга в Сургут и обратно. И вот тезка бросил свой дом, продал с убытком — и сюда, к детям.

— Что же он делает? — спросил я.

— А сейчас здесь рыбу ловит.

Эти скупые черточки к портрету ветерана бурового мастера интересны, думается мне, в свете той очевидной закономерности, что подлинное наставничество начинается со своей семьи, с воспитания своих детей.

Дети гордятся своими отцами, но не только старшие воспитывают, но и молодое поколение порою учит своих отцов смотреть дальше, видеть глубже.

Владимир Иванович Коробко как буровой мастер — молод, работает руководителем бригады только с 1982 года, следовательно, опыта у него еще немного. А до этого был бурильщиком, раньше закончил техникум в Дагестане и

первую практику проходил на кубанских, старейших в России нефтяных промыслах.

Сейчас ему тридцать два года. Возраст человеческой да и рабочей зрелости. Когда я увидел его впервые на железных подмостках буровой, на Федоровском месторождении — стройного, в черном кожухе и высоких с отворотами болотных сапогах,— посмотрел на его модные ныне в Сургуте усы и короткие бакенбарды, то во взгляде его, улыбке, голосе проглянула та открытость и естественность, в которых не хотелось обмануться, ибо они и предполагали искренность предстоящей нашей беседы.

А чтобы поговорить, мы зашли в бригадный вагончик, и, скинув полушубок, Коробко остался в тренировочной спортивной куртке, без свитера, морозы в поле были уж не так велики, а в натопленном вагончике так и просто жарко.

Я пристроился у торца его рабочего стола, на котором лежали вахтовые журналы, страницы их, как обычно, носили следы прикосновений не очень-то стерильных рабочих рук. А на стене висело расписание, называвшееся «Вахты» — по фамилии бурильщиков: Фарукшин, Абдурахманов, Подкорытов, Артемьев. И тут же четыре рубрики показателей: План. Соцобязательство. Фактическая выработка. Место в соревновании.

Вся бригада Коробко в целом занимала... 10-е место из 11-ти действующих в управлении, то есть предпоследнее. Эта цифра — 10 была крупно обозначена на плакате для бригады, вряд ли престижном. И если это была наглядная агитация, то звучавшая более всего как укор, как тревожное напоминание относительно темпов бурения.

О передовиках писать привычно. А вот передо мною сидел человек, которому было, очевидно, нелегко и вести бурение, и сколачивать коллектив бригады.

Я слушал Коробко и вдруг вспомнил то, что прочно застряло в памяти и было услышано давно, лет тридцать тому назад, в далекой от Сургута Туймазе из уст старого мастера Касыма Беляндинова. Я писал об этом и хочу повторить то, как он определял свое отношение к мастерству: «Если я мастер, то не позволю скважине втянуть меня в неприятности. Надо знать и предвидеть. Я двадцать лет бурю, и мне не стыдно учиться у всех, всю жизнь».

Прошли годы, но не ушли все эти неприятности, возникающие при бурении, они и сейчас на любом месторождении подстерегают мастера. Стала сложнее техника, мощ-

нее, надежнее, и все же они случаются — и обвалы стенок скважины, и обрывы труб бурильной колонны, и прихват в земле инструмента, и многое другое.

А ведь Коробко, как и другие, на Федоровке бурит с расчетом на «Газлифт», а это означает, что стенки скважины должны быть прочнее, бурильные трубы более тяжелые, чем обычно, со «стальными свечами» весом в 320 килограммов. Представьте себе визуально, что из одной точки, от одной буровой, в разные стороны расходятся двадцать восемь наклонных скважин этаким веером огромных щупальцев, устремленных в глубину земли, и каждую скважину надо сдать эксплуатационникам, как говорят здесь, «под ключ», то есть совершенно готовыми. И тогда хоть в какой-то мере начнет прорисовываться тот большой круг технологических забот, с которыми постоянно живет главный ответчик за все на буровой — ее мастер.

И все же это ли самое трудное? И у ветерана Пономарева, и у молодого Коробко, быть может, еще и в большей степени на передний край и крупным планом выходят задачи... воспитательные.

Какой мастер создает психологический настрой в бригаде, так люди и будут работать.

Понимает ли это Владимир Коробко? Да, понимает умом и чувствует сердцем. Иначе бы он мне не сказал:

— От настроения ребят и моего очень даже многое зависит в работе.

Сравнительно недавно вошел в жизнь новый Закон о трудовых коллективах. Стал реальностью современной рабочей жизни. Когда я летел в Сургут зимой 1984 года, я вновь перечитал Закон и увидел, сколько в нем заключено возможностей для дальнейшей демократизации производственных отношений и утверждения основ действенного коллективизма.

И полтора года тому назад, летом 1983 года,— в ту пору новый Закон только начинал жить, действовать, бороться,— я не раз задумывался над такой проблемой. Должна ли мешать экстремальность здешних условий труда благодатному развитию демократических основ в такой маленькой ячейке народовластия, какой является бригада? Или же, наоборот, именно экстремальность побуждает к созданию дружного интернационального коллектива людей в любой точке на Севере, коллектива, объединенного не только одним денежным котлом, но и общей честью, ответственностью,

чувством личной причастности к сотворению всех важных перемен в этом краю?

Среди многих волнующих меня проблем я интересовался развитием вот именно этой внутрибригадной демократии. Беседовал со многими буровыми мастерами, начальниками цехов, парторгами строительных трестов, начальниками различных производственных служб.

Запомнился мне и один примечательный разговор летом 1983 года с буровым мастером, его фамилию я не стану называть по причине, которая станет очевидной далее, с человеком заслуженным, ветераном разработки месторождений. Однако он удивил меня тем, что, скажем, к существованию общественного совета бригады как демократическому органу отнесся отрицательно.

— Не надо играть в демократию,— заявил он.

Казалось ему излишней и выборность буровых мастеров.

— Администрация у нас умная, сама знает, кого выдвигать,— сказал мастер.

Известно, что в буровых бригадах образуется солидный фонд премиальных за скорость проходки скважин. Однажды бурмастер, как он выразился, «зажал на черный день» из этого фонда тысяч двадцать. А когда выработка снизилась, он эти деньги выдал, чтобы рабочие не пострадали в зарплате. И сложилась парадоксальная ситуация: в его бригаде выработка низкая, а заработки самые высокие в управлении. Пришлось мастеру под давлением общественности от такой практики отказаться. Но произошло это в результате назревшего конфликта между ним и бригадой.

Что же это? Только частный случай, некий анахронизм бригадного, что ли, волюнтаризма? Или же за этим просматриваются черточки сопротивления все расширяющейся и благотворной демократизации производственных отношений? Я думаю, что ближе к истине второе.

Вот и в коллективе Владимира Коробко есть общественный совет бригады из пяти человек, и он собирается, чтобы решать вопросы внутрибригадной жизни. И все же влияние совета на нравственную атмосферу в бригаде, видимо, недостаточное. И Владимир Иванович это признает.

— Дружбы недостает,— говорил он не без горечи.— Настоящей. Когда один за всех и все за одного.

— Только дружбы? — спросил я.

— И настоящей рабочей совести. Дисциплинированности тоже,— сказал Коробко.

Однажды летом 1983 года я попал на партийное собрание в управлении буровых работ. Пригласил Анатолий Иванович Юдин.

Коммунисты выступали остро, раскованно, по делу, в критике не стеснялись. Что у кого было на душе, тот о том и говорил. Запомнился один оратор. Он пришел на собрание с четырехлетней девочкой. Черноглазая, полненькая, она протопала ножками за отцом к столу президиума, по у трибуны вдруг остановилась и так стояла там молча, пока отец не закончил свою речь.

И никто в зале даже не усмехнулся, не повел бровью, не увел девочку на место, одним словом, никто на это не обратил внимания. Все понимали, раз пришел с ребенком, значит, жена на работе и девочку не с кем оставить дома. Видно, не первый это случай и не последний. Деталь сургутской жизни. Черточка быта. Маленькая, но примечательная.

Оратора звали Риф Аверканович Курбанов. Молодой коммунист, инженер из Башкирии. Бурильщик из бригады Коробко. И то, что он с высшим образованием стоит на рабочей точке, тоже никого не удивляло. Все молодые инженеры вначале в Сургуте проходят школу рабочего.

Риф Курбанов критиковал работу и своей бригады и других. Критиковал с убеждением, он сказал: «Политическая активность должна сочетаться с трудовой». Приводил примеры нарушения дисциплины, вынужденных простоев, слишком «активной деятельности» сургутского вытрезвителя.

Курбанов горячо ратовал за совмещение профессий, а следовательно, и за уменьшение людей в бригаде.

— Давайте сократимся! — призывал он. И тут же посетовал на то, что сами бригады такой инициативы не проявляют. И еще сказал: — Плохо работает комиссия по борьбе с пьянством. Давайте заслушаем ее на парткоме.

Я потом, после собрания, спросил его и Коробко. Какая категория людей больше пьет в бригаде, в городе? Как по их мнению?

— Неустойчивая часть молодежи,— ответил Коробко, а Курбанов, соглашаясь, кивнул.— Те, кто не имеет личной программы,— так выразился Владимир Иванович.

— А что это такое, конкретно?

— Образование, квартира, машина. У кого есть такая цель, тому пить некогда.

— Да, точно,— подтвердил Курбанов.— Если меня ра-

бота увлекает, если я в ней заинтересован, то разве буду я растрачивать силы на водку!

В этих суждениях, на мой взгляд, есть достоверность. Я и сам бы мог добавить, что хотя и трудно здесь найти всеобъемлющую формулу поведения человека, а в экстремальных условиях особенно, но думается и мне, что внутренняя, прочная заряженность человека на труд, на дело, которому он служит, с пьянством, как правило, несовместима.

Личная заинтересованность, наряду с ценностями духовного, морального и психологического порядка, которыми рабочий человек тоже очень дорожит,— это серьезнейший фактор в побудительном механизме поощрения к труду.

Строгую зависимость заработной платы от результатов труда регулируют ныне наряду с администрацией и, пожалуй даже в большей степени, органы общественного самоуправления. Я наблюдал это в бригаде Пономарева, видел и в бригаде Коробко.

В один из ноябрьских дней 1984 года, вслед за Владимиром Коробко я поднялся на буровую вышку по крутой, как на корабле, и скользкой от налипшего снега лестнице. Было ветрено, хотя и не очень холодно, а по сибирским нормам так и вовсе тепло — градусов 15 ниже нуля. Буровая высилась сорокаметровым маяком над снежным простором. Ветер крутил поземку. Жесткий, обжигающий, он поднимал в воздух снежную пыль, и она клубилась туманом вокруг железной пирамиды вышки.

Ветер, хотя и ослабленный деревянными щитами, огораживающими само пространство рабочей площадки, гудел, врывался сверху, там было открытое небо, ибо ничем не закроешь те талевые механизмы, которые от вершины вышки спускают бурильные трубы к устью скважины.

На рабочей площадке ревел двигатель, шумели насосы, накачивающие глинистый раствор в скважину. У тормоза, у пульта стояла в тот день смена Фануса Фарукшина — одна из лучших в бригаде. Шло обычное бурение. Но я думаю, что достаточно было бы с полчасика, не работая, постоять в этом шуме и грохоте, на морозе, немного «подышать» буровой, чтобы понять — большие деньги платят не зря.

— Вот эта вахта Фарукшина и метраж дает хороший и не только о себе позаботится, но и о другой смене. Условия ей подготовит,— сказал Коробко.

— А что, бывает и по-иному? — спросил я.

— Бывает. Есть у меня один товарищ. Бурильщик. Его вахта метража дает больше других. Но, спрашивается, за счет чего? А за счет насилования оборудования, жмет без профилактики, по принципу: после меня хоть потоп! Вахта напортачит, а потом ее грехи другие исправляют. И чаще всего автор всякого рода осложнений на буровой — это он, этот товарищ.

— Ну и что же совет бригады? — спросил я.

— Наказали. Перевели в помбуры. Да и коэффициент трудового участия — я ему поставил — ноль.

— Следовательно, премии не получит, хотя и пробурил больше других?

— Нет.

— А как он это воспринял?

— Недоволен, конечно.— Коробко пожал плечами.— А как прикажете еще бороться с таким рвачеством?! Не одни только метры решают. Качество — это, я полагаю, прежде всего совесть рабочая. А для совести предела нет. Ни метрами, ни рублем ее не измеришь.

Я слушал Коробко и подумал о том, что в этом внутрибригадном конфликте, так резко обозначившем водораздел между корыстолюбивым индивидуализмом одного бурильщика и общими интересами коллектива, тоже проглянула интересная черта рабочей жизни. Того нового, что входит сейчас в преобразование и производительных сил и прямо связанных с ними производственных отношений.

Чтобы лучше жить, надо лучше работать. В Сургуте сейчас не сыщешь, пожалуй, более яркого подтверждения этой мысли, чем судьба буровой бригады Василия Ларионовича Сидорейко.

Я увидел его впервые в депутатской комнате сургутского аэропорта, мы вместе ждали самолета, вылетающего вечером в Тюмень.

Высокий, в кожаном пальто с теплой подкладкой, в пышной меховой шапке, темнобровый, с усами, которые можно было бы считать «запорожскими», будь они на два-три сантиметра длиннее. В руках черный «дипломат». В комнате он разделся и тут же сел играть в шахматы с провожавшим его Геннадием Михайловичем Левиным. Лицо открытое, веселое, есть в нем отсвет той душевной уравновешенности, которую дает молодая сила, ровность и твердость характера.

Потом в самолете Сидорейко сидел в ряду прямо передо мною. Он просматривал листки подготовленного текста сво-

его выступления на конференции писателей. Мы прилетели поздно вечером, пока добрались до гостиницы «Восток», было уже за полночь, а утром следующего дня я увидел Сидорейко на трибуне.

Он вытащил заготовленные листки своей речи, но после короткой паузы отложил их в сторону и начал негромко, спокойно и раскованно, не торопясь рассказывать о себе и бригаде. Говорил он о том, как семь лет назад группа молодых ребят, двадцать шесть человек, вся буровая бригада, приняла решение переехать из Белоруссии в Сургут. Прилетели зимой, стюардесса объявила в самолете, что в Сургуте температура воздуха минус шестнадцать. Когда ребята вышли на заснеженное поле аэропорта, кстати говоря, связанного прямым рейсом с Москвой и многими городами, то почувствовали, что явно не шестнадцать градусов. Оказалось — минус сорок девять.

Сидорейко рассказывал, не взывая к сочувствию, но и нисколько не бравируя пережитым, а говорил так, как мужественные люди вспоминают о нелегких днях, как сейчас бывалые фронтовики — о войне. Рассказывал, как они, двадцать шесть, поселились сначала в одной четырехкомнатной квартире. «Жили коммуной». Сидорейко, естественно, не стал распространяться в подробностях о своем житье в этой тесноте, упомянул лишь о том, что квартира эта в Сургуте являлась, по сути дела, лишь базовой, ибо большую часть времени буровики проводили в своих вагончиках типа «Тайга», стоящих у буровых, на месторождении.

Да и сейчас они остаются там порою на неделю, а то и больше, если вынуждают обстоятельства, прихватывают и выходные дни, когда надо, скажем, срочно закончить бурение или же перетащить вышку на другое место и подготовить станок к забуриванию.

Теперь все двадцать шесть имеют в Сургуте благоустроенные квартиры в две, три, четыре комнаты на каждую семью и об этой своей «коммунальной прародительнице» вспоминают лишь в дружеских застольях по поводу ежегодных успехов бригады.

В бригаде одиннадцать человек уже приобрели автомашины «Волга», в вагончиках и в квартирах у всех личные библиотеки, ибо бригада установила контакты с тюменским магазином «Книга — почтой», бригадная волейбольная команда — одна из лучших в Сургуте, а Сидорейко, став бригадиром в 1982 году, поступил на заочное отделение нефтяного техникума. Казалось бы — разрозненные, разномас-

штабные факты. А вместе с тем это ведь и те сущие реалии, из которых и складывается живая картина жизни буровой бригады. И об этом тоже говорил Сидорейко.

Начав с 50 тысяч метров проходки в год, на следующий бригада дала уже 80 тысяч. В 1981 году вышли на рубеж ста тысяч. В 1984-м 117 тысяч. Пока это вершина. Но Сидорейко сказал с трибуны: «Пойдем еще выше!»

Что означает пробурить 117 тысяч метров в год? Нас учат сравнения. Пятидесятые годы. Туймаза. Мастер Касим Беляндинов, у которого я зимой жил в вагончике, пробурил в год 14 тысяч метров, и эта скорость считалась тогда невиданной во «Втором Баку». Ну, положим, скважины там были поглубже, грунты потверже, только-только входило в практику турбинное бурение. И все же! В теперешнем Сургуте или же рядом на Самотлоре не приходилось разве осваивать кустовое бурение на искусственном островке земли, который намыли посреди воды или болота? Разве не преодолевали здесь бурильщики свои трудности?!

Когда Сидорейко бурил одну из своих первых скважин «с куста», разве он не боялся, что насыпное основание может не выдержать? Вышка начала проседать, раствор лился под буровую площадку и уносил с собою мелкий песок. Постоянно кто-то дежурил из бригады и внимательно следил за основанием вышки. Даже в суточных сводках сообщали, как ведет себя основание.

Процесс бурения по природе своей и коллективен, и прочно связан с рабочей индивидуальностью мастера, каждого бурильщика. В этой двуединой природе самого мастерства заложено многое.

Первый послевоенный год. Нефтяная Кубань. До сих пор помнится, как я был поражен, увидев впервые рабочую хватку знаменитого в ту пору бурового мастера Николая Михайловича Позднякова. Он включил станок, мгновение — и всем наблюдавшим показалось, что металлическая буровая вздрогнула от напряжения. Толстый круг ротора стал вращаться с огромной скоростью. Два мощных насоса погнали в трубы струю глинистого раствора с такой силой, что он сам мог бы, казалось, размывать и выносить породу. Пятнадцатиметровый стальной квадрат, на опускание которого иногда уходит несколько часов, Поздняков забил в землю в какие-нибудь две минуты. Хронометристы сдержанно ахнули, заполняя свои блокноты.

Конечно, современные представления о мастерстве бурильщика стали иными и неотрывны от бóльших знаний,

изучения геологии, правильного использования техники, критического самоанализа каждой оплошности, каждого осложнения, и самое главное — слаженности в труде «всей команды на буровом корабле».

Существует тут и еще одна нравственная категория, и связана она с понятием о лидерстве. Его трудно завоевать, еще труднее удержать. Лидер всегда на виду. Быть длительное время впереди других, это значит, как думает Сидорейко, «все время побеждать самого себя».

Учитель Сидорейко и его теперешний руководитель Геннадий Михайлович Левин в 1980 году были гостями Олимпиады.

«Видел своими глазами,— вспоминал он,— как страстно и беззаветно сражались спортсмены. Пересекают финишную черту и тут же валятся с ног — все отдано борьбе. Все, без остатка!.. Смотришь бег на длинную дистанцию и думаешь: как же тяжко вести его. На затылке лидер все время чувствует дыхание соперника. И надо не дать себя обойти. Точит одна мысль: «Не уступи, не уступи!» Вот какая жизнь у лидера!..»

Глядя на спортсменов, бывший буровой мастер Левин думал, конечно, о себе. Ведь это именно он был многие годы лидером в достижении наивысших скоростей бурения в Западной Сибири. Это он, пока вел бригаду, никому не уступил лидерства. Теперь в таком же положении Василий Сидорейко. Я бы даже сказал, что Василий Сидорейко — это Геннадий Левин сегодня.

И я подумал: разделяет ли Сидорейко все эти чувства и ощущения Левина? Близки ли ему эти деловые страсти и олимпийский азарт? Чувствует ли он всю меру ответственности, которая ложится на плечи лидера?

Мне думается, что вполне разделяет. И отдает себе в этом отчет. Иначе бы он не заявил: «На этом рубеже не остановимся и пойдем выше!»

Давно замечено, что там, где есть напряженный творческий труд, где идут поиски оптимальных решений, там не только на высоте инженерная мысль, но быстрее выдвигаются таланты из среды рабочего класса.

Люди, обладающие ответственностью, растут в труде повсеместно. В Сургуте, во всей «стране Тюмении» они растут, я бы сказал, с сибирским ускорением.

Я пишу это, и передо мною вновь и вновь встает целый ряд людей, знакомых мне по Западной Сибири. И тот же Герой Социалистического Труда, человек большого обаяния, с

которым я совсем недавно встречался в Сургуте, Геннадий Михайлович Левин, он теперь успешно возглавляет управление буровых работ № 2, коллега Владимира Гавриловича Долгова, бывший бурильщик Борис Давыдов, так ярко выступавший на нашей первой писательской конференции в Тюмени,— он начальник смены центральной инженерной службы управления; бывший помощник мастера в бригаде В. М. Агафонова — Михаил Борисов — ныне главный инженер управления буровых работ у Долгова. Руководитель буровой бригады, которого я несколько лет назад встречал на Самотлоре, Виктор Китаев, теперь первый секретарь Ханты-Мансийского окружкома КПСС. Примеры, примеры!

«В общем, товарищи,— сказал М. С. Горбачев, выступая в сентябре 1985 года на совещании партийно-хозяйственного актива Тюменской и Томской областей,— сделано немало, взяты высокие рубежи. Но время идет, жизнь выдвигает перед нами новые и новые задачи. Предусмотренные в Энергетической программе СССР и проекте Основных направлений высокие рубежи добычи нефти и особенно газа должны в определяющей степени обеспечиваться промыслами Тюмени.»

Я как-то возвращался ночью с Федоровского месторождения. И в этот поздний час дорога была забита до предела потоком ревущих «МАЗов», «КрАЗов», «татр». Бетонка как бы передавала напряженное биение рабочего пульса всего района. По сторонам трассы то возникали, то затухали огни промышленных строений. И вот развилка, эстакада, один поток машин идет в обход города, другой направляется в Сургут.

Ночной красивый пейзаж, горящие во всю глубину ночного пространства огни эмоционально служили как бы неким зримым фоном для разыгравшегося воображения И в самом деле, какие слова могут сравниться с магией этих удивительных цифр: миллиард и миллион! За ними ежечасно, ежесуточно в многообразии труда, неустанного борения и поисков вставали во весь свой рост напряженные рабочие будни Тюменского Севера.

СОДЕРЖАНИЕ

Медников А. М.

М42 Сорок тетрадей: Очерки.— М.: Советский писатель, 1986.— 512 с.

Известный писатель Анатолий Медников предлагает читателю книгу очерков, охватывающих почти сорок лет создания отечественной индустрии. Это портреты, зарисовки, размышления над тем, как из десятилетия в десятилетие менялся облик рабочего класса вместе со сменой общественных образцов труда и переменами в духовном мире героев. Это попытка в очерковом жанре показать движение и развитие рабочей жизни, отраженной в реальных событиях, фактах, характерах и судьбах людей труда, подлинных героев нашего времени.

М $\frac{7402010200-054}{083(02)-86}$ 87—86 ББК 84.Р7

Анатолий Михайлович Медников

СОРОК ТЕТРАДЕЙ

М., «Советский писатель», 1986, 512 стр.
План выпуска 1986 г. № 87

Редактор Г. А. Блистанова
Худож. редактор Е. Ф. Капустин
Техн. редактор И. М. Минская
Корректор С. Б. Блауштейн

ИБ № 5539

Сдано в набор 22.04.85. Подписано к печати 17.01.86. А03318. Формат 84×108[1]/32. Бумага тип. № 2. Обыкновенная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 26,88. Уч.-изд. л. 30,42. Тираж 100 000 экз. Заказ № 265. Цена 2 р. 20 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109



